Николай Задонский

Денис Давыдов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Старейший советский писатель Н.А.Задонский известен читателям многими произведениями, посвященными героическому прошлому нашей страны ("Горы и звезды", "Смутная пора", "Донская Либерия" и др.). Наибольшей популярностью пользуется его историческая хроника "Денис Давыдов", воссоздавшая образ замечательного русского поэта, партизана, героя Отечественной войны 1812 года.

Жизнь Дениса Давыдова рисуется в книге на фоне того огромного патриотического подъема, который охватил русский народ в годы борьбы с нашествием полчищ Наполеона.

С волнением читаются и те страницы хроники, которые посвящены Денису Давыдову как поэту и человеку. Книга с интересом будет прочитана самыми широкими кругами читателей.

- Николай Алексеевич Задонский
  - КНИГА ПЕРВАЯ
    - Глава первая
      - I
      - II
      - III
      - IV
      - V
      - VI
      - VII
      - VIII
      - IX
      - X
      - XI
      - XII
      - XIII
      - XIV
    - Глава вторая
      - I
      - II
      - III
      - IV
      - V
      - VI
      - VII
      - VIII

- IX
- X
- XI
- XII

- Глава третья
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII

- КНИГА ВТОРАЯ
  - Глава четвертая
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
  - Глава пятая
    - I
    - II
    - III
    - IV

        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
        - XI
        - XII
    - Глава шестая
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
    - Глава седьмая
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
- notes
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56

- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100

- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- Примечания
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
  - XXII
  - XXIII
  - XXIV
  - XXV
  - XXVI
  - XXVII
  - XXVIII
  - XXIX

Николай Алексеевич Задонский
Денис Давыдов
(историческая хроника)

Денис Давыдов… примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин – не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности.

В. Г. Белинский

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

Славы звучной и прекрасной
Два венка ты заслужил!
Знать, Суворов не напрасно
Грудь твою перекрестил…

Н. Языков

I

В конце ноября 1792 года полковник Василий Денисович Давыдов, командир Полтавского легкоконного полка, расквартированного в селе Грушевке, близ Днепра, получил неожиданное известие: командующим войсками

Екатеринославского корпуса, в состав которого входил его полк, назначался генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов.

Новость эта полтавцами была встречена восторженно. Имя великого полководца давно уже получило широкую известность. Молниеносные суворовские марши, недавние блестящие победы при Фокшанах и Рымнике, взятие неприступного и гордого Измаила… Кого не восхищали эти славные дела, какой командир и солдат не мечтал попасть под команду Суворова! Вместе с тем все знали, как требовательно относится Суворов к службе, какими язвительными бывают его насмешки над «немогузнайками», над ленивыми и нерадивыми воинами. Назначение Суворова всех приободрило и подтянуло. В полку начались усиленные учебные занятия; командиры и солдаты понимали, как легко, допустив малейшую оплошность, можно уронить честь полка при встрече с прославленным полководцем.[1]

О дне этой встречи никто не знал. Корпусная квартира находилась в Херсоне. Там среди штабных офицеров у Василия Денисовича имелось немало друзей, которые всегда заранее предупреждали, когда начальство предполагает произвести очередной смотр или маневры. Теперь об этом нечего было и думать. Суворов своих намерений никому не сообщал, смотры производил неожиданно, среди войска появлялся внезапно.

– Тоже суворовская тактика, – улыбаясь, говорил Василий Денисович. – У нас никогда, кажется, столь успешно учения не проводились, как нынче.

Семейство полкового командира занимало в Грушевке обширный деревянный дом, построенный на скорую руку для императрицы Екатерины, останавливавшейся здесь несколько лет тому назад проездом в Крым.

Василий Денисович, небольшого роста, плотный мужчина с сильной проседью в густых черных волосах, славился веселым характером, остроумием и хлебосольством. Жена его, Елена Евдокимовна, бывши на пятнадцать лет моложе мужа, смотрела на него с обожанием, в походах редко с ним разлучалась. Дочь новороссийского наместника генерал-поручика Щербинина, она получила образование в одном из частных пансионов, много читала, отлично играла на клавикордах. Елена Евдокимовна, во всем уступавшая мужу, не разделяла его пристрастия к картам. Небольшие раздоры между супругами возникали чаще всего на этой почве.

Офицеры полка, среди которых были ветераны суворовских кампаний, почти каждый вечер собирались в просторном, уютно обставленном кабинете любезного командира. Разговоры между ними сводились теперь к обсуждению выигранных Суворовым

сражений, к личным воспоминаниям о нем. Хозяева принимали в таких беседах живое участие. Василию Денисовичу уже приходилось служить в суворовских войсках. А Елена Евдокимовна еще девочкой встречала полководца в доме своего отца.

Но никто, пожалуй, не слушал этих рассказов с таким жадным любопытством, как кареглазый, курносый мальчик в бархатной курточке, обычно выбиравший себе местечко где-нибудь в сторонке. Мальчика звали Денисом. Он был старшим сыном Давыдовых. Ему шел девятый год.

Образ Суворова давно уже занимал воображение Дениса. А мысль о возможности в скором времени увидеть своего героя вызывала у впечатлительного мальчика даже нервную дрожь.

Познания о Суворове не ограничивались у Дениса теми рассказами, какие приходилось слушать в кабинете отца. Денис и брат его Евдоким, бывший на полтора года моложе, имели двух воспитателей. Один из них – маленький и пухленький француз Шарль Фремон – был найден и принят матерью. Другой – пожилой и степенный донской казак Филипп Михайлович Ежов – взят и приставлен к мальчикам в «дядьки» по настоянию отца. Шарль Фремон учил детей французскому языку, танцам, благородным манерам. Филипп Михайлович сопровождал мальчиков на прогулках, обучал езде на лошади, знакомил с военным делом[2].

Мальчики характерами и вкусами резко друг от друга отличались. Спокойный, толстенький, медлительный в движениях Евдоким предпочитал сидеть в комнате и слушать пространные наставления француза. С пяти лет Евдоким показывал прекрасные способности к плавным менуэтам и котильонам, а ножкой шаркал, как «настоящий маркиз», по выражению мосье Шарля.

Денису никогда на одном месте не сиделось. Резвый и любознательный, он отличался хорошей памятью, быстро научился читать и писать, неплохо и танцевал, зато манеры, которым обучал мосье Шарль, явно ему не давались.

– Он способный мальчик, но у него нет терпения и выдержки, – говорил наставник Елене Евдокимовне, огорчавшейся иной раз поведением старшего сына. И многозначительно, с ревнивой ноткой в голосе добавлял: – Мне кажется, его несколько портит общество этого казака…

– Что поделаешь, вы же знаете, это непременное желание Василия Денисовича, – вздыхала мать.

– О, я понимаю, сударыня! – восклицал мосье Шарль, прикладывая к сердцу коротенькую ручку. – Нам приходится со многим мириться… Я ничего кроме не могу сказать.

Денис и в самом деле предпочитал чопорному французу своего дядьку Филиппа Михайловича. Простой донской казак, дослужившийся к пятидесяти годам до чина сотника, Ежов участвовал во многих битвах, не раз находился в войсках Потемкина, Румянцева, Суворова, знал много любопытных историй. Филипп Михайлович, кажется, первый пробудил в мальчике особый интерес к военному делу. А его рассказы о Суворове были не менее привлекательны, чем те, которые Денису часто приходилось слышать в кабинете отца. Там какой-нибудь усатый ротмистр, подробно повествуя о Кинбурнской битве или штурме Измаила, говорил о Суворове как о гениальном полководце, стратегия и тактика которого определяли успех. Филипп Михайлович неизменно останавливался на иных качествах Суворова, снискавших ему необыкновенную популярность и любовь среди солдат российской армии.

Суворов, не боявшийся в глаза насмехаться над могущественными сановниками, относился к «нижним чинам» по-человечески, без тени высокомерия и надменности, свойственных в то время большинству дворян-офицеров. Суворов был строгим, требовательным командиром, но никогда не допускал, чтобы строгость и требовательность переходили в жестокость: сам он ни разу не ударил солдата. В походах и лагерях Суворов жил среди войска, на виду у всех. Спал на охапке сена, питался из солдатского котла, говорил народным языком.

Таким представлялся маленькому Денису образ любимого полководца по рассказам дядьки.

II

Зима и весна прошли в беспокойном ожидании. Суворов словно забыл о кавалерии, стоявшей у села Грушевки. А ведь здесь помимо Полтавского располагались Переяславский конноегерский, Стародубский и Черниговский карабинерные полки.

От знакомых штабных офицеров Василию Денисовичу стало известно, что Суворов совместно с инженером Деволантом занят постройкой крепостей в Приднестровье и до осени вряд ли сумеет произвести маневры. Об этом Василий Денисович никому не сказал. Нельзя же расхолаживать людей, столь ревностно овладевающих военными знаниями, чтобы при встрече с командующим не ударить лицом в грязь!

В мае, как обычно, полтавцы перешли в лагерь, расположенный близ села. Боевые учения и марши проводились днем и ночью. Денис, находившийся в лихорадочном состоянии и

грезивший Суворовым, обратился с просьбой, чтобы его и брата отец взял к себе в лагерь. Василий Денисович, понимавший настроение сына, охотно согласился. Мать тоже не возражала. Пожить детям на свежем воздухе всегда полезно. К тому же, сказать по правде, Елена Евдокимовна хотела немного отдохнуть от шума и вечных проказ Дениса. Как только наступили теплые дни, Денис и Евдоким в сопровождении своих воспитателей переселились в лагерную палатку. Мать осталась дома с младшими – трехлетней Сашенькой и Левушкой, которому недавно пошел второй год.

И вот, проснувшись однажды ночью, Денис услышал какой-то странный шум. Мальчик выбежал из палатки – и остолбенел: весь полк был на конях. Призывно играли трубачи. Командиры и солдаты находились в крайнем возбуждении. Оказалось, Суворов поздно вечером приехал из Херсона и, остановившись верстах в десяти от полтавцев, приказал всем полкам немедленно прибыть на маневры.

Спустя несколько минут в лагере уже никого не было. От досады Денис кусал губы. Рассчитывать сегодня на встречу со своим героем не приходилось. А так хотелось увидеть Суворова!

Полк возвратился в тот день к полудню. Василий Денисович, сопровождаемый офицерами, вошел в палатку усталый, запыленный, но сияющий и довольный. Полтавцы показали себя молодцами, заслужили благодарность. Недаром столько времени прилежно готовились. Оживленным разговорам о маневрах не было конца.

Денис сидел молча. Ему не терпелось поговорить с отцом о своем желании видеть Суворова, но он никак не мог выбрать удобной минуты. Заметив беспокойный взгляд сына, Василий Денисович сам разгадал его мысли.

– Ну что, дружок? – ласково обратился он к мальчику. – Хочется посмотреть маневры?

Денис, красный от волнения, благодарно взглянул на отца и молча кивнул головой.

– Что ж, это, пожалуй, можно устроить, – продолжал Василий Денисович. – Александр Васильевич ночует у черниговцев; там и поле рядом, где завтра будем отличаться. Поезжайте пораньше утром в коляске…

Денис торжествовал. Брат Евдоким, остававшийся до сих пор невозмутимым, тоже заинтересовался предстоящей поездкой. Мальчики сговорились не спать всю ночь, но, разумеется, не выдержали. Их с трудом разбудили перед рассветом, когда полк выступил уже из лагеря.

Охотников поглядеть на маневры собралось немало.

Поросший полынью и дикой ромашкой пригорок, откуда все обширное маневровое поле было видно как на ладони, заполнился чуть свет народом из ближних сел и деревень.

Мальчикам удалось выбрать удобное для наблюдений местечко, однако, как они ни напрягали зрение, разглядеть что-нибудь в густых клубах пыли, поднятой кавалерией, было невозможно. Лишь изредка среди скачущих кавалеристов появлялся какой-то всадник в белой рубашке, и тогда вокруг раздавались восторженные возгласы:

– Вот он, вот он! Батюшка наш Александр Васильевич!

Между тем солнце поднялось высоко, обещая знойный день. На небе – ни облачка. Сухой ветер обжигал лица. Горячая пыль слепила глаза. Мальчики, уставшие и разочарованные, спускались с пригорка к лагерю, намереваясь отправиться домой. И вдруг в толпе произошло движение, все куда-то побежали и закричали:

– Скачет! Скачет!

Денис повернулся и сразу увидел Суворова. На калмыцком коне он скакал к тому месту, где стояли мальчики. Суворов был в простой белой рубашке, довольно узких полотняных брюках, тонких ботфортах и легкой солдатской каске. На нем не было ни ленты, ни крестов, ни медалей.

Денис с замирающим сердцем смотрел на полководца. Глаза мальчика радостно светились. Оригинальные черты Суворова запомнились ему навсегда. Сухое, продолговатое, в частых морщинах, лицо полководца отличалось особой выразительностью. А высоко поднятые брови и небольшой рот, по обе стороны которого залегли глубокие складки, придавали этому лицу необъяснимое очарование. Большие светлые глаза словно искрились. Вся фигура, взгляд, движения поражали необычайной живостью, каким-то юношеским проворством и задором.

Суворова сопровождали штабные офицеры, адъютанты, ординарцы, а также командиры маневрирующих полков. Среди них находился и Василий Денисович.

Когда взмыленный калмыцкий конь поравнялся с мальчиками, один из адъютантов Суворова, скакавший следом за ним, крикнул:

– Граф! Посмотрите, вот дети Василия Денисовича!

– Где они? Где? – живо отозвался Суворов, сдерживая лошадь.

Денис смело шагнул вперед. Брат последовал за ним. Подскакавший на черкесском коне Василий Денисович представил мальчиков:

– Этот старший – Денис, ваше сиятельство… А младшего назвали Евдокимом, в честь деда…

Добрая улыбка озарила лицо полководца. Он важно перекрестил ребят, протянул маленькую сухую руку. Они почтительно ее поцеловали.

– Любишь ли ты солдат, друг мой? – обратился Суворов к Денису.

– Я люблю графа Суворова, – весь сияя восторгом, прерывающимся от волнения тонким голосом крикнул Денис, – в нем все: и солдаты, и победа, и слава!

– О, помилуй бог, какой удалой! – сказал с улыбкой Суворов. – Этот будет военным человеком! Я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот, – указал он на Евдокима, – пойдет по гражданской службе.

И, продолжая улыбаться, Суворов круто повернул коня и поскакал дальше, сопровождаемый свитой.

Денис, взволнованный встречей, весь день провел словно во сне. Слова Суворова поразили впечатлительного мальчика. Он не мог ничем заниматься, был тих и послушен необычайно.

А вечером опять ожидала приятная новость. Отец, возвратившись домой с маневров, объявил:

– Завтра Александр Васильевич у нас обедает.

В доме поднялся переполох. Казалось бы, приготовить обед для такого нетребовательного и скромного человека, каким был Суворов, не представляет особых трудностей. Но именно нетребовательность и простота знаменитого гостя беспокоили Давыдовых. Тот богатый, широкий образ жизни, который они вели, никак не соответствовал привычкам и вкусам Суворова. Нужно было не только позаботиться о любимых и простых кушаньях, но и соответствующим образом подготовить весь дом. Хозяева знали, что Суворов не терпит роскоши. Поэтому мягкую мебель, драгоценные вещи и безделушки из комнат убрали. В гостиной поставили один круглый стол с постными закусками, графином водки и рюмками «благородного» размера. В столовой посредине комнаты установили длинный стол, накрытый на двадцать три прибора. Никаких ваз с фруктами, лишней посуды, даже суповых мисок ставить на стол у Суворова не полагалось. Кушанья должны были всем подаваться «кипячие», прямо из кухни, с огня.

В отдельной комнате были приготовлены ванна, привезенные заранее из лагеря простыни, белье и одежда.

Суворов прямо с маневров, закончившихся в семь часов утра, раньше всех прискакал в Грушевку с одним из своих ординарцев. И сразу прошел в комнату, где помещалась ванна.

Вскоре начали съезжаться генералы и офицеры, приглашенные на обед. Все были в парадной форме и шарфах.

Василий Денисович и Елена Евдокимовна принимали в гостиной. Тут же находились и принаряженные старшие мальчики и дичившаяся всех маленькая Сашенька.

Суворов на этот раз появился совсем в другом виде, чем вчера. Генеральский расшитый золотом мундир – нараспашку. По белому летнему жилету – лента Георгия первого класса. Заметив хозяйку, Суворов быстрыми шагами направился к ней, расцеловал в обе щеки.

– Красавица! И на отца похожа, – улыбнувшись, заметил он. – Помню, помню… С покойным твоим батюшкой не раз хлеб-соль водили… Ну, а эти, – он повернулся к мальчикам, – мои знакомые… Какие славные!

Денис стоял впереди, вытянувшись по-солдатски: руки по швам, грудь колесом. «Спросит сегодня о чем-нибудь или не спросит?» – думал беспокойно он, неотрывно наблюдая за каждым жестом Суворова. Но ожидания были напрасны. Суворов не спросил. Он лишь окинул Дениса беглым взглядом и, усмехнувшись, повторил:

– Этот будет военным человеком! Вижу! Я не умру, а он три сражения выиграет!

Маленькая Сашенька, держась за мать, с любопытством смотрела на чужого дядю. Елена Евдокимовна ее представила:

– Это наша младшая, Сашенька…

Суворов наклонился, нежно погладил ее по голове.

– Что с тобой, моя голубушка? Что ты так худа и бледна?

– Лихорадка покоя не дает, – пояснила мать.

– Это нехорошо! Надо лихорадку высечь розгами, чтобы она ушла и не возвращалась к тебе, – обратился Суворов к девочке.

Сашенька поняла слова по-своему, неожиданно сморщила лобик и чуть не заплакала. Мать взяла ее на руки.

А Суворов, спокойно подойдя к столу, уставленному закусками, налил рюмку водки, выпил одним духом и стал так плотно завтракать, что смотреть любо. Все последовали его примеру[3].

Так второй раз видел Денис великого полководца. С той поры мальчик считал, что судьба его решена окончательно: он должен стать военным.

III

Денис родился в Москве 16 июля 1784 года[I]. Еще в детстве от отца он узнал, что Давыдовы принадлежат к одному из старых дворянских родов. Отец уверял, будто по прямой линии они происходят от татарского князя Тангрикула Кайсыма. У Кайсыма

был сын Минчак. Он выехал из Большой орды на службу к великому князю московскому, крестился, стал называться Симеоном Косаевичем. А его сын, Давыд Симеонович, положил начало фамилии.

Многие Давыдовы за верную службу царям московским были «жалованы» дальними вотчинами, служили стольниками и воеводами. Дед, Денис Васильевич, принадлежал к числу просвещенных людей своего времени. Он знал несколько языков, имел большую библиотеку. Водил дружбу с Ломоносовым. И не жалел средств на образование детей.

Кроме Василия Денисовича у него имелись еще два сына и дочь. Все они брачными узами соединились с известными тогда фамилиями. Мария Денисовна находилась в первом браке за смоленским дворянином, ротмистром в отставке, Михаилом Ивановичем Каховским. От этого брака остался у нее сын – Александр Михайлович, один из любимых адъютантов Суворова. Вторично Мария Денисовна вышла замуж за Петра Алексеевича Ермолова, от которого родился известный впоследствии Алексей Петрович Ермолов. Лев Денисович, будучи офицером, женился на племяннице всемогущего Потемкина, Екатерине Николаевне Самойловой, по первому браку – Раевской.

Родственные связи широко открывали Василию Денисовичу двери аристократических салонов. Он имел возможность встречаться с видными военными и общественными деятелями екатерининского времени, о чем любил рассказывать в семейном кругу.

Владея несколькими имениями в Московской, Орловской и Оренбургской губерниях, Василий Денисович считался человеком богатым. Когда Давыдовым приходилось жить в Москве, их старинный барский особняк на Пречистенке постоянно светился праздничными огнями. Знакомых наезжало много. Веселый шум, музыка не смолкали ни днем ни ночью. Балы, пикники, псовая охота – все на широкую ногу.

Детские годы Дениса ничем не омрачались. Отец любил его, баловал, на проказы смотрел сквозь пальцы.

Вскоре после памятного посещения Полтавского полка Суворовым Василий Денисович получил чин бригадира и надеялся в ближайшее время принять под команду одну из кавалерийских дивизий, стоявших близ Москвы, о чем давно уже хлопотал. Василий Денисович любил Москву, постоянно о ней скучал. Но неожиданно все изменилось.

6 ноября 1796 года скончалась императрица Екатерина II. На престол вступил сын ее Павел, сумасбродный характер которого давно всем был известен. Екатерина не допускала его к

государственным делам. Павел относился к матери враждебно, резко осуждал и ненавидел всех ее фаворитов, зато обожал короля прусского Фридриха, считал его величайшим полководцем в мире и старался во всем ему подражать. Павел жил в Гатчине, где проводил «военные занятия» по методам прусского короля, в войсках которого «солдаты боялись палки капрала более, чем пули противника».

Рассказывали, будто, узнав о смерти Екатерины, Павел примчался во дворец, не снимая шляпы, с палкой в руке, молча, со зловещим видом прошел мимо собравшихся придворных в комнату умершей императрицы. Затем вышел и, повернувшись на каблуках, стукнув палкой, сиплым голосом возгласил:

– Я ваш государь! Попа сюда!

Так началось новое царствование, не предвещавшее ничего доброго. Любимец императора, невежественный и жестокий, Аракчеев, произведенный в генералы, был назначен петербургским комендантом. Аракчеев поселился в Зимнем дворце. Осматривая боевые знамена, покрытые славой прошлых походов, Аракчеев презрительно усмехнулся:

– Екатерининские юбки…

Всех, кто так или иначе – родством, дружбой, знакомством – был связан с екатерининскими деятелями, постигла опала.

Василий Денисович чуть ли не каждый день получал печальные известия. Выслан из Петербурга брат Владимир Денисович. Уволен со службы брат Лев Денисович, а его пасынок, Николай Николаевич Раевский, служивший на Кавказе, отставлен.

Приезжавшие из Петербурга передавали, что столица превращена в военный лагерь. На заставах приказано построить шлагбаумы, учредить караулы. Гвардию переодели в прусскую форму, заставили мочить волосы квасом, посыпать мукой, пристраивать к вискам войлочные букли, а сзади – на железном пруту – подвязывать косу. Солдата, чтобы выровнять его фигуру, зажимали в станок, а под колени, чтоб не сгибал ноги на параде, подвязывали лубки. С раннего утра звонко били барабаны. Вахтпарады и военные экзерциции сопровождались невиданными жестокостями. Аракчеев за малейшую провинность собственноручно вырывал усы у гренадер.

– Солдат есть простой механизм, артикулом предусмотренный, – поучал Павел командиров.

Фельдмаршал Суворов, вызванный во дворец, отказался от немецкого мундира и ответил едкой насмешкой:

– Пудра не порох, букли не пушка, коса не тесак, а сам я не немец, а природный русак.

Павел сослал его в Кончанское. Тысячи офицеров, разделявших взгляды полководца, были уволены из гвардии и армии[4].

В доме Давыдовых стало тихо. Василий Денисович ходил сам не свой. Дурные вести следовали одна за другой. Арестован племянник Александр Михайлович Каховский, посажен в Петропавловскую крепость другой племянник – подполковник Алексей Петрович Ермолов. Оба были горячими сторонниками суворовских методов. Оба в мать, Марию Денисовну, остры на язык. Василий Денисович, тяжело вздыхая, чувствовал, что гроза его тоже не минует. И не ошибся. Дошла очередь и до него.

Приехали какие-то люди в гатчинской форме. Сначала отрешили от должности. Потом устроили ревизию. Василий Денисович в хозяйственных делах разбирался плохо и терпеть не мог бумажной волокиты. Возможно, в канцелярии на самом деле было что-то запущено. Ревизорам на руку. Отмечая каждую оплошность, они насчитали около ста тысяч казенных денег за полковым командиром и определили отдать его под суд.

Василия Денисовича от такого известия, полученного уже в Москве, куда переехала семья, чуть удар не хватил. Оправившись, он едет в Петербург с намерением добиться аудиенции у императора, найти у него защиту.

Но в Петербурге нашлись благоразумные люди. Они доказали, как невыгодна была бы для Василия Денисовича подобная встреча.

– Ваши племянники, Каховский и Ермолов, – под секретом сообщили Василию Денисовичу, – обвиняются в том, что состояли в тайном обществе, подготовлявшем насильственное устранение государя и введение такого правления, как во Франции…

– Но я же никогда не был сторонником таких мер! – воскликнул испуганный Василий Денисович.

– Посему вы и не находитесь в крепости, как они, однако согласитесь, государь не может относиться к вам, близкому родственнику заговорщиков, с прежним доверием[5].

Василий Денисович согласился. Искать аудиенции у Павла не решился. Вообще времена переменились. Будучи таким же ярым крепостником, как и мать, искореняя «вольнодумство» и «якобинство», Павел в то же время сильно ущемлял права крупнопоместного дворянства. Он запретил поездки за границу, казнил и миловал, как хотел, вмешивался в частную жизнь. Приказывал жителям столицы в определенный час вставать, обедать, ложиться спать, Да еще и меню обедов предписывал. Однажды, вальсируя на балу с княжной Лопухиной, Павел поскользнулся и упал. На другой день особым приказом

танцевать вальс строжайше всем запретил. Самодурство Павла не знало пределов. Даже близкие к нему люди выражали тайно свое недовольство. Из уст в уста передавали, будто великий князь Константин Павлович высказался про отца:

– Он объявил войну здравому смыслу с намерением никогда не заключать с ним мира и перемирия…

Василию Денисовичу посоветовали, что лучше всего, не дожидаясь решения суда, заложить часть своих имений, уплатить насчитанные на него деньги. Он так и поступил. Но стоило заложить подмосковную, как сразу же выявились значительные частные долги. Проигрывая в карты, Василий Денисович частенько выдавал долговые обязательства. Некоторые из кредиторов, узнав о закладе имения, подали эти обязательства ко взысканию. Общая сумма долгов возросла. Пришлось продать остальные поместья. И все же, хотя судебное дело прекратили, полностью расплатиться не удалось. За Василием Денисовичем осталось около тридцати тысяч казенного долга; выплатить эти деньги он обязался в рассрочку.

Вместо проданных имений Василий Денисович купил в Можайском уезде у помещика Савелова небольшое село Бородино, сам взялся за хозяйство. Кроме того, осталась орловская деревушка Денисовка. С ней Василий Денисович не захотел расстаться: там прошло его детство.

Однако доходы от этих имений были незначительны. Положение семьи резко ухудшилось. Пришлось отказаться от прежнего образа жизни и от многих старых привычек.

Денису шел уже пятнадцатый год. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, он по-прежнему думал лишь о военной карьере. Денис был мал ростом, но крепко сложен. Он старался всячески себя закалять. По-суворовски вставал чуть свет, обливался холодной водой, спал на жесткой постели. Научился превосходно обращаться с оружием, метко стрелял, а на лошади ездил, как опытный кавалерист. Отец не раз любовался его молодецкой посадкой.

Летнее время Давыдовы проводили теперь в Деиисовке или Бородине. Бородино нравилось Денису больше: там как-то привольнее дышалось, а какая чудесная была охота! Денис мог сутками не слезать с коня, рыская за лисами и зайцами по обширным бородинским полям.

Однажды день охоты для него выдался неудачный. Ни одного зайца затравить не удалось, дважды стрелял и обидно промазал; к тому же лошадь неизвестно почему начала сильно прихрамывать. Последнее обстоятельство Дениса особенно огорчало. Он знал, что в глазах отца, болезненно любившего лошадей, человек, хотя

бы случайно повредивший коня, сразу терял цену.

Возвращаясь под вечер домой, Денис нагнал по дороге босоногого деревенского мальчика, нагруженного огромной вязанкой хвороста. Заметив подъехавшего сзади молодого барина, мальчик посторонился, опустил свою ношу на землю и, тяжело дыша, вытирая рукавом посконной рубахи обильно катившиеся по лицу капли пота, с любопытством стал смотреть на Дениса.

Он был примерно в одних с Денисом годах, только чуть повыше ростом и поуже в плечах. С открытым, почерневшим от загара лицом, светловолосый, голубоглазый, он невольно располагал к себе.

Остановив лошадь, Денис полюбопытствовал:

– Куда же ты столько хворосту несешь?

– Известно, домой… Нужно на зиму-то припасать…

– А сам откуда?

– Бородинский… Савелия-кузнеца большак, Никишка, – бойко отозвался мальчик и, сделав шаг вперед, неожиданно спросил: – А чего это с конем у вас приключилось?

Денис рассказал. Никишка внимательно выслушал, поскреб в затылке и посоветовал:

– Надо моему деду Михею показать… Он всякие снадобья знает и враз коня поправить может…

– А живете вы далеко?

– Да вон она, хата наша, – указал Никишка на выглядывавшую из-за пригорка соломенную крышу. – Почитай, на самом отшибе села построились.

Денис советом воспользовался. И не раскаялся. Дед Михей, высокий, седобородый и радушный старик, осмотрев коня, обнаружил обычный малый вывих и выправил его без труда.

– Где же ты, дедушка, лекарить обучился? – спросил Денис.

– И-их, баринок, – ответил с легкой усмешкой старик, – за тридцать годов в солдатах чему не научишься… Оно верно говорится, что солдат на все руки мастак: шилом бреется, дымом греется…

– В каких же войсках тебе служить пришлось?

– В конных гренадерах состоял… С покойным Салтыковым-генералом еще походы делал, немцев били… Потом с Румянцевым турок замиряли… Много кой-чего на белом свете повидать довелось, баринок! Захаживай, коли милости твоей угодно солдатские банки послушать…

Денис с той поры стал частенько навещать старика. Привлекали не только любопытные военные истории, но и особенное умение их рассказывать. Простой, образный народный

язык, меткие словечки, шутки и прибаутки деда Михея крепко запоминались, обогащая невольно язык самого Дениса. Да и Никишка все более удивлял своей смышленостью: то лисий или волчий выводок выследит, то еще чем угодит.

Денис упросил отца сделать Никишке сапоги и подарить старое ружье. Вскоре Никишка сделался постоянным товарищем в охотничьих забавах.

Впрочем, Денису приходилось участвовать и в большой, настоящей охоте, которую устраивал Василий Денисович совместно с соседями-помещиками.

Поездка куда бы то ни было вместе с отцом доставляла Денису большое удовольствие. Отношения между ними не оставляли желать лучшего. После происшедших изменений в судьбе отца привязанность к нему Дениса возросла. Да и отец, кажется, любил старшего сына больше других детей.

Однажды они поехали в коляске к соседу-помещику покупать лошадей. Денис оказался хорошим помощником. С видом знатока он осматривал каждого коня, подавал весьма дельные советы. Когда возвращались обратно, Василий Денисович сказал:

– Ну вот, дружок, ты становишься совсем взрослым. И, право, нам давно следует поговорить о твоем будущем…

Денис насторожился. Он никогда не скрывал от отца своего твердого решения идти на военную службу. Зачем же затевался такой разговор?

– Вы знаете, батюшка, – тихо и почтительно ответил он, – я буду служить…

Василий Денисович грустными глазами посмотрел на сына и тяжело вздохнул:

– Я понимаю… Но тебе известно, дружок, как ограничены наши средства. А чтобы не умалить своего достоинства, молодому офицеру, особливо гвардейцу, необходимы лишние расходы… И немалые. Знаю по себе… – Он сделал короткую паузу, вытер платком лоб и с неожиданной резкостью добавил: – Достоинства же своего и чести Давыдовы никогда не роняли! Запомни!

– Чего же вы желаете, батюшка? – низко склонив голову, дрогнувшим голосом спросил Денис.

– Я желаю, чтобы ты сам хорошенько подумал, – произнес Василий Денисович. – Есть много способов служить с пользой для отечества и необременительно для семьи… Мне сообщили, что тебя и Евдокима можно записать в архив иностранной Коллегии…

– Нет, нет, батюшка! – горячо перебил Денис, схватив руку отца. – Я избрал военное поприще. Я не прошу ничего, кроме

вашего благословения! Я соглашусь скорее служить простым солдатом, чем сидеть в канцеляриях… Мне даже слово это противно… Не принуждайте меня, батюшка!

Взволнованность сына до глубины души тронула Василия Денисовича. Он понял, что никакие уговоры не помогут. Да и сам на месте сына поступил бы так же! «Что ж, может быть, прав окажется Суворов, пусть идет мальчик своей дорогой. Одного как-нибудь устроим, а Евдокима определим в гражданскую».

И Василий Денисович нежно привлек к себе сына, поцеловал в горячий лоб:

– Успокойся, дружочек… Неволить тебя никто не собирается. Пусть будет по-твоему!

IV

Среди московских знакомых Василия Денисовича своим умом и образованностью выделялся симбирский помещик и масон Иван Петрович Тургенев. Когда-то он принадлежал к кружку известного просветителя Николая Ивановича Новикова, был за это даже выслан и лишь недавно опять появился в Москве.

Денис подружился со старшими его сыновьями – Андреем и Александром, учившимися в Московском университетском пансионе. Мальчики были общительны, любили поспорить на литературные и философские темы. Правда, многие вопросы, интересовавшие братьев, Денису были непонятны и чужды, но литература его увлекала. Братья наизусть читали стихи Державина, басни Хемницера и Дмитриева. Они познакомили Дениса с альманахами, изданными Николаем Михайловичем Карамзиным. Андрей Тургенев, бывший года на три старше однолеток Дениса и Александра, сам пробовал сочинять. Некоторые его стихи уже печатались.

Как-то раз Александр, всегда оживленный и любезный, встретив Дениса, сказал:

– Приходи вечером к нам… Один пансионный приятель свои стихи читать будет… Чудо! Гений! Сам Карамзин хвалит!

Денис, давно подметивший в Александре склонность всех производить в гении, приглашение все же принял и вечером отправился к Тургеневым.

Юноша, которого он там встретил, произвел приятное впечатление. Среднего роста, волосы темные, густые, лоб широкий. В продолговатых восточных глазах задумчивость. С толстых, но правильно очерченных губ, казалось, не сходит легкая и добрая улыбка.

Дениса представили. Юноша приветливо протянул руку:

– Василий Жуковско́й.

Андрей Тургенев тотчас же поправил:

– Не Жуковско́й, а Жуко́вский. Карамзин говорит – так более правильно и благозвучно. Василий Андреевич Жуко́вский.

Денис заметил, как юноша почему-то смутился, покраснел и, опустив глаза, поспешно открыл лежавшую перед ним книжку.

В комнате находилось еще несколько товарищей братьев Тургеневых. Среди них самый старший – Александр Воейков. Он беспрерывно суетился, размахивал руками. Маленькие черные глазки смотрели на всех насмешливо. А самым младшим был десятилетний мальчик, сидевший смирно в углу на широком диване. Это брат Тургеневых, Николаша. Серыми строгими глазами он молча наблюдал за всеми и кусал ногти на коротких пальцах. Денис вспомнил, как возмущался мосье Шарль, отучавший его самого от этой привычки, и невольно улыбнулся мальчику. Но тот не обратил на него внимания и продолжал свое занятие, пока брат Александр не сказал ему:

– Николаша!, Пальцы! Сколько раз тебе говорили!

Мальчик, ничуть не смутившись, медленно опустил руку.

Выражение лица его осталось серьезным.

Жуковский начал читать. Голос у него мягкий, приятный, а стихи печальные.

В туманном сумраке окрестность исчезает,
Повсюду тишина, повсюду мертвый сон.

Товарищи слушали молодого поэта с напряженным вниманием. Светлые круглые глаза Андрея скоро сделались влажными. Александр Тургенев, сидевший рядом с Денисом, несколько раз толкал его в бок и восторженно шептал:

– Я же тебе говорил! Прелесть! Чудо! Гений!

Когда Жуковский кончил читать, его окружили, начали поздравлять. В комнате стало шумно. Все наперебой старались сказать что-нибудь приятное молодому поэту. Андрей, взволнованный и раскрасневшийся, крикнул даже, что теперь сам Карамзин может подавать в отставку. Один лишь Николаша, соскочив с дивана, заметно прихрамывая на левую ногу, молча скрылся из комнаты.

Денис испытывал какое-то странное чувство. Стихи, по правде сказать, ему не понравились, но в то же время он немного завидовал Жуковскому. Мысль, что этот тихий и приятный юноша, его ровесник, уже вышел на дорогу к славе, задела самолюбие. К славе Денис был ревнив! Чары поэзии не коснулись еще пылкого сердца, а любопытство к стихам пробудилось.

Созревало страстное желание самому попробовать свои силы в стихах. Разумеется, никому в этом Денис не признавался. Но, прощаясь с Тургеневыми, взял у них несколько новейших альманахов и книг. И две недели прилежно постигал стихотворную мудрость. Порой казалось ему, что нет ничего проще, как складывать слова в гладкие строфы, а стоило взять в руки перо, и мысли куда-то исчезали, а слова порхали перед глазами, славно бабочки на весеннем лугу. Нет, писать стихи оказывалось не так-то просто!

Перемарав несколько листов бумаги, испортив десяток перьев, Денис сочинил наконец нечто такое, что сгоряча принял за стихи:

Пастушка Лиза, потеряв
Вчера свою овечку,
Грустила и эху говорила
Свою печаль, что эхо повторило:
«О, милая овечка! Когда я думала
что ты меня
Завсегда будешь любить,
Увы, по моему сердцу судя,
Я не думала, что другу можно изменить!»

Следует отдать справедливость молодому поэту: в качестве первых своих стихов он все-таки усомнился и на строгий суд братьев Тургеневых представить постеснялся. Показать стихи, после долгого размышления, решил одному Жуковскому. Денис уже знал, почему тогда у Тургеневых смутился этот юноша. Он был незаконнорожденным сыном тульского помещика Бунина. Приживальщик Андрей Жуковской усыновил его по приказу барина. Эти подробности, сообщенные под секретом всезнающим Александром Тургеневым, возбудили особый интерес к Жуковскому. К тому же он оказался на редкость мягким и душевным юношей. Денис несколько раз встречался с ним. Подружился. Надеялся на его правдивость и скромность.

Прочитав стихи, Жуковский грустно покачал головой:

– Мне не хочется огорчать тебя, Денис, но не могу и душой кривить… В стихах твоих нет ни одной поэтической строчки. А между тем, – сделав короткую паузу, продолжал Жуковский, – слушая твои рассказы о войне, я вижу явственно, что поэтическое воображение тебе не чуждо… Надо писать о близких предметах, милый Денис, а не об этих овечках, кои во множестве пасутся близ Парнаса.

Стихи Денис спрятал. Совет Жуковского запомнил, но тайно

ото всех продолжал сочинять в том же духе, испытывая большую внутреннюю радость творчества.

Вместе с тем Денис настойчиво пополнял свои военные знания. Много читал и не упускал ни одного случая, чтобы не поговорить с ветеранами прошлых войн, частенько навещавшими отца.

Обладая отличной памятью, Денис научился живо и занимательно передавать многие исторические и военные события. Воспитанники Московского университетского пансиона отдавали ему должное. Разумеется, больше всего интересовались тогда Суворовым.

В начале 1799 года Москва жила слухами о военных приготовлениях. Россия в союзе с Австрией и Англией выступила против Франции. В феврале пришло известие, что император Павел скрепя сердце вызвал в Петербург Суворова. Кончанское заточение великого полководца кончилось. Он был назначен главнокомандующим соединенными русско-австрийскими силами. Павел вынужден был уступить требованию союзников. Лучшего полководца, чем Суворов, в Европе не оказалось. В середине марта Суворов находился уже в Вене. Началась знаменитая итальянская кампания.

Появлявшиеся в журналах и газетах сведения об этих событиях были сухи и коротки. Павел ввел жестокую цензуру. Неприязнь императора к Суворову чувствовалась постоянно. Восторгаться действиями Суворова цензоры считали неуместным.

И все же скрыть правду не удавалось. Она просачивалась всюду, как весенние ручейки из-под снежных сугробов. Частные известия в той или иной форме приходили из армии ежедневно. Имя Суворова у всех было на устах. Рассказывали, что полководец ни в чем не уступил императору Павлу. По прибытии к войскам отменил ношение буклей и кос, порядки установил свои, суворовские. Передавали, как он отказался подчиниться австрийскому гофкригсрату и послал русских офицеров обучать австрийцев штыковому бою, или, как он саркастически выразился, «таинству побивания неприятеля холодным оружием». Наконец начали приходить подробные реляции о блестящих победах суворовских чудо-богатырей над войсками прославленных французских генералов Моро, Макдональда, Жубера.

В доме Давыдовых военные известия обсуждались оживленно. Василий Денисович благодаря обширным связям лучше других был осведомлен о действиях Суворова.

Денис, больно переживавший опалу любимого полководца, находился теперь в приподнятом настроении, жадно ловил

каждую весточку из армии Картины суворовского похода рисовались ему необыкновенно ярко И своим товарищам о Суворове Денис рассказывал с таким жаром и вдохновением, что Александр Тургенев однажды заметил:

– Чудо, какая эрудиция! Словно сам ты при фельдмаршале состоишь неотлучно…

– Завидую каждому его солдату, – с искренним чувством отозвался Денис. – Как счастлив был бы я служить под командой Суворова!

Возможно, рассказы Дениса иной раз окрашивались юношеской фантазией. Недаром Жуковский заметил в нем поэтическое воображение. Впрочем, дело было не в этом. Среди военных имелись тогда люди, склонные объяснять суворовские победы счастливой случайностью, порывами бестолковой отважности, хотя сам полководец, как было известно, не раз иронизировал над подобными людьми:

– Помилуй бог! Все счастье да счастье, надо ж когда-нибудь и уменье! Беда без фортуны, горе без таланта!

Василий Денисович, к счастью сына, принадлежал к той группе военных, которые в действиях Суворова видели прежде всего разумный план, известную систему, вникали в намерения полководца, угадывали их. С помощью отца Денис имел возможность ближе познакомиться с методами и тактикой полководца. Жизнь этого изумительного человека стала образцом для Дениса. Суворовская военная система воспринималась органически как бесспорно лучшая из всех систем.

Денису шел шестнадцатый год. Отец писал уже письма в Петербург родным и знакомым, желая как можно лучше устроить сына. Шестнадцатилетних на действительную службу принимали. Оставалось лишь терпеливо ждать. Легко сказать – целый год! Денис вздыхал после каждого нового известия о суворовских победах. Ему не терпелось. Время движется слишком медленно. Пожалуй, на его долю не достанется славы!

V

Осень стояла холодная, дождливая. У Давыдовых все шло своим чередом Денис готовился к военной службе, Евдоким – в иностранную коллегию Десятилетняя хрупкая и нежная Сашенька училась в пансионе. Самый младший, Левушка, любимец матери, обычно послушный и тихий, ни с того ни с сего вдруг стал озорничать. На днях отрубил хвост собаке. А мальчику всего восемь лет. Что-то с ним будет! Елена Евдокимовна с грустью замечала, что Левушка ведет себя точь-в-точь как старший… Нет,

теперь, слава богу, Денис, кажется, утихомирился, а вот когда был поменьше…

Неожиданно, проездом из Петербурга, прибыл навестить дядю кавалергард-ротмистр Александр Львович Давыдов. Он толст, важен. И при разговоре чуть-чуть картавит. Денису двоюродный брат не понравился, но нарядная кавалергардская форма произвела сильное впечатление.

Александр Львович привез скверные известия. Австрийцы настаивали, чтобы русские войска были переброшены в Швейцарию, где находилась чуть не стотысячная армия французского генерала Массена. Правда, в помощь Суворову послали двадцатичетырехтысячный корпус генерала Римского-Корсакова, но все же положение создавалось трудное. К тому же Суворов, говорят, начал в последнее время сильно прихварывать. Довели австрийцы, суют нос куда не надо.

Александр Львович уехал. Переданные им сведения быстро подтвердились. Австрийские генералы, завидовавшие воинской славе русского полководца, отвергли все его предложения и сумели убедить Павла, что их план кампании, разработанный по всем правилам австрийского военного искусства, является самым лучшим.

Суворову предстояло перейти через Альпы, чтобы соединиться с корпусом Римского-Корсакова. Австрийцы обещали, но не подготовили для русских войск ни провианта, ни одежды, ни боевых припасов.

Стояли холода. Горные дороги обледенели. Сам Суворов был болен, еле держался в седле. А у французов свежая, вчетверо сильнейшая армия, удобные позиции, превосходное снабжение. Казалось, в таких условиях гибель небольшого суворовского корпуса неминуема.

Москва словно застыла в напряженном ожидании Василий Денисович ходил хмурый. Как человек военный, он более других сознавал безвыходность положения.

– Австрийцы нарочно устроили ловушку, – негодовал он. – Просто непостижимо, как государь согласился с австрийским планом?

Денис похудел, плохо спал. Драматизм развертывавшихся событий захватил его. Как поступит при таких обстоятельствах полководец? Отец говорил, будто есть возможность отступить, обойти горы… Нет, Суворов отступать не будет. Значит, должно произойти что-то необычайное, может быть, ужасное…

Однако был один человек, который относился к событиям с невозмутимым спокойствием, – это старый дядька Филипп Михайлович. Он доживал во флигеле последние дни. Денис

частенько забегал проведать старика, делился с ним новостями. Филипп Михайлович никаких предположений не делал, но свято верил, что Суворов сумеет найти выход из любого положения.

– Никто его, батюшку нашего Лександра Васильевича, не осилит, – задыхаясь от кашля, говорил старик, – сумлеваться нечего. И всякие горы пройдет и неприятеля побьет…

Разговор с дядькой всегда успокаивал Дениса. А вскоре и впрямь Москва узнала, что суворовские чудо-богатыри преодолели все преграды: Сен-Готард, Чертов мост, угрюмый и страшный Паникс.

Рассказывали, что Суворов мужественно делил с войсками все невзгоды. Он ехал верхом на казацкой лошади, в старом плаще, плохо укрывавшем от студеных горных ветров ослабленное лихорадкой тело. Обильные снегопады и густые туманы затрудняли движение. Над головой нависали скалы. Внизу зияли бездонные пропасти. Бесилась вьюга, заметая следы. Порой пробираться приходилось по узкой горной тропинке, где один неверный шаг – гибель.

– Ничего, мы русские, – ободрял войска полководец. – Где олень проходит, там и русский солдат пройдет…

Часть орудий пришлось уничтожить. Патроны кончились. Любимец Суворова, молодой генерал Багратион, раненный в левую ногу, прикрывал небольшим отрядом движение главных сил, отбивал наседавших французов штыковыми атаками.

Наконец беспримерный по героизму поход закончился. Войска соединились, стали на отдых.

– Орлы русские облетели орлов римских! – с гордостью воскликнул Суворов, объезжая поредевшие шеренги изнуренных, но бодрых духом солдат.

Денис чувствовал себя именинником. Ходил с гордо поднятой головой и сияющими глазами. Суворов снова удивил мир своей гениальностью! Непобедимый полководец жив, невредим, возвращается в Россию! Теперь, когда оставались считанные месяцы до поступления Дениса на военную службу, особенно ярко оживала в его памяти незабвенная встреча с Суворовым. «Я не умру, а он уже три сражения выиграет». Кто знает! Может быть, этому предсказанию суждено осуществиться? Старый дядька Филипп Михайлович по крайней мере не сомневался, да и отец как будто тоже. Денис был полон самых радужных надежд.

Время шло. Наступила зима. Весело пролетели святки. И вдруг поползли слухи, будто злопамятный император подготовляет великому полководцу новое заточение… Сначала слухам не поверили. Правительственная газета «Петербургские

ведомости» чуть не каждый день сообщала о высочайшем внимании к полководцу. По приказанию Павла, недовольного союзниками, армия возвращалась домой. Всем участникам похода выданы награды. Суворову присвоено звание генералиссимуса российских войск. Петербург готовил торжественную встречу с пушечной пальбой и колокольным звоном. Однако к весне имя Суворова на страницах газет стало появляться все реже. А слухи росли и начали подтверждаться.

Суворов, совсем больной, ехал медленно, с длительными остановками. Силы уходили. Он чувствовал: конец его близок.

Узнав о присвоении звания генералиссимуса, Суворов только вздохнул и с грустью заметил:

– Велик чин! Он меня раздавит! Жить осталось недолго…

Состояние больного требовало полного покоя. Император избрал удобный момент, чтобы окончательно сразить ненавистного человека. Суворову было поставлено в вину, что он держал при себе дежурного генерала, а в войсках ввел «обыкновенный шаг, нимало не сходный с предписанным уставом». Высочайшие рескрипты, выражающие неудовольствие, были вручены больному в карете, недалеко от столицы. Неожиданная опала походила на предательский удар в спину. Возражать против смехотворных обвинений не имело смысла. Да не было уже и сил!

Суворова привезли в Петербург темной апрельской ночью. Торжественную встречу император отменил. Приезжать во дворец запретил. Адъютантов отобрал. Народ, стекавшийся к дому Хвостова на Крюковом канале, где остановился великий полководец, разгоняла полиция.

А Суворов не вставал уже с постели, метался в бреду, не узнавал окружающих. Разум его медленно угасал. 6 мая 1800 года Суворов скончался.

… Несмотря на то что «Петербургские ведомости» по распоряжению императора не сообщали ни о кончине, ни о дне похорон полководца, скорбная весть быстро облетела страну. В Москве повсюду наблюдалось скопление народа. Москвичи не скрывали своего негодования действами императора. Губернатор распорядился усилить полицейский надзор.

В церквах беспрерывно служили панихиды. Слышались рыдания. Многие военные и чиновники надели траур. Подробности о смерти и похоронах Суворова обсуждались в каждом доме, в каждой семье. Рассказывали, что император запретил придворным и гвардии участвовать в похоронах, но все население столицы вышло проводить полководца в последний путь. Гроб везли на катафалке с высоким балдахином. Когда

похоронная процессия приблизилась к воротам Александро-Невской лавры, шествие остановилось. Опасались, что катафалк не пройдет в ворота, гроб нужно будет нести на руках.

– Не бойтесь, пройдет! Суворов везде проходил! – крикнул суворовский старый гренадер.

И в самом деле, катафалк в ворота прошел.

… Все эти события словно тяжелым камнем придавили Дениса. Слишком многое связывалось для него с именем Суворова! С детских лет волновало его это имя… потом произошла неизгладимая встреча… потом детское обожание полководца сменилось чувством глубокого преклонения перед его гениальностью… И вот Суворова не стало.

Сначала эта весть просто ошеломила. Горе было огромно, причиняло почти физическую боль. Но тяжесть утраты, вызвав крушение каких-то честолюбивых мечтаний, стала более ощутительной, когда появились мысли о том, что же будет дальше, без Суворова? Денис смутно догадывался о причинах резкого охлаждения императора к полководцу. Выработанная Суворовым военная система никак не походила на военную организацию Павла, создаваемую по прусским образцам. Суворов, конечно, никогда бы не согласился признать необходимость всех этих вахтпарадов и жестокой муштры, над чем ядовито всегда издевался. Смерть Суворова окончательно развязала руки Павлу. Отныне военная доблесть будет определяться не действиями на бранном поле в суворовском духе, а точным соблюдением правил маршировки, предписанных уставом. Глухая неприязнь к императору, давно бродившая в душе Дениса, продолжала расти… Военное поприще уже не казалось таким заманчивым, как раньше. Денис не собирался гарцевать на Царскосельском плацу перед сановной публикой в немецких мундирах. Он мечтал об ином.

Домашние редко видели теперь его веселым. Страстного желания как можно скорее надеть военный мундир он уже не испытывал. Прежний пыл погас. Приближался день поступления на военную службу, а Денис никому об этом даже не напоминал.

Родителям не казалась странной такая перемена в сыне. Смерть Суворова их тоже расстроила. Служить в гвардии, несомненно, сейчас тяжело. Командные посты заняты ставленниками невежественного Аракчеева, от произвола и капризов которых не спасали ни возраст, ни чины, ни звания. Василий Денисович решил, что со службой лучше всего подождать. Денис еще молод. Авось времена, даст бог, переменятся к лучшему! Так думали тогда во многих дворянских семьях.

Лето, как обычно, семья проводила в Бородине. Денис помогал отцу по хозяйству. По-прежнему часто бывал на охоте. Много читал. У Тургеневых достал голиковские «Деяния Петра Великого», просиживал над ними ночи. Образ Петра увлекал его с каждым днем все больше.

Как-то вечером, разговаривая с отцом о делах Петра, Денис заметил:

– А наш государь на своего прадеда ничем не походит… Хуже, должно быть, царя и не было…

Василий Денисович нахмурился, ответил строго:

– Вот что я тебе скажу, Денис… Не нам государей судить. Ты эти мысли якобинские не смей в голове держать. Слышишь?

– Простите, батюшка… Просто с языка сорвалось… – Денис покраснел.

Подобные разговоры между отцом и сыном больше никогда не возникали. Денис жил в семье, где иной раз подвергали умеренной критике действия правительства, роптали, когда ущемлялись дворянские права, но где никогда не сомневались в необходимости монархического режима. Революционные события во Франции здесь, безусловно, осуждались. Бонапарта, ставшего консулом, считали безбожником и узурпатором.

О тайном заговоре, в котором участвовали племянники, говорилось шепотом, как и о сочинителе Радищеве, авторе конфискованной книги «Путешествие из Петербурга в Москву», лишь недавно возвращенном из сибирской ссылки.

Прошло несколько месяцев. Зимой в Москве Денис часто встречался со своими приятелями – воспитанниками университетского пансиона. Вместе они обсуждали карамзинские альманахи, читали стихи, спорили. Дениса заинтересовали басни. Прочитал все, что было написано Хемницером и Дмитриевым. Среди французских книг матери обнаружил томик Лафонтена и басни Сегюра. Пробовал делать переводы.

Интерес к басням возник, конечно, не случайно. Мысли, которые отец запретил держать в голове, все же продолжали беспокоить. Дома строго соблюдали установленные правила: о политических делах, по крайней мере при детях, не говорили. Но кое-кто из молодых приятелей без стеснения называл императора деспотом. Денис знал, что не он один осуждает человека, причинившего всем столько зла и погубившего великого полководца. Ему казалось, что басня очень удобное прикрытие для небольшой атаки на неприятеля.

Одна из басен Сегюра – «Дитя, зеркало и река» – особенно понравилась. Нужно лишь изменить немного содержание, и… всякий догадается, о ком идет речь! Замысел созрел быстро.

Образы родились ясные. Мудрец, осужденный царем за правду, удивительно напоминал Суворова, а курносый царь походил на моську. Нет, это сравнение придется заменить. Слишком ясно. За слово «моська» какую-то барыню, говорят, недавно взяли в полицию. Надо придумать что-то другое.

Сделать вольный перевод басни было значительно труднее. Удались, на его взгляд, всего четыре первые строки:

За правду колкую, за истину святую,
За сих врагов царей, – деспот
Вельможу осудил: главу его седую
Велел снести на эшафот…

Но вскоре басни пришлось оставить. Произошло неожиданное событие, опять изменившее всю жизнь Дениса.

Однажды ночью его разбудил шум в доме. Василий Денисович, находившийся в гостях, возвратился необычайно возбужденным. Первые слова отца, которые уловил Денис, все объяснили:

– Государь скончался от удара… Присягают наследнику Александру Павловичу… «Все будет как при покойной бабушке…»

О какой «бабушке» шла речь, Денис не понял. Лишь позднее узнал, что это была одна из первых фраз, произнесенных молодым императором. Василий Денисович говорил бессвязно, дрожащим голосом и плакал, хотя Денису казалось, что смерть царя не столько печалит, сколько радует отца. Впрочем, ему было не до наблюдений. Воскресли былые надежды. «Теперь надо поскорее ехать в Петербург» – эта мысль вытеснила все остальное. И в тот же день Денис высказал ее отцу. Василий Денисович возражать не стал. Начались спешные сборы.

И вот уже тройка, запряженная в кибитку, стоит у ворот дома. Отец дает последние указания. В Петербурге сейчас два племянника: Александр Львович Давыдов и только что освобожденный из крепости Александр Михайлович Каховский. Они обещали оказать помощь. Обоим письма. Денег в дорогу четыреста рублей ассигнациями.

. – На первое время хватит. Но расходовать надо бережно, сам понимаешь…

Елена Евдокимовна вся в слезах шепчет:

– Карт проклятых никогда не бери в руки, голубчик.

Денис молча целует мать. На карты зарок дает крепкий.

Лошади фыркают, бубенчики позванивают. Щедрое весеннее солнце заливает тихую Пречистенку. В безоблачном небе поют жаворонки. Денису грустно. Как-никак впервые пускается он в

далекий путь один. Когда еще придется свидеться? И что-то ждет его в столице?

Василий Денисович крепко прижимает сына к груди, крестит. Евдоким, Сашенька, Левушка стоят на крыльце притихшие…

Денис садится в кибитку. Кучер трогает вожжи. Прощайте, родные! Прощайте, детские годы! Прощай, Москва!

VI

На просторных столичных проспектах давно уже не видели такого оживления, как весной 1801 года. Внезапная кончина императора Павла всех обрадовала. Объявленный годовой траур превратился в праздник. Встречаясь на улице, люди обнимали друг друга и, улыбаясь, декламировали последние стихи поэта Державина:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный зрак.

Военные, не дожидаясь распоряжений, снимали ненавистные букли и косы. Появились запрещенные Павлом русские экипажи, мундиры, костюмы. Гостиницы заполнились приезжими – отставными генералами и офицерами, помещиками. Без конца все толковали о предполагаемых реформах и с надеждой ожидали милостей, наград и хороших мест от нового императора.

Денис на первых порах остановился у Александра Львовича Давыдова, занимавшего второй этаж большого дома против Адмиралтейства. Дом принадлежал его дяде – графу Александру Николаевичу Самойлову. Александр Львович был холост и не знал счета деньгам. Богатая мать, Екатерина Николаевна, в средствах детей не ограничивала. Александр Львович принял двоюродного брата любезно, обещал с кем-то поговорить, помочь, но, по обыкновению, на другой же день обо всем забыл. В доме ежедневно справлялись праздники и холостые пирушки. Хозяин любил покушать, держал француза-повара; обеды и ужины поражали вкус любого гастронома. Народу, главным образом сиятельных гвардейских офицеров, собиралось много. Говорили о дворцовых новостях, чинах и наградах. Рекой лилось шампанское. Шла крупная картежная игра.

Здесь впервые Денис услышал некоторые подробности о смерти императора Павла. Оказывается, он не умер от удара, а был убит! Заговорщики (среди них шепотом называли имена петербургского генерал-губернатора Палена, командира

преображенцев Талызина и бывших екатерининских фаворитов братьев Зубовых), недовольные политикой Павла, ночью ворвались в царские покои[6]. Императора задушили, до неузнаваемости изуродовали. Гвардейцы, смеясь, рассказывали о случае с солдатами дворцового караула. Утром после убийства Павла их хотели привести к присяге новому императору, но они стали просить офицеров сначала показать им скончавшегося.

– Это же невозможно, господа, – обращаясь к офицерам, сказал генерал Беннигсен, будто бы причастный к заговору. – У покойника весьма обезображенный вид, просто смотреть страшно. Прежде надо обрядить и привести его в порядок.

И когда двое из солдат, все же допущенные в спальню Павла, посмотрели на убитого царя и возвратились, генерал Беннигсен спросил:

– Ну что, братцы, убедились теперь, что государь Павел Петрович умер?

– Так точно, ваше превосходительство, – ответили солдаты. – Убедились вполне! Крепко помер!

Денис никогда не любил Павла, но обстоятельства убийства царя невольно вселили в его душу ужас. Денис не спал две ночи. Огромная, убранная стильной мебелью, зеркалами и коврами комната, отведенная для него, казалась мрачной. Да и гости Александра Львовича, относившиеся к нему с великосветской надменностью, не вызывали никакой симпатии.

Денис перебрался к другому двоюродному брату – Александру Михайловичу Каховскому, жившему на Галерной. Здесь все было проще и милей. Квартира чем-то напоминала родной дом. Мебель по-домашнему покрыта белыми чехлами. На окнах вместо тяжелых штор – кружевные занавески. Много цветов, картин и книг.

Каховскому перевалило за тридцать. Среднего роста, широкоплечий, с темными выразительными глазами, остроумный и насмешливый, он встретил Дениса по-родственному, душевно. Но, оглядев его, не удержался от иронического замечания:

– Ох, мал ты ростом, брат Денис! Не представляю, какой из тебя кавалергард будет.

Денис густо покраснел. Ему не раз указывали на этот физический недостаток. Догадавшись, что задел чувствительное место, Александр Михайлович поспешил успокоить:

– Ну, да мы все-таки попытаемся… Есть у меня среди преображенцев приятель – молодой князь Борис Антонович Четвертинский. Он с командиром кавалергардов, кажется, дружит. Поговорю с ним.

Динамюндская крепость, где отбывал заключение Каховский,

расшатала его здоровье. Александр Михайлович часто кашлял, жаловался на ревматизм, однако от своих убеждений не отказался, по-прежнему оставался «приверженцем вольности», как назвал его некогда следователь.

Уважая дядю Василия Денисовича, слезно просившего «не внушать Денису опасных мыслей», Каховский о своих убеждениях и намерениях не откровенничал, но все же любознательному Денису удалось кое-что узнать и о смоленском заговоре, и о целях, которые ставили перед собой заговорщики, и о том, как попал Каховский в крепость, а брата Алексея Петровича Ермолова сослали в Кострому.

Денис никогда не видел Ермолова, а познакомиться с ним очень хотелось. Каховский, словно отгадав его мысли, сказал:

– Теперь брат Алексей поехал в свое орловское имение проведать отца и матушку, должен вот-вот сюда показаться… Будет вроде тебя хлопотать о службе.

Сам Александр Михайлович снова надевать мундир как будто не собирался. Он принадлежал к тому немногочисленному слою военных, которые не мирились ни с какими отступлениями от суворовских традиций. Эти военные относились к предполагаемым реформам скептически. Пристрастие Александра к маршировкам, немецким порядкам, а также старая приязнь к Аракчееву были им хорошо известны и внушали большие опасения за будущее.

Как-то вечером, прогуливаясь у Летнего сада, Денис чуть не столкнулся с молодым царем. Александр был в мундире Преображенского полка, шел медленно; красивые серые глаза его казались усталыми. Несколько придворных и военных, следовавших за ним, еле сдерживали толпу, напиравшую со всех сторон. Чиновники, лавочники, обыватели и нарядные женщины приветствовали императора восторженными криками.

Дениса взволновала эта встреча. Охваченный чувством какого-то самозабвения и восхищения, он не замечал никого, кроме этого человека, за которого готов был, ни минуты не раздумывая, броситься в огонь и воду.

Когда наконец император скрылся, Денис, изрядно помятый, но возбужденный и сияющий, примчался к Каховскому. И еще на пороге кабинета крикнул:

– Видел государя! Совсем простой и ласковый! Жизнь отдать не жалко!

Каховский, сидевший с книгой в кресле, сдержанно улыбнулся. Юношеский порыв и восторженное состояние Дениса были понятны. Рассказ его выслушал внимательно. И вздохнул:

– Да, государь у нас как будто славный, его любят… Дай бог,

чтоб мы не ошиблись.

– Как можно! Увидите, все пойдет по-новому, он прославит Россию! – с горячностью воскликнул Денис.

По тонким губам Каховского скользнула легкая усмешка. Он разгладил правой рукой собравшиеся на широком лбу морщинки и ответил не сразу:

– Все возможно, брат Денис. Однако ж не следует забывать, что благие намерения государей не всегда приводятся в исполнение. – Каховский сделал паузу, темные глаза его насмешливо прищурились, он перешел на свойственный ему иронический тон: – «Бештимтзагеры», сиречь немецкие педанты, коих осмеивал великий Суворов, сидят на прежних местах. Экзерциргаузы и вахтпарады продолжаются. Букли срезаны, а косы оставлены. И в Грузине, близ столицы, Аракчеев разводит индюшек, ожидая своего часа. Признаюсь, хорошего не предвижу!

Денис чувствовал себя так, словно его ушатом холодной воды окатили. Он был молод и не искушен во многом. Разумеется, Александр Михайлович осведомлен во всем лучше, чем он, и напрасно говорить не будет. Но образ молодого царя казался таким прекрасным, что не хотелось думать ни о чем дурном.

– Неужели вы допускаете, будто государь снова призовет Аракчеева? – дрогнувшим голосом спросил Денис.

– Ну, на такой вопрос, сам понимаешь, вряд ли кто сможет ответить, – пожал плечами Каховский. – Я высказал лишь некоторые свои опасения…

– Ведь все так радуются новому царствованию, почтеннейший брат, – возразил Денис, – что, право, подобные опасения кажутся невозможными.

Каховский окинул Дениса внимательным, строгим взглядом и, чуть помедлив, сказал:

– Я не буду тебя разубеждать, а расскажу один случай из древней истории. Жил некогда, если не ошибаюсь, в Сиракузах жестокий правитель по имени Дионисий. И вот, когда он умер, все стали ликовать. Только одна древняя и нищая старуха, услышав о смерти Дионисия, горько заплакала. Горожане, понятно, удивились: «Что же ты, бабушка, плачешь? Ведь умер тиран, радоваться надо!» – «Эх, милые мои, – вздохнула старуха, – я на своем веку пятерых тиранов пережила, да всегда оказывалось, что каждый новый вдвое хуже покойного был… Вот я и плачу!» Да, брат Денис, – заключил Каховский, – всякое бывает… Иной раз и старушку эту вспомнить следует!

Денис ничего не ответил. Было ясно, Александр Михайлович знает что-то большее и в добрые намерения молодого царя никак не верит. Денис молча достал платок и вытер холодный пот на

лбу. Продолжать разговор на эту тему не решился.

VII

Больной ревматизмом, Каховский большей частью находился дома, читал книги, занимался описанием суворовских походов. Он считался крупным знатоком военного дела, славился как изумительный рассказчик. И конечно, чаще всего говорил о Суворове. Все характерные интонации и жесты великого полководца Каховский передавал с таким мастерством, что Денис, слушая брата, каждый раз открывал в любимом герое новые, еще не известные ему черточки. Денис знал Суворова как гениального стратега и реформатора военной системы, как своеобразного и остроумного человека. В передаче Каховского подчеркивалась тонкая, обличительная суворовская ирония.

Особенно прочно Денису запал в память рассказ Каховского о случае с французским эмигрантом графом Кенсона, служившим во время польского похода волонтером в русских войсках. Не отличаясь ни военными знаниями, ни храбростью, Кенсона кичился своим знатным происхождением, был спесив и чванлив. Заметив на его груди какой-то иностранный орден, Суворов спросил:

– Какой это орден и за что им награждают?

– Мальтийский, ваше высокопревосходительство, – выпятив грудь, ответил Кенсона. – А награждаются им лишь члены знатных фамилий…

– Какой почтенный орден! – воскликнул Суворов. – А позвольте-ка, сударь, посмотреть его!

Кенсона снял орден, протянул Суворову. Тот повертел его в руках и, показывая окружающим, сказал:

– Ах, какой почтенный орден! Какой почтенный!

Затем, обратившись к офицерам, имевшим ордена за боевые заслуги, стал поодиночке их спрашивать:

– Ну, а вы за что получили свои ордена?

– За взятие Очакова!

– За Рымник!

– За штурм Измаила! – с нескрываемой гордостью отвечали офицеры.

Выслушав краткие, выразительные ответы, Суворов улыбнулся и, не скрывая иронии, сказал офицерам:

– Ваши ордена ниже этого. Ваши ордена пожалованы вам за храбрость и мужество, а этот… за знатный род!

Интерес Дениса к русской истории и его особую любовь к Суворову Александр Михайлович быстро заметил. Похвалил. Но

знания признал весьма скудными. И не удержался от насмешки:

– Что это за солдат, Денис, который не надеется быть фельдмаршалом? А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?

Денис при каждом ироническом замечании брата, задевавшем самолюбие, сначала вспыхивал, обижался, но затем, поняв, что говорится это не от злого сердца, стал к советам прислушиваться. Тем более что вскоре и сам почувствовал недостаточность своего образования. Князь Борис Четвертинский, молодой голубоглазый гвардеец, представленный Каховским, да и другие офицеры, относившиеся к Денису участливо, задавали иной раз такие вопросы, ответить на которые он затруднялся.

Необходимо было во что бы то ни стало продолжать образование. Каховский выручил: составил список нужных военных книг, предложил пользоваться своей библиотекой, занимавшей огромную комнату. Здесь помимо большого количества редкой военной литературы Денис обнаружил сочинения Вольтера, Шекспира, Мольера, такие интересные для него книги, как «Поэтическое искусство» Буало и стихи Эвариста Парни. Увлечение Дениса стихами не проходило. И хотя он чувствовал, что форма, в которую облекал свои эпиграммы и подражательные стихи, далека от совершенства, все же чуть ли не ежедневно упражнялся в пиитическом искусстве.

Между тем малый рост Дениса являлся большим препятствием для поступления в кавалергардский полк, куда он ранее был записан. Денис ничего не желал теперь так страстно, как подрасти. Каждый день он упражнялся в вытягивании ног, делал всевозможные подкладки в сапогах – ничего не помогало. Каких-то двух-трех вершков не хватало! Находившееся в библиотеке венецианское зеркало, перед которым, оставшись один, он часто простаивал, отражало малопривлекательный образ. Низкорослый, взъерошенный юноша с небольшим круглым лицом, с шишечкой вместо носа и редкими черными усиками порой приводил Дениса в отчаяние…

Однажды, производя перед зеркалом обычные упражнения, то поднимаясь, то опускаясь на носках, Денис услышал тихий, приглушенный смех. Он обернулся – и вздрогнул от неожиданности, В дверях, полускрытый портьерами, стоял молодой человек богатырского сложения. Широкие плечи его прикрывал легкий плащ старинного покроя. Темные курчавые волосы, словно львиная грива, украшали красиво посаженную голову. Резкие черты лица выдавали характер решительный и гордый. Быстрые, проницательные глаза смотрели весело и насмешливо

Сделав два шага вперед, богатырь остановился и, разведя руками, откровенно рассмеялся:

– Нет, братец, тут уж ничего не поделаешь, если таким уродился… Природа!

Денис счел себя оскорбленным. Побагровел, вытянулся, сжал кулаки:

– Я не позволю над собой смеяться, сударь…

Но досказать не успел. Вошел улыбающийся Александр Михайлович.

– Ну как, познакомились?

– Сатисфакции требует, – указывая на Дениса и продолжая смеяться, обратился богатырь к Каховскому. – Сами судите, почтенный брат, сколь приятно наше первое знакомство…

Денис наконец-то догадался: «Ермолов! Как же это в голову мне не пришло? Глупость какая…» На него словно столбняк напал. И от стыда просто не знал, что делать. Ермолов подошел, протянул руку:

– Мира прошу, брат Денис… Кто старое помянет – тому глаз вон!

И совсем уж серьезно добавил:

– Нам с тобой, братец, будет с кем воевать… Спускать обиду никому, конечно, не стоит, однако ж прежде во всем подробно разобраться надлежит…

Ермолову недавно пошел двадцать пятый год. Но за плечами у него была уже большая, интересная жизнь. Семнадцати лет от роду в чине капитана он отличился при штурме Праги. Сам Суворов наградил его георгиевским крестом. Потом Алексей Петрович побывал по служебным делам в Германии, Австрии, Италии. Волонтером австрийской армии сражался с французами. Проделал персидский поход. В Костроме, отбывая ссылку вместе с донским атаманом Матвеем Ивановичем Платовым, он не терял времени зря: пополнял свои и без того обширные военные знания, основательно изучил латинский язык.

Не похожий внешностью на брата Александра Михайловича, Ермолов имел много общего с ним в характере. Оба не терпели бездарного начальства и угодничающих подчиненных. Оба славились даром речи – всегда иронической, а иногда и язвительной.

В Петербурге на этот раз Ермолову не очень-то повезло. Каховский во многом оказался прав. В военных канцеляриях оценивали офицеров не по боевым заслугам и знаниям, а по склонности к экзерциргаузам. Ермолову, как и брату, все эти порядки были глубоко чужды. После долгих бесплодных хлопот он начал уже подумывать о гражданской службе.

Денис быстро сблизился с Алексеем Петровичем. Они стали неразлучны Твердый характер, трудолюбие, любовь к отечеству, несокрушимая вера в преимущества суворовской системы перед всеми иными, а главное, смелость в суждениях и проницательность – все эти качества Ермолова привлекали Дениса необычайно.

Ему запомнился один случай. Гуляя под вечер с Ермоловым, они встретили пожилого, бедно одетого офицера в отставке. Старинный, екатерининских времен, порыжевший и засаленный мундир висел на тощем теле старика, как мешок. Левый рукав болтался пустой. А в правой руке старик нес – очевидно, с базара – тяжелую корзину с овощами. Он поминутно останавливался, чтобы отдышаться. Проводив его взглядом, Ермолов грустно вздохнул:

– Вот, Денис, какова участь людей заслуженных, но не имеющих протекции у сильных мира сего… Бедный старик этот, по фамилии Кузьмин, достоин вечной славы российской. Храбрость его Румянцева и Суворова восхищала. Потеряв руку в турецких войнах, был Кузьмин в чине майора назначен комендантом одного из балтийских портов. И вот, когда флот шведский под командой герцога Зюдерманландского осадил в тысяча семьсот восемьдесят восьмом году этот порт, майор Кузьмин с горстью храбрецов отбил все атаки шведов. Послал герцог к нему офицера с предложением сдаться и открыть ворота, а Кузьмин, усмехнувшись, ответил: «Передайте герцогу, что нечем мне ворота открывать. Одна рука, да и та шпагой занята». – Ермолов сделал короткую паузу и с чувством добавил: – Да, горжусь, Денис, что таковых героев отчизна наша рождает, коих во всем свете не сыщешь! Однако ж нам с тобой, яко незнатным, – он усмехнулся, – надлежит не обольщаться надеждами на милость высоких особ. Собственной головой и трудами долю свою искать нам. Вот что запомни крепко!..

Денис запомнил. Ермолов на всю жизнь стал его надежным другом и наставником.

Осенью Алексей Петрович все-таки получил службу. Он был назначен командиром конноартиллерийской роты, стоявшей в Вильно, куда вскоре и выехал.

Денису тоже наконец сообщили приятную новость: князь Борис Антонович Четвертинский договорился с начальством. 28 сентября 1801 года Дениса приняли эстандартюнкером в кавалергардский полк. Через год его произвели в корнеты.

VIII

Кавалергардский, расшитый золотом, белый мундир красив и привлекателен. Зато носить этот мундир дворянину с ограниченными средствами и без особых связей не легко. Товарищи Дениса в большинстве принадлежали к знатным и богатым фамилиям. Жили кавалергарды беспечно и разгульно. Имели великолепные квартиры, выезды, ливрейных слуг. Хвастали кутежами и связями с женщинами. На службу смотрели как на средство для легкой карьеры.

Денис вынужден был жить на жалованье. Каких-то сто рублей в треть года! При его вспыльчивом характере и острой чувствительности неприятности поджидали на каждом шагу. Денис не снес бы ни одной малейшей насмешки. Дело могло кончиться дуэлью. Он это превосходно понимал. Стало быть, чтобы поддерживать свое достоинство и репутацию, необходимо с самого начала установить для себя твердые правила поведения, как советовал ему Алексей Петрович Ермолов. Денис исправно служил, дорожил честью полка, не брал денег в долг, сторонился завзятых картежников, раз навсегда объяснив всем, что дал зарок в карты не играть. Держался со всеми на равной ноге, без излишней фамильярности. На пирушках бравировал независимостью своих суждений, пленял многих анекдотами и рассказами. Командир полка Павел Васильевич Голенищев-Кутузов относился к нему хорошо, не раз ставил в пример как исполнительного офицера. Другие кавалергарды тоже составили мнение, что «маленький Денис» славный малый и неплохой товарищ.

Но вскоре жизнь изменилась к худшему… Из Москвы пришло неожиданное известие, что Василий Денисович опасно заболел. Пришлось брать долгосрочный отпуск. Еще недавно мечтал Денис показаться в блестящем мундире московским приятелям, поразить их своим бравым, молодецким видом, и вот как грустно складывались обстоятельства. Домой ехал с тяжелым предчувствием. И не ошибся.

Болезнь отца, а затем и смерть его переживались мучительно и долго. Будущее представлялось в самом безрадостном виде. Денис оставался старшим в семье, на плечи ложились новые и немалые заботы. Казенные и частные долги отца не выплачены, их стало больше. Василий Денисович до самой смерти не прекращал картежной игры. Маленькое Бородино приносило доход незначительный.

Конечно, можно было обратиться за помощью к богатым

родственникам, но никто в семье об этом и не заикался: гордость не позволяла. После долгих советов и размышлений нашли другой выход из положения. Брат Евдоким, повзрослевший и возмужавший, уже второй год вместе с Александром Тургеневым служил в архиве иностранных дел, где платили сущие пустяки. Пожалуй, лучше будет, если Евдоким тоже поступит в кавалергарды. Все-таки жалованье больше. И, главное, есть надежда со временем выплатить долги, которые Денис и Евдоким великодушно принимали на себя. Сашенька и Левушка останутся пока с матерью; им одним хватит бородинских доходов. Впоследствии же старшие братья устроят на военную службу и Левушку. А Бородино пойдет за Сашенькой.

… В Петербург Денис и Евдоким поехали вместе, взяв с собой бывшего отцовского казачка Андрюшку, разбитного и продувного хлопца. Поселились в скромной квартире близ конногвардейских казарм. Евдоким был рослый, красивый юноша. В полк определился быстро. Но служба становилась с каждым днем все труднее и труднее…

Болтовня о предстоящих реформах кончилась. Восторги утихли. Надежды на либерализм молодого царя не оправдались. Денис теперь все больше в этом убеждался. Вахтпарады продолжались, муштровка усиливалась. Серьезному военному образованию предпочиталось мелочное соблюдение уставных правил, равнение шеренг, выравнивание носков. Военная форма стала более неудобной. Широкие и длинные мундиры прусского образца перешили в узкие и короткие. Низкие отложные воротники сделали стоячими и до того высокими, что трудно было повернуть голову.

Наконец, в середине мая 1803 года случилось то, что предсказывал Александр Михайлович Каховский: император вызвал из Грузина всем ненавистного Аракчеева. Он был милостиво принят, назначен главным инспектором артиллерии.

Весть эта вызвала бурное негодование среди военных. Всем памятны были оскорбительные выходки Аракчеева и его деспотический произвол. Даже скромный и никогда не осуждавший действий правительства Четвертинский не скрывал раздражения:

– Черт знает что творится! Опять начнут вертеть нами, словно пешками.

Денис возмущался не менее других. С именем Аракчеева связывались у него почему-то и тяжелые воспоминания о смерти Суворова и несчастья, обрушившиеся на голову отца. И вот снова угрюмый, злобный гатчинский капрал сидит в кабинете императора… И разумеется, хорошего ожидать не приходится…

Борис прав, будут теперь вертеть всеми, как пешками. В голове Дениса невольно складывались озорные строки. «Пешки» иногда тоже могут кое-что сделать! Сравнения напрашивались сами. Слова смыкались в стройный порядок.

Как-то ночью, взлохмаченный, с горевшими глазами, Денис разбудил крепко спавшего Евдокима.

– Ты послушай, как здорово! – возбужденно говорил Денис, размахивая листком бумаги. – Клянусь честью, сам не ожидал!

– Да что такое? – протирая глаза и недоумевая, спросил брат, приподнявшись на постели.

– Басню написал, черт возьми! – воскликнул Денис. – Назову «Голова и Ноги». А там всякий разберется…

И он, выделяя фразы, имевшие особый смысл, с чувством прочитал:

Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно
Разговорились с Головой:
«За что мы у тебя под властию такой,
Что целый век должны тебе одной повиноваться;
Днем, ночью, осенью, весной,
Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться
Туда, сюда, куда велишь;
А к этому еще, окутавши чулками,
Ботфортами да башмаками,
Ты нас, как ссылочных невольников, моришь
И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами,
Покойно судишь, говоришь
О свете, о людях, о моде,
О тихой иль дурной погоде;
Частенько на наш счет себя ты веселишь
Насмешкой, колкими словами
И, словом, бедными Ногами,
Как пешками, вертишь». —
«Молчите, дерзкие, – им Голова сказала, —
Иль силою я вас заставлю замолчать!..
Как смеете вы бунтовать,
Когда природой нам дано повелевать?» —
«Все это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,

Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись – как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить».
Смысл этой басни всякий знает…
Но должно – тс! – молчать: дурак – кто все болтает.

– Браво! Просто прелесть! – одобрил Евдоким. – Дай-ка мне, я перепишу… Только, по моему мнению, слово «пешки» заменить следует «шашками»… Да и вместо «величества» другое слово требуется. Очень уж ты разошелся! Нагореть может!

– Ладно, поправим, – согласился Денис и рассмеялся: – Басня же… Не такие еще пишут!

Вскоре, переписываемая из одной заветной тетрадки в другую, басня молодого кавалергарда Давыдова уже гуляла среди военных. Нашлись люди, причастные к литературе, которые по-настоящему оценивали достоинства произведения, признав в авторе несомненный талант. Один из таких людей – Сергей Никифорович Марин, офицер Преображенского полка, с которым познакомил Четвертинский, – славился своими бойкими, шуточными стихами. Его пародия «Признание в любви военного» имела большой успех среди гвардейцев. Познакомившись с Денисом, Марин сказал:

– Вы обладаете всем, чтоб стать превосходным писателем… Но послушайте мой добрый совет: избегайте столь резких концов, как в этой басне, не заостряйте слишком сатирической мысли…

Другим ценителем был один из друзей Каховского – офицер Измайловского полка Алексей Данилович Копьев. Смуглый, худощавый и желчный, не терпевший, как и Каховский» всяких «бештимтзагеров», Алексей Данилович при Павле был разжалован в солдаты за появление на маскараде в «шутовской» одежде, являвшейся карикатурой на гатчинскую форму. Снова офицерский мундир надел недавно. Копьев лет десять назад написал либретто комической оперы «Лебедянская ярмарка», сочинял ядовитые, порой циничные экспромты, перевел трактат французского политического деятеля Неккера «Счастье дураков».

Зайдя к Каховскому, Алексей Данилович сказал:

– Ну, любезный друг, братец твой Денис меня удивил… Не ожидал!

– Что же случилось? – встревожился Каховский, у которого Денис давно уже не был.

– Да ты разве про басню его не слыхал?

– Понятия не имею… Какая басня?

– Странно! – недоверчиво посмотрев на приятеля, заметил

Копьев. – Я полагал… Но ежели не знаешь, изволь… По рукам у нас ходит, я сам списал.

Он достал из кармана бумагу, протянул продолжавшему недоумевать Каховскому. Тот прочитал. Басня понравилась, на лице выразилось удовольствие. Однако тут же промелькнула мысль, что фиговый листочек, прикрывавший замысел, слишком прозрачен. Могут быть неприятности.

– Нет, слог-то каков! Легкость стиха какая! – продолжал восхищаться Копьев. – Ведь этак сей юноша скоро всех наших пиитов перещеголяет. Талант, друг любезный, талант истинный!

– Однако ж, – усмехнулся Каховский, – нам с тобой по горькому опыту известно, что не всякие таланты поощряются,..

– Ныне времена другие! – махнул рукой Алексей Данилович. – Ты скажи, когда Денис навестить тебя собирается? Хочется по душам с ним поговорить.

– Что ж, приходи завтра вечером, пошлю за ним камердинера, – сказал Каховский. А сам подумал: «Следует все же Дениса предупредить, удержать в пределах благоразумия».

И на следующий день свои опасения высказал Денису. Но, кажется, было уже поздно.

Басня, как нельзя лучше отражавшая фрондерские настроения офицерства, вызвала большие толки[7]. Польщенный похвалами товарищей, Денис вспомнил о басне Сегюра, переделку которой начал еще в Москве. Быстро закончил ее и под названием «Река и зеркало» пустил по рукам. И хотя не было уже в живых того, чей «гнусный вид» заставил тогда взяться за эту басню, тем не менее смысла она не потеряла.

Строки были колючие, злые.

За правду колкую, за истину святую,
За сих врагов царей – деспот
Вельможу осудил: главу его седую
Велел снести на эшафот.
Но сей успел добиться
Пред грозного царя предстать —
Не с тем, чтоб плакать иль крушиться,
Но если правды не боится,
То чтобы басню рассказать.
Царь жаждет слов его; философ не страшится
И твердым гласом говорит:
«Ребенок некогда сердился,
Увидев в зеркале свой безобразный вид;
Ну в зеркало стучать и в сердце веселился.
Что может зеркало разбить.

Наутро же, гуляя в поле.
Свой гнусный вид в реке увидел он опять.
Как реку истребить? – Нельзя, и поневоле
Он должен был и стыд и срам питать.
Монарх, стыдись! Ужели это сходство
Прилично для тебя? Я – зеркало: разбей меня.
Река – твое потомство: Ты в ней найдешь еще себя».
Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел ему и жизнь и волю дать…
Постойте, виноват! – велел в Сибирь сослать,
А то бы эта быль на басню походила.

Денис не знал, что некоторые переписчики произвольно изменяли текст обеих его басен. В первой он сам исправил слово «величество» на «могущество», но переписчики восстановили первоначальный вариант. А второй басне многие дали название «Деспот», резко усиливая ее остроту. Именно под таким названием кто-то записал басню Давыдова в альбом тригорской помещицы Прасковьи Александровны Осиповой, ближайшей соседки Пушкиных.

А Сергей Марин, отправляя эти басни другу своему графу Воронцову, служившему на Кавказе, писал:

«Давыдов кавалергардский написал две басни, которые я тебе отправляю с первым курьером, ибо иначе посылать их невозможно».

Выслушав брата Александра Михайловича, Денис почувствовал смутную тревогу и, может быть, пожалел, что поспешил пустить в свет басни. Но явился Алексей Данилович и успокоил:

– Старик Державин пять тысяч рублей и перстень получил от императора Александра за свою оду. А уж кому не было ясно, кто такой «Норд сиповатый»! И цензурные строгости ныне сняты! Да, кроме сего, и не пожелает никто в басне себя обнаружить. Молодец, молодец, Денис Васильевич! Талант истинный!

Разговор с Алексеем Даниловичем для молодого автора был настолько приятен, что, возвращаясь домой, Денис лихо подкручивал свои черные усики и, весело позванивая серебряными шпорами, думал лишь о том, что жить, в сущности, чертовски приятно.

Денису шел двадцатый год.

IX

Среди других обязанностей, возлагавшихся на гвардию, охрана Зимнего дворца, где жил император, считалась одной из важнейших.

Денис, произведенный осенью 1803 года в поручики, не раз находился во внутренних караулах. Зимой в огромных дворцовых комнатах было пустынно, холодно, и дежурившие офицеры обыкновенно собирались в кавалергардском зале погреться у камина и выпить стакан кофе. Однажды ночью, зайдя сюда, Денис увидел незнакомого офицера в форме Семеновского гвардейского полка, сидевшего у камина с книжкой в руках. Офицер поднялся, и… Денис невольно сделал шаг назад от изумления – до того безобразной и смешной показалась наружность незнакомца. Совсем почти карлик, рыжий, криволицый, с короткой шеей, обезьяньими ухватками и ужимками, он исподлобья посмотрел на Дениса тусклыми серыми глазками и представился:

– Подпоручик Дибич…

Денис сразу припомнил где-то слышанную историю этого офицера. Отец его, барон Дибич, прусский полковник, родом из Силезии, слывший «великим тактиком», прибыл в Россию при императоре Павле, весьма к нему благоволившем. Дибич был поселен в Михайловском замке, произведен в генералы. Сына записали в гвардию. И тем не менее, впервые увидев молодого Дибича в гвардейском мундире, император Павел не выдержал, распорядился: «Сего безобразного карлу уволить немедля за физиономию, наводящую уныние на всю гвардию».

Молодой Дибич, обиженный, уехал в Берлин, где учился в кадетском корпусе. Вновь в Петербурге он появился уже при Александре.

Он только что приступил к изучению русского языка, дурно говорил по-французски. А Денис плохо знал немецкий. Объясняться молодым людям было нелегко. Но из первого же разговора стало ясно, что Дибич неглуп, трудолюбив, стремится упорно совершенствовать свои военные знания. Последним качеством в то время отличались немногие гвардейцы.

С трудом подбирая слова, Дибич откровенно пожаловался на свою бедность, не позволявшую ему нанимать учителей и покупать необходимые, но дорогостоящие книги и карты. Денис, находившийся не в лучшем положении, почувствовал к невзрачному подпоручику некоторое расположение. Прихлебывая жиденький кофе, греясь у камина, они выяснили, что обоим особенно недостает знаний по стратегии и фортификации.

– Мне советовали обратиться к майору генерального штаба Торри, – сказал Дибич. – Он служил прежде при маршале Бертье, в штабе Бонапарта, но… очень дорого просит… двести рублей…

– Да, я уже слышал, – вздохнув, признался Денис. – Не по карману нашему брату…

Дибич странно передернул плечом и как-то застенчиво улыбнулся:

– Почему же? Если сократить расходы в другом, можно скопить эти деньги… – И неожиданно решительным тоном добавил: – Я буду поступать так. Это необходимо.

Денис задумался. Последнее время он сильно увлекался театром. Смотрел не раз спектакли русской труппы, где с успехом выступали Рахманова, Пономарев и Воробьев, бывал во французской комедии, где отличались в мольеровских пьесах Ларош и Сенклер, восхищался у итальянцев музыкой Чимарозы и Фиорованти. Но чаще всего гвардейцы посещали французскую оперу. Там пела очаровательная Фелис. Рассказывали, будто она тайком бежала из Парижа, спасаясь от назойливой любви Иеронима Бонапарта, брата первого консула. Эта романтическая история усиливала общий интерес к артистке.

Денис не отставал от своих товарищей. Дорогие билеты поглощали значительную сумму из его скромных средств. Нельзя было отказаться и от складчины на подарки артистам и банкеты с ними. Театр обходился слишком дорого. И разумеется, Дибич прав… Сократить расходы можно. Военные знания следует постоянно совершенствовать. Твердость Дибича в этом вопросе ему понравилась. Через некоторое время Денис начал тоже брать уроки у Торри. Правда, майор оказался большим хвастуном. и пустословом, но сообщал и много полезного.

Продолжая встречаться во время караулов, Давыдов и Дибич обменивались своими знаниями в изучении стратегии и фортификации, проверяли один другого. Однако приятельские отношения между ними не наладились – разделяли различные взгляды и стремления. Дибич упрямо отстаивал старые прусские военные доктрины, был сух, педантичен, склонен к штабной деятельности. Денис самым высоким военным авторитетом считал Суворова и при живости своего характера мечтал лишь о боевых лаврах. Мысленно определив подпоручика-семеновца в категорию «бештимтзагеров», Давыдов не мог побороть к нему неприязненного чувства.

Находясь под влиянием Каховского и Ермолова, Денис в те годы избегал дружбы с немцами, хотя в гвардии их служило много. Среди обширного круга знакомых молодого Давыдова человека с немецкой фамилией можно было встретить лишь случайно.

В то же время недостаточность средств заставляла невольно отдаляться от аристократической– военной молодежи,

проводившей время в кутежах. Денис не пил, не курил, не играл в карты.

Борис Антонович Четвертинский, ставший близким человеком с первых дней службы, жил так же скромно, как и Денис. Вкусы и настроения их во многом сходились. Борис Четвертинский, по происхождению поляк, был из знатного, но оскудевшего рода, известного своей преданностью России.

Князь Антоний Четвертинский, отец Бориса и двух его старших сестер – Жаннетты и Марии, за сочувствие русским был убит восставшими поляками в 1794 году. Императрица Екатерина распорядилась взять сирот ко двору: Бориса записали в гвардию, сестер сделали фрейлинами.

Дальнейшая судьба их сложилась по-разному. Борис, не имевший родовых поместий и больших средств, как и Денис, гордился лишь старинным родом, – у того и у другого «золота было более на ташках, чем в ташках». А сестры, отличавшиеся поразительной красотой, стали блистать во дворце.

Марию в ранней молодости выдали за Дмитрия Львовича Нарышкина; фамилия эта считалась одной из самых знатных в столице. Нарышкины гордились родством с царствующим домом (Наталия Кирилловна Нарышкина была матерью Петра Первого) и жили в сказочной роскоши. Дмитрий Львович, не проявлявший никаких талантов, проводил время в устройстве балов, обедов и приемов. Зимой перед огромным великолепным домом на Фонтанке, принадлежавшим. Дмитрию Львовичу, день и ночь стояли кареты, украшенные раззолоченными гербами.

Встречаясь на придворных вечерах с Марией Антоновной, император Александр оказывал ей особенное внимание. В дворцовых кругах уже поговаривали о тайных свиданиях между ними. Но Борис Четвертинский, очень привязанный к сестре, считал подобные слухи сплетнями.

Денис, представленный Борисом сестре, принят был благосклонно и радушно. Этого оказалось достаточно, чтобы все многочисленные посетители салона Марии Антоновны отнеслись к юному кавалергарду если не дружелюбно, то по крайней мере с необходимой учтивостью.

Денис случайно получил возможность наблюдать жизнь верхушки столичного общества. Вскоре он почувствовал, как далеки и чужды для него интересы этих вельможных, надменных и надутых господ.

Особенно часто приходилось видеть старшего брата хозяина, обер-гофмаршала и директора императорских театров Александра Львовича Нарышкина. Кругленький, румяный, напомаженный и надушенный, он, словно колобок, катался по

гостиной, разнося свои каламбуры и заранее подготовленные mots (словечки). Александр Львович быстро прожил огромные средства и постоянно находился в долгах. Это обстоятельство потешало его, как ребенка. Каламбуры чаще всего касались собственных долгов. И быстро надоедали.

Рассказав, как дорого ему стоит какой-нибудь бал в честь именитого гостя, Александр Львович, разводя короткими ручками и давясь от смеха, восклицал:

– Это было моим долгом, господа, но я все это сделал в долг.

Постоянные посетители салона не представляли никакого интереса. Смешно было слушать, с какой важностью надутый, как индюк, камергер Загряжский и старый, полуглухой сенатор Свистунов, известные своим чванством и скудоумием, рассуждали о политике «корсиканского злодея» Бонапарта, ставшего в мае 1804 года французским императором Наполеоном. Смешно было наблюдать, как молодился и пыжился пожилой, некрасивый, с брюшком и на тонких ногах, церемониймейстер императорского двора граф Иван Степанович Лаваль. Озорные стихи сами так и лезли в голову Дениса. В конце концов от соблазна он не удержался, и новое шуточное стихотворение «Сон» пошло в переписку.

Впрочем, иногда в салоне Марии Антоновны появлялись и такие гости, знакомство с которыми Денис считал для себя за особую честь.

Однажды он и Борис Четвертинский зашли к Марии Антоновне раньше обычного. Приняв их по-родственному – в своем будуаре, она с лукавой улыбкой сказала:

– Ну, мои мальчики, сегодня, кажется, вы останетесь довольны… Будет некто для вас интересный!

– Ты интригуешь нас, Мари! Кто? – не выдержал Борис.

Мария Антоновна рассмеялась:

– Московский митрополит…

– Мари, душенька, мы с Денисом на колени встанем, – упрашивал брат. – Назови хоть первую букву фамилии.

Мария Антоновна осталась непреклонной. Молодые гвардейцы потеряли покой, тщетно строя догадки. Наконец, когда гости собрались и вечер был в разгаре, осанистый ливрейный лакей доложил:

– Князь Петр Иванович Багратион.

Дениса обдало жаром. Этого он никак не ожидал. Любимец Суворова! Тот самый Багратион, который дрался как лев в горах Швейцарии! Денис еле сдерживал волнение.

Князь Багратион вошел. Он был в узком генеральском мундире, украшенном несколькими орденами, и казался

значительно моложе своих сорока лет. Черные кудри, серебрившиеся кое-где у висков, тщательно подстриженные бакенбарды, быстрый взгляд огненных глаз, большой, с горбинкой нос придавали лицу величественное выражение. Приветливо всем поклонившись, Багратион легкой, скользящей походкой направился к поднявшейся навстречу Марии Антоновне.

– Простите великодушно за опоздание, богиня, – поднося ее руку к губам, сказал любезно Багратион.

– Это надо заслужить рассказом хотя бы об одном из ваших славных подвигов, mon cher prince,[II] – ответила с восхитительной улыбкой Мария Антоновна.

– О, я плохой рассказчик, – отозвался князь. – Кроме того, милая Мария Антоновна, a vous je puis l'avouer,[III] истинные подвиги военные чаще всего совершаются не генералами, а нашими чудо-богатырями солдатами. Вот кто достоин удивления! И право, господа, – обратился он к гостям, – русские штыки, прорвавшиеся через Альпы, кажутся мне более грозной силой, нежели все таланты господина Бонапарта…

Багратион сел в кресло, слегка вытянул левую ногу. Его окружили, завязался оживленный разговор.

Главной темой было обсуждение вопроса о возможной военной коалиции России, Австрии, Англии и Пруссии против узурпатора Бонапарта, каким считали коронованного недавно повелителя французов. Все знали, что отношения России и Франции обострялись с каждым днем. Расстрел в Венсеннском замке герцога Энгиенского, произведенный по приказу Бонапарта, казалось, переполнил чашу терпения. Русский двор находился в трауре, враждебных чувств к Бонапарту царь не скрывал[8].

Разделяя общее мнение о неизбежности войны с Бонапартом, Багратион задумчиво сказал:

– Я не искушен в политике, господа… Но я никак не могу забыть австрийского вероломства, коему обязаны мы швейцарскими тягостями. Я, признаюсь, не питаю особого доверия и к английским добрым намерениям. Зато твердо верю в одно. – В глазах князя вспыхнул огонек: – Верю… ежели государь прикажет… наша армия, сильная духом суворовским, с честью выполнит свой долг, господа!

Багратион вскоре откланялся, уехал. А Денис долго еще находился под впечатлением этой встречи. Близость войны, о чем все кругом говорили, наполняла душу волнующим, радостно-тревожным чувством. Вот оно, вот оно, поле славы! Эх, кабы послала судьба счастье попасть под команду Багратиона!

Менее всего думал Денис о том, что жизнь его снова может круто измениться. И конечно, не знал, что судьба его висит на

волоске и решается во дворце.

… Басни и последнее стихотворение Дениса Давыдова лежали на письменном столе императора Александра. В стихотворении «Сон», положим, ничего предосудительного царь не обнаружил. Задевались, правда, почтенные особы, но… это еще можно простить. Александр снова взял со стола листок бумаги, поднес к близоруким глазам. Стихи были старательно, крупно переписаны. И фамилии, скрытые Денисом под начальными буквами, услужливо для ясности расшифрованы. Государь прочитал:

Кто столько мог тебя, мой друг, развеселить?
От смеха ты почти не можешь говорить.
Какие радости твой разум восхищают,
Иль деньгами тебя без векселя ссужают?
Иль талия тебе счастливая пришла
И двойка трантельва на выдержку взяла?
Что сделалось с тобой, что ты не отвечаешь?
– Ах! Дай мне отдохнуть, ты ничего не знаешь!
Я, право, вне себя, я чуть с ума не сшел:
Я нонче Петербург совсем другим нашел!
Я думал, что весь свет совсем переменился:
Вообрази – с долгом Нарышкин расплатился,
Не видно более педантов, дураков.
И даже поумнел Загряжский, Свистунов!
В несчастных рифмачах старинной нет отваги.
И милой наш Марин не пачкает бумаги,
А в службу углубясь, трудится головой:
Как, заводивши взвод, во время крикнуть – стой!
Но больше я к чему с восторгом удивлялся:
Копьев, который так Ликургом притворялся,
Для счастья нашего законы нам писал,
Вдруг, к счастью нашему, писать их перестал.
Во всем счастливая явилась перемена,
Исчезло воровство, грабительство, измена,
Не видно более ни жалоб, ни обид,
Ну, словом, город взял совсем противный вид.
Природа красоту дала в удел уроду,
И сам Лаваль престал коситься на природу,
Багратиона нос вершком короче стал,
И Дибич красотой людей перепугал.
Да я, который сам, с начала свово века,
Носил с натяжкою названье человека,
Гляжуся, радуюсь, себя не узнаю:

Откуда красота, откуда рост – смотрю;
Что слово – то bons mots, что взор – то страсть вселяю,
Дивлюся – как менять интриги успеваю!
Как вдруг, о гнев небес! вдруг рок меня сразил:
Среди блаженных дней Андрюшка разбудил,
И все, что видел я, чем столько веселился, —
Все видел я во сне, всего со сном лишился.

Дочитав стихи, Александр покачал головой и неожиданно улыбнулся. Вспомнилась глупая, самонадеянная физиономия сенатора Свистунова, представилась смешная фигура графа Лаваля… За эти стихи взыскивать с автора не собирался. Совсем иное дело с баснями, в особенности с той, что называется «Голова и Ноги»… Четыре строки, которые он запомнил, звучали, как дерзкое предупреждение ему Самому:

«Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись – как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить».

Чистейшее якобинство! Оправдание права на бунт! Негодяй сочинитель не заслуживает никакого снисхождения. Он всегда будет опасен. В крепость! В Сибирь!

Александр гневным жестом отодвинул бумаги, поднялся. В просторном кабинете, кроме него, никого не было. Мягкий свет настольной лампы под абажуром наполнял комнату причудливыми полутенями. Стрелки на стенных часах почти смыкались на двенадцати. Полночь. Александр невольно вздрогнул. Он не любил этого времени. Страшная ночь, когда с его молчаливого согласия убивали отца, никогда не забывалась. Рука невольно потянулась к золотому звоночку. Однако сдержался. Следует прежде привести в порядок свои нервы и мысли. Знал, что в соседней комнате занимается князь Петр Михайлович Волконский. Любимый генерал-адъютант, верный, преданный человек. И все-таки даже перед ним душевных волнений своих и подлинных желаний никогда не открывал. С детства был скрытен, осторожен.

Подойдя к зеркалу, Александр потер рукой пухлые щеки – это его успокаивало. Тщательно щеточкой поправил быстро редевшие рыжеватые волосы. Прошелся по кабинету.

Решить вопрос, как поступить с опасным вольнодумцем, было не так-то просто. Сослать в Сибирь, разжаловать в солдаты? Но

ведь поднимется шум, начнут искать причины, сочувствовать пострадавшему, и басни получат еще большую популярность… Александр поморщился. Он играл роль доброго, либерального государя, уважающего закон. Приходилось себя сдерживать Необходимо подыскать такие причины, чтобы наказание не походило на расправу, а являлось бы справедливым возмездием за нарушение общепринятых правил поведения. Сделать надо так, чтобы тем, кто попробует просить за кавалергарда, можно было ответить излюбленной фразой, улыбаясь: «Я не имею ничего против Давыдова, но закон сильнее меня, господа». Мысль была найдена. Александр, довольный, сел в кресло, позвонил. И когда явился Волконский, сказал обычным приятным голосом:

– Я прочитал известные тебе пасквильные стихи кавалергарда Дениса Давыдова… Полагаю, можно оставить без последствий… Молод, глуп! Как твое мнение, Петр Михайлович?

Волконский в недоумении посмотрел на императора.

– Воля вашего величества…

– Нет, нет, я хочу откровенности, – перебил его Александр. – Ты знаешь мои правила: откровенность и законность. Я высказываюсь так, как подсказывает мне сердце, но я могу ошибиться, поэтому хочу послушать тебя.

– Басни весьма вредные по мыслям, ваше величество, – решился наконец заметить Волконский.

– Разумеется, но это заблуждение одного ума, а ежели возникнут лишние разговоры, – Александр подчеркнул последние слова, – басни могут ввести в заблуждение иных… Надеюсь, ты меня понимаешь?

– Справедливая мысль, ваше величество… Вполне согласен.

– Вот почему, по-моему, – продолжал Александр, – про басни совершенно говорить не стоит. Про них я ничего не знаю. Мы предаем их забвению. Однако ж меня, признаюсь, смущает стихотворение… Лично я ничего предосудительного в нем не нахожу, посему и решаюсь оставить дело без последствий. Но не кажется ли тебе, что, поступая таким образом, мы сами несколько нарушаем законность?

Волконский как будто достаточно знал императора, но на этот раз решительно отказывался его понимать. «Чего он добивается, куда клонит?» Моргая глазами, князь пробормотал:

– Оскорбление вашего величества дерзостными стихами, безусловно, по закону наказуемо…

– Ах, боже мой, как ты порой несносен, Петр Михайлович! – с раздражением отозвался Александр. – Я не говорю про себя, я все ему прощаю, слышишь? Но стихи чувствительным образом задевают многих весьма почтенных особ… Камергер Загряжский

назван дураком! Граф Лаваль уродом! Посуди сам, это же намеренное оскорбление ни в чем не повинных людей… Мы должны об этом подумать. В конце концов, если не удалить Давыдова, дело может дойти до дуэли… Неужели тебе не ясна моя мысль?..

Наконец-то Волконский догадался: «Давыдову ничего не простил и прощать не собирается. Желает во что бы то ни стало убрать под благовидным предложением кавалергарда, стать за ширмочку». Ответил государю по-военному, твердо:

– Прошу извинить, ваше величество. Не хватило догадки. Конечно, наша обязанность предупредить возможные неприятности. Давыдова, полагаю, из гвардии немедленно исключить, перевести в армейский полк, подальше от столицы. Сделать строгое внушение, указав в полку, что наказан за вольные стихи, оскорбительные для почтенных особ, в нем поименованных…

– – И надзирать! Неослабно надзирать за негодяем! – не выдержав, почти крикнул Александр. И, густо покраснев, отвел глаза в сторону.

Вскоре после этого Сергей Марин писал Воронцову:

«…маленькому Давыдову мылили за стихи голову; он написал «Сон», где всех ругает без милосердия».

13 сентября 1804 года Денис Давыдов был исключен из гвардии и переведен в Белорусский гусарский полк, стоявший в окрестностях глухой Звенигородки Киевской губернии.

X

Исключение из гвардии считалось по тому времени тяжелым наказанием. Выезжая из Петербурга, Денис находился в подавленном состоянии. Ему объяснили, что в армейский полк он выписан по распоряжению государя за оскорбительные для почтенных особ стихи. Но проницательный Александр Михайлович Каховский, покачав головой, сказал:

– Опасаюсь, причина более глубокая… Сдается мне, что государь прочитал твои басни, а если так, следует держаться особо осторожно. Несомненно будут следить. Помни!

Денис сжег все свои черновики, дал себе слово подобных стихов и басен никогда не писать, а заниматься отныне лишь службой.

Борис Четвертинский и брат Евдоким, провожавшие его, всячески утешали, обещав при первом удобном случае похлопотать за него, сообщать все столичные новости.

Но так или иначе, мысли у Дениса были невеселые. Ничего

хорошего для себя впереди он не ожидал.

Осень стояла ненастная. Дороги были скверные. Пара тощих почтовых лошадей еле-еле тащила утопавшую в грязи бричку. Полосатые верстовые столбы, скрипучие чумацкие обозы, убогие деревеньки. Кругом серо и неприютно. Лакей Андрюшка, служивший обоим братьям, по настоянию Евдокима ехал с Денисом. Обычно веселый, привыкший к столичной жизни, Андрюшка не скрывал своего недовольства, сидел нахохлившись, словно молодой петушок, побитый в драке. Денис понимал его настроение и старался не разговаривать. Уныние его самого охватывало все сильнее и сильнее.

Однако, не доезжая до своего полка, Денис был неожиданно утешен. В маленьком украинском городке Сумах, где пришлось остановиться из-за проливных дождей, квартировал гусарский полк. Оказалось, его стихи и басни, от которых он теперь всячески открещивался, бог знает каким путем попали сюда и имели огромный успех у гусар. Слава бежала впереди!

Узнав, что автор проездом находится в Сумах, несколько молодых офицеров явились к нему познакомиться и засвидетельствовать свое уважение.

Денис был так растроган и обрадован, что сразу забыл и про свою печальную участь и про осторожность. Три дня пировал с гусарами. Впервые пил водку. Читал стихи, сыпал экспромтами, рассказывал анекдоты. В кругу простых и сердечных сумцев чувствовал себя как дома. Не хотелось расставаться.

Особенно приятное впечатление произвел на Дениса пожилой майор Яков Петрович Кульнев. По годам он был вдвое старше Дениса. Но их многое сближало. Получив образование в кадетском корпусе, Кульнев служил некоторое время в войсках Суворова, благоговел, как и Денис, перед великим полководцем. Суворовское военное искусство ставил выше всего, от суворовских правил никогда не отступал. Кульнев был холост и беден, жил на скудное майорское жалованье, из которого третью часть аккуратно посылал старухе матери. Не имел никаких связей, не любил низкопоклонства. Поэтому, несмотря на большие военные знания и репутацию умного храброго офицера, почти десять лет пребывал в одном чине, заслужив прозвище «вечного майора». Денису невольно вспоминались разговоры с Каховским и Ермоловым: при существующем положении человеку одаренному, но не располагающему средствами и связями на справедливое отношение начальства нечего надеяться. Сам Яков Петрович, покручивая усы, говорил добродушно:

– Лучше быть меньше награжденному по заслугам, чем много без всяких заслуг…

Хотя в душе, разумеется, он чувствовал себя обиженным.

Внешность Кульнев имел примечательную. Это был высокий, чуть сутулившийся, худощавый, но широкоплечий мужчина, с темными, начинавшими седеть волосами. Смуглое лицо его, обрамленное пышными бакенбардами, большой нос с горбинкой, длинные усы и живые, немного навыкате глаза запоминались надолго.

Характер и образ жизни его отличались самобытностью. Очень правдивый, чувствительный, всегда готовый помочь в беде товарищам, Кульнев сам себя ничем не баловал. Занимал скромную квартиру, спал на походной кровати.

Приглашая к себе в гости Дениса и офицеров, Яков Петрович предупредил:

– Милости прошу, только каждого со своим собственным прибором, ибо у меня один…

Кульнев не любил пользоваться чужими услугами. Даже кушанья приготовлял сам, и они были так вкусны, что всех, восхищали. Радушно потчуя гостей, Яков Петрович приятным баском приговаривал:

– Голь на выдумки хитра… Я, господа, живу по-донкихотски, как странствующий рыцарь печального образа, не имею ни кола ни двора. Потчую вас собственной стряпней и чем бог послал.

Кульнев, как и многие военные того времени, осуждал некоторые действия правительства, был недоволен начавшимся возвышением Аракчеева. Свое отечество он любил страстно.

Когда зашел разговор о предстоящих военных действиях, Яков Петрович как бы между прочим заметил:

– Ежели я паду от меча неприятельского, то паду славно. Я почитаю счастьем пожертвовать последней каплей крови моей, защищая свое отечество.

И всем стало ясно: в устах такого человека, как Кульнев, эти слова – не простая фраза.

– Как бы желал я быть с вами вместе на поле брани! – сказал Денис, прощаясь с полюбившимся ему майором.

– Встретимся, даст бог, голубчик, встретимся, – сердечно ответил Кульнев, совсем по-отечески целуя его в лоб.

… В Белорусском полку, куда явился Денис через несколько дней, тоже приняли неплохо. Шефом полка числился командир кавалергардов Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, но он постоянно проживал в столице. Замещал его толстый пожилой генерал из немцев, оказавшийся человеком добродушным. Он, как выяснилось, служил в ранней молодости в одном полку с Василием Денисовичем и к сыну старого однополчанина отнесся участливо. После того как все формальности были выполнены и

Денис, получив назначение в эскадрон и любезное приглашение на обед, собрался уходить, генерал его задержал:

– Позвольте, батенька… А стишки-то как же?

– Какие стишки, ваше превосходительство? – удивился Денис.

– Те самые, – улыбнулся генерал, – кои доставили нам удовольствие видеть вас у себя… С вольным душком, как я из приказа усмотрел… Одолжили бы старика, почитали… Любопытно-с!

От такого предложения Денис вначале растерялся, затем, видя, что задних мыслей у генерала нет, а разбирает его простое любопытство, прочитал стихотворение «Сон» и еще несколько шуток.

– Ох, уморил, совсем уморил! – от души смеялся генерал, содрогаясь всем своим рыхлым телом. – В отца пошел, тот, помню, тоже острым умом отличался… Только в толк не возьму, неужто за эти самые стихи выслан-то? Ты уж меня не обманывай, – переходя на родственный тон, простодушно продолжал генерал, – может быть, другие стишки-то есть, позабористей, а?

– Никак нет, ваше превосходительство… Выслан за эти самые!

– Дураки какие! – пожав плечами, заключил генерал. – Да такие стихи я и в полку у себя писать не запрещаю, сделай милость… Лишь этих самых… якобинских идей остерегайся, не подводи смотри!

Денис обещал не подводить. От якобинских идей он в самом деле был очень далек.

Эскадрон, куда получил назначение, располагался на самой окраине Звенигородки, большого местечка, населенного украинцами, поляками и евреями. Эскадронный командир, высокий и усатый майор Осип Данилович Ольшевский, занимал большой дом и любезно предложил Денису поселиться пока у него. Но Андрюшка с поразительной быстротой нашел более удобную квартиру. Вдова какого-то комиссионера за небольшую плату сдала целый флигель из двух комнат с окнами в сад.

Денис был полон благих намерений. Он еще дорогой решил, по примеру Кульнева, жить скромно, часть жалованья посылать матери. Он будет примерно служить, продолжать совершенствовать свои военные знания. Андрюшка возьмется за хозяйство, при местной дешевизне продуктов питание обойдется недорого. С такими мыслями и заснул Денис в первую ночь.

Но спать пришлось недолго. Разбудил сильный стук в окно и ругань Андрюшки, не пускавшего кого-то во флигель. Не понимая, что случилось, Денис поднялся, зажег свечу. На пороге

стоял незнакомый офицер в молодецки наброшенном на плечо ментике и смятой гусарской шапочке, еле державшейся на затылке. Офицер был молод, красив и мертвецки пьян. Глядя на Дениса блестящими синими глазами, он неверным движением руки откинул со лба сползавшую прядь белокурых волос, дотронулся до лихо закрученных усов и попробовал улыбнуться:

– Прорвался все-таки… Принимаешь?

Дениса бесцеремонность гостя сперва возмутила. Но приятное, с мягкими чертами лицо офицера выражало такое благодушие, что обижаться было невозможно.

– Принимаю… только желательно днем, – сказал Денис и, не удержавшись от невольной улыбки, добавил: – Здорово накачался!

– И не говори, – взмахнул рукой офицер. Потом сделал нетвердый шаг вперед, представился: – Подпоручик Бурцов… Алексей Петрович… Алешка… как тебе угодно… Все равно!

С трудом добравшись до дивана, гусар сел, вытянул ноги и продолжал:

– Слышу, приехал… Кто такой? Денис Давыдов… тот самый… Я, брат, помню… – погрозил он пальцем и неожиданно, внятно выговаривая каждое слово, продекламировал:

«И можем иногда, споткнувшись – как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить».

Денис вздрогнул, оглянулся, поправил с досадой:

– Могущество… Не величество, а могущество!

Бурцов залился смехом:

– Нет, брат, что написано пером, не вырубишь топором… Мне из Петербурга прислали… Могу показать!

«Черт знает что такое! – подумал Денис. – При переписке, очевидно, заменяют слова. Может быть, весь сыр-бор из-за этого разгорелся?» Он невольно содрогнулся, представив, что басню в таком виде мог прочитать царь.

А Бурцов с пьяной откровенностью продолжал:

– Уважаю за смелость… Хотел пожать руку, расцеловать, да вот сам видишь, не удалось! Проклятый арак так с ног и сбивает. Все равно – друг тебе до гроба! Можешь положиться… А на гвардию плюнь, черт с ней! Армейские гусары тоже, брат, не дураки… Полька одна есть, Стася… Я тебя представлю, доволен будешь… Заживем, брат, славно!

Наконец он выговорился, повалился на диван и сразу с присвистом захрапел. Денис, встревоженный внезапно возникшими неприятными мыслями, заснул лишь под утро.

… Прошло каких-нибудь две недели. Бурцов, первый в полку забияка и повеса, отвлек Дениса от благих намерений. Бурцов стал закадычным приятелем. И Денис с головой окунулся в обычные для того времени «гусарские шалости». По-прежнему не брал лишь карт в руки, зато ни от чего другого не отказывался. Кутежи, цыгане, попойки, поездки к соседним помещикам, где до упаду танцевали мазурку. Всего было вдоволь!

Денис щеголял в новеньком гусарском мундире, находя, что он идет ему больше, чем кавалергардский. Стоя теперь перед зеркалом, Денис видел себя иным, чем три года назад. Он прибавил немного в росте, возмужал. Густые черные волосы курчавились, и торчавший справа, неизвестно почему поседевший завиток не портил красивой прически. Нос был вздернут, зато темно-карим с зеленоватым оттенком горячим глазам, пышным бакенбардам и выхоленным усам мог позавидовать любой гусар[9]. Дочь поляка-помещика, хорошенькая и веселая Стася, находила его милым и отдавала ему предпочтение перед другими. У Дениса кружилась голова. Он писал Стасе нежные стихи. Полька по-русски не понимала, к поэзии была нечувствительна, хотя целовала за каждое стихотворение страстно. Денис заполнил стихами весь ее альбом.

Гусары часто собирались в квартире Дениса. Однажды он послал с вестовым стихотворное послание запоздавшему приятелю:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога и… арака
Посети домишко мой!
В нем нет нищих у порогу,
В нем нет зеркал, ваз, картин,
И хозяин, слава богу,
Не великий господин.
Он – гусар и не пускает
Мишурою пыль в глаза;
У него, брат, заменяет
Все диваны – куль овса.
Нет курильниц, может статься,
Зато трубка с табаком;
Нет картин, да заменятся
Ташкой с царским вензелем!
Вместо зеркала сияет
Ясной сабли полоса:
Он по ней лишь поправляет

Два любезные уса,
А на место ваз прекрасных,
Беломраморных, больших,
На столе стоят ужасных
Пять стаканов пуншевых!
Они полны, уверяю,
В них сокрыт небесный жар,
Приезжай, я ожидаю,
Докажи, что ты гусар.

Бедность обстановки, положим, была преувеличена. Куль овса придуман для рифмы. Но стихотворение всем понравилось. Таким живым слогом тогда еще не писали.

Денис сочинил несколько других подобных стихотворений. Гусары заучивали их наизусть, записывали в тетрадки. Слава молодого поэта росла. Но иногда в его легких стихах, воспевавших гусарский быт и пирушки, проскальзывала мысль о близости военных действий.

Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят,
Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастье оробеем;
Если мы когда дадим
Левый бок на фланкировке,
Или лошадь осадим,
Или миленькой плутовке
Даром сердце подарим!

Война приближалась. Вскоре пришли известия о заключении военных договоров со Швецией, Австрией и Англией. Русская девяностотысячная армия сосредоточивалась у прусской границы, в районе Брест-Литовска и Гродно. Другая, пятидесятитысячная, – формировалась южнее, под командой старого суворовского соратника Михаила Илларионовича Кутузова. Она должна была следовать через Галицию на соединение с австрийцами.

Белорусский гусарский полк перевели на военное положение,

но пока держали в резерве. Не прекращая легкомысленных увлечений, Денис в то же время внимательно следил за развитием событий. С весны он все чаще и чаще стал покидать своих полковых товарищей. В ста верстах отсюда находилась Каменка, имение его тетки Екатерины Николаевны Давыдовой. В Каменке жил в то время человек, общение с которым доставляло Денису большое удовольствие. Это был сын Екатерины Николаевны от первого брака, Николай Николаевич Раевский.

XI

Тридцать пять лет тому назад светлейший князь Григорий Александрович Потемкин просватал свою племянницу Катеньку Самойлову за полюбившегося ему тихого и скромного офицера Николая Семеновича Раевского. Катеньке было четырнадцать лет. Потемкин возражений не терпел: что взбрело на ум, то и делал. Катенька ждала первенца и играла в куклы. Муж уехал в армию, а вскоре пришло страшное известие: Николай Семенович скончался в Яссах от тяжелых ранений.

Года через полтора Екатерина Николаевна Самойлова-Раевская вторично, по любви, вышла замуж за гвардейского офицера Льва Денисовича Давыдова. Они прожили душа в душу тридцать лет. Племянница могущественного екатерининского фаворита была неимоверно богата. Как-то забавляясь, Лев Денисович из одних начальных букв названий поместий, принадлежащих жене, составил фразу: «Лев любит Екатерину».

Каменка считалась главной резиденцией. Каменская усадьба раскинулась над живописной долиной реки Тясмин. Обширный двухэтажный дом, украшенный колоннами и башенками, походил на дворец. С обеих сторон к нему примыкали многочисленные флигели и службы. В конюшнях стояли рысистые лошади собственного завода. В большом тенистом саду, сбегавшем к реке, устроены пруды и беседки. Сквозь листву проглядывал белый мрамор наяд и нимф, выписанных из Италии.

Николушку в раннем возрасте сдали на попечение гувернеров-французов, – воспитывали дома. Скудные знания, получаемые от гувернеров-французов, он пополнял чтением. Домашняя библиотека по количеству собранных книг не уступала любой столичной.

По обычаю того времени Раевский рано был записан в гвардию, готовился к военной карьере. В лагере, под Бендерами, семнадцатилетний поручик впервые представился Потемкину. Дед принял его ласково, он даже написал для него «Наставление», из которого Раевский запомнил лишь первые строки: «Во-первых,

старайся испытать, не трус ли ты? Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем».

И Раевский следует этому совету. В двадцать лет его производят в полковники. Два года он служит в корпусе Михаила Илларионовича Кутузова.

Женившись на Софье Алексеевне Константиновой – родной внучке Михаила Васильевича Ломоносова, двадцатидвухлетний Раевский отправляется на Кавказ, где командует Нижегородским драгунским полком, принимает участие во многих походах и боевых делах, показывает себя талантливым и храбрым офицером.

Вступивший на престол Павел немедленно исключает со службы «потемкинского внука». Раевский, имевший собственное имение Болтышку, недалеко от Каменки, превращается в сельского хозяина. Но военными делами продолжает интересоваться. Много читает, делает разборы прошлых войн. Выписывает журналы и книги не только отечественные, но и заграничные.

Император Александр снова принимает Раевского на службу, жалует ему чин генерал-майора. Но осенью 1801 года умирает его отчим Лев Денисович. Екатерина Николаевна, тяжело переживавшая эту утрату, остается в Каменке одна. Старшие дети от второго брака Александр Львович и Петр Львович не захотели расстаться со службой. Дочь, Софья Львовна, вышла замуж за генерал-майора Бороздина. Младший сын, Василий, воспитывался в аристократическом петербургском пансионе аббата Николя. Раевский, горячо привязанный к матери, выходит в отставку, переезжает в Каменку. Надо ж кому-то заниматься хозяйством!

Когда Денис впервые ехал в Каменку, то ожидал найти своих родственников людьми чопорными и гордыми, скрывающими под внешней любезностью холодность чувств. А вышло иначе. Николай Николаевич, видевший Дениса всего один раз в жизни, маленьким, встретил его как родного брата. И тут же попрекнул:

– Мы уже давно тебя ждем. Слышали, что по соседству находишься. Грешно, братец, своих забывать!

– Никак не мог, служба, – отозвался Денис.

Николай Николаевич окинул его лукавым, понимающим взглядом и добродушно рассмеялся.

– Про службу твою тоже кое-что знаем… Пойдем-ка, гусар, к маменьке, она тебя по-свойски отчитает…

Выяснилось, что об исключении Дениса из гвардии Раевского уведомил брат Александр Львович. А какие-то офицеры, недавно проезжавшие через Каменку, многое от себя прибавив, рассказали о беспутной жизни поэта-гусара в Белорусском полку. Екатерина

Николаевна, пятидесятилетняя, с величавой осанкой женщина, в самом деле намеревалась «отчитать» племянника. Но как только он, несколько смущаясь, вошел с Раевским в комнату, она, глядя на него в лорнет, воскликнула:

– Бог мой, как он напоминает чем-то покойного Льва Денисовича! Ты не находишь разве сходства, Николушка? – обратилась она к сыну.

– Батюшка был повыше и подородней, маменька, – заметил Раевский. – Кроме того, насколько мне помнится, – продолжал он с улыбкой, – батюшка никогда не занимался стихами…

– Занимался, мой друг, занимался… Тоже гусаром был! – вздохнула Екатерина Николаевна. И, продолжая разглядывать Дениса, сказала ему с грубоватой простотой: – Ну, иди целуй, чего же ты на меня уставился?

Екатерине Николаевне понравился живой темперамент Дениса, доставляли удовольствие его шутки и стихи; она даже беспокоилась, когда племянник долго не появлялся.

С остальными членами семейства, жившими тогда в Каменке, Денису сойтись было еще легче. Этому способствовали простые, искренние отношения, существовавшие в семье Раевских благодаря особенностям характера самого Николая Николаевича. Ему исполнилось в то время тридцать четыре года. Среднего роста, крепкого сложения, с гордым профилем, спокойный и ровный в обращении со всеми, он умел всегда поставить на своем, если это требовалось.

Жена его, Софья Алексеевна, никаких ломоносовских черт не унаследовала. Она походила на отца, грека по происхождению. Бывала иногда несправедлива, капризна, раздражительна. Но достаточно было одного мягкого и вместе с тем твердого слова мужа, чтобы она успокоилась. Еще большее влияние Раевский оказывал на детей. Он как будто не особенно много занимался с ними, но дети обожали его. Старший, десятилетний Саша, худой, высокий и умный мальчик, считал самой высокой наградой для себя похвалу отца. Семилетняя красивая и кокетливая Катенька, признанная любимица бабушки, спешила сообщить свои детские секреты и наблюдения прежде всего отцу. Четырехлетний Николенька, толстый и неуклюжий, как медвежонок, только и ждал удобной минуты, чтобы забраться на колени к Николаю Николаевичу. В милой семье Раевских Денису все пришлось по душе. Вскоре он стал здесь своим человеком.

Николай Николаевич с присущей ему проницательностью разгадал, что «гусарская бесшабашность» Дениса есть не что иное, как временная дань молодости, и старался всячески остепенить его. При каждом удобном случае, ссылаясь на

примеры из Плутарха и Тацита, авторов, особенно им любимых, Раевский напоминал Денису, что доблесть воина украшается не разгульной жизнью, а добродетелями гражданина. И Денис все больше поддавался нравственному влиянию Раевского. Правда, он продолжал еще бравировать своей удалью, ухарством, любил прихвастнуть тем, чего и не было, – это тешило его самолюбие, но от кутежей и попоек под разными предлогами все чаще уклонялся. Писать гусарские стихи тоже перестал.

Дружеские беседы с Раевским стали для него душевной потребностью. Говорили они чаще всего о военных делах. И всякий раз Денис открывал в Раевском такие редкие качества, каких не находил у других, даже у любимого Ермолова. Сравнение между ними напрашивалось само собой. Раевский и Ермолов одинаково знали и любили военное дело, являлись сторонниками русских – румянцевских и суворовских – традиций, осуждали прусскую систему и считали аракчеевщину позором. Но брат Алексей Петрович, как понимал его Денис, был не чужд тщеславия, мог быть несправедливым, жестоким. Раевский же смотрел на все ясной душой, не омраченной тщеславием. Он относился равнодушно к чинам, наградам, почестям. Узнав о начавшихся военных приготовлениях, Раевский поехал в Петербург, надеясь получить полк, но «бештимтзагеры» объявили, что вакантных мест нет, предложили незначительную штабную работу. Раевский откланялся и уехал.

В службе он не стремился «делать карьеру». Военное дело имело для него смысл лишь как необходимое средство защиты отечества, страстно им любимого. Однажды в разговоре Денис заметил, что совершать военные подвиги способны только люди свободные, не связанные семейными узами.

– Ну, мне кажется, ты не совсем прав, – с улыбкой возразил Раевский. – Правда, большинство полководцев, посвятивших себя целиком военному делу, не имели времени обзаводиться семьями, но подвиги, совершаемые на полях сражения, от этих обстоятельств не зависят. Человек, любящий семью, сознает, что, защищая родину, он тем самым оберегает и близких ему людей…

Раевский на минуту задумался и вдруг с какой-то необычайной теплотой и страстностью добавил:

– А что же такое родина, как не общая семья наша?!

Денис понял, что, если потребуют обстоятельства, этот скромный и душевный человек, сидевший перед ним в домашнем халате, ни перед чем не остановится[10].

… Летом в Каменке гостил граф Александр Николаевич Самойлов, дядя Раевского. Важный и сердитый шестидесятилетний старик, бравший Очаков, а при штурме

Измаила командовавший одним из трех атакующих отрядов, близко знал Суворова и Кутузова. Теперь, находясь в отставке, но будучи хорошо осведомлен о приготовлениях к предстоящей военной кампании, Самойлов не скрывал своего мрачного предчувствия.

– Успех сей кампании весьма сомнителен, – желчно говорил он. – Набрали союзников! Англичане с проклятого своего острова двигаться не желают. От шведов одни обещания. Пруссия нейтралитет соблюдает. Австрийский гофкригсрат – ему черт не рад! Двуличная политика австрийцев всему свету известна! А в Петербурге, изволите ли видеть, на сие обстоятельство не желают внимания обращать. Все надежды на австрийцев возлагают. Еще бы! Они триста тысяч войск выставить обещают. Кончена песенка господина Бонапарта! Попался! Бонапарта, коею сам покойный Александр Васильевич Суворов искуснейшим полководцем признавал, ныне в дураки записали. А битых Бонапартом австрийских генералов – в умники. На труднейший поход кутузовской армии смотрят, как на увеселительную прогулку. Всюду молодых генералов понасажали, а они выстрелы слышали разве что на маневрах близ Красного Села. Противно!

– Однако ж, милостивый государь дядюшка, – почтительно возразил Раевский, – нельзя забывать о доблести войск наших…

– В русских войсках не сомневаюсь, драться насмерть будут, – перебил Самойлов. – И в Михаиле Кутузове не сомневаюсь. Знаю блистательный, тонкий ум его. Да что толку? План кампании доверили австрийцам разрабатывать. А хуже того… некоторые высокие особы сами намерены принять участие в военных действиях. А Бонапарту того и надо… Нет, дай бог, чтоб я ошибся, а добра не ожидаю…

Денис в разговоре участия не принимал, спорить с его высокопревосходительством не осмеливался, а слушал с любопытством. Думал же по-своему.

Многие доводы старого графа казались верными. Багратион тоже говорил о ненадежности союзников. Возмутительно, что австрийцам так доверяют. Ну, да Кутузов за себя постоит. Недаром его любил Суворов. В успехе кампании Денис все же не сомневался. И то обстоятельство, что во главе неприятельских войск стоит прославленный полководец, никак не пугало. Напротив. Молодой задор и честолюбие, которого Денис никогда не скрывал, возбуждали в нем сильное желание принять участие в предстоящем походе.

Вскоре Белорусский гусарский полк, входивший в состав корпуса генерала Тормасова, двинулся к молдавской границе. Но здесь приказали остановиться. Корпус формировался как

резервный, надежды на участие в военных действиях были слабые. Денис подал прошение перевести его в любую действующую часть, послал отчаянные письма в Петербург брату Евдокиму, Четвертинскому, Каховскому. Ничего не вышло! Александр Михайлович коротко уведомил, что кавалергарды, среди которых находился Евдоким, выступили из Петербурга. А Борис Четвертинский уехал адъютантом к князю Багратиону, назначенному командиром авангарда армии Кутузова.

Денис терзался завистью. Никогда еще высылка из гвардии не казалась ему таким тяжелым наказанием, как теперь.

10 августа 1805 года под Бродами кутузовская армия перешла австрийскую границу. Денису оставалось лишь довольствоваться сведениями о военных действиях.

XII

Разобраться по-настоящему в том, что происходило в Австрии, было не так-то просто. Читая краткие и сухие военные реляции, Денис испытывал странное чувство какой-то раздвоенности. Было ясно, что планы, тщательно разработанные австрийскими «великими тактиками», оказались, как многие и ожидали, никуда не годными. Позорная капитуляция австрийской армии генерала Мака под Ульмом и тяжелое положение, в какое попала в связи с этим кутузовская армия, вызывали у всех чувство негодования против самонадеянных и двуличных союзников. Блестящие победы над ними Бонапарта в какой-то степени даже радовали, вселяя в душу злорадство: так им и надо! Но как расценивать дальнейшее? Кутузовская тридцатипятитысячная армия, утомленная долгим походом из России, плохо снабженная провиантом, отступала вниз по Дунаю, преследуемая стотысячной французской армией. Это вынужденное отступление было все-таки неприятно, но… превосходство неприятельских сил было столь очевидно, что действия Кутузова никаких сомнений в правильности не возбуждали. Он должен был поступить именно так. Он спасал армию. Удачные маневры Кутузова под Кремсом и Цнаймом походили на большую победу. Кутузов перехитрил Бонапарта, рассчитывавшего в этих местах захватить русскую армию. Денис не мог не восхищаться искусством Кутузова. А бой при деревне Шенграбен, где небольшой отряд Багратиона сдержал напор в шесть раз сильнейшего неприятеля? Какое легендарное дело! Кутузов понимал, что шеститысячный отряд Багратиона, посланный им, чтобы задержать французов, обрекается на неминуемую гибель. Но иного выхода не было. Нужно выгадать хоть один день, чтобы армия могла выбраться из

ловушки, подготовленной Бонапартом.

Князь Багратион тоже отлично знал, что от него требуется.

– Стану на месте – и баста! – коротко и твердо сказал он, прощаясь с Кутузовым.

Офицеры и солдаты бились насмерть. Восемь часов подряд. Багратион лично водил в атаку егерей. И только когда узнал, что армия Кутузова вне опасности, отряд его, проложив себе штыками дорогу, соединился с главными силами.

Денису невольно припоминалась встреча с Багратионом в доме Нарышкинах. Уверенность князя, что русские войска выполнят свой долг, подтверждалась высоким воинским подвигом, совершенным его отрядом. Денис прямо-таки благоговел перед Багратионом и, конечно, глубоко сожалел, что не пришлось самому принять участия в славном деле.

Но вот дошла весть об Аустерлицкой битве. Поражение русских и австрийских войск, состоявших под командой того же осторожного, опытного и мудрого Кутузова, казалось событием невероятным. Тем более что французы не имели на этот раз даже численного перевеса. В чем же тут дело? Кто виноват в проигранном сражении?

Денис долго не мог прийти в себя от неожиданности и не находил ответа на возникавшие беспокойные вопросы. А тут еще стали носиться смутные слухи о больших потерях, понесенных в Аустерлицком бою кавалергардами. А от брата Евдокима три месяца никаких известий.

Денис с нетерпением ожидал Раевского из Петербурга, куда тот уехал в начале осени. Николаю Николаевичу, несомненно, удастся узнать подробности неудачного сражения. И возможно, он что-нибудь услышит о брате Евдокиме.

* * *

Николай Николаевич возвратился в Каменку по санному пути. Узнав об этом, Денис выпросил десятидневный отпуск и не замедлил повидаться с Раевским.

– Новостей тьма, мой друг, но все плохие, – сразу заявил Николай Николаевич. – Кампания проиграна самым глупейшим образом. Обидней всего, что мы имели большие шансы на успех, но все словно нарочно делалось не так, как нужно.

– Как же это случилось, почтеннейший Николай Николаевич? – нетерпеливо спросил Денис.

– Очень просто… Под Ольмюцем, куда привел свою армию Кутузов, мы занимали превосходную позицию и могли безопасно

ожидать присоединения войск эрцгерцога Карла, спешившего на соединение. В то же время другие австрийские части занимали уже Цнаймскую дорогу, угрожая отрезать путь отступления французам. Следовало лишь выждать несколько дней, и Бонапарт вынужден был бы сам очистить австрийские владения…

– Однако ж, полагаю, Кутузову эти обстоятельства были известны? – снова сказал Денис.

– Несомненно, – подтвердил Раевский. – Михаила Илларионович поэтому настойчиво и предлагал воздержаться от гибельного движения армии к Аустерлицу. Но, как говорят в Петербурге, молодым генерал-адъютантам, составлявшим свиту государя, не терпелось украсить себя свежими лаврами. И мнение их, к сожалению, восторжествовало. Это одна причина. Вторая – в излишнем доверии австрийцам. Диспозицию сражения составлял австрийский генерал Вейротер по всем правилам старых немецких канонов, – по лицу Раевского скользнула усмешка, – следовательно, для современных боевых действий диспозицию малопригодную… А возражения Кутузова опять-таки отвергли, и, надеюсь, ты понимаешь, ему оставалось лишь выполнять волю монархов… В этом суть!

Раевский старался говорить спокойно, избегал резких фраз, а все-таки раздражения скрыть не удавалось. Для Дениса все стало ясно. Так и подмывало высказать в стихах свое возмущение! Нет, нельзя, иначе, пожалуй, совсем придется распрощаться с военным мундиром!

А Николай Николаевич, расхаживая по комнате, продолжал:

– В общем, по всему видно, воевать нам с Бонапартом придется долго. Но скверно, что печальные события ничему, кажется, нас не научили. Кутузова, справедливым мнением коего пренебрегли сами, – Денис понимал, что подразумеваются царь и близкие к нему люди, – сделали козлом отпущения. Кутузов должен платить за горшки, не им перебитые! А вместо австрийцев, выбывших из игры, мы, кажется, намерены опереться на немцев. Собираем большую армию. Объявлен новый набор рекрутов. Остановка как будто за назначением главнокомандующего. И представь, серьезно поговаривают о самых престарелых наших фельдмаршалах – Прозоровском и Каменском. Каждый из них по крайней мере имеет то преимущество перед Бонапартом, что вдвое его старше, – иронически произнес Раевский и, махнув рукой, добавил: – Ну, да не будем загадывать: поживем – увидим!

Раевский сообщил и некоторые частные новости. Алексей Петрович Ермолов отличился под Аустерлицем, замечен высшим начальством, произведен в полковники. Самому Николаю

Николаевичу тоже наконец-то обещали команду. Но о брате Евдокиме, к сожалению, ничего не удалось узнать. Кавалергарды не возвращались. Списки убитых и раненых не составлены.

Денис уехал из Каменки на этот раз в неважном настроении: судьба брата сильно беспокоила.

… Лишь весной неожиданно пришло письмо от Бориса Четвертинского. Он уведомлял, что Евдоким, раненный во время блестящей атаки кавалергардов, находится сейчас в плену. Про себя Четвертинский писал коротко: состоял неотлучно при Багратионе, был легко ранен, награжден двумя крестами. Теперь переведен командиром эскадрона в лейб-гусарский полк. И крепко надеется, что Денис скоро опять будет с ним вместе.

Денис повеселел. Он не представлял, как может осуществиться обратный перевод в гвардию, но знал: старый приятель напрасно писать не стал бы.

И верно, 4 июля 1806 года Давыдова прежним чином поручика перевели в лейб-гусарский полк, где служил Борис Четвертинский.

Денис быстро простился с товарищами. По дороге заехал в Москву, повидался со своими. А в начале сентября был уже в Павловске, где стояли лейб-гусары и где поджидал его Четвертинский.

– Каким же образом тебе удалось меня выцарапать? – радостно говорил Денис, обнимая приятеля. – Мне прямо не верится. Словно в сказке!

– Благодари сестру, – сдержанно отозвался Борис, – она танцевала как-то с государем и замолвила за тебя словечко.

– Что за волшебница! Я на всю жизнь ее должник! – с чувством воскликнул Денис.

И при первой же поездке в столицу явился к Марии Антоновне. Она, как и прежде, тепло приняла товарища брата. Пригласила навещать ее по-прежнему запросто. Отношения между ними установились дружеские.

Однако продолжались такие отношения с первой петербургской красавицей недолго. Денис достоверно узнал, что неизменное внимание государя к Марии Антоновне не является обычным проявлением его любезности. Между ними второй год уже существовала тайная связь. Новость эта, известная пока в узком дворцовом кругу, подействовала на Дениса неприятным образом. Сразу создалось чувство какой-то неловкости, отчужденности не только к Марии Антоновне, но и к Борису Четвертинскому.

«Знает он или нет? – думал Денис, встречаясь с ним. – А если знает, то как ему это нравится?»

И почему-то всякий раз при этих мыслях невольно краснел.

Среди новых полковых товарищей Денис испытывал неловкость другого рода. Лейб-гусары, показавшие себя молодцами в Австрии, возвратившись обратно, щеголяли боевыми орденами, постоянно вспоминали, как всегда в таких случаях многое прибавляя, про боевые дела. Денису оставалось молча слушать и потихоньку вздыхать.

XIII

Военные действия вот-вот должны были начаться снова. Пруссия, выйдя наконец-то из нейтралитета, выставила против Бонапарта 170-тысячную армию. Но спустя несколько дней при Иене и Ауэрштадте пруссаки потерпели страшный разгром. Бонапарт занял Берлин. Его войска двинулись на восток. Король прусский Фридрих укрылся в Мемеле, надеясь лишь на обещанную императором Александром помощь.

Русская стотысячная армия опять оказалась без союзников. К тому же не было еще главнокомандующего. Корпусами командовали генералы Беннигсен и Буксгевден, не имевшие особых дарований и враждовавшие между собой. Многие военные, как Багратион, Раевский, Ермолов, понимали, что лучшего главнокомандующего, чем Кутузов, найти нельзя. Но Александр про Кутузова и слышать не хотел. В ноябре назначили главнокомандующим, семидесятилетнего фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского, находившегося последние десять лет в отставке.

Денис нетерпеливо ожидал, что гвардия тоже выступит в поход, но… судьба словно издевалась над ним! Гвардию на этот раз решили пока не трогать.

Денисом овладело отчаяние. Черт знает что такое: просидел без дела прошлую кампанию и снова обрекался на бездействие! Нет, надо во что бы то ни стало выбраться из этого заколдованного круга!..

Он едет в Петербург, просит, чтобы приписали его к любому армейскому полку, идущему за границу. В военной канцелярии порыв молодого гусара снисходительно похвалили:

– Отлично! Это делает вам честь!

И тут же решительно отказали:

– Вы знаете, что государь не любит волонтеров…

Тогда Денис решается просить самого главнокомандующего. Каменский, только что приехавший из своей орловской деревни в столицу, жил в Северной гостинице. Денис пробрался к нему ночью и, чистосердечно объяснив свое желание служить в

действующей армии, сумел расположить к себе своенравного фельдмаршала. Тот обещал похлопотать за него перед императором. Однако, когда на следующий день Денис явился узнать о своей участи, Каменский сказал:

– Я говорил о тебе… просил в адъютанты к себе, в несколько приемов, но мне отказали под предлогом, что тебе надо еще послужить во фронте. Признаюсь, по словам и по лицу государя вижу, что не могу тебя выпросить. Ищи сам средства… Я же тебя с радостью приму.

В мрачном настроении ушел Денис от Каменского. Произошло нечто более неприятное, чем он предполагал. До сих пор, признаться, он не склонен был думать, чтобы император придавал большое значение персоне какого-то поручика. Высылка из Петербурга сама по себе ничего еще не значила. Царю доложили, он подписал подготовленную бумагу, может быть, и стихов-то не читал. А если и прочитал, так, наверное, давным-давно забыл! Мало ли у него других забот! В Звенигородке, правда, встревожила мысль, что царь мог прочитать стихи в более резкой редакции. Но обратный перевод в гвардию окончательно успокоил.

Теперь же из слов Каменского он мог заключить, что дело далеко не кончено, что царь лишь оказал любезность своей фаворитке, а ему, Денису, ничего не простил. Отказ главнокомандующему в таком пустяке, как позволение взять с собой офицера, – вещь неслыханная! Отказ свидетельствовал о самом неприязненном к нему отношении императора. На какую же будущность военного можно рассчитывать? Рушились все планы, все надежды…

Поглощенный невеселыми размышлениями, Денис не заметил, как дошел до нарышкинского дома и почти столкнулся у главного подъезда с Борисом Четвертинским.

– Денис! – весело окликнул тот. – Ты куда и откуда? Почему сердитый?

– Скверные, брат, дела, – с тяжелым вздохом отозвался Денис. – Хоть в отставку подавай!

Он коротко сообщил свой разговор с фельдмаршалом. Четвертинский сдвинул брови.

– Да… Положение неважное, – произнес он. – Ну, пойдем к Мари, может быть, что-нибудь придумаем…

Мария Антоновна встретила с обычным радушием. Расспросила о подробностях вчерашнего визита к фельдмаршалу. Потом, прищурив голубые красивые глаза, сказала:

– Зачем же вам было рисковать? Вы бы меня избрали своим адвокатом, и, возможно, желание ваше давно уже было бы

исполнено.

Денис густо покраснел. Странное, не испытанное доселе чувство охватило его. Понимал, что, может быть, в ходатайстве Марии Антоновны вся его судьба. С другой стороны, в этом ходатайстве он видел что-то нехорошее, унизительное…

– Время не ушло… Одно внимание ваше… – пробормотал он, целуя прелестную ручку. И, быстро оправившись, с чувством добавил: – Вы возвращаете мои надежды!

… Император Александр при внешней любезности был упрям, труслив и злопамятен. Составив мнение, что Денис Давыдов принадлежит к числу «опасных якобинцев», Александр продолжал тайно следить за его дальнейшим поведением. Гусарские стихи и остроты Дениса, правда, никаких подозрений не внушали. Но стоило императору припомнить дерзкие строки из старых басен, как злобное чувство вспыхивало вновь… Тот, кто мог написать подобные стихи, никогда не исправится!

Сдержав себя, Александр исполнил просьбу Марии Антоновны о возвращении Давыдова в гвардию. Однако вмешательство фаворитки в судьбу человека, которого он считал опасным, лишь усилило неприязнь к нему. Александр почувствовал себя оскорбленным тем, что с близкими ему людьми «негодяй» находится в дружеских отношениях. И его, императора, вынуждают поступать против своей воли! Таких уколов своему самолюбию Александр обычно не прощал. И если боялся без достаточных оснований принять против ненавистного человека решительные меры, то мелкими мстительными действиями преследовал его при каждом удобном случае.

Вот почему, когда фельдмаршал Каменский изложил свою просьбу, Александр едва сдержал негодование:

– Просите кого угодно… Но Давыдова ни в коем случае. Пусть послужит во фронте!

Марии Антоновне в просьбе отказать было значительно труднее. Предчувствуя такой разговор, Александр заранее к нему подготовился.

– Вы знаете, ma chere, я всегда готов исполнять все ваши просьбы, – приятным голосом сказал император, – но исполнение этой, должен сознаться, ставит меня в неудобное положение. Я отказал графу Михаилу Федотовичу!

– Простите, ваше величество, мое любопытство… каковы же причины? – спросила Мария Антоновна.

– О, как вы еще наивны, Мари! – воскликнул Александр. – Ваш протеже Давыдов недавно возвращен в гвардию и, не зная совершенно фронтовой службы, почти сразу назначается адъютантом самого главнокомандующего. Подумайте, какие

могут возникнуть разговоры!

– Я уверена, ваше величество, Давыдов оправдает себя отлично, – возразила Мария Антоновна. – В нем есть огонек, необходимый военному.

– И в этом как раз вторая, пожалуй, самая главная причина моего отказа. – Александр улыбнулся. – Служить у графа Каменского! Разве вы не слышали про его характер? Будучи командующим армией, он за незначительные проступки приказывал наказывать телесно своих собственных сыновей, находившихся в штаб-офицерских чинах. Представляете, что значит служить при Каменском человеку молодому, пылкому и… с некоторым воображением? Нет, я решительно не хочу никаких скандалов!

Доводы подействовали. Царь догадался об этом по выражению лица Марии Антоновны и остался собой доволен.

– Только все это между нами, ma chere, – добавил Александр, – не следует в глазах молодых людей порочить фельдмаршала.

– А если бы место Каменского занимал другой генерал… возможно, вы изменили бы для Давыдова свое решение? – спросила Мария Антоновна.

Вопрос был неожиданный. «Кажется, что-то опять затевается, – мелькнула в голове императора неприятная мысль. – Но что же? Я не собираюсь назначать другого главнокомандующего, следовательно, обещать можно».

– Ну, разумеется, – ответил он. – Вы еще сомневаетесь!

– Благодарю, ваше величество. Может быть, мне все-таки придется когда-нибудь воспользоваться вашим обещанием, – скромно сказала Мария Антоновна.

На другой день она очень сдержанна, не сообщая никаких подробностей, объявила Давыдову, что, к сожалению, ничего пока сделать не удалось.

– Не желают лишать меня изящного занятия равняться во фронте и драть горло перед взводом, – саркастически заметил Денис. – Что ж, судьба!

XIV

Еще два месяца назад, проверив сведения, сообщенные Четверттшеким, наведя необходимые справки, Денис точно выяснил, что брат Евдоким действительно находится в плену.

Вместе с командиром эскадрона князем Репниным и несколькими другими кавалергардами, раненными в Аустерлицком сражении, Евдоким был отправлен в Брюнн, где

размещалась тогда главная квартира Бонапарта. Пленным оказали медицинскую помощь. Говорили, будто французский император лично посетил их в лазарете. Но когда они возвратятся в Россию, никто ничего толком не знал.

Появление Евдокима в Петербурге в середине декабря было поэтому приятной неожиданностью. И Денис, взяв трехдневный отпуск для свидания с братом, тотчас же отправился в столицу.

В новеньком, только что сшитом мундире Евдоким выглядел молодцом. Загорел, погрубел, стал шире в плечах. Денис застал его в кругу товарищей. Молодые кавалергарды, сидя за столом, уставленным наполовину пустыми бутылками, жарко обсуждали недавно полученные, не многим еще известные новости. Из армии один за другим прибыли два курьера. Первый привез известие о болезни и отъезде фельдмаршала Каменского из армии. Второй доставил радостное сообщение о победе над французами под Пултуском, одержанной генералом Беннигсеном.

Никаких подробностей никто не знал, поэтому кавалергарды строили всевозможные догадки, спорили, шумели, но, по существу, совсем напрасно.

Лишь самый юный из всех, стройный, румяный, с выразительными томными глазами корнет Павел Киселев высказал, как показалось Денису, здравую мысль:

– Мы не можем судить о том, чего не знаем, господа, но несомненно, на мой взгляд, одно: если победа при Пултуске подтвердится, то при сложившихся обстоятельствах генерал Беннигсен получит много шансов стать во главе всей армии.

– Что будет весьма печально! – вставил со вздохом маленький и толстенький поручик Ильин.

– Ну, господа, – с тонкой усмешкой отозвался Киселев, – не будем касаться вопроса о достоинствах человека, победившего французов… Следует считаться с обстоятельствами… Я лишь это хотел сказать!

– Дипломат! – с солдатской грубоватостью бросил Евдоким. – Тебе бы, Киселев, в иностранную коллегию!

– А разве военному запрещается быть немножко и дипломатом? – вежливо спросил Киселев.

– Э, ну вас всех с этой дипломатией, терпеть не могу, – перебил богатырь по виду, кавалергард Арапов, возвратившийся из плена вместе с Евдокимом. – Надо правде в глаза смотреть! Бонапарт – гениальный полководец, а мы против него выживших из ума старцев посылаем. Где это видано! Даже ежели старика заменим Беннигсеном, тоже плохо. Чем он себя прославил?

– А у нас, слава богу, Кутузов есть! Багратион! – произнес Евдоким.

– Имя Кутузова, говорят, при государе даже упоминать не принято, – вставил опять поручик Ильин.

– В том-то и беда наша! – отрезал Евдоким.

Разговор становился острым. Корнета Киселева, видимо, это обеспокоило.

– Право, господа, мы ведем бесцельный спор, и становится скучно, – вмешался он. – Вы бы, Арапов, лучше рассказали про встречу с Бонапартом. Вы так живо передаете!

– Нет уж, увольте, – отозвался Арапов и, неожиданно повернувшись к Денису, сказал ему: – Я издалека Бонапарта видел, а Евдоким имел честь разговаривать с ним.

– Разве? – живо заинтересовался Денис. – Где же это было, Евдоким?

– В лазарете.

– Ну? Что же он тебе сказал?

– Да ничего особенного, – спокойно ответил Евдоким. – Я тогда весь в бинтах лежал. Подошел он ко мне, остановился, собой маленький, толстенький… «Combien de blessures, monsieur?» – спрашивает меня. «Sept, sire», – отвечаю. «Autant de marques d'honneur!»[IV] – сказал он и пошел дальше… Вот и все![11]

– Autant de marques d'honneur! – медленно повторил Денис. – Надо сознаться, сказано неплохо.

– Бонапарту нельзя отказать во многих достоинствах, – сдержанно отозвался Киселев.

– Откажи попробуй! – насмешливо произнес Арапов и прибавил: – Нет, по-моему, Бонапарт во всех отношениях человек гениальнейший. Нам его никогда не осилить! Что вы там не говорите!

Дениса слова кавалергарда задели за живое. Подобно другим военным, он исключительно высоко ценил талант Бонапарта, восхищался его решительными действиями. Но вместе с тем Денис никак не склонен был объяснять все успехи французского полководца лишь одной его гениальностью или необыкновенным счастьем, как думали некоторые. Быстрый разгром Австрии и Пруссии сначала, как и всех, просто поразил Дениса, а затем, подумав, он нашел и довольно трезвую оценку событиям. Разгром был подготовлен прежде всего самой военной системой, существовавшей в австрийской и прусской армиях. Той самой системой, основанной на палочной дисциплине и бесполезной муштровке, над которой издевался Суворов и которая была ненавистна любому военному, разделявшему суворовские взгляды.

«Будь на месте Бонапарта кто-нибудь из наших полководцев – Суворов, Кутузов или даже Багратион, – размышлял Денис, – они,

пожалуй, тоже столь же быстро управились бы с пруссаками…» Сравнение Бонапарта с любимым Суворовым против воли возникало в голове не раз, но эти мысли казались кощунственными. Суворов был великим полководцем, родным и близким. Бонапарт, этот величайший завоеватель, угрожал чести и независимости отечества, следовательно, являлся врагом, и врагом страшным. Денис никогда этого не забывал.

Вот почему слова Арапова, вернее его уверенный тон, вывели Дениса из себя.

– А я уверен, – вдруг бледнея, тонким голосом крикнул он, – я убежден, господин Арапов, ежели этот во всех отношениях гениальнейший человек, как вы утверждаете, посягнет на нас… на наше отечество… – Давыдов почти терял самообладание от какого-то все сильнее охватывающего злобного чувства. – Я уверен… здесь не Пруссия… Мы ему покажем кузькину мать!..

Выходка Дениса привела всех в недоумение. Арапов медленно поднялся. Запахло скандалом.

– Да ты что, брат? – попробовал вмешаться Евдоким. – Арапов и не думал утверждать…

– А я утверждаю, – запальчиво перебил Денис, – что восхвалять неумеренно предводителя войск, стоящих почти на рубежах наших, русскому офицеру непозволительно…

Арапов бросил на него сердитый взгляд, пожал плечами:

– Я не могу принять ваших слов на свой счет. Но если вам угодно…

– Подождите ссориться, господа, – прервал Киселев. – Между вами, на мой взгляд, простое недоразумение… Попробуем разобраться хладнокровно.

И юный корнет с такой ловкостью повел дело, что в конце концов все кончилось благополучно.

Денису из всех товарищей брата особенно понравился Киселев. Между ними завязалась крепкая дружба.

… На следующий день, вдоволь по душам наговорившись, братья отправились к Нарышкиным.

Евдоким, давно уже представленный Марии Антоновне, состоял в числе самых восторженных ее поклонников. Взгляды Евдокима ничем не отличались от взглядов людей, среди которых он вращался. Новое положение Марии Антоновны как фаворитки государя в глазах Евдокима не только не унизило ее, а, напротив, возвысило.

– Помилуй, Денис, – сказал он, – я считаю, нам теперь особенно следует дорожить ее расположением. Тем более, у Нарышкиных великолепно обо всем осведомлены! Это, брат, всегда пригодится!

С последним нельзя было не согласиться. Где же, как не у Нарышкиных, можно, например, узнать подробности последних новостей?

И верно… Там эти подробности никакой тайны не составляли. Фельдмаршал Каменский, вскрыв полученную из Петербурга почту, узнал, что некоторые окружающие его лица приняли на себя «благородную обязанность» о всех действиях главнокомандующего тайно уведомлять начальника военно-походной канцелярии его величества.

Каменский пришел в бешенство. Написал объяснение царю и, не дожидаясь ответа, самовольно уехал в свою деревню.

Александр назначил главнокомандующим генерала Буксгевдена Но в это время была получена реляция Беннигсена о победе над французами под Пултуском. Александра эта реляция, несколько преувеличившая значение победы, несказанно обрадовала. Он немедленно переменил решение. Главнокомандующим стал Беннигсен.

– А я могу вам сообщить под секретом еще одну новость, – обратившись к Денису, с обычной лукавостью в глазах сказала Мария Антоновна. – Командование авангардом нашей армии вверяется вашему герою… князю Петру Ивановичу…

– Как? Багратиону? – подскочил Денис, никак этого не ожидавший.

– Да… Князь недавно заезжал ко мне, – продолжала Мария Антоновна. – Он был очень любезен… Мы говорили о наших делах. И если вы, – она посмотрела с улыбкой на взволнованного Дениса, – приедете ко мне завтра обедать вместе с Борисом, то, возможно, узнаете и другие интересные новости…

Денис молча поклонился. Разговор одновременно и взволновал его и расстроил. И хотя Евдоким уверял, что последнюю фразу Мария Антоновна произнесла каким-то загадочным тоном, Денис, наученный горьким опытом, никаких планов не строил. После двух решительных отказов паря на что можно было надеяться? Повторить свою просьбу? Эта мысль не приходила в голову. Служить у Багратиона!.. О таком счастье он не смел и мечтать! Обещание Марии Антоновны понял в том смысле, что ожидаются какие-то важные известия, относящиеся к военным действиям, а никак не к его собственной судьбе.

Но на другой день, едва Денис и Борис переступили порог гостиной Марии Антоновны, она объявила:

– Я говорила вчера о вас с князем Багратионом… Сегодня получен ответ… Ты, Борис, – обратилась она к брату, – опять едешь с ним.

– А он? – перебивая, воскликнул Четвертинский, указывая на

растерявшегося Дениса. – А он?

– Нет, опять отказ! – вздохнула Мария Антоновна. Но, увидев, какое впечатление произвели ее слова на Дениса – он стоял бледный как полотно, – поспешила добавить: – Виновата, виновата… я пошутила… И вы, Денис, едете!

Денис в восторге чуть не бросился к ней на шею.

… Мария Антоновна весьма кстати напомнила Александру про его обещание. Отказать снова – значит обнаружить свои истинные, враждебные чувства к «негодяю», как мысленно называл гусара-сочинителя царь. Нет, Александр всегда желал оставаться добрым рыцарем, особенно в глазах фаворитки. Назначение Давыдова адъютантом к Багратиону, опять против воли, было подписано. Чувства же императора остались неизменными.

Денис об этих закулисных делах ничего не знал. Да и думать не хотелось! Он горел одним желанием: как можно быстрее попасть в действующую армию. Говорят, Беннигсен опять готовится к сражению! В армии сейчас Ермолов, Кульнев, и, кажется, собирается туда Раевский. Не терпелось их обнять.

Четвертинский подговаривал провести в столице наступившие святки. Соблазн большой! И все же Денис отказался. Он выехал один, в почтовой кибитке. Но как ни торопился, а в Озерках, близ Вильно, сделал небольшую остановку. Там стоял недавно сформированный знакомым полковником Василием Федоровичем Шепелевым гусарский Гродненский полк, где служили теперь эскадронными командирами Кульнев и брат Александр Львович. Встреча с Кульневым была особенно приятна. Обняв Дениса, Яков Петрович даже прослезился. Тронула искренняя, дружеская привязанность молодого лейб-гусара, только что произведенного в штаб-ротмистры.

– Вот видишь, голубчик, – заметил с улыбкой Кульнев, – я же говорил, что встретимся… Подожди, и повоюем вместе! Скоро и наш полк трогается.

Через несколько дней, взволнованный и счастливый, Денис пересек прусскую границу. 15 января 1807 года ранним утром он был уже в Либштадте, где находилась главная квартира русской армии.

Глава вторая

Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем – в бой кровавый;
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы!

В. Жуковский

I

Генерал Беннигсен не принадлежал к числу искусных полководцев. Он мог, сидя в кабинете, найти иной раз верное решение военной задачи, составить неплохой план, но выполнить задуманное не хватало ни умения, ни решимости. И если войска, находившиеся под общим его командованием, успешно отражали

натиск превосходящих сил неприятеля, то объяснялось это прежде всего опытностью, инициативностью командиров войсковых частей, беспримерной стойкостью и мужеством русских солдат. К тому же Беннигсен отличался крайней беспечностью. Армия, растянувшись на многие десятки верст, медленно двигалась в юго-западном направлении к Грауденцу и Торну на Висле[12]. Снабжение войск боевыми припасами и продовольствием было поставлено из рук вон плохо. Подвижные магазины отсутствовали. Солдатам из-за несвоевременного подвоза часто не выдавали даже сухарей. А главнокомандующий на справедливые требования войсковых командиров улучшить снабжение со вздохом отвечал:

– Что же поделаешь, господа. Надо терпеть. У меня за обедом тоже подают всего три блюда…

Дениса поразила беспечность и другого рода. Имея несколько пакетов для главнокомандующего, он немедленно представился Беннигсену. Комната, где тот находился, была переполнена генералами, офицерами, чиновниками. Русской речи не слышалось. Штаб в большинстве состоял из немцев и австрийцев. Многие из них занимали прежде командные должности в позорно капитулировавших перед Бонапартом своих армиях. Затем бежали в Россию. «Опозорились у себя, а сюда подсказывать слетелись», – мелькнула у Дениса неприязненная мысль. Тут же он заметил и несколько англичан, среди которых обращал на себя внимание важным видом и каменным лицом сэр Роберт Вильсон, английский военный агент, имевший особое влияние на главнокомандующего.

И никто из этих господ не остерегался высказывать открыто свое мнение о движении войск. Сам Беннигсен, худой и длинный, с рыжеватыми редкими волосами и болезненно желтым лицом, стоя у карты, пояснял какому-то немецкому генералу операционный план. «Ну, я не удивлюсь, если неприятель завтра же будет осведомлен об этом», – подумал Дениса В памяти невольно всплыл образ любимого Суворова. Разве допустил бы он голодание солдат или столь нескромные рассуждения о своих намерениях? Трудности предстоящего похода обрисовывались достаточно ясно. Даже знакомые по Петербургу штабные офицеры этого не скрывали.

– Черт тебя сюда занес! – откровенно говорили они Денису. – Мы бы дорого дали, чтобы возвратиться обратно. Проку никакого не видно. Условия здесь плохие. Ты еще в чаду, мы это видим, но погоди немного… то же скажешь!

– Нет, господа, не надейтесь, – возразил Денис. – Вижу сам, что условия неважные, да ведь я заранее знал, что война не

похлебка на стерляжьем бульоне. Вы лучше посоветуйте, как побыстрее мне добраться до князя Багратиона.

– А вот смотри сюда, – сказал один из офицеров, раскрывая карту. – Главная квартира сейчас переезжает в Морунген, можешь устроиться с нами или с каким-нибудь из полков. Третьего дня у Морунгена произошла жаркая схватка авангардных частей генерала Маркова с войсками Бернадотта, который отступает, по всей видимости, к Торну. А от Багратиона получено известие, что он занял городок Лебау, значит, от Морунгена тебе придется проехать еще сотню верст. Ясно?

– Ясно. Покорно благодарю. А где Алексея Петровича Ермолова найти?

– Третьего дня, ночью, он был у нас. Прямо после боя под Морунгеном. Командовал там марковской артиллерией и здорово, говорят, отличился. А теперь назначен командовать всей артиллерией авангарда.

Денис от радости так и засиял:

– Следовательно, он у Багратиона? Вместе воевать придется! Вот не знал! Ну, спасибо!..

Через час, пристроившись к павлоградским гусарам, Денис уже находился на марше к Морунгену.

Картина, развернувшаяся перед ним, навсегда осталась в памяти. «Части пехоты, конницы и артиллерии, – вспоминал он впоследствии, – готовые к движению, облегали еще возвышения справа и слева, в то время как длинные полосы черных колонн изгибались уже по снежным холмам и равнинам. Стук пушечных колес, топот конницы, разговор, хохот или ропот пехоты, идущей по колено в снегу, скачки адъютантов по разным направлениям, генералов с их свитами, самая небрежность и неопрятность в одежде войск, два месяца не видавших крыш, закопченных дымом биваков и сражений, вид солдат с усами, покрытыми инеем, с простреленными киверами и плащами, – все это неизъяснимо электризовало, возвышало мою душу».

Ехавший рядом молоденький павлоградский гусар, поручик Степан Храповицкий, рассказывал:

– Любопытная, знаете ли, история случилась третьего дня в городе Морунгене… Бернадотт, расположивший там свой обоз, выдвинул войска вперед, построив их вон на тех высотах, – поручик указал на видневшиеся вдали покрытые кустарником холмы. – Наши части наступали от деревни Георгенталь, к которой сейчас подъедем… И вот, представьте, в сумерках, когда Марков вынужден был несколько отступить, а неприятельская кавалерия намеревалась преследовать его, господин Бернадотт услышал выстрелы в тылу. Что такое? Он послал в Морунген

адъютантов и узнал страшную новость: город занят русскими, его обоз и канцелярия в их руках!

– Как же это получилось? – заинтересовался Денис.

– А вы послушайте дальше, – улыбнулся Храповицкий. – Бернадотт, разумеется, преследовать нас уже не решился, а поспешил с кавалерией назад, в Морунген, и… никаких русских там не обнаружил! Своего обоза тоже не нашел. На улицах увидел несколько поломанных повозок и груды разорванных бумаг…

– Позвольте, – перебил Денис, – я полагаю, был же все-таки оставлен в городе какой-то французский отряд прикрытия?

– Совершенно верно. От этого отряда уцелели весьма немногие… Они, вероятно, и поведали про необычайное происшествие огорченному Бернадотту.

– Да не томите, ради бога, Храповицкий! – воскликнул Денис. – Ведь не дьявол же в маске напал на город!

Довольный произведенным на спутника впечатлением, Храповицкий нарочно помедлил, поправился в седле, подкрутил маленькие рыжие усики, потом продолжил:

– Дело-то, собственно говоря, объясняется просто… Командир одной из наших кавалерийских дивизий, не зная ничего о происходящем сражении, послал в разведку несколько эскадронов гусар. Они приблизились к Морунгену с другой стороны и, узнав от жителей, что в городе стоит обоз Бернадотта, охраняемый небольшим прикрытием, решили на свой риск произвести нападение. И, как видите, этот смелый кавалерийский рейд кончился для нас с большой пользой… Согласитесь, происшествие выходит из ряда обычных военных историй.

– Да, да, вполне согласен, – сказал Денис. – Дело более чем любопытное!

Между тем, миновав Георгенталь, павлоградцы выехали на морунгенскую равнину, где происходило сражение. И здесь открылось зрелище, от которого Денис невольно содрогнулся. Тысячи обезображенных трупов лежали на снежном поле в самом неприглядном виде. Все же любопытство военного оказалось сильнее неприятного, беспокоящего чувства новичка. Когда подъехали знакомые штабные офицеры, Денис не упустил возможности отправиться вместе с ними для осмотра русской и неприятельской позиций.

У небольшой, совершенно разрушенной деревушки, занятой во время сражения французской пехотой, неприятельские трупы лежали особенно густо, целыми рядами.

– Ермоловская работка! – сказал один из офицеров. – Обратите внимание, господа, Ермолов постоянно сосредоточивает огонь всех своих полевых орудий на каком-нибудь одном

известном пункте.

– Разве эта мысль нова? – спросил Денис.

– Мысль, может быть, не нова, но у нас, к сожалению, применяется подобный метод еще не так часто… Молодец Ермолов!

Эта похвала приятно подействовала на Дениса. Он-то никогда в брате Алексее Петровиче не сомневался!

В Морунгене, куда добрались к вечеру, Денис задерживаться не стал. Купил лошадь, получил в главной квартире пакеты для Багратиона и в сопровождении одного казака на другой же день отправился дальше, к авангарду.

… Никто, конечно, не знал, что в то самое время, как Денис подъезжал к деревне Биберсвальд, где находился Багратион, судьба русской армии подвергалась страшной опасности. Получив в Варшаве известие о наступлении русских, Бонапарт решил обойти их с фланга, отрезать от сообщения с Россией, прижать и уничтожить в районе нижней Вислы. План Беннигсена, двигавшего армию к Грауденцу и Торну, как нельзя лучше способствовал замыслу французского императора.. Не сомневаясь в успехе, Бонапарт сам выехал к войскам, быстро совершавшим обходное движение. Французы имели значительный перевес в силах, были превосходно снабжены всем необходимым. 19 января, прибыв в Вилленберг, Бонапарт послал секретное предписание маршалу Бернадотту. Ему приказывалось: скрытно обойдя русскую армию, перебросить свой двадцатитысячный корпус к Алленштейну, юго-восточнее Морунгена, откуда уходили последние русские войска. В то же время Бернадотту предписывалось оставить на месте аванпостные части. Отступая к Торну, они должны были заманивать за собой русских. Бонапарт извещал маршала, что сам он с основными силами в Алленштейне будет через три дня.

Но на страже русской армии стоял генерал Багратион. Авангард, командование над которым он только что принял, состоял из трех основных колонн, находившихся под начальством генерал-майоров Маркова, Багговута и Барклая де Толли.

Поспешный отход войска Бернадотта от Морунгена, а также довольно сбивчивые показания «языков», захваченных казаками, наводили на мысль о том, что Бонапарт что-то замышляет. Багратион на всякий случай распорядился: силы авангарда не распылять, а полковнику Юрковскому, начальнику аванпостов, усилить разведку.

… Денис, основательно прозябший, приехал в Биберсвальд ночью. Несмотря на позднее время, в просторной избе прусского поселянина, где квартировал Багратион, никто спать не

собирался. У князя совещались командиры. А в соседней небольшой комнатушке, тускло освещенной сальными свечами, молодые адъютанты и ординарцы, прихлебывая чай из железных кружек, развлекались веселыми рассказами.

Дениса встретили восторженно. Не успел он снять шинель и прийти в себя, как со всех сторон его забросали вопросами. Один из адъютантов князя, Офросимов, гвардейский офицер, с которым Денис был знаком, представляя его товарищам, заявил:

– Держите ухо востро, господа! Помимо прочих достоинств, сей гусар имеет звание сочинителя, попадетесь на зубок – не помилует!

– Да перестань ты дурачиться, право, – смущаясь, сказал Денис. – Про стихи и думать давно забыл!

– Вот это уж напрасно! – возразил другой адъютант князя, Грабовский. – Я ваши послания Бурцеву наизусть помню… Прелесть какие стихи!

– Вы бы нам, Давыдов, новенькое что-нибудь прочитали, – попросил третий адъютант. – Мы же все почитатели вашего таланта…

– Нет, в самом деле, господа, ничего не пишу, – ответил Денис, чувствуя, что польщен общим вниманием. – Да и на ум сейчас не идут стихи… Дайте прежде согреться и оглядеться.

Едва он успел привести себя в порядок, как дверь из горницы князя открылась. Вошел Ермолов. Молоденький адъютант его, краснощекий прапорщик, поднялся навстречу. Ермолов, очевидно, хотел что-то передать ему, но, увидев Дениса, остановился, густые брови его поднялись вверх.

– Денис?

Не зная, как держать себя с Ермоловым при адъютантах, Денис, взволнованный и довольный, стоял в щегольском красном ментике, вытянувшись по-военному. Ермолов сам раскрыл объятия.

– Да что же ты словно чурбан? Сколько времени не виделись! Дай хоть расцеловать тебя. – И оживленно продолжал: – Ты когда же приехал? Мне князь говорил, да я, признаться, погрешил – думал, что святки в столице отгуляешь… Ну, чего же мы здесь стоим? Пойдем, князь тебя ждет. Наверно, новостишки из главной квартиры привез? Весьма кстати…

В горнице, куда они вошли, обстановка была самая простая: стол, несколько скамеек, хозяйская деревянная узкая кровать.

Багратион в мундирном сюртуке, с озабоченным лицом, расхаживал из угла в угол и, как показалось Денису, отчитывал молодого, с хитроватыми глазами, генерала Маркова, сидевшего в почтительной позе на длинной скамье у окна, рядом с двумя

полковниками. У стола склонился над картами высокий большелобый генерал Михаил Богданович Барклай де Толли. Рядом сидел круглолицый и веселый здоровяк Багговут.

Приветливо поздоровавшись с Денисом, князь нетерпеливо распечатал переданные ему пакеты. И по мере того как читал, лицо его становилось все суровей.

– Вот, можете прочитать, господа, секретов нет, – бросив пакеты на стол, сердито сказал Багратион и опять зашагал по комнате. – Предписывается движение вперед! Армия за нами следом! Наступать, разбивать – отлично! Кто же против? Сам люблю! Назад – гнусно! Вперед – слава! Да нужно, чтоб с толком! Прежде силы неприятельские и намерения ихние разведав! Я вот о чем толкую, Евгений Иванович, – обратился он к Маркову. – А вы свое твердите!

– Пока намерения Бонапарта не ясны, всякое удаление наших частей вглубь не есть необходимо, – поднявшись, медленно и холодно произнес Барклай. – Я вполне разделяю мнение князя…

– Да, господа, нельзя иначе. – Багратион несколько секунд помедлил, затем, перейдя на более мягкий тон, продолжил: – Помню, в итальянскую кампанию австриец Мелас благодетеля моего графа Суворова, стоявшего за быстрые наступательные действия, назвал как-то генералом «Вперед»… А знаете, что Суворов ответствовал? «Полно, папаша Мелас, вперед – мое любимое правило, но я и назад оглядываюсь…» – И князь с неожиданной доброй улыбкой подошел к Маркову и, положив ему руку на плечо, добавил: – Так-то, душа моя, Евгений Иванович!

Командиры вскоре разошлись. Ермолов и Денис остались. Багратион, слегка прищурив круглые глаза, посмотрел на Дениса, спросил:

– Где же Четвертинский? Разве не вместе приехали?

– Четвертинский задержался по болезни, ваше сиятельство, – чувствуя неловкость, ответил Денис.

– Что ж, придется в таком случае с тебя пока за двоих спрашивать… Работы много. Я наперед говорю: здесь не гвардия. Парадиры не нужны. В авангарде служить – спокойну не быть! У меня служить – того хуже!

– Я тем себя на всю жизнь довольным почитаю, – дрогнувшим от волнения голосом, глядя в глаза князю, произнес Денис, – что под командой вашего сиятельства состою…

– Смотри ж, чтоб на меня не пенять, – уже более мягко отозвался Багратион и, еще раз поглядев на Дениса, усмехнулся: – А ментик-фертик сними, душа моя… Больно с французскими мундирами схож. Не ровен час, свои же подстрелят!

– Я уже об этом подумал, – заметил Ермолов. – В десятом

гусарском у Бернадотта точь-в-точь такие же носят.

– Ну, хорошо, – сказал Багратион, – идите отдыхать…

И, немного помедлив, обращаясь к Ермолову, добавил:

– Артиллерию твою завтра посмотрим. Коней всех прикажи перековать. Признаюсь, более всего на маршах за лошадей опасаюсь. От них всё… – Багратион не договорил фразу, посмотрел на Ермолова и вдруг неудержимо захлебнулся смехом: – Ох, прости, прости, друг Алексей Петрович! Вспомнился твой разговор с графом Аракчеевым, прямо сил никаких нет… Значит, осмотрел он в Вильно твою конную роту и… как дальше-то было? Одолжи, поведай…

– Да ничего особенного не произошло, ваше сиятельство, – блеснув лукаво глазами и сейчас же приняв равнодушный вид, ответил Ермолов. – Подходит Аракчеев ко мне и говорит: «Вы знаете, что вся ваша репутация зависит от лошадей?» – «Точно так, ваше превосходительство, – отвечаю я, – к сожалению, наша репутация слишком часто зависит от скотов».

– От скотов? Аракчееву-то! – сквозь смех произнес Багратион. – Ну и язычок у тебя… Нет, уж я лучше о лошадях с тобой говорить поостерегусь! Баста!

II

В следующий вечер, ознакомившись со всем, что надлежит знать адъютантам, Денис вместе с Офросимовым дежурил в квартире Багратиона. Как обычно, князь с раннего утра поехал в войсковые части. Его сопровождал Грабовский. Возвратился Багратион поздно, сердитый и, кажется, немного простуженный. Выпил рюмку мадеры и стакан чаю, не раздеваясь, прилег на кровать, быстро и крепко заснул.

На дворе поднималась метель. Ветер завывал в трубах, хлопал ставнями. Офросимов дремал, сидя у жарко натопленной печки. Потом улегся на скамье, захрапел.

Внезапно входная дверь с шумом распахнулась. В комнату ворвался какой-то военный, небольшого роста, в бурке и казацкой папахе. Он весь был залеплен снегом. Сверкали лишь живые черные глазки. Следом два пожилых бородатых казака втащили что-то тяжелое, завернутое в огромный овчинный тулуп.

– Подождите здесь, хузары! Снежок с тулупа стряхнуть! – скомандовал человек в бурке резким, с сильным акцентом голосом. – Князь у себя? – обратился он к Денису.

– Как прикажете доложить? – загораживая незнакомцу дорогу, спросил тот.

– О, мати господа! – воскликнул, сделав шаг назад,

незнакомец. – Да вы сами-то кто такой?

– Дежурный адъютант штаб-ротмистр Давыдов…

– А я полковник Юрковский! Командир аванпостов! Спешное дело!

Офросимов проснулся, вскочил как встрепанный.

– Добрый вечер, полковник! Сейчас князя разбужу…

– Да, братец, хотя и жалко, а придется будить… Сделай милость!

Но Багратиона, спавшего необыкновенно чутко, будить не пришлось. Он стоял уже на пороге.

– Ну, с чем пожаловал, любезный Юрковский?

– С казацким подарком, князь…

Юрковский, венгерец по происхождению, порывистым движением сбросил папаху, расстегнул бурку и, повернувшись к казакам, коротко приказал:

– Представить!

Ловко распаковав свою ношу, казаки вытряхнули из тулупа толстенького белокурого француза в помятом и разорванном мундире с капитанскими нашивками. Он еле держался на ногах, глядел на всех ошалелыми глазами. Увидев неподвижно стоявших позади себя казаков, француз вздрогнул и испуганно отпрыгнул к печке.

По лицу Багратиона скользнула невольная улыбка и моментально потухла. Он бросил на казаков строгий взгляд, потом, переводя его на француза, четко сказал:

– N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal![v]

Услышав родной язык, француз робко улыбнулся, забормотал благодарности. Не слушая его, Багратион обратился к Юрковскому:

– Где взят?

– Почти у самого Страсбурга, чуть-чуть до Бернадотта не доехал, – ответил Юрковский. – Птица важная, ваше сиятельство! Десять конвойных сопровождали. Дрались зверски. Сдаться не пожелали. А этот, – кивнул он на француза, – кусаться начал, казаки его поневоле немножко помяли… И бумаги пытался уничтожить. Насилу отобрали. Извольте получить, ваше сиятельство. – Он протянул пакет.

Взглянув на пакет, Багратион воскликнул:

– Вот оно что! Печать Бертье!

И, резко повернувшись, приказал:

– Офросимов, останься пока здесь. Допросим после. Давыдов, свечей мне!..

* * *

Перехваченный казаками француз был тот самый курьер, которого Бонапарт отправил с секретным предписанием к маршалу Бернадотту. Опасения Багратиона окончательно подтвердились. Послезавтра Бонапарт прибывает в Алленштейн и… русская армия будет отрезана! Теперь все зависело от быстроты движения. Опередить Бонапарта. Двинуть обратно всю армию и авангард. Исправить ошибку Беннигсена.

В Биберсвальде все пришло в движение. Через какой-нибудь час Офросимов, сопровождаемый значительным конвоем, уже мчался в главную квартиру. Он должен был во что бы то ни стало, сделав свыше ста верст, вручить утром Беннигсену секретное предписание Бонапарта. Следом, не теряя ни минуты, загромыхала артиллерия Ермолова. За ним тронулись скрытно все остальные части авангарда.

Лишь аванпосты Юрковского были оставлены на месте. Юрковский обязывался весь день атаковать аванпосты Бернадотта, дабы убедить его, что русские не изменили своего наступательного плана. Не получив предписания Бонапарта, сбитый с толку натиском казачьих отрядов, Бернадотт держал свой корпус в бездействии.

Денис вместе с другими адъютантами находился при Багратионе неотлучно. Князь в бурке и картузе из серой смушки, при старинной шпаге, подаренной в Италии самим Суворовым, ехал с передовыми частями на белом в яблоках горячем донце. Багратион делил с войсками все невзгоды. Спал на привалах у костра, питался из солдатского котла. Беспокойные мысли его сосредоточились на одном: успеет ли Беннигсен стянуть войска и опередить Бонапарта?

Под вечер следующего дня возвратился Офросимов, немного успокоил.

– Главнокомандующий благодарит… Приказы посланы, меры принимаются. Войска предполагают построить на выгодных позициях в районе Янкова, верстах в десяти от Алленштейна.

– Времени-то мало, душа моя, – покачал головой Багратион. – Сутки одни остались. А Бонапарт ждать не будет.

На другой день, к обеду, авангард находился уже в непосредственной близости от Алленштейна, расположенного с правой стороны от дороги. Вьюга, бушевавшая ночью, затихла. Погода устанавливалась ясная, морозная. Багратион с каждым часом делался нетерпеливее. На одном из пригорков, откуда можно было уже разглядеть синевшие вдали высоты Эсткендорфа, господствовавшие над Алленштейном, он остановился. Не слезая с коня, достал подзорную трубу, посмотрел в нее и вдруг, опустив руку, злобно выругался:

– Французы…

Денис, обладавший хорошим зрением, без подзорной трубы увидел, как густые колонны войск, выплывая мощными потоками из-за леса, все шире облегают высоты.

Багратион снова поднял трубу, стал пристально осматривать окрестность. Нет, ничего больше не разглядеть!

– Янково дальше, за этими высотами, – сказал Офросимов, догадавшись, что князь старается обнаружить русские войска.

– Знаю, знаю, – сердито отозвался Багратион, – да все же хоть пикеты какие… Тактики и методики проклятые! – опять выругался он, убирая трубу.

И, дав шпоры донцу, галопом поскакал вперед, обгоняя передний гусарский полк Маркова. Денис на выносливой и сильной казацкой лошади, купленной еще в Морунгене, скакал почти следом. Другие адъютанты начали отставать.

Проскакав версты три, снова поднялись на возвышенность. И Денис неожиданно разглядел вдали еле-еле заметные дымки костров, затем как-то сразу открылась небольшая деревушка, окруженная плотными массами войск…

– Наши! Наши! – изо всех сил крикнул Денис.

Но Багратион и сам видел. На всем скаку он сдержал взмыленного донца. Снял картуз, перекрестился, вытер разгоряченное лицо.

– Стоят! Успели! Молодцы! Слава! – бросал он отрывистые слова, встречая подъезжавших адъютантов.

Затем, осмотрев в подзорную трубу войска, сказал:

– Хотя особых выгод позиций не замечаю, но и то слава богу, что от своих границ не отрезаны.

И с довольным видом воскликнул:

– Эх, посмотрел бы я сейчас на Бонапарта! Как обставили!..

* * *

А Бонапарт, в теплом сюртуке и шляпе, окруженный свитой, стоял на высотах Эсткендорфа. Он долго молча и хмуро осматривал русские войска, затем, повернувшись к стоявшему ближе всех Бертье, с раздражением сказал:

– Вы уверяли меня, что мы найдем здесь не более двух-трех дивизий. А я вижу всю армию Беннигсена!

– Очевидно, русские были предупреждены, ваше величество, – почтительно наклоняя голову и чувствуя за собой невольную вину, ответил Бертье.

– Кем? Как это могло случиться? Мы сделали невероятно

быстрый марш. Наши намерения держались в строгой тайне. И потом… почему нет до сих пор никаких известий от Бернадотта? Это меня беспокоит.

– Я полагаю, ваше величество, его корпус не позднее, чем завтра…

– Оставьте! – с гневным жестом перебил Бонапарт. – Ваши прогнозы потеряли цену. В данный момент необходимо принять самые быстрые меры, чтоб зайти в тыл русским… отрезать пути их сообщения… Дайте карту! – обратился он к одному из своих адъютантов. И, бросив взгляд на растерянного Бертье, прибавил: – Но меня-то, надеюсь, они не обманут! Я разобью их на тех позициях, которые им самим угодно будет избрать!

… Прибыв в главную квартиру, Багратион откровенно высказал мысль, что янковская позиция во многих отношениях для генерального сражения не пригодна. К тому же вечером стало ясно, что французы, овладев селением Бергфрид, восточнее Янкова, настойчиво стремятся отрезать армию от сообщений с Россией. Беннигсен на этот раз с разумными доводами согласился. Русские войска двумя колоннами ночью же начали отступление к городу Прейсиш-Эйлау. Замысел Бонапарта снова был разрушен.

Багратион и Барклай де Толли были назначены начальниками арьергардов. Багратион стал позади одной отступающей колонны войск. Барклай защищал другую.

Первую ожесточенную схватку с французами арьергарду Багратиона пришлось выдержать под Вольфсдорфом. Здесь Денис впервые побывал под огнем. Хотя, как это часто случается с новичками, страдающими излишней горячностью и самонадеянностью, дело не обошлось без некоторого конфуза.

Накануне ночью возвратился Юрковский со своими казаками. Рассыпавшись в передней цепи, они с рассвета завязали жаркую перестрелку с неприятельскими фланкерами.

Денис знал, конечно, что задача арьергарда, в сущности, заключалась в том, чтобы, переходя с одной оборонительной позиции на другую, не ввязываясь в общую битву, сдерживать напор наседающих французов.

Однако, услышав перестрелку, он загорелся таким страстным желанием принять участие в боевых действиях, что все благоразумные мысли исчезли. Вольфсдорфское поле, где шла перестрелка, начало казаться превосходной позицией, которую следует защищать во что бы то ни стало. Денис лихорадочно ожидал, что Багратион вот-вот пошлет его в один из полков с приказом «поддержать казаков», надеялся пристроиться к кавалерии и славно порубиться.

Между тем, стоя на одном из курганов близ Вольфсдорфа и видя, что неприятель выдвинул на ближние холмы основные силы и артиллерию, Багратион подозвал Дениса и, указав на видневшийся угол леса, занятого русскими егерями, хладнокровно сказал:

– Поезжай, голубчик Давыдов, туда… Передай полковнику Гогелю, чтоб немедля отступал к Дитрихсдорфу… Я тоже туда направляюсь… Время!

Дениса, ожидавшего наступательных действий, такой приказ обескуражил. Но делать нечего. Он вихрем помчался к егерям, выполнил поручение. В это время французы усилили огонь по русской передней цепи, введя в действие два орудия. Казаки и два-три взвода гусар, отстреливаясь, отходили к лесу, который собирались уже оставлять егеря.

Давыдову возвращаться обратно не хотелось. Свист пуль и шипящие звуки нескольких ядер, пролетевших над головой, действовали возбуждающе. В голове зародились сумасбродные мысли. Хорошо бы с казаками и гусарами ударить на неприятельских фланкеров, опрокинуть их, затем… Затем уже рисовалось совершенно несбыточное: егеря, увидев геройскую атаку, поддержат их, Багратион подкрепит всем арьергардом, потом Даст знать Беннигсену… Словом, Денис представлял себя чуть ли не победителем самого Бонапарта!

Лицо одного из казацких урядников показалось ему знакомым. Ба! Да ведь это один из тех, кто привез в тулупе француза!

Денис подскакал к нему. Урядник, по фамилии Крючков, княжеского адъютанта узнал сразу.

– А что, брат, если б по ним ударить? – кивнув в сторону французских фланкеров, спросил Денис.

– Да чего ж нет, ваше благородие, – спокойно отозвался урядник. – Их здесь немного, справиться можно… И от пехоты своей мы недалеко, есть кому поддержать!

– Ну, подбивай на удар своих, а я примусь за гусар, – крикнул Денис, направляясь к скакавшему невдалеке офицеру, очевидно командиру одного из гусарских взводов.

Молодой гусарский подпоручик, по всей видимости, был в одинаковом настроении с Денисом. Они быстро договорились.

И вот казаки и гусары понеслись на неприятельских фланкеров. Денис, не помня себя, достал саблей одного француза, рубанул по руке другого. Сеча продолжалась недолго. Французов смяли, они пошли на уход. Казаки и гусары в запальчивости начали преследование и… вдруг увидели перед собой целый эскадрон неприятельских драгун с конскими

хвостами, развевавшимися на гребнях шлемов.

Пришлась повернуть назад. «Исполинский» план Дениса рухнул! И хотя его сабля «поела живого мяса и благородный пар крови курился на ее лезвии», как вспоминал он впоследствии, все-таки было обидно. В плохом настроении, суровый, возвращался он к князю в Дитрихсдорф, куда стягивались все войска арьергарда.

День был тихий. Перепархивал легкий снежок. Откуда-то издалека доносились глухие звуки орудийной канонады. Денис ехал один лощиной. Поднявшись на пригорок, он неожиданно почти столкнулся с. шестью французскими конными егерями, ехавшими навстречу. Мгновенно повернув коня, Денис помчался в обратном направлении. Французы выстрелили из карабинов. Одна из пуль попала в коня. Денис понял это по тому, как конь бешено рванулся вперед. Проскакав несколько минут, Денис подумал, что отделался от погони, повернул голову. Нет, французы настигали, обскакивая с двух сторон. Давыдов почувствовал неприятную дрожь в теле. Он окинул взглядом окрестность. В поле, до самого леса, из своих никого уже не было. «Неужели конец?» – промелькнуло в его голове. И он изо всех сил сдавил бока лошади шпорами.

Шинель, застегнутая у горла на одну пуговицу, раздувалась от ветра. Один из преследователей, желая, может статься, забрать русского офицера живым, ухватился за край шинели, но пуговица оторвалась и… шинель осталась в руках у француза. А Денис, не различая дороги, продолжал мчаться по опушке леса, где его подстерегала новая опасность: в этой местности, под снегом, лежала непроходимая топь. Сзади опять прозвучали выстрелы, и вдруг лошадь со всего маху провалилась в трясину, затем перевернулась на бок и, вздрогнув всем телом, издохла. Еще секунда, другая – и смерть или плен были бы участью Дениса. Но в этот момент из лесу с криком вылетел казачий разъезд, посланный Юрковским для наблюдения за неприятелем. Французы повернули обратно. Дениса в самом жалком виде, без шинели, грязного, в крови, казаки доставили к Юрковскому.

– О, мати господа! – воскликнул тот. – Да как же вас угораздило?

Денис рассказал обо всем, умолчав лишь про свои грандиозные замыслы. Они казались ему уже смешными. Юрковский дал лошадь из-под убитого гусара. Багратион, пожурив за опрометчивость, подарил бурку. И даже представил к награждению за схватку с неприятельскими фланкерами[13].

III

26 января утром, пройдя небольшой прусский городок Прейсиш-Эйлау, русская армия стала занимать позиции, избранные Беннигсеном для генерального сражения. Войска развертывались небольшим полукругом на холмистой равнине, лицом к городу, между селениями Шлодитен (правый фланг) и Серпаллен (левый фланг). Главная квартира переместилась на мызу Ауклапен, расположенную прямо за центром войск.

Пока производились спешные приготовления к сражению, арьергард Багратиона, сдерживая усиливающийся натиск французов, медленно, с боями, отступал по большой дороге, приближаясь к Прейсиш-Эйлау. На случай прорыва неприятельских войск город, занятый пехотой Барклая, подошедшего сюда несколько раньше, готовился к обороне.

Получив приказ держаться весь день, чтобы дать возможность устроить армию, Багратион и Барклай хорошо понимали, как трудно этот приказ выполнить. Французскими войсками, имевшими большой численный перевес над всей русской армией, командовал сам Бонапарт. С ним были лучшие его, прославленные многими победами маршалы. Что могли сделать слабые арьергардные части, теснимые конницей Мюрата, корпусами Сульта и Ожеро, за которыми следовал с гвардией Бонапарт?

И все же, мужественно исполняя свой долг, Багратион и Барклай не помышляли ретироваться раньше времени.

Багратион не спал уже четвертые сутки. Под неприятельским огнем он держал себя совершенно спокойно. На лице ни тени волнения. Он даже шутил более обыкновенного, что делал всегда в минуты опасности.

Адъютантам князя тоже отдыхать не приходилось. Обязанности, возлагаемые на них, состояли главным образом в передаче приказов командирам отдельных частей арьергарда и поддержке постоянной связи с главной квартирой. Эти два вида деятельности различались между собой довольно резко. От адъютанта, скакавшего под огнем на передовую позицию, требовались прежде всего решительность, мужество. Адъютант, направлявшийся в главную квартиру, должен был обладать известными дипломатическими способностями. Не так-то просто добиться в штабе Беннигсена быстрого исполнения какой-нибудь просьбы!

Багратион чаще всего посылал в главную квартиру Грабовского и Офросимова, весьма искусных в тонком обращении со штабным начальством. Что же касается Дениса, то князь, быстро оценивший его старательность, инициативность, отвагу, побаивался, как бы излишняя горячность молодого адъютанта не

привела в штабе к неприятным столкновениям.

Поэтому, к великому удовольствию самого Дениса, ему больше всех приходилось ездить к Маркову, Юрковскому, Ермолову и другим командирам частей, находившихся на передовой линии.

… Пушки ермоловской батареи грохотали беспрерывно, осыпая картечью наступающую густыми колоннами пехоту маршала Сульта.

В полдень, когда атаки французов особенно усилились, Денис поскакал к Ермолову с приказанием передвинуть орудия несколько в сторону, на возвышенный берег Тенкнитенского озера, расположенного в какой-нибудь версте от города.

Состояние ермоловской батареи было незавидное. В пороховом дыму, застилавшем окрестность, Денис разглядел несколько разбитых орудий, повсюду разбросанные трупы людей и лошадей. Земля была изрыта ядрами, залетавшими сюда все чаще и чаще. Добрая половина орудийной прислуги выведена из строя. И все же никакой растерянности на лицах оставшихся в живых не замечалось. Солдаты подносили снаряды и заряжали орудия с таким видом, будто в обычных условиях выполняли привычную работу. А в пехотном батальоне, стоявшем позади батарей, даже посмеивались:

– Чего хранцы горячку порют? Ермолов за себя постоит…

Сам Алексей Петрович, весь в пороховой копоти, быстро переходил от одного орудия к другому, охрипшим голосом приказывал:

– Жарьте картечью! Быстрее поворачивайтесь, ребята! Еще разок картечь!

На батарее, вынырнув откуда-то сзади, появился рослый, широкоплечий солдат, шея которого была обмотана бинтами. Заметив солдата, Ермолов сдвинул брови, шагнул к нему.

– Ты зачем сюда, Кравчук? Кто позволил?

– Раны мой пустяшными оказались, ваше высокоблагородие, – отозвался солдат, – ничего мне не сделается…

– А лекарь что сказал?

– Они, известно… обождать велели… – невнятно пробормотал Кравчук и, быстро преодолев смущение, с неожиданной силой продолжил: – Душа-то сильнее ран болит, ваше высокоблагородие… Я пятнадцать годов в солдатах. В суворовских походах бывал, понимаю, что делается… Их, – он кивнул в сторону французов, – коли тут не окоротить, они и до России дойти могут… Не за тридевять земель граница наша! Как в лазарете валяться, ваше высокоблагородие?.. Дозвольте к

орудию стать…

– Ладно, становись, что с тобой поделаешь! – махнув рукой, сказал Ермолов.

И, подойдя к Денису, вытирая рукавом шинели лицо, сказал:

– Вот они, солдаты российские, брат Денис! Кравчука сегодня утром осколками сильно задело. Поранило и грудь и шею. Другой бы, пользуясь случаем, недели две из лазарета не вышел, а этот сделал перевязку да сюда… Орел! А доводы каковы? Слышал?

– Суворовской закалки, почтеннейший брат…

Денис не договорил фразы. Над батареей низко, со свистом пронеслось ядро. Следом другое, третье. Ермолов проводил их равнодушным взглядом, вздохнул:

– Да… Тяжело у нас… Три атаки французов отбили, а они снова лезут как окаянные! Ну, а ты с чем пожаловал?

Денис сообщил приказ. Ермолов ответил:

– Передай, через час там буду… Да скажи князю, что лед на озере замерз крепко, кавалерию бы в обход по озеру пустить… Эх, да ведь не выпросишь, пожалуй, у наших немцев! – махнув рукой, с досадой добавил он. – Они теперь диспозициями заняты, им на нас наплевать… Ну, прощай, некогда!

А между тем Багратион, наблюдая за общим движением неприятельских сил, сам превосходно видел, как необходим сейчас кавалерийский удар с фланга. Багратион послал уже Офросимова в главную квартиру, хотя не очень-то надеялся, что удастся получить кавалерию из резерва.

Увидев перед собой пылающее от легкого мороза и возбуждения лицо Давыдова, еще не дослушав Дениса, князь подумал: «А что, если послать этого молодца? Не беда, что горяч. Может быть, как раз это сейчас и нужно… Теперь не до церемоний!» И, обратившись к Давыдову, сказал:

– Слушай, душа моя… Я отправил в главную квартиру Офросимова, но боюсь, что дело затянется. А положение тебе известно. Времени нет. Скачи туда сам, найди Офросимова… И чтоб через час кавалерия была. Добивайтесь любыми средствами Понимаешь?

– Будет исполнено, ваше сиятельство! – воскликнул Денис, радостно блеснув глазами.

Багратион улыбнулся:

– Так поезжай с богом! Надеюсь, голубчик! – И, посмотрев в глаза Денису, предупредил: – Смотри ж, однако, голову не закладывай. В драку не лезь!

Да, это поручение было потрудней других. В штабе Беннигсена, помещавшемся в просторном помещичьем доме на мызе Ауклапен, к просьбам начальника арьергарда относились

равнодушно. Сам Беннигсен поехал осматривать позиции. А штабные работники, в большинстве немцы, в самом деле занимались составлением каких-то бумаг, попыхивали сигарами и, пожимая плечами, цедили сквозь зубы:

– Резервы трогать нельзя… Это есть непорядок!

Офросимов, не успевший ничего еще сделать, сказал Денису, что все советуют обратиться к дежурному генералу Петру Александровичу Толстому. Один из любимцев и доверенных лиц императора, этот генерал, используя свое положение, вмешивался во все дела. Толстой занимал отдельный флигель. Офросимов и Денис направились туда вместе.

Сорокалетний генерал, с одутловатым сердитым лицом, сидел в кабинете за превосходно сервированным столом и завтракал. Он окинул вошедших адъютантов Багратиона недобрым взглядом и, не дослушав Офросимова, продолжая кушать котлетку, крикнул:

– Да что надобно князю? Он хочет вытребовать всю армию в свой арьергард! Если он с тем, что имеет, не может удерживать неприятеля, то что это за генерал!

– Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, неприятель ввел в действие не менее трех корпусов, – заметил Денис, стараясь держаться почтительно, хотя чувствовал, что от негодования кровь бросилась в лицо.

– Что же из этого следует? Что? – перебил Толстой, начиная раздражаться. – Арьергард обязан исполнять свой долг… Да-с! И, полагаю, обстоятельства не так затруднительны, как вы рисуете. Французские войска ослаблены длительным маршем. Надо проявлять больше смелости… Извольте передать князю, чтоб на резервы не рассчитывал!

Денис, словно ошпаренный, выскочил из флигеля. И долго не мог успокоиться.

– Черт знает что творится! – бормотал он, сжимая руку Офросимова. – Ты пойми, там умирают, а здесь…

– Здесь свои порядки, мой милый, – перебил его Офросимов, – нам с тобой их не переделать… Давай подумаем хладнокровно, что предпринять дальше.

– И думать нечего! Едем искать Беннигсена! А если не дадут добром, я сам подговорю какой-нибудь полк…

И Денис, не докончив фразы, опрометью побежал к своей лошади, стоявшей у подъезда дома. Офросимов последовал за ним.

К счастью, Беннигсена искать пришлось не долго. Окруженный большой свитой, главнокомандующий возвращался в главную квартиру. Увидев его на дороге, Денис и Офросимов,

пришпорив лошадей, помчались навстречу галопом. Беннигсен, признав в скачущих всадниках адъютантов Багратиона, забеспокоился. Тонкие губы его свела легкая судорога. Понял: случилась какая-то неприятность. А Денис, подскакавший первым, был в таком возбужденном состоянии, что на лицах свитских генералов и офицеров тоже отразился невольный испуг.

– К вашему высокопревосходительству от князя Багратиона, – срывающимся звонким голосом крикнул Денис. – Неприятель двинул главные силы! Держаться невозможно!

– Что же нужно князю? – спросил встревоженный главнокомандующий.

– Кавалерия! Представляется удобный случай ударить с фланга, ваше высокопревосходительство. По льду Тенкнитенского озера. Это единственный способ задержать…

– Хорошо, хорошо, – перебил Беннигсен, – возьмите моим именем два полка… Кажется, у Шлодитена стоят драгуны и уланы… И передайте князю, что я пришлю еще пехотную дивизию… Держаться у города необходимо до последней возможности, армия еще не устроена…

Через полчаса Петербургский драгунский полк на рысях подходил к мызе Грингофшен, близ города, куда отступали арьергардные части. Рядом с огромным усатым полковником Дегтяревым ехал торжествующий, разрумянившийся Денис. Следом подходил Литовский уланский полк, взятый Офросимовым. По правде сказать, Денис надеялся, что теперь князь не откажет ему в разрешении отправиться с драгунами дальше. Однако Багратион, сердечно поблагодарив адъютантов, просьбу Дениса решительно отклонил:

– Не могу, голубчик… видишь, что делается! – указал он на громады неприятельских войск, спускавшихся с высоток к городу. – Мне здесь каждый человек дорог!

Вскоре началось ожесточенное сражение за город. Драгуны Дегтярева и уланы, перейдя озеро, опрокинули два французских пехотных полка. Одновременно ударили в штыки мушкетеры генерала Багговута. Наступление неприятельских войск немного задержали. Им лишь в сумерках удалось прорваться к городу. Но здесь они были встречены жестоким огнем стрелков Барклая, засевших в садах и строениях. Завязался упорный бой. Теснимые превосходящими силами противника, сражаясь врукопашную на улицах, русские медленно выходили из города. В это время генерал Барклай был ранен: осколком снаряда ему раздробило кость правой руки. Его отправили в главную квартиру.

Уже совсем стемнело, когда к городу, почти полностью занятому неприятелем, подошла наконец пехотная дивизия,

обещанная главнокомандующим. Встретив ее при подходе к городу, Багратион, подскакав к передней колонне, крикнул:

– Возьмем обратно город, ребята! Рано неприятелю в теплых домах нежиться! Пусть в поле ночует!

И, сойдя с лошади, обнажив шпагу, князь пошел впереди войска, чуть заметно припадая на левую ногу. Над головой, шипя, проносились ядра. Кругом свистели пули. Не доходя до Первых городских строений, Багратион повернулся, крикнул:

– С богом, ребята! Ур-ра!..

Вздрогнула земля от мощного и грозного клича. Войска рванулись вперед. Со штыками наперевес, обгоняя друг друга, ворвались в город. Растерявшись от неожиданности, французы стали поспешно оставлять дома и улицы.

Багратион остановился близ городской ратуши. Была уже ночь. Выстрелы постепенно затихали. С обеих сторон города запылали бесчисленные костры. Русская и французская армии располагались на ночлег. Распустив войска арьергарда по местам, назначенным им по диспозиции, поручив охрану города командиру пехотной дивизии генералу Сомову, Багратион, оставшись без команды, отправился в главную квартиру.

День, необходимый для устройства русской армии, был арьергардом отвоеван.

IV

Рассветало… Багратион, ночевавший со своими адъютантами в одном из сараев мызы Ауклапен, давно уже, заложив руки за голову, лежал с открытыми глазами. Было горько и обидно сознавать, что его, боевого генерала, в день решительного сражения посылают в резервные войска под команду генерала Дохтурова. Ничего лучшего Беннигсен не мог придумать! А может быть, лукавый, искусный в интригах немец умышленно отстраняет его от дела, боясь соперников в военной славе? Ну, да не такой сегодня день, чтоб думать о личных обидах… Да и Дмитрий Сергеевич Дохтуров славный, храбрый генерал. Надо исполнять, что приказали.

Багратион легко и быстро поднялся. Посмотрел на крепко спавших адъютантов, минуту помедлил. Жаль будить, да ничего не поделаешь.

– Пора вставать, други мои, – мягко и весело сказал князь. – Едем к Дохтурову.

Адъютанты вскочили сразу. Лица освежили снегом и одеколоном. Выпили вместе с князем по стакану любимой его мадеры. На все ушло не более десяти минут – такой порядок у

Багратиона соблюдался всегда.

Узнав ночью, что князь назначен в резервные войска, Денис пришел в негодование. Любимого самим Суворовым генерала – в резерв! Багратиону предпочитают Сакенов, Эссенов и Корфов, многие из которых не слышали даже боевых выстрелов! Возмутительно! Разгорячась, Денис высказал товарищам много нелестных слов по адресу высокого начальства. Но… как спокойно держится сам Багратион! Собирается ехать к Дохтурову, привычно встал раньше всех, шутит, смеется, словно обида его и не коснулась. Этого Денис никак понять не мог! По его мнению, князю следовало отказаться от обидной должности, писать жалобу государю, вообще протестовать всеми способами. «Хорошо бы поговорить по душам с Ермоловым», – мелькнула неожиданная мысль, вызвав желание повидаться с братом Алексеем Петровичем. Ермолов находился сейчас на правом фланге, где было установлено двадцать оставшихся в целости пушек его батареи. «Все равно утром резервы вряд ли введут в действие, – размышлял Денис, – а посмотреть, как начнется сражение, интересно…»

Багратион на этот раз в просьбе не отказал:

– Хорошо, поезжай… Кланяйся Алексею Петровичу. Да, кстати, узнай, в каком положении его орудия. Только не задерживайся, душа моя.

Денис поблагодарил и помчался на правый фланг. С небольшой возвышенности, куда он поднялся, открылась изумительная картина. Выпавший ночью снег словно пушистым ковром покрыл поле предстоящего сражения. В синем утреннем рассвете отчетливо различались дымившиеся еще костры биваков, но русские войска строились уже в боевой порядок. Было тихо. Легкий теплый ветерок изредка кружил по полю пролетный снег.

Денису было известно, что ночью из-за беспечности генерала Сомова французы опять заняли город. Зоркими глазами Денис разглядел, что у передних городских строений шевелится неприятельская пехота, выдвигаются орудия. «Ну, скоро, пожалуй, начнется», – подумал он, пришпоривая лошадь.

Найти Алексея Петровича Ермолова было нетрудно. Артиллерия правого фланга, состоявшая из сорока батарейных орудий и двадцати легких пушек, находилась впереди войск, близ селения Шлодитен. Когда Денис подъезжал сюда, он не знал, что главнокомандующий отдал уже приказ открыть огонь из всех орудий правофланговой батареи. Оставив лошадь у коновязи одного из гусарских эскадронов, стоявших на окраине селения, Денис отправился дальше пешком, как вдруг раздался оглушительный орудийный залп и сейчас же со стороны города

ответили французские пушки. Началась сильная артиллерийская стрельба. Добежав до невысокого кургана, где стояли ермоловские орудия, Денис ничего уже отсюда разглядеть не мог: все потонуло в пороховом дыму.

Ермолов был сегодня в лучшем настроении, чем вчера. И хотя залетавшие на курган ядра выводили из строя людей, Алексей Петрович распоряжался хладнокровно, с исключительным спокойствием.

– Ты зачем здесь? – удивился он, встретив Дениса.

– Посмотреть, как другие дерутся, почтеннейший брат… Отпросился у князя. А то и сражение кончится – ничего не увидишь. Мы же в резерве!

Ермолов ответить не успел. У одного из орудий со страшным громом и треском разорвалось неприятельское ядро. Алексей Петрович, махнув рукой, побежал туда.

Через несколько минут загрохотали семьдесят орудий центральной батареи, расположенной в полуверсте от батареи Ермолова. Канонада усилилась и с неприятельской стороны. Над полем плавали густые дымные тучи. Но на ермоловский курган ядра стали залетать все реже, очевидно французы сосредоточили огонь на центре и левом фланге.

Неожиданно погода резко изменилась. Подул порывистый ветер. Начался сильный снегопад. Закрутилась метель. В двух шагах ничего нельзя было разглядеть. Канонада сразу затихла. Ермолов тоже прекратил бесцельную стрельбу.

– Вот погодка! Прямо светопредставление! – сказал Алексей Петрович, подойдя к Денису, укрывшемуся от снега за пустыми снарядными ящиками. – В такую пору и до греха недалеко. Можно своих побить… – Он помолчал и заговорил о другом: – Так ты говоришь, что в резерве теперь… Слышал, слышал! Нечего сказать, нашли местечко для князя Петра Ивановича… А что поделаешь? Беда, Денис, старая… Вечно чужеземцы ноги нам путают… Вспомни Суворова…

– Я одного не понимаю, – сказал Денис, – почему же князь молча обиду терпит?

– Эх, брат любезный! – вздохнул Ермолов. – Плохо, я смотрю, Багратиона ты знаешь… Храбрых и горячих генералов у нас много. А князь Петр Иванович тем над ними возвышается, что свои обиды забывать умеет, когда о чести и славе отечества токмо помышлять надлежит. В этом все дело! Сам сообрази…

Ермолов не договорил. Произошло невероятное…

Метель как-то вдруг стихла. Небо прояснилось. Прямо перед центральной батареей стояли плотные колонны войск в синих мундирах.

– Французы! – вскрикнул, подскакивая от изумления, Денис.

– Кой черт их сюда принес? – удивился и Ермолов. – Заблудились, наверное!

Пушки центральной батареи полыхнули огнем. Еще и еще! Французы зашевелились, попятились. В одно мгновение несколько русских пехотных батальонов, стоявших в центре, наклонив штыки, ринулись в атаку. Двадцать тысяч человек схватились грудь с грудью. Стрелять из орудий было невозможно. Слышался лишь невыразимый гул, лязг и скрежет. Наконец французы не выдержали, стали поспешно отступать. В погоню за ними помчалась кавалерия.

Затаив дыхание, Денис лихорадочно блестевшими глазами наблюдал это потрясающее зрелище. Увидев толпы бегущих французов, он подумал, что теперь, пожалуй, исход всего сражения предрешен, и, повернувшись к Ермолову, воскликнул:

– Какая блистательная победа! И как быстро с ними управились!

– Подожди, до победы еще далеко, – отозвался Алексей Петрович.

Лицо его было пасмурно. Он неотрывно смотрел на позиции, занимаемые главными силами русской армии. Там не замечалось никакого движения. И это обстоятельство беспокоило Алексея Петровича больше всего.

– Французы наскочили на нас по какой-то случайности, – продолжал он, – но чтоб этот благоприятный для нас момент принес ощутительную выгоду, необходимо немедленно, сейчас же поддержать наступление главными силами. А Беннигсен не решается и упускает победу из своих рук!

С досады Ермолов сердито и зло выругался.

На Дениса слова Ермолова подействовали отрезвляюще. В самом деле, нерешительность Беннигсена была очевидна. Русские войска не собирались трогаться с места. На душе у Дениса стало смутно. И опять, как во многих других случаях жизни, в памяти невольно всплыл незабываемый образ любимого полководца.

– Эх, был бы с нами Суворов! – подавляя вздох, высказал он вслух свою мысль.

Ермолов сочувственно кивнул головой:

– Да, тогда бы разговор совсем другой был…

… Бонапарт находился в самом мрачном настроении. Он стоял на возвышенной окраине города, у кладбищенской церкви. Прибыв сюда рано утром и впервые увидев русскую армию, построенную для сражения, он сразу понял, какую крупную ошибку допустил. Полагая, что русская армия будет отступать к Кенигсбергу, не ожидая генерального сражения, он распылил

свои силы. Корпус маршала Нея был направлен для преследования прусского шеститысячного отряда генерала Лестока, находившегося в десяти – двенадцати верстах от правого фланга русской армии. Корпус маршала Даву ночевал в пятнадцати верстах от левого фланга. Корпус Бернадотта, сбитого с толку Багратионом, еще не подошел, на его содействие нельзя рассчитывать.

Послав адъютантов к Нею и Даву с приказом немедленно идти к Эйлау, Бонапарт не спешил начинать битву, хотя располагал войсками, по численности не уступавшими русским. Бонапарт давно уже имел возможность убедиться, что русские сражаются с мужеством необыкновенным. Ожесточенное сопротивление арьергарда Багратиона, которого хорошо помнил еще по шенграбенскому делу, прямо-таки изумляло.

– Это лучший генерал русской армии, – отзывался он о Багратионе.

Надеяться на легкую победу, как бывало в Австрии и Германии, не приходилось. Лишь получив известие, что войска Даву скоро прибудут, Бонапарт решился на боевые действия. Он приказал корпусу Ожеро атаковать левый русский фланг, куда с другой стороны должен был подойти Даву. Но войска Ожеро, застигнутые внезапной метелью, сбившись с дороги, угодили под русские пушки… И не прошло одного часа, как прискакали адъютанты со страшным известием:

– Корпус разбит… Сам Ожеро тяжело ранен! Командиры дивизий – генералы Дежарден и Гёделе убиты!

А вскоре показались разрозненные, жалкие остатки корпуса, преследуемые по пятам русской пехотой и кавалерией.

Бонапарт содрогнулся. Опасность угрожала уже ему самому. Один из русских гренадерских батальонов, увлекшись погоней, приближался к кладбищу. Бонапарт ясно видел красные озлобленные лица рослых гренадер, бежавших со штыками наперевес. Еще одна минута – и все будет кончено…

– Пошлите гвардию, накажите их за дерзость, – отрывисто и зло приказал Бонапарт, обращаясь к Бертье.

Оставленные Беннигсеном без поддержки, несколько русских батальонов, преследовавшие французов, гвардейской атаки не выдержали и отступили. Конница Мюрата и гвардейская кавалерийская дивизия Бессьера, прорвав боевую линию, пронеслась до русских резервов. Но вскоре снова поступили неприятные известия. Не сдержав кавалерийской атаки, русская пехота все же с поля не бежала. Пехотинцы ложились на землю, пропускали кавалерию, затем поднимались и стреляли ей в тыл. Гвардейская дивизия Бессьера, встретив жестокий огонь русских

резервов, повернула обратно. Генералы д'Опу и Корбино были убиты.

Бонапарт нетерпеливо поджидал подхода войск маршалов Нея и Даву. Он не знал, что его адъютант Евгений де Монтескью, посланный к Нею, захвачен казаками и надеяться можно лишь на Даву, войска которого и подошли в полдень. Бонапарт оживился. На первых порах Даву удалось потеснить с левого фланга русских. Однако через час французы снова были отброшены, причем русские чуть не захватили всю артиллерию Даву.

Бонапарт оставался на месте. Русская артиллерия усиливала огонь. Пехота, стоявшая позади кладбища, несла огромные потери. И только присутствие императора удерживало войска от бегства.

Ветки деревьев, сбитые ядрами и картечью, сыпались на голову Бонапарта. Вокруг лежали трупы офицеров и солдат. Адъютанты продолжали доставлять сведения о потерях… Какой страшный день!

– Ну, Бертье, что вы думаете о наших делах? – стараясь сохранить спокойный тон, спросил Бонапарт.

– Мы удерживаем все свои позиции, ваше величество, – дипломатически ответил начальник штаба.

– Да, но к русским, кажется, подошли подкрепления, а у нас уже мало снарядов. Ней не является. Бернадотт далеко. Кажется, лучше идти своим навстречу…

Последняя фраза не оставляла никаких сомнений. Император признает сражение неудачным, думает об отступлении. Бертье промолчал. Спускались сумерки. Канонада продолжалась.

… Денис возвратился к Багратиону в тот момент, когда князь вместе с Дохтуровым объезжал резервные войска, еще не принимавшие участия в сражении. Маленький, толстенький, застенчивый Дохтуров высоко ценил и любил Багратиона, соглашался со всеми его замечаниями. Получив донесение, что казачьи разъезды выследили движение к левому флангу неприятельских колонн, Дохтуров и Багратион устраивали свои войска таким образом, чтобы была возможность быстрее оказать помощь левому флангу. В то же время, предчувствуя неизбежность атаки французской кавалерии, Багратион распорядился приблизить конницу резерва, находившуюся под общим командованием генерала Чаплица, поставив ее в березовой роще, близ мызы Ауклапен. Среди этих войск находился Елизаветградский гусарский полк, командование которым принял полковник Юрковский, несколько эскадронов павлоградских гусар и казачьи полки.

Как только кавалерия Мюрата и Бессьера приблизилась к

первой линии, Багратион послал Дениса с приказом к Чаплицу ударить на французов.

Увидев оживленных, готовых к бою гусар, услышав с детства знакомые слова кавалерийской команды, Денис с неожиданной остротой почувствовал неудовлетворенность своим положением. Нет, разумеется, он очень дорожил близостью к Багратиону, привязанность к которому росла с каждым днем. Он знал также, что, как адъютант, выполняет нужную и весьма ответственную работу, но все же с какой бы охотой он примкнул сейчас к гусарам и вместе с ними полетел бы в горячую схватку! «У них все ясно и просто, – думал Денис. – И никому никакого дела нет, какие диспозиции сочиняет Беннигсен… И, наверное, никто даже не представляет себе общего положения таким, какое оно есть. Порубился с неприятелем, выполнил приказ, да и отдыхай! Нет, если б не служил при Багратионе, дня одного не остался бы в адъютантах».

– Давыдов! – окликнул его знакомый голос, когда он проезжал мимо одного из эскадронов павлоградских гусар.

Денис приостановился. К нему подскакал сияющий и возбужденный Степан Храповицкий.

– Ну что? Скоро нам в дело вступать? – спросил он, догадываясь, зачем скачет сюда адъютант Багратиона.

– Скоро, скоро, сейчас распоряжение передам, – ответил Денис, завистливо поглядывая на гусара.

– Вот спасибо! А то надоело стоять! Руки чешутся! – улыбаясь и подкручивая по привычке рыжие усики, сказал Храповицкий. – А вы что же? Все время при князе?

– Да, при князе Багратионе, – холодно произнес Денис, подчеркивая фамилию и тем давая понять, что он не принадлежит к числу обычных адъютантов.

И, попрощавшись, поскакал дальше, злясь на себя, что так нелюбезно обошелся с дружески расположенным к нему гусаром. Причина же этой нелюбезности заключалась в том, что Денису хорошо было известно неприязненное отношение гусар к «адъютантикам». Вопрос Храповицкого показался обидным. «Но ведь ему известно, что я состою не при каком-нибудь штабном, а при самом боевом генерале и, наверное, он не думал меня обижать, – размышляя, укорял себя Денис. – Надо будет обязательно съездить к нему, загладить свою резкость…» А на душе по-прежнему было смутно.

Спустя каких-нибудь пять минут гусары и казаки, вылетев из рощи, дружно ударили с фланга на гвардейцев Бессьера, прорвавшихся почти до пехоты резерва. Впереди елизаветградских гусар на бешеном вороном Жеребце скакал

полковник Юрковский.

– Руби их в пе́си! Круши, хузары! – сверкая глазами, кричал он, врезаясь в неприятельские ряды и с непостижимой ловкостью действуя саблей.

Вскоре французские конные гвардейцы отхлынули назад, преследуемые гусарами и казаками. Но на гребне высот, примыкавших к русскому левому флангу, показались войска маршала Даву. Бонапарт послал ему на помощь пехотную дивизию Сент-Илера, несколько кавалерийских, а также остатки разбитого корпуса Ожеро. Французы наступали густыми массами. Небольшой отряд генерала Багговута и дивизия генерала Николая Михайловича Каменского, сына фельдмаршала, отошли от Серпаллена к центру. Войска резерва вступили в сражение. Но силы были не равны. Французам удалось занять Крегскую гору, господствующую над местностью, а затем зажечь мызу Ауклапен.

В это время осколком снаряда был тяжело ранен генерал Дохтуров. Командование принял Багратион, опять в минуту опасности оказавшийся во главе войск, принимавших на себя всю тяжесть неприятельского удара. Багратион повернул резервы лицом к неприятелю и начал контратаку.

Денис поскакал к Беннигсену за подкреплением. Штаб главнокомандующего расположился на безопасном правом фланге. Несмотря на это, в штабе чувствовалось смятение.

Беннигсен разрешил перебросить с правого фланга на левый все легкие орудия, обещал прислать на помощь подходивший прусский отряд генерала Лестока, но основные силы центра и правого фланга, стоявшие в бездействии, трогать запретил. Распоряжения главнокомандующего сводились к одному – отразить нападение. Наступательных действий он остерегался, хотя Багратион ручался, что при надлежащей поддержке опрокинет войска Даву.

– Мы даем сражение оборонительное, – говорил Беннигсен, – не будем выходить за рамки предусмотренных в таких случаях операций.

Денис окончательно убедился, что при таком главнокомандующем о победе нечего и мечтать. Возвращаясь обратно, выполняя под огнем поручения Багратиона, он всюду видел чудеса храбрости, самопожертвования, героизма русских воинов и отдельных начальников, часто на свой страх и риск производивших контратаки. Видел величественного Багратиона, показывающего всем пример хладнокровия и бесстрашия; видел, как Ермолов, прискакавший на помощь пехоте, поставил впереди войск пушки и осыпал брандкугелями французов, засевших на мызе Ауклапен; видел, как генерал Каменский водил свою

дивизию в штыковую атаку. Усилия некоторых начальников и героизм русских солдат принесли известные результаты: французы к вечеру оставили и Крегскую гору, и мызу Ауклапен, и другие взятые ими в начале сражения позиции. Бой окончился вничью. Обе армии, понеся огромные потери, остались на прежних местах.

Однако Денис, как и многие другие участники сражения, понимал, что день обещал полную, решительную победу. И упущена она лишь потому, что русскую армию возглавлял плохой главнокомандующий, а штаб состоял из бездарных и трусливых людей, не знавших даже русского языка. Денис Васильевич все сильнее и сильнее проникался ненавистью к этим господам, парализовавшим успешные действия русских войск.

Наступила ночь. В штабе Беннигсена подсчитывали убитых и раненых, осматривали знамена, взятые у французов, готовили списки отличившихся. Беннигсен отправлял курьеров в Петербург с радостным известием о победе, одержанной им над Бонапартом.

И вдруг на правом фланге послышались ружейные выстрелы. Подошли два легких пехотных полка из корпуса Нея. Правда, войска правого фланга, не принимавшие участия в битве, немедленно отбросили их назад, но испуг, охвативший штабных господ, был так велик, что поднялась настоящая паника.

– Французы заходят с тыла! Нас окружают! Надо немедленно отступать! – кричали в страхе штабные чиновники.

Беннигсен дрожащей рукой подписал приказ о немедленном отступлении всей армии по Кенигсбергской дороге. Войска, ропща и негодуя, стали спешно строиться в колонны, хотя никакая опасность не угрожала. Французская армия была так обессилена, что не могла сделать ни одного шага.

Узнав о приказе Беннигсена, Бонапарт удивился едва ли не больше всех. Он сам собрался отступать, но теперь, конечно, все распоряжения на этот счет были отменены. В Париж поскакали гонцы с известием о блестящей победе, одержанной императором над русскими. Впрочем, обмануть общественное мнение Бонапарту на этот раз не удалось.

«Нерешительность Эйлауского сражения вызвала в Париже невероятную тревогу, – записал современник. – Враги империи под личиной скорби не могли скрыть радости о народном бедствии. Государственные фонды значительно понизились».

А через два года Бонапарт, прогуливаясь в Шенбруннском парке с ротмистром Чернышевым, посланцем императора Александра, признался:

– Я назвал себя победителем при Эйлау только потому, что вам самим угодно было отступить…[14]

V

Простояв девять дней под Прейсиш-Эйлау, французы все же вынуждены были отступить в западном направлении. Десятки тысяч неубранных трупов, лежавших на поле битвы, возбуждали в солдатах мрачные мысли. Провиант, взятый с собой, кончался. Пруссия дотла разорена. Госпитали переполнены тяжелоранеными.

Переехав в замок барона Финкенштейна, близ Остероде, Бонапарт писал оттуда своему брату Жозефу:

«Чиновники моего штаба, полковники, офицеры не раздевались в продолжение двух, а другие – четырех месяцев (я сам не снимал сапог целые две недели), валяясь на снегу и в грязи, без хлеба, без вина и водки, питаясь картофелем и мясом, двигаясь взад и вперед усиленными маршами, сражаясь на штыках и весьма часто под картечью, отправляя раненых в открытых санях за двести верст. Мы ведем войну во всем ее ужасе».

Положение французской армии было столь бедственным, что Бонапарт решился даже предложить Беннигсену перемирие. Тот отказался, заявив, что «император Александр поручил ему сражаться, а не вести переговоры». Бонапарт занялся формированием новых корпусов, деятельной подготовкой к весенней кампании.

Русская армия, отошедшая к Кенигсбергу, вновь двинулась за неприятелем. Казачьи полки, поступившие под команду атамана Матвея Ивановича Платова, находились в авангарде и каждый день отбивали у французов транспорты, орудия. За короткое время захватили в плен тридцать офицеров и две тысячи двести солдат. Главнокомандующий, видя успешные действия Платова, усилил его отряд Гродненским и Павлоградским гусарскими полками.

Пользуясь тем, что Багратион уехал по делам армии в Петербург, Давыдов стал частенько наведываться в платовский отряд. Денис восстановил дружеские отношения с Храповицким, привлекавшим его своим удальством и откровенностью мыслей, не раз ночевал у Якова Петровича Кульнева, которого наконец-то произвели в подполковники. Кульнев командовал теперь батальоном гродненских гусар.

А однажды вместе с Ермоловым Денис побывал в гостях у самого Платова. Этот высокий, сутулый, седоусый генерал со скуластым лицом и хитроватыми глазами ходил в поношенном мундире, жил просто, по-казацки. Когда-то Платов служил в суворовских войсках, отличался большой храбростью,

сметливостью. Дениса он интересовал, давно. Ермолов же еще со времен костромской ссылки состоял с Платовым в приятельских отношениях.

– Старик иной раз нарочно прикидывается темным и грубым человеком, – говорил Алексей Петрович, – а ума у него – на двух других генералов. С ним и поговорить и поспорить всегда приятно.

Матвей Иванович квартировал на окраине небольшого селения, только что занятого донцами. Застали его за ужином. На большом непокрытом столе стояли два графина с водкой, кислая капуста, несколько головок лука, отварное мясо в глиняной миске. Платов в расстегнутом мундире сидел в красном углу, окруженный несколькими казачьими офицерами, и с аппетитом обгладывал большую баранью кость. Увидев вошедших, он сейчас же поднялся, вытер рот и руки холщовым полотенцем и, весьма довольный, трижды облобызал Алексея Петровича.

– Вот уважил, что навестил! Милости прошу! Завсегда гость дорогой.

Денису, которого видел как-то в главной квартире с Багратионом, Платов протянул жилистую руку. Но Ермолов тут же представил:

– Брат мой двоюродный, Матвей Иванович… Сын Василия Денисовича Давыдова. Прошу любить и жаловать.

– Царь ты мой небесный! – воскликнул Платов. – Свойственник, значит! Да ведь я и батюшку твоего знавал, – обратился он к Денису, – лихой и зубастый мужик был… Вон дело-то какое!

И тоже расцеловал Дениса, обдав его запахом водки и лука.

– Ну-тка, Фролов, сообрази, чем гостей потешить, – обратился Платов к одному из ординарцев. – Сам-то я водочку и капустку соленую ни на что не меняю, – пояснил он Ермолову, – а для дорогих дружков и заморскую кислятинку имеем…

Через несколько минут стол неузнаваемо преобразился. Казаки постелили великолепную французскую скатерть. Появился фарфор и хрусталь. Двое бородачей втащили целый ящик шампанского.

– Богато живешь, Матвей Иванович, – заметил Ермолов, – придется поближе к тебе держаться.

– Каждый день господь посылает, – пряча усмешку под усы, ответил атаман. – Солдаты ихние не жравши бредут, а в генеральских обозах чего только нет…

– Стало быть, вы теперь одним генералам и опасны, – не удержался от иронии Ермолов.

– А ты не шуткуй, не шуткуй, Алексей Петрович! –

нахмурился Платов. – Я хотя у костромского попа, как ты, латыни не обучался, а мнение такое имею, что, не будь казаков, быть бы нынче Леонтию Леонтьевичу Беннигсену за рекою Неманом.

– Ну, это уж, пожалуй, лишку хватил, Матвей Иванович, – улыбаясь и подзадоривая атамана, сказал Ермолов. – Спору нет, легкая кавалерия помогает хорошо, да в современных войнах не она дело решает.

– Об этом я рассуждать не берусь, – перебил, горячась, Платов, – а знаю твердо: ежели бы казаки гонцов к Бернадотке да к Нею не перехватили, так супротив нас сорок тысяч лишних войск оказалось бы. Это как, по-твоему? – И, не дожидаясь ответа, неожиданно подморгнув Денису, атаман продолжил: – Теперича легкая кавалерия опять не без дела: за один день сегодня сотни три хранцев побито да поболе того в плен взято. А кабы послушал меня Леонтий Леонтьевич, позволил бы казаков небольшими партиями поглубже в тыл пускать, они бы давно всю армию Бунапартия ощипали.

Денис слушал старого атамана с большим интересом. После рассказа Храповицкого о поисках гусар под Морунгеном вопрос о действиях легкой кавалерии в неприятельском тылу не выходил из головы. Доказывая, что легкая кавалерия может иметь на войне большее значение, чем сейчас, Матвей Иванович сообщил множество любопытных историй. Доводы казались убедительными. Однако ясности все-таки не было. Денис знал, что по существующим правилам легкая кавалерия не должна выходить из состава боевой линии главной армии, что на казаков возлагается служба на аванпостах и действия наравне с линейными войсками. «Нарушение этих правил привело бы к ослаблению армии» – так рассуждали многие, даже Ермолов. Когда возвращались обратно, Алексей Петрович заметил:

– Матвей Иванович свое дело, конечно, знает превосходно, но верить ему наполовину следует. Он и пофантазировать и прибавить любит…

Зато Кульнев, узнав от Дениса о разговоре с Платовым, сказал:

– Я уже сам об этом подумывал… Легкая кавалерия – дело великое. По-моему, Матвей Иванович прав во многом.

В голове Дениса уже бродили смутные мысли… Но вскоре другие встречи и события отвлекли от них.

Приехал Четвертинский. Почти следом за ним, вместе с Багратионом, прибыл в армию и давно ожидаемый Николай Николаевич Раевский.

Четвертинский поразил своим видом. Обычно оживленное лицо его сделалось пасмурным. На лбу залегли морщинки. В

запавших глазах отражалась печаль. При встрече даже не улыбнулся.

– Что с тобой случилось, Борис? – спросил встревоженный Денис, когда они остались вдвоем.

– Житейские неприятности, – мрачно отозвался Четвертинский, – не стоит говорить… Рассказывай, как сам живешь.

– Нет, я вижу, как ты страдаешь, и не могу оставаться спокойным. Ты же знаешь мои чувства к тебе…

Денис подсел к приятелю, взял его руку. Четвертинский был тронут и в конце концов признался:

– Подлость, подлость, голубчик Денис… Ну, ты уже, наверное, слышал, что государь близок к сестре… Я, признаюсь, сначала не верил, а потом вообще склонен был смотреть на это сквозь пальцы. Все светские дамы имеют связи, я не блюститель морали, это дело их личное. Но он сам… – понимаешь? – сам решил афишировать эту связь… И вот, можешь судить, каково мое положение! В глазах всех я теперь брат признанной фаворитки… Не более! Я словно потерял свое имя, чувствую всюду недвусмысленные взгляды. Мне стыдно смотреть на людей… стыдно бывать у сестры… служить трудно… Хочу проситься в отставку, уехать подальше от этих мерзостей…

Денис, как мог, старался ободрить товарища. Полагая, что Четвертинскому нужна встряска, уговорил его поехать вместе в Амт-Гутштадт, где стояла дивизия князя Щербатова, имевшая соприкосновение с авангардными частями маршала Нея. Командир дивизии позволил молодым адъютантам принять участие в небольшом сражении. И это в самом деле немного отвлекло Четвертинского от грустных мыслей.

Николай Николаевич Раевский, напротив, находился в самом благодушном настроении. Он всегда с большой симпатией относился к Багратиону, вместе с которым начинал службу в потемкинских войсках. Поэтому, когда князя вновь назначили начальником авангарда армии, Раевский охотно принял предложение взять под команду бригаду из трех полков егерей, входившую в состав авангарда.

Раевского радовал также подбор и других командиров авангардных частей. Генералы Марков и Багговут были известны ему с хорошей стороны. Ермолов, распоряжавшийся по-прежнему артиллерией, родственно и душевно близок с давних пор.

Пользуясь тем, что авангард формировался заново и адъютантские обязанности были ограничены, Денис почти ежедневно навещал Раевского. Иногда один, иногда с Четвертинским. Деятельно занимаясь служебными делами,

Николай Николаевич находил время и для шуток и для теплых дружеских бесед. Хотя вскоре настроение Раевского омрачилось. Причиной тому были неприятности, все чаще и чаще возникавшие в связи с плохим снабжением войск провиантом.

В начале марта главная квартира переехала в Бартенштейн, несколько южнее Прейсиш-Эйлау, а части авангарда продвинулись вперед на тридцать – пятьдесят верст, заняв селения, разоренные ушедшими недавно французами. Понятно, что достать здесь продовольствие и фураж было совершенно немыслимо, а провиантские чиновники, хорошо снабжавшие главную квартиру, на авангард не обращали никакого внимания, считая, что в авангарде «сами себя прокормят». Багратион неоднократно ездил объясняться с Беннигсеном, но тот отделывался обещаниями.

Между тем солдаты, не получая продовольствия, бродили по полям, выкапывали замерзшие, оставшиеся в земле овощи. Вспыхнули эпидемические заболевания. Кавалерийские и обозные лошади, которых кормили одной соломой с крыш, гибли сотнями. Дорога от авангарда до главной квартиры была устлана конскими трупами.

Тогда некоторые командиры, потеряв всякую надежду на правильное снабжение, стали силой отбивать транспорты с продовольствием и фуражом, следовавшие в главную квартиру или в другие части. Но с подобным самоуправством главнокомандующий расправлялся довольно сурово.

В бригаде Раевского произошел такой случай. Командир одного из батальонов, пожилой, заслуженный майор Колышкин, отбил из чужого транспорта для своих голодных солдат пять возов с хлебом. Об этом доложили Беннигсену. Тот отдал приказ: майора от службы отстранить и отдать под суд. Понимая, что поступок офицера вызван не какими-нибудь корыстными мотивами, а желанием накормить голодных солдат, Раевский решил, с позволения Багратиона, съездить в главную квартиру, походатайствовать о смягчении наказания виновному. Денис, имевший уже некоторые связи в штабе, отпросился у князя поехать вместе с Раевским.

Но никакие доводы на штабных господ не подействовали. Раевский, сопровождаемый Денисом, пошел к главнокомандующему. Беннигсен, занимавший просторный особняк, сидел в кресле у камина. Рядом находился неизменный его советник сэр Роберт Вильсон.

Выслушав Раевского, главнокомандующий поморщился и недовольным тоном произнес:

– Довольно странно, генерал, что вы находите возможным

вступаться за мародеров, кои разлагают наши войска.

– Вашему высокопревосходительству известны обстоятельства, при коих совершен непозволительный поступок, – возразил спокойно Раевский. – На мой взгляд, эти обстоятельства смягчают степень виновности…

– Какие обстоятельства? Что вы имеете в виду?

– Отсутствие продовольствия во многих частях авангарда.

– Но я же сделал распоряжение… И мне известно, что вчера, например, хлеб вам отправили в достаточном количестве. Разве вы не получили?

– Получили… впервые за две недели, ваше высокопревосходительство, но в количестве недостаточном. Помимо этого, хлеб выпечен из овса и чечевицы…

– Знаю, знаю! – перебил, вставая, Беннигсен. – Мы вынуждены, правда, добавлять в муку горох, но все же хлеб выпекается превосходный.

Он подошел к окну, на котором лежали две румяные буханки, доставленные на пробу провиантскими чиновниками, и, разломив одну из них, обратился к Вильсону:

– Посмотрите, сэр, разве это плохой хлеб?

– Отличный хлеб, ваше высокопревосходительство, – не выпуская изо рта сигары, отозвался англичанин. – Мне кажется, что генерал слишком требовательно относится к солдатскому рациону.

Мускулы на спокойном лице Раевского дрогнули, однако он сдержался. Окинув Вильсона презрительным взглядом, он обратился к Беннигсену:

– Хлеб, получаемый нами, никак не походит на представляемые вашему высокопревосходительству пробы. Чиновники вводят вас в заблуждение. Я сам присутствовал вчера при раздаче. Хлеб, доставленный нам, – невыпеченное и горькое тесто, малопригодное к употреблению. Я могу, если угодно, представить настоящие образцы.

– Пусть, даже так, нужно потерпеть, – вмешался Вильсон. – Русский солдат известен своей неприхотливостью…

Раевский побледнел от гнева.

– Я говорю с главнокомандующим русской армии, сударь, – отчетливо выделяя каждое слово и с холодным бешенством глядя на Вильсона, сказал он. – О качествах русского солдата не вам судить, сударь…

– Вы забываетесь, генерал! – кривя тонкие губы, перебил Беннигсен. – Представитель союзного государства имеет право высказывать свое мнение.

– Но не делать оскорбительных замечаний, – продолжал

негодовать Раевский. – Русский солдат более, чем солдат английский, нуждается в хорошем питании, ибо, насколько мне известно, солдаты английские еще не трогались со своего острова, чтобы выступить против общего нашего неприятеля, а кровь солдат русских обильно орошает поля сражений. Я считаю, что господину военному агенту делать замечания о качествах русских солдат при таких условиях совершенно непозволительно.

– Вы слишком много берете на себя, генерал, чтоб рассуждать о таких вещах, – сердито сказал. Беннигсен.

– Так рассуждает вся армия, не видевшая на поле брани ни одного союзного британского солдата.

– Ну, хорошо, хорошо, – опять перебил Беннигсен, желая замять неприятный разговор. – Мы отклоняемся в сторону. Я прикажу пересмотреть дело вашего офицера. Необходимые меры для улучшения снабжения авангарда также будут приняты. Что вам еще от меня угодно?

– Спасибо. Более ничего не имею, ваше высокопревосходительство.

И Раевский, отвесив с достоинством поклон главнокомандующему, не обращая внимания на англичанина, спокойно вышел из комнаты.

Денис был в совершенном восторге от Николая Николаевича. Осадить сэра Роберта Вильсона в присутствии главнокомандующего – на это не у каждого хватило бы мужества.

– Я опасаюсь только, почтеннейший Николай Николаевич, чтоб не вышло для вас какой-нибудь неприятности, – заметил Денис, когда они возвращались обратно.

– Бог не выдаст, свинья не съест, – весело и беспечно отозвался Раевский. И вдруг взмахнул нагайкой, присвистнул и помчался вперед, держась в седле, как природный и лихой кавалерист.

Опасения Дениса не оправдались. Главная квартира ожидала в ближайшие дни прибытия гвардии и императора. Осложнять в такое время отношения с Раевским, имевшим некоторые связи, Беннигсену никак не хотелось. Да и за что же взыскивать с беспокойного и дерзкого генерала? За невежливое обращение с английским агентом? Но ведь ни для кого не секрет, что английское правительство, обещавшее при начале военных действий «удвоить усилия на пользу общего дела», не выполнило своих обещаний. Недобросовестными союзниками возмущались не только в армии, но и в Петербурге. Но главное, Беннигсен никак не желал, чтоб дело получило огласку, опасаясь расследования со стороны. Он состоял в тайной связи с интендантами, получал от них большие взятки, сам обкрадывал

армию. При таких обстоятельствах лучше всего держаться миролюбиво…

Через два дня Багратион получил из главной квартиры изумившее всех решение. Майор Колышкин освобождался от следствия и суда, возвращался в бригаду, отделавшись простым выговором. Снабжение авангарда продовольствием заметно улучшилось. Командиры и солдаты стали относиться к Раевскому с особым уважением.

VI

В начале апреля император Александр с огромной свитой прибыл в Бартенштейн. Одновременно подошла вся гвардия.

Денис понимал, что пребывание императора и окружавших его тунеядцев в главной квартире ничего доброго не предвещает, но все же, поехав повидаться с братом Евдокимом, был поражен тем, что увидел. Маленький прусский городок превратился в увеселительное место. Дома были заняты министрами, вельможами, знатными иностранцами. Многие из них приехали с женами и фаворитками. Кареты, коляски и обозы этих господ загромоздили дворы и улицы. День и ночь играла музыка. Устраивались пышные банкеты, балы, маскарады. Щедро раздавались чины и награды.

Желая щегольнуть боевым видом перед старыми приятелями-кавалергардами, Денис нарочно надел армейский мундир, украшенный первым орденом, полученным за Вольфсдорф. Но его наряд никакого впечатления не произвел. Кавалергарды развлекались, пили, сплетничали и к военным делам, казалось, относились с полнейшим равнодушием. Незнакомые гвардейцы косились и презрительно усмехались, глядя на армейского офицера. Знакомые провожали Давыдова сожалеющим взглядом.

В тот вечер кавалергарды давали бал, на котором должен был присутствовать государь. Евдоким и корнет Павел Киселев, квартировавшие вместе, тоже собирались на бал. Евдоким, оглядев брата, заметил:

– Эх, жаль, что ты в таком виде… Мы бы вместе отправились!

Денис хорошо знал, что армейским офицерам на подобные балы вход запрещен, и брат ничего особенного не сказал, но все-таки слова его показались обидными.

– Я в этом мундире по крайней мере под неприятельским огнем бывал, – сердито произнес он. – И мне наплевать, как на меня смотрят!

– Да чего же ты сердишься? – с удивлением поглядел на него Евдоким. – Ведь тебе самому отлично известны порядки… Я-то

при чем?

– Я про тебя не говорю, а вообще… Война идет, а у вас тут балы и черт знает что! Смотреть противно.

– Денис, голубчик, ей-богу, мы с Евдокимом готовы с тобой согласиться, но от этого все равно ничего не изменится, – сказал, улыбаясь, Киселев. – Давай-ка лучше выпьем шампанского за твои бранные подвиги, и расскажи что-нибудь интересное.

– Нет, правда, посуди сам, Киселев, – продолжал Денис. – Всем известно, что Бонапарт не спит и сегодня-завтра двинет против нас свою армию. А мы как готовимся? Ну, я понимаю, государь желает посмотреть и ободрить войска… это все хорошо… Да зачем же всякого сброду сюда напустили, зачем бедлам устраивать? Представь, как это на войсках отражается…

– Что верно, то верно, – серьезно отозвался Киселев. – У нас ни в чем чувства меры не знают.

– А потом сами будем локти кусать, да поздно! – добавил Денис. – Я вот о чем говорю!

Возвратившись обратно в авангард, Денис долго оставался в задумчивости. Очутившись в непривилегированных армейских войсках, с необычайным мужеством, в труднейших условиях отстаивающих честь отечества, он горячо полюбил эти войска, проникся к ним чувством глубокого уважения. Денис знал, что гвардия тоже иногда принимает участие в сражениях, памятна была атака кавалергардов на Аустерлицком поле, однако в большинстве случаев боевые действия гвардии были ограничены, носили парадный характер. Вся тяжесть войны лежала на армейских офицерах и солдатах.

Посещение Бартенштейна, где вместе с придворными веселились и гвардейцы, в то время как солдаты авангарда пухли от голода, оставило в душе Дениса тяжелый осадок. Правда, беспечная и разгульная жизнь гвардейцев еще манила его, но с нравственной стороны пребывание в армейских войсках он считал более почетным. Да и для развития военных дарований больший простор давала армия, а не гвардия. Багратион, Раевский, Ермолов, Кульнев, деятельность которых была связана с армией, несмотря на разницу в чинах и общественном положении, принадлежали, по мнению Дениса, к одной суворовской школе, тогда как развращенная близостью к императорскому двору гвардия, состоявшая под командой пристрастного к прусским военным доктринам великого князя Константина Павловича, представлялась теперь организацией другого типа. И Денис, не чуждавшийся никаких светских развлечений, любивший покрасоваться в парадном лейб-гусарском ментике, почувствовал, что отныне его фактическая связь с гвардией прекращается.

Военные опасности и невзгоды привлекали больше, чем церемониальные марши. Денис бесповоротно решил избрать для себя суровый и кремнистый путь службы в действующей армии.

* * *

Бонапарт был занят осадой Данцига. Под стенами этой крепости стояло сорок тысяч французов. Остальные войска, неимоверно растянутые, оставались в бездействии. Наступать против русских до капитуляции Данцига Бонапарт не хотел. Беннигсену представлялась возможность взять инициативу в свои руки и быстро разгромить разрозненные французские корпуса, выдвинувшиеся вперед. Но Беннигсен от самых противоречивых советов бездарных свитских генералов совсем потерял голову. Его обычная нерешительность превратилась в трусость. Бонапарт, довольно проницательно разгадавший характер главнокомандующего русских войск, не замедлил воспользоваться этим.

В конце апреля, когда все окончательно удостоверились, что расположенный близ Гутштадта корпус маршала Нея оторван от главных сил французской армии, военный совет, собранный императором Александром, постановил атаковать этот корпус. 1 мая авангард Багратиона, находившийся в соприкосновении с противником, должен был первым завязать сражение. Одновременно с двух сторон предполагалось произвести нападение основными силами армии.

Утром 1 мая авангардные войска подошли к местечку Гронау. Сделав смотр и поблагодарив Багратиона за хорошее состояние войск, Александр остановился вместе с ним на опушке леса. Ждали сигнала главнокомандующего, чтобы начать сражение.

Денис, находившийся среди других адъютантов, смотрел на императора довольно равнодушно. От того восторга, который охватил его шесть лет назад при первой встрече с Александром, не осталось и следа. Теперь Денис знал, что этот рыжеватый и плешивый, сильно располневший за последнее время человек под обворожительной, щедро расточаемой улыбкой скрывает лицемерие и двоедушие расчетливого отцеубийцы. Конечно, скрывая свои истинные чувства, Денис поддерживал с офицерами обычный разговор о необыкновенных качествах доброго императора, но при этом видел, что многие офицеры произносят пышные фразы тоже неискренне, по необходимости.

Наконец показался главнокомандующий. Одетый в парадную форму, сопровождаемый адъютантами, Беннигсен скакал галопом, неуклюже держась в седле. Плохая посадка его давно уже служила предметом шуток для кавалеристов. И сейчас, глядя на приближавшуюся кавалькаду, некоторые не удержались от

насмешек.

– Кажется, Леонтий Леонтьевич желает удивить нас бравым видом, – лихо шепнул какой-то генерал.

– А может быть, немного посмешить, – ответил другой. – Ему всегда недоставало быстроты и юмора.

Подскакав к императору, Беннигсен с испуганным лицом, дергая худой шеей, задыхаясь, доложил:

– Ваше величество! Только что получено известие… Бонапарт с главными силами спешит на помощь маршалу Нею.

– Так ли это, Леонтий Леонтьевич? – спросил с выражением досады на лице император. – Откуда у вас сведения?

– Доставлены лазутчиками. Один из наших солдат, бежавший ночью из плена, тоже подтверждает…

– И что же вы предлагаете?

– При сложившихся обстоятельствах необходимым считаю отменить атаку… Жду ваших повелений, государь!

Александр несколько минут колебался. Лицо его все более становилось злым и некрасивым. Видимо, вспомнил Аустерлицкое сражение, когда его самонадеянность привела к поражению. Взять на себя ответственность на этот раз не решился.

– Я вверил вам армию и не хочу мешаться в ваши распоряжения, – резко сказал он, не глядя на Беннигсена. – Поступайте по своему усмотрению!

Беннигсен наклонил трясущуюся голову. Император молча повернул лошадь. И в тот же день, сухо простившись с главнокомандующим, отбыл в Тильзит.

Так бесславно закончился маневр, обещавший русским войскам несомненный успех. Сведения, испугавшие Беннингсена, как выяснилось позднее, оказались ложными. Понимая невыгодность своего положения, французы нарочно распустили слух о движении главных сил Наполеона и подстроили побег нескольким пленным. Бездарность и трусость Беннигсена всем стали очевидны. Он мастерски умел плести всякие интриги, уверил императора, что под Пултуском и Прейсиш-Эйлау одержал решительные победы, но как главнокомандующий допускал ошибку за ошибкой.

24 мая началось сражение с войсками маршала Нея близ Гутштадта. Потеряв около трех тысяч человек, французы отступили за реку Пасаргу, куда стягивались их главные силы. Через три дня сюда прибыл Бонапарт, принявший командование всей армией.

Утром 28 мая по двум мостам французы начали обратную переправу через реку. Бригада легкой кавалерии генерала Гюйо,

переправившись первой, заняла селение Клейненфельд. Генерал Раевский со своими егерями, подкрепленный несколькими казачьими полками, быстро окружил и уничтожил противника. Генерал Гюйо был убит. Но вскоре русские войска, по приказу Беннигсена, стали отступать к Гейльсбергу, где на другой день произошло первое большое сражение без видимых результатов для обеих сторон. Русские остались на своих позициях, во всех пунктах отразив неприятеля, который потерял свыше десяти тысяч убитыми и ранеными.

Тогда, не возобновляя нападения, Бонапарт послал корпуса Даву и Мортье на Кенигсберг, рассчитывая, что Беннигсен попытается спасти этот город, откуда снабжалась русская армия. Бонапарт не ошибся. Оставив удобные гейльсбергские позиции, русские войска четырьмя колоннами двинулись по направлению к Фридланду.

Второго июня, на рассвете, они начали переправу на западный берег реки Алле, стремясь выйти на кенигсбергскую дорогу. Но эта операция не удалась. Любимец Бонапарта маршал Ланн с несколькими дивизиями подоспел к Фридланду, открыл огонь. А спустя несколько часов сюда подошел с главными силами и Бонапарт. Французов собралось вдвое более русских. К тому же Бонапарт сразу обнаружил ошибку Беннигсена, сосредоточившего массу войск в излучине реки Алле. Французская тяжелая артиллерия не замедлила направить туда губительный огонь.

Русские, как всегда, сопротивлялись отважно. Багратион, Раевский, Багговут, Ермолов и другие командиры, находясь в опаснейших местах, ободряли войска, поддерживали порядок. Кавалерия, ударив с флангов, опрокинула некоторые дивизии корпусов Ланна и Нея. Тем не менее удержаться русским не удалось. К вечеру половина армии была потеряна. Сражение проиграно. Началось поспешное отступление на Тильзит.

… Ночь была теплая, звездная. Опустив поводья, мерно покачиваясь в казацком седле, Давыдов двигался в общем потоке разрозненных войсковых частей. Его неодолимо клонило ко сну. Голова казалась свинцовой. И мысли были смутные, беспорядочные…

Десять последних суток войска Багратиона находились в беспрерывных сражениях. Денис, доставлявший в самые опасные места приказы князя, потерял две лошади, получил сильную контузию при Гейльсберге, но продолжал до конца выполнять свои обязанности[15]. То, что он видел за эти дни, представлялось теперь хаотическими отдельными эпизодами, не связанными между собой.

Вот подъезжает к Багратиону, стоящему у шалаша, нескладный, с лошадиным лицом генерал Сакен, по милости которого выпущен из окружения корпус Нея. Сакен что-то говорит, оправдывается. Багратион, задыхаясь от гнева, сжав кулаки, грозно на него надвигается:

– Вам не дорого отечество наше! Вы карьерист и трус!

И Сакен, с дрожащей нижней челюстью, отступает, бормоча какие-то фразы, потом сразу куда-то исчезает. А Багратион уже под ядрами и картечью, с обнаженной шпагой в руке останавливает гренадер, не выдержавших убийственного огня.

– Разве вы забыли Суворова? – пылко восклицает он. – Забыли свои подвиги? А не с вами ли я ходил в штыки под Сен-Готардом? Ободритесь! Идемте вместе, ребята! Вперед!

А вот французская пехота занимает небольшую высоту. И вдруг из соседней деревушки стремительно вылетает русская конная артиллерия. Мелькает богатырская фигура Ермолова. Неприятель не успевает опомниться, как на него обрушивается град картечи.

– Ага, побежали! Не любят русского гороха! Еще картечь, ребята! – весело кричит окутанный дымом Ермолов.

Затем он тоже исчезает. Бьет барабан. Свистят пули. Рвутся снаряды. Раненный в ногу Раевский ведет в бой своих егерей. Покрытый пылью усатый Кульнев мчится впереди эскадрона гродненских гусар.

Дальше все исчезло. Сон одолел окончательно.

Неожиданно конь всхрапнул и остановился. От толчка Денис вздрогнул, очнулся. Занимался рассвет. Гасли звезды на чистом небе. Войска задерживались у какой-то речушки.

Денис тронул коня, объехал колонну, приблизился к берегу. Переправлялся большой обоз квартирмейстерской и провиантской частей. Пехотинцы, сгрудившись у моста, ругались:

– Немцы проклятые! Житья от них нашему брату нет.

– Самые они, которые голодом нас морили… Спихнуть бы в воду, да и конец!

Большинство военных и чиновников, ехавших с обозом, в самом деле составляли немцы. Их сопровождал конный конвой, он с трудом сдерживал напор пехоты. Маленький офицер на гнедой английской лошади деловито распоряжался, стремясь быстрее пропустить обоз по узкому деревянному мосту. Фигура офицера показалась Денису знакомой, Он подъехал ближе и, узнав офицера, окликнул:

– Дибич!

Старый знакомый повернул голову, приветливо поздоровался.

– Как вы изменились, Давыдов… Трудно поверить!

– Зато вас я признал сразу… Вы каким же образом здесь?

– Прикомандирован к квартирмейстерской части. Полагаю, могу более всего проявить себя в этой службе.

Маленький криволицый барон был в чине штабс-капитана. Держался по-прежнему странно, смотрел исподлобья, обезьяньих ужимок своих не оставил. Но по-русски говорил несравненно лучше, чем прежде.

Пропустив обоз, Давыдов и Дибич поехали следом вместе. Разговорились. Денис имел отчетливое представление о причинах поражения под Фридландом. Он знал, что армию винить в этом нельзя, сам видел, как стойко держались войска. Их сломило не двойное превосходство противника. Причина поражения заключалась в другом. Беннигсен, наперекор правилам военного искусства, так расположил русскую армию, что лишил войска даже возможности схватиться с неприятелем.

Сдавленные в тесном пространстве, не сделав выстрела, русские тысячами гибли на месте и в мутных волнах реки Алле. И ответственность за это, как понимал Денис, лежала не только на главнокомандующем, но и на том, кто его назначил. Разве Александр не мог доверить армию более способному генералу? Говорят, Багратион молод и слишком горяч… Хорошо. А мудрый и опытный Кутузов? В армии всегда о нем вспоминают…

Разумеется, Дибичу этих мыслей Денис не высказал, так как особой близости между ними никогда не существовало. Поехал же вместе потому, что хотелось узнать, что думает обо всем происшедшем и будущем этот пролаза, успевший уже устроиться на тепленьком местечке. «Наверное, постоянно трется возле штабных господ, – размышлял Денис. – Интересно, как они предполагают поступать дальше?»

Но Дибич держался настороженно. Он хотя и критиковал начальство за неудачный выбор позиции под Фридландом, однако в остальном оставался таким же педантом, как и прежде. Придавая чрезмерное значение диспозициям, устройству колонн, механическому выполнению приказов, он не постигал особых свойств русской армии. Моральная стойкость, инициативность офицеров и солдат в бою, храбрость и выносливость, прививаемые войскам питомцами суворовской школы, – все это оставалось чуждым Дибичу. «Опять понесло мертвениной», – недовольно подумал Денис. И, не дослушав рассуждений барона, спросил:

– Ну, а что вы скажете об ожидающей нас участи?

Дибич пожал плечами.

– На подобный вопрос ответить почти невозможно.

Положение наше, сами понимаете, не из блестящих. Армия расстроена. И, по моему мнению, имеется лишь одна возможность поправить дела…

– Какая же?

– Присоединить к нам корпуса Лестока и Каменского, в составе которых двадцать тысяч войск.

– Но они же посланы для защиты Кенигсберга?

– В данном случае, когда главная армия понесла огромные потери, защита этого города не имеет уже существенного значения. Да и удержать его все равно не удастся, напрасные расчеты. Бонапарт помимо двух сильных пехотных корпусов послал туда всю конницу Мюрата с приказанием отрезать от нас Лестока и Каменского…

– Да, положение тяжелое, – согласился Денис. – А если Лестоку и Каменскому не удастся уйти от преследования?

– Тогда нечего и думать о позициях у Немана, куда мы двигаемся.

– Как? Вы допускаете возможность, что Бонапарт перейдет Неман и вторгнется в Россию?

– Лично я не допускаю. А мнение такое имеется, – уклончиво ответил Дибич. – Вообще, насколько мне известно, в кругах, близких к государю, существуют две партии. Одна стоит за продолжение военных действий, другая – за мирные переговоры с Бонапартом.

– Это я уже слышал, – сказал Денис. – Но, полагаю, теперь, когда оскорблены честь и слава отечества, никакой речи о мире быть не может!

– Обстоятельства, однако, бывают сильнее наших желаний, – отозвался Дибич. – Его высочество великий князь Константин Павлович еще в Гейльсберге высказывал мысль о необходимости мира.

– Тогда мы находились в ином положении. Удержав позиции, нанеся большой урон неприятелю, можно было рассчитывать на переговоры, как равные с равными.

– А если Бонапарт все же перейдет границы? – в свою очередь задал вопрос Дибич.

– Пусть попробует! Мы будем драться насмерть! – горячо воскликнул Денис. – Русская армия не простит оскорбления отечеству. Все, что угодно, только не позорный мир!

Дибич ничего не ответил. Отвернулся в сторону и усмехнулся. Денис не заметил.

VII

Спустя три дня войска арьергарда, приведенные в полный порядок стараниями Багратиона и его помощников, находились уже в нескольких верстах от Тильзита, где помещалась главная квартира Беннигсена.

Француз, утомленные длительными боями и маршами, преследовали не особенно настойчиво. К тому же сказалось отсутствие кавалерии Мюрата, застрявшей в болотах под Кенигсбергом. Последнее обстоятельство имело для русских и другую выгоду. Отряды Каменского и Лестока, избежав встречи с превосходящими силами неприятеля, благополучно присоединились к арьергарду, весьма ободренному таким подкреплением.

Одновременно Багратион узнал, что корпус маршала Нея, угрожавший все время с правого фланга, остановился у Гумбинена. Опасность внезапного нападения пока миновала. Посылая Дениса в главную квартиру с приятными вестями, князь сказал:

– Передай, душа моя, что войско наше сохранило полное устройство и бодрость духа. Неудача не уменьшила храбрости. Ежели потребуется, будем сражаться, как всегда.

Денис поскакал в Тильзит в приподнятом настроении. Но по дороге, не доезжая до города, встретил адъютанта главнокомандующего, майора Эрнеста Шепинга, с которым был в дружеских отношениях.

– Что нового, Шепинг? – спросил Денис, сдерживая коня, когда они поравнялись

– Держу пари, никогда не отгадаешь, – ответил с улыбкой майор.

– Везешь предписание князю Багратиону?

– Это более или менее ясно, но какое? – И, чуть помедлив, гордясь важностью порученного ему дела, Шепинг продолжил: – Я делаю историю, мой милый… Главнокомандующий предлагает князю немедленно войти через меня в сношение с французами, предложить им перемирие, пока приступим к переговорам о мире…

Денис задохнулся от изумления и охватившего его негодования.

– Как? Не отомстив за Фридланд? Признав себя побежденными?

– Ну, эти уже пусть дипломаты устанавливают. Я сказал тебе все. Прощай!

Подавленный известием, ничего не чувствуя, кроме позора предстоящего мира, Денис поспешил к Беннигсену с намерением уверить его в отличном положении войск арьергарда и в полной

возможности продолжать военные действия. Однако, прибыв в главную квартиру, убедился, что ничто уже не поможет. Дом, занимаемый Беннигсеном, был наполнен людьми различного рода. «Тут были, – вспоминал впоследствии Денис, – англичане, шведы, пруссаки, французы-роялисты, русские военные и гражданские чиновники, разночинцы, чуждые службы и военной и гражданской тунеядцы, интриганы, – словом, это был рынок политических и военных спекуляторов, обанкротившихся в своих надеждах, планах и замыслах».

Среди этой толпы царила невообразимая паника. Один из фаворитов главнокомандующего, бывший гатчинский парадир, бездарный генерал Эссен, узнав, с чем прибыл Денис, от страха пришел в полное расстройство.

– Что вы, что вы! Разве можно в такое время советовать главнокомандующему столь вздорные вещи, как продолжение войны, – сказал он Давыдову.

– Почему же вашему превосходительству это кажется вздорным?

– Да ведь мы в ужасном положении! Армия не боеспособна. Как может ваш Багратион тешить себя бессмысленными надеждами задержать величавшего полководца? Чистейшие химеры! Перед Бонапартом капитулировали первоклассные европейские армии… Австрия повержена! Пруссия повержена! Поймите! А вы столь самонадеянно полагаете, будто русские войска могут что-то еще сделать… Нет, у нас единственный шанс на спасение – это мир! Мир во что бы то ни стало!

Денису стало противно смотреть на перепуганного генерала. Он молча откланялся. Потом, оглядев общество, среди которого находился, призадумался. Все штабные господа разделяли мнение Эссена. И некоторые шепотом уже титуловали Бонапарта «его величеством Наполеоном». «При таком воинственном расположении духа, – иронически подумал Денис, – без сомнения, нечего и помышлять о продолжении борьбы с неприятелем!» Сегодня Денис еще раз убедился, насколько армейские войска, всегда готовые до последней капли крови защищать отечество, превосходят штабных господ, помышляющих лишь о собственном благополучии.

Беннигсен ничем от этих господ не отличался. Конечно, как главнокомандующему, ему было приятно услышать, что часть его войск сохранила боевой порядок, легче будет оправдываться перед государем, но продолжать военные действия он не собирался.

Выслушав Дениса, главнокомандующий сухо сказал:

– Передайте князю Багратиону мою благодарность и

сообщите, что наша армия переправляется на правый берег Немана. Князю надлежит немедля присоединиться к главным силам и зажечь за собой мост…

… На следующий день русские войска были за Неманом. Французы заняли Тильзит. Наполеон Бонапарт стоял на левом гористом берегу реки и «ненасытным взором пожирал землю русскую, синеющую на горизонте».

А в главной квартире Беннигсена, переехавшей в Амт-Баублен, штабные господа робко и почтительно встречали французского офицера, прибывшего с ответом на предложение о перемирии. Однако капитан Луи Перигор, адъютант маршала Бертье, в щегольском гусарском ментике и высокой медвежьей шапке, никого приветливым взглядом и словом не удостоил. С насмешкой в глазах, гордо закинув голову, француз молча проследовал в зал, где ожидали его Беннигсен и генералы.

– Мой император поручил сообщить вам, – не снимая шапки, нагло глядя в глаза Беннигсену, сказал Перигор, – что он милостиво соглашается на предложенные вами переговоры и уполномочил вести их маршала Бертье…

Штабные господа вздохнули с облегчением. Дерзость и надменность гонца Наполеона никого из них не возмутили. Перигор оставался в шапке даже за обедом. Беннигсен пил за его здоровье и мило улыбался.

Зато в соседней комнате, где собрались молодые адъютанты и офицеры, поведение француза вызвало взрыв общего негодования.

– До какого унижения мы дожили, господа! – выходили из себя офицеры. – Перигор нарочно не снимает шапки, выказывая презрение! Нас оскорбляют в собственном доме! Невыносимо смотреть! Позор!

– Он держит себя, как татарский посол в стане русском, – горячился более всех Денис. – И я уверен, господа, дерзкая мысль не снимать шапки внушена ему свыше, как мерило нашей терпимости. А наша терпимость служит, может быть, мерилом числа и рода требований, которые намеревается Бонапарт предъявить при мирных переговорах…

– Правильно, верно, Давыдов! Подмечено тонко!

– В таком случае нам следует сбить шапку с головы Перигора! – воскликнул Офросимов. – Кто знает, господа, может статься, тогда бы из головы Бонапарта и выскочило несколько подготовленных статей мирного трактата!

– Шутки в сторону! Ты не далек от истины, Офросимов! – отозвался Денис. – Все дело в шапке.

– А мне кажется, роль шапки вы все-таки преувеличиваете,

господа, – вмешался в разговор Грабовский. – Не надо забывать, что военный устав французской армии запрещает снимать шапки и каски офицерам, когда на них лядунки, означающие время службы.

– Пусть так! Но кто же мешал Перигору, исполнив поручение, снять лядунку, а после того и шапку? – с жаром возразил Денис. – Нет, господа, как хотите, а я продолжаю утверждать, что оскорбительная для нас всех шапка имеет дипломатическое назначение…

Денис не успел договорить фразы. В комнату вошел генерал Эссен. Лицо его, покрытое сизыми пятнами, выражало самое праздничное настроение. Пышные усы были замазаны соусом. Глаза блестели.

Увидев генерала, офицеры сразу притихли, вытянулись.

– Продолжайте, продолжайте, господа, – сказал генерал. – Я хотел немного освежиться… Там жарко… Но какой сегодня радостный день, господа! Его величество император Наполеон имеет самые добрые намерения… Мы спасены… Мы можем спать спокойно…

– Раньше, ваше превосходительство, хотелось бы знать условия, предлагаемые неприятелем, – сдержанно заметил Офросимов.

– Ах, господа! – махнул рукой генерал. – Какое значение имеют условия, если достигнуто главное… желание обеих сторон прекратить кровопролитие… Конечно, мы должны будем что-то уступить… покориться необходимости… Но ведь мы имеем дело с величайшим полководцем, господа, от единого мановения руки которого прекращают существование европейские государства. Я имел честь служить в прусской армии, господа, в армии, созданной великим Фридрихом! О, это была превосходная армия! И вот… она тоже капитулировала… Какими же преимуществами обладают русские войска, чтоб надеяться на успех сопротивления?

– Извольте, я могу ответить, ваше превосходительство, – сделав шаг вперед, еле владея собой от гнева, сказал Денис. – Возможно, что русская армия не так хорошо устроена, как та, в которой вы имели честь служить, ваше превосходительство. Но вам должно быть известно, что не было случая, чтоб русские когда-нибудь капитулировали… Это первое наше преимущество. Второе в том, что нам чужда сама мысль о капитуляции и невыносимо признание господства над собой чужеземцев… Среди нас нет космополитов, ваше превосходительство! И оскорбление чести своего отечества мы считаем оскорблением собственной чести!

Слушая Дениса, генерал молча хлопал глазами, старался понять причины столь необычной горячности офицера, но, кажется, так ничего и не понял.

…13 июня в красивом павильоне, установленном на середине реки Немана, где проходила демаркационная линия, произошло первое свидание русского и французского императоров. Денис, сопровождавший князя Багратиона, находился в числе немногих офицеров, ставших свидетелями этого события. Он снова увидел императора Александра, когда тот в просторной горнице полуразрушенной сельской корчмы на правом берегу реки дожидался Наполеона. Положив шляпу и перчатки на стол, Александр сидел у окна, старался напускным спокойствием и веселостью скрыть свое волнение. Да, его самолюбие было уязвлено самым чувствительным образом. Предстояла встреча с величайшим полководцем и завоевателем, стоявшим на рубежах России. Кто знает, каковы будут требования Наполеона?

Денис догадывался об истинных чувствах, владевших императором. Но кто же виноват во всем, как не сам император? Сражение при Аустерлице проиграно по его вине. Сражение при Фридланде проиграл бездарный Беннигсен, им назначенный. Предстоящий позорный мир – результат его недоверия русским войскам и командирам. Да и почему в конце концов в глазах всего света Наполеон стал гениальнейшим полководцем? Отдавая должное его военным талантам, решительности и проницательности, Денис все же полагал, что поразительные успехи Наполеона объясняются главным образом тем, что противостоящие силы до последнего времени управлялись неспособными начальниками, привязанными к давно отжившей военной системе. Это было ясно. Участвуя в последней кампании, Давыдов обнаружил и другое: Наполеон, как полководец, был далеко не безупречен в своих действиях. Несмотря на превосходство в силах, он выиграл эту кампанию лишь потому, что умел пользоваться ошибками Беннигсена, тогда как его собственные всегда оставались безнаказанными. А таких ошибок было немало. Распыление Наполеоном сил армии, опасное выдвижение вперед отдельных корпусов, опрометчивые поступки под Эйлау и Гейльсбергом – все это не прошло бы Наполеону даром, будь на месте Беннигсена кто-нибудь из учеников Суворова. По мнению Дениса и многих других участников кампании, мирные переговоры оттого и казались позорными, что воевать с Наполеоном было не так уж страшно. Русские войска нуждались лишь в смене неспособных начальников. Но Александр об этом не хотел и думать. Он нашел себе нового советника – битого прусского генерала Пфуля, известного фанатической

привязанностью к прусским доктринам. Чего хорошего можно ожидать, если Александр сам своими поступками унижает достоинство русских[16].

Денису показались унизительными и подробности самой встречи императоров. На левом, высоком берегу реки выстроилась вся наполеоновская гвардия. Горели на солнце знамена. Гремела музыка. Тысячи жителей в праздничных одеждах заполнили улицы Тильзита. А на правом, луговом берегу стояло лишь два взвода кавалергардов и эскадрон прусских гусар. Кругом было пустынно и тихо. Александр полчаса сидел в жалкой корчме.

– Едет, ваше величество! – сказал наконец вбежавший в горницу один из дежуривших на берегу адъютантов.

Стараясь сохранить хладнокровие, Александр, сопровождаемый великим князем Константином Павловичем, Беннигсеном и несколькими другими лицами, медленно направился к ожидавшей его барке, около которой на коне топтался прусский король Фридрих, которого Наполеон не соизволил пригласить на свидание.

А на том берегу стоял сплошной гул восторженных приветствий. Окруженный маршалами и адъютантами, на рыжей арабской лошади скакал к реке Наполеон. Денис без труда разглядел его маленькую плотную фигуру в шляпе и гвардейском мундире, с лентой Почетного легиона через плечо. Денис видел, как потом, первым причалив к плоту, Наполеон легкими, быстрыми шагами пошел навстречу Александру и, протянув руку, помог сойти с барки. Затем они скрылись в павильоне.

В последующие дни, когда Александр перебрался в Тильзит, приезд в город русским военным строго запретили, однако Денис, как адъютант Багратиона, был там не раз. И вскоре первые черновые, но весьма красочные записи о том, как он видел в Тильзите Наполеона и его маршалов, уже лежали в походной сумке.

Ермолов, которому Денис прочитал эти записи, отозвался о них одобрительно и посоветовал:

– Следует, по-моему, и предшествующие Тильзиту события записать… Видел ты много… Пригодится под старость!

– Опасаюсь, если всю правду записывать, без мундира останешься скорее, чем старость подойдет, – пошутил Денис.

– Ну, ты же по этой части опыт имеешь, – в обычной своей иронической манере сказал Ермолов. – Чего не следует – не напишешь, что следует – прибавишь… как вся ваша братия делает…

– Для потомства достоверность событий нужна,

почтеннейший брат.

– За потомков не беспокойся, разберутся!

… Как-то раз, вечером, Денис с Евдокимом зашли к Раевскому. У него застали Ермолова, брата Александра Львовича и молоденького юнкера с темно-русыми вьющимися волосами, ясными глазами и чуть-чуть вздернутым носом.

– Вот и Денис с Евдокимом, можешь познакомиться, – сказал юнкеру Раевский.

Тот сделал шаг к Денису, смущаясь, протянул руку:

– Василий Давыдов…

– Да разве братья так встречаются? – рассмеялся Раевский. – Эх, ты!..

Денис догадался, что перед ним двоюродный брат Василий Львович. Обнял, крепко расцеловал.

– Ты на Левушку нашего похож… Правда, Евдоким?

– Наш покурносей, – басом сказал Евдоким.

– А он тоже в армии? – спросил юнкер.

– Нет еще, но просится сюда, – ответил Денис. – Сегодня я получил из дома письмо.

– Вот и отлично! Пиши, чтоб приезжал, я устрою его у себя, – сказал Раевский и шутя продолжил: – Мы целый взвод из колена Давыдовых сформируем. Посчитайте-ка, сколько родственников собралось!

Базиль, как семейные называли юнкера, оказался на редкость начитанным, умным юношей. Он чем-то похож на своего старшего брата – Раевского, относившегося к нему с трогательной, отцовской нежностью. Базиль был ровным в отношениях со всеми, выказывал равнодушие к чинам и наградам, живо интересовался всеми военными и политическими делами. Он быстро подружился с Денисом, разделял его взгляды на унизительность тильзитских мирных переговоров, резко осуждал императора Александра.

Когда мир был подписан, Денис, несмотря на уговоры однополчан, соблазнявших шумными гвардейскими утехами, решил взять долгосрочный отпуск и уехать в Москву. Прощаясь с ним, Базиль спросил:

– Тебя в самом деле не прельщает служба в гвардии?

– Нет, я не отказываюсь от гвардейского мундира, – улыбаясь, ответил Денис – Но, признаюсь, предпочел бы иметь хотя бы небольшую команду в армейских войсках, нежели гарцевать на плацу… По мне, брат Василий, дым бивачных костров куда приятней аромата дворцовых палат. Душа простора просит, поэзии жарких схваток… Впрочем, тебе еще этого не понять!

– Почему же? Напротив… Я, кажется, хорошо тебя понимаю. –

И юнкер дружески крепко пожал руку Денису.

VIII

Москва! Подъезжая к ней, Денис впервые особенно остро почувствовал, до чего же он привязан к этому огромному старинному городу, утопающему в зелени садов. И дело было не только в том, что здесь многое связывалось для него с милыми детскими воспоминаниями, что тихие, поросшие крапивой у заборов улицы и тенистые бульвары имели необъяснимую прелесть. Москва дорога и близка была историческими памятниками, особенностями своего несколько старомодного уклада. С детства увлекаясь русской историей, наделенный впечатлительностью и воображением, Денис всегда с каким-то волнением проходил мимо Кремля, и каждый раз в его голове возникали образные представления о далеком прошлом… Гремит ключами Иван Калита, направляясь в подвалы, где скапливаются первые богатства Московского княжества. Выезжает из кремлевских ворот во главе дружины молодой князь Димитрий Донской, поднявшийся на татар. Грозный Иван казнит непокорных бояр. Бьются с поляками ратники Пожарского. Бушуют перед дворцом буйные стрельцы, и маленький Петр, сжав кулачки, грозит им из окна… А сколько иных замечательных событий происходило в Москве! Для Дениса все это было живым источником, питавшим его горячую любовь к родине.

Петербург, всего сто лет назад ставший столицей империи, тоже многим привлекал Дениса, но там он чувствовал себя иначе… Любуясь великолепием столичной архитектуры, просторными проспектами и набережными, одевавшимися в гранит, он восхищался гением Петра и созидательной силой народа, воздвигнувшего на болоте чудесный город. Однако жить в Петербурге по доброй воле он никогда бы не согласился. Было что-то холодное и казенное в облике этого города, где люди вечно куда-то спешили с озабоченными, угрюмыми лицами. То ли дело Москва! Среднее и служилое дворянство, среди которого вращался Денис, жило здесь довольно беспечно, с душой нараспашку. Жизнь часами никто не измерял. Москвичи славились хлебосольством, доверчивостью и откровенностью, любили горячо поспорить, – словом, обладали теми качествами, которые так ценил Давыдов.

На этот раз приезд в Москву был для Дениса особенно приятен: он возвращался из действующей армии в чине штабс-ротмистра, в щегольской лейб-гусарской форме, с двумя крестами на шее и двумя на красном ментике, с золотой саблей «За

храбрость». Это льстило его самолюбию и обещало большой успех в московском обществе.

Так оно и получилось. Сестра Сашенька, семнадцатилетняя тоненькая барышня с нежным румянцем на щеках, первой встретив брата у крыльца дома, пришла в неописуемый восторг:

– Ах, какой ты красавчик, Денис, милый! Просто прелесть! Подруги мне теперь покою не дадут, приставать будут, чтобы познакомила…

– Очень они нужны ему, – скептически заметил совсем уже взрослый по виду Левушка, осматривая с видом знатока боевые награды брата. – Я считал, что у тебя три креста… А этого совсем не знаю!

– Да подождите вы, дайте ему опомниться, – говорила Елена Евдокимовна, не сводя с сына влажных глаз, сияющих радостью и гордостью. – Мы, как письмо твое получили, каждый день от окон не отходили…

– А я чувствовала, что ты сегодня приедешь! – подхватила Сашенька. – Так утром маме и сказала… Правда, мама?

– Правда, правда… Ну, пойдемте в дом… Кабинет отцовский для тебя приготовили, – добавила она, обращаясь к Денису. – Хочешь не хочешь, а придется тебе, родной, хозяйством заняться… Я уже стареть стала…

Дни летели быстро. Незаметно прошло лето. Окруженный заботой и всеобщим вниманием, Денис чувствовал себя превосходно. Гостеприимные москвичи приветливо открыли для него двери своих домов. От приглашений не было отбою. Денис блистал остроумием, привлекал к себе общее внимание. Московские барыни, всегда имевшие большой запас невест, не спускали глаз с молодого офицера, хотя некоторые, наведя справки, быстро разочаровывались.

– За беспутное поведение, говорят, из Петербурга был выслан, – шептались они, – да и всяких проказ за ним много… Стихи неприличные пишет…

– Ну, да ведь гусары – они всегда отличаются… А состояние-то какое имеет?

– В том-то и беда, что гол как сокол… Покойный родитель, царство ему небесное, на картах все спустил, ничего, кроме долгов, не оставил…

– Ах, батюшки, жалость какая! А ведь собой-то недурен. И манеры благородные. Надо же было покойному так его обездолить.

Семья на самом деле находилась в бедственном положении. Долги не уменьшались, а возрастали, достигнув ста тысяч. Оказалось, что отец, проигрывая значительные суммы, выдал

несколько денежных обязательств, ранее семье неизвестных. Кредиторы из дружбы к Василию Денисовичу ко взысканию их не подавали. Но наследники кредиторов посмотрели на дело иначе. Один из них особенно настойчиво требовал немедленной уплаты трех тысяч, угрожая судом. Денис с трудом упросил его подождать еще некоторое время. Можно будет продать псковскую деревушку матери, хотя это все равно общего положения не спасет.

Бородино, приносившее при Василии Денисовиче около четырех тысяч рублей годового дохода, после его смерти не давало и половины этой суммы. Мать вечно жаловалась на недостаток средств. А Сашенька уже невеста, надо о ней подумать! Денис поехал в Бородино наводить порядок.

* * *

Бородино находилось всецело под управлением бурмистра Липата, назначенного на эту должность еще Василием Денисовичем.

Липат по виду казался тихим и добродушным стариком. Небольшого роста, лысый, с ровно подстриженной бородкой и ласковыми глазами, он был единственным грамотным человеком в селе, не пил, не курил. А говорил таким мягким, вкрадчивым голосом, что заподозрить его в чем-нибудь дурном было просто немыслимо.

Несмотря на то что бурмистр денег доставлял все меньше, Елена Евдокимовна стояла за него горой.

– Липат изо всех сил старается, – пояснила она Денису, – да что поделаешь, если каждый год несчастья: то засуха, то еще что-нибудь… Совсем обеднели мужики…

– А может быть, Липат обманывает, маменька? – усомнился Денис.

– Что ты, что ты! Липат на себя такого греха не возьмет… Мужик честный, богомольный… Покойный отец недаром его любил!

И все же деятельность бурмистра внушала сомнения. Приехав в Бородино, где заканчивалась уборка хлебов, Денис прежде всего решил стороной справиться о Липате и, вспомнив про старого приятеля Никишку, ставшего после смерти деда Михея и отца полным хозяином, отправился к нему.

Знакомая, прежде чисто побеленная и опрятная, изба теперь выглядела убого, покосилась и почернела. Гнилая солома на крыше местами провалилась, обнажая стропила и застрехи;

завалинка перед избой, где любил сиживать дед Михей, развалилась; окна наполовину были забиты тряпьем. На месте снесенной кузницы образовался пустырь, поросший лопухами и бурьяном.

Внутри избы было еще неприглядней. Все здесь обветшало, закоптилось, покоробилось. А от спертого воздуха, пропитанного запахом навоза и кислых овчин, трудно было дышать.

Но более всего изменился сам Никифор. Высокий, узкоплечий, обросший рыжей бородой угрюмый крестьянин в длинной старой рубахе и домотканых штанах с крупными заплатами на коленях ничем не напоминал того смышленого и веселого мальчугана, какого помнил Денис.

Никифор сидел за столом, заканчивая обед, состоявший из кваса и картофеля. Жена его, Агафья, молодая баба с худым, утомлённым лицом, кормила грудью ребенка. Другой малыш, полутора-двух лет, весь покрытый золотушной сыпью, возился на грязном полу. Бедность проглядывала отовсюду.

Увидев молодого барина, Никифор окинул его удивленным и беспокойным взглядом, поднялся, поздоровался, подставил табурет. Денис присел и, ощущая странную неловкость, спросил:

– Что произошло, Никифор? Отчего так плохо живешь?

– На все воля божья, Денис Васильевич, – покорно отозвался Никифор.

– Однако должны быть и другие причины… Покойный Савелий, помнится, находился на оброке, работал кузнецом, хозяйство у вас содержалось исправно… А теперь, я заметил, и кузницы нет… Сгорела, что ли?

– Продали…

– Зачем же? Разве ты не мог продолжать отцовского дела?

Никифор несколько секунд стоял молча, переминаясь с ноги на ногу, затем взглянул на Дениса и сказал:

– Оброк не под силу, Денис Васильевич… Бывало, из года в год по тридцать рублей оброчные платили, а Липат Иваныч вдвое положил… Где столько денег заработать! Ну и пришлось, стало быть, скотину сначала продать, а потом кузницу…

– Вот оно что! – удивился Денис, знавший, что об увеличении оброка дома и речи никогда не было. – А ведь я другое думал… Липат говорил, будто последние годы неурожайные были, поэтому и мужики обеднели…

– Нет, бога гневить нечего, земля-то по-старому родит, – сказал Никифор.

– Значит, только оброчным труднее жить стало?

– Всем несладко, – внезапно вмешалась в разговор Агафья. – Теперича и на барщину шесть ден в неделю гоняют… Не

отдышишься!

– Почему же… шесть? – спросил Денис. – У нас, кажется, на барщину три дня назначают…

Агафью разговор, видимо, сильно взволновал. Она неровно, тяжело дышала. Русые волосы выбились из-под косынки. Миловидное утомленное лицо покрылось красными пятнами.

– Три дня на барщину да три на бурмистра, – сердито сказала она. – Вчера пошла свое просо жать, оно уже осыпаться стало, а бурмистр окорачивает: иди к нему хлеб молотить! И управы на него нет, творит, что захочет! Сам ровно барин живет, третью избу себе из господского леса ставит… Всех работой да поборами замучил!

Агафья сделала короткую паузу, облизнула тонкие обветренные губы, и вдруг из глаз ее брызнули слезы.

– Жить тяжко, барин! – воскликнула она. – День и ночь, словно овцы круговые, крутимся, а дитю малому чашки молока нет… И как нищету избыть – ума не дашь!

Драматизм этой сцены произвел на Дениса удручающее впечатление. Пообещав Никифору свою помощь, он пошел в усадьбу по сельской улице, провожаемый почтительными и настороженными взглядами бородинцев. Покрытые тесом и соломой избушки, казавшиеся прежде живописными, теперь наталкивали на грустные мысли. Наверное, в этих избушках немногим лучше, чем у Никифора… Но, привыкнув с детства считать незыблемым крепостной уклад жизни, Денис и не подумал о том, что именно этот уклад порождает ужасную нищету и бесправие крестьянства. Вся беда, по его мнению, заключалась лишь в том, что бурмистр злоупотреблял предоставленными ему правами, обременял мужиков работой на себя, допустил самовольное увеличение оброка, сделав это для того, чтобы присвоить установленную им надбавку. «Экий прохвост! – негодовал Денис. – Ну подожди, будет тебе расправа!..»

И когда Липат, низко кланяясь, сияя лысиной и всем своим видом выражая радость от свидания с молодым барином, предстал перед ним, Денис, без дальних слов, схватил бурмистра за бороду:

– Ты что же, мошенник, делаешь? Мужиков по миру пускаешь и своих господ обираешь? Всякие небылицы о засухе плетешь, чтоб господские деньги прикарманить, да еще и оброки для себя увеличиваешь… Я тебе покажу, как воровать! Душу вытрясу, каналья!

Липат с всклокоченной бородой выскользнул из рук разгневанного барина, повалился в ноги.

– Смилуйся, батюшка Денис Васильевич! Обнесли меня напраслиной злые люди… Я ли своих благодетелей обманывать буду?

– Что? Ты еще оправдываться вздумал? – прикрикнул Денис. – А третью избу из барского леса кто строит?

Липат, хорошо понимавший, что молодой барин явился за деньгами, полагал вначале отделаться от него пустяковой суммой. Теперь же, сообразив, что плутни его открыты и дело может кончиться отрешением от выгодной должности, вынужден был первоначальный свой план изменить.

– Верно, кормилец, взял я для своих построек дубочки из барского леса, – признался он, – да не тайно, а с дозволения маменьки вашей… А уж кто сказывал, будто засухи не было, того пусть господь накажет! – продолжал он медоточивым голоском. – Потому и оброк увеличил, милостивец мой, что два года сряду озимых недобираю… Легко ли, думаю, благодетелям моим убытки терпеть? Две тысячи рубликов, родимый, для вас же с оброчных собраны…

– Где же деньги? Я ничего про них не слышал, – недоумевая, сказал Денис, никак не ожидавший такого оборота.

– Недавно собрал-то их, кормилец… Все до копеечки целы, изволь хоть сейчас получить…

– Гм… А за нынешний год когда деньги будут?

– Да вот как с молотьбой управимся… Нынешний год, слава богу, озимые и яровые уродились и цены на хлеб держатся… Расчет имею не менее четырех тысяч вам представить…

– Ну, хорошо… Смотри же, чтоб впредь никаких недоимок и затяжек с деньгами не было… А то бородой в другой раз не отделаешься! Понял? – пригрозил Денис.

– Ох, да не гневи ты понапрасну свою душеньку… Я ли не пекусь о вас, я ли не стараюсь? – снова запел бурмистр. – Мужичишки иные, касатик, может, и недовольны, что в строгости их держу, да сам поразмысли, какова господам польза будет, ежели мужикам потакать?

Старый плут своего добился. Поразмыслив, Денис решил не смещать бурмистра. «Бесспорно, он мужик корыстный и вороватый, оброчные деньги явно хотел присвоить, – думал он, – зато хозяйство все-таки в порядке, и острастка, надо надеяться, впрок ему пойдет… Да и кем его заменить! Каждый на этой должности воровать станет… Липат третью избу ставит, так, пожалуй, ему больше и не нужно, а нового бурмистра назначишь – тот снова строиться начнет… Нет, пусть уж лучше этот сидит!»

Вопрос же об отношении с крестьянами оказался неразрешенным. Денис приказал бурмистру не отягощать

крестьян лишними работами, велел выдать Никифору корову и отпустить лесу для кузницы, однако понимал, что от этого, в сущности, ничего не изменится. Картины крестьянской нищеты продолжали тягостно беспокоить воображение. Образ золотушного ребенка, ползавшего по грязному полу, не выходил из головы. И вырвавшийся из самой глубины души крик Агафьи долго звенел в ушах: «Жить тяжко, барин!»

Возвращаясь из Бородина, Денис не чувствовал себя спокойным и довольным… Но что же он мог еще сделать? Что?..

* * *

В Москве Денис возобновил свои литературные знакомства. Кружка Тургеневых уже не существовало. Андрей умер четыре года назад. Александр путешествовал за границей. Но Жуковский находился в Москве. Его благозвучные, немного меланхолические стихи давно чаровали читателей. Жуковский был признанным поэтом, стоял в центре московской литературной жизни, собирался редактировать «Вестник Европы».

Денис стал навещать Василия Андреевича, встречая с его стороны теплое, дружеское отношение. Однако Жуковский, одобрительно отозвавшись о некоторых гусарских стихах старого приятеля, в глубине души, видимо, не считал их зрелыми поэтическими произведениями.

– Как полагаешь, стоит их напечатать в журнале? – спросил однажды Денис.

Жуковский, уклоняясь от прямого ответа, сказал;

– Видишь ли, мне кажется, тебе следовало бы попробовать свои силы в более звучных и нежных, истинно поэтических произведениях…

Денис почувствовал, что Жуковский не совсем прав, давая такой совет. Элегические мотивы и сентиментальность, характерные для самого Жуковского, были чужды Денису, тяготевшему к темам сатирическим и языку народному. Но спорить не стал. И на досуге занялся вольной обработкой элегии французского поэта Виже «Мои договоры». Этой новой своей работой Денис остался не очень доволен. Ему нравились лишь некоторые, обработанные в свойственной ему манере строки, посвященные театру, где он тогда частенько бывал:

… что видим мы в театрах? – Малый круг
Разумных критиков, а прочие – зеваки,
Глупцы, насмешники, невежды, забияки.

Открылся занавес: неистовый герой
Завоет на стихах и в бешенстве жеманном
Дрожащую княжну дрожащею рукой
Ударит невпопад кинжалом деревянным,
Иль, небу и земле отмщением грозя,
Пронзает грудь свою и, выпуча глаза,
Весь в клюквенном соку, кобенясь, умирает…

В остальном стихотворение, по его мнению, было довольно посредственным. В свой первый сборник стихов Денис впоследствии его не включил. Но Жуковскому стихотворение понравилось. Он взял его для «Вестника Европы», где оно и появилось в следующем году. Похвалил Жуковский и небольшую оду «Мудрость», тоже вскоре опубликованную. Это были первые стихи Дениса, появившиеся в печати.

У Жуковского Денис познакомился с очень модным тогда московским поэтом – Василием Львовичем Пушкиным. Рыхлый толстяк на тонких ногах с кривым носом и щербатыми зубами, Василий Львович был автором многих переводов, эпиграмм, мадригалов; он проявлял иногда подлинное дарование сатирика.

Василий Львович бывал за границей и про свои заморские встречи рассказывал увлекательно. Европейскую литературу знал превосходно, декламировал Мольера и Шекспира, при этом подражал известному актеру-трагику Тальма, у которого в Париже брал уроки. Во всяком случае, среди москвичей Василий Львович слыл человеком просвещенным. К Денису он отнесся с большой любезностью В оценке «гусарских» стихов с Жуковским резко разошелся.

– Имею честь состоять поклонником вашим, – забавно пришепетывая и жестикулируя, сказал Василий Львович Денису. – И басни ваши читать приходилось и удалые послания Бурцову… Стих легкий, самобытный. Мысль острая. Каждая строка запоминается. Недаром со столь завидным успехом по всей России стихи ваши известность приобретают… Недавно шурин Карамзина, князь Петр Вяземский, юноша, подающий большие надежды, и критик весьма строгий, заявил мне, что слогом вашим живым постоянно восхищается…

Василий Львович принадлежал к самым преданным друзьям Николая Михайловича Карамзина, стремившегося приблизить русский литературный язык к живой разговорной речи. Это начинание встретило резкие нападки реакционной части дворянства. Тогда московские литераторы-карамзинисты начали упорную полемику с реакционерами, хотя сам Карамзин в этой

полемике участия не принимал. Василий Львович, напротив, так и дышал боевым задором. Он ввел Дениса в литературные кружки, познакомил его с Карамзиным и Вяземским.

Часто вместе с Жуковским и Вяземским Денис бывал в гостях у Юрия Александровича Нелединского-Милецкого. Этот аристократ и придворный екатерининского времени, до конца жизни не расставшийся с париком и косичкой, жил в роскошном доме близ Мясницкой. Юрий Александрович любил водить дружбу с поэтами, сам написал несколько сентиментальных романсов и песен. Некоторые из них, например «Выйду ль я на реченьку», приобрели большую популярность.

Нелединский каждую неделю устраивал обеды для литераторов, большинство которых не скрывало своего сочувствия карамзинистам. Денис на сторону карамзинистов тоже встал безоговорочно, но длительные и бесконечные споры казались ему бесцельными и вскоре порядочно надоели. Зимой он стал посещать своих друзей все реже и реже. Другие события отвлекали его от литературных дел.

Евдоким, приехавший на святках из Петербурга, сообщил об усиленной концентрации русских войск на границах шведской Финляндии Дипломатические отношения со Швецией с каждым днем портились все больше. В столице открыто говорили о неизбежности войны. В северной армии уже находились Багратион, Раевский, Кульнев.

Братья Давыдовы потихоньку строили планы на будущую кампанию, но мать решили не тревожить раньше времени. Денис, продолжавший числиться адъютантом Багратиона, имел твердое намерение просить у него команду в авангарде. Евдоким предполагал перевестись в войска Раевского. Левушке не терпелось попасть в армию больше других, но с ним-то как раз было трудней всего. Ему лишь недавно исполнилось пятнадцать лет. Вполне можно еще годок посидеть дома. Ведь его отъезд приведет мать в отчаяние, она так к нему привязана. Однако никакие уговоры старших братьев не действовали. А виноват во всем был Денис! Нужно же было рассказать Левушке, что двоюродный брат Василий, его одногодок, надел юнкерский мундир. Теперь, конечно, мальчика разбирает зависть.

Однажды вечером в кабинете, где братья обычно собирались после ужина, Левушка, отвергнув все доводы старших, пригрозил, что, если они не помогут ему, он все равно убежит из дому и найдет способ пробраться в армию. Денис и Евдоким переглянулись. Чего доброго, а этого от горячего и взбалмошного Левушки ожидать можно. Лучше уж взять его с собой.

– Хорошо, я постараюсь устроить тебя у Николая

Николаевича, – сказал брату Денис, – но сначала, сам знаешь, необходимо получить его согласие, оформить бумаги. Я обещаю немедленно уведомить тебя и выслать маршрут, как только переговорю с Раевским…

– А не обманешь? – недоверчиво покосился на брата Левушка.

– Раз договариваемся, следовательно, не обману. Можешь сам написать ходатайство на имя Раевского… А мы с Евдокимом, чтоб немного успокоить маму, будем писать из армии, что там сейчас большой опасности не предвидится.

– Если мне тоже удастся определиться к Раевскому, – заметил Евдоким, – маме не так страшно покажется и отпустить Левушку…

– Все равно, пока не будем говорить ей об этом, надо подготовить ее постепенно…

Но Елену Евдокимовну подготавливать не пришлось. Она стояла в дверях и все слышала. Сыновья не подумали о том, что мать, всю жизнь находившаяся в среде военных, давно свыклась с мыслью о неизбежности частых расставаний. К тому же она обладала достаточной твердостью, чтобы к отъезду Левушки отнестись иначе, чем предполагали сыновья. Мать понимала, что Левушку ничто не удержит дома. И поэтому, услышав сейчас, как старшие сыновья втайне от нее решают такой важный вопрос, не удержалась от горького упрека.

– Дети, дети! Разве можно это скрывать от матери? – сдерживая себя, со слезами на глазах сказала Елена Евдокимовна. – И неужели вы думали, будто я могу поверить, что на войне вам может быть безопасно? Нет, я знаю вас… Вы не из тех, кто предпочитает спокойствие и безопасность, когда дело касается чести и долга… И я не гневлю, а благодарю бога, что вы такие… Я благословляю всех вас… Вам никогда не нужно меня обманывать…

Сыновья смотрели на нее с нежностью и восхищением. Левушка первый бросился к ней на шею. А Денис, целуя руки матери, сказал за всех с чувством:

– Прости, мама. Мы не забудем этого… Тебе больше не придется упрекать нас!

IX

Тильзитский договор принудил Россию порвать отношения с Англией. Как военная союзница, эта держава, верная своей традиционной политике загребать жар чужими руками, не оказывала существенной помощи русским и этим вызывала лишь общие нарекания. Однако разрыв торговых отношений с Англией

задевал интересы не только английских промышленников, но и русских помещиков, усиливал недовольство дворянской оппозиции политикой Александра.

Закрыв для английских кораблей свои гавани, Россия обязывалась принудить к тому же Швецию. Однако король Густав IV, хотя и приходился родственником Александру, продолжал оставаться всецело на стороне Англии. Густав получал щедрые английские субсидии и к тому же не верил в долговременность царствования Александра. Шведский посланник Штедтинг доносил королю из Петербурга:

«Вообще неудовольствие против императора более и более возрастает, и на этот счет говорят такие вещи, что страшно слушать… Не только в частных беседах, но и в публичных собраниях толкуют о перемене правления».

Об этом же говорил королю и сэр Роберт Вильсон, заехавший в Стокгольм по дороге в Англию, куда он спешил доставить собранные им шпионские сведения о состоянии русских войск[17]. Поэтому, заручившись согласием английского правительства о военной поддержке, Густав отклонил предложения Александра, допустил даже против него оскорбительные выходки. Разумеется, все это не могло еще служить причиной войны между Россией и Швецией. Но существовало другое, более важное, что вызывало тревогу. В Тильзите при разговоре с русским императором Наполеон заметил:

– Король шведский ваш зять и союзник, поэтому он должен либо следовать вашей политике, либо понести наказание за свое упрямство. Король ваш родственник, но он и ваш географический неприятель. Петербург слишком близок к финской границе. Пусть прекрасные жительницы Петербурга не слышат более из домов своих грома шведских пушек.

Это замечание нельзя было не признать справедливым. Границы шведской Финляндии проходили слишком близко от столицы. При воинственном настроении Густава, подстрекаемого Англией, серьезная опасность для России была всем очевидна.

9 февраля 1808 года русская армия под общим командованием генерала Буксгевдена тремя колоннами перешла границы шведской Финляндии и, не встретив сопротивления, заняла Гельсингфорс. Сам Буксгевден с частью войск начал осаду сильно укрепленной крепости Свеаборг. Дивизия Багратиона, быстро очистив южную часть Финляндии, заняла город Або, но тоже остановилась по приказу главнокомандующего.

А шведы под начальством генерала Клингспора отступали на север. Их преследовали малочисленные войска генералов Тучкова и Раевского, все более отрывавшиеся от своих главных сил. Общая

картина военных действий внушала опасение, что кампания может затянуться на долгое время.

Денис, приехавший в Або, застал Багратиона на балу, который в честь русских давали жители города. В просторном, ярко освещенном зале румяные плотные финки танцевали с офицерами. Финские чиновники, бюргеры и профессора местного университета рассыпались перед гостями в любезностях.

– Можете верить, князь, финны не питают никакой вражды к русским, – говорил Багратиону седой профессор. – Мы сознаем, что протекторат могущественной державы для нас более выгоден, нежели подчинение слабому, живущему на английских субсидиях, вечно изменчивому правительству короля шведского…

Багратион держался, как всегда, с достоинством. Отвечал финнам вежливо. Хвалил их трудолюбие и порядок. Но, возвратившись на свою квартиру, дал волю кипевшему в нем раздражению:

– Вчера танцевали, сегодня танцуем, завтра… Помилуйте, как весело! Может быть, оно и нужно финнов развлекать, да я не дипломат, а солдат! Шведы на севере силы стягивают, а мы неизвестно когда и двинемся… Генерал Буксгевден голову потерял. В главной квартире споры идут, что далее предпринимать. Говорил, слушать не хотят! Тактики! А наши части передовые за пятьсот верст отсюда. Этак до беды далеко ли? Раевский, слышно, уже в Вазе стоит, отлично, браво! Да кто ему помощь подаст, ежели Клингспор на него всеми силами обрушится? Вот какие обстоятельства, душа моя, – обратился князь к Денису. – Танцы-то в голову не идут, когда воевать нужно… Обидно, горько!

Денис, знавший уже, что в войсках Раевского авангардом командует Кульнев, решил разговор с князем не откладывать.

– Осмелюсь просить, ваше сиятельство, предоставить мне случай усовершенствовать себя в. познании аванпостной службы…

– Что? Танцевать с нами неохота? К Раевскому собрался? – догадался Багратион.

– Признаюсь, более желаю под командой полковника Кульнева находиться…

– А! Ну что ж! Кульнев командир отличный. Желание твое похвально. Придется отпустите! – Багратион ласково поглядел на Дениса и, чуть помедлив, продолжил: – Только имей в виду, голубчик, положение там, как я говорил, сугубой осторожности требует. Николай Николаевич, знаю, напрасно рисковать не станет, а Кульнева иной раз поостеречь следует. Суворовские слова забвению предает. Помнишь, что Суворов-то австрийскому

генералу говорил?

– Помню, ваше сиятельство. «Вперед – мое любимое правило, но я и назад оглядываюсь».

Багратион улыбнулся:

– Верно. И сам никогда того не забывай! Слова золотые.

Через два дня финские длинные сани мчали Дениса на север. Дорога была пустынна. Заснеженные озера, дремучие леса, суровые скалы, редкие деревушки… Бесприютный, угрюмый край!

Стремясь поскорее попасть к Раевскому и Кульневу, Денис попутчиков дожидаться не стал, поехал один. И мог убедиться, что абоский профессор говорил правду. Финны к русским никакой вражды не питали. Встречали радушно, помогали чем могли.

Однако Раевский, продолжавший стоять со своими войсками в Вазе, узнав, что Денис прибыл один, без охраны, укоризненно покачал головой:

– Слава богу, что обошлось благополучно, а впредь подобного не повторяй. Всякое может случиться! На днях в одной деревушке мы захватили двух молодцов, подстрекавших местное население против русских… И что бы ты думал? Мерзавцы оказались шведскими офицерами, работавшими по английским указаниям. Их расстреляли, а случай заставляет подумать. Очевидно, неприятельские агенты, пользуясь беспечностью нашей главной квартиры, работают и в других местах…

Мнение Багратиона об опасном положении войск, столь удаленных от главных сил армии, Раевский вполне разделял:

– Князь Петр Иванович прав. История скверная! Клингспору близ Улеаборга удалось собрать свыше десяти тысяч шведов, а у нас и четырех нет. Да что поделаешь! Главнокомандующего известили, а он и ухом не ведет. Подкреплений не присылает. Отступать без приказа не имеем права. Вот уж истинно, стоим у самого моря, ждем погоды! А когда погода будет – аллах ведает!

Денис пробыл у Раевского один день. Брата Евдокима еще не было. Базиля Давыдова тоже. Левушку взять к себе Раевский, разумеется, согласился, но посоветовал на некоторое время приезд отложить. Наступала весна. Вскрытие многочисленных озер и речек обещало полное и долгое бездорожье. Да и как еще сложатся здесь дела? Опасно брать мальчишку.

Денис написал Левушке лишь про бездорожье. Об опасностях умолчал. По себе знал, что эта причина тому, кто ищет боевых приключений, покажется жалкой, пустой отговоркой. Сам спешил туда, где могли ожидать одни опасности.

… Авангард Кульнева занимал местечко Гамле-Карлеби, на берегу Ботнического залива, верстах в ста с лишним севернее

Вазы. Авангард состоял из трех батальонов егерей, двух эскадронов гродненских гусар, нескольких казачьих сотен и шести пушек.

Яков Петрович Кульнев, проявлявший иногда излишнюю горячность, на что намекал Багратион, обладал всеми другими качествами хорошего авангардного начальника. Он бдительно следил за каждым шагом неприятеля. Полного отдыха не знал ни днем ни ночью. Ложась соснуть, верхней одежды не снимал, саблю клал под изголовье. Каждый начальник разъезда, возвращавшийся ночью, обязывался будить его, докладывать, что видел. И если было нужно, Кульнев сейчас же мчался на переднюю цепь, лично удостоверялся, что произошло, и только тогда решал: поднимать авангард или часть его или тревога стоит того, чтобы поставить под ружье весь корпус.

– Я не сплю и не отдыхаю, чтоб армия спала и отдыхала, – говорил Яков Петрович.

При остановках он беспрерывно упражнял войска в меткой стрельбе, обучал разным хитростям, приучал к бережному расходованию снарядов и патронов. Чтобы повысить стойкость пехоты, состоявшей из молодых рекрутов, Кульнев строго запрещал солдатам во время боя бегать за патронами в парк, как тогда было принято, а наряжал особые команды, снабжавшие на месте нуждавшихся в патронах стрелков. Впервые в кульневских отрядах стал применяться новый способ усиливать цепи застрельщиков не с тыла, а с флангов, чем достигалась большая маневренность цепи.

Неумолимо строгий ко всем, кто нарушал дисциплину или проявлял недостаточную стойкость, Кульнев вместе с тем требовал от командиров справедливого и человеческого отношения к солдатам, заботился об их довольствии. Он приказывал в батальонах и эскадронах «ежедневно записывать, что солдаты ели и какова роду было варево», сам определял качество пищи, следил за опрятностью в одежде воинов.

– Солдат должен быть чист телом, совестью и честью, – поучал он командиров.

Денис, старая приязнь которого к Кульневу превратилась в самую задушевную дружбу, получил возможность не только совершенствовать себя в аванпостной службе, но и широко проявлять собственную инициативу в боевых делах. Он стал правой рукой Кульнева, исполнял часто самые смелые и опасные поручения.

Одной из первых самостоятельных операций был набег на остров Карлое, проведенный в апреле 1808 года. Остров, расположенный против Улеаборга, верстах в двенадцати от него,

являлся местом высадки шведских десантов и продовольственной базой, снабжавшей армию Клингспора. Нечего говорить, какое значение имело уничтожение на острове продовольственных магазинов.

Взяв под команду эскадрон гродненских гусар и полторы сотни казаков, пройдя темной ночью около тридцати верст по льду залива, Денис на рассвете приблизился к острову и внезапным ударом овладел им. Солдаты гарнизона и фуражиры были частью истреблены, частью захвачены в плен. Через несколько минут пламя охватило магазины и постройки.

Начальник неприятельского авангарда, стоявшего на берегу, близ деревни Кирикандо, узнав о происшествии, послал на Карлое свою кавалерию, но было поздно. На острове, где догорали последние службы, шведы никого не обнаружили. А себе этой экспедицией повредили.

Исполнив поручение, Денис обязан был возвратиться назад. Однако, когда высланные вперед казачьи пикеты донесли о движении к острову неприятельской кавалерии, он решил изменить план действий. Пользуясь туманной погодой, гусары и казаки обошли остров, вышли на берег и, зайдя в тыл пехоте неприятельского авангарда, оставшейся без кавалерии, принудили ее поспешно и с большим уроном отступить почти на двадцать верст к деревне Люмиоки.

Кульнев, не получивший от Дениса никаких известий, сильно встревожился. Разъезды, посланные к острову, еще днем донесли о пожарах, следовательно, можно было полагать, что набег произведен удачно, но… куда же исчез отряд?

Когда наконец ночью, довольный и веселый, Денис возвратился и доложил о причинах задержки, Кульнев строго заметил:

– Вам было приказано не ввязываться в бой с неприятелем. Кто разрешил нарушить приказ?

– Начальник авангарда полковник Кульнев, – четко отрапортовал Денис.

– Ты что это? Шутить изволишь?

– Никак нет. Ваши слова, Яков Петрович.

– Какие… мои слова?

– К ретираде всегда время есть, а к победе редко! – улыбаясь, произнес Денис одну из самых любимых кульневских фраз.

Яков Петрович не выдержал. При всех обнял и крепко расцеловал своего помощника.

Когда же они остались вдвоем, сказал:

– Хвалю за сметливость, хорошим командирам никогда рук не связываю, а все же всей вины с тебя, Денис Васильевич, не

снимаю…

– За что же, Яков Петрович?

– Нужно было меня все-таки в известность поставить.

– В этом виноват. Сознаюсь. Слишком торопился, догадки не хватило.

– Смотри! В следующий раз не спущу. Дружба дружбой, а служба службой.

… Под хмурым северным небом среди вековых лесов и скал Денис вдоволь насладился той полной для него очарования жизнью, о которой давно мечтал. Он принимал участие во всех боевых действиях авангарда, пользовался общим уважением офицеров, а в минуты отдыха у пылающего костра мог предаваться поэтическим размышлениям.

Денис, хотя и не часто брался за перо, продолжал оставаться поэтом. Суровая обстановка, ежедневные опасные столкновения с неприятелем, полная тревог и лишений жизнь воспринимались им романтически. Мир его чувств был окрашен поэзией.

Однажды разговор зашел о литературе, и кто-то из офицеров заметил:

– По-моему, господа, стихотворцам и сочинителям прежде всего нужны покой и тишина… чтоб никаких хлопот и волнений…

Денис горячо возразил:

– Нет, брат, в таких условиях скорее сопьешься, чем что-нибудь сочинишь… В безмятежной и блаженной жизни поэзии нет! Надо, чтобы что-то ворочало душу и жгло воображение!

Никому в том не признаваясь, Денис много думал о форме и языке поэтических произведений. Смело вводя в свои гусарские стихи простонародные слова, он знал, что такой язык не по вкусу ни литературным староверам, ни карамзинистам. Но отказываться от создаваемого им оригинального и самобытного слога, заставлявшего морщиться строгих блюстителей литературных канонов, Денис не собирался.

Гусарские стихи его привлекали широкие круги читателей и пользовались куда бóльшим успехом, чем парадные, лишенные жизненной непринужденности, одические произведения.

«Право, будет забавно, – подумал Денис, – если напишу оду о действиях Кульнева. Наверное, получится пародия!» Мысль пришлась по душе. И вскоре написанная шутки ради ода, в самом деле напоминавшая пародию, была готова и торжественно прочтена Якову Петровичу:

Поведай подвиги усатого героя,
О, Муза, расскажи, как Кульнев воевал.

Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед…

Послание было большое. И Кульнев остался доволен. Только поэтических вольностей он не признавал, попросил строку о колпаке выбросить. В минуты отдыха, верно, любил Яков Петрович почудачить: и финский колпак носил, и еврейскую ермолку, и даже подаренный Денисом табачный кисет из зеленого сафьяна к головному убору приспособил. Но перед войсками в таком виде никогда не появлялся.

Впрочем, для стихов, отдыха и шуток времени оставалось все меньше и меньше.

X

Летом шведская армия, вдвое превосходившая силами корпус Раевского, начала наступление. Шведы были превосходно вооружены, опирались на содействие отрядов, составленных из финнов. Английским агентам все-таки удалось возбудить часть населения против русских. Раевский вынужден был с боями отступить на юг.

Однако генерал Каменский, принявший вскоре начальство над северными войсками, собрал части в окрестностях Таммерфорса и, получив подкрепление, в августе начал контрнаступление. Разбив шведов при Сальми, Куортане и Оровайсе, русские вновь заняли местечко Гамле-Карлеби, куда вслед за тем переехала главная квартира. Буксгевдена на посту главнокомандующего сменил не менее бездарный генерал Кнорринг.

Вскоре русские войска вошли в Улеаборг. Северная Финляндия была завоевана. Но король Густав заключать мир не собирался. С помощью Англии он готовил новую, большую армию. Тогда решено было перевести зимой русские войска через Ботнический залив, на шведскую землю. Эту смелую экспедицию поручили осуществить лучшим генералам русской армии Барклаю де Толли и Багратиону. Корпус Барклая, сосредоточенный в районе города Вазы, должен был, перейдя залив, действовать на севере Швеции. Корпус Багратиона, расположенный в Або, обязан был, заняв Аландские острова, выйти на Стокгольмскую дорогу, близ самой шведской столицы.

Кульнев, произведенный в генерал-майоры, был назначен

командиром авангарда багратионовских войск, начавших поход в конце февраля 1809 года. Путь на Аландские острова сопряжен был с большими трудностями. Уже чувствовалось дыхание ранней весны. При южном ветре и малейшей оттепели лед на широких проливах, разделявших острова, покрывался водой. Внезапные и частые бури, взламывая лед, создавали бесчисленные полыньи и трещины. Гибель угрожала при каждом неверном шаге. А на островах находилось около десяти тысяч шведских воинов и вооруженных жителей под командой генерала Дебельна, приготовившегося к обороне.

1 марта пятнадцатитысячный багратионовский корпус при двадцати двух орудиях, сопровождаемый большим обозом, занял остров Кумлинг. На других островах авангардные войска продолжали вести кровопролитные бои. Неотлучно состоявший при Кульневе Денис, командуя казачьей сотней, первым ворвался на остров Бено. Шведы, засевшие в небольшой деревушке, встретили сильным ружейным огнем. Денис спешил казаков, они по-пластунски подползли к деревне и после жаркой рукопашной схватки овладели ею. На острове Сигнальшере, где шведы оборонялись особенно упорно, Денис с тридцатью казаками отбил два неприятельских орудия. Быстрота и решительность авангардных войск способствовали тому, что за пять дней все острова от шведов очистили. Было взято две тысячи пленных, сорок орудий, свыше десяти тысяч новых английских ружей.

6 марта, под вечер, князь Багратион приехал на остров Сигнальшер, где возле разрушенной мельницы расположились на отдых авангардные части Кульнева. Поблагодарив войска за храбрость, Багратион, отведя в сторону Кульнева, сказал:

– Я поручаю тебе отважное предприятие, Яков Петрович. Надо испытать дорогу на шведский берег и разведать там неприятельские силы. Случай небывалый. Господа шведы не единожды у нас гостили, давно пора визит отдать!

– Благодарю за оказанную честь, ваше сиятельство, – взволнованно проговорил Кульнев. – Клянусь, доверие ваше оправдано будет. Для славы России я не пощажу живота моего!

– Верю, верю, душа моя… Потому и надеюсь на Кульнева, как на самого себя!

Часа через три, собрав назначенный в поход отряд, состоявший из трех эскадронов гродненских гусар и пяти отборных казачьих сотен, Кульнев объявил приказ:

«Бог с нами! Я пред вами, князь Багратион за нами! В два часа пополуночи собраться у мельницы. Поход до шведских берегов венчает все труды ваши. Честь и слава бессмертная! Иметь с собою по две чарки водки на человека, кусок мяса и

хлеба и по два гарнца овса… Отдыхайте, товарищи!»

Офицеры собрались у Кульнева, в мельничной постройке, тускло освещаемой свечным огарком. Спать никому не хотелось. Все находились в приподнятом настроении, понимая важность предстоящего. Денис волновался, пожалуй, более других. Он чувствовал историческое значение предстоящего похода. Швеция! Сколько раз оттуда спускались на русскую землю орды завоевателей! Шведы воевали еще с новгородскими дружинами, ратниками Ивана Грозного, войсками Петра. Они воевали всегда на русской земле, считая свою суровую, окруженную морями страну недоступной для вторжения. И вот наступает час возмездия!

Ровно в два часа ночи при небольшом морозе и попутном ветре отряд начал ледовый поход. Денис на сильной казацкой лошади ехал рядом с Кульневым. Шведы, бежавшие с Аландских островов, оставили на дороге заметный след – обломки повозок, ружья, патроны. Кое-где путь преграждали ледяные глыбы и занесенные снегом полыньи, их приходилось обходить с величайшей осторожностью.

Когда стало совсем светло, Денис отпросился в передние казацкие разъезды. Не терпелось первому увидеть шведский берег!

Наконец этот момент настал… В тумане, стоявшем над морем, все явственнее обозначались очертания деревьев и скал.

Повернув коня, Денис поскакал назад.

– Швеция! Швеция! – размахивая шапкой, кричал он, подъезжая к гусарам, впереди которых находился Кульнев.

Дружное, мощное «ура» потрясло воздух. Кульнев, сняв шапку, перекрестился, потом, расправив пышные усы, привстал на стременах, повернулся к гусарам и скомандовал:

– С богом, ребята! Вперед! Рысью марш!

Шведская пехота, расположенная у берега, открыла стрельбу. Нельзя было терять ни одной минуты. Кульнев с гусарами атаковал неприятеля с ходу. Денис, взяв под команду две казачьи сотни, обошел шведов с правой стороны и ударил с тыла, Не выдержав молодецкой атаки, враг, беспорядочно отстреливаясь, отступил, оставив на льду много убитых и раненых. Восемьдесят солдат сдались в плен.

Гусары и казаки приблизились к берегу. Шведы, засев в небольшой роще, встретили их жестоким огнем. Кульнев приказал казакам спешиться. После двухчасового боя шведов из рощи выбили, отбросив на Стокгольмскую дорогу.

Вскоре первый значительный населенный пункт шведов, местечко Гриссельгам, оказался в руках русских. Став прочно на

шведской земле, Кульнев тотчас же известил Багратиона:

«Благодарение богу, честь и слава российского воинства на берегах Швеции. Я с войском в Гриссельгаме».

Появление русских в ста верстах от Стокгольма вызвало невообразимую панику в шведской столице. Толпы жителей стали уходить в глубь страны, запрудив все дороги. Прекратили работу многие заводы и фабрики. Пошатнулась дисциплина в войсках. Три полка шведской пехоты, подойдя к Гриссельгаму, несмотря на численное превосходство, не посмели даже завязать бой с кавалерией Кульнева. Паника в Стокгольме увеличилась еще больше, когда пришло известие, что через два дня после занятия отрядом Кульнева Гриссельгама на севере перешли Ботнический залив войска Барклая.

Однако развивать военные действия на шведской земле не пришлось. Шведы добились перемирия, затем начались длительные переговоры о мире. Войска Барклая возвратились в Вазу. Корпус Багратиона, оставив небольшой гарнизон на Аландских островах, снова расположился в Або.

… Пробыв больше года в авангардных войсках, Денис теперь по праву считал себя боевым, опытным командиром. Службой у Кульнева он был доволен. Но выявилось одно обстоятельство, весьма чувствительно его задевавшее и наводившее на печальные размышления. Все генералы и офицеры, принимавшие участие в военных действиях, получили щедрые награды. Дениса обошли совершенно, хотя, как он сам понимал, его боевые заслуги в эту войну были несравненно большими, чем в прошлую кампанию. В формулярном списке помимо экспедиции на остров Карлое значились славные дела под Брагештадтом, Лаппо, Куортани, Сальми, Перхо, Оровайсом, Гамле-Карлеби, бои на Аландских островах и под Гриссельгамом. Может быть, его забыли случайно? Нет, он знал, что Раевский и Кульнев представляли его к наградам неоднократно. Наконец, сам Багратион особым рапортом в военную коллегию просил о награждении Давыдова георгиевским крестом. Но все эти ходатайства не были удовлетворены. Значит, дело было в том, что кто-то из высоких особ умышленно не желал отмечать его. И Денис догадывался, что этим недоброжелателем был сам злопамятный император. Однако почему же тогда Александр столь милостиво и благосклонно отнесся к нему в прошлую кампанию?

Ответ на этот вопрос тоже вскоре был найден. Возвратившись опять к своим адъютантским обязанностям у Багратиона и пользуясь свободным временем, Денис поехал в Петербург проведать Александра Михайловича Каховского и Четвертинского. Каховский, которого не видел два с половиной

года, доживал последние дни. К обычным ревматическим болезням Александра Михайловича прибавилась язва желудка, он сильно изменился, похудел, пожелтел, сделался угрюмым и крайне раздражительным. Но посещение Дениса его обрадовало, приободрило. Каховский с большим интересом слушал живые рассказы двоюродного брата о прусской и финской кампаниях, о мужестве русских войск и бездарности тупых немецких генералов.

– Согласись, любезный Денис, что я во многом оказался прав, – заметил Каховский. – Пристрастие государя к «бештимтзагерам» слишком очевидно. И в этом, по-моему, главное зло. Русские главнокомандующие из немцев, все эти Беннигсены, Буксгевдены, Кнорринги, сковывают силы и дух нашей армии. Я не сомневаюсь, что сама жизнь в конце концов заставит отказаться от услуг пруссаков с их гибельными военными доктринами, и наша русская суворовская наука восторжествует, однако сколько еще препятствий впереди! Сейчас всем здравомыслящим людям ясно, что Михаила Илларионович Кутузов, Багратион или даже Раевский во всех отношениях превосходят этих Беннигсенов и Кноррингов, а попробуй втолковать это государю и близким к нему особам, коими все русское почитается ниже иноземного… Большие потрясения нужны, чтобы отказаться от древней сей косности!

– Я согласен приложить руку под любым вашим словом, почтеннейший брат, – сказал Денис. – И, думаю, не только я… Большая часть офицеров русской армии присоединится к мнению вашему!

– Да, вот одно, что меня радует! – сказал, оживляясь, Каховский – Тильзитский позорный мир хотя тем пользу оказал, что всюду дух осуждения против бессмысленных действий возбудил… Недавно заходил ко мне проститься перед отъездом князь Борис Антонович…

– Как? Четвертинский куда-то уехал? – удивился Денис.

– Ну да… Решил поселиться в Москве, собирается, кажется, жениться на княжне Гагариной… Ты разве не знал?

– Нет… Я слышал его прожекты, но полагал, что он еще в гвардии…

– Вышел в отставку. И я его понимаю, – вздохнув, произнес Каховский. – Связь сестры с государем создала для него ложное положение в свете. Особенно сейчас, после Тильзита. Четвертинский совершенно откровенно говорил, как в гвардии недовольны политикой государя, рассказывал, будто гвардейские караулы не раз обнаруживали даже подметные письма на имя государя, в коих намекается на возможность нового дворцового заговора… Представляешь, до чего дошло!

– Да… Положение Марии Антоновны тоже не завидно. Мне, признаюсь, ее немного жалко. И Борис, стало быть, окончательно с ней порвал?

– Как будто… По крайней мере говорил, что не посещает ее больше года, хотя она неоднократно присылала за ним и постоянно обижается… А ты как с ней?

– У Нарышкиных я совсем не бываю, – ответил Денис. – После того как Борис сообщил о своем отношении к этой связи, право, показываться там без него как-то неудобно…

– Гм… А не опасаешься? – неожиданно спросил Каховский.

– Простите, не совсем понимаю, – отозвался Денис, недоумевая. – Чего же мне опасаться?

– А ты рассуди, – сказал Каховский, – как Мария Антоновна твое отсутствие истолковать может? Брат считает предосудительным ее связь с государем и отказывается посещать сестру. Это их семейное дело. А ежели товарищ брата прекращает визиты – это расценивается иначе. И женщины таких вещей не прощают!

У Дениса от этих доводов мурашки по телу побежали. Возразил неуверенно:

– Не могу грешить на Марию Антоновну… Она женщина сердечная, добрая…

Но логика Каховского была беспощадна:

– Допустим даже, что сама Мария Антоновна ничего во вред тебе не сделает… Что же из того? Ведь государю достаточно знать, что ты не состоишь под ее покровительством, чтоб при любом случае припомнить грехи твоей молодости.

Денис вынужден был признаться, что, по всей вероятности, дело и обстоит именно таким образом. Оставление без наград за последнюю кампанию ничем иным не объяснишь.

Каховский посоветовал на рожон не лезть, а к Марии Антоновне обязательно зайти, извиниться. Денис согласился. Марию Антоновну он обижать в самом деле не думал, получилось все как-то случайно. И оправдать себя перед ней не представляло особой трудности. Война, отпуск… Правда, он мог и должен был навестить ее, когда заезжал в Петербург из Тильзита, или в прошлом году, когда, проездом в Финляндию, почти неделю вместе с Борисом предавался светским развлечениям в столице. Но это тоже можно чем-нибудь объяснить.

И все же, дойдя до великолепного, залитого огнями нарышкинского дворца, Денис в нерешительности остановился. Еще три года назад, впервые узнав о том, что Мария Антоновна состоит в связи с императором, Денис ощутил какую-то унизительность для себя в ее покровительстве. Тяжелые условия

жизни вынудили его, неопытного в житейских делах, прибегнуть к ее помощи, хотя где-то в глубине души он продолжал чувствовать, как эта помощь тяготит его. Возможно, поэтому, когда Четвертинский сказал о своем разрыве с сестрой, Денис безотчетно, не имея намерения обижать Марию Антоновну, стал уклоняться от визитов к ней.

Сегодня, после разговора с Каховским, стало ясно, что заслуженные в прусскую кампанию личной храбростью и мужеством награды все-таки не были бы получены, если б он не находился в то время под покровительством Марии Антоновны. Эта новая мысль смущала больше всего. Денис испытывал какое-то двойственное, сложное чувство. С одной стороны, визит к Марии Антоновне казался необходимым не только потому, что это помогло бы предупредить дальнейшие неприятности по службе, но и потому, что этим Денис исправил бы собственную, как ему казалось, нетактичность, допущенную по отношению к Марии Антоновне. С другой стороны, визит означал бы в глазах всех, что он, теперь уже боевой и опытный офицер, сознательно ищет покровительства у фаворитки императора. Было над чем подумать!

Самые противоречивые мысли волновали Дениса: и не хотелось быть неблагодарным, давать Марии Антоновне повод к упрекам, и гордость возмущалась… Правда, в дворянской среде того времени связи имели весьма существенное значение. Тысячи военных и чиновников широко пользовались покровительством высоких особ, делали служебную карьеру благодаря связям. Но были и другие примеры. Самый блестящий из них подавал Суворов, не имевший покровителей, достигнувший высшего воинского звания личными заслугами. А жизнь Суворова для Дениса, как и для всех офицеров, следовавших заветам великого полководца, являлась наилучшим образцом поведения военного человека. Денис думал о честном служении своему отечеству. Он стремился к славе. Однако отвергал окольные дороги. Он был сильно уязвлен тем, что не получил заслуженных наград за финскую кампанию, и, безусловно, не желал, чтобы над ним издевались подобным образом и впредь, но избегнуть этого путем какой-то сделки с совестью, уронить в собственных глазах цену своих заслуг было невыносимо тяжело и оскорбительно…

Денис отказался от визита к Марии Антоновне, сознавая, что теперь уже навсегда остается без всякого покровительства, а впереди трудная дорога и столько разных шипов…

… В Або, к Багратиону, Денис возвратился в подавленном настроении. А здесь ожидала новая неприятность. Пока тянулись мирные переговоры, на крайнем севере Швеции еще

продолжались военные действия. Там, в войсках Раевского, служили Евдоким и Левушка. И теперь, собираясь переводиться обратно в гвардию, Евдоким писал, что оставлять Левушку без призора совершенно нельзя. Приехав в армию еще летом и наотрез отказавшись служить в ординарцах у Раевского, Левушка поступил юнкером в 26-й егерский полк. И при каждом боевом столкновении с противником очертя голову лез под огонь. Он был уже ранен, а однажды самым глупейшим образом чуть-чуть не попал в плен.

Осуждать младшего брата строго Денис не мог – сам такой же был! А все-таки надо было что-то предпринять. Решил посоветоваться с Кульневым. Зайдя к нему, он застал Якова Петровича в самом превосходном расположении духа.

– Ну, голубчик Денис, похоже, опять скоро драться придется…

– С кем же, Яков Петрович?

– С турками. Слух есть, будто войска отсюда переводят в Молдавию, – ответил Кульнев, подкручивая свои пышные усы. – А ты что невесел, нос повесил? – обратился он к Денису.

– С младшим братом не знаю, что делать, Яков Петрович… Беда!

И Денис тут же поведал о «подвигах» Левушки. Кульнев, не задумываясь, предложил:

– Переводи его ко мне под команду. Полагаю, ежели в Молдавию пойдем, ты по-прежнему со мною бранные труды делить будешь? А вместе за сорванцом твоим как-нибудь уследим!

Через некоторое время Левушка, соблазненный громкой славой Кульнева, находился уже в его отряде.

Слухи о переводе войск подтвердились. Летом Багратиона назначили главнокомандующим Молдавской армии. Денис отправился с ним. Войска, выделенные в эту армию, в том числе отряд Кульнева, тоже вскоре двинулись на юг.

XI

Дорога в Молдавию пролегала недалеко от Каменки, и Денис, отпросившись на пять дней у Багратиона, заехал проведать родственников. Денису было известно, что в Каменке живет недавно вышедший в отставку двоюродный брат Александр Львович с молодой женой Аглаей Антоновной, урожденной герцогиней де Граммон. В Каменке должен был находиться Базиль, а возможно, заехал и Раевский, тоже переводившийся в Молдавскую армию.

Было раннее июльское утро. В господском доме еще не вставали. Но в многочисленных службах уже началось движение. Повара и поварята месили тесто, рубили мясо. Лакеи, денщики и горничные занимались подготовкой господской одежды и обуви. Конюхи выводили, скребли и чистили лошадей.

Двор был заполнен экипажами, почти все флигели заняты приезжими помещиками и военными, находившими радушный прием у богатых хозяев. Старый благообразный камердинер Никифор, распоряжавшийся приемом и устройством гостей, кратко сообщил Денису все местные новости. С приездом молодой хозяйки Аглаи Антоновны, имевшей уже двоих детей, в доме начались беспрерывные празднества. Гости нынче не переводятся, особенно часто посещают офицеры из резервных войск, стоящих близ Киева. Старая барыня Екатерина Николаевна с невесткой очень любезная, а Софья Алексеевна Раевская, жившая здесь с детьми всю зиму, с француженкой как будто не поладила и уехала в свое имение Болтышку. В комнатах, занимаемых Раевскими, поселилась теперь Софья Львовна. Третьего дня прибыл муж ее, генерал Бороздин, вчера – граф Александр Николаевич Самойлов. А молодого барина, Василия Львовича, ожидают со дня на день…

Приведя себя в порядок, Денис заглянул в библиотеку, взял попавшийся на глаза томик с одами Горация и отправился в сад.

Погода стояла чудесная. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь густую листву деревьев, ложились тонкими полосами на посыпанные желтым песком дорожки. Газоны были влажны от росы. Цветы на клумбах благоухали. Где-то в конце сада звонко перекликались иволги. Денис с наслаждением уселся в плетеное кресло под тенью старых каштанов, раскрыл книгу, но бессонная ночь, проведенная в дороге, давала себя знать, он задремал… И вдруг, смутно различив какие-то легкие шаги и хруст песка, очнулся… Перед ним, словно чудесное видение, стояла грациозная женщина в легком белом платье с розовым пояском. Все показалось в ней пленительным. И взбитые локоны, и светлые, с веселыми искорками глаза под тонкими бровями, и задорно приподнятый носик, и кокетливая улыбка.

Денис, хотя и догадался, что перед ним молодая хозяйка, от неожиданности совершенно растерялся. Поднявшись, вытянулся по-военному и как-то неловко, громче, чем следовало, представился:

– Штаб-ротмистр Денис Давыдов…

Женщина слегка откинула назад голову и весело рассмеялась. Потом, пристукнув каблучками, в тон ему произнесла:

– Жена отставного полковника Александра Давыдова…

– Прошу извинить, сударыня, – испытывая смущение и не находя нужных слов, сказал Денис. – Все-таки, кажется…

Аглая очаровательно улыбнулась:

– Все-таки, кажется, я прихожусь вам родственницей, mon cher cousin… Разрешается называть меня по имени… Аглая!

С этими словами она дружески протянула свою изящную ручку. Денис поцеловал с чувством большим, чем допускали правила обычной светской учтивости.

– Мне сообщили о вашем приезде, и я нарочно вышла в сад, – мило болтала Аглая. – Я давно искала случая познакомиться с вами. Мне так много про вас рассказывали…

– Притом, очевидно, мало хорошего?.. – заметил Денис.

– О, я знаю, что вы поэт, а поэтам позволительны некоторые вольности… Я не смотрю на дебоширства и увлечения молодежи строго, я вообще не строгая…

И Аглая, состроив кокетливую гримаску на лице, опять рассмеялась. Затем предложила:

– Ну, пойдемте же в дом… Я приказала подавать завтрак… Мой толстяк уже поднялся и будет рад вас видеть, хотя, – она снова сделала плутовскую гримаску, – может быть, и не так сильно, как я…

– Ох, кузина, – притворно вздохнул Денис, – боюсь, что в таком случае брат Александр Львович совсем от меня откажется…

– Не опасайтесь! Он слишком пристрастен к гастрономии и обладает таким завидным аппетитом, что это исключает его внимание к моим собственным вкусам и склонностям, – откровенно, в прежнем шутливом тоне сказала Аглая. – Впрочем, я на него не обижаюсь… Он всегда мил и любезен!..

… Так произошло это знакомство. Дни пребывания в Каменке проносились, словно в угаре. Понадобилось немного времени, чтобы Денис почувствовал себя влюбленным в Аглаю, хотя ее поразительное легкомыслие постоянно удивляло и несколько разочаровывало. Денис понимал, что ее чувства к нему не выходят за рамки временного увлечения, мучился, ревновал, но не хватало сил расстаться с «волшебницей», как называл он свою ветреную кузину.

В доме, как он заметил, все перед Аглаей благоговели. Екатерина Николаевна просто не знала, чем угодить невестке, и весь день не разлучалась с прелестными крохотными ее дочками – Китти и Аделью. Веселая мама отдала их на полное попечение бабушки безропотно. Старый граф Самойлов с женой племянника был нежен и предупредителен. Софья Львовна, тридцатилетняя

чопорная и недобрая дама, состояла с Аглаей в самых дружеских отношениях, хотя тайно ревновала к ней своего супруга, пожилого и тучного генерала Бороздина.

Денис и приехавший вскоре Базиль, недолюбливавший сестру Софью, постоянно этой ревностью забавлялись. Базиль, сидевший обычно за обедом рядом с Бороздиным, напротив сестры, заметил, что, как только генерал начинал слишком пылко оказывать внимание Аглае, сестра весьма чувствительно охлаждала его пыл нажимом своей ножки.

Однажды Базиль, сговорившись с Денисом, нарочно выдвинул вперед свои ноги, взяв таким образом под защиту генерала. А тот как раз находился в особенно игривом настроении и в комплиментах Аглае так и рассыпался.

Базиль молча и мужественно терпел причиняемую сестрой боль. Генерал безнаказанно продолжал любезничать. Софья Львовна, озадаченная тем, что обычные приемы на мужа не действуют, выходила из себя и, краснея все больше, учащала нажимы. Денис, следивший за ней, едва удерживался от смеха. Наконец Базиль не выдержал.

– Что с тобою, Софи? – сказал он, обращаясь к сестре. – Ты так возбуждена! Посмотри, на тебе лица нет…

– Мне просто немного жарко, – ответила Софья Львовна, обмахивая лицо веером.

– Да, но тогда зачем же ты все время давишь мне ноги? Я рискую остаться калекой… А я еще не генерал и не могу надеяться на пенсию…

– Глупо и пошло! – вспыхнув до корней волос, сказала сестра. И в сильнейшем негодовании, сдерживая злые слезы, быстро ушла в свою комнату.

После обеда, выйдя с Базилем в сад, Денис заметил;

– Обиделась сестра Софья смертельно…

– На здоровье! – сердито отозвался Базиль. – Это ей за Раевских… Ты знаешь, почему Софья Алексеевна с детьми отсюда уехала? Сестра нарочно сказала Александру, будто Раевская плохо отзывается об Аглае, еще что-то прибавила. Александр грубить начал. Аглая тоже хороша… В общем, история некрасивая… Мне прямо стыдно перед братом Николаем Николаевичем!

Базиль, произведенный в корнеты, намеревался ехать в Молдавскую армию. Раевский брал его к себе адъютантом. Ссора в семье, понятно, была Базилю особенно неприятна. Но к Аглае он все же относился хорошо, смотрел на нее влюбленными глазами.

Как ни странно, в доме один лишь Александр Львович, растолстевший и полысевший, как будто не замечал своей жены.

Аглая оказалась права. Все свои интересы муж сосредоточил вокруг кулинарного искусства. Для него утренний разговор с поваром был, кажется, самым приятным событием дня.

Денис, никогда Александра Львовича не любивший, относился к нему презрительно и даже не ревновал Аглаю. Зато военная молодежь, окружавшая прелестную хозяйку, доставляла немало мучений… Заметив, что Аглая особенно благоволит к поручику Эразму Злотницкому, Денис чуть не вызвал его на дуэль. Аглая с трудом успокоила. Оставшись вдвоем с Денисом, она не поскупилась на клятвы и обещания, но на другой же день забыла о них.

Наконец-то Денис опомнился! Надо было уезжать. Немедленно. Он гостил в Каменке уже две недели, и теперь придется отвечать Багратиону за самовольное продление отпуска.

Вечером, когда прощались, Аглая шепнула:

– Я буду помнить и ждать… Приедешь?

Денис обещал. И в самую последнюю минуту, передавая томик Горациевых од, с которыми не разлучался в Каменке, добавил:

– Ты найдешь там несколько строк для себя, Аглая… Это от сердца написано… Прости.

В книжке она обнаружила вчетверо сложенный листок. Развернула, прочитала:

Если б боги милосердные
Были боги справедливости,
Если б ты лишилась прелестей,
Нарушая обещания…
Я бы, может быть, осмелился
Быть невольником преступницы!
Но, Аглая, как идет к тебе
Быть лукавой и обманчивой!
Ты изменишь – и прекраснее!
И уста твои румяные
Еще более румянятся
Новой клятвой, новой выдумкой!
Голос, взор твой привлекательней.
И, богами вдохновенная,
Ты улыбкою небесною
Разрушаешь все намеренья
Разлюбить неразлюбимую!
Сколько пленников скитается.
Сколько презренных терзается
Вкруг обители красавицы!

Мать страшится называть тебя
Сыну, юностью кипящему,
И супруга содрогается,
Если взор супруга верного
Хотя раз, хоть на мгновение
Обратится на волшебницу!..

Стихи были написаны как подражание одной из од Горация, Аглае они понравились. «Все-таки Денис очень милый», – подумала она. И вздохнула.

XII

Три года назад, желая ослабить русские военные силы, Наполеон послал в Константинополь генерала Себастиани, поручив ему возбудить турок к враждебным действиям против России. Себастиани свою миссию выполнил превосходно. Нарушая старые договоры, султан сменил дружественных России господарей Молдавии и Валахии, стал препятствовать прохождению русских судов через Дарданеллы. Одновременно французские инженеры, присланные Наполеоном, спешно начали укреплять днестровские и дунайские крепости, а французские офицеры занялись устройством по европейским образцам турецкой армии. Все попытки русского правительства разрешить мирным путем возникший конфликт были отвергнуты.

Тогда русская пятидесятитысячная армия под начальством генерала Михельсона вступила в Молдавию и Валахию, заняла Яссы, Хотин, Бендеры, а затем Бухарест. Славянские народы, стонавшие под жестоким владычеством турок, встретили русских восторженно. Восставшие против своих поработителей сербы освободили Белград.

После Тильзитского мира Наполеон был вынужден несколько изменить свою политику. Он послал в Константинополь генерала Гильемино с целью примирить противников и «оказать всяческое пособие России», но, по всей вероятности, генерал получил и тайную инструкцию иного рода, ибо на деле задерживал заключение перемирия. Русский уполномоченный Лошкарев, договаривавшийся с турками, сообщал: «Если бы одному быть с турком, то, конечно, лучше б было; няньку же иметь трудно».

Все же договор о перемирии, по которому туркам запрещался доступ на левую сторону Дуная, а русские обязывались очистить дунайские княжества, осенью 1807 года был заключен. Однако стоило русским войскам выступить из занимаемых мест, как

турецкие янычары стали неистово грабить и резать славянское население, мстя за сочувствие русским. Войска приостановились.

Император Александр, назначивший главнокомандующим Молдавской армии дряхлого фельдмаршала Прозоровского, приказал ему «возобновить военные действия, если турки подадут к тому повод». Но турки прислали своих уполномоченных в Яссы, чтобы начать снова переговоры о мире. Россия потребовала присоединения к ней Бессарабии, Молдавии и Валахии, а также признания независимости сербов.

В это время в Константинополе появился английский посол сэр Роберт Эдер, а у входа в Дарданеллы остановилась эскадра адмирала Коллингвуда. Заверив султана в своей помощи, англичане склонили его вновь продолжать военные действия против русских.

Переговоры о мире были прерваны. Прозоровский приступил к осаде сильных турецких крепостей Браилова, Измаила и Журжи, но потерпел неудачу. В помощь фельдмаршалу, никогда не отличавшемуся военным дарованием, был прислан Михаил Илларионович Кутузов. Тогда Прозоровский, чувствуя во всем превосходство над собою талантливого генерала, недовольный тем, что отдельные начальники стали обращаться за советами и наставлениями непосредственно к Кутузову, постарался от него отделаться. Вскоре после этого Прозоровский, так ничего и не сделав, умер.

Весть о назначении главнокомандующим Багратиона войска Молдавской армии встретили с понятной радостью.

– Слава богу, прилетел наш сокол, теперь туркам несдобровать, – говорили солдаты.

Прибыв в главную квартиру, находившуюся в Галаце, Денис застал Багратиона в разгаре работы по подготовке наступательных действий. Сознавая свою вину, Денис ожидал справедливых упреков за опоздание, но Багратион избрал другой способ наказания. Он не пожелал видеть своего провинившегося адъютанта, пять дней не допускал к себе и не давал никаких поручений, а при встречах делал вид, что не замечает его. Дениса такое отношение человека, доверием и любовью которого он всегда дорожил, привело в полное отчаяние.

– Пойми, я не в состоянии больше выносить эту казнь, – признавался он старому приятелю Офросимову, продолжавшему служить в адъютантах у князя. – Я виноват, знаю, ну и пусть накажет, хоть в солдаты разжалует, все готов вытерпеть, только не это презрение.

Офросимов молча вздыхал. Жалко было Дениса. Да что поделаешь! Дважды пробовал намекать Багратиону – тот словно

мимо ушей пропускает.

Выручил неожиданно Матвей Иванович Платов. Он командовал авангардом армии. Дружески встретив в главной квартире Дениса, узнав о его прегрешениях, старый атаман, подморгнув глазом, сказал с обычной хитринкой:

– Попытаюсь, братец, нападение с фланга произвести… Уповай на казацкий умишко!

При разговоре с Багратионом, старым своим соратником, Платов пожаловался:

– В командирах нужду терплю, ваше сиятельство… Ни в одном полку до комплекта офицеров не хватает…

– Знаю, Матвей Иванович, да ничем пока помочь не могу, – ответил Багратион. – Вчера генерал Марков говорил, у него с офицерами похуже, чем у тебя.

– Мне бы хотя из тех, что при главной квартире без дела сидят, – смело вставил Платов. – Нынче встретил тут одного… Офицер боевой, мне известный… Я бы ему под команду казачий полк отдал…

– Это кто же?

– Штаб-ротмистр Денис Давыдов…

Багратион взглянул в глаза атаману и, догадавшись о его хитрости, рассмеялся:

– Вот что! За Давыдова хлопочешь? Договорились, видно, на кривой меня объехать…

– Я бы впрямь к себе его взял, Петр Иванович, – переходя на приятельский тон, сказал Платов. – Томится человек без дела-то. Смотреть жалко!

– Не заступничай, – перебил Багратион, – сам молодца люблю, да нельзя с ним иначе… Помнишь, как Суворов говаривал? «Субординация или послушание – мать дисциплины…» А Давыдов, давно примечаю, своевольничать любит, никакой субординации признавать не желает! Вот и хочу, чтобы холодным ветерком горячую голову обдуло!

Матвей Иванович, хотя и состоял в генеральском звании, до субординации был сам небольшой охотник. Он произнес многозначительно и со вздохом:

– Так-то оно так, ваше сиятельство, да как бы совсем головы не застудить…

Багратион задумался, слова атамана принял к сведению. В тот же день Денис, вызванный князем, во всем чистосердечно ему признался. Багратиона тронуло полное раскаяние адъютанта. Сделав ему наставление, простил. Но когда через несколько дней Денис, – выбрав удобную минуту, намекнул о своем желании опять служить в авангарде, князь решительно отказал:

– Никуда, душа моя, не собирайся… Будешь состоять при мне. Работы хватит!

Дело было, конечно, не в работе, а в том, что Багратион, ценя многие хорошие качества Дениса, лучше, чем кто-нибудь другой, знал его недостатки и желал их исправить. Багратион еще в прусскую кампанию имел возможность убедиться, что горячему и храброму офицеру недостает выдержки и дисциплины. Кульнев при откровенном разговоре тоже отметил склонность Дениса под влиянием настроения или отважного порыва поступать иной раз по-своему, вопреки приказу. Багратион и Кульнев не были педантами, сами, следуя суворовским заветам, поощряли в офицерах и солдатах самостоятельность, инициативность, ограниченную, однако, разумной необходимостью. Беда Дениса заключалась в том, что при пылком темпераменте и необузданности желаний он часто выходил за рамки необходимости, проявлял своеволие и мог тем самым погубить себя. Случай, который произошел в Каменке, настораживал. Служи Денис не у Багратиона, самовольное продление отпуска могло кончиться для него потерей мундира.

Оставив при себе Дениса, Багратион внимательно следил за ним, нарочно давал поручения, требовавшие особенной выдержки, дисциплины, точности. Денис служил ревностно, не своевольничал. Урок, видимо, пошел на пользу. Во всяком случае, сдерживать свои порывы и желания он научился.

… В середине августа войска Молдавской армии начали наступление. Одна за другой пали турецкие крепости Матчин, Гирсово, затем Измаил и Браилов. Корпус генерала Маркова, по приказу Багратиона, продвинулся к Черному морю, занял приморские крепости Кюстенджи, Мангалию и Каварну. Сам Багратион с основными силами армии, наголову разбив турок под Рассеватом, подошел к придунайской крепости Силистрия.

Исполняя приказы главнокомандующего, Денис не раз проявлял высокое мужество, был дважды представлен к награждению, но, как и в прошлую кампанию, ничего, кроме общего для всей армии «высочайшего благоволения», не получил. Багратион полагал, что награждение Дениса задерживает кто-то в военной коллегии, и собирался доложить об этом лично государю. Денис, отлично знавший истинные причины, говорить на эту тему с князем счел неудобным: Багратион пользовался благосклонностью Александра, служил ему преданно. Впрочем, вскоре и он познал меру царской благожелательности.

Крепость Силистрия считалась сильнейшей на Дунае. Она была обнесена высокими стенами, защищена глубоким рвом с контрминами. Гарнизон состоял из двенадцати тысяч солдат при

двухстах пушках. А в русских войсках, обложивших крепость, чувствовался недостаток в боевых снарядах, солдаты до крайности обносились, подвоз провианта замедлялся осенней распутицей, усилились страшные эпидемические болезни. Деньги же для закупки продовольствия у местного населения отпускались скупо. Все требования главнокомандующего застревали в военном министерстве. Багратиону часто приходилось расходовать на питание солдат собственные средства.

«Я сам с ними ничего не жалею, последней копейкой моих верных пою и кормлю, – доносил он военному министру Аракчееву, – лучше умру, нежели покажу из суммы экстраординарной. Умру честно и голый»[18].

В таких условиях вести осаду Силистрии не представлялось возможным, да не было и нужды. Багратион правильно решил, что лучше всего перевести войска на левый берег Дуная, перезимовать, а с весны идти на Балканы. Этот план давал также возможность оказать большую помощь храбро сражавшимся за свою независимость сербам. Однако император Александр, не желая ни с чем считаться, требовал во что бы то ни стало взять Силистрию и продолжать наступление.

В этб время в Петербург из Константинополя прибыл молодой барон Гюбш, сообщивший императору, что среди турок идут раздоры и поэтому, по его мнению, разбить их сейчас не представляет никакой трудности. Император поверил барону и отклонил все справедливые доводы Багратиона. Получив это сообщение, князь пришел в негодование.

– Как? Русскому главнокомандующему нынче верят меньше, чем мальчишке, не имеющему никакого понятия! – воскликнул он, не стесняясь присутствия адъютантов. – Мне нет доверия! Немецкий щенок стоит больше! Отблагодарили, спасибо! Да все равно, чего не надо – делать не буду, я не двуличка! Баста! Подаю в отставку! За дураков не ответчик!

В феврале 1810 года Багратион получил отставку. На его место назначался молодой генерал Николай Михайлович Каменский.

Денису новый главнокомандующий был известен по прошлым кампаниям с хорошей стороны. К тому же в армии собрались почти все близкие люди: Раевский, Кульнев, Базиль, Левушка… Был слух, что и Ермолов, произведенный в генерал-майоры и находившийся в Галицийской армии, переводится сюда. Тем не менее Денис, привязанность которого к Багратиону выросла еще сильнее, не раздумывая, решил следовать за ним.

Но князь, поблагодарив за любовь и преданность, сказал:

– Я сам не знаю, куда меня пошлют… Можешь пока остаться у Кульнева, однако ж помни, душа моя, что я считаю тебя своим. Ежели получу назначение, приезжай, всегда рад буду…

– Постоянное внимание и доверие вашего сиятельства делают меня навек самым признательным должником вашим, – с чувством ответил Денис. – Служба у вас – счастливейшие дни моей жизни! И ничто не может удержать меня, чтобы при первом известии незамедлительно явиться к вам…

– Ну, это еще как тебя отпустят! – с благодушной иронией заметил Багратион.

– Я полагаю, что Яков Петрович Кульнев…

– Да не в нем дело, душа моя! – перебил, улыбаясь, Багратион. – Кульнев-то отпустит, а вот что скажет прелестная Аглая Антоновна?

Поняв, что князь намекает на «каменский случай», Денис смутился, покраснел.

– Я дал слово вашему сиятельству…

– Шучу, шучу, не обижайся! – поспешил успокоить Багратион. – Кто богу не грешен, кто бабке не внук! Я уверен, впредь с тобой того не случится… А теперь, пока здесь начальствую, – после небольшой паузы закончил он, – даю тебе в награду за примерную службу отпуск на месяц… Меня, кстати, до Киева проводишь!

Денис от такого предложения не отказался. Армия, все-таки переведенная Багратионом на левый берег Дуная, стояла на зимних квартирах, боевых действий пока не предвиделось. Да и то сказать: служил ведь без надежд на отличия и награды. Вправе хоть чем-нибудь вознаградить себя! И конечно, провел свой отпуск в Каменке, где встречен был более любезно, чем сам предполагал.

Тем временем новый главнокомандующий наводил в армии свои порядки. Войска, до сих пор знавшие Каменского как способного и храброго генерала, были поражены огромной переменой, происшедшей с ним. Дело объяснялось просто. Сын фельдмаршала, жестокого крепостника и самодура, убитого в прошлом году крестьянами за вечные издевательства, Каменский унаследовал от родителя дурные черты его характера. Находясь в небольших чинах, он не проявлял этих черт слишком наглядно, но, постепенно возвышаясь, пользуясь благосклонностью императора Александра и Аракчеева, все более и более становился заносчивым, завистливым, жестоким. После убийства отца стал мстительным и окончательно перешел в лагерь поклонников палочной дисциплины. Это обстоятельство, очевидно, и послужило одной из главных причин для назначения

Каменского на пост главнокомандующего.

Император давно уже с неудовольствием наблюдал за деятельностью Багратиона, устраивавшего войска по суворовскому образцу. Человеческое отношение к «нижним чинам» и разумное поощрение солдатской инициативы казались недопустимым либерализмом.

Назначая Каменского, император сказал ему:

– Князь Петр Иванович слишком мягок, не всегда придерживался установленных правил, несколько распустил войска… Надеюсь, вы наведете там настоящий порядок… Я предоставляю вам полную свободу действий!

Приехав в армию, Каменский издал приказ, полный угроз тем, кто не будет оказывать ему доверия. На другой день отменил все «поблажки», введенные для «нижних чинов» Багратионом. Приказал расстрелять без суда нескольких солдат, виновных в различных мелких нарушениях приказов. Полковым командирам предложил усилить строгость и по своему усмотрению гонять провинившихся солдат сквозь строй до трех тысяч раз.

С генералами и офицерами главнокомандующий держался надменно, оскорблял их на каждом шагу. Никаких советов признавать не желал. Доходило до того, что открыто называл себя гением, а всех окружающих дураками. Подобное поведение ничего, кроме вреда, не принесло. Войска упали духом. Многие командиры покинули армию.

Начав в мае наступление, Каменский на первых порах овладел Базарджиком и Силистрией, но под Шумло́й был вынужден остановиться. Эту хорошо укрепленную крепость защищали лучшие турецкие войска под начальством великого визиря Юсуфа-паши. А русская армия, растянувшаяся на восемьдесят верст, томимая зноем, таяла от повальных болезней. Но главное – был утерян боевой суворовский порыв, отличавший войска, когда они находились под командой любимых начальников.

Не считаясь ни с чем, Каменский объявил в приказе, что через два дня возьмет Шумлу. Раевский, командовавший одним из корпусов, будучи на обеде у главнокомандующего, высказал сомнение.

– Я не думаю, что Шумлу так легко взять, как ваше сиятельство предполагает.

– А все-таки она будет взята, если я приказал! – заносчиво возразил Каменский. – Послезавтра мы там обедаем! Не сомневайтесь! Я уже заказал кондитеру изготовить на сладкое турецкую башню из крема, украшенную моими гербами.

– Отважное предприятие, ваше сиятельство, при такой

жаркой погоде, – насмешливо ответил Раевский, намекая, что крем может растаять.

Каменский промолчал. Но на следующий день отрешил Раевского от должности, послал в Яссы командовать резервами.

Вскоре начались неудачи. Вынужденный отступить от Шумлы, Каменский перебросил войска к Рущуку, но под стенами этой крепости снова потерпел поражение. Осаду приморской крепости Варны тоже пришлось снять.

* * *

Денис, произведенный по старшинству в ротмистры, исполняя обязанности бригад-майора в авангардном отряде Кульнева, как и все командиры суворовской школы, ясно видел, что причины почти всех неудач заключаются в отходе главнокомандующего от суворовских методов, в негодной попытке вновь возродить в войсках ненавистную прусскую систему, основанную на палочной дисциплине[19].

Денис в то время особенно подружился со штаб-ротмистром Сергеем Григорьевичем Волконским. Этот хорошо образованный и либерально настроенный офицер был душой довольно значительного кружка независимо державшейся офицерской молодежи, не скрывавшей своего неодобрительного отношения к действиям главнокомандующего.

Выражая настроения этой независимой молодежи, Денис Давыдов 14 июля 1810 года из лагеря под Рущуком писал Раевскому:

«С тех пор как вы нас оставили, милостивый государь Николай Николаевич, много воды утекло. Курс нашего могущества с часу на час упадает. Угрозы, дерзости, бешенство против артиллерийских генералов не дают ни ядер, ни бомб, ни брандкугелей… Все окружающие великого Могола бранены, разбранены и ошельмованы по пяти раз на день. Со всем тем дела не только лучше не идут, но еще расстраиваются более и более. Время прошло, когда какое-то преимущество, называемое гением, а нами – дурацким счастьем, давало право делать неистовства без возмездия и критики. Нынче мы… у Рущука. Маска спала, и остался человек. Да какой! Все глаза открыли и все так кричат, что и я опасаюсь слушать…»[20].

Как-то раз Волконский объявил товарищам:

– Нашего полку прибыло, господа! Приехал граф Павел Александрович Строганов и при первой же встрече с нашим великим Моголом высказал себя противником его самодурств…

Имя Строганова пользовалось среди офицеров большой популярностью. Привлекала необычайная его биография. Молодой граф, воспитанник француза-республиканца Жильбера Ромма, будучи в Париже во время революции, высказывает открыто свои симпатии восставшему народу, участвует в штурме Бастилии, вступает в якобинский клуб. А возвратившись в Россию, сближается с великим князем Александром Павловичем и после его воцарения становится членом негласного комитета и министром. Но, убедившись, что былой либерализм царственного друга быстро испарился, Строганов выходит в отставку и простым волонтером отправляется в действующую армию.

Порядки, устанавливаемые в войсках Каменским, привели Строганова в негодование.

– Я не ожидал видеть столь жестокого обращения с людьми, как у вас, – сказал главнокомандующему Строганов с присущей ему откровенностью. – И мне хочется напомнить вашему высокопревосходительству, что поразительные успехи Суворова во многом зависели от гуманного обращения с людьми, а не от учащенных наказаний и зуботычин…

Каменский вспыхнул. Он давно не терпел никаких замечаний. И будь его воля, он стер бы в порошок этого волонтера-офицеришку с якобинскими замашками! Но приходилось сдерживаться. Строганов хотя и снял мундир министра, а все же имел свободный доступ к императору, а у того семь пятниц на неделе.

– В своих действиях я буду отчитываться сам, – сухо ответил Каменский, – а вас прошу не запамятовать, что, пока я командую армией, здесь все будет подчиняться моим, а не каким-либо иным приказаниям.

Строганов откланялся и более с Каменским встречаться не пожелал, но от критики его поступков не отказался. Квартира Строганова сделалась постоянным местом сбора всех недовольных офицеров. Тут часто бывали и Кульнев, и Волконский, и Денис, и Левушка. Денису нравилась склонность любезного хозяина к распашным беседам и подкупающая откровенность, с какою он вспоминал о революционных событиях в Париже. Однажды, заметив, что Давыдов появляется в авангардных частях в гусарской форме, представляя тем самым хорошую мишень для турок, граф предостерег от подобной неосторожности и тут же подарил Денису превосходный казацкий чекмень, от которого тот не отказался, отблагодарив графа стихами.

Вскоре Строганов по настойчивой просьбе Каменского был из армии отозван. А затем опала постигла и тех, кто посещал его.

Прежде всего Кульнева.

В сражении при Батине Якову Петровичу было приказано командовать атакующими войсками левого фланга. Эти войска, состоявшие из недавно сформированных частей, несколько раз поднимались в атаку, но не могли устоять против мощного на этом участке огня турецкой артиллерии и неизменно с большим уроном откатывались назад.

Убедившись, что все старания напрасны и нужна перестройка войск, а главное – пополнение орудиями, Кульнев приказал прекратить дальнейшие атаки.

В это время на левый фланг примчался Каменский, сопровождаемый адъютантами.

– Что у вас такое, генерал? – сердито спросил он у Кульнева, соскочив с коня. – Почему прекращены атаки?

– Бесполезно теряем людей, ваше сиятельство, – ответил Кульнев. – Превосходство неприятельской артиллерии столь очевидно…

Каменский не дал договорить фразы, яростно крикнул:

– Вздор! Чепуха! Приказываю возобновить!

– Я доложил вашему сиятельству, – стараясь держаться как можно спокойней, повторил Кульнев, – почему атаки не удаются…

– Потому, что начальники, – перебил Каменский, – не подают примера храбрости, а много умничают и рассуждают!

Кульнев изменился в лице. В финской кампании он с небольшим отрядом героически прикрывал отступление армии Каменского, допустившего тогда явную оплошность.

– Граф, вы слишком скоро забыли про Куортани и Оровайс, – напомнил Кульнев.

Каменский пришел в бешенство, затопал ногами и, наконец, приказал своему адъютанту Арсению Закревскому арестовать Кульнева.

Яков Петрович хладнокровно расстегнул портупею, бросил саблю к ногам главнокомандующего.

– Вы можете ее у меня отнять, граф, – спокойно сказал он, – но более от вас я никогда ее не приму…

И на другой же день Кульнев уехал из армии.

Денис Давыдов тоже не захотел оставаться в армии, где заводились чуждые ему порядки. Он возвратился к Багратиону, назначенному командующим Западной армией, расположенной в районе Житомира и Луцка.

Глава третья

Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

Л. Толстой

Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

Л. Толстой

I

В начале 1812 года всем уже было ясно, что военная гроза неотвратимо надвигается. Россия, вынужденная по Тильзитскому

договору примкнуть к континентальной блокаде, проводимой Наполеоном, с каждым годом все сильнее ощущала тяжесть этой системы. Резкое сокращение вывоза сырья за границу подрывало экономику страны, плачевно отражалось на финансах. Курс рубля катастрофически падал.

Чтобы немного поправить положение, русское правительство тайно возобновило торговые отношения с Англией, а затем ввело новый, повышенный таможенный сбор с товаров, ввозимых из Франции, чем чувствительно задевались интересы французской крупной буржуазии.

Наполеон, ставший властелином почти всей Западной Европы, не мог мириться с тем, что Россия, оставаясь независимым, жизнеспособным государством, самостоятельно развивала свою экономику и не желала способствовать его политике. Наполеон мечтал о мировом господстве. Он хотел проникнуть даже в Индию. Независимость России была главным препятствием для осуществления его захватнических планов. Наполеон, начал подготовку новой войны, угрожая русскому народу полным порабощением.

Уже осенью 1811 года полковник Чернышев, посланный императором Александром в Париж, доносил:

«Война решена в уме Наполеона… Мысль о мировладычестве так льстит его самолюбию и до такой степени занимает его, что никакие уступки, никакая сговорчивость с нашей стороны не могут уже отсрочить великой борьбы, долженствующей решить участь не одной России, но всей твердой земли…»

Наполеон собрал для похода в Россию огромную армию, насчитывавшую шестьсот тысяч человек при тысяче четырехстах двадцати орудиях. Кроме того, он надеялся на помощь Турции: по его мнению, она могла выставить стотысячную кавалерию для вторжения на Украину. Наполеон заранее послал в Константинополь опытных агентов Латур-Мобура и Андреосси, поручив им всеми способами склонить турок к затягиванию военных действий против русских. Однако из этой затеи ничего не вышло. Главнокомандующий Молдавской армии генерал Каменский внезапно скончался. Назначенный на его место Михаил Илларионович Кутузов, совершив блестящий маневр, разгромил турецкую армию на Дунае и, несмотря на интриги французов, принудил султана к миру. По договору, заключенному Кутузовым в Бухаресте, турецкая граница отодвинулась от Днестра к Пруту. Бессарабия освобождалась от турецкого ига, участь сербов, болгар и других славянских народов значительно облегчалась. А войска Молдавской армии могли быть теперь частично переброшены на западную границу.

Узнав о подписании Бухарестского мирного договора, Наполеон пришел в сильнейшее негодование.

– У этих болванов турок дарование быть битыми! – воскликнул он. – Победа Кутузова так велика, что я предвидеть этого не мог!

И все же русские вооруженные силы по численности намного уступали силам наполеоновской армии. Да и устройство русских войск внушало серьезные опасения. Император Александр под давлением оппозиционно настроенных дворянских и военных кругов вынужден был два года назад сместить графа Аракчеева с поста военного министра, назначив на его место генерала Барклая де Толли. Новый министр начал довольно энергично проводить необходимые оборонные мероприятия, но они парализовались вмешательством самонадеянного и невежественного в военном деле императора, находившегося всецело под влиянием тупого адепта прусских доктрин генерала Карла Людвига фон Пфуля. Этот проповедник абстрактных военных теорий за шесть лет пребывания в России не сумел даже научиться русскому языку, хотя его денщик, неграмотный солдат Федор Владыко, выучился за это время отлично говорить по-немецки, помогая при случае своему хозяину объясняться с русскими. Пфуль выработал нелепый и предательский план обороны, который, однако, был одобрен императором. Русские войска, стоявшие на западных границах, разделялись на три армии.

Первая, численностью сто двадцать семь тысяч человек, стоявшая от Балтийского моря до Гродно, должна была вести главные бои с неприятелем, а в случае отступления, по мысли Пфуля, сосредоточиться при местечке Дриссы, в заранее укрепленном лагере, представлявшем настоящую ловушку для русских войск. Командование этой армией император поручил военному министру Барклаю.

Вторая армия, имевшая сорок семь тысяч человек под начальством Багратиона, располагалась южнее Гродно – она обязывалась действовать в тылу и на флангах противника.

Третья армия, насчитывавшая сорок четыре тысячи человек под командованием Тормасова, должна была защищать подступы к Украине.

Порочность подобного плана была очевидна. Наполеоновская армия при огромном численном превосходстве имела возможность действовать крупными группировками, направляя их к определенным центрам. Как же могли отразить наступление наполеоновских полчищ русские войска, растянутые кордоном на протяжении почти шестисот верст? Вопрос этот, вызывавший

постоянные споры в среде военных, оставался неразрешенным, но все понимали, что так или иначе борьба с Наполеоном предстоит упорная, трудная, жестокая.

… В тот год весна выдалась ранняя. На благодатной украинской земле в середине марта все зеленело. Генерал Раевский, командир седьмого корпуса, входившего в состав недавно реорганизованной второй армии, возвращался из Каменки к месту службы в легкой рессорной коляске. Рядом с ним сидел его старший сын Александр, семнадцатилетний прапорщик, с узким желтым лицом и строгими, не по годам, глазами.

Предчувствуя, что военные действия могут вот-вот начаться, Николай Николаевич сделал дома все необходимые распоряжения, а главное – уговорил жену опять переехать из Болтышки в Каменку, к матери. Кто знает, какие случайности ожидают; лучше, чтобы вся семья находилась вместе. В Каменке сейчас стало тихо. Семейных неприятностей не предвиделось. Брат Александр Львович снова надел мундир, уехал в первую армию. Базиль отправился с ним. Софья Львовна жила в Петербурге. Аглая Антоновна с детьми тоже собиралась выехать туда осенью. Раевский беспокоился лишь за младшего сына, одиннадцатилетнего Николеньку, решительно отказавшегося сидеть дома в такое время. Пришлось дать ему обещание взять летом к себе в корпус. Но куда же устроить мальчишку?.

– Я полагаю, папенька, что Николеньке лучше всего находиться при вашем штабе, – заметил при разговоре Александр.

– Так-то оно так, – вздохнул Николай Николаевич, – да ведь не усидит спокойно… Горячи вы оба!

– За меня не беспокойтесь, я без надобности под огонь не полезу, – отозвался с какой-то суховатостью в голосе Александр. – Мне молодым умирать никак не улыбается!

Раевский внимательно посмотрел на сына, прищурился:

– А ежели надобность будет… под огонь-то? Тогда как?

Александр взгляд отца выдержал, ответил твердо:

– Тогда другое дело… Долг и честь прежде всего… Я сын генерала Раевского.

Николай Николаевич ласково привлек его к себе, поцеловал в голову.

– Иного и не ожидаю никогда от детей своих слышать… Спасибо, Саша!

Щеки Александра зарумянились. Глаза просияли.

… До местечка Вельцы, где располагались тогда войска седьмого корпуса, оставалось несколько верст. Дорога, обогнув небольшую березовую рощу, стала подниматься на изволок.

Неожиданно вдали показался всадник. Он скакал навстречу.

– Что такое? Уж не случилось ли что-нибудь в корпусе? – вслух сказал Раевский, заранее известивший штаб о своем прибытии. – По посадке видно, что офицер гусарский.

Всадник приблизился. Вглядевшись, Раевский воскликнул:

– Да ведь это Денис Давыдов! Вот оказия!

Коляска остановилась. Денис, поплотневший за последнее время, с округлившимся, бронзовым от загара лицом, на всем скаку осадил коня, молодецки соскочил на землю.

– Ты куда же галопируешь? – обнимая его, спросил Раевский.

– Встречаю ваше превосходительство, – блестя веселыми глазами, отозвался Денис. – Пользуюсь счастливым случаем поздравить дорогого генерала и Сашеньку с благополучным прибытием. А случай весьма ординарный. Князь Багратион, прибывший вчера из Вильно, просит безотлагательно пожаловать к нему завтра на совет в главную квартиру…

– Как себя князь Петр Иванович чувствует?

– Сердит и громоподобен! Военного министра ругает… А пуще того господину Пфулю достается, составителю глупейшего, смеху достойного, плана…

Николай Николаевич слегка поморщился, перебил:

– Смех-то сквозь слезы, братец… Расхлебывать Пфулеву кашицу нам придется!

Саша, хороший наездник, понимавший толк в лошадях, завистливо поглядывал на дорогую, недавно приобретенную Денисом английскую рыжую кобылу, нетерпеливо перебиравшую ногами. Раевский, обратившись к сыну, предложил:

– Ты погарцуй пока, Саша, ежели охота есть… А мы с Денисом Васильевичем в коляске потолкуем… Да и поехали, чтоб даром времени не терять!

Александр согласился. Переместились. Тронулись.

Денис, давно не видевший Николая Николаевича, очень обрадовался откровенной, как всегда, беседе с ним. К тому же необходимо было посоветоваться об одном важном деле.

Понимая, какая страшная опасность угрожает отечеству, Денис твердо решил предстоящую кампанию служить во фронте, поступить в армейский кавалерийский полк, добиться затем разрешения начальства на создание отдельного отряда для поисков в тылу противника. Обладавший известным опытом, Денис полагал, что, получив хотя бы небольшой отряд, сможет причинить много вреда неприятельской армии. Но как осуществить это намерение? Состоя в адъютантах при князе Багратионе, он продолжал числиться в гвардии. Добровольный перевод гвардейца в армейский полк представлялся случаем

исключительным. Обычно такой перевод производился по указанию императора в качестве наказания, как оно и случилось когда-то с ним. Разрешить добровольное оставление гвардии не мог даже командующий армией. Надлежало ходатайствовать об этом перед самим императором, однако, зная о его неприязни к себе, Денис совершенно справедливо полагал, что любое ходатайство будет отклонено. Характер императора достаточно всем известен. Он обязательно усмотрит в ходатайстве неугодного лица что-то подозрительное и поступит наперекор даже здравому смыслу. Да и какие же причины можно выставить для объяснения своего желания поступить в армейский полк? Столь любезные императору прусские военные доктрины исключали возможность какой бы то ни было самостоятельности, инициативности офицеров и солдат.

Денис все же попробовал вчерне написать прошение. Ссылаясь на морунгенское дело, на действия платовских отрядов, на собственный опыт при набеге на остров Карлое и другие примеры, он весьма убедительно доказывал пользу такого рода деятельности. И все-таки послать прошение не решился. Отказ императора мог сразу и окончательно пресечь все надежды. Посоветоваться же, как на грех, было не с кем. Ермолов, недавно назначенный командиром гвардейской дивизии, находился в первой армии. Там же был и Левушка, состоявший в адъютантах у генерала Бахметьева. Кульнев служил в корпусе Витгенштейна. А кавалергардский полк, где по-прежнему оставался Евдоким, не выходил еще из Петербурга. Следовало, конечно, обратиться к Багратиону, в добром отношении и поддержке которого Денис не сомневался. Но, во-первых, князь последнее время был в Петербурге, а затем в Вильно; во-вторых, сначала хотелось поговорить с кем-нибудь из родных и близких… Вот почему Раевского Денис ожидал особенно нетерпеливо.

Внимательно его выслушав, Николай Николаевич задумался. Дело было сложное. Не так-то просто преодолеть препятствия, созданные существовавшей тогда системой.

– Задача нелегкая, что и говорить, – подтвердил Раевский. – Надеяться на благосклонность государя тебе, конечно, нельзя… И мотивы для прошения у тебя более чем неподходящие… Государь терпеть не может волонтерства и самостоятельных действий.

– Неужели отказаться от мысли, осуществление коей, без сомнения, принесет пользу отечеству? – сказал, горячась, Денис.

– Отказываются от хороших мыслей, голубчик Денис, слабые духом люди, – спокойно ответил Раевский. – Я сделал лишь общие замечания. А теперь попробуем разобраться благоразумно, что же можно предпринять. Прежде всего скажи, в какой полк

желаешь определиться.

– Я имел в виду просить о службе в Ахтырском гусарском, находящемся в корпусе вашем.

– Отлично, не возражаю, – согласился Раевский. – Там, кстати, вакантная должность командира батальона имеется… Но как же осуществить перевод? Прошение, разумеется, писать придется, но самому тебе, на мой взгляд, делать этого не следует. Лучше всего, чтоб послал ходатайство князь Петр Иванович. Притом ни о каких дальнейших твоих намерениях сообщать не надо. Пойми раз навсегда. Это мотивы не для разрешения, а для верного отказа.

– Соглашаюсь с вами. Однако какие-то причины так или иначе указать необходимо?

– Ты просишься в Ахтырский гусарский полк как боевой, опытный офицер, желающий служить в строю. Ничего более. А дальше будет видно. Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать, – добавил Раевский по-французски.

– Сомнительно все же, чтобы государь даже это разрешил, почтеннейший Николай Николаевич, – вздохнул Денис. – Вам известно его отношение ко мне…

Раевский опять задумался.

– Гм… Я, правда, не совсем уверен, – медленно произнес он, – но склонен думать, что при теперешних обстоятельствах, пожалуй, можно будет обойтись и без государя.

– Как? Каким образом? – оживился Денис.

– Небольшой обходный маневр, – улыбнулся Раевский. – Попроси князя Петра Ивановича, чтобы ходатайство о твоем переводе в Ахтырский полк он написал на имя военного министра. Я Михаилу Богдановича достаточно знаю. Он умен и тонок, а посему не пожелает подавать лишний повод для неудовольствия со стороны Багратиона и будет склоняться просьбу его уважить.

– Опять сомнительно, – заметил Денис, – чтоб военный министр взял на себя разрешение вопроса о выходе из гвардии.

– Знаю, знаю. Слушай дальше! – продолжал Раевский. – . Государь, насколько известно, в Вильно еще не приезжал, зато там обретается начальствующий над всей гвардией великий князь Константин Павлович. И ежели он, по просьбе Ермолова, коему оказывает благоволение, скажет Барклаю, что ничего против твоего перевода не имеет… Догадываешься теперь?

– Быть вашему превосходительству в дипломатах! – воскликнул сразу повеселевший Денис. – План блистательный! В успехе не сомневаюсь!

– Радоваться-то, положим, рановато… Как еще удастся! Да

что князь Петр Иванович скажет!

– Подобного рода просьбы, как моя, у него всегда сочувствие находят, – уверенно отозвался Денис. – Душевно благодарствую за помощь и совет, почтеннейший Николай Николаевич.

Князю Багратиону давно уже было известно стремление Дениса к самостоятельным действиям. Догадаться, с какими целями добивается адъютант перевода в Ахтырский полк, не представляло труда.

– Что? По вольной волюшке соскучился? – спросил, усмехнувшись, Багратион.

Денису пришлось признаться. Горячие доводы его были дельны. Мысль о возможности создания из армейских войсковых частей отдельных отрядов князя заинтересовала. В настоящее время, конечно, об этом нельзя и заикаться, а в дальнейшем, смотря по обстоятельствам, можно будет попробовать создать такой отряд. Понравилась и уверенность, с какою Денис готов был взяться за дело. Да и то обстоятельство, что он добровольно решил снять гвардейский мундир, свидетельствовало о чистых помыслах и искренних убеждениях. Ведь на возврат в гвардию ему нечего надеяться!

– Желание твое похвально, душа моя, – мягко сказал Багратион, – но подумал ли ты о последствиях сего поступка?

– Подумал, ваше сиятельство! Перевод в полк армейский лишает меня преимуществ гвардейского офицера, зато позволяет надеяться на другие…

– На какие же?

– Встретить прежде других дерзкого неприятеля на бранном поле и, ежели в дальнейшем представится случай, оказать отечеству более отличные услуги… Поверьте, князь, я бы не осмелился утруждать вас своей просьбой, если б не надеялся с большей пользой проявить свои способности там, чем здесь.

– Хорошо, – сказал Багратион, – я сегодня же, как ты просишь, сообщу военному министру… Можешь и впредь полагаться на полное мое содействие.

В ту же ночь князь собственноручно написал Барклаю следующее:

«Адъютант мой, лейб-гвардии гусарского полка ротмистр Давыдов, желая предстоящую кампанию служить во фронте, чтобы с тем вместе встретить новые случаи оказать военные способности свои, просит о переводе в Ахтырский гусарский полк. Уважив его желание, основанное на толико похвальном намерении и готовности оправдать его самим делом и за неимением способов содержать себя в корпусе гвардии по весьма небогатому состоянию, покорнейше прошу вашего

превосходительства испросить на перемещение Давыдова в Ахтырский гусарский полк высочайшее соизволение. При сем случае, вменяя в обязанность свидетельствовать о достоинствах офицера сего, служившего несколько кампаний при мне и при других начальниках с отличной честью, я покорнейше прошу вашего высокопревосходительства довести до сведения его императорского величества признательность мою к отличным заслугам Давыдова и, исходатайствовав высокомонаршее воззрение на Службу его при перемещении в полк, испросить старшинства настоящего чина»[21].

Дальше все произошло так, как предполагал Раевский.

Военный министр находился в Вильно, где располагался штаб первой армии. Денис отправился туда с письмом князя сам. Он решил не вручать письма до тех пор, пока не повидается с Ермоловым, дивизия которого стояла в окрестностях города.

Алексея Петровича застал поздно вечером в небольшом загородном помещичьем доме. Ермолов сидел за столом, заваленным бумагами, и беседовал с незнакомым худощавым, скромным по виду, армейским подполковником.

– Вся надежда на вас, Алексей Петрович, – говорил подполковник, – вы меня знаете… Я не из-за личной выгоды стараюсь, мне интересы отечественные дороги…

– Верю, верю, голубчик, все, что будет в моих силах, сделаю, – обещал Ермолов. – Ежели военный министр не решит дела по справедливости, то постараюсь доложить государю…

Офицер откланялся, ушел. Оставшись вдвоем с Денисом, Ермолов пояснил:

– Вот тебе опять случай для размышления! Офицер сей, Кабанов, имея большие познания в артиллерийском деле, устроил год назад новые прицелы к орудиям. Я сам их испытывал и свидетельство дал, что кабановские прицелы во всем превосходят английские и немецкие, принятые у нас до сей поры… А наши эксперты – немцы отдали предпочтение Фицтуму, прицелы коего никакого интереса не представляют… Почему же, спрашивается? Да потому, во-первых, что сей Фицтум их собрат, а во-вторых, приходится родственником господину военному министру.

– Неужели Михаил Богданович способен на поступки в ущерб делу?

– Да ведь все они, иностранцы, одним мирром мазаны, друг друга тянут, – сердито отозвался Ермолов. – Ну, да там видно будет. Рассказывай про себя.

Давыдов подробно изложил свое дело. Алексей Петрович, как и ожидал Денис, от помощи не отказался.

– Вовремя ты приехал, – заметил он, выслушав Дениса. – Через две недели ожидают государя, тогда, пожалуй, поздно будет. При нем ни военный министр, ни великий князь самостоятельно решать твое дело не согласятся. А теперь попробуем. Завтра же с его высочеством поговорю.

Бездарный, вздорный и трусливый великий князь Константин Павлович, будучи смертельно напуган убийством отца, старался всеми силами снискать себе популярность в гвардейской среде. Таких смелых в суждениях и острых на язык людей, как Ермолов, великий князь побаивался и держался с ними предупредительно и любезно.

Алексею Петровичу, хотя не без труда, согласие на перевод Дениса из гвардии получить удалось. Барклай подписал приказ.

8 апреля 1812 года Денис Давыдов, произведенный в подполковники, стал командиром первого батальона Ахтырского гусарского полка.

II

Прошло два месяца. Наступили июньские жаркие дни. Неприятельские войска безостановочно мощными колоннами двигались к русским границам.

Наполеон был совершенно уверен в победе. Будучи в Дрездене, он заявил:

– Я иду на Москву и в одно или в два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию…

Основные силы французов под начальством Наполеона сосредоточивались близ Ковно. Они должны были наступать на Витебск – Смоленск – Москву. Южнее, у Мариамполя и Кальвари, стояла восьмидесятитысячная армия под командованием Евгения Богарнэ, пасынка Наполеона. Эти войска обязывались содействовать разобщению русских армий. У Новограда и Пултуска находилось семьдесят пять тысяч войск под начальством брата императора Иеронима Бонапарта. Ему было приказано действовать против второй русской армии, державшей фронт на протяжении ста верст, между Лидой и Волковыском, где помещалась главная квартира Багратиона.

11 июня, вечером, триста французских солдат высадились на русский берег Немана, у местечка Понемунь, близ Ковно. Казаки, несшие пограничную охрану, открыли стрельбу. Французы, оттеснив казаков, начали наводить понтонные мосты через реку.

Утром следующего дня неприятельские войска ступили на русскую землю.

… В Ахтырском полку, стоявшем в местечке Заблудово, недалеко от Белостока, никто не сомневался, что военные действия неизбежны. Ахтырцы имели тесную связь с казаками Платова, прикрывавшими стык между первой и второй армиями. Казаки были хорошими разведчиками. Они давно уже доносили, что неприятельские разъезды открыто появляются на левом берегу Немана, что французы подвозят к реке баржи и лесные материалы, ищут удобных мест для переправы.

И все же весть о вторжении неприятеля поразила всех, как громом. Денису момент этот навсегда запомнился. Ночь была тихая, теплая, лунная. Ахтырцы, производившие по распоряжению Багратиона ежедневные усиленные занятия и маневры, разбили палатки на опушке леса. Офицеры первого батальона, как обычно, собрались у костра. Они за короткий срок сумели по достоинству оценить и боевой опыт, и неиссякаемую энергию своего молодого батальонного командира. Привлекал Денис всех и своей поэтической славой, и товарищеской непринужденностью, и остроумием.

В особенности крепко подружились с Денисом братья Бедряги и молоденький поручик Дмитрий Бекетов.

Бедряги славились в полку как примерные и храбрые офицеры. Их было трое. Старший, высокий, полный, всегда спокойный ротмистр Михаил Григорьевич, ровесник Дениса, командовал первым эскадроном. Второй, штаб-ротмистр Николай Григорьевич, похожий по внешности на брата, но отличавшийся горячностью, командовал вторым эскадроном. Самый младший, Сергей, недавно произведенный в подпоручики, находился при старшем брате.

Бедряги происходили из мелкопоместных дворян Воронежской губернии. Отец их, отставной генерал-майор Григорий Васильевич Бедряга, проживавший на Дону, в родовом поместье Белогорье, некогда служил в суворовских войсках, принадлежал к патриотически настроенным военным, не мирившимся с аракчеевскими порядками. Бедряги учились в кадетских корпусах. Взгляды Дениса на преимущества суворовской военной науки разделяли полностью.

Двадцатилетний поручик Дмитрий Алексеевич Бекетов, из пензенских дворян, воспитание получил домашнее. Среднего роста, ясноглазый, с девически румяным лицом и припухлыми губами, Митенька Бекетов, как называли его товарищи, был юноша неглупый, весьма начитанный, но совсем неопытный в делах военных и житейских. Суворов с детских лет был его кумиром. Бекетов мечтал о военных приключениях, предстоящих боевых действий ожидал с лихорадочной нетерпеливостью.

Дениса он просто-напросто обожал, старался во всем ему подражать.

В эту памятную ночь, сидя у костра, попивая пунш и покуривая трубку, Денис с увлечением рассказывал новым своим друзьям о том, какой интересной представляется ему самостоятельная деятельность кавалерийских отрядов.

Не дослушав, Бекетов с юношеской восторженностью воскликнул:

– Денис Васильевич, милый, меня в отряд возьмите! Я верю, что это замечательное дело! Я с вами куда угодно согласен!

Денис, тронутый сердечным порывом поручика, ответил серьезно:

– Непременно возьму, Митенька, если начальство особый отряд мне создать дозволит.

– Что весьма сомнительно, – вставил Михаил Бедряга, – ибо самостоятельные действия нарушают общие правила, принятые во всех армиях.

– Во всяких правилах бывают исключения, – возразил Николай Бедряга. – При защите отечества важен каждый новый способ истребления неприятельских сил и средств.

– Нам-то всем, я думаю, истина сия понятна, – опять спокойно отозвался старший брат. – А попробуй начальство убедить. У нас, как всем известно, пуще огня всяких этих новых способов боятся.

– Однако ж польза подобных действий столь очевидна…

– Подумай сначала! Кто в штабе-то военного министра сидит? Пфуль, Вольцоген, Армфельд, Опперман…

Завязался оживленный спор. Денис знал, как нелегко пробить стену недоверия, создаваемую штабными господами всякий раз, когда дело выходит за рамки уставов, но все же надеялся, что своего в конце концов добьется. Вмешавшись в спор, сказал с чувством:

– Не все же начальство из одного теста, господа! Люди сухой души и тяжкого рассудка, мечтающие искоренить в войсках живой дух и снова напялить на нас кафтаны прусские, со мною, конечно, никогда не согласятся. Но в армии российской, слава богу, есть и такие начальники, как Кутузов, Багратион, Кульнев, Раевский… И сколько еще верных суворовским заветам командиров, в сердцах коих постоянно звенит струна отечественная, струна русская! Я знаю, где следует мне искать сочувствия. И верю, что в надлежащий час найду его!

На офицеров короткая эта речь произвела большое впечатление. Они выразили шумное одобрение.

– Славно сказано, Денис Васильевич!

– Да и не век над нами немцам главенствовать!

– Звенят струны русские, трещат кафтаны прусские!

– Здоровье суворовских командиров, господа!

Бекетов, знавший наизусть все гусарские стихи Дениса, подняв стакан, продекламировал:

Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно.
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят…

Неожиданно у костра, словно из-под земли, появился огромный рябой и вихрастый вахмистр Колядка.

– Урядник Крючков до вашего высокоблагородия, – обратился вахмистр к Давыдову.

– Где же он? Давай сюда скорей!

Урядник Иван Данилович Крючков, из Донского казачьего полка Иловайского, был старый приятель. Это с ним пять лет назад при Вольфсдорфе атаковал Денис французских фланкеров. Несколько месяцев назад в станице Семикаракорской, на родине Крючкова, произошел пожар. Семья его, потеряв имущество, оказалась в тяжелом положении. Случайно встретив урядника и узнав о его беде, Денис спросил:

– Сколько же тебе денег-то на постройку нужно?

– Страшно вымолвить, ваше высокоблагородие, – вздохнул казак. – Не меньше как полтораста рублев… Будь я дома, может, и обмозговал бы чего, а теперь.., где их одалживать-то?

Денис жил только на жалованье: оторвать от себя такую сумму было нелегко. Но как отказать в помощи человеку, которому в какой-то степени обязан боевым крещением? Денис, не раздумывая, отсчитал деньги. Крючков, тронутый до глубины души, стал самым преданным ему человеком. Полк Иловайского стоял сравнительно недалеко от ахтырцев, близ Гродно. Крючков, отличавшийся неутомимостью и редкой сметливостью, постоянно находился в разведке, бывал даже на той стороне Немана. Ахтырцы во время дальних рекогносцировок не раз пользовались его услугами. И Денис сам просил урядника, чтобы он, если будут какие интересные, важные сведения, уведомил его. Поэтому появление Крючкова в ночное время сразу насторожило.

– Ты с чем пожаловал, Данилыч? – нетерпеливо спросил Денис, поднявшись навстречу уряднику.

Крючков, видимо утомленный долгой дорогой, весь покрытый пылью, тяжело передохнув, ответил кратко:

– Хранцы в Расеи, ваше высокоблагородие…

Денис отшатнулся, словно его ударили в грудь. Как ни готовил себя к мысли о вторжении неприятеля, а все же весть эта показалась неожиданной и страшной: Денис побледнел, задохнулся от волнения.

– Как? Французы перешли Неман?

– Вчера ночью под городом Ковно переправу начали, – ответил Крючков. – А нынче в больших силах, не встречая сопротивления, по виленским дорогам двигаются… Будто черная туча ползет, ваше высокоблагородие! От пылищи свету белого не видно!

Офицеры с взволнованными лицами окружили казака. Крючков, ездивший с донесением к Багратиону, а на обратном пути завернувший сюда, чтобы сообщить новость, отвечал на вопросы обстоятельно, толково. Сомнений ни у кого не осталось. Война началась.

До сих пор при каждом известии о военных действиях Денис ощущал в себе радостное возбуждение, подогреваемое надеждами честолюбия, желая лишь одного – поскорее попасть на поле брани. Ни о чем другом он не думал. Войны, в которых приходилось участвовать, велись где-то далеко, на чужой земле, и серьезных опасений за судьбу отечества не внушали.

Теперь дело обстояло иначе. Полчища величайшего завоевателя топтали родную землю… Щемящее, тревожное чувство овладело всеми. Даже Митенька Бекетов, более других ожидавший войны, казался растерянным. Войска Наполеона в России! Двигаются, не встречая сопротивления! Все понимали, что скрывается за этими фразами, какая угроза нависла над родиной.

Крючков заметил мрачное настроение Дениса и, прощаясь, сказал:

– Вы не извольте только сумлеваться, ваше высокоблагородие… Войска у хранца много, да и мы не слабы. Всем, даст бог, головы свернем!

Денис, занятый своими мыслями, ничего не ответил. Крючков уехал.

А короткая летняя ночь кончалась. Небо быстро светлело, на восточной стороне все шире и шире расплывалась заря. Из лесу потянуло предутренней прохладой, остро пахнуло ландышем. Не умолкая, заливались, щелкали соловьи. И над речкой, что вилась серебристой лентой среди зеленых лугов, поднимался легкий парок.

Денису показалось, что никогда в жизни он еще не видел такого чудесного утра. Поэтическая душа его была тронута.

– Посмотрите, господа, как чудесна наша земля! – тихо и

взволнованно сказал он, обращаясь к товарищам. – Разве не чудовищно, что ее хотят осквернить иноплеменники? Нет, клянусь честью, – воскликнул он, – противник дорого заплатит нам за это! Враг превосходит нас числом, но кто и когда превосходил нас в священной ненависти к поработителям отчизны? Вот отныне наше главное оружие, господа!

… В главную квартиру второй армии примчался на другой день Матвей Иванович Платов. Под его командой находился так называемый «летучий корпус», состоявший из восьми казачьих и четырех башкирских конных полков. Платовцы, причисленные к первой армии, стояли у Гродно. Быстрое наступление французов на Вильно разобщило первую и вторую русские армии. Создалось положение, позволяющее Матвею Ивановичу самостоятельно решать вопрос: пробиваться ли к Барклаю, или присоединиться к Багратиону? Платов избрал последнее. Военного министра он не любил. Поспешного отступления первой армии без боя не одобрял.

– Куда же нам за министром угнаться? – не скрывая насмешки, сказал он при свидании с Багратионом. – Да и на кой черт я ему нужен? В методике его ничего не смыслю, немцев не почитаю, мужик темный, необразованный. Смущение одно!

– Ты сперва подумай хорошенько, ладно ли будет, – перебил Багратион. – Я тебя с великой радостью под начальство возьму, обо мне толку нет, да как на это министр посмотрит?

– По всем правилам действую, ваше сиятельство, не сомневайтесь, – отозвался Платов. – Вон генерал Дорохов с тремя полками тоже от первой армии отстал… Попробовал пробиться к своим, да чуть в полон не попал: спасибо, мои казаки отбили…

– Где же Дорохов-то сейчас?

– Под свою команду, как старший в чине, принял его. Куда же ему деваться, ежели такой случай? Винить более министра следует, что нас где попало растыкал, а сам без оглядки побежал…

Багратион взглянул на атамана, усмехнулся:

– Что верно, то верно! Сам еле дышу от досады и огорчения. Ну что ж, принимай над арьергардом начальство, Матвей Иванович. Прибавлю тебе артиллерию, киевских драгун и ахтырских гусар, а коли нужно, и всю кавалерию отдам… Скрывать не стану: положение тяжелое! Нынче от самого государя приказание получил, чтоб идти на соединение с Барклаем, а маршрут столь глупый предписан, того и гляди всю армию погубишь. Приходится на самого себя полагаться. Отступать будем с боями, по-суворовски. Всюду, где возможно, подольше неприятеля задерживать, силу его и обозы уничтожать…

– Вот это методика нашенская! – воскликнул повеселевший атаман, – На то и надеялся, Петр Иванович, что казакам моим при армии вашей раздолья больше будет… Ан и не ошибся. Спасибо! Утешил старика!

III

Вторая армия продвигалась в минском направлении, Однако едва передовые части успели переправиться через Неман, как Багратион получил известие, что войска маршала Даву приближаются к Минску. А в тылу появились неприятельские разъезды, настигали войска Иеронима Бонапарта. Маленькая армия Багратиона оказалась в кольце; оно быстро сжималось.

План окружения и уничтожения второй армии был разработан самим Наполеоном. Брат его Иероним, король Вестфальский, имея войск в два раза больше, чем Багратион, не смог вполне самостоятельно решить задачу. Он не обладал военным дарованием, медлил, допускал непростительные ошибки. Доверить ему одному действия против талантливого русского генерала было рискованно.

Будучи в Вильно, Наполеон вызвал лучшего своего полководца маршала Даву.

– Король Вестфальский не оправдывает моих надежд, он не исполнил ничего из того, что ему было приказано, – не скрывая раздражения, сказал император. – Допустить соединение русских армий ни в коем случае нельзя. Вам ясно? Возьмите на себя Багратиона… Это достойный во всех отношениях противник вашей доблести. Правая рука старика Суворова…

– Я имел честь убедиться в его разумных действиях в Пруссии, – медленно проговорил Даву. – Князь Багратион храбр, но горяч…

– Следовательно, можно надеяться, – перебил Наполеон, – что вы сумеете навязать ему сражение… Посмотрите, маршал, – указал он на разложенную перед ним карту, – как благоприятствуют вам условия… Ваш корпус немедленно занимает Минск. Дороги перерезаются. Войска короля Вестфальского теснят противника с тыла и фланга. Здесь леса, болота… Багратион вынужден будет капитулировать или погибнуть. В его армии четыре или пять дивизий, не больше. Вы располагаете по крайней мере втрое превосходящими силами.

– Я могу отвечать лишь за действия своего корпуса, ваше величество, – вставил маршал. – Войска короля Вестфальского…

– Я подчиняю их вашему начальству, – опять перебил Наполеон. – Прикажите моим именем его величеству исполнять

все ваши приказания. Впрочем, я напишу ему сам. Корпус Понятовского тоже будет находиться под вашим распоряжением… Ну, что вы скажете?

– Ваше повеление будет выполнено, государь, – слегка наклонил свою лысую голову маршал.

– Отлично! Я не сомневаюсь в успехе, когда за дело принимаетесь вы!

А через несколько дней, узнав, что Даву занял Минск, император торжественно объявил приближенным:

– Багратион у меня в руках! Он никогда уже более не увидится с Барклаем!

Но торжествовал он преждевременно. Багратион, искусно маневрируя, вывел армию из окружения, повернул на юго-восток.

… Стояла страшная жара. Порой собирались грозы, обрушивались ливни. Русские войска шли днем и ночью, пробираясь сквозь лесные трущобы и топи Полесья. Тучи комаров и москитов изнуряли людей. Неприятельская кавалерия следовала по пятам. Ахтырцы и казаки, сдерживая натиск, имели ежедневные сшибки с французами.

Багратион, как обычно, находился среди изнемогавших от усталости солдат, всячески их ободрял.

– Тридцать лет, как я всегда с вами, а вы со мною, – говорил он. – Вспомним суворовские марши! Потяжелей нам приходилось, а видел ли кто солдата унылого?

И войска отзывались на слова любимого командира с необыкновенной теплотой:

– Не было таких и теперь не будет, ваше сиятельство! Выдюжим! Не бойся!

Вскоре, однако, сам Багратион почувствовал необходимость остановки. Надо подтянуть отставшие обозы, дать людям хотя бы краткий отдых.

26 июня войска пришли в Несвиж. Арьергард Платова расположился несколько позади, у местечка Мир. Поздно вечером к ахтырцам, стоявшим в лесу, за Миром, заехал сам Матвей Иванович. Собрал командиров, объявил:

– Князь приказал на два дня задержать супостатов… Дело предстоит жаркое! Начнем с казацкого вентеря, сиречь засады… Вас, господа, прошу до поры до времени полк надежно укрыть. Без моего приказа ничего не предпринимать.

Вентерь, один из самых излюбленных военных приемов донских казаков, заключался в особом способе заманивания противника. Денис, достаточно изучивший казацкие хитрости, вентерем всегда увлекался как интересной, захватывающей игрой. Поэтому с раннего утра он избрал удобное место на опушке леса,

вооружился подзорной трубой и стал наблюдать за тем, что произойдет. Вместе с ним находился сгоравший от любопытства Митенька Бекетов, ни разу не видевший вентеря. Поручик забрался даже на дерево, чтобы лучше все рассмотреть, хотя и без того широкая песчаная дорога из Мира на Новогрудок, откуда ожидались французы, была видна как на ладони.

По этой дороге навстречу противнику Платов послал отборную казачью сотню. Несколько других сотен было укрыто почти у самого местечка Мир, за которым раскинулось небольшое поле, окруженное с двух сторон лесами, где скрывалась вся платовская кавалерия.

Прошло некоторое время. Вдали заклубилась пыль. Показались передовые кавалерийские части неприятельского авангарда. Впереди шел третий уланский полк бригады генерала Турно. Казаки в рассыпном строю, приблизившись к уланам, погарцевали перед ними, затем сгрудились, сделали несколько выстрелов. Эскадрон улан, отделившись от полка, двинулся на казаков. Те, стараясь всячески втравить в игру неприятеля, произвели еще несколько выстрелов, затем повернули на Мир. Уланы прибавили рыси. Казаки «не выдержали» натиска, стали «панически» отступать, преследуемые разгорячившимися уланами. Вот уже казаки, потерявшие от «испуга» всякий порядок, влетают в местечко, скачут по улице… Уланы настигают – все ближе, ближе… И вдруг, выйдя в поле, казачья сотня с молниеносной быстротой рассеялась в разные стороны. Уланы оторопели от неожиданности. В это время из лесу выскочили казачьи сотни Сысоева. Началась жестокая сеча.

Генерал Турно, оценив обстановку, послал на выручку эскадрона целый полк. Казаки только этого и ждали. Как только уланы прошли местечко, из засад вылетели свежие казачьи части. Полк окружили, смяли.

Поле, где происходил бой, находилось невдалеке от стоянки ахтырцев. Бекетов, захваченный зрелищем, воскликнул:

– Денис Васильевич! Вот бы нам сейчас ударить! Ей-богу, ни один улан не ушел бы!

Дениса и самого подмывало ввязаться в бой. Да нельзя – приказ! Он давно уже научился управлять своими желаниями и чувствами, был теперь достаточно дисциплинирован, опытен, чтобы не поддаться искушению.

– Когда будет нужно – прикажут! Хочешь стать хорошим командиром, научись, брат, прежде подчиняться, – произнес он наставительным тоном, припоминая один из суворовских советов.

Между тем уланы, видя, что попали в ловушку, беспорядочно повернули обратно. Вслед за ними помчались казаки во главе с

самим Платовым.

Генерал Турно выдвинул еще два кавалерийских полка, но они не выдержали грозной казацкой лавы. Платов загнал их в болото, находившееся в семи верстах от Мира. Тысячи улан погибли. Бригада Турно была разгромлена наголову. Вечером Платов доносил Багратиону:

«Пленных много, за скоростью не успел перечесть. Есть Штаб-офицеры и обер-офицеры. На первый раз имею долг и с сим, ваше сиятельство, поздравить. Вентерь много способствовал, от того и начало пошло».

На следующий день командующий неприятельским авангардом генерал Латур-Мобур повторил нападение более значительными силами. На Мир двинулась кавалерийская дивизия Рожнецкого, усиленная легкой артиллерией. Платов попробовал повторить вентерь, но из этого ничего не вышло. Ксендз местечка услужливо предупредил генерала Рожнецкого о казацкой засаде.

Дивизия наступала осторожно. Пройдя Мир, не встречая сопротивления, остановилась у деревни Симаково. Рожнецкий приказал седьмому уланскому полку разведать лес. Но углубляться в лес уланы побоялись: пошарив у опушки, они устроили привал. Спешились, стали поить коней в небольшой протекавшей неподалеку речке.

Ахтырцы в боевой готовности стояли поблизости. Денис получил приказ атаковать неприятельский полк. Уланы внезапного нападения не ожидали. Многие из них не успели сесть на коней, как очутились под саблями ахтырцев.

Денис врубился в самую гущу противника… Обычное боевое возбуждение сменилось у него каким-то ожесточением. Сабля в его короткой сильной руке, со свистом рассекая воздух, поражала врага направо и налево. Он видел полные смертельного страха глаза улан, слышал стоны, просьбы о пощаде… Прежде подобная картина сжимала сердце, невольно ослабляла удар. Теперь ничто не трогало! Эти чужеземцы осквернили родную землю… Черт ли звал их в гости? Пусть пеняют на себя!

– Руби их в пéси! Круши, хузары! – кричал он, припоминая некогда слышанный боевой клич полковника Юрковского.

Уланы под натиском ахтырцев не устояли, начали отступать. Рожнецкий послал на помощь остальные полки дивизии. Платов выдвинул из леса всю кавалерию. Завязался упорный, длительный бой. Лишь во второй половине дня, когда подоспел стоявший в стороне от Мира отряд казачьего полковника Кутейникова, определился исход сражения. Стремительная атака Кутейникова на левый фланг неприятельской дивизии вызвала общее

смятение. Рожнецкий отдал приказ об отступлении. Ахтырцы вместе с казаками до темноты продолжали преследовать разбитого противника.

Победа была полной. Багратион в приказе по армии объявил:

«Наконец неприятельские войска с нами встретились – генерал-от-кавалерии Платов гонит их и бьет… Господам начальникам войск вселить в солдат, что все войска неприятельские не иначе, как сволочь со всего света. Мы же – русские!»

* * *

Маршал Даву чувствовал себя скверно. Упустив под Минском русскую армию, он мог объяснить причины этой неудачи тем, что король Вестфальский плохо исполнял его приказания. Но чем объяснить дальнейшее? Король, получив нагоняй от императора, обиделся, отбыл из армии. Даву теперь самостоятельно распоряжался стотысячным войском. Никто не мешал осуществить замысел императора. И все же этот хитрец Багратион с поразительной, непостижимой ловкостью продолжал ускользать из рук! Да еще дважды – под Миром и Романовом – нанес сильнейшие удары французскому авангарду, разгромил добрый десяток превосходных кавалерийских полков!

Даву решил положить этому конец. Он точно знал, что армия Багратиона двигается к Могилеву. Вот где русские должны быть остановлены и уничтожены! Даву поспешил занять город, перебросил в него скрытно лучшие дивизии, укрепил позиции. И с нетерпением стал ожидать предстоящей встречи.

9 июля вторая русская армия находилась от Могилева в каких-нибудь двадцати пяти верстах. Состояние армии было до крайности тяжелым.

«В условиях самого невыгоднейшего местоположения, – писал Багратион царю, – армия прошла шестьсот верст, имея на плечах неприятеля, с обозами, ранеными и пленными, что растягивало армию на пятьдесят верст. Одно непомерное желание в людях драться поддерживает их силы. Лошади приходят в изнурение. Не стали бы и люди изнемогать».

Но люди были русские. Багратион надеялся на свои войска. Он имел даже намерение, заняв Могилев, задержать здесь, насколько возможно, дальнейшее продвижение французов.

Узнав, что город занят, Багратион приказал Платову немедленно разведать, в каких силах неприятель. Казаки сначала донесли, что, по всей вероятности, в городе стоит лишь

небольшой гарнизон противника, так как особого движения войск на дорогах не замечается. Багратион решил прорваться через Могилев с боем. Он приказал корпусу Раевского сосредоточиться в районе Дашковки, затем выйти к деревне Салтановке, на южных подступах города.

Но вскоре Платов захватил несколько «языков» и добился от них более точных сведений.

11 июля, на рассвете, Багратион, ночевавший в пятнадцати верстах от Салтановки, получил тревожное донесение атамана. В Могилеве сам маршал Даву с несколькими укрытыми дивизиями, а на подходе остальные войска корпуса. Багратиону стал понятен неприятельский замысел. Даву хитрит, нарочно заманивает к городу, желая навязать сражение на выгодных для него позициях.

Сжав губы, Багратион склонился над картой, задумался. Положение создавалось опасное. У Даву под рукой не менее шестидесяти тысяч войск и в любую минуту обеспеченная помощь. Идти на Могилев никак нельзя: можно потерять армию. Это ясно. Но что же предпринять? Лучше всего было бы переправиться через Днепр южнее Могилева, выйти по Мстиславской дороге к Смоленску. Да ведь маршал Даву не чета какому-нибудь тупоголовому Иерониму Бонапарту. Начни обходное движение и переправу – Даву сейчас же всеми силами обрушится на утомленную и обремененную тяжестями армию.

Оставалась одна надежда на Раевского. Войска его стояли у Салтановки, лицом к лицу с неприятелем. Сражение должно завязаться с часу на час. Если б Николаю Николаевичу удалось продержаться под Салтановкой хотя бы два дня! На Раевского можно положиться, как на самого себя. Биться будет до последней возможности. Однако главная задача заключается в том, чтобы убедить маршала Даву, что вторая армия не имеет никаких иных намерений, как овладеть Могилевом. Только, в этом случае Даву придержит основные силы в городе, успокоится, будет заниматься укреплением избранных им самим позиций. Это обстоятельство облегчит и положение Раевского. А мы тем временем сумеем переправить армию.

По обветренному, коричневому от загара лицу Багратиона промелькнула неожиданная улыбка.

– Ах, как славно было бы оставить лысого черта Давушку в великих дураках! – вслух сказал он.

И сейчас же опять задумался. Представился вдруг маршал, каким видел его пять лет назад в Тильзите. Мрачный, подозрительный. Такого нелегко ввести в заблуждение. Правда, атака войск Раевского на салтановские позиции должна служить превосходным доказательством желания русских прорваться к

городу. Но этого мало! Необходимо собрать немедленно всех платовских казаков. Пусть гарцуют близ самых городских укреплений и производят суматоху. Еще лучше, если Платов переведет через реку несколько своих полков и появится у города с противоположной стороны.

План в голове Багратиона созрел быстро. Через час адъютанты и ординарцы скакали уже с его приказом в разных направлениях.

На Днепре, у Нового Быхова, застучали топоры. Саперы спешно наводили переправу.

Деревня Салтановка, расположенная на возвышенности, сплошь окружена густыми лесами. Французская пехота генералов Дессе и Компана, еще с вечера занявшая деревню, была надежно укрыта. Несколько замаскированных батарей, поставленных впереди, держали под огнем Дашковскую дорогу, которая, выйдя из леса, спускалась в овраг, пересекала плотину через широкий ручей, затем поднималась к Салтановке. Французы плотину разрушили, устроив в овраге всевозможные заграждения.

Войска Раевского, показавшиеся утром на Дашковской дороге, очутились сразу под сильным огнем. Раевский остановил войска, выдвинул вперед пушки. Гул орудийных залпов потряс воздух. Завязалась артиллерийская перестрелка.

Одновременно Раевский приказал одной из своих пехотных дивизий под командой генерал-майора Ивана Федоровича Паскевича обойти лесом дорогу, выйти к Салтановке, атаковать правый фланг противника.

Ахтырский гусарский полк следовал с этой дивизией, но вскоре вынужден был возвратиться обратно. Густой, дремучий лес сковывал движения и действия кавалерии. Ахтырцев поставили в резерв, позади пехоты.

Раевский со штабом находился на лесной просеке, откуда хорошо просматривалась вся окрестность. Николай Николаевич понимал, что неприятельские позиции почти неприступны. Он не знал еще, какие силы защищают Салтановку, но, судя по мощности неприятельского огня, догадывался, что там сосредоточено войск неизмеримо больше, чем предполагалось. Тем не менее Раевский со свойственным ему спокойствием хладнокровно и искусно исполнял порученное ему дело.

Прошел час, полтора. Неожиданно огонь противника заметно ослабел. Русские артиллеристы удачно накрыли две вражеские батареи. Пользуясь случаем, Раевский двинул к неприятельским позициям два полка егерей. Полки, перебравшись через овраг, достигли передних салтановских укреплений. Закипел штыковой бой. Раевский послал на помощь всю остальную пехоту. Однако

прорвать густые колонны французов, в три-четыре раза превосходящих силами, не удалось. Нанеся чувствительный урон противнику, русская пехота вынуждена была отступить. Последующие яростные атаки также успеха не имели. Раевский приказал остановить войска у плотины, перестроить.

Ахтырцы заняли место ушедшей в наступление пехоты и теперь стояли близ самого штаба. Денис с любопытством наблюдал за Раевским. Вороной белоногий конь генерала нетерпеливо водил ушами и похрапывал. Николай Николаевич неотрывно смотрел в подзорную трубу на плотину, ясно сознавая, что наступает самый ответственный момент сражения. Отбитые неприятелем атаки, несомненно, притушили наступательный порыв войск. Раевский видел, как медленно, словно нехотя, строились в ряды солдаты. Это был плохой признак! Но ни один мускул на лице Николая Николаевича не дрогнул. Спокойствие и выдержка генерала изумляли всех.

Денис перевел взгляд на штабных офицеров и адъютантов. Среди них сразу заметил младшего сына генерала Николеньку.

Мальчик неловко сидел на смирной гривастой казацкой лошади и восторженно глядел на отца.

В это время к Раевскому подскакал адъютант Паскевича, доложил:

– Нападение на правый фланг произведено успешно, смято несколько французских батальонов. Солдаты дерутся отважно, дважды ходили в штыки. Но противник беспрерывно усиливает давление, против дивизии скопилось уже не менее десяти тысяч французов. Генерал Паскевич ожидает ваших приказаний.

– Какие же могут быть приказания? – недовольным тоном произнес Раевский. – Я думаю, Ивану Федоровичу не хуже, чем мне, известно, что от нас требуется… Стоять на месте и драться. До последней крайности… Об отступлении помышлять рано.

И, отвернувшись от адъютанта, Раевский тронул поводья. Конь помчался к плотине. Штабные офицеры и Николенька последовали за генералом.

Заметив замешательство в русской пехоте, французы выдвинули несколько своих батальонов. Надо было, не теряя ни одной минуты, ударить в штыки. Войска же колебались. Спустившись в овраг, Раевский сразу это понял. Впереди других стоял Смоленский пехотный полк. Колыхалось на ветру тяжелое полковое знамя, близ которого находился старший сын генерала Александр. Неприятельский огонь усиливался. Солдаты толпились вокруг знамени. Старания офицеров построить ряды оказывались тщетными. Свинцовый град ежеминутно изменял положение.

Командир смоленцев, высокий и тучный полковник Михаил Николаевич Рылеев, поскакал навстречу Раевскому.

– Трудно в таком аду навести порядок, ваше превосходительство, – задыхаясь от жары и волнения, доложил он. – Боюсь, что полк не удастся поднять…

Раевский усталыми глазами скользнул по багровому, покрытому темными каплями пота лицу полковника. Молча, легко соскочил с лошади. Штабные офицеры последовали его примеру. Оглянувшись, Раевский поймал умоляющий взгляд Николеньки, махнул ему платком. Мальчик, спотыкаясь, радостно побежал к отцу. Николай Николаевич взял его за руку, спокойно солдатским шагом направился к смоленцам. Он был уже в нескольких шагах от передних рядов, как вдруг полковое знамя опустилось. Пуля сразила знаменосца. Александр Раевский быстро перехватил древко, и знамя всплыло вновь. Высоко подняв его над головой, Александр шагнул к отцу, занял место рядом.

Войска на мгновение словно замерли. Любимый всеми генерал бестрепетно шел к плотине под огнем неприятеля, не щадя ни себя, ни детей. Неизъяснимое чувство ужаса и восторга охватило офицеров и солдат.

– Вперед, ребята! – раздался звучный голос Раевского. – Я и сыновья мои идем с вами вместе… Вперед!

Войска в едином порыве неудержимо рванулись за генералом. Мощная лавина хлынула через плотину, все сметая и истребляя на своем пути. Французы напора не выдержали. Широкая Дашковская дорога да самой Салтановки густо покрылась трупами в синих чужеземных мундирах.

Хотя сражение при Салтановке и не дало как будто ощутительных результатов – французы к вечеру оставались на своих позициях, – однако в корпусе Раевского настроение было приподнятое. Впервые за эту войну линейные русские войска схватились грудью с французскими и, несмотря на их явное численное превосходство, устояли, нанесли огромный урон противнику, проявили полное бесстрашие. О подвиге генерала Раевского говорили всюду. Пример редкого героизма и самопожертвования воодушевил солдат и командиров.

Денис, наблюдавший из леса за битвой у салтановской плотины, отправился поздно вечером к Николаю Николаевичу, чтобы засвидетельствовать свое восхищение его подвигом.

Штаб корпуса расположился на ночлег в Дашковке. Раевский в простой полотняной рубашке сидел в крестьянской хате у стола, писал при свече донесение Багратиону.

Раевский хорошо знал, как родственно привязан к нему Денис, в искренности чувств его нисколько не сомневался, но

ничьих восторженных похвал не выносил и, слегка поморщившись, сказал:

– Право, мой друг, ты, кажется, чересчур преувеличиваешь значение моего поступка. По-моему, более достойно удивления общее усердие войск, спасших сегодня от конечной гибели всю нашу армию…

Дениса, не осведомленного еще о хитрости маршала Даву, последняя фраза удивила. Он спросил:

– Разве такая опасность нам угрожала?

– В этом-то все дело! – подтвердил Раевский. – Мы ошиблись расчетом. В Могилеве сам маршал Даву, собравший против нас весь свой корпус и ожидающий с часу на час прибытия новых дивизий…

– В таком случае, почтеннейший Николай Николаевич, мне думается, опасность не уменьшается, а увеличивается?

– Не беспокойся! Князь Петр Иванович принял надлежащие меры, чтоб не попасть в ловушку. Пока мы дрались у Салтановки, отвлекая внимание маршала, наша армия переправлялась через Днепр…

– Как? Значит… опять отступаем?

– Идем к Смоленску, на соединение с военным министром, – с невозмутимым спокойствием произнес Раевский. – Завтра мы и платовские казаки будем поддерживать заблуждение Даву, полагающего захватить нас под Могилевом, а ночью присоединимся к своим, и… вообрази, с каким носом останется искусный стратег Даву, узнав, что армия Багратиона снова из его западни ускользнула!

Денис вначале огорчился известием об отступлении, но, сообразив, какими обстоятельствами оно вызвано, и представив положение маршала Даву, невольно улыбнулся.

– Получается как в пословице… Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Не везет с нами маршалу, что и говорить!

– Да… И потому не везет, любезный Денис, что столкнулся он с войсками необыкновенными, для коих отечество дороже жизни… Вот послушай, как я князю Багратиону отписываю…

И Раевский, пододвинув свечу, прочитал:

– «Единая храбрость и усердие российских войск могли избавить меня от истребления толико превосходным неприятелем и в толико невыгодном для меня месте. Я сам свидетель, как многие штабобер– и унтер-офицеры, получа по две раны, перевязав оные, возвращались в сражение, как на пир; не могу довольно похвалить храбрость и искусство артиллеристов. В сей день все были герои!»

Дверь в горницу внезапно распахнулась. Вбежал

разрумянившийся, оживленный Николенька. Приветливо поздоровался с Денисом, подсел к отцу. Тот ласково погладил кудрявую голову мальчика, посмотрел на него с нескрываемой гордостью и неожиданно спросил:

– А ты знаешь, дружок, зачем я нынче водил тебя с собой в дело?

Николенька поднял на отца счастливые влажные глаза, ответил не задумываясь:

– Да, папа. Чтоб умереть вместе![22]

IV

Чем дальше продвигались в глубь России французские войска, тем все больше мрачнел Наполеон. Ни один из его как будто тщательно продуманных планов не осуществлялся. Разъединить и разбить по частям русские армии не удалось. Барклай не остановился в Дрисском лагере и не дал сражения под Витебском, как того желал французский император. Багратион дважды, словно мальчишку, обманул маршала Даву и привел свои войска к Смоленску, где первая и вторая армии соединились.

В кровопролитных столкновениях с русскими арьергардами французы, несмотря на превосходство в силах, нигде не добились решительного успеха. Русские солдаты дрались как львы. Русские генералы, по крайней мере такие, как Раевский, Дохтуров, Коновницын, Платов, оказались во многих случаях искусней прославленных французских маршалов.

И вообще эта военная кампания никак не походила на те, которые Наполеону приходилось вести прежде. Арман Коленкур, находившийся при императоре, записывал:

«Местных жителей не было видно; пленных не удавалось взять, отставших по пути не попадалось; шпионов мы не имели. Мы находились среди русских поселений, и тем не менее, если мне позволено будет воспользоваться этим сравнением, мы были подобны кораблю без компаса, затерявшемуся среди безбрежного океана, и не знали, что происходит вокруг нас… Через несколько дней после нашего прибытия в Витебск, чтобы раздобыть продовольствие, приходилось уже посылать лошадей за 10-12 лье от города. Оставшиеся жители все вооружились; нельзя было найти никаких транспортных средств. На поездки за продовольствием изводили лошадей, нуждавшихся в отдыхе; при этом и люди и лошади подвергались риску, ибо они могли быть захвачены казаками или перерезаны крестьянами, что частенько и случалось»[23].

Вот этот особый характер войны, заметно усиливавшееся сопротивление народа тревожили французского императора больше всего… Начиная вторжение в Россию, хорошо осведомленный о бедственном состоянии крепостного крестьянства, продолжавшего борьбу с помещиками, Наполеон никак не предполагал, что эти самые крестьяне в то же время так пламенно любят свою родину, что они согласятся скорее умереть, чем примириться с тем, чтобы чужеземцы топтали землю их предков. А дело обстояло именно так.

Правда, в первые дни войны среди некоторой части крестьянства распространился слух, будто Наполеон хочет освободить их от крепостной зависимости. Слух этот смертельно напугал царское правительство и крепостников-помещиков[24]. Однако пугаться им было нечего. Ведь Наполеон уже не был генералом Бонапартом, некогда командовавшим республиканскими войсками. Он был самодержцем, стремившимся упрочить монархическое правление, и не менее, чем крепостники-помещики, опасался революционных действий народа.

Опираясь в захваченных местностях на некоторую часть помещиков, не эвакуировавшихся в глубь России, Наполеон сразу и решительно встал на защиту их классовых интересов. Уже в начале июля население литовских городов и сел читало следующее объявление:

«Все крестьяне и вообще сельские жители обязаны повиноваться помещикам, владельцам и арендаторам имений или лицам, их заступающим. Обязаны ничем не нарушать собственности, исполнять все предписанные им работы и повинности, исполнявшиеся до сего времени».

И когда дворяне Витебской и Могилевской губерний обратились к Наполеону с просьбой защитить их от своих собственных крестьян, самочинно захвативших землю, император приказал немедленно создать карательные экспедиции для «подавления крестьянских бунтов против помещиков».

Карательные экспедиции, грабежи и насилия неприятельских войск, чинимые над мирным населением, лишь усиливали его лютую ненависть к чужеземцам.

Народ всюду поднимался на борьбу. Литовские и белорусские крестьяне, сжигая продовольствие и фураж, чтоб не попали в руки неприятеля, бежали в леса и первыми, по собственному почину, начали народную партизанскую войну.

По глухим лесным тропам и по оврагам, следом за наполеоновскими войсками шли вооруженные топорами и вилами русские, украинские, литовские и белорусские партизаны,

нападая на отдельные войсковые подразделения, уничтожая обозы, захватывая оружие.

Для защиты своего тыла и борьбы с партизанами Наполеон вынужден был выделять крупные воинские силы, тем самым чувствительно ослабляя армию, и без того изнуренную длительными маршами. Положение ухудшалось с каждым днем. Мысли о мире теперь все чаще и чаще приходили в голову французского императора.

– Я хочу мира, и я не был бы требователен в вопросе об условиях мира, – признался он Коленкуру. – Если б Александр прислал ко мне доверенное лицо, мы могли бы быстро прийти к соглашению… Есть много способов уладить дело так, чтобы русские не остались слишком недовольными и не убили Александра, как его отца…

Народная война, встревожившая Наполеона, явилась непредвиденным обстоятельством и для царского правительства. Узнав о первых партизанских действиях в тылу противника, Александр крепко задумался. С одной стороны, было очевидно, что именно такая война поможет быстрее уничтожить неприятеля, а с другой – страшили последствия. Расправившись с иноземными грабителями, вооруженный народ мог восстать внутри страны. Палка была о двух концах. Александр дал указание военному министру относиться к действиям партизан с большой осторожностью и от выдачи им оружия воздержаться. «Война народная слишком нова для нас, – записал тогда русский офицер Глинка. – Кажется, еще боятся развязать руки…»

Во всяком случае, никакой помощи партизанам царское правительство оказывать не собиралось.

* * *

Первым знакомым офицером, которого встретил Денис в Смоленске, был Дибич. Он служил в штабе корпуса Витгенштейна, прикрывавшего Петербургскую дорогу, и примчался с известием о победе над войсками маршала Удино, одержанной при Клястицах отрядом Кульнева.

Дибич сообщил и подробности дела. Наголову разбив авангардные части противника, захватив большой обоз и девятьсот пленных, Кульнев увлекся преследованием и наскочил на главные силы французов.

Вынужденный отступать под сильным натиском превосходящих неприятельских сил, Кульнев стал переправляться через реку Дриссу. В это время снарядом, разорвавшимся вблизи,

ему оторвало обе ноги. Кульнев упал, но, увидев приближавшуюся неприятельскую кавалерию, опасаясь, что его могут захватить, собрал последние силы и, сорвав с себя генеральские эполеты и ордена, сказал адъютанту:

– Спрячь эти знаки, дабы неприятель не тешил себя мыслью, что ему удалось убить русского генерала![VI]

И через несколько минут скончался.

Тело любимого командира солдаты врагу не отдали, вынесли из боя, похоронили с воинскими почестями недалеко от места сражения.

Дениса печальная весть совершенно расстроила. После смерти отца это была самая тяжелая утрата. Ведь столько прекрасных воспоминаний связывалось с душевно близким ему Яковом Петровичем!..

Выслушав Дибича, Денис не удержался от слез. Однако время было не такое, чтобы давать волю горестным чувствам. Смерть Кульнева усилила в душе Дениса гнев и озлобление против неприятеля.

… До последнего времени Денис не так уж часто соприкасался с простым народом, знал его недостаточно и никак не предполагал, что он может сыграть решающую роль в войне с вооруженными до зубов наполеоновскими полчищами. Более того, Денис, как и другие офицеры-дворяне, в начале войны даже боялся, как бы французы не смутили народ прокламациями и как бы не начались внутренние волнения. Крепостное крестьянство, воспользовавшись случаем, могло осложнить дело и помешать борьбе с неприятелем.

Однако, когда еще по пути в Смоленск до ахтырцев дошли слухи об отважных действиях крестьян в тылу французов, Денис понял, как велика сила народного патриотизма, и сразу оценил огромное значение начинавшей разгораться крестьянской партизанской войны.

– Попомните слово, не поздоровится от наших гверильясов господам французам, – заметил он товарищам. – В Испании для Бонапарта цветочки были, а в России будут ягодки…

Это мнение окончательно укрепилось в нем после одного происшествия. Под Смоленском Денис вызвался с двумя взводами гусар поехать в дальнюю разведку. Местность была небезопасная. Французские фуражиры, как удалось выяснить, уже наведывались сюда, бесчинствовали в ближних селениях. Поэтому гусары, соблюдая осторожность, пробирались более глухими лесными дорогами.

И вот однажды, в сумерках, когда подъезжали к небольшой лесной деревушке, намереваясь здесь заночевать, где-то вблизи

раздался подозрительный свист и почти следом в глубине леса гулко прозвучал выстрел.

Денис быстро вывел гусар на поляну перед деревней, построил в боевой порядок, приказав вахмистру Колядке с несколькими спешенными гусарами пройти в лес по направлению выстрела и разведать, в чем дело.

Спустя некоторое время гусары возвратились и привели с собой трех крестьян. Двое из них оказались почтенными стариками; они были в длинных холщовых рубахах и лаптях, в руках держали охотничьи ружья. Третий был вдвое моложе своих спутников. Высокий, худощавый, с небольшой русой бородкой, в добротных сапогах, легком пиджаке и картузе, он производил впечатление скорее городского мастерового, чем крестьянина. Держался с достоинством и вооружен был двумя французскими пистолетами, засунутыми под пиджаком за кожаный пояс.

Денису не представляло большого труда догадаться, что это за люди, и так как поговорить с крестьянами-партизанами давно уже хотелось, он встретил их дружелюбно и радушно. Усадил у костра, поднес даже по чарке водки.

Партизаны, ободренные хорошим приемом, разговорились, отвечали на все вопросы обстоятельно, откровенно.

– Мы поначалу за хранцев вас приняли, – признались старики, – вот, стало быть, и переполошились… чтоб лесной народ упредить…

– Какой же это народ лесной? – с любопытством спросил Денис.

– Которые, значит, в лесах проживают, от нехристей себя спасают… Со всех сторон нынче народ в леса-то бежит!

– А я слышал, будто и такие есть крестьяне, что у неприятеля остаются? – задал осторожный вопрос Денис.

– Греха таить нечего, батюшка начальник, были и такие, – отозвался один из стариков, – да им потом горше других пришлось… Я хотя про свою деревню Хмелевку скажу… У нас поначалу тоже некоторые крестьяне от хранцев хорониться не пожелали… Слушок их обнадежил, будто хранцы эти волю дают и барскую землю сулят… А они, как в деревню вошли, так первым делом за мужицкий хлеб и скотину взялись. А которые крестьяне противились, тех постреляли! Вот как оно у нас приключилось!

– Ну, хорошо… А каким образом вы дружину создали? Как додумались до этого?

– Да ведь надо от басурманов-то отбиваться, ваше высокоблагородие, – спокойно произнес русобородый партизан. – Вот и собрались мужики и порешили…

Русобородого партизана звали Терентием. Он был

крепостным крестьянином помещика Масленникова из Дорогобужского уезда, находился на оброке, славился как искусный штукатур и маляр, работал в городах и селах Смоленщины. Став случайным свидетелем бесчинств, творимых французскими мародерами в одном из селений, Терентий, по его словам, «не стерпел надругательства», подговорил нескольких крестьян ночью сделать нападение на французов, сам топором убил двоих, после чего ушел в лес, где недавно и был избран командиром небольшой партизанской дружины.

Беседа с Терентием заинтересовала Дениса. Грамотный и толковый крестьянин сообщил, что в лесу, протянувшемся на многие версты, существует уже несколько подобных партизанских дружин. Они нападают главным образом ночью на небольшие команды фуражиров и мародеров, затем снова скрываются в лесу. Каждое успешное нападение позволяет не только обзаводиться оружием, но и ободряет местное население, способствует быстрому численному усилению дружин.

– Главное дело, чтоб сразу над неприятелем видимый верх одержать и удачей веру в себя сыскать, – сказал Терентий. – У нас, к примеру, сорок человек при начале было, а как побили мы десятка два басурманов да прошла по деревням весточка об этом, отовсюду к нам народ повалил. Нынче за двести человек в дружине числим…

– Ого! – удивился Денис. – Этак скоро у вас целое войско соберется!

– Да уж постоять за отечество у нас есть кому, – с чувством сказал Терентий. – Верно говорится, что родная земля и в горсти мила… Неужто допустим, чтоб басурманам она досталась? Нет, ваше высокоблагородие, жизни своей не пожалеем, а не хозяйничать им у нас! Дай срок, всем им поворот от наших ворот укажем!

Последние фразы Терентия прозвучали особенно уверенно. И Денис понял, откуда такая уверенность. Терентий выражал мнение всего ополчавшегося народа. Страшная, грозная сила поднималась на чужеземцев!

Поблагодарив партизан за усердие и от души пожелав им удачи, Денис, прощаясь с ними, как бы в шутку сказал:

– А что, если я со своими гусарами отпрошусь у начальства да сюда явлюсь… Примете в свое войско?

Терентий окинул его серьезным взглядом, ответил приветливо:

– С великой охотою, ваше высокоблагородие… Неприятель у нас общий. Кабы взаправду такие отряды, как ваш, с партизанами соединились, куда как жарко басурманам пришлось бы…

Встреча эта произвела на Дениса большое впечатление. «Как своевременно и полезно, – подумал он, – создать армейские кавалерийские отряды для действий в неприятельском тылу». Но если раньше эти действия представлялись Денису лишь в виде рейдов, как, например, на остров Карлое, то теперь ему рисовались более широкие и заманчивые возможности. Общий патриотический подъем народа позволял надеяться на его активную помощь в беспрерывных поисках против неприятеля. Остальные условия для таких поисков тоже не оставляли желать лучшего. Французская армия, растянувшаяся на обширном пространстве и отягощенная огромным транспортом, представляла очевидные выгоды для нападения как с тыла, так и с флангов.

Денис решил действовать, тем более что обстановка для осуществления его замысла благоприятствовала: царя из армии удалили, начальником штаба первой армии недавно был назначен Ермолов. На Ермолова можно положиться, как на каменную гору!

Евдоким, Левушка и Базиль, находившиеся в Смоленске, план Дениса одобрили. Хотя Базиль, только что назначенный адъютантом к Багратиону, заметил:

– Меня лишь одно смущает: как отнесутся к этому в Петербурге?

– А я не собираюсь утруждать государя своей просьбой, брат Василий, – отозвался Денис, озорно блеснув горячими глазами. – Зачем отрывать его от более важных занятий? Попытаемся без него обойтись!

V

Алексея Петровича Ермолова все знали как одного из самых непримиримых врагов штабных «бештимтзагеров». Ермоловские остроумные шутки над немцами, заполнявшими штаб военного министра, передавались из уст в уста. Однажды, когда император Александр находился еще в армии, Ермолов, зайдя в его приемную, застал там толпу чиновных немцев. Они робко посматривали на двери кабинета и о чем-то болтали по-немецки. Ермолов окинул их презрительным взглядом и громогласно спросил:

– Па-а-звольте, господа… А не говорит ли здесь кто-нибудь по-русски?

В другой раз на вопрос Александра, чем его наградить, Ермолов в шутливой форме, намекая на привилегии, расточаемые иностранцам, ответил:

– Произведите меня в немцы, государь!

Не раз бывали у Алексея Петровича личные стычки и с военным министром. История с кабановскими прицелами вызвала особенно острое столкновение, хотя в этом случае Ермолов был не совсем справедлив. Барклай не собирался покровительствовать Фицтуму, племяннику своей жены. Выслушав объяснение Ермолова о преимуществах кабаяовских прицелов перед теми, которые представил Фицтум, Барклай с обычным спокойствием и сухостью сказал:

– Я не вправе, по известным причинам, вмешиваться в это дело, я поручил тщательно разобраться во всем господам экспертам…

– Кои из угождения вашему высокопревосходительству склонны отдать предпочтение господину Фицтуму и отказаться от превосходного русского изобретения, – язвительно добавил Ермолов, подчеркивая последние слова.

Барклай сдержался и, гладя по своему обыкновению руку, изуродованную в Прейсиш-Эйлау, ответил с достоинством:

– Я никогда никого не прошу об угождении, как вы полагаете, господин Ермолов… Если вам угодно считать меня иностранцем, чуждым интересам российским, – это ваше дело. Но я всю жизнь служу моему государю и России так, как честь и совесть подсказывают, чего и вам пожелать позволю…

Тогда Ермолов, воспользовавшись пребыванием в армии императора Александра, обратился к нему и доказал преимущества кабановских прицелов. Александр вынужден был их одобрить. Барклай возражать не стал. Но, так или иначе, отношения между Барклаем и Ермоловым оставались весьма холодными.

Зато с Багратионом Алексей Петрович находился в давнишней прочной дружбе, взгляды их во многом сходились. Оба следовали суворовским заветам, пользовались любовью войск, не терпели немецкого педантизма. Оба стояли за наступательные действия и резко критиковали военного министра за поспешный, казавшийся неоправданным отход от Вильно.

Однако с тех пор, как Ермолов стал начальником штаба первой армии и вник в подробности всех дел, он несколько изменил свое нелестное мнение о военном министре. Барклай, конечно, не обладал такими знаниями, опытом и обширным военным кругозором, как Суворов и Кутузов, но отступление, производимое им, теперь представлялось Ермолову разумным, совершенно необходимым. Под Витебском, где предполагалось дать сражение, Ермолов осмотрел позиции и, признав их

негодными, сам посоветовал дальнейшее отступление. Поэтому в Смоленске, при свидании с Багратионом, по-прежнему яростно осуждавшим отступательную тактику военного министра, Алексей Петрович попробовал убедить князя в неправильности его суждений о действиях Барклая.

– Ну, брат, вижу, и ты пустился дипломатическим штилем изъясняться, – недовольным тоном произнес Багратион, выслушав объяснения Ермолова. – А я тебе прямо говорю, что подчиняться твоему чертову методику не желаю! Лучше мундир сниму – и баста.

– Позвольте мне возразить вам, князь, – отозвался почтительно Ермолов. – Вы знаете, как я горячо люблю вас, это обязывает меня говорить вам истицу. Вам, как человеку, боготворимому войсками, на коего возложены надежды россиян, стыдно принимать к сердцу частные неудовольствия, когда стремления всех направлены к пользе общей…

– Нечего меня уговаривать! Драться надо, мой милый! – возразил Багратион. – Война теперь не обыкновенная, а национальная, надо поддержать честь свою!

– Я сколько раз говорил с министром, он охотно соглашается дать сражение генеральное на первых удобных для нас позициях, – проговорил Ермолов. – И теперь, когда вы с нами, договориться будет нетрудно…

Багратион в конце концов с ермоловскими доводами согласился. Свидание командующих армиями прошло благополучно, Багратион добровольно подчинился некогда состоявшему под его начальством Барклаю. Отношения между командующими как будто наладились. Ермолов вздохнул свободно.

Но вскоре положение изменилось. Начальник штаба второй армии граф Сен-При, французский эмигрант, интриган и сплетник, снова сумел восстановить вспыльчивого Багратиона против Барклая. Начались опять споры, пререкания, недоразумения. Работать в штабе в таких условиях становилось с каждым днем все труднее.

… Штаб первой армии помещался в губернаторском доме. Денис застал Алексея Петровича поздно ночью. Ермолов, только что возвратившийся с передовых позиций, был в скверном настроении и выглядел плохо. Генеральский походный сюртук без всяких отличий был покрыт пылью. Лицо посерело, осунулось. Глаза воспалились от бессонных ночей.

– Кругом голова идет, брат Денис, – кратко сообщив о своих делах, признался Ермолов, расхаживая по комнате. – Попробуй наладить дело, когда министр одного требует, а князь на другом

настаивает… А тут еще гражданскими делами заниматься приходится. Тупоумный губернатор барон Аш, не сделав никаких распоряжений, первым из города сбежал. Повесить, собаку, мало! Чиновники сплошь воры и казнокрады. Оборона Смоленска не устроена, продовольствия не хватает. Вот и разрываешься на части…

– Неужели и Смоленск отдать неприятелю придется? – спросил Денис.

– Трудно сказать, как сложатся обстоятельства, – пожал богатырскими плечами Ермолов и, что-то вспомнив, усмехнулся. – Вчера такой случай произошел… Подъехал министр в обеденный час к солдатам и спросил: «Что, ребята, хороша каша?» – «Каша-то хороша, – отвечают солдаты, – только не за что нас кормить, всё назад пятимся. Каша от стыда в горло не лезет». Да, брат, – продолжал Ермолов, – настроение в войсках боевое, драться все хотят… А против рожна тоже не попрешь. Силы неприятельские во много раз еще нас превосходят. Я министра, сам знаешь, не очень жалую, а иной раз соглашаться приходится, что он более князя прав…

Алексей Петрович устало потянулся, затем подошел к Денису, дружески положил ему руку на плечо:

– А ты как живешь? Слышал, будто под Миром и Романовом здорово отличился?

– Не более, чем рядовой гусар, почтеннейший брат, – произнес Денис. – Скажу по совести, продолжаю желать по силам своим службы, более отечеству полезной. Убежден, что в ремесле нашем только тот выполняет долг свой, кто не равняется духом, как плечами в шеренге, с товарищами, а стремится предпринять и нечто отличное.

– Стало быть, насколько я понимаю, продолжаешь о самостоятельных действиях думать? – догадался Ермолов.

– Решаюсь просить вас о дозволении создать мне команду отдельную, – сказал Денис. – Вам известно, я имею достаточный опыт, чтоб с твердостью и большей для всех выгодой осуществить задуманное.

– Охотно верю, да не знаю, что тебе ответить, – задумчиво произнес Ермолов. – Я могу, конечно, доложить министру, поддержать твою просьбу, однако ж вряд ли он сейчас возьмет на себя смелость разрешить вопрос. А того хуже – запросит государя.

– Что же делать в таком случае? Посоветуйте!

– По-моему, лучше всего немного подождать… Я имею верные известия, что в Петербурге озабочены положением, кое создалось в армии благодаря разномыслию командующих. И существует мнение о необходимости немедленного назначения

нового главнокомандующего…

– Кого же нам прочат? – перебил Денис. – Неужто опять посадят какого-нибудь немца?

– Нет, брат… На этот раз все единодушно называют имя Кутузова.

– Помилуйте, почтеннейший брат! – воскликнул Денис. – Это было бы превосходно, но ведь всем известно, что Кутузова государь терпеть не может.

– Что поделаешь! Обстоятельства таковы, что государю придется, очевидно, согласиться с общим мнением. Глас народа – глас божий! Кутузов – единственный человек, коему можно доверить судьбу отечества…

Дениса эта новость очень обрадовала. Кутузов! Любимый Суворовым, опытный, мудрый полководец! Он-то, разумеется, поймет и оценит значение партизанских действий. И если будет нужно, Багратион, старый соратник и любимец Кутузова, тоже не откажется замолвить словечко.

Денис решил последовать совету Ермолова и отправился в свой полк с надеждой, что вопрос его в скором времени будет разрешен благополучно.

VI

После двухдневной героической обороны Смоленска войсками Раевского, Неверовского и Дохтурова русская армия, оставив город, отступала по старой Смоленской дороге.

Находясь в арьергарде, которым командовал талантливый и мужественный генерал Коновницын, ахтырские гусары почти ежедневно имели стычки с неприятельской кавалерией. 17 августа батальон Дениса Давыдова, особенно отличившийся в делах под Катанью и Дорогобужем, стоял близ Царева Займища. Сюда на рассвете прибыл новый главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов, только что пожалованный титулом светлейшего князя.

Войска встречали его с неописуемым восторгом. И Денис, в тот день увидевший прославленного русского полководца, вполне разделял общие чувства.

Кутузов в сюртуке без эполет, в белой фуражке, с шарфом через плечо и с нагайкой через другое ехал на гнедом иноходце. Массивная фигура Кутузова, крупные черты лица, пухлые щеки, мягкий голос и добродушная улыбка создавали благоприятное впечатление. Главнокомандующего сопровождала большая свита. Денис разглядел среди свитских господ и пасмурного Барклая, и долговязого Беннигсена, назначенного начальником главного

штаба, и Ермолова, и Раевского, но особенно бросилось в глаза довольное лицо Багратиона, ехавшего на белой лошади несколько впереди других.

Запретив выстраивать войска, Кутузов стал осматривать их на марше. Подъехав к одному из пехотных полков, он неожиданно остановился. Солдаты засуетились, начали вытягиваться, чиститься, строиться. Кутузов слегка поморщился, махнул рукой.

– Не надо, ничего этого не надо, – сказал он. – Я приехал только посмотреть, здоровы ли мои дети? Солдату в походе не о щегольстве думать, ему надо отдыхать после трудов и готовиться к победе.

Заметив, что растянувшийся по дороге обоз какого-то генерала мешал проходить пехоте, Кутузов подозвал одного из своих адъютантов и приказал:

– Отведи, голубчик, эти экипажи в сторонку. Солдату каждый шаг дорог, скорей до места дойдет – больше отдохнет. О солдатах более всего попечение иметь надлежит!

Когда же обоз освободил дорогу, а следовавший за ним полк егерей в стройных рядах и боевом порядке приблизился к главнокомандующему, он, сняв фуражку и приветливо помахав рукой войскам, воскликнул:

– Как с такими молодцами отступать да отступать!

Слова главнокомандующего стали передаваться из уст в уста. Солдаты с радостным оживлением говорили:

– Вот приехал наш батюшка… Он все нужды наши знает! Как при нем не драться! Все до единого рады головы положить!

– Приехал Кутузов бить французов! – эта крылатая солдатская фраза быстро облетела войска. И дымные поля биваков, как отмечают очевидцы, огласились песнями и музыкой, чего давно уже не бывало[25].

Вечером того же дня Денис отправился в главную квартиру, чтобы лично просить Кутузова о дозволении создать армейский партизанский отряд. Но по дороге изменил свой план. Ведь Кутузов ничего не знал о его боевом опыте. А слава бесшабашного поэта-гусара, которой до сих пор пользовался Денис в некоторых военных кругах, могла лишь повредить. Да и князь Багратион, в войсках коего состояли ахтырцы, пожалуй, обидится, узнав, что просьба передана через его голову. Нет, так поступать не годится!

Возвратившись в полк, Денис написал следующее письмо Багратиону:

«Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего, столь лестного для моего самолюбия, и вступая в гусарский полк, имел предметом самостоятельную

службу и по силам лет моих, и по опытности моей, и, если смею сказать, по отваге моей. Обстоятельства ведут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не имею, и, следовательно, не могу ни предпринять, ни исполнять ничего отличного. Князь, вы мой единственный благодетель! Позвольте мне предстать к вам для объяснения моих намерений; если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носил звание адъютанта Багратиона пять лет сряду, будет уметь поддержать честь свою со всею ревностью, какую бедственное положение любезного нашего отечества требует. Денис Давыдов».

Получив это письмо, Багратион отнесся к просьбе своего бывшего адъютанта благосклонно. Спустя три дня, утром, в крестьянском овине при Колоцком монастыре, где ночевал князь, Денис обстоятельно и горячо развивал перед ним план своих будущих действий.

– Неприятель идет одним путем, – говорил Денис, – путь сей протяжением своим очень велик; транспорты с продовольствием неприятеля покрывают пространство от Гжати до Смоленска и далее. Обширность пространства способствует изворотам не только партий, но и целой нашей армии. Что делают толпы казаков при авангарде? Оставя достаточное число их для содержания аванпостов, надо разделить остальных на партии и пустить в середину каравана, следующего за Наполеоном. Пойдут ли на них сильные отряды? Им есть довольно простора, чтобы избежать поражения! Оставят ли их в покое? Они истребят источник жизни и силы неприятельской армии. К тому же обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян ободрит их и усилит войну народную.

Багратион слушал молча, с видимым одобрением. Горячность Дениса всегда ему нравилась, в знании им дела не сомневался, доводы казались основательными. Но последняя фраза насторожила. Князь знал, что разгоравшаяся всюду народная война, при всей очевидной ее пользе, давно уже тревожит царя. Подобный аргумент выдвигать никак не следует. «Хорошо, что Денис говорит об этом со мною, а не с каким-нибудь другим генералом, мог бы себе же повредить, – подумал князь. – Молод еще, дипломатничать не научился, а мысль хорошая, поддержать так или иначе следует».

Между тем, чувствуя молчаливое одобрение князя, Денис, все более и более вдохновляясь, высказывал сокровенные свои мысли:

– Князь, откровенно вам скажу: душа болит от вседневных параллельных позиций! Пора видеть, что они не закрывают недра

России; кому не известно, что лучший способ защищать предмет неприятельского стремления состоит не в параллельном, а в перпендикулярном или по крайней мере в косвенном положении армии относительно этого предмета. И кто знает, к чему может привести нас эта война. Ведь говорят, если Москва будет взята неприятелем и мир в ней подписан, то мы пойдем в Индию сражаться за французов… Нет, уж если должно погибнуть, то лучше я лягу здесь! – воскликнул Денис. – В Индии я пропаду за пользу, чуждую моему отечеству, а здесь умру под знаменами независимости, около которых столпятся поселяне, ропщущие на насилие и безбожие врагов наших…[26]

– Ну, душа моя, – перебил Багратион, – ты, кажется, фантазируешь. В Индию никто не собирается, пустая болтовня. А соображения твои о партизанских действиях одобряю, постараюсь, как могу, помочь…

– На вас все упования мои, ваше сиятельство!

– Хорошо. Оставайся пока при моей квартире. Я нынче же пойду к светлейшему, изложу твои мысли…

… Войска весь день продолжали отступление. Но ропота среди солдат теперь не слышалось. Каждый понимал, что Кутузов в ближайшие дни даст генеральное сражение неприятелю. Настроение у всех заметно улучшилось.

Внимание Дениса, ехавшего с Базилем Давыдовым, привлек Фанагорийский полк, некогда особо любимый Суворовым. Рослые, загорелые, покрытые пылью, фанагорийцы шли весело, с необычной песнью:

Братцы, грудью послужите,
Гряньте бодро на врага
И вселенной докажите,
Сколько Русь нам дорога…

Базиль Давыдов пояснил:

– Представь, песню эту рядовой Остафьев сочинил. Как по-твоему, неплохо?

– И неплохо и примечательно, что простой солдат столь ясно чувства свои выражает, – отозвался Денис.

Базиль почему-то вдруг задумался, затем, повернувшись к Денису, тихо сказал:

– Ты знаешь, в мою голову приходят иногда странные мысли. Мы слишком привыкли считать своих крестьян и солдат рабами… А я, чем более приглядываюсь к ним, тем более убеждаюсь, как часто мы бываем несправедливы. Я не могу тебе связно всего объяснить, но мне бывает стыдно, гадко, когда унижают их

человеческое достоинство. Подумай сам… Разве этот рядовой Остафьев, тысячи других защитников отечества не заслуживают лучшего к себе отношения?

Денис с удивлением посмотрел на Базиля, подумал: «Откуда у него эти якобинские мысли?» Но поддерживать разговор на эту тему не счел нужным.

– Эх, брат Василий, напрасно ты себя на минорный тон настраиваешь, да и не ко времени, – произнес он. – Мы люди военные, наше дело воевать, а не философствовать!

– Да, ты прав, сейчас об этом не время думать, – произнес, вздохнув, Базиль. – А все-таки…

Не дослушав, Денис пришпорил лошадь, поскакал вперед. Вдали из-за синего леса выглянула белая колокольня. Ярко блеснул позолоченный крест в лучах предзакатного солнца. Змейкой мелькнула извилистая речонка. Завиднелись на взгорье соломенные крыши хат. Это было его Бородино!

Родные, до боли знакомые места! Здесь провел он беспечные годы своей юности, здесь «ощутил первые порывы к любви и славе». С бьющимся сердцем подъехал Денис к своему дому, где спешно готовили квартиру для Кутузова. Как все здесь изменилось! «Над домом отеческим, – вспоминал он впоследствии, – носился дым биваков, ряды штыков сверкали среди жатвы, покрывавшей поля, и войска толпились на родимых холмах и долинах. Там на пригорке, где некогда я резвился и мечтал, где я с алчностью читывал известия о завоевании Италии Суворовым, о перекатах грома русского оружия на границах Франции, – там закладывали редут Раевского. Красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кишел егерями…» Пробыв несколько минут в своей усадьбе и не найдя здесь никого из дворовых, Денис медленно поехал по широкой и пыльной бородинской улице, занятой различными войсковыми частями. При выезде из села, где отдыхали только что подошедшие ратники московского ополчения, кто-то тихо и неуверенно окликнул его. Он остановил лошадь. Высокий ратник в белой рубахе, с ополченским крестом на шапке, отделившись от товарищей, подошел к нему.

– Никифор! – воскликнул Денис, признав в ратнике старого приятеля. – Ты как это в ополчение попал?

– Совесть не позволяет дома сидеть, Денис Васильевич, – ответил Никифор. – Из наших, бородинских, человек сорок тут, – кивнул он головой в сторону ополченцев.

– А остальной народ где же?

– Третьего дня Евдоким Васильевич сюда заезжали, распорядились всех в Денисовку отправить… Уж под Можайском

я встретил наш обоз… Дюже народу горько родные места покидать!

– Ничего не поделаешь… Война! – вздохнул Денис и, чуть помедлив, спросил: – Ну, а вы здесь как последние годы жили?

– Да уж жизнь крестьянская известна, – как-то нехотя ответил Никифор, и лицо его помрачнело.

– Я, как тогда был у вас, приказал бурмистру корову тебе дать и лесу на кузницу отпустить… Разве ты не получил?

– Получил, премного вами доволен, Денис Васильевич…

– Так что же? От нужды-то оправился?

– На первых порах оно точно… легше стало…

– А потом что случилось?

Никифор несколько секунд стоял молча, теребя бороду и о чем-то раздумывая. Потом произнес:

– Не знаю, как вам и сказать… Кузнецы на мужицкие пятаки живут, а народ кругом обеднял, на легкий оброк деньги собрать трудно… А тут, как на грех, лошадь пала, потом градом посевы выбило… Так и живешь, словно худой кафтан латаешь: одну дыру починил, другая расползается… Эх, да чего уж теперича толковать об этом! – махнул он рукой. – Время такое, кто завтра жив будет!

– Вот это верно! Кто жив будет! – отозвался Денис. – Что ж, прощай пока, Никифор… Не поминай лихом, если мне самому погибнуть суждено… – И, дав шпоры коню, поскакал к соседнему селу Семеновскому, где остановился Багратион.

… Вечер был ясный, прохладный. Денис долго-долго лежал на опушке тронутого легкой позолотой Семеновского леса, с грустью наблюдая, как солдаты быстро разбирают бородинские избы и заборы для постройки редутов, для костров. Война докатилась до его собственного дома! И чужеземцы могут не сегодня-завтра стать здесь хозяевами! Эта мысль была невыносима, сердце сжигала бешеная ненависть… Успокаивало лишь одно: он и его братья с оружием в руках, не щадя своих сил и крови, дерутся с неприятелем. Они отомстят за поруганное отечество, за осквернение родных очагов.

– Вот ты где! А я целый час тебя повсюду ищу! – прервал размышления Дениса подошедший Базиль. – Князь Багратион возвратился от светлейшего и ожидает к себе ваше высокоблагородие…

Денис вскочил.

– Ну, как думаешь? Отказано?

– Не могу знать, но не думаю, чтобы отказали, – ответил Базиль. – Настроение у князя как будто хорошее…

– Дай боже! Ох, и покажу я вам!.. – с нескрываемой злобой

воскликнул Денис, погрозив кулаком в сторону неприятеля.

И, придерживая саблю, позванивая шпорами, по-кавалерийски, вразвалку, выбежал из лесу.

Багратион находился в избе, сидел у стола, что-то быстро писал на большом листе бумаги. Увидев Дениса, отложил перо в сторону, поднялся, объявил сразу:

– Светлейший согласился послать для пробы одну партию в тыл французской армии, определив на оное предприятие пятьдесят гусар и восемьдесят казаков. Он желает также, чтобы ты сам взялся за это…

– Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие и уступить исполнение его другому, – ответил Денис. – Вы сами знаете, что я готов на все. Но людей выделили мало… Дайте мне тысячу казаков, и вы увидите, что будет!

– Я бы с первого разу дал тебе три тысячи, ибо не люблю ощупью дела делать, – произнес Багратион, – но об этом нечего и говорить… Кутузов сам назначил силу партии. Надо повиноваться.

– Хорошо. Если так, я иду и с этим числом, – согласился Денис. – Авось открою путь большим отрядам!

Багратион одобрительно кивнул головой.

– Я от тебя этого и ожидал, душа моя… Поимей в виду, отряд для тебя выделяется почти накануне большого сражения, когда каждый человек армии дорог, а кроме сего, – он значительно поднял палец, – оцени и то, что светлейший без ведома государя, на свою личную ответственность, разрешает тебе начать партизанские действия…

– Передайте, князь, мою сердечную благодарность его светлости за доверие, – сказал Денис. – И верьте, ручаюсь честью, партия будет цела. Для этого нужны только отважность в залетах, решительность в крутых случаях и неусыпность на привалах и ночлегах. За это я берусь.

– Отлично! Не сомневаюсь!

Багратион подошел к столу, взял бумаги, протянул Денису:

– Это предписание генералам Васильчикову и Карпову о выделении лучших гусар и казаков. А это моя инструкция для тебя. Неприятеля беспокоить со стороны нашего левого фланга, расстраивать обозы и парки, забирать фураж и продовольствие, ломать переправы… Рапортовать будешь только мне. Передвижения свои сохраняй в самой непроницаемой тайности и о продовольствии отряда заботься сам. Ну, что у тебя еще?

– Я хотел просить вас… у меня нет карты Смоленской губернии, где, я думаю, прежде всего развернутся наши действия.

– Изволь, я тебе дам свою, – сказал Багратион, доставая из

походной сумки карту. – Вот возьми!

– Спасибо, князь. В ближайшие дни вы получите о нас первые известия…

Багратион окинул Дениса теплым взглядом, затем порывисто притянул к себе, перекрестил, поцеловал в лоб.

– Ну, с богом, голубчик! Прощай! Я на тебя надеюсь!

VII

Прошло несколько дней. Генеральное сражение на Бородинском поле было победоносным для русских войск, героизм которых изумил весь мир. Михаил Илларионович Кутузов блестяще выполнил свой план, обескровив силы неприятельской армии. Полководческое искусство Кутузова, не выпускавшего инициативы из своих рук, оказалось выше прославленного искусства Наполеона. Французы, имевшие численный перевес, не достигли никаких существенных результатов и, понеся огромные потери, вынуждены были к исходу сражения отойти на первоначальные позиции.

«Из пятидесяти сражений, мною данных, – писал впоследствии Наполеон, – в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех. Русские стяжали право быть непобедимыми…»

Лишь недостаток подготовленных резервов и усталость войск заставили Кутузова принять решение об отходе к Москве. Русская армия сохранила полный боевой порядок, тогда как боевые качества и моральный дух неприятельских войск были чувствительно надломлены. Французы оказались неспособными к активному преследованию.

К тому же, продвигаясь *в* глубь страны, французы все сильнее испытывали недостаток в продовольствии и фураже. Продовольственные команды и шайки мародеров, следуя за армией по обеим сторонам дороги, опустошали в широкой придорожной полосе деревни и села, творили насилия над мирными жителями. Пожар разливался по всей окрестности. Народ бежал в леса. Повсюду создавалось добровольное ополчение поселян.

В такое время партизанский армейский отряд под начальством Дениса Давыдова, миновав Медынь, Шанский завод и Азарово, все более и более углублялся в неприятельский тыл.

Отряд хотя и мал был по численности, зато состоял из отважных и предприимчивых людей, отобранных самим Денисом. Ахтырскими гусарами командовали Николай Бедряга, Митенька Бекетов и поручик Макаров. Из казачьих офицеров Денис взял с

собой известных ему своей храбростью хорунжих Григория Астахова и Василия Талаева. Старый приятель, урядник Иван Данилович Крючков, с трудом выпрошенный у начальства, тоже находился в отряде, радуясь опасному, но заманчивому предприятию не менее восторженного Митеньки Бекетова.

Путь отряда был нелегок. Почти во всех селениях ворота оказывались закрытыми. Принимая ахтырцев за французов, крестьяне угрожали топорами, вилами, а иногда пускали в ход и огнестрельное оружие. Приходилось у каждого селения останавливаться, вести долгие переговоры. Правда, как только крестьяне убеждались, что пришли русские, ворота гостеприимно распахивались и солдат встречали радушно.

– Отчего же вы полагали нас французами? – спрашивал Денис крестьян.

– Да видишь, родимый, – отвечали те, указывая на его нарядный гусарский ментик, – это, бают, на их одежду схоже…

– А разве я не русским языком говорю?

– Да ведь у них всякого сброду люди!

Эти объяснения заставили Давыдова призадуматься. Он понимал, что успех его партизанских поисков во многом зависит от помощи народа, что с крестьянами нужно жить в мире и дружбе. Денис преобразился даже внешне: надел крестьянский чекмень, отпустил бороду, украсил грудь вместо орденов образом «мужицкого угодника» Николая чудотворца.

В конце августа отряд остановился в селе Скугарево, чуть южнее Царева Займища. Это село, укрытое со всех сторон густыми лесами, представлялось надежным убежищем.

Но все же опасности подстерегали на каждом шагу. Неприятельские транспорты прикрывались сильными, превосходно вооруженными войсковыми частями. А генерал Бараге д'Илье, назначенный Наполеоном смоленским губернатором, наводнил окрестность своими разведчиками и карательными отрядами.

Денис принимал строгие меры предосторожности. Днем, находясь близ Скугарева, партизаны зорко следили за каждым движением неприятеля, а вечером, разложив огни у села, отправлялись в противоположную сторону, где снова жгли костры и снова меняли место, уходя на ночь в лес. Для охраны отряда выставлялись два парных казачьих пикета, всегда в боевой готовности находился резерв из двадцати человек. Для облегчения лошадей Денис установил порядок, применявшийся на аванпостах Юрковского и Кульнева: на определенное время часть лошадей расседлывалась и отдыхала, набиралась сил. Затем ставили на отдых других лошадей.

Поиски партизаны начинали часа за два до рассвета. Скрытно приблизившись к отбившемуся небольшому неприятельскому транспорту, нападали врасплох, брали, сколько было по силам, пленных, лошадей, фур с продовольствием и быстро исчезали в лесу. Иногда успевали напасть и на второй транспорт неприятеля или шайку мародеров, выслеженных еще днем. А уж после этого кружными путями возвращались с добычей к Скугареву[27].

Ночь на 2 сентября, как обычно, партизаны проводили в лесу. Погода была скверная. Дул холодный ветер, накрапывал дождь. Верхушки деревьев тоскливо шумели. Мокрые листья обильно сыпались на голову гусар и казаков, не имевших даже возможности обсушиться и обогреться в такое промозглое время. Костры на привалах зажигать было опасно: они могли привлечь внимание неприятеля.

Денис, покрытый буркой, лежал в шалаше, наскоро сооруженном для него заботливым Иваном Даниловичем Крючковым. Рядом, сладко посапывая, спал не разлучавшийся с любимым командиром Митенька Бекетов. Денис же, последние дни почти не слезавший с коня, хотя и чувствовал страшную усталость во всем теле, заснуть никак не мог. Его одолевали беспокойные мысли…

Вчера партизаны отбили двух русских военнопленных, которые сообщили печальную новость о тяжелом ранении Багратиона. А сегодня Денис узнал, что русская армия продолжает отступление и находится уже близ Москвы…

Будучи еще в Семеновском, Денис разыскал своих братьев Евдокима и Льва и, прощаясь с ними, договорился, что, в случае если Москве будет угрожать опасность, они возьмут на себя заботу о матери и Сашеньке, отправят их заранее в орловскую деревню. С этой стороны все как будто обстояло благополучно. О разгроме своего бородинского имения и возможной потере последнего имущества в Москве, что окончательно оставило бы семью без средств, Денис не думал. Слишком велика была опасность, угрожавшая всей России, чтобы помышлять сейчас о личных делах.

Видя, с каким беспримерным самопожертвованием, презирая смерть, сражаются русские солдаты и партизаны, наблюдая, как селяне собственной рукой уничтожают свои дома и имущество, чтобы ничто не досталось чужеземцам, Денис наполнился гордостью за свои народ, столь величественно проявлявший нравственную силу в годину бедствий отечества И чувствовал, что он сам, не колеблясь ни минуты, готов поджечь родной дом, лишь бы не видеть в его стенах людей в ненавистных чужих мундирах. Вот это-то высокое патриотическое чувство, понимание личной

ответственности за большое доверенное ему дело и заставляли его испытывать острую неудовлетворенность первыми партизанскими опытами.

Инструкция, составленная Багратионом, требовала не случайных нападений на слабые, отбившиеся в сторону, неприятельские транспорты, а систематических, решительных действий по расстройству обозов и парков, двигавшихся непрерывно по столбовой Смоленской дороге.

«Будь у меня хотя бы пять казачьих сотен, я бы давно на этой дороге хозяйничал, – размышлял Денис. – А как туда пойдешь, имея под командой всего сто тридцать человек? Ведь даже некоторые шайки мародеров превосходят нас числом… Неприятельские же обозы с оружием и военным имуществом охраняются такими прикрытиями, что, ввяжись в драку – ног не унесешь…»

И Денису невольно вспомнилось, как он, простившись в Семеновском с Багратионом, пришел на другой день с его предписанием к командиру ахтырцев генералу Васильчикову. В просторной избе помимо самого Васильчикова собралось за завтраком еще несколько знакомых генералов и офицеров. Узнав о назначении Дениса, они осыпали его градом язвительных насмешек.

– Тебе что, жить надоело? – говорили одни. – Так ступай, любезный, в переднюю цепь и подставляй голову. Зачем же еще гусар губить хочешь?

– Не забудь заранее сочинить свою некрологию! – советовали другие.

– Кланяйся Павлу Тучкову, – намекая на взятого недавно французами в плен генерала, говорили третьи, – да скажи ему, чтобы он уговорил тебя не ходить в другой раз партизанить!

Впрочем, ни тогда, ни теперь этим генеральским шуткам особого значения Денис не придавал. Сам знал, на что идет. Разделять же участь генерала Тучкова не собирался, потому и проявлял на первых порах такую осторожность. Однако заниматься мелкими партизанскими поисками и дальше, пропуская беспрепятственно крупные неприятельские обозы, было бессмысленно. Необходимо во что бы то ни стало нанести неприятелю чувствительный удар именно на главной его коммуникации, на столбовой Смоленской дороге. В памяти Дениса неожиданно возникла встреча с крестьянами-партизанами в лесах Смоленщины. Этот русобородый Терентий говорил верно: «Главное, чтоб сразу над неприятелем видимый верх одержать и удачей веру в себя сыскать». Да, если бы удался поиск на Смоленской дороге, он наверняка снискал бы отряду большее

доверие не только со стороны главнокомандующего, но и со стороны местного населения. Тогда легче было бы пополнить свои силы добровольцами-крестьянами, а это дало бы возможность более решительно действовать в дальнейшем.

Каким же способом и где произвести нападение? Ворочаясь с боку на бок и вздыхая, Денис мучительно ломал голову над этим вопросом, когда послышался конский топот и вслед за тем к шалашу подъехал Николай Бедряга, вернувшийся из ночной разведки. Денис поднялся навстречу.

– Где так долго пропадал, Николай Григорьевич? – спросил он у Бедряги.

– Почти до самого села Токарева добрался… Там шайка мародеров бесчинствует, Денис Васильевич…

– Много ли всех-то?

– Да за сто человек будет…

– Ладно… Хоть и надоело с этой сволочью возиться, да на безрыбье и рак рыба, – отозвался, слегка поморщившись, Денис. – Поднимай людей! Едем!

До большого села Токареве, расположенного на возвышенности у речки Вори, считалось около десяти верст. Токареве лежало почти на прямом пути к Цареву Займищу, где проходила столбовая дорога. Мародеры, чувствуя себя в безопасности, обобрали крестьян, нагрузили пожитками и продовольствием большой обоз и улеглись спать, выставив лишь небольшую охрану.

На рассвете, приблизившись к токаревской околице, партизанский отряд снял часовых, ворвался в село. Уничтожив всех мародеров, оказавших сопротивление, партизаны захватили обоз и взяли девяносто человек в плен. Из села не ушел ни один. Но вскоре сторожевые пикеты донесли о приближении к селу другой большой неприятельской команды. Денис отдал приказ: партизанам сесть на коней, и укрыться за избами.

Французы шли по широкой улице осторожно, стройной колонной. Дойдя до середины села, остановились, огляделись, поставили ружья. Этого было достаточно. Со всех сторон с гиканьем и стрельбой налетели партизаны. Непрошеные гости побежали, но их всюду настигали гусарские сабли и казачьи пики. А тех, кто вздумал прятаться в избах, топорами и вилами встречали ободренные партизанами крестьяне. Через несколько минут все было кончено. Десятки неприятельских трупов лежали у плетней и заборов. Толпа пленных, увеличившаяся до ста шестидесяти человек, стояла на выгоне у церкви. Французы робко жались друг к другу, стараясь не глядеть на окружавших их все более плотным кольцом озлобленных мужиков и баб.

– Побить бы их всех, ваше высокоблагородие, – сказал подъехавшему Денису пожилой угрюмый крестьянин. – Неча с ними возиться!

– Нельзя, любезный, – отвечал Денис. – За них начальство большой выкуп получит… Вот ежели с оружием в руках нападать и грабить будут – тогда бей!

– Чем бить-то? – резонно возразил крестьянин. – Неспособно с рогатиной против ружья. Вот ежели бы приказали выдать нам ихнее оружие, мы бы вдругорядь за себя постояли…

Денис, знавший, что выдача оружия крестьянам без особого разрешения начальства запрещена, все-таки решил взять на себя ответственность и помочь токаревцам.

– А вас сколько таких, что стрелять умеют? – спросил он у крестьянина.

– Да, почитай, десятка три наберется…

– Ну, хорошо… Ружья и патроны я прикажу вам выдать, защищайтесь впредь сами… Только будьте осторожны! Да оповестите всех соседей, что сюда скоро в больших силах наши войска прибудут, пусть никто неприятеля не страшится. А ты, брат староста, – обратился Денис к седобородому плечистому крестьянину с медной бляхой на груди, – имей надзор над всем да прикажи, чтобы на дворе у тебя всегда были наготове три или четыре парня. Ежели завидите большую партию басурманов, пусть эти парни садятся на лошадей и скачут в разные стороны искать меня, – я приду к вам на помощь. Бог велит нам жить мирно между собой и не выдавать врагам друг друга!

Крестьянам речь молодого партизанского начальника пришлась по душе.

– Не сумлевайся, батюшка, мы Христовы заповеди помним, – отвечали старики, – сами послужить тебе рады. Все исполним, как прикажешь!

– Спасибо на ласковом слове, родимый, – низко кланяясь говорили женщины. – Приободрил ты нас, утешил!

А день между тем уже клонился к вечеру. Отправив пленных под конвоем в ближайший город Юхнов для сдачи под расписку местному начальству, Денис, ободренный относительным успехом сегодняшнего поиска, решил не откладывать дела в долгий ящик и сразу же попытать счастья на большой столбовой дороге. Выехав из села, партизанский отряд взял направление на Царево Займище.

Дорога шла лесной опушкой. Гусары и казаки, растянувшись длинной цепью, ехали быстро. В сумерках, не доезжая шести верст до Царева Займища, заметили впереди неприятельский разъезд. Остановив отряд, Денис подозвал урядника Крючкова:

– Как, Данилыч, сумеем весь этот разъезд захватить?

– Почему же нет, ваше высокоблагородие? Попробовать можно! – отозвался Крючков. – Я с десятком доброконных казаков наперерез вдоль лощины пойду, а десяток других прямиком направим…

– Имей, однако, в виду, ежели хоть одного француза упустим, он может поднять тревогу в Царевом Займище и все дело погубить: я бы сам рисковать не стал, да «язык» до крайности нужен. Черт их знает, сколько там войск собрано!

– Постараемся без охулки, выше высокоблагородие… Не извольте беспокоиться!

Казаки помчались. И управились с противником быстро. Разъезд, состоявший из десяти конных егерей при одном унтер-офицере, видя себя окруженным, сдался без боя. От пленных Денис узнал, что в Царевом Займище стоит транспорт со снарядами, прикрываемый сильным кавалерийским отрядом из двухсот пятидесяти человек. Численное превосходство противника не изменило смелого замысла Дениса. Свернув в лес, партизаны стали продвигаться вперед. Но около села они встретились с сорока неприятельскими фуражирами, которые, увидев партизан, быстро поскакали назад, к своему отряду.

Положение создалось рискованное. Фуражиры могли опередить партизан и предупредить своих… Но отступать после сегодняшних успешных дел не хотелось. «Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», – припомнился вдруг Денису один из суворовских советов. И, оставив при пленных тридцать гусар, Денис помчался с остальной своей командой вслед за фуражирами.

В Царевом Займище, куда ворвались партизаны, нападения никто не ожидал. Фуражиры не успели даже сесть на коней. Тех, кто вздумал защищаться, положили на месте. Лишь немногие, пользуясь темнотой, спаслись бегством.

Партизаны захватили еще сто двадцать пленных, несколько фур с патронами и провиантом, а главное – смелое нападение вселило в них уверенность в своем превосходстве над более сильным противником. Спустя три дня отряд Дениса Давыдова, выйдя опять на столбовую дорогу, с не меньшим успехом разгромил в селе Федоровском, близ Вязьмы, другой неприятельский транспорт.

Смелые действия армейских партизан, как и рассчитывал Денис, произвели огромное впечатление на местных жителей. Крестьяне соседних сел и деревень все чаще и чаще присылали к нему своих ходоков, оказывали всяческую помощь. Связь с народом устанавливалась крепкая. И Денис, отправив в главную

квартиру армии рапорты о боевых действиях отряда, серьезно задумался над тем, чтобы из крестьян-добровольцев создать пехотный полк. Однако вскоре представился другой случай пополнить свои силы. Денис получил известие, что в Юхновском уезде простаивают без дела два казачьих полка, находившихся в ведении начальника калужского ополчения. А начальником был не кто иной, как старый знакомый, добрейший и милейший отставной генерал Василий Федорович Шепелев, некогда командир гродненских гусар.

Мысль о том, чтобы взять у него казачьи полки под свою команду, показалась Денису весьма привлекательной. Но как ее осуществить? Денис не сомневался, что просьба о включении казачьих полков в его партию, несмотря на добродушие генерала, будет отклонена, ибо генеральское самолюбие в данном случае возьмет верх над соображением о целесообразности и пользе предложенного мероприятия. Поэтому Денис счел для себя извинительным применение небольшой хитрости. Вечером, на привале, Митеньке Бекетову, которого решил послать к генералу, Денис объявил:

– Мы добровольно поступаем под начальство его превосходительства! Понятно?

Зная, что командир больше всего на свете дорожит самостоятельностью своих действий, Бекетов пришел в удивление.

– Извини, Денис Васильевич, не могу поверить… Ведь тогда придется отказаться от независимости…

Денис рассмеялся, перебил:

– Ничего подобного, Митенька! Дело обстоит не так страшно… Я напишу генералу, что, избрав для своих поисков местность, смежную с губернией его превосходительства, считаю за особое счастье служить под его начальством и доносить обо всем происходящем, а посему прошу подкрепить меня означенными казачьими полками.

– Все же, следовательно, придется подчиняться его распоряжениям?

– Каким? Характер Василия Федоровича мне отлично известен. Он придет в восхищение от моего предложения, даст казаков, затем будет сочинять для меня длиннейшие и глупейшие инструкции, вовсе не обязательные для исполнения, ибо генерал при всех своих превосходных качествах обладает завидной привычкой быстро забывать все им написанное… Ну, а ежели, получая мои рапорты, он возмечтает, будто удары наносятся по его планам и инструкциям, в претензии я не буду… Человек превосходнейший, бог с ним! В общем, друг Митенька, – весело

сказал Денис, похлопывая по плечу Бекетова, – скачи с моим донесением в Калугу. Кланяйся почтительно его превосходительству и возвращайся с предписанием генерала в Юхнов. Я тем временем устрою там для отряда трехдневный отдых и займусь созданием ополчения..

– Не перемудрить бы нам только, Денис Васильевич, – отозвался Бекетов.

– Да, мудрость-то, положим, не бог знает какая! – ответил Денис. – Мы со слабыми своими силами за десять дней триста семьдесят пять французов в плен взяли да на месте сколько положили… А ежели удастся отряд хотя бы раза в три усилить – не на сотни, а на тысячи счет поведем! Отечество, Митя, в обиде на нас не будет.

VIII

Маленький тихий городок Юхнов с веселыми деревянными домиками в садах и широкими немощеными улицами был необычайно возбужден известием о прибытии партизанского отряда Дениса Давыдова.

Большая партия пленных, проследовавшая на днях через город, а также присланные сюда неприятельские фуры с оружием, патронами и военным имуществом достаточно убедили юхновцев в том, что партизанский отряд Давыдова является надежной их защитой. Имя предприимчивого командира повторялось всеми, и, как всегда в таких случаях, сплетая быль с небылицами, обыватели создавали различные истории, якобы связанные с деятельностью Давыдова. Это усиливало общий интерес к нему.

В доме юхновского предводителя дворянства, где с раннего утра от приготовлений стоял дым коромыслом, ожидали Дениса с особенным нетерпением, вызванным, впрочем, причинами более обстоятельными, нежели простое любопытство.

Семидесятилетний хозяин, Семен Яковлевич Храповицкий, полковник в отставке, когда-то служивший в потемкинских и суворовских войсках, обладал большой твердостью духа. Как только район военных действий приблизился к Юхновскому уезду и многие помещики поспешно стали уезжать из своих имений, Семен Яковлевич с негодованием заявил:

– Мне прискорбно глядеть, когда дворянин, забыв честь и совесть, поступает подобным образом… Наш долг, не вдаваясь в панику, помышлять лишь о защите против иноземцев!

Оставшись со всем семейством в городе, Семен Яковлевич, несмотря на почтенные годы, ревностно занялся подготовкой местного ополчения. Помощь ему оказывали шестидесятилетний

брат, мичман в отставке, Николай Яковлевич Храповицкий, а также титулярный советник Татаринов и землемер Макаревич.

Вскоре первый отряд юхновских ополченцев был создан. Он состоял из пятисот жителей города и крестьян, команду над отрядом принял отставной капитан Бельский.

Но оружия отряд не имел. Старинные самопалы, охотничьи ружья и пистолеты, собранные на месте, никого не устраивали. Поэтому неожиданная присылка в город трофейного оружия особенно всех порадовала. И хотя Денис Давыдов строго запретил кому бы то ни было прикасаться к этому оружию без его разрешения, Храповицкий находился в полной уверенности, что при личном свидании с командиром партизанского отряда вопрос будет разрешен благоприятно.

– Помилуйте, государи мои, – говорил предводитель своим помощникам, – мой сын Степан, состоя в павлоградских гусарах и проделав с Денисом Васильевичем всю прусскую кампанию, постоянно с великой похвалой о нем отзывался. Денис Васильевич, государи мои, не оставит в нужде людей, поднявшихся на защиту отечества.

Партизанский отряд, вступивший в город поздним дождливым вечером, нашел у местных жителей самый радушный прием. Для дорогих гостей топились бани, варились пиво и брага, готовилось обильное угощение.

Дом предводителя сиял яркими огнями. Здесь собрались командиры ополчения, именитые горожане и оставшиеся в уезде дворяне. Дениса и офицеров встречали торжественно, с шампанским. Семен Яковлевич, отечески обнимая Дениса, от преизбытка чувств даже прослезился:

– Молодец, молодец! Меня-то, старика, ты не знаешь, а я уже давно знаком с тобою по рассказам сына. Таким и представлял!

Денис, лишь в городе узнавший фамилию предводителя и почему-то не подумавший о возможном родстве его с павлоградским гусаром, изумился:

– Как! Разве я имею честь видеть почтенного родителя доброго друга моего Степана Храповицкого?

– Сынок наш, сынок единственный, – отозвалась, вытирая глаза, жена предводителя Татьяна Харитоновна. – Бывало, как приедет, только о вас и разговору…

– Позвольте! Ведь насколько мне известно, Степан, коего видел я последний раз в Молдавии, служит теперь в армии Тормасова? – спросил Денис.

– Совершенно верно, – подтвердил предводитель. – Майором Волынского уланского полка.

– Месяц назад последнее письмо от него получили, –

вздохнув, добавила Татьяна Харитоновна. – Писал Степушка, что, возможно, пошлют его в нашу сторону вербовать улан, обещал проведать, да, видно, не привел господь…

– А вы знаете, господа, – обратившись к гостям, сказал Денис, – как впервые познакомился я со Степаном Семеновичем?

И тут же, многое по привычке для красного словца прибавляя, Денис рассказал, при каких обстоятельствах пять лет назад морозным январским днем повстречался он со Степаном на Морунгенской дороге.

Между хозяевами и гостями скоро установились непринужденные отношения. Зазвенели бокалы, зазвучали тосты. Денис и офицеры, окруженные общим вниманием, чувствовали себя как дома.

Юхновское ополчение как нельзя более устраивало Дениса. Договориться о дальнейшем людям, стремившимся к одной цели, не представляло особого труда. Вопрос об оружии для местных ополченцев разрешился быстро. Семену Яковлевичу не пришлось даже просить.

Юхновский отряд добровольно поступал под начальство Дениса, передавшего ополченцам отбитое у неприятеля военное имущество и обещавшего в ближайшие дни полностью всех вооружить. Семен Яковлевич и его помощники приняли на себя заботу о снабжении продовольствием всей партии и на собственные средства решили создать в Юхнове лазарет для раненых. Двадцать два помещика согласились служить в ополчении командирами. Через земство решили разослать по всем селам составленную Денисом прокламацию, призывавшую всех жителей встать на защиту отечества.

Денис, довольный столь быстрым осуществлением одного из своих замыслов, впервые за время партизанского кочевья заснул в ту ночь на мягких хозяйских пуховиках безмятежным сном.

… На другой деньк обеду неожиданно приехал Степан Храповицкий. Он мало изменился за последние годы. Разве только раздался в плечах да гуще и пышней стали рыжие усы.

Степан обнял родных и Дениса, встреча с которым его удивила и обрадовала, и тут же объявил:

– Не хочется портить вам настроение, господа, но и скрывать печальную весть не в силах… Москва занята французами!

Известие всех ошеломило. Несколько секунд никто не мог произнести ни слова. Лицо Семена Яковлевича покрылось багровыми пятнами, губы тряслись. На глаза у многих навернулись слезы. Денис, хотя и ожидал этого события и даже доказывал другим, что оно неминуемо, если отступление по Смоленской дороге будет продолжаться, все же почувствовал, как

больно сжалось его сердце и спазмы сдавили горло.

– Как? Москва?.. Отдана без боя? – наконец спросил он, делая усилие, чтобы справиться с охватившим его волнением.

– Да, драться не пришлось, – со вздохом ответил Степан. – На военном совете в Филях позиции для сражения под Москвой были признаны непригодными…

– А что же сталось с жителями?

– Москвичи в большинстве своем выехали, а те, кто остался… разумеется, им придется не сладко… Говорят, солдаты Наполеона устроили неслыханный грабеж и жгут дома… Чуть не за сто верст я видел огромное зарево над городом…

– Матушка наша… первопрестольная… – тихо произнес Семен Яковлевич и, будучи не в силах говорить дальше, поднес платок к глазам, отвернулся в сторону.

– А где же теперь Кутузов и наша армия? – задал новый вопрос Денис.

– Я оставил войска в Красной Пахре, откуда, как мне передавали, светлейший решил продолжать движение для заслона Калужской дороги, – ответил Степан. – Замечательно, что в армии настроение очень бодрое, никто о мире не помышляет…

– Еще бы! Кому же в голову теперь придет мириться со злодеем! – воскликнул Денис, обрадованный хорошей вестью о настроении в армии. – Нет, как хотите, господа, я склонен думать, что наши войска, подкрепленные свежими резервами, и отряды партизанские в скором времени совершенно истребят неприятеля.

– Дай бог, чтоб сбылось по-твоему, – отозвался Семен Яковлевич. – А тяжка, ох, как тяжка для россиянина, государи мои, потеря священного города нашего!

– Позвольте ответить вам, батюшка, – вставил Степан, – словами Кутузова: с потерей Москвы не потеряна Россия!

– Вот голос истинной мудрости, господа! – добавил Денис. – Не будем унывать и охлаждать рвения своего к защите того, что нам защищать надлежит…

Понемногу все успокоились. Общий разговор оживился. Степан, ни на шаг не отходивший от Дениса, узнав о всех подробностях партизанских поисков, сразу загорелся желанием во что бы то ни стало принять в них участие.

– Как хочешь, Денис Васильевич, а меня под свою команду бери, – заявил он. – Я ведь, сам знаешь, в партизанстве кое-что смыслю!

– Я-то возьму с большой радостью, – ответил Денис, – да как начальство твое уломать?

– Очень просто. Я прибыл в распоряжение генерала

Шепелева; если ты напишешь от себя ходатайство Василию Федоровичу, он, не сомневаюсь, все устроит. Тем более обстоятельства таковы, что некоторые формальности легко обойти.

– Хорошо, – согласился Денис. – Только, думается, в Калугу следует поехать тебе самому.

– Разумеется. Сегодня же туда отправлюсь.

– Кстати, если Бекетов не успел еще ничего добиться, может быть, сумеешь помочь ему. На всякий случай захватишь для его превосходительства Василия Федоровича второе мое красноречивое объяснение пользы единства в действиях. Бекетов что-то задержался. Я, признаться, опасаюсь, не заупрямился ли наш добрейший генерал?..

Опасения, однако, не оправдались. Начальник калужского ополчения к предложению Дениса отнесся благосклонно, партизанский отряд под свое начальство милостиво принял и казачьи полки к нему присоединил. А Бекетова задержал на сутки потому, что в самом деле имел пристрастие к пространным поучениям. Засев в кабинете, он занялся сочинением подробнейшей, на десяти листах, инструкции для партизан.

Получив это послание, Денис прочитал только начальные строки:

«Все свершилось, Москва не наша, она горит! Я от 6-го числа из Подольска, от светлейшего, имею уверение, что он, прикрывая Калужскую дорогу, будет действовать на Смоленскую. Ты не шути, любезный Денис Васильевич, твоя обязанность велика, прикрывай Юхнов и тем спасешь средину нашей губернии, но не залетай далеко, а держись Медыни и Мосальска. Мне бы хотелось, чтобы ты действовал таким образом…»

Дальше излагались столь глубокомысленные, но, увы, совершенно непригодные для партизанских действий мысли, что чтение пришлось отложить до более свободного времени. Совет генерала «прикрывать Юхнов и не залетать далеко», вызванный желанием сохранить воинскую силу для защиты своей губернии, был понятен, но невыполним. Во-первых, сосредоточив свои действия в определенном районе, партизанский отряд стал бы подвергаться большой опасности; во-вторых, вся суть партизанской войны состояла в том, чтобы залетать далеко, наносить удары неприятелю в самых неожиданных местах, нападать, расстраивать его коммуникации, а не ограничиваться защитой одной местности.

Конечно, вступать в бессмысленный спор с генералом о партизанской тактике не было никакой нужды. Получив предписание принять под свое начальство майора Храповицкого и

требуемые казачьи полки, Денис ни одной лишней минуты в Юхнове не задержался. Местное ополчение пока оставил в селе Знаменском. Капитану Бельскому впредь до получения полного комплекта оружия приказал производить усиленные учебные занятия. А сам со своей кавалерией двинулся на Вязьму, где квартировал тогда смоленский губернатор Бараге д'Илье.

Хотя казачьи полки оказались малочисленными (Бугский, находившийся под командой майора Чеченского, состоял из ста казаков; Тептярский, под командой майора Темирова, насчитывал всего шестьдесят человек), отряд значительно усилился. Пять дней назад под начальством Дениса находилось лишь пятьдесят гусар и восемьдесят казаков. Теперь он командовал тремя сотнями и имел все основания рассчитывать на пехотные резервы, подготовляемые из ополченцев. В голове Дениса созревали широкие и дерзкие замыслы. Все улыбалось пылкому его воображению. И знай добрейший генерал Шепелев, в каких далеких залетах обретались сейчас мысли командира партизанского отряда, он, наверное, пришел бы в ужас!

13 сентября, ранним, утром, партизаны лихо и стремительно атаковали в виду города Вязьмы большой неприятельский отряд, прикрывавший транспорт с провиантом и снарядами. Отпор был незначителен. Истребив свыше ста французов, партизаны взяли в плен шесть офицеров и двести семьдесят рядовых, отобрали триста сорок ружей, захватили двенадцать палубов со снарядами и патронами, двадцать провиантских фур.

Отправив пленных в Юхнов, а оружие и патроны в Знаменское, отряд пересек столбовую дорогу и двинулся по направлению к Гжатску. Разгромив на следующий день близ села Торбеево другой крупный неприятельский обоз, взяв при этом двести шестьдесят пленных и много оружия, отряд круто повернул назад и, скрытно пройдя свыше ста верст, снова вышел на большую дорогу у села Юренево, западнее Вязьмы. Проведав, что здесь ночует транспорт под прикрытием трехсот кавалеристов, Денис Давыдов произвел под утро обычную атаку, но… потерпел первую неудачу. Оказалось, ночью транспорт из Юренева ушел, а село заняли три батальона неприятельской пехоты. Основываясь на вечерних показаниях «языков», партизаны смело ворвались в село и попали под сильнейший огонь. Правда, майору Чеченскому с бугскими казаками, ударившими с тыла, удалось растрепать один из батальонов и захватить сто двадцать пленных, однако силы неприятеля настолько превосходили силы партизан, что волей-неволей пришлось отступить, потеряв при этом тридцать пять человек убитыми.

Этот урок не прошел даром. Он научил Дениса более

тщательно производить разведку и с крайней осторожностью штурмовать селения, занятые пехотой.

Вечером того же дня Давыдов получил донесение, что в одной из деревень расположилась на ночлег партия русских пленных, конвоируемая французской кавалерией и пехотой. На этот раз Денис применил новую тактику нападения. Устроив отряд в засаде, в полуверсте от деревни, он приказал уряднику Крючкову с шестью казаками приблизиться как можно ближе к неприятелю, произвести несколько выстрелов и возвращаться обратно.

Денис рассчитывал, что стрельба вызовет переполох, принудит неприятеля искать другое место для привала. И не ошибся.

Едва казаки произвели выстрелы и удалились, как весь транспорт выступил из деревни, растянулся по дороге. Внезапный налет из засады, произведенный партизанами, позволил легко управиться с конвоем. Четыреста отбитых пленных со слезами на глазах благодарили своих избавителей. Все они выразили желание вступить в партизаны. Денис отобрал двести пятьдесят человек и создал целую пехотную роту, поручив начальство над ней отставному мичману Николаю Яковлевичу Храповицкому.

После этого партизанский отряд, обремененный огромной добычей, остановился для краткого отдыха в селе Городище и соседней деревне Луги на реке Угре, недалеко от Знаменского. За неделю партизаны взяли в плен пятнадцать офицеров и девятьсот восемь рядовых, захватили тридцать шесть палубов со снарядами и патронами, сорок провиантских фур, сто сорок четыре вола и больше двухсот лошадей.

Послав об этом рапорт в главную квартиру армии и не позабыв уведомить также генерала Шепелева, Денис помчался в Знаменское для личного осмотра ополчения.

Капитан Бельский встретил его радостным сообщением:

– Пятьсот человек полностью готовы к походу, Денис Васильевич. Помимо этого, вооружено еще полторы тысячи новых ополченцев, стоящих в соседних деревнях. Рвение крестьянства к защите отечества столь велико, что в случае нужды мы сможем поставить под ружье не менее шести тысяч.

– А как обстоит дело с командирами? – осведомился Денис.

Настроение капитана Бельского мгновенно изменилось. Лицо приняло почти сердитое выражение.

– Плохо, Денис Васильевич, скрывать нечего. Служившим в солдатах старикам приходится поручать взводы.

– Где же помещики, изъявившие согласие служить?

– Предпочли остаться дома, довольствуясь ношением

охотничьих кафтанов и пистолетов за поясом, – иронически заметил Бельский.

– Как? Все до одного?

– Кроме известных вам господ Татаринова и Макаревича, кои с усердием начальствуют над ротами.

Поведение местного дворянства до такой степени возмутило Дениса, что он воскликнул:

– Ах, канальи! Под суд бы отдать за потерю дворянской чести!

И тут же вспомнилось Денису, как несколько дней назад в селе Теплухе, где заночевали партизаны, к нему явился пожилой, невысокого роста крестьянин в худом зипуне и лаптях. Звали его Федором Клочковым. Он был дворовым человеком господ Кирсановых, проживавших близ Царева Займища и при первом слухе о приближении неприятеля бежавших в столицу. Федор поступил иначе, чем его господа. Когда французы вошли в деревню, он впустил к себе нескольких солдат, напоил водкой и брагой, а ночью, закрыв окна ставнями, а двери добрыми засовами, поджег избу, затем бежал в лес, где заранее были укрыты жена и дети. Так сделали и другие крестьяне села.

И теперь Федор, оставив семью, пришел просить, как великой милости, позволения служить в армейском партизанском отряде.

– Зачем же тебе, любезный, непременно в наш отряд хочется? – сказал Денис. – Поступал бы в ополченцы, а мы люди военные… Слышал небось про ополчение?

– Слыхал… Да ведь там когда еще бог приведет переведаться с неприятелем, а тут всегда на тычку! – ответил Федор.

– Ну, если уж так любишь воевать, тогда в солдатах служить надо…

Федор поднял светлые кроткие глаза и неожиданно признался:

– Да что, ваше высокоблагородие, какой из меня солдат! По мне, сроду бы не воевать – куда лучше! Мы спокон веков на своей земле сидим, пашем, да сеем, да хлеб собираем, никого не обижаем, оттого мирянами и прозываемся…

– Но ты же сам только что высказал желание поскорей с неприятелем переведаться! – перебил Денис, несколько озадаченный признанием.

– Тут уж такой случай, – ответил Федор. – Как вора не бить, коли он в твою избу лезет? До сердца довели лиходеи… Вон бабы и те за вилы берутся… – И, чуть помедлив, добавил: – Я у покойного старого барина в охотниках ходил. И стрелять научен, и на конях езживал, и все места окрест мне известны, куда хошь приведу и выведу… Пригожусь вашей милости!

Последний довод оказался самым существенным. Денис оставил крестьянина при отряде. И скоро убедился, что приобрел не только хорошего проводника, но и прекрасного разведчика. В последних поисках Федор, не уступая в ловкости Крючкову, достал трех «языков», завоевав среди партизан славу храбреца.

«Насколько же простой народ возвышается в любви к отечеству над некоторыми потомками древних бояр», – подумал Денис, вспомнив этот случай.

А капитану Бельскому сказал:

– Делать нечего. Не желают господа дворяне помогать, без них обойдемся. Я дам вам нескольких ефрейторов и унтеров из отбитой нами партии пленных.

IX

Петр Петрович Коновницын, назначенный дежурным генералом главной квартиры, знал Дениса Давыдова как храброго, опытного, исполнительного офицера. Получив поздним вечером в Красной Пахре первый рапорт об успешных действиях партизанского отряда в районе Царева Займища, Коновницын поспешил доложить об этом Кутузову.

– Я полагаю, ваша светлость, – добавил от себя Коновницын, – похвальное начало подполковника Давыдова заслуживает всяческого внимания. Выделение нескольких подобных армейских партизанских отрядов для действий в тылу и на флангах противника представляется мне мерой вполне разумной…

– Согласен, согласен, голубчик, – одобрительно кивнул головой Кутузов. – Сам постоянно об этом думаю… Дело нужнейшее! Давай-ка попробуем отрядить еще генерал-майора Дорохова, он давно уже счастья попытать охотится… А уж там, как дальше поступить, – посмотрим! Да в приказах-то, голубчик, – тяжело вздохнул Кутузов, – легкие эти отряды партизанскими именовать воздержись. В Петербурге всему свое толкование дают. Как еще кому взглянется!

Оставшись один, Михаил Илларионович еще раз прочитал рапорт Давыдова, оставленный на столе Коновницыным, и, усевшись поудобнее в глубокое кресло, по привычке скрестив руки на животе, погрузился в размышления.

В огромной пользе, какую могут принести партизанские отряды, главнокомандующий не сомневался. Партизанская система при том положении, в каком находилась неприятельская армия, являлась одним из лучших способов быстрее истребить живую силу и материальные средства противника. Но существовали причины, требовавшие осторожности при разрешении этого вопроса. Получивший после Бородинского сражения чин фельдмаршала и как будто облеченный всей полнотой власти, Кутузов продолжал постоянно чувствовать скрытое недоброжелательство к себе императора Александра, особенно усилившееся после оставления Москвы.

Кутузов не искал ни чинов, ни почестей и не стремился к тому, чтоб заслужить царское благоволение. Кутузов, более всего дороживший доверием народа и войска, ставил перед собой задачу: с наименьшими потерями и жертвами для русских поскорее освободить от неприятеля отечество, истребить чужеземцев, посягнувших на честь и независимость отчизны. И все свои, силы, обширные знания и богатый военный опыт

отдавал на выполнение этой задачи. Он был уверен, что при Бородине неприятельской армии нанесена смертельная рана, что в Москве эта армия станет разлагаться, что Наполеон вынужден будет рано или поздно начать отступление.

Кутузов с необычайной дальновидностью предвидел и то, что Наполеон, оставив Москву, попытается прежде всего прорваться на Калугу, в плодородные, не истощенные войной районы, и поэтому заранее принял меры, чтобы сорвать этот план, заставить неприятеля возвращаться обратно по разоренной Смоленской дороге.

Сохраняя в тайне свои планы, Кутузов на военном совете в Филях заявил, что намерен продолжать движение на Рязань, но, как только русские войска дошли до Боровского перевоза, неожиданно приказал повернуть к Подольску, затем вывел всю армию на Калужскую дорогу в районе Красной Пахры.

Этот блестящий фланговый маневр был совершен так внезапно, что французы потеряли даже след русской армии и Наполеон лишь через двенадцать суток узнал, где она находится.

Заняв важнейший стратегический путь, пользуясь временной передышкой, Кутузов деятельно развернул подготовку к предстоящему контрнаступлению. В то время как силы французов истощались, русская армия беспрерывно пополнялась свежими резервами, артиллерией, снарядами, продовольствием.

И каждый русский солдат понимал, что Кутузов действует правильно, что соотношение сил начинает складываться в пользу русских и час окончательной расплаты с врагом приближается, В лагере солдаты уже распевали новую, только что сочиненную песню:

Хоть Москва в руках французов,
Это, братцы, не беда:
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда.
Свету целому известно,
Как платили мы долги,
И теперь получат честно
За Москву платеж враги.

Однако вероломный и двуличный император Александр, по-прежнему окруженный бездарными иностранными «теоретиками», не понимал, не ценил усилий Кутузова и всячески мешал осуществлению его замыслов.

Вместо благодарности из Петербурга сыпались строгие наставления и выговоры. Александр и его советники укоряли

Кутузова в бездействии, требовали, не считаясь ни с чем, немедленных наступательных действий, присылали различные планы, один бессмысленнее другого. В штабе сидели царские шпионы, доносившие о каждом шаге фельдмаршала. Начальник главного штаба Беннигсен, мечтавший занять место главнокомандующего, возглавлял партию враждебно настроенных к Кутузову людей. Беннигсена неизменно поддерживал старый его приятель сэр Роберт Вильсон, как и в прошлую кампанию состоявший военным агентом английского правительства при русской армии.

Политика Англии как союзного государства особенно раздражала Кутузова. «Экие ведь подлецы, – непочтительно думал о союзниках фельдмаршал, – ни обещанной военной поддержки, ни оружия – ничего от них не видим, а этот ихний сэр Вильсон хозяином себя чувствует… Подгонять нас изволит с наступлением! Оно понятно, крови русской им не жалко; пожалуй, чем более силы наши истребятся, тем и выгодней для них, барышников».

И когда Беннигсен попробовал оправдать бездеятельность союзников, Кутузов, не сдержавшись, сказал:

– Мы никогда с тобой не сойдемся, Леонтий Леонтьевич. Тебе английские интересы дороже всего на свете, а по мне, если ихний остров проклятый завтра на дно моря пойдет, я и не охну…

Беннигсен не замедлил передать эти слова своему приятелю, и взбешенный сэр Вильсон в тот же день написал царю жалобу. Значит, следует ожидать новой неприятности!

Одним словом, обстановка сложилась такая, что просить императора о дозволении учредить армейские партизанские отряды представлялось делом рискованным. Ведь известно, что царь не выносит даже самого слова «партизан», ощущая в нем признаки проявления свободы и независимости действий. Что же касается народных партизанских выступлений против неприятеля, то они так встревожили Александра, что он особым рескриптом повелел губернаторам «отбирать ружья у поселян». Надо же до этого додуматься!

Взяв на свою ответственность создание первого армейского партизанского отряда Дениса Давыдова и разрешив выделить под командой генерала Дорохова второй отряд, Кутузов не счел нужным уведомить об этом императора. Но он ясно понимал, что так или иначе царя необходимо поставить в известность о создании этих отрядов, узаконить их существование, тогда можно будет более смело и широко поддерживать все партизанское движение.

11 сентября, будучи еще в Красной Пахре, Михаил

Илларионович, получивший первое донесение от Дорохова об успешном нападении на французов, в самой осторожной форме, избегая ненавистного для царского уха слова, сообщил:

«Для действия на тыл неприятельский я, под командою генерал-майора Дорохова, послал 9 сентября сильный отряд, от которого имею сегодня рапорт, что он успел уже взять шесть офицеров и двести рядовых. Между тем Ахтырского гусарского полка подполковник Давыдов со 150 человек легкой кавалерии уже давно живет посреди неприятеля между Гжатска и Можайска и удачно действует для прегражденія неприятельских коммуникаций».

Не получив на это письмо никаких возражений со стороны императора, фельдмаршал приказал создать еще несколько армейских отрядов. И вскоре эти отряды под командой Фигнера, Сеславина, Ефремова, Вадбольского, Чернозубова и других отважных офицеров вместе с крестьянскими дружинами, плотным кольцом окружив Москву, ежедневно стали выводить из строя сотни солдат противника.

Кутузов внимательно следил за действиями армейских отрядов, часто сам составлял для них инструкции, давал маршруты.

А в двадцатых числах сентября, вызвав генерала Коновницына, сказал ему:

– Войну сию партизанскую решил я именовать впредь войной малой… Отряды наши легкие и дружины крестьянские дают мне ныне более способов истреблять неприятеля, нежели действия большой армии, движения коей в осеннее время затруднительны… Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает![28]

– Справедливое мнение, ваша светлость, – отозвался Коновницын. – Армейские отряды ежедневно неприятеля ослабляют… Сегодня второй рапорт от подполковника Давыдова получен…

– Ну что у него? – оживился фельдмаршал. – Доложи, доложи, любопытно…

– За прошедшую неделю в районе Вязьмы несколько транспортов неприятельских уничтожено, свыше девятисот пленных захвачено…

– Ах, молодец какой! Славно, похвально! – одобрил Кутузов. – Напиши-ка ему, голубчик, про мою совершенную признательность… Да пора, пожалуй, и в полковники его представить… Как твое мнение?

– Вполне заслужил, ваша светлость.

– Да… Вот говорят, будто он стихами своими сам себе много повредил, – тихо произнес Кутузов. – Может быть, и не всем

понравится повышение Давыдова в чине, зато совесть моя чиста будет… Офицер боевой, храбрый… За отечество жизни не щадит… А быль молодцу не укор![29]

… Армейские и народные партизанские отряды во многом различались. Армейские отряды, создаваемые Кутузовым, находились под общим его командованием, действовали главным образом на основных дорогах и по планам, разработанным в главном штабе. В одном из первых официальных известий об армейских отрядах, напечатанном в «Журнале военных действий», сообщалось:

«Все разосланные партии хотя и находятся в различных от армии направлениях, но не менее того составляют между собою непрерывную связь, что удобно видеть можно, сообразя взаимное их положение. От Смоленска до Гжатска действует подполковник Давыдов, от Гжатска до Можайска генерал-майор Дорохов, а от Можайска до Москвы капитан Фигнер. Удачные нападения на неприятеля и множество пленных, доставшихся сим начальникам в то время, когда они имели малые токмо отряды, ручаются за верный и надежный успех, который им ныне предстоит, тем более что теперь партии их противу прежних гораздо сильнее и что они, как выше упомянуто, находятся между собою в связи и действуют согласно, по одному плану и к одной цели…»

Командирам армейских отрядов представлялась, правда, возможность проявлять собственную инициативу при нападениях, однако совершались эти нападения в районах, указанных командованием, зачастую дававшим тому или иному командиру и особые боевые задания.

Народные партизанские дружины и отряды возникали стихийно, без приказа начальства, в действиях своих были вполне независимы. В подавляющем большинстве отряды эти состояли из крестьян, вооруженных чем попало. Действовали они в своей местности, производя нападения на небольшие транспорты, фуражиров и мародеров. Иногда, если выслеженная неприятельская команда была велика, партизанские крестьянские отряды соединялись или доносили об этом ближайшим армейским отрядам, связь с которыми была установлена самая прочная. Армейские отряды по распоряжению Кутузова снабжали крестьян отбитым у неприятеля оружием и военным имуществом, инструктировали их командиров. Крестьяне-партизаны доставляли своим друзьям-армейцам, если имелась нужда, продовольствие, служили проводниками и лазутчиками, всегда охотно принимали участие в совместных нападениях.

Впрочем, некоторые крестьянские отряды, руководимые талантливыми, предприимчивыми людьми, численно вырастая и

укрепляясь, выходили за пределы своей местности, вступали в бой с крупными неприятельскими силами. К числу таких принадлежал отряд Герасима Курина, действовавший в Богородском уезде, Московской губернии.

Когда войска маршала Нея заняли Богородск и шайки мародеров рассыпались по уезду, отбирая у населения хлеб, скот и фураж, крестьянин села Павлова, Вохтинской волости, Герасим Курин собрал мирской сход и призвал всех крестьян защищаться против «нехристей». Мир единодушно поддержал Герасима, и тут же из двухсот человек составилась боевая партизанская дружина. Командиром избрали Курина; он славился как человек смелый, грамотный, умный. Старики, женщины и дети ушли в леса, а партизаны открыли действия против неприятеля. Так как во всех стычках с французами Герасим Курин почти всегда оказывался победителем, весть о нем разнеслась по всем окрестным деревням и селам, откуда сотнями повалили к нему добровольцы. Скоро Герасим Курин располагал уже целым войском: у него было пять тысяч восемьсот партизан, из них пятьсот конных. Вооружение отряда состояло из отбитых у неприятеля ружей, пистолетов и сабель, а также из самодельных пик.

Встревоженный действиями партизан, маршал Ней послал большую карательную экспедицию в составе двух эскадронов гусар и нескольких подразделений пехоты. Курин решил встретить неприятеля, дать ему «генеральное сражение».

Ранним пасмурным утром, отслужив молебен, партизаны вышли навстречу французам. Тысячу человек пехотинцев под начальством своего помощника крестьянина Стулова Курин оставил в засаде у села Меленки, а конных партизан спрятал в Юдинском овражке, недалеко от села Павлова.

В полдень показалась французская кавалерия, а следом за ней – пехота. Партизаны, расположившиеся в небольших окопах, встретили противника дружным ружейным огнем. В это время откуда-то сбоку выскочили конные партизаны. Гусары погнались за ними и, разгоряченные преследованием, не заметили, как очутились у засады. Партизанская пехота, ударила с флангов, а конный отряд с тыла. Основные силы во главе с Куриным дрались с неприятельской пехотой. Бой был жестокий. Партизаны держались стойко, не отступали ни на шаг. Герасим Курин, управлявший боем, убил трех солдат противника. Стулов заколол пятерых. Наконец неприятель не выдержал, побежал. Однако спастись удалось лишь нескольким гусарам.

Узнав о результатах этого боя, Кутузов вызвал к себе Герасима, при всех обнял, наградил георгиевским крестом.

В Смоленской губернии, где народная война разгорелась

особенно жарко, тоже существовало несколько таких отрядов, снискавших широкую известность.

Гусар Елизаветградского полка Федор Потапов, тяжело раненный в арьергардном бою под Вязьмой, был подобран и укрыт в лесу местными крестьянами. Едва встав на ноги, Федор Потапов, по кличке Самусь, собрал небольшой партизанский отряд, который вскоре благодаря успешным действиям насчитывал уже три тысячи человек. Потапов разделил людей на роты и взводы, установил крепкую дисциплину и стал обучать партизан военному делу. Во всех ближних селах завел удивительный порядок: маяки, условные приметы и звон в различные по величине колокола извещали о приближении неприятеля, о его силах, сообщали, что нужно делать партизанам – прятаться или выступать, пешком или на лошадях. Разбив эскадрон французских кирасир, Потапов одел в их латы двести партизан. А разгромив несколько неприятельских транспортов, он превосходно вооружил свою пехоту. Достал даже пушку.

За короткий срок отряд уничтожил больше трех тысяч чужеземцев.

С не меньшим успехом в Гжатском уезде действовал отряд, созданный драгуном Ермолаем Четвертаковым. Офицеры французских частей, имевшие боевые столкновения с Четвертаковым, поражались его искусству и никак не хотели верить, что командир партизанского отряда простой солдат. Французы считали его офицером в чине не ниже полковника.

В деревнях Сычевского уезда собирала свою дружину Василиса Кожина. Муж ее был сельским старостой. Его взяли на войну. Хату Кожиных сожгли французы.

Василиса принимала под свою команду не только мужчин, но и женщин, их насчитывалось в отряде не менее пятидесяти.

Дружина нападала главным образом на небольшие транспорты. За все время она уничтожила и захватила в плен свыше четырехсот неприятельских солдат.

Однажды Василиса с тремя своими дружинницами конвоировала большую партию пленных. И когда по дороге один из них вздумал сопротивляться, стал подбивать своих товарищей на бунт, Василиса живо расправилась с ним и грозно прикрикнула на остальных:

– Всем вам будет то же, если вздумаете бунтовать! Уж я двадцати семи таким голубчикам сорвала головы! Марш в город!

Смоленскому губернатору Бараге д'Илье действия партизан не давали покоя ни днем ни ночью. Еще 8 сентября он написал начальнику главного французского штаба маршалу Бертье: «Число и отвага вооруженных поселян, по-видимому,

увеличиваются; в глубине области 3 сентября крестьяне деревни Клушино, что возле Гжатска, перехватили транспорт с понтонами, следовавший под командою капитана Мишеля. Поселяне повсюду отбиваются от войск наших, режут отряды, которые мы вынуждены посылать для отыскания пищи. Эти неистовства, чаще всего происходящие между Дорогобужем и Можайском, достойны, по моему мнению, внимания вашей светлости. Необходимо тотчас взять меры к прекращению новых беспокойств, возбуждаемых крестьянами, или примерно наказать их наглость за прошедшие преступления».

Не дожидаясь ответа на это письмо, губернатор послал в Клушино для наказания дерзких крестьян эскадрон кавалерии и роту пехоты, но через три дня от отряда осталось несколько человек, остальных истребили партизаны.

А вслед за этим неприятным известием губернатор получил другое, более тревожное. Партизаны до того осмелели, что появились близ Вязьмы и открыто напали на большой транспорт, разбив наголову два батальона прикрытия.

Взбешенный губернатор вызвал к себе жандармского полковника Жерара, приказал:

– Установите немедленно личность предводителя банды, совершившей сегодняшнюю диверсию. Надо во что бы то ни стало поймать и примерно наказать этого негодяя.

– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, – ответил Жерар, – произведенное мною предварительное расследование неопровержимо доказывает, что неприятельский отряд, разбивший сегодня наш транспорт, не принадлежит к числу обычных крестьянских банд. Он состоит из регулярных кавалерийских и казачьих частей, посланных в наш тыл, по всей видимости, русским командованием.

Губернатор посмотрел на полковника удивленными глазами, наморщил лоб.

– Гм… Новость, признаюсь, не из приятных, полковник. Что же вам удалось узнать, кроме этого?

– Отряд насчитывает около трех сотен кавалеристов. Операции производит в Гжатском и Вяземском районах. Командует им некий Денис Давыдов.

– Звание?

– Подполковник одного из гусарских полков.

– Вот как! А приметы не обнаружены?

– Судя по показаниям одного из наших солдат, случайно бежавшего из плена, подполковник Давыдов мал ростом, черноволос, подвижен, голос имеет весьма тонкий, носит мужицкий кафтан…

– Превосходно! Благодарю за усердную службу! – сказал губернатор. – Сегодня же поставлю в известность всех начальников наших воинских команд. Можно объявить награду за поимку этого Давыдова… А вас попрошу, полковник, взять на себя формирование особой экспедиции для очищения от партизан Гжатского и Вяземского районов Пора положить предел безобразиям! Вы получите в свое распоряжение две тысячи человек. Я даю лучшие войска, коими сам располагаю. Что вы скажете?

– О! С такими силами можно иметь успех, ваше превосходительство, – отозвался довольный полковник.

– Да, я тоже так полагаю. И надеюсь, вам скорее других посчастливится встретить и захватить разбойника Давыдова.

– Лишь бы напасть на его след, ваше превосходительство. Доставлю живым или мертвым!

X

Как-то ранним утром Денис, ночевавший вместе с Бедрягой и Бекетовым в Городище, получил с курьером, возвратившимся из Калуги, письмо от брата Левушки.

Давно Денис не имел известий от своих родных. И сейчас, сидя на кровати, он нетерпеливо разорвал пакет, прочитал несколько строк и вдруг, прикрыв лицо руками, глухо зарыдал.

Офицеры вскочили, забеспокоились:

– Что случилось, Денис? Несчастье?

Денис медленно поднял голову, не сдерживая катившихся по лицу слез, ответил кратко:

– Багратион… незабвенный благодетель мой… скончался…

Смерть Багратиона до глубины души потрясла Дениса. Он постоянно справлялся о здоровье князя, знал, что после ранения Багратион был отправлен в село Симы, Владимирской губернии, в имение своей тетки, княгини Голицыной. И лишь несколько дней назад порадовала весть, что Багратион начал поправляться и уже передвигается на костылях по комнате.

Теперь же Левушка, снова ставший адъютантом Раевского, сообщал, что князь, услышав о занятии Москвы французами, в гневе сорвал с себя повязки, растравил раны, вызвав гангрену. Смерть последовала 12 сентября.

Денис, всегда с гордостью вспоминавший о своей службе у Багратиона, восхищавшийся им как замечательным полководцем суворовской школы, горячо любивший его как человека прекрасной, большой души, искренне и глубоко переживал тяжелую утрату.

Но предаваться горестным мыслям пришлось недолго. Казачий пикет, стороживший проселочную дорогу, ведущую в село Городище из Дорогобужа, известил о приближении двух неприятельских колонн.

– Вот случай, господа, поражением врагов отдать воинскую почесть праху великого героя, – сказал Денис офицерам, облачаясь в свой походный кафтан и пристегивая саблю.

В Городище стояли ахтырские гусары под командой Бедряги и Бекетова, а также пехотная рота старика мичмана Храповицкого. Остальная кавалерия, под начальством Степана Храповицкого и Чеченского, ночевала в соседней деревне Луги. Послав туда приказ ударить на неприятеля с тыла, Денис вывел гусар и пехоту на окраину села, укрыв часть войск за избами.

Вскоре на дороге в клубах пыли показалось около четырехсот французов. Встреченные у околицы ружейным огнем, они попятились, отстреливаясь, начали отступать к роще, примыкавшей к мелководной реке Угре, за которой тянулся сплошной лес до Мосальска.

– С богом, ребята! В штыки! – скомандовал старик Храповицкий своей пехоте и с саблей в руке первым бросился за отступающим неприятелем. Рота с криком «ура» последовала за командиром. Обгоняя друг друга, солдаты ворвались в рощу на плечах французов, имевших намерение перебраться через реку и скрыться в лесу.

В это время показалась кавалерия во главе со Степаном Храповицким. Разгадав замысел противника, он обскакал со своим отрядом рощу и, став между рекой и рощей, отрезал неприятелю путь отступления. Видя себя окруженными, французы начали сдаваться. Партизаны взяли в плен пять офицеров и триста тридцать рядовых.

Возвратившись в Городище и отправив по распоряжению генерала Шепелева Тептярский полк в Рославль, Денис в тот же день со всей остальной кавалерией и пехотой выступил в направлении села Федоровского, близ Вязьмы, где однажды разгромил неприятельский транспорт.

Погода последние дни стояла теплая, сухая. Ранними утрами, правда, ощущалась осенняя свежесть, а в полдень солнце припекало совсем по-летнему. Отряд продвигался по лесу. Было тихо, приятно пахло грибами и прелой листвой. На деревьях между оголенными ветвями, серебрилась паутинка; посвистывая, порхали синицы. На полдороге до Федоровского отряд устроил привал близ деревни Слукино, разбросавшей свои ветхие, крытые соломой избенки по берегам извилистого и узкого ручья.

Позавтракав с офицерами, Денис улегся отдохнуть и только

что задремал, как из деревни возвратился неутомимый Иван Данилович Крючков. Вместе с ним на рослых кавалерийских французских лошадях приехало шесть неизвестных вооруженных всадников в самом разнообразном одеянии. Впереди одного из них, со связанными назад руками, полусогнувшись, сидел молоденький, с черными усиками французский офицер.

Подскакав к Денису, Крючков доложил:

– В деревне местные конные партизаны стоят, ваше высокоблагородие. Человек сто. Командир ихний со мною до вас напросился.

Офицеры с любопытством оглянулись. Рослый, плотный партизан с круглым, помеченным оспинами лицом и живыми глазами, ехавший впереди других, молодцевато, с хорошей военной выправкой, соскочив с лошади, сделал шаг вперед и, приложив руку к козырьку солдатской фуражки, представился:

– Киевского драгунского полка рядовой Ермолай Четвертаков!

Денис, слышавший мельком об отряде Четвертакова, посмотрел на драгуна с большим интересом. Скомандовал «вольно», спросил:

– А ты как же, любезный, в партизанах-то очутился?

– Поранили меня в грудь под Царевым Займищем и в полон забрали, ваше высокоблагородие, – неторопливо и толково отвечал Четвертаков. – А караулы у хранцев не дюже крепкие, я ден пять у них побыл да и в лес ушел… А куда дальше деваться – не знаю, а без дела солдату сидеть вроде стыдно… Вот и обдумал в деревне Басманы мужиков под свою команду принять…

– А в какой армии с полком своим находился? – спросил Денис, желая удостовериться в правдивости драгуна.

– Во второй его сиятельства князя Багратиона, – четко отрапортовал Четвертаков и, очевидно разгадав смысл вопроса, улыбнулся: – Не извольте сомневаться, ваше высокоблагородие. Вам, конечно, меня заприметить трудно было, а я вас давно знаю… Вместе с ахтырскими гусарами до города Смоленска идти пришлось.

– А в бою под Миром был?

– Как же! Наш эскадрон в ту пору, как гусары вашего высокоблагородия бой с уланами у лесочка завязали, первым прибыл к вам на подмогу. Тут и видеть привелось, как вы хранцев-то рубили!

– Да, дрались там славно, – вздохнул Денис и добавил тихо, с грустью: – Скончался наш князь Багратион…

Лицо Четвертакова приняло растерянное выражение. Он сделал шаг назад, заморгал глазами:

– Да неужто так, ваше высокоблагородие?

Денис подтвердил. На глазах Четвертакова выступили слезы. Он медленным движением руки снял фуражку, перекрестился.

– Царство небесное… Батюшка наш, отец солдатский…

Между тем партизаны сняли пленника с лошади, развязали, подвели к Денису. Француз, разминая затекшие руки, беспокойным взглядом смотрел почему-то на верхушки деревьев, предполагая, очевидно, что его хотят повесить.

Четвертаков, обтерев лицо рукавом рубахи, пояснил, что его отряд, насчитывающий свыше двух тысяч человек, обычно пленных не берет, но этого офицера выхватили третьего дня из большой неприятельской партии, чтобы проведать, куда она направляется. А так как разговаривать с французами в этой местности может лишь один старик Назарыч, бывший прежде с барином за границей и проживающий сейчас в Слукине, то пленника и привезли к нему. Француз рассказал, что часть, к которой он принадлежит, сформирована недавно в Вязьме для уничтожения партизан, и в первую очередь отряда Дениса Давыдова, приметы которого указаны всем командирам.

– Мы к вашему высокоблагородию сами хотели сегодня пленного отправить, – заключил Четвертаков, – да как раз казаков ваших повстречали.

– А ты разве знал, где я нахожусь? – спросил удивленный Денис.

– Слух давно о вас имеем… А по деревням здешним всюду наши партизаны. Разыскали бы!

Допросив француза и узнав подробности об экспедиции полковника Жерара, Денис изменил первоначальный план нападения. Необходимо было принять меры предосторожности от возможных случайностей, установить наблюдение за неприятельским отрядом, который, по словам пленного, сделал бесполезный маршрут в сторону Гжатска и теперь направился к Семлеву, верстах в двадцати пяти западнее Вязьмы. И потом… в голове Дениса зародилась дерзкая мысль выследить неприятеля и самому напасть на него врасплох, разбить по частям.

Поблагодарив Четвертакова и поручив ему сообщать о всяком движении неприятельских частей в районе Гжатска, Денис отвел свой отряд в село Андреяны, южнее Вязьмы.

И здесь, весьма кстати, получил неожиданную помощь. Фельдмаршал Кутузов, довольный успехами Давыдовского отряда, приказал усилить его казачьим полком Попова, только что прибывшим с Дона и состоявшим из пятисот доброконных казаков. Радость Дениса была велика. Теперь можно смело осуществить задуманное нападение на экспедицию Жерара!

Приняв под свое начальство прибывших казаков, в большинстве молодых, Денис прежде всего занялся боевой подготовкой полка. Имея большой военный опыт, он усиленно обучал донцов партизанской тактике нападения, впервые испытал с этим полком так называемое рассыпное отступление.

Закончив военную подготовку, Денис в первых числах октября произвел несколько мелких поисков близ Вязьмы. Он захватил пятьсот пленных, много фур с оружием и провиантом. Отряду Степана Храповицкого удалось даже отбить целый транспорт с одеждой и новой обувью, предназначавшийся для Вестфальского полка.

А казаки и крестьяне-лазутчики, посланные в разные направления, зорко следили в это время за каждым шагом полковника Жерара. Не встречая на своем пути серьезного сопротивления, Жерар, как и ожидал Денис, допустил распыление своих сил, послав отдельные части отряда, в деревни и села, где каратели, обозленные неудачными поисками партизан, расстреливали первых попавшихся им в руки жителей.

5 октября отряд Дениса Давыдова с большим трофейным обозом возвратился в Андреяны. Под вечер, проверяя сторожевые пикеты, Денис увидел, как по дороге из села Лосьмино, до которого считалось верст десять, сгибаясь под тяжестью ноши, медленно двигается какой-то человек. Посланные навстречу казаки признали крестьянина Федора Клочкова; он тащил на себе здоровенного, находившегося в обморочном состоянии французского гренадера.

Будучи в разведке, Федор приметил большую неприятельскую колонну, направлявшуюся по Вяземской дороге в Лосьмино. Дорога эта пролегала мимо леса, в котором скрывался Федор. Подкараулив двух солдат, отбившихся от своей части, Федор одного из них убил топором, другого оглушил ударом, связал и, взвалив, словно куль муки, на плечи, отправился в Андреяны.

День выдался холодный, ветреный. Нести француза по раскисшей от дождей дороге было неимоверно трудно. Хотя Федора снабдили солдатскими сапогами, он, отправляясь в разведку, обувался обыкновенно в лапти: в таком виде меньше рисковал привлечь внимание неприятеля, да и вообще, по его мнению, ходить в лаптях было «способней». Теперь же лапти, на которые пластами налипала глина, затрудняли каждый шаг. Рубаха на Федоре взмокла, пот с лица падал крупными каплями. Пройдя несколько верст, Федор снял лапти и дальше пошел босиком. Но земля была ледяная, ноги вскоре начали мучительно ныть и подгибаться.

Клочков мог, конечно, сделать привал, отдохнуть или,

оставив француза где-нибудь в канаве, дойти налегке до Андреян и, взяв подводу, возвратиться за пленником. Но такая мысль и в голову не приходила. Федор догадывался, что французские войска, встреченные близ Лосьмина, направлены против партизан, и сознавал, как важно поскорее, не теряя ни одной лишней минуты, доставить «языка» в отряд.

Тяжело дыша, с помутневшими от страшной усталости глазами, Федор безостановочно все шел и шел вперед, напрягая последние силы. Казаки вовремя подоспели к нему на помощь.

Выслушав крестьянина, Денис ясно представил, каких усилий стоила ему доставка «языка», и, поблагодарив за усердие, сказал:

– Буду просить начальство, чтоб тебя военным орденом наградили… Отечеству служишь не хуже любого воина!

– Надо же лиходеев окорачивать, – произнес Федор, – мы их, окаянных, не звали…

Догадка Федора подтвердилась. Пленный француз, придя в себя, показал, что колонна войск, направлявшаяся на ночевку в Лосьмино, составляет большую половину отряда полковника Жерара. Сам полковник возглавляет эту колонну. А другая часть отряда ушла вперед, по дороге к деревне Слукино.

Казачьи пикеты вслед за тем подтвердили эти сведения. А через некоторое время от Ермолая Четвертакова примчались двое партизан с донесением, что около тысячи французов заняли село Крутое, возле Слукина. Сомнений в том, что эти войска принадлежат карательной экспедиции полковника Жерара, ни у кого не было.

Денис быстро принял решение. Казачьей сотне под начальством хорунжего Бирюкова он приказал занять дорогу между Лосьмином и Крутым, чтобы не допустить никакого сообщения между неприятельскими отрядами. Вся же остальная кавалерия и пехота двинулась на Крутое.

Стояла темная ночь. Шел холодный дождь. Дорога сделалась скользкой; пехота, пройдя несколько верст, начала уставать. Пришлось замедлить движение. К селу Крутому подошли в глухую полночь.

Уничтожив без шума неприятельский сторожевой пикет, казаки и пехотинцы ворвались в село, открыли стрельбу по окнам изб, где ночевали французы. Закипел бой. Трескотня выстрелов, звон стекла, крики казаков, вопли французов – все смешалось.

Расстроенные группы неприятеля пытались спастись по Вяземской и Гжатской дорогам, но Денис заблаговременно поставил там две казачьи сотни. А тех французов, которым удалось бежать по дороге в Слукино, ожидали партизаны Ермолая Четвертакова.

Спустя два часа бой окончился. Триста семьдесят семь французов были захвачены в плен, остальные положены на месте.

Отправив пехоту в село Ермаки, а пленных в Юхнов, Денис на рысях повел кавалерию к Лосьмину, предполагая обойти село, выйти на Вяземскую дорогу и с тыла пасть на неприятеля как снег на голову.

Однако когда в смутном рассвете партизаны подходили к Лосьмину, неприятельский конный разъезд заметил их и предупредил своих. Полковник Жерар быстро построил войска в боевой порядок – в три линии, посредине села. Бугские казаки под начальством Чеченского, первыми столкнувшись с неприятелем и не выдержав шквального огня, отступили.

Денис, выстраивавший остальную конницу перед селом, услышав гул выстрелов, сразу догадался, что произошло. Раздумывать было некогда. Оставив небольшой резерв, он начал общую атаку.

Сотня за сотней с криком, свистом и гиканьем понеслись вперед казаки. Первая линия неприятеля была смята и опрокинута. Но два эскадрона французских гусар во главе с Жераром держались стойко. Заметив их ожесточенное сопротивление, Денис вместе с ахтырцами и отборной казачьей сотней полетел в бой. Кругом свистели пули, звенели клинки.

– Руби всех к чертовой матери! Пусть помнят, как партизан ловить! – запальчиво кричал Денис, врезавшись в гущу неприятеля.

Французские гусары не выдержали бешеной атаки партизан. Полковник Жерар тщетно пытался остановить свои войска, охваченные паникой. Наконец, видя безнадежность положения, сам повернул коня, намереваясь спастись бегством. Но не успел. Николай Бедряга, вихрем налетевший откуда-то сбоку, одним ударом раскроил ему голову.

Преследование неприятеля, бежавшего в беспорядке по всем дорогам, продолжалось до самого полудня. Победа была полной. Потеряв четырех казаков убитыми и семнадцать ранеными, партизаны захватили весь походный обоз неприятеля, множество лошадей, оружие, а также четыреста пленных.

Экспедиция полковника Жерара перестала существовать.

XI

В тот же самый день, 6 октября, части главной русской армии по приказу фельдмаршала Кутузова внезапно атаковали на реке Чернишне, под Тарутином, войска Мюрата. Французы вынуждены были отступить, потеряв больше двух тысяч человек убитыми, две

с половиной тысячи пленными и тридцать восемь орудий.

Наполеон производил в Москве смотр войскам маршала Нея, когда получил известие о Тарутинском сражении. В кремлевский дворец он удалился в подавленном настроении. Приказав никого к себе не впускать, он долго сидел перед жарко натопленным камином, погруженный в тяжелое раздумье. Что оставалось ему делать? По всей вероятности, скоро наступят холода, а некоторые полки стоят на улицах и площадях города под открытым небом. Запасы продовольствия тают, на пополнение рассчитывать не приходится: почти все команды фуражиров, отправляемые в окрестные деревни, пропадают без вести; обозы с продовольствием и одеждой, посылаемые в Москву, становятся добычей партизан, дисциплина в войсках заметно ослабла, мародерство и грабежи принимают ужасающие размеры.

«Нужен мир, мир во что бы то ни стало! – возвращается Наполеон к прежней мысли, не покидающей его со Смоленска. Но как этого добиться? Дважды пробовал завязать с русскими мирные переговоры и дважды получил решительный отказ. Попытки прекратить народную партизанскую войну тоже ни к чему не привели. Карательные экспедиции против партизан усиливали лишь озлобление среди населения. А генерал Лористон, которому было поручено просить Кутузова «сообразовать военные действия с правилами, установленными во всех войнах», получил ответ, пресекающий последние надежды. «Народ разумеет эту войну нашествием татар, – заявил Кутузов, – и, следовательно, считает всякое средство к избавлению себя от врагов не только не предосудительным, но похвальным и священным».

Чего ожидать далее? Ведь не только обозы, но даже эстафеты, посылаемые из Парижа, и донесения начальников тыловых войсковых частей доходят все реже и реже. Генерал Коленкур приказал комендантам почтовых станций отмечать все, что происходит в их районах, на почтовом листке, куда обычно вписывают время прибытия и отбытия эстафеты. И эти дорожные донесения лучше всяких других документов свидетельствуют, какой широкий размах приобретает повсюду война народная…

«Мы рискуем остаться в конце концов без сообщений из Франции, – думал Наполеон, – но хуже всего, что и во Франции останутся без сообщений от нас… Нет, пора предпринять какие-то решительные меры! Поражение войск Мюрата – сквернейший симптом. Силы русской армии, очевидно, окрепли, и кто знает, что замышляет эта старая лисица Кутузов?»

Наполеон встал, подошел к столу, на котором лежала карта. Внимательно стал разглядывать дороги, ведущие от Москвы на

запад.

Признать себя побежденным и решиться на отступление было трудно… Возмущалась гордость, краска стыда показывалась на лице. Сколько за плечами знаменитых кампаний, сколько блестящих побед, прославивших его как великого полководца на весь мир! Да и не он ли сам еще три-четыре месяца назад во всеуслышание заявил, что поставит Россию на колени? Какой поучительный урок самонадеянности!

И все же обстоятельства принуждали к отступлению. Он ясно понимал, что другого выхода нет. Надо лишь придать этому движению назад какую-нибудь форму нового искусного маневра, поддержать престиж, выпутаться из скверного положения с наименьшими жертвами.

Начальник главного штаба маршал Бертье, вызванный императором, застал его расхаживающим по комнате в лихорадочном оживлении.

– Надо наказать русских за сегодняшнее нападение под Тарутином… Как ваше мнение, маршал? – спросил Наполеон. И, хорошо понимая, что это сказано лишь для отвода глаз, чтобы скрыть собственную растерянность, и что маршалу отвечать нечего, поспешно продолжил: – Мы засиделись в Москве, мы сами виноваты, что создаем возможность русской армии нападать на нас, тогда как можем действовать иначе, с большей пользой для себя… Я не говорю, что наши дела в отличном состоянии, но они не так дурны, как некоторые склонны думать. Оставив гарнизон в Москве, мы можем обойти левый фланг русских, выйти через Боровск к Малоярославцу и занять Калугу, где найдем в избытке необходимое нам продовольствие. Разве это не превосходный маневр?

– При условии, если Кутузов останется в бездействии, ваше величество, – заметил Бертье. – Однако выход русских к Тарутину заставляет опасаться, что фельдмаршал предполагает возможность подобного маневра с нашей стороны…

– Так что же? – перебил Наполеон. – Кутузов стар и не так поворотлив, как вы полагаете. Попробуем его предупредить! А если даже он решится встать на дороге – мы разобьем его! У нас под ружьем сто сорок тысяч, мы достаточно сильны, чтобы отразить все попытки задержать нас… Какие у вас еще сомнения?

Бертье, отлично знавший, что император преувеличивает силы армии, что значительная часть войск небоеспособна, спорить не стал. Он давно был уверен, что отступать так или иначе придется, а движение на Калугу, о чем сам не раз думал, представлялось все же лучшим решением вопроса.

– Должен согласиться, ваше величество, – сказал он, – ваш

план слишком привлекателен во многих отношениях, чтобы отказаться от него… Заняв Калугу, мы легко установим сообщение со Смоленском через Мещовск и Ельню…

– Да, да, вы уловили мою мысль, я так и рассчитываю, – снова заговорил Наполеон. – Дальше Калуги и Смоленска мы не пойдем. Зимовать будем там. В соответствии с этим прикажите корпусу Жюно передвинуться из Можайска в Вязьму, а стоящей там дивизии генерала Эверса выступить на Калугу через Знаменское в Юхнов. Войскам Жирарда следовать туда же ускоренным маршем из Смоленска…

– А когда прикажете назначить выступление наших главных сил из Москвы?

– Завтра, завтра, Бертье! Ни одной минуты нельзя медлить! Успех маневра – в быстроте и скрытности нашего движения! Садитесь и пишите приказ…

* * *

Но как ни старался Наполеон держать в тайне свой замысел, сделать этого не удалось.

Генерал Дорохов, стоявший со своим отрядом на Боровской дороге, обнаружил подходившую к селу Фоминскому дивизию Брусье и немедленно известил об этом Кутузова. Не зная еще, что за дивизией Брусье следует вся неприятельская армия, Дорохов просил подкрепления, чтобы атаковать французов в Фоминском. Кутузов тотчас же вызвал к себе Ермолова, по-прежнему занимавшего должность начальника штаба первой армии, и сказал:

– Я посылаю к Фоминскому корпус Дохтурова, но тебя, голубчик, тоже прошу отправиться туда. Надо сначала разведать, с какой целью и куда этот Брусье направляется да нет ли за ним других каких-нибудь неприятельских сил? Смотри только, будь осторожен! Всякое бывает!

– Может случиться так, ваша светлость, – сказал Ермолов, – что обстоятельства потребуют изменить наше направление, а до получения вашего приказа никто на это не решится, и мы упустим время.

– Действуй в таком случае моим именем, – ответил Кутузов. – Я тебе доверяю. Да имей в виду, голубчик, что не все можно писать в рапортах, извещай меня о важнейшем записками…

Войска Дохтурова, дойдя в тот же день до деревни Аристово, близ Фоминского, остановились на ночлег. Дмитрий Сергеевич Дохтуров, последнее время сильно прихварывавший,

расположился в деревне, а Ермолов вместе с прочими генералами остался на биваках.

Ночь была темная, дождь лил не переставая. Костры из предосторожности зажигать запретили. Но солдаты не роптали. Близость неприятеля и предстоящее давно ожидаемое сражение поддерживали силы у людей.

Неожиданно в полночь у палатки, где спал Ермолов, послышался конский топот, и чей-то возбужденный голос произнес:

– Где Алексей Петрович? Спешное дело!

Ермолов, только что задремавший, вскочил с походной койки. «Это Сеславин, значит, что-нибудь серьезное», – подумал он, зажигая огарок, вправленный в самодельный деревянный подсвечник, стоявший на табурете.

Александр Никитич Сеславин, превосходно образованный и необычайно отважный артиллерийский офицер, когда-то начинал службу у Ермолова, был ему безгранично предан. Создав небольшой партизанский отряд, действуя в Подмосковье, Сеславин поддерживал постоянную связь с Ермоловым, не раз выполнял его важные поручения, отличался точностью в своих донесениях и по пустякам никогда не беспокоил.

Приезжая в штаб, Сеславин и друг его партизан Фигнер останавливались обычно у Ермолова, и тот дружески шутил:

– Право, господа, вы превращаете мою квартиру в вертеп разбойников!

Как раз перед отправлением в Фоминское, желая собрать сведения о неприятеле, Ермолов просил Сеславина пробраться к Боровску, и теперь ночное появление партизана обещало что-то интересное.

Войдя в палатку и не снимая еще мокрой, облепленной грязью шинели, Александр Никитич объявил:

– Бонапарт со всею армией из Москвы выступил, Алексей Петрович…

Ермолов, не ожидавший такого известия, опешил:

– Да полно, так ли это, Александр Никитич?

– Головой отвечаю, сам видел, – подтвердил Сеславин. – Пробрался я, как вы приказали, почти к самому Боровску, оставил партию свою в стороне, а сам в лесочке засел, близ большой дороги… Вижу, глубокие неприятельские колонны к городу двигаются. Надо, думаю, как следует разведать! Отвел коня подальше, а сам на дерево залез, которое повыше и с листвой, еще не опавшей… Укрылся кое-как, наблюдаю… Что за черт, гвардия будто французская идет! Присмотрелся, так и есть… Да гвардия-то старая, императорская! Замер я, сижу, дыхания своего

не чую… Гляжу, посредине колонны верхом на серой лошади, окруженный маршалами и свитой, сам Наполеон Бонапарт… Вот, думаю, встреча так встреча! И во сне такая картина не приснится! Просидел я на дереве не знаю сколько, а как показался хвост колонны, спустился потихоньку на землю, стал в уме прикидывать, как бы «языка» выхватить…

– Ну, это уж ты чересчур смело задумал, – прервал рассказ Ермолов. – Да я и без того тебе верю!

– Вы верите, другие сомневаться могут, – сказал Сеславин. – А с «языком» оно все-таки вернее… Достал как-никак!

– Помилуй, Александр Никитич! Шутишь ты, что ли?

– Какие там шутки! Отбился один ихний унтер от своих, а я тут как тут… Стукнул легонько по головке, дотащил до коня, перекинул на седло да к вам… Извольте сами его расспросить.

С этими словами Сеславин повернулся, вышел из палатки и сейчас же возвратился обратно. Следом за ним дюжий казак втолкнул пленного французского унтера, державшегося на ногах весьма непрочно от чрезвычайного с ним происшествия. Ермолов распорядился дать ему стакан водки. Пленный охотно выпил, повеселел. И, не заставляя долго просить себя, подтвердил, что французская армия вышла из Москвы 7 октября, куда двигается – он не знает, это держится начальством в секрете, но император, верно, находится среди гвардии.

Ермолов и Сеславин, захватив пленного, отправились в деревню Аристово к Дохтурову.

Дмитрий Сергеевич не спал. Поеживаясь от одолевавшей его лихорадки, сидел в шинели над картой. Оказалось, поздно вечером казачьи пикеты известили его о занятии крупными неприятельскими силами Фоминского и Боровска, а также о появлении французских разъездов на Малоярославской дороге. Сведения Сеславина и показания пленного окончательно все разъяснили.

Ермолов, знавший, что Кутузов более всего опасался движения неприятеля на Калугу, сразу сообразил, что именно этот маневр и пытается теперь осуществить Наполеон.

– Нам ничего не остается, как спешить к Малоярославцу, чтобы заградить путь французам, – уверенно сказал Алексей Петрович.

– Согласен с вами, да надо же прежде приказ светлейшего получить! – заметил Дохтуров.

– Мы сию же минуту отправим фельдмаршалу донесение о нежданном событии, – отозвался Ермолов, – а времени терять нельзя… Фельдмаршал приказал мне действовать его именем. Ответственность я принимаю на себя.

– Ну, тогда и толковать нечего, – сказал, поднимаясь, Дохтуров. – Я всегда готов, сами знаете.

Между тем передовые французские части находились уже под Малоярославцем. Им удалось занять северную окраину города, однако местные жители разобрали мосты через реку Лужу, вступили с французами в бой и задержали переправу до утра. Подоспевший с кавалерийскими эскадронами и конной артиллерией Ермолов занял город, но вскоре был выбит оттуда превосходящими силами противника.

Тем временем войска Дохтурова, спешившие к Малоярославцу, подойдя к реке Протве, натолкнулись на неожиданное препятствие. Ночью заскочивший сюда неприятельский разъезд сжег мост. А саперной части в корпусе не было, и леса поблизости, как на грех, не оказалось.

Войска, отчетливо слышавшие уже орудийную канонаду под городом, вынуждены были остановиться на берегу. Все понимали, как дорога сейчас каждая минута. Но что же делать? Пехота могла еще с трудом перебраться вплавь через глубоководную речку. А как быть с орудиями?

Заметив селение, расположенное недалеко от переправы, Дмитрий Сергеевич поскакал туда.

– Братцы, выручать надо! – обратился генерал к крестьянам, собравшимся у хаты сельского старосты. – На помощь к своим спешим! Слышите, бой идет? Мост через реку нужен…

– Леса-то у нас подходящего нет, вот беда! – сказал со вздохом староста. – А то бы мы с великим удовольствием помогли…

– Как лесу нет? А избы наши на что? – крикнул, перебивая его, пожилой кривой крестьянин по имени Клим.

– Да ведь без жилья на зиму останешься, – робко произнесла какая-то баба.

Толпа зашевелилась, загудела:

– Эка важность! Землянухи выкопаем!

– Дело, вишь, какое: хранца окаянного колотить идут! Грех не помочь!

– Верно! Тащи топоры и веревки, ребята! Запрягай лошадей.

– С моего сруба начнем, мужики, – опять предложил Клим. – Летось только поставил…

Спустя какой-нибудь час мост был готов. Войска Дохтурова тронулись дальше. Следом шли войска Раевского.

Получив подкрепление, Ермолов вновь занял город. Но противник с часу на час тоже усиливался, подходили главные силы. Завязался ожесточенный, длительный бой. Город восемь раз переходил из рук в руки.

Поздно вечером Наполеон, остановившийся в деревне Городне, близ города, убедился, что замысел его разгадан. Кутузов со всей армией приближается к Малоярославцу. Одновременно русские войска по приказу фельдмаршала перехватили другую Калужскую дорогу – через Медынь.

На военном совете, собранном императором, маршал Бессьер одним из первых высказался за то, чтобы, не принимая боя с Кутузовым, отойти к Можайску.

– Разве мы не видели поля битвы? – сказал он. – Разве не заметили, с какой яростью русские рекруты, еле вооруженные, едва одетые, шли на смерть?

– Надо как можно скорее убраться из этой проклятой страны, – с неожиданной солдатской откровенностью высказался генерал Мутон.

Император бросил на него мрачный взгляд, но ничего не возразил.

А на следующий день произошло событие, окончательно вынудившее Наполеона отказаться от осуществления своего первоначального плана.

Утром он решил осмотреть малоярославские позиции, занимаемые французами. Сопровождаемый маршалом Бертье, генералами Коленкуром, Раппом и конвойным эскадроном, император едва успел отъехать с полверсты от Городни, как из ближнего леса показался кавалерийский отряд, устремившийся прямо на императора и его свиту.

– Государь, это казаки! – первым догадался Коленкур.

– Не может быть, вы ошибаетесь, это наши! – отозвался, сдерживая коня, император.

Генерал Рапп схватил под уздцы и поворотил его лошадь:

– Это казаки, не медлите!

– Точно, они, нет сомнения, – заметил, бледнея, маршал Бертье.

В это время громовое «ура» и крики огласили воздух. Казаки быстро приближались. Генерал Рапп двинулся вперед с конвоем. Казацкая лава мгновенно смяла французов. Наполеон, оцепенев от ужаса, ожидал своей участи. Спасла случайность. Казаки, не зная, что в отряде находится французский император, заметили поблизости артиллерийский парк, обоз и бросились туда. Маршал Бессьер поспешил на помощь императору с конными гвардейцами и отбил нападение казаков.

Вернувшись в Городню, Наполеон отдал приказ об отступлении войск через Можайск. Началось, как и предполагал Кутузов, бесславное бегство армии Наполеона по разоренной Смоленской дороге.

XII

Ничего не зная о происходящих событиях, отряд Дениса Давыдова по-прежнему громил неприятельские войска и транспорты в районе Вязьмы.

12 октября отряд остановился на отдых верстах в тридцати от столбовой дороги, в пустовавшей помещичьей усадьбе близ села Дубрава. Деревянный господский дом, занятый партизанами, выглядел неприютно. Стекла в окнах разбиты, полы, двери и печки испорчены. В комнатах пусто, холодно. Хозяева, уехавшие из усадьбы в начале войны, забрали с собой мебель и домашнюю утварь. Но в доме можно было укрыться от холодного осеннего дождя, лившего беспрерывно вторые сутки.

Чувствуя небольшую простуду, Денис наскоро выпил горячего пунша и улегся спать на охапке соломы. Он уже задремал, когда в соседней комнате, где располагались гусары, возник оживленный разговор. Дощатая перегородка, отделявшая комнату, позволяла отчетливо различать голоса.

Денис невольно прислушался.

Крестьянин Федор Клочков, возвратившись из села, рассказывал гусарам, с которыми давно сумел подружиться, о том, как хорошо и вольготно живут в здешних местах мужики.

– Нынче, братцы мои, в каждой избе и пироги, и мясо, и брага не в диковину, – говорил радостным, взволнованным голосом Федор. – А уж как свадьбы али праздники богато справляют – отродясь не видывал!.. Кум Арефий девку в соседнюю деревню просватал – двух кабанов зарезали, три бочки пива наварили…

– Тебе-то самому много ль поднесли? – перебивая Федора, спросил с насмешкой угрюмый по виду гусар Шкредов.

– А галушки им не сами в рот сигают? – вставил басовитый гусар украинец Зворич.

Все засмеялись. Рассказу Федора явно не верили.

– Нечего зря зубы скалить, – обидчиво отозвался Федор. – Я вам правду-истину сказываю…

– Ты скажи лучше, с чего это мужики тут разбогатели? – спросил пожилой и степенный гусар Пучков.

– С того самого, что без господ они живут, по своей волюшке, – с особым значением произнес Федор.

Гусары сразу затихли. Слова Федора, видимо, всех поразили.

– Это… как же так, паря? – недоумевая, приглушенным голосом произнес наконец Пучков.

– Да ведь сами господа отсель уехали… Вишь, хоромина пустая! – ответил Федор. – Ну, а бурмистра под Вязьмой будто хранцы убили… А время подошло страдное! Как тут быть, что с

барским хлебом делать? На корню оставлять жалко, в господские амбары ссыпать – нельзя: басурманы кругом шныряют, живо к рукам приберут… Вот всем миром и порешили мужики по душам и хлеб и скотину господскую поделить.

– Эх ты, мать честная, как ловко обдумали! – сочувственно заметил молчавший до сих пор гусар Егор Гробовой. – Этак и впрямь припеваючи жить можно!

– А разве мародеры-нехристи в село не заглядывали?

– Заглядывали, – подтвердил Федор. – На прошлой неделе целая команда заявилась, человек за двести. Мужики с хлебом-солью их встретилиг угощения всякого наготовили и на брагу хмельную не поскупились, а ночью перевязали всех да в Калугу отправили.

– Здорово! – опять подал голос Егор Гробовой. – Значит, верно, что по своей волюшке живут… И хранцев признавать не желают и без господ не скучают.

– Подожди, возвратятся еще господа-то, – мрачно вставил Шкредов.

В горнице на несколько секунд наступила тишина. Кто-то тяжело вздохнул, и вдруг тишину всколыхнул взволнованный, страстный шепот. Голоса людей уже трудно стало различать. Говорили чуть не все сразу, перебивая друг друга, спеша высказать глубоко затаенные сокровенные свои думы:

– Слух-то был, будто после войны волю объявят…

– Верно, братцы! И я слыхал, что крепостных не будет…

– Указ давно уже заготовлен. Да пока скрывают…

– Половина барской земли, говорят, мужикам отойдет…

– Солдатам и ополченцам за верную службу по пять десятин нарежут…

– Жизни своей не жалели! Заслужили!

– Эх, привел бы господь дожить до волюшки!

На Дениса этот необычайный, случайно услышанный разговор произвел сильное впечатление. Денис был хорошим командиром. Следуя примеру Багратиона и Кульнева, он относился к нижним чинам взыскательно, но гуманно. Строго запрещал телесные наказания, заботился о хорошем снабжении отряда, часто запросто беседовал с гусарами, казаками и знал, что пользуется у них доверием и уважением. Видя, как сражаются с неприятелем его гусары и казаки, Денис объяснял эту отвагу общим патриотическим чувством и еще тем, что ему удалось суворовскими методами воспитать в людях воинскую доблесть и бесстрашие. Мужество крестьян-партизан казалось более удивительным, но и здесь было несомненно, что рождено это мужество беспредельной любовью народа к своему отечеству. Так

на самом деле оно и было.

Поэтому мысли о возможности внутренних волнений, владевшие дворянством в начале войны, постепенно у Дениса исчезли. Защита родины, казалось ему, объединила все сословия, направив все усилия к одной цели. А о том, что будет дальше, после войны, Денис не думал. «Якобинские мысли» об улучшении тяжелой участи народа, высказанные некогда Базилем, он считал и странными и несвоевременными. Да и сам Базиль в конце концов признал, что затеял разговор не вовремя.

И вот теперь приходилось опять возвращаться к этому тревожному и мучительному вопросу. По тому сочувствию, с которым отнеслись гусары к рассказу Федора о мужиках, живущих без господ, по той страстности, с какой обсуждались слухи о воле, Денис понял, как, в сущности, различны корни патриотических настроений дворянства и крепостного крестьянства. Все желали освобождения России от чужеземцев. Но при этом дворянство и он, Денис, хотели сохранить тот строй жизни, который существовал, а солдаты и крестьяне, сражаясь с общим неприятелем, надеялись на создание нового, лучшего для них общественного строя.

В глубине души Денис сознавал, что нельзя обвинять людей в стремлении улучшить свою жизнь, но вместе с тем не мог и сочувствовать этому стремлению, – оно грозило поколебать те незыблемые, как он полагал, устои жизни, без которых ему не представлялось собственное существование.

Денис долго лежал с открытыми глазами, тщетно стараясь найти ясность в беспокойных, противоречивых мыслях. Смутная тревога, охватившая его, не проходила, а все усиливалась. Он так и заснул под утро, ничего не придумав, ничего не решив.

Пробудил его приезд вахмистра Колядки, посланного с донесением в главную квартиру. По довольному виду вахмистра нетрудно было догадаться, что прибыл он не с плохими вестями.

– Ну? Что нового? Войска наши по-прежнему стоят на месте? – нетерпеливо спросил Денис.

– Никак нет, ваше высокоблагородие, – ответил Колядка. – Под селом Тарутином нападение на кавалерию Мюрата произведено… Слыхал, будто более трех тысяч ихних порубили, сорок пушек захвачено…

– Слава богу! Показали, стало быть, французам кузькину мать! – повеселел Денис. – А писем для меня нет?

– Есть, ваше высокоблагородие, – отозвался Колядка, расстегивая сумку и доставая оттуда множество пакетов.

Зоркими глазами Денис сразу заметил на одном из них печать фельдмаршала. С большим волнением вскрыл он

адресованный ему пакет. Письмо было написано третьего дня в деревне Леташево. Кутузов писал:

«Милостивый государь мой Денис Васильевич!

Дежурный генерал доводил до сведения моего рапорт ваш о последних одержанных вами успехах над неприятельскими отрядами между Вязьмою и Семлевом, а также письмо ваше к нему, в коем, между прочим, с удовольствием видел я, какое усердие оказывает юхновский предводитель дворянства г.Храповицкий к пользе общей. Желая изъявить пред всеми мою к нему признательность, я по мере власти, всемилостивейше мне предоставленной, препровождаю к вам назначенный для него орден св.Анны 2-го класса, который и прошу вас ему доставить, при особом моем отношении, на его имя. Буде же он прежними заслугами приобрел уже таковой знак сего ордена, то возвратить мне оный для украшения его другою наградою в воздаяние похвальных деяний, им чинимых, о коих не оставлю я сделать и всеподданнейшее донесение мое государю императору.

Волынского уланского полка майора Храповицкого поздравьте подполковником. О удостоении военным орденом командующего 1-м бугским казачьим полком ротмистра Чеченского сообщил я учрежденному из кавалеров оного ордена совету. Прочие, рекомендуемые вами, господа офицеры не останутся без наград соразмерно их заслугам. Отличившимся нижним чинам по представленным от вас спискам назначаю орденские серебряные знаки.

А за сим остаюсь в полном уверении, что вы, продолжая действовать к вящему вреду неприятеля, истребляя транспорты его и конвои, сделаете себе прочную репутацию отменного партизана и достойно заслужите милость и внимание всеавгустейшего государя нашего.

Между тем примите совершенную мою признательность. С истинным к вам почтением имею честь быть, милостивый государь мой, ваш покорный слуга

князь Голенищев-Кутузов» .

Денис дважды с благоговением прочитал письмо. Сердце его билось радостно. Сам Кутузов нашел время и написал ему теплые, ободряющие строки! Пусть люди сухой души и тяжкого

рассудка, сидящие в штабах, кривят губы при каждом упоминании о партизанах. Письмо фельдмаршала окончательно узаконивало партизанскую систему, оно являлось полным признанием заслуг, оказанных отрядом отечеству. Денис чувствовал себя счастливым.

Второе письмо было от зятя Кутузова, старого приятеля Дениса по гвардии, князя Кудашева.

«Не удивляюсь, нимало твоим подвигам, – писал он, – я так давно тебя знаю… Я сегодня, благословясь, пускаюсь сам отсюда вправо, по дороге Серпуховской, в намерении действовать в тыл неприятельского авангарда. Прощай, любезный друг. Помоги нам бог! В журналах военных действий имя твое гремит… Надо постараться и мне!»

А Матвей Иванович Платов, которого Денис известил об отличных действиях донских казаков в своем отряде, на «приятельское уведомление» ответил коротенькой, но характерной запиской:

«Бей и воюй, достойный Денис Васильевич, с нашедшею вражеской силой на Россию и умножай оружия российского и собственную свою славу…»

Письма доставили Денису большую радость и вызвали общий восторг у его товарищей. Особенно тронуло всех письмо Кутузова. Фельдмаршал никого не забыл! Даже старик Семен Яковлевич Храповицкий за помощь партизанам пожалован орденом Анны.

Однако о том, что французы покинули Москву, никаких намеков в письмах не было. Поэтому Денис после однодневного отдыха, устроенного по случаю награждения партизан, решил продолжать партизанские поиски.

На следующий день отряд выступил в поход, взяв направление на Вязьму. Погода все еще не установилась. Дул холодный северный ветер. По небу низко ползли тяжелые серые тучи, моросил дождь. Ехали медленно. Дороги были сплошь покрыты лужами и вязкой грязью, лошади скользили и спотыкались.

Нахлобучив шапку-ушанку и подняв воротник шинели, Денис ехал рядом с Митенькой Бекетовым. Денису дремалось и в разговор вступать не хотелось, зато Бекетов, получивший несколько писем из дому, находился в возбужденном состоянии и ни на минуту не умолкал:

– Мне сестра из Пензы пишет, что у них большое ополчение собрано и от добровольцев отбоя нет… Прежде на войну со слезами провожали, а теперь матери и жены сами своих кровных на защиту отечества посылают. Муж сестры Дмитрий Васильевич

Золотарев – он там уездным предводителем – целый полк собрал и сам в командиры записался.

– Дворянству и следует пример подавать, – буркнул Денис. – А то, брат, кончится война…

Он запнулся и не докончил того, что хотел сказать. Душевное беспокойство, вызванное разговором гусар, немного улеглось, но мысль о том, что после войны крестьяне могут потребовать «волюшки», не выходила из головы. Да стоит ли говорить об этом с Митенькой? Может быть, вообще ничего и не случится.

А Бекетов, пропустив мимо ушей слова командира, продолжал:

– После войны, Денис Васильевич, обязательно к нам поедем… Увидишь, какие люди у нас славные! И сестра, я уверен, тебе понравится… А детишки у нее – просто прелесть! Особенно младшая дочка, Евгения, крестница моя… Я уезжал в армию, ей всего четыре месяца было, а сейчас, пишет сестра, уже болтать начала…

– В дядю пошла, – усмехнувшись, тихо сказал Денис, которому болтовня Митеньки порядком надоела.

– Ты что-то сказал, кажется? – повернулся к нему Бекетов.

– Имя, говорю, у племянницы твоей хорошее. Евгения…

Неожиданно из-за леса, показавшегося впереди, полыхнули орудийные выстрелы. Один из снарядов, не долетев нескольких шагов до дороги, шлепнулся в лужу, подняв вверх большой черный фонтан. В отряде произошло замешательство. Лошади шарахнулись в сторону. Кто-то из гусар вскрикнул. К Денису подскакал Степан Храповицкий, находившийся в разведке.

– Французы за лесом, Денис Васильевич! Несколько пехотных и кавалерийских колонн из Вязьмы двигаются…

– Что за черт? Неужели опять нас ловить?

– Не думаю… Войска, по всей видимости, регулярные и в составе не менее дивизии…

– Что ж, делать нечего, придется нам маршрут изменить. Прикажи, чтоб казаки на Медынскую дорогу отходили… Да хорошо бы «языка» выхватить, узнать поверней, кто и куда путь держит?

Отряд свернул в сторону и вскоре подошел к бурлившей от осенних дождей реке Угре. Французы преследовали. Пришлось отбиваться от наседавшей кавалерии фланговыми нападениями и перестрелкой. И лишь в сумерках, переправившись через реку, узнали, в чем дело. Захваченный в плен французский драгун показал, что войска Эверса по приказу Наполеона двигаются на Калугу.

Послав в главную квартиру уведомление о неприятельском

маневре, Давыдов, не знавший истинного положения, отвел свой отряд в большое торговое село Красное.

Настроение у Дениса было скверное. Отступление всегда его удручало, а сейчас к тому же – и это было главное – возникли серьезные опасения за судьбу плодородных калужских районов, куда, очевидно, намеревались прорваться французы.

На другой день, в полдень, в село Красное прискакал Ермолай Четвертаков, сопровождаемый конным отрядом своих партизан.

Войдя в избу сельского старосты, занятую командирами, Четвертаков с обычной молодцеватостью вытянулся по-военному и, глядя на Дениса улыбающимися глазами, отрапортовал:

– Явился поздравить, ваше высокоблагородие… Москва от неприятеля очищена!

Неожиданная новость всех присутствующих просто ошеломила.

– Москва… освобождена? – только и мог выговорить Денис, чувствуя, как от большой нахлынувшей радости слова словно застревают в горле.

– Неделю назад!.. – подтвердил Четвертаков. – Ежели сами увериться желаете, мы двух пленных доставили…

– Москва наша! Москва наша! – совсем по-детски воскликнул Бекетов и бросился обнимать товарищей.

– А куда же в таком случае французы двигаются? – спросил Храповицкий, обращаясь к Четвертакову.

– Сказывают, будто, на Калужскую дорогу войско свое Бонапарт направил, да наши под городом Малоярославцем остановили… Ныне по старому пути, через Вязьму, неприятель бежит…

– Вот оно что! – сообразил наконец Денис. – Значит, предполагалось соединение с войсками Эверса в Калуге, да не вышло дело…

– Так точно, ваше высокоблагородие! Не вышло! – сказал, широко улыбаясь, Четвертаков. – Француз боек, да русский стоек. Наступил Бонапарт на Москву, да оступился!

Денис не выдержал. Подошел к Ермолаю, крепко его обнял.

– Ну, спасибо за добрые вести, любезный… Об усердии твоем не премину начальству доложить! А теперь давай-ка сюда пленных, попробуем от них еще что-нибудь выпытать..

Тем временем слух об освобождении Москвы от неприятеля всполошил все село. Когда Денис закончил допрос пленных и вышел на улицу, он увидел большую толпу крестьян, собравшихся около избы. Тут были и старики и женщины с грудными детьми на руках. Всем не терпелось услышать, что скажет командир

отряда.

– Правда ль, кормилец, Москву-то освободили? – спросил стоявший впереди других сгорбленный старик в рваном армяке, опиравшийся на толстую суковатую палку.

– Правда, правда, – подтвердил Денис. – Бежит неприятель из России.

Толпа, на минуту притихшая, колыхнулась и забурлила. Люди с просветлевшими лицами крестились, плакали, обнимали друг друга. Со всех сторон послышались радостные голоса и восклицания:

– Слава тебе господи! Дожили до светлого дня!

– Матушка наша белокаменная…

– Не сладко, знать, гостилось хранцам в Москве-то!

– Калачи московские не по вкусу!

– Зато пару там им поддали и кости прогрели!

А стоявший в сторонке высокий безрукий крестьянин в солдатской рубахе, с медалью на груди, пояснял окружившим его сельчанам:

– Москва всем городам город… Понимать надо! От нее вся земля русская зачалась… Без Москвы, как без головы… За нее и на черта полезешь!

В это время ударил колокол. Празднично настроенный народ потянулся в церковь. К Денису и командирам подошел староста, приземистый щербатый мужик в суконной поддевке и смазанных дегтем сапогах.

– Батюшка наш молебен и крестный ход надумал… Ежели желаете с народом помолиться, милости просим, – радушно пригласил он, степенно разглаживая окладистую, начавшую седеть бороду.

– Да, да, непременно… Спасибо, любезный! – отозвался Денис.

Командиры охотно согласились. Все направились вслед за старостой.

Дениса тронула и умилила картина народного торжества. «Ведь, наверное, в Москве не многие из них и были, – думал он, – а сколько чистой, бескорыстной любви к священному городу… И как чудесно выражают они свои чувства. «Без Москвы, как без головы… За нее и на черта полезешь!» Да, именно так думает и этот крестьянин, и я, и каждый русский… За тебя на черта рад, наша матушка Россия!»

Последняя фраза родилась неожиданно. Она выражала собственное чувство Дениса. Фраза хорошо звучала, так и просилась в стихи. Денис мысленно разбил ее на строки и повторил еще раз:

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!

«Ей-богу, не плохо, – подумал он, – надо записать, пригодится…» И, довольный своей поэтической находкой, улыбнулся.

А на улице начинало вечереть. В небе сквозь редкие облака просвечивали первые неяркие звезды. Кругом не умолкал оживленный говор. Из церкви выносили иконы и хоругви. Веселые, ликующие звуки колоколов плыли над селом.

XIII

«Туча казаков» под начальством Платова, посланная Кутузовым наперерез неприятельским колоннам, отступающим к Вязьме, покрыла пространство, где последние полтора месяца действовали лишь одни партизаны. Войска Эверса были частью истреблены, частью убежали к Дорогобужу.

20 октября, прибыв в Знаменское и оставив здесь юхновских ополченцев для охраны уезда, Денис со всей остальной конницей выступил к селу Рыбки, лежавшему на Смоленской дороге, между Вязьмой и Дорогобужем.

– Ну, господа, теперь для нас самая жаркая пора наступает, – предупредил своих товарищей Денис. Он ясно представлял, какое огромное значение приобретают подвижные партизанские отряды при отступлении неприятельской армии, растянутой на многие версты.

Настроение у Дениса было отличное. Ободренный хорошими вестями и благодарностью главнокомандующего, имея под начальством людей опытных и отважных, он желал лишь скорейшей встречи с противником и не сомневался в успехе будущих своих предприятий.

И вдруг казачьи пикеты донесли, что справа и слева в одном направлении с отрядом двигаются крупные кавалерийские части под командой генерал-адъютантов Орлова-Денисова и Ожаровского.

Денис насторожился. До сих пор он находился в глубоком неприятельском тылу, вдали от главной квартиры. Его партизанский армейский отряд отличался от других тем, что, находясь под общим руководством главнокомандующего, сохранял почти полную независимость в своих действиях. Теперь этой независимости, так ценимой им, угрожала опасность. Любой из генералов мог приказать младшему в чине командиру

отдельного отряда, не имеющего особого задания, стать под свое начальство. А тогда попробуй вывернуться!

Денис знал, что такое военная дисциплина и чинопочитание. Но вместе с тем знал и другое. Генерал-адъютанты граф Орлов-Денисов и граф Ожаровский, пользуясь милостивым вниманием царя, никогда не отличались военным дарованием, хотя Орлову-Денисову и нельзя было отказать в личной храбрости. Спеша украсить себя лаврами при нападениях на отступающие неприятельские войска, генералы были совершенными новичками в организации и ведении войны в тылу противника. Попасть под их начальство, выполнять, может быть, бессмысленные распоряжения, когда чувствуешь себя более опытным в подобных действиях, Денису показалось обидным. «Будь на месте этих генералов покойный Багратион, или Платов, или Милорадович, или какой-нибудь другой заслуженный начальник, – размышлял он, – я бы слова не сказал, сам охотно бы под начальство их встал… А для этих графов каштаны из огня таскать дураков нет!»

А генерал-адъютанты, проведав об отряде Дениса Давыдова, в самом деле замышляли прибрать его к рукам. Получить под начальство несколько сотен опытных партизан каждому из них было лестно!

Первым прибыл к Денису адъютант графа Орлова-Денисова.

– Его сиятельство приказали, – без обиняков объявил адъютант, – если ваше высокоблагородие никаких повелений от светлейшего не имеет, незамедлительно поступить с отрядом под его начальство…

Денис, принявший адъютанта с отменной вежливостью, покручивая кудрявую бородку, легонько вздохнув, ответил:

– Был бы счастлив исполнить повеление его сиятельства, да при всем желании лишен этой завидной возможности… Спешу к Смоленску по приказу графа Ожаровского.

– Как? Разве вы состоите под его начальством? – удивился адъютант.

– Увы, увы, мой друг, – сказал, покачивая головой, Денис, – Вчера лишь принят… Судьба!

– Какая досада! – отозвался адъютант. – А граф Орлов-Денисов весьма на вас надеялся… он так к вам расположен…

– Передайте его сиятельству мое искреннее сожаление… Впрочем, если в дальнейшем представится случай, я не премину воспользоваться тем, чтобы быть полезным графу…

Едва успел отъехать адъютант Орлова-Денисова, как прискакал посланный графом Ожаровским гвардии ротмистр Палицын. Офицер этот, с которым Денис был знаком, славился изящными манерами и тонким обращением. Начал деловой

разговор не сразу.

– Бог мой, как старит тебя борода, любезный друг! – воскликнул он, с любопытством осматривая Дениса. – И этот кафтан мужицкий… – ротмистр слегка поморщил нос. – Ну, что за охота, право… Я ведь тебя помню щеголем!

– Ничего, брат, скоро опять щеголем стану, – произнес невесело Денис. – Кончилась моя партизанская волюшка!..

– Прости, не совсем понимаю.

– История, брат, скверная со мною произошла, – пояснил Денис, сразу разгадавший цель визита ротмистра. – Прибрал меня к рукам граф Орлов-Денисов.

– Позволь! Как это прибрал? Ты шутишь, что ли? – всполошился Палицын.

– Да какие там шутки! Присылает вчера приказ стать под его начальство. Что поделаешь!

– И ты… ты, стало быть, теперь в его отряде?

– В этом вся штука! Сам понимаешь, мы люди маленькие, не отвертишься. Вот приказал мне спешить к Смоленску, а что буду дальше делать…

– Ах, боже мой, какая неприятность! – не сдержав себя, перебил ротмистр. – А ведь граф Адам Петрович Ожаровский просил меня с тобой договориться. Мы бы совместно могли действовать. Ты ведь знаешь графа, это золотое сердце, у него всегда приятно служить.

– Да, что и говорить, лестно, лестно! – вздохнул Денис. – Почел бы за особое счастье, да сам видишь, как обстоятельства сложились. Прошу засвидетельствовать мое совершенное и глубочайшее почтение графу…[31]

Спровадив ротмистра, Денис тотчас же написал генералу Коновницыну подробное письмо. Доказывая, что в настоящее время особенно выгодно размножение отрядов, а не сосредоточивание их, он просил доложить Кутузову о неприятном положении, в котором находился, и предоставить отряду право действовать самостоятельно, как и прежде. Отослав это письмо с урядником Крючковым в главную квартиру, стоявшую близ Вязьмы, Денис повел свой отряд дальше.

Когда на следующий день партизаны достигли столбовой Смоленской дороги, их глазам открылось необычайное зрелище: несметное число экипажей, телег, карет и повозок, нагруженных своим и награбленным добром, сопровождаемых конными и пешими солдатами, бесконечной вереницей двигалось на запад. Чистый осенний воздух оглашался неумолчным разноязычным говором, скрипели телеги, ржали лошади… «Словно татарская орда после нашествия», – злобно подумал Денис, наблюдая из

лесочка за чужеземцами. И приказал казакам:

– А ну, ребята, катите головней по всей дороге! Задайте им жару!

Казаки помчались. Среди французов поднялась невообразимая паника… Выстрелы, боевые крики и ужасные вопли обезумевших людей потрясли всю окрестность… Но вот показалась неприятельская регулярная кавалерия, а вслед за ней стройными рядами вышла старая гвардия.

Денис дал сигнал. Казаки моментально отхлынули от дороги.

Произведя еще несколько успешных партизанских поисков в районе сел Рыбки и Славково, Денис получил приказ Кутузова; действовать самостоятельно и спешить к Смоленску. Облегченно вздохнув, он немедленно отправился по указанному направлению. Впереди был обогнавший в дороге отряд графа Орлова-Денисова, позади – партизаны Сеславина и Фигнера.

Подойдя ускоренными переходами к селу Богородицкому и услышав, что там ночевал граф Орлов-Денисов, Денис счел нужным навестить его. Граф принял любезно, однако, как заметил Денис, «вид партизана, ускользнувшего от генеральского «владычества» и пользовавшегося одинаковыми с ним правами», был ему явно неприятен.

Отряд Орлова-Денисова направлялся к Соловьевой переправе, и граф приглашал следовать вместе, обещая большой успех. Денис, убежденный в бесполезности этого поиска, вежливо отказался, сославшись на повеление главнокомандующего спешить к Смоленску.

Граф ничего не сказал, но простился с кислой улыбкой.

… Не дойдя нескольких верст до села Ляхова близ Смоленска, отряд Дениса Давыдова остановился в небольшой деревушке, куда ночью приехали Сеславин и Фигнер.

Денис встречался с ними и прежде. Александра Никитича Сеславина помнил еще по прусской кампании, не раз приходилось бывать вместе у Ермолова. С Фигнером, служившим во время турецкой войны в корпусе Раевского, познакомился под Рущуком, где этот храбрый офицер вызвался измерить ширину и глубину крепостного рва, за что был награжден георгиевским крестом.

Про последние подвиги Фигнера рассказывали чудеса. Как только французы вошли в Москву, он переоделся торговцем и, опираясь на толстую палку, в которую искусно было вделано ружье, пробрался в город с целью убить Наполеона. Но осуществить этого не смог. Зато превосходно владевшему французским, итальянским и немецким языками Фигнеру удалось собрать ценные сведения о расположении на московских

окраинах отдельных воинских частей неприятеля. Части эти вскоре были уничтожены казаками.

Создав затем с помощью Ермолова свой партизанский отряд, действуя между Тулой и Звенигородом, Фигнер наводил такой страх на неприятеля, что одно имя его заставляло вздрагивать даже бывалых вояк. За его голову французское командование обещало большие деньги.

Дерзость Фигнера не знала предела. Однажды он и поручик Сумского гусарского полка Орлов, переодевшись во французские мундиры, отправились в главную квартиру Мюрата. Благополучно пробравшись через передовые неприятельские цепи, храбрецы подошли к биваку. Французы сидели у костра, варили ужин.

– Qui vive?[VII] – окликнул их часовой,

Назвав себя офицером, Фигнер обрушил на часового поток ругательств. Тот оторопел, пропустил.

Собрав нужные сведения, Фигнер и Орлов вскочили на французских лошадей и, провожаемые беспорядочными выстрелами, ускакали.

Очень привязанные друг к другу, Фигнер и Сеславин по внешности и характеру резко отличались. Сеславин был высок ростом, худощав, немногословен. Александр Самойлович Фигнер имел рост ниже среднего, был расположен к полноте. Обычно невеселое лицо его с небольшим круглым носом и серыми глазами оживлялось всякий раз, как только появлялась опасность или когда, находясь среди друзей, после двух-трех рюмок он начинал рассказывать о своих похождениях. При этом Фигнер любил немного прихвастнуть.

Так было и теперь в крестьянской избе, где собрались партизаны. Денис сидел на лавке против Фигнера. Сам мастер подобных рассказов, он не смотрел на рассказчика такими восторженными глазами, как Митенька Бекетов. Денис не сомневался в личной храбрости Александра Самойловича и настроен был по отношению к нему вполне благодушно. Однако когда Фигнер разошелся и стал хвастать своим жестоким обращением с пленными, он не выдержал и вмешался:

– Не выводи меня, Александр Самойлович, из заблуждения, оставь мне думать, что героизм есть душа твоих славных подвигов.

– Да ты не очень верь ему, Денис Васильевич, он на себя иной раз бог знает что наговорить способен… Ну, чего это ты, право, зверем себя выставляешь, Александр Самойлович? – обратился Сеславин к Фигнеру. – А кто третьего дня распорядился двум пленным сапоги выдать, чтоб ноги не поморозили?

– Так это же старики были… – отозвался, внезапно покраснев,

Фигнер. – Я не говорю, что со всеми жестокость нужна…

– То-то и оно! – продолжал Сеславин. – Слов нет, в нашем деле и жестокость необходима бывает, да не в этом суть воинской доблести нашей. Мужеством, необычайной силой духа, рожденными любовью к отечеству, – вот чем достойно каждому россиянину гордиться! Мне недавно, господа, – обратился он ко всем, – такой случай передавали… Привезли в один из наших лазаретов раненного пулей в грудь русского гренадера. Лекарь, из пленных французов, стал гренадера осматривать, с боку на бок поворачивать, искать, где пуля засела. Боль, представляете себе, адская, а гренадер стиснул зубы – и ни звука. Офицер наш, легко раненный и лежавший рядом, поинтересовался: «Тебе, братец, что ж, не больно разве?» – «Как не больно, ваше благородие, – ответил тихо гренадер, – мочи нет, да ведь лекарь-то хранц, нельзя перед ним слабость свою показывать…»

– Ах, какой молодец! – не удержался Бекетов. – Неужели так ни разу и не вскрикнул?

– А вы послушайте, что дальше произошло, – ответил Сеславин. – Лекарь-то, очевидно, неопытный был, искал пулю долго… Офицер, который лежал рядом, ответ гренадера передал своим соседям. В палате все притихли, наблюдают. И вдруг слышат, как гренадер зубами заскрипел, а следом стон тихий у него вырвался… Что такое? А гренадер, с трудом повернув голову к офицеру, говорит: «Я не от слабости, а от стыда, ваше благородие… Прикажите, чтоб лекарь меня не обижал». – «Да чем же он, – спрашивает офицер, – тебя обижает?» – «А зачем он спину мне щупает, я русский, я грудью шел вперед!» Представляете, господа, – заключил Сеславин, – в чем суть? Для русского солдата одна мысль, что его могут заподозрить, будто он не устоял перед неприятелем, мучительней любой боли… Удивительно ли, что непобедимая доселе армия Бонапарта вспять обратилась!

– Вполне с тобой согласен, Александр Никитич, – произнес Денис, – такого солдата, как русский, во всем мире не сыщешь… Да и что бы стоили все усилия наши, господа, если б не беспримерное мужество народа нашего…

В это время в избу вошел Степан Храповицкий, ездивший с казаками на разведку к селу Ляхову. Он доложил, что село занято корпусом генерала Ожеро, имеющим свыше двух тысяч регулярной пехоты и кавалерии. Взятые казаками пленные эти сведения подтвердили.

– Соединим свои силы, господа, и немедленно ударим! – первым предложил Фигнер, и в серых глазах его блеснул задорный огонек.

– Подожди горячиться. Дело не шуточное, надо сначала силы

свои подсчитать, – резонно заметил Сеславин.

Подсчитали. Оказалось, в трех партизанских отрядах имеется всего немногим больше тысячи гусар и казаков. Денис, поразмыслив, предложил:

– Для большей верности успеха можно пригласить графа Орлова-Денисова…

– Да на кой черт он нам нужен? – запротестовал Фигнер. – Ручаюсь, без него обойдемся! Я сейчас же отправлюсь в Ляхово, сам там все разведаю, – добавил он, надевая свой артиллерийский спенсер и меховой картуз.

– Нет, я склонен присоединиться к предложению Дениса Васильевича, – сказал Сеславин. – Подожди, Александр Самойлович, давай сперва договоримся…

– Э, да ну вас! – пробурчал с недовольным видом Фигнер. – Поступайте, как хотите.

Договориться с Сеславиным было нетрудно. Через час Бекетов уже скакал к графу Орлову-Денисову с письмом своего командира.

«Из встреч и разлуки нашей я приметил, граф, – сообщал Денис, – что вы считаете меня непримиримым врагом всякого начальства; кто без честолюбия и самолюбия? Я, при малых дарованиях своих, предпочитаю быть первым, а не вторым; но честолюбие мое простирается до черты общей пользы. Вот вам пример: я открыл в селе Ляхове неприятеля. Сеславин, Фигнер и я соединились. Мы готовы драться, но дело не в драке, а в успехе. У нас не более тысячи двухсот человек конницы, а у французов две тысячи пехоты и еще свежей. Поспешите к нам, возьмите нас под свое начальство – и ура! с богом!»

Граф от лестного приглашения не отказался. Партизаны начали тщательно готовиться к предстоящему сражению.

28 октября утром, пользуясь густым туманом, отряды Давыдова, Сеславина и Фигнера вплотную, с трех сторон, подошли к Ляхову, заняли соседние деревушки. Вскоре к партизанам присоединился граф Орлов-Денисов. Он известил, что его кавалерия идет следом.

Между тем казаки, захватив под Ляховом нескольких пленных, узнали от них, что войска Ожеро находятся в боевой готовности, намереваясь идти на соединение с войсками смоленского губернатора Бараге д'Илье, стоявшими в Долгомостье, на столбовой дороге. Посовещавшись, партизаны решили прежде всего преградить путь отступления Ожеро. Подведя свой отряд к Смоленской дороге, Денис спе́шил казаков, снабженных ружьями, затем приблизился к Ляхову и завязал бой. Сеславин, расположивший на небольшой высоте, позади

стрелков, четыре орудия, открыл картечный огонь по неприятельским колоннам, выходившим из села. Отряд Фигнера построился за Сеславинской батареей. Орлов-Денисов, выславший разъезды по дороге к Долгомостью, находился со своей кавалерией справа от них. А бугские казаки, под командой Чеченского, стоявшие с левой стороны, заняли дорогу, идущую на деревню Язвино, где разместилась другая неприятельская часть.

Невзирая на картечный и сильный ружейный огонь, французы, выйдя из Ляхова, стали занимать прилегавший к селу болотистый лес. Тогда ахтырские гусары и конница Фигнера ударили на неприятельскую кавалерию с фланга, загнали ее в болото, а спешенные казаки-стрелки ворвались в лес.

Генерал Ожеро приказал своим расстроенным войскам отступить в Ляхово.

В это время Орлов-Денисов получил неприятное донесение: две тысячи кирасир из корпуса Бараге д'Илье спешат из Долгомостья на помощь генералу Ожеро. Оставив под Ляховом одних партизан, Орлов-Денисов со всей своей кавалерией обратился на неприятельских кирасир, стремительно их атаковал и рассеял.

Возвратился граф уже под вечер. Сражение под Ляховом еще продолжалось. Партизанам удалось в нескольких местах поджечь село, но французы оказывали упорное сопротивление. Очевидно, генерал Ожеро ожидал, что к нему вот-вот придет помощь. Увидев вдали кавалерию, приближавшуюся к селу, и приняв ее за французскую, генерал построил свои войска для общей атаки на партизан. Однако вскоре убедился в своей ошибке. Кавалерия оказалась русской: это были гусары и казаки Орлова-Денисова.

Признав положение безнадежным, генерал Ожеро послал к графу парламентеров. Он сдавался в плен со всем своим корпусом. Шестьдесят офицеров и две тысячи рядовых положили оружие.

Эта победа партизан имела большое значение в общем ходе военных действий. Кутузов, уведомляя о ней императора Александра, написал:

«Победа сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжение нынешней кампании неприятельский корпус положил перед нами оружие».

А генерал Арман Коленкур, находившийся в постоянном общении с Наполеоном, сделал следующее признание:

«Эта неудача была для нас несчастьем во многих отношениях. Император счел это событие удобным предлогом, чтобы продолжить отступление и покинуть Смоленск, после того как всего лишь за несколько дней и, может быть, даже за несколько

минут до этого он мечтал устроить в Смоленске свой главный авангардный пост на зимнее время!»

XIV

Продолжая партизанские поиски в районе южнее Смоленска, отряд Дениса Давыдова 31 октября вышел на Мстиславскую дорогу, приблизившись к главным силам русской армии.

Денис нарочно избрал этот путь. Большое количество пленных и обоз с трофейным имуществом, следовавший за отрядом, замедляли движение: необходимо было разгрузиться. Кроме того, зная, какую острую нужду в продовольствии, особенно в мясе, испытывают передовые русские войска, преследующие по пятам французов, Денис хотел сделать приятный подарок: в его обозе шло свыше двухсот волов, отбитых партизанами в последние дни у неприятеля.

Какова же была радость Дениса, когда от встреченных на пути гусар он узнал, что в ближайшей деревушке, скрытой за холмами, стоят войска генерала Раевского. Оставив отряд на марше под начальством Степана Храповицкого, Денис, пришпорив коня, помчался в деревню. «Я словно корсар, открывающий после долгого крейсирования берега своей родины», – счастливо улыбаясь, подумал он, завидев вдали биваки своих товарищей, так давно, казалось ему, оставленных.

Николай Николаевич Раевский в компании генералов Васильчикова и Паскевича, а также нескольких штабных офицеров сидел в избе, заканчивая походный завтрак. Неожиданно дверь шумно распахнулась, и Денис, как был в казацкой папахе и чекмене, обросший бородой, вбежал в горницу и, не обращая ни на кого внимания, бросился обнимать Раевского.

– Ты меня испугал, право, – отшучивался Николай Николаевич. – Ведь этакий вид у тебя разбойничий… Да откуда ты взялся-то?

– Следую со своей партией из лесов смоленских, – весело ответил Денис. – Извините, господа, за появление в таком виде, – обратился он ко всем присутствующим, – два месяца в постоянных поисках и стычках с неприятелем, некогда туалетом заниматься.

– Читали, брат, про твои подвиги в журналах! – с усмешкой сказал генерал Васильчиков. – Что и говорить, грому ты наделал много!

– А меня, признаюсь, крайне удивляет, – подхватил генерал Паскевич, – что светлейший дозволяет партизанство… Как хотите, это недостойный метод, противный всяким воинским правилам!

– Зато не столь опасный, как боевые действия лицом к лицу с противником, – язвительно добавил кто-то из штабных офицеров.

Денис, понимавший, что недоброжелательство к нему вызвано в значительной степени завистью, ибо частое появление его имени в журналах кололо глаза многим, ответил довольно спокойно:

– Скажу по чести, господа, расписки о сдаче сорока трех офицеров и трех с половиной тысяч рядовых, захваченных в плен моим отрядом до двадцать третьего октября, столь надежно ограждают мою совесть, что мне нечего более добавить…

– И все же даже это обстоятельство не оправдывает партизанства как системы, – возразил Паскевич. – Надо смотреть на дело глубже, господин Давыдов. Партизанство имеет далеко идущие дурные последствия. Оно развращает солдат и мужиков произвольными действиями с оружием в руках, внушает неподобающие мысли о возможности пустить это оружие когда-нибудь против нас…

Денис давно недолюбливал Паскевича. Этот молодой генерал с красивыми тонкими чертами лица и презрительно поджатыми губами казался бездушным человеком и завистливым карьеристом. Но сказанные им слова в какой-то степени настораживали. Денису припомнился ночной разговор гусар. «А что, если в самом деле прав Паскевич?» – подумал он. Однако, взглянув на Раевского, успокоился. Николай Николаевич оставался совершенно невозмутимым, слова Паскевича, видно было по всему, не считал достойными внимания.

– Ну, это уж вы через край хватили, Иван Федорович, – вмешался Раевский. – Не скрою, я сам в начале войны весьма опасался внутренних беспокойств, однако ж ничего такого, слава богу, не случилось. А признаться, справедливости ради, что мужики помогли войскам победить французов, хотим мы того или не хотим, все равно придется…

– Боюсь, ваше высокопревосходительство, как бы нам сия помощь мужицкая дорого не обошлась, – заметил Паскевич, вставая из-за стола.

– Напрасно заранее себя пугаете, Иван Федорович, ведь этак здоровье испортить недолго, – со скрытой иронией произнес Раевский.

Генералы и офицеры вскоре разошлись. Денис остался вдвоем с Николаем Николаевичем.

– Что же я Сашу и Николеньку не вижу, да и Левушка мой исчез куда-то? – спросил Денис.

– Николеньку на днях домой отправил, лихорадку где-то подхватил, – ответил Раевский. – А Саша в своем полку, брата же

твоего к Дмитрию Сергеевичу Дохтурову послал, он находится верстах в десяти отсюда.

– А где же теперь Базиль? В лейб-гусарах?

– Представь, отказался, как и ты от гвардии… К себе звал – тоже не идет. «Не хочу, – говорит, – никакими привилегиями пользоваться». Странный какой-то стал! В армейской кавалерии служит. Да оно, может быть, и к лучшему…

Разговор перешел на военные темы. Раевский принадлежал к числу сторонников и любимцев Кутузова, под командой которого служил в молодости. Одобряя действия фельдмаршала, Николай Николаевич с возмущением рассказывал о тех сложных интригах, которые плелись в главной квартире штабными господами во главе с Беннигсеном и Робертом Вильсоном против главнокомандующего.

– И представь, теперь, когда события столь неопровержимо подтверждают мудрость и прозорливость Михаила Илларионовича, – продолжал Раевский, – эти господа, постоянно ему противодействующие, имеют наглость уверять, будто своими успехами мы обязаны им и будто успехи эти могли быть более значительными, если б светлейший всегда внимал их советам… Да, любезный Денис, – закончил Николай Николаевич, – подлости в наших высоких сферах столько, что, право, побудешь иной раз в главной квартире, послушаешь всех этих критиканов светлейшего, от коих на версту английским душком попахивает, и тошно станет!

– Неужели светлейший обязан терпеть около себя этих господ? – спросил Денис.

– Да что поделаешь, коли они в Петербурге поддержку находят, – прямо ответил Раевский. – Плетью обуха не перешибешь! Впрочем, кажется, Беннигсена из главной квартиры фельдмаршал собирается все-таки выпроводить…

Разговор прервался приездом Левушки. В мундире армейского поручика, с анненским орденом за сражение под Малоярославцем, Левушка выглядел неплохо. Он был выше брата ростом, темно-рус, худощав, однако схожесть между ними легко улавливалась и по очертаниям лица, и по густым темным бровям над живыми глазами, и по быстрым, порывистым движениям.

Семейные новости, сообщенные Левушкой, были благоприятны. Московский дом, оказывается, уцелел, хотя дочиста ограблен. Мать с сестрой собираются туда переезжать из орловской деревни. Брат Евдоким с кавалергардами следует за главной квартирой, произведен в ротмистры. Все живы, здоровы.

– Более всего за тебя беспокоимся, – весьма обрадованный неожиданной встречей с братом, продолжал Левушка. – А тут

недавно, как на грех, поручик Павел Киселев, он теперь адъютантом у Милорадовича, меня встревожил. Рассказывал, будто французы за твою голову награду объявили…

– Позволь! Откуда же это Киселеву известно? – заинтересовался Денис.

– Канцелярия смоленского губернатора к ним в руки попала… Киселев говорил, что сам объявления читал, где все твои приметы указаны. И даже будто против тебя целую экспедицию послали под начальством какого-то полковника Жерара…

– Э, брат, было дело, да сплыло! – с довольной усмешкой сказал Денис. – Мы от этой экспедиции одни ножки да рожки оставили. И полковник Жерар давно в покойниках!

Партизанская деятельность, о которой Денис красочно рассказывал весь вечер, Левушку до такой степени увлекла, что он тут же стал просить Раевского о дозволении поступить в отряд брата. Николай Николаевич возражать не стал.

Тем временем отряд Дениса вошел в деревню, сдал интендантам пленных, оружие и, наделив войска мясом, за что особенно все благодарили партизан, тронулся дальше, к селу Красному, находящемуся за Смоленском, где, по сведениям, сосредоточились большие толпы отступавших французов. Отряд вел Степан Храповицкий. Денис же, ночевавший у Раевского, отправился догонять свою партию на следующий день вместе с Левушкой.

Был легкий мороз. Порошил снежок. Денис и Левушка на сильных донских лошадях ехали быстро, без остановок. Не доезжая до одной из деревень, где остановился на привал отряд, увидели мчавшегося навстречу вестового казака. «Что такое? – тревожно подумал Денис. – Уж не наскочили ли наши на главные силы французов?»

Но казак, поравнявшись с ними, объявил:

– Подполковник Храповицкий уведомляет, что в деревню прибыл со своим штабом главнокомандующий и требует к себе ваше высокоблагородие…

– Какой главнокомандующий? Толком говори!

– Фельдмаршал, светлейший князь Кутузов…

Денис, ни слова не говоря, хватил коня нагайкой и бешено поскакал вперед.

… Обычная курная изба, занимаемая Кутузовым, ничем не отличалась от других изб разоренной смоленской деревушки. В тесной горнице с бревенчатыми стенами, низким закопченным потолком и маленькими оконцами едва нашлось место для походной кровати фельдмаршала, дубового стола и нескольких

раскладных кресел.

Когда Денис с бьющимся сердцем вошел и почтительно остановился на пороге, Кутузов в распахнутом теплом сюртуке без эполет, сидя у стола, рассматривал карту, делая на ней карандашом отметки.

Медленно приподняв голову и увидев Дениса, он отложил карандаш в сторону и тихим, усталым голосом пригласил:

– Ну, подойди, подойди поближе, голубчик… Я еще лично не знаком с тобою, но прежде хочу поблагодарить тебя за твою службу…

С этими словами он тяжело поднялся и, ласково взглянув на Дениса, привлек его к себе и слегка коснулся лба теплыми губами. Денис стоял молча. Сердечность и родственная простота, с какими встретил его фельдмаршал, тронули до слез. Неизъяснимое чувство любви и благодарности к этому человеку, спасителю отечества, охватило и взволновало так сильно, что все слова, заранее подготовленные, казались теперь ненужными, глупыми.

А Кутузов между тем продолжал:

– Удачные опыты твои доказали мне пользу партизанской войны, которая нанесла, наносит и нанесет еще неприятелю много вреда…

Он сделал короткую паузу. Денис, запинаясь от волнения, произнес:

– Прошу простить, ваша светлость, что осмелился предстать пред вами в мужицком одеянии…[32]

Глаз Кутузова, бегло скользнув по Денису, прищурился, на лице появилась легкая улыбка.

– В народной войне это необходимо, – сказал он. – Действуй, голубчик, как ты действуешь: головою и сердцем. Мне нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром… Ты скажи-ка лучше, – продолжал он, усаживаясь снова в кресло, – каким способом удалось создать большое ополчение в Юхнове? Мне генерал Шепелев говорил, будто дворянство там, кроме предводителя и нескольких мелкопоместных, не очень-то помогало? Кто же в таком случае крестьян побуждал в ополчение вступать?

– Ненависть к поработителям отечества, ваша светлость, – ответил Денис. – На призыв наш, разосланный через земство, откликнулось свыше шести тысяч крестьян, пожелавших с оружием в руках защищаться от неприятеля, тогда как большинство дворян, к сожалению, уклонилось от службы… Оружие же ополченцам и крестьянам, поднявшимся в других селениях, выдавалось мною из отбитого у неприятеля… Прошу

простить, ваша светлость, что решился на это без особого приказания.

– Ничего, ничего, – одобрительно кивнул головой Кутузов. – Тут и приказания никакого ожидать не надобно, чтоб народу в таком деле, как защита отечества, помощь оказать. Только в донесениях своих об этом, голубчик, не пиши… Больно много уж нынче охотников все вкривь и вкось толковать!

В это время в горницу вошел главный квартирмейстер полковник Толь, положил перед фельдмаршалом объемистую кипу разных бумаг.

– Ох, Карлуша, замучил ты меня совсем своей канцелярией, – сказал со вздохом Кутузов. Затем, снова обратившись к Денису, произнес: – Ты иди пока, отдохни… Петр Петрович скажет тебе все, что нужно…

Денис поклонился, вышел. И сразу попал в толпу знакомых и незнакомых штабных офицеров и должностных лиц. Всем не терпелось узнать, о чем говорил с ним фельдмаршал. Толстенький, румяный флигель-адъютант граф Потоцкий, славившийся как «первейший обжора российской армии», с которым Денис ранее несколько раз встречался, подхватив его предупредительно под руку, сказал:

– Я тебя обедать жду, любезный Денис… Пожалуйста, не возражай! Мне сегодня доставили таких стерлядок и устриц – пальчики оближешь…

Полагая, что аудиенция у Кутузова окончилась, сильно проголодавшийся Денис предложение Потоцкого принял. Изба, где остановился этот польский магнат, снаружи выглядела такой же убогой, как и все остальные, зато внутреннее убранство ее представляло поразительный контраст с тем, что пришлось видеть у фельдмаршала.

Граф Потоцкий, смотревший на войну как на увеселительную прогулку, возил с собою огромный обоз. Повара, кондитеры, камердинеры, лакеи имели все необходимое для того, чтобы барин чувствовал себя как дома в любом месте.

Потолок и стены горницы, куда граф привел Дениса, были задрапированы цветным бархатом, пол покрыт ковром. Столы роскошно сервированы. Ярко горели свечи, вставленные в позолоченные канделябры. Сверкал хрусталь. Искрилось в бокалах шампанское.

За столами сидело около пятнадцати штабных чиновных господ. И первым, кого Денис заметил, был сэр Роберт Вильсон, поднявшийся навстречу с деланной улыбкой на каменном лице.

– Я, кажется, имел удовольствие не раз встречать вас в прошлую кампанию, – любезно произнес он, протягивая руку.

– Так точно, сэр, в штабе генерала Беннигсена, – подтвердил Денис, невольно настораживаясь. «А ведь, пожалуй, мне не стоило сюда приходить; очевидно, этот сэр не случайный здесь посетитель, – промелькнула мысль. – Им что-то хочется от меня выведать, надо держать ухо востро».

Денис хотя и слышал от Раевского о неблаговидных поступках сэра Роберта Вильсона, интриговавшего против Кутузова, но, разумеется, не мог знать о всей той подлой подрывной работе, какую проводил в главной квартире этот агент английского правительства. Англия, для могущества которой Наполеон представлял величайшую опасность, желала как можно скорее покончить с ним, но, как всегда, стремилась осуществить это чужими руками и чужой кровью.

Выполняя данное ему наставление, сэр Роберт Вильсон требовал решительных наступательных действий и сражений, не считаясь ни с излишними жертвами русских, ни с национальными интересами России. Получая английские субсидии, недальновидный император Александр, ослепленный ролью «избавителя всего света от тирании Бонапарта», не замечал позорного кнута в руках сэра Роберта Вильсона. Кутузов, наоборот, быстро отгадал стремления английского правительства. Осуществляя собственный план уничтожения французской армии, он избегал напрасных кровопролитных сражений, всемерно сохраняя русские силы.

Вильсон понял, что в лице Кутузова он имеет неутомимого защитника национальных русских интересов, никак не склонного идти на поводу английского правительства, и повел упорную борьбу за смещение фельдмаршала с поста главнокомандующего. Беннигсен и группа штабных тунеядцев, к которой принадлежал и граф Потоцкий, были лишь орудием в ловких руках английского шпиона.

Вильсон за несколько дней до встречи с Денисом писал императору Александру:

«Лета фельдмаршала и физическая дряхлость могут несколько послужить ему в извинение, и потому можно сожалеть о той слабости, которая заставляет его говорить, что «он не имеет иного желания, как только того, чтобы неприятель оставил Россию», когда от него зависит избавление целого света. Но такая физическая и моральная слабость делает его неспособным к занимаемому им месту».

Зная, как не любит и опасается император Александр всяких народных и партизанских действий, поощряемых Михаилом Илларионовичем, Вильсон и его друзья не раз доносили о «зловредной» деятельности Кутузова в Петербург. И, конечно, им

бы весьма пригодилось каждое неосторожное слово, сказанное фельдмаршалом партизану.

Но Денис надежд не оправдал. Он искусно отделывался от вопросов общими фразами. Любознательность сэра Роберта Вильсона была слишком подозрительна, чтобы способствовать откровенности. Впрочем, и времени для этого не оказалось. Едва Денис успел выпить бокал вина, как явился денщик фельдмаршала и объявил, что светлейший ожидает его к своему столу. Денис поспешил оставить гостеприимного хозяина и его приятелей с намерением никогда больше в эту компанию не попадать.

За обедом у Кутузова не было никаких особых лакомств, и блюда подавались самые незатейливые, зато чувствовал себя Денис как дома. За столом кроме фельдмаршала находились Коновницын, Толь, Кудашев. В дружеских их чувствах к себе Денис не сомневался.

Михаил Илларионович, отличавшийся необыкновенным даром слова, был интересным собеседником. Оказалось, он хорошо знал деда Дениса с материнской стороны – генерала Щербинина и помнил Василия Денисовича, некоторые остроты его, не известные даже Денису, передавал с большим мастерством.

Говорили о литературе, о стихах Дениса, о письме к госпоже Сталь, только что написанном светлейшим. И все искренне посмеялись, когда Денис по просьбе Коновницына рассказал, как удалось ему отделаться от «владычества» генерал-адъютантов.

После обеда, пользуясь благосклонным отношением фельдмаршала, Денис сказал:

– Я прошу, ваша светлость, о новом награждении отличившихся партизан моего отряда…

– Будь покоен, голубчик, – отозвался Кутузов. – Ты подай Петру Петровичу записку, я все сделаю, что в моих силах… Бог меня забудет, если я вас забуду!

Простившись с фельдмаршалом, Денис заехал к кавалергардам повидаться с братом Евдокимом, затем пустился догонять свой отряд. В сумке Дениса лежал один из последних приказов Кутузова, обращавшегося к войскам со следующими замечательными словами:

«Итак, мы будем преследовать неутомимо. Настает зима, вьюги и морозы; вам ли бояться их – дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена отечества, о которую все сокрушается. Вы будете уметь переносить и кратковременные недостатки, если они случатся. Добрые солдаты отличаются твердостью и

терпением, старые служивые дадут пример молодым. Пусть всякий помнит Суворова: он научал сносить и голод, и холод, когда дело шло о победе и славе русского народа».

Будучи, под впечатлением своей встречи с фельдмаршалом, Денис находился в радостно-приподнятом настроении. Все казалось замечательным в Кутузове: и необыкновенная душевность, и простота в обхождении, и огромные разнообразные познания, обнаруженные им в разговоре за обедом, и эти простые, доходившие до сердца слова приказа.

Денис подгонял коня: не терпелось поскорее рассказать обо всем товарищам.

XV

Продолжая следовать на запад параллельно движению французов, партизаны разбили большую неприятельскую колонну у местечка Ляды и, захватив в плен до пятисот солдат и офицеров, подошли к городу Копысу на Днепре.

Узнав, что там находится кавалерийское депо под начальством майора Бланкара, сумевшего уже переправить на ту сторону реки большую половину войск и тяжестей, партизаны ворвались в город. Днепр еще не был скован морозом, лишь у самых берегов его образовалась тонкая ледяная кромка. Появление казаков у переправы вызвало замешательство и панику среди французов. Многие из них стали кидаться в реку, чтобы вплавь добраться до противоположного берега. Но казаки, очистившие город от неприятеля, двумя колоннами под командой Дениса пустились через Днепр вплавь. Кавалерийское депо было полностью разгромлено. В плен партизаны захватили десять офицеров и шестьсот рядовых, на месте положили не меньше.

Возвратившись в Копыс, Денис приказал доставить к нему поставленного французами мэра города, по слухам, расстреливавшего русских пленных и всячески притеснявшего жителей. Казаки привели рябого и невзрачного, перепуганного насмерть человека, за которым вся в слезах прибежала молодая жена.

– Как твоя фамилия, негодяй? – сурово спросил Денис арестованного.

– Попов, ваша милость, – пролепетал тот.

– Как же ты осмелился служить врагам отечества? – возвысил голос Денис. – Предатель, изменник!

Попов еще более побледнел и что-то невнятно забормотал. Жена, рыдая, упала в ноги.

– Сударыня, вам здесь не место, – обращаясь к ней, сказал

Давыдов. – Ваш муж недостоин никакого сожаления…

– Простите… Он всего три дня работал в магистрате. Его Калецкий заставил бумаги подшивать…

– Какой Калецкий? Кто таков?

– Из Могилева сюда присланный… который мэром служил…

– Позвольте, сударыня! А разве не ваш муж был мэром?

– Нет, нет, у кого угодно спросите…

Выяснилось, что Попов, мелкий канцелярист, на самом деле только три дня работал в магистрате, казаки взяли его по ошибке. Калецкий, оказавшийся дворянином, укрылся в пригороде, собираясь бежать, но с помощью Попова его удалось захватить. Умоляя о пощаде, предатель рассказал, что в Могилеве, где он жил, первым присягнул на верность Наполеону архиепископ Варлаам, затем несколько видных чиновников и помещиков, помогавших неприятелю. Записав их фамилии, Денис хотел отправить список изменников в главную квартиру вместе с Калецким, затем раздумал. Дело представлялось совсем необычным, и кто знает, в какие руки попадет список!

Случай этот навел Дениса на тяжелые размышления. Гордясь своим дворянским родом, самозабвенно любя отечество, Денис в начале войны не сомневался, что все дворянство, как и он, предпочитая смерть позору иноземного порабощения, полно решимости бороться до конца с наглым неприятелем. Но что же пришлось видеть? В то время как крестьяне, мещане, ремесленники – весь простой народ всюду брался за оружие и, не щадя жизни, дрался с чужеземцами, поведение дворянства во многих случаях вызывало негодование. Денис теперь достоверно знал, что не в одном Юхновском уезде дворяне уклонялись от службы. Всюду, при первых слухах о неприятеле, эти «потомки древних бояр» трусливо бежали в отдаленные губернии и, как с краской стыда на лице записал Денис в свой дневник, «пока достойные и незабвенные их соотчичи подставляли грудь свою штыку врагов отчизны, они, опрыскиваясь лишь духами, плясали там на могиле отечества и спокойно ожидали известия об исходе войны».

А недавно Денис столкнулся и с более возмутительным случаем.

Отряд ночевал в одной из деревень близ Дорогобужа. На рассвете в избу, где спал Денис, вошел урядник Крючков, доложил:

– Крестьянин из соседнего села к вашему высокоблагородию…

– По каким таким делам? – пробурчал, поднимаясь, Денис.

– Говорит, будто ваш старый знакомый…

– Хорошо. Давай его сюда.

Крестьяне повсюду были надежными помощниками партизан. Денис не раз получал от них ценные сведения о нахождении неприятельских команд, и появление крестьянина, именовавшего себя «старым знакомым», не представляло ничего необычного. Однако того, кто вошел в избу, Денис никак не ожидал здесь встретить. И удивления своего скрыть не мог.

Перед ним в коротком овчинном полушубке, теребя шапку в руках, стоял партизан Терентий. Тот самый русобородый, немного похудевший начальник партизанской дружины, с которым повстречался летом в лесах Смоленщины.

– Доброго здоровья, ваше высокоблагородие, – произнес Терентий. – Простите, что обеспокоил…

– Позволь… Как же ты здесь очутился, любезный? – все еще недоумевая, спросил Денис.

– А я ведь сказывал вам, ежели не забыли, что из здешних мест родом, – отозвался Терентий. – Барин мой, господин Масленников, в пяти верстах отсюда проживает…

– Так что же? Разве ты ушел из дружины?

– Пришлось… Третью неделю дома…

– Почему?

– Не моя воля, ваше высокоблагородие, – вздохнув, ответил Терентий. – Народ-то будто доволен мною был… Не меньше полтыщи басурманов перебили, сколько обозов ихних забрали…

– Ну? И что же потом произошло?

– Да вот, как услыхал я, что хранцы в наших местах озоруют, – продолжал Терентий, – надумал сюда тайком пробраться. Баба моя с ребятами тут осталась, надо было укрыть их куда ни на есть, а то хранцы могли дознаться, что я в партизанах, да отквитать на них… Случаи такие были!

– Понимаю, понимаю… Но здесь-то почему задержался? – нетерпеливо перебил Денис.

– В подвале на цепи сидел…

– Как? – еще более удивляясь, воскликнул Денис. – Значит, тебя все-таки французы схватили?

– Схватили, да не они, – с горькой усмешкой проговорил Терентий. – По господскому приказу… Сначала на конюшню отвели, пятьдесят розог всыпали, а потом в подвал…

– За что же? Чем ты провинился?

– Вина одна… Проведал барин, что я в партизанах находился.

– Быть того не может! Вздор! – перебил Денис. – Голову ты мне, что ли, морочишь, любезный?

– Эх, ваше высокоблагородие, стал бы я жаловаться, кабы в другом чем виноват был! – горячо возразил Терентий. – Да у кого

угодно в деревне спросите… Барин-то наш хранцам продался. Заодно с ними мужиков грабит, а партизан ловить и наказывать приказывает…

Денис слушал убедительные доводы партизана молча. Сомнения постепенно исчезали. Отвратительный образ помещика-изменника вырисовывался довольно ярко. «Мерзость какая!» – думал Денис, еле сдерживая негодование.

И, наконец, обратившись к Терентию, сказал:

– Вот что, Терентий, я сам сейчас к вам поеду, разберусь. Если господин Масленников виновен, он получит по заслугам…

– А как партизанам поступать, ваше высокоблагородие? У нас в селе помимо меня человек пятнадцать… Можно нам с хранцами-то драться?

– Можно. Насчет этого я особое внушение сделаю господину Масленникову…[33]

Обширная помещичья усадьба, куда приехал сопровождаемый сотней казаков Денис, казалась благословенным островом. Соседние селения сплошь были разорены и полусожжены, а здесь во всем ощущались порядок и полное благополучие. И уже одно это подтверждало справедливость тяжелых обвинений, возведенных на хозяина.

Сумрачный и безмолвный, Денис переступил порог уютного барского дома.

Низкорослый помещик с круглым румяным лицом и белесыми бегающими глазками встретил необыкновенно учтиво и, рассыпаясь в любезностях, не замедлил пригласить дорогого гостя к завтраку.

Денис приглашение отклонил, сказал жестко:

– Я приехал не с визитом, господин Масленников. – И, глядя в глаза хозяину, добавил: – Весьма странно, почему общее бедствие не коснулось вашего имения?

Масленников, видимо, к подобному вопросу подготовился. Он слегка смутился, но оправдывался бойко, самоуверенно:

– Что вы, помилуйте! У меня и лошадей французы взяли и все амбары обчистили… Семян даже не оставили… Я, видите ли, на свое несчастье, не сумел вовремя отсюда выехать и столько ужасов пережил… Не знаю, как жив остался… Да вот сами можете видеть, что злодеи наделали, – он поспешно распахнул дверь в одну из комнат, где на полу валялась поломанная мебель, а на стенах висели изорванные обои. – Ведь этаких разбойников свет не видел! Они, представьте, даже стреляли в меня…

Денис саркастически усмехнулся. Доказательства были шиты белыми нитками. «Нарочно, подлец, комнату подготовил, чтоб хоть немного оправдаться», – подумал Давыдов. И тут же заметил:

– Однако ж, господин Масленников, основное ваше имущество сохранилось… Интересно знать, каким образом?

– О, это совершенно случайно… Мне, представьте, удалось подкупить одного французского офицера и через него достать охранный лист…

– Вот как! Любопытно! Позвольте-ка взглянуть на чудесную сию бумажку…

Масленников нехотя достал из комода документ. И все окончательно разъяснилось. Сам смоленский губернатор Бараге д'Илье подтверждал, что господин Масленников освобождается от всяких военных постоев и реквизиций в уважение к добровольно принятой им на себя обязанности продовольствовать французов, находившихся в Вязьме.

По мере чтения бумаги лицо Дениса принимало все более мрачное, зловещее выражение. Заметив это, Масленников пришел в замешательство, пробормотал:

– Вы не подумайте… У них такая форма… Неприятеля я не снабжал…

– Молчите, сударь! – угрожающе прикрикнул Денис. – Я не судья и не буду копаться в совершенных вами мерзостях. Вы дадите за них ответ в ином месте. А теперь извольте выслушать меня… Помимо всего прочего вы осмеливаетесь задерживать крестьян-партизан и даже наказывать их за усердие, проявленное в борьбе с любезными вам иноплеменниками…

– Никогда того не было, богом клянусь! – вновь попытался оправдаться уже не на шутку струсивший помещик. – Людишки разбаловались… От работ уклоняются, неизвестно где шатаются, а потом партизанами себя объявляют… Оброчный мой, Терешка, полгода домой глаз не казал, пьянствовал на стороне, партизанто и во сне не видел, а тоже…

– Лжете! – перебил выведенный из себя Денис. – Я сам Терентия в лесу встречал и могу свидетельствовать о заслугах его перед отечеством… Прикажите сейчас же, сударь, чтоб Терентий и другие партизаны могли свободно возвратиться в свои дружины…

– Слушаюсь… Будет исполнено… – низко склонив голову, пробормотал помещик.

– А если узнаю, что вы снова вздумали повторить свои гнусности… Берегитесь! Я найду скорый способ отучить от них! – грозно и внушительно предупредил Денис на прощание.

Но дело на этом не кончилось. Крестьяне из соседних деревень, прослышав о приезде казаков, собрались около дома. Когда Денис, провожаемый хозяином, показался на крыльце, крестьяне, почтительно сняв шапки, стали жаловаться:

– Управы ищем, кормилец, на господина Масленникова…

– Вместе с хранцами он нас грабил, а хлеб и скот наш в Вязьму посылал…

– Всех разорил, ни синь-пороху не оставил!

Слушая эти справедливые нарекания, Денис чувствовал большое смущение. Он сознавал, в какое рискованное положение поставлен. Масленников был дворянин и помещик. Выругать с глазу на глаз, сообщить о его поступках начальству – это одно, а осудить открыто, при крестьянах – другое. Денис колебался. Крестьяне могли по-своему истолковать его слова и учинить над Масленниковым самосуд, подав тем самым дурной пример другим. И в то же время заступиться за изменника не позволяла совесть.

– Попробуйте перед ними оправдаться, сударь, – злым шепотом произнес Денис, обращаясь к стоявшему позади него посиневшему от страха помещику.

– Они бунтовщики… разбойники… мошенники… – заплетающимся языком еле слышно ответил Масленников. – Их пороть надо… пороть…

Это было уже слишком. Подобные доводы, ничуть не оправдывая помещика, незаслуженно обижали ограбленных им же крестьян. Почему-то в памяти Дениса всплыл вдруг тот ночной разговор гусар. «Вот через таких помещиков и недовольство в народе пробуждается, – промелькнуло в мыслях. – Люди за отечество ни достояния, ни жизни не жалеют, а этот подлец только о шкуре своей заботится…» Дениса взорвало. Забыв всякую осторожность, сжимая в руке нагайку и еле сдерживаясь, чтобы не пустить ее в ход, он подступил к изменнику и, задыхаясь от ярости, крикнул:

– Каналья! Негодяй! И ты еще смеешь клеветать на честных людей! Опозорил дворянский мундир, так уж лучше прикуси поганый свой язык, собака! Я тебя научу уму-разуму… – И, повернувшись к казакам, приказал: – Всыпать за измену отечеству двести нагаек…

Казаки схватили помещика, разложили и, не обращая внимания на его угрозы и вопли, с особым удовольствием проучили по всем правилам[34].

Крестьяне затихли, относясь к происходящему с видимым одобрением. Поглядев на них, Денис нахмурился. «Как бы они все-таки беды здесь не наделали, – тревожно подумалось ему, – надо им тоже внушение сделать…» И когда экзекуция была закончена, обратившись к крестьянам, сказал строгим голосом:

– А вы ступайте по домам, принимайтесь за свои дела… Искать взятое у вас продовольствие негде, оно израсходовано

французами, сами знаете… Будьте довольны, что господин Масленников наказан за измену да ответит еще за свои поступки где положено… Но предупреждаю вас, – повысил он голос, – чтоб никакого шуму и сборищ не было, и упаси вас бог от самовольства… Иначе вам самим не миновать расправы. Запомните крепко! Прощайте!

Крестьяне молча разошлись. Денис уехал, чувствуя на душе какую-то тяжесть… Совесть упрекала, что не расстрелял изменника на месте, хотя и сильно чесались руки. Не посмел, ибо знал, что за такое самоуправство над дворянином угрожает каторга.

И вот теперь, в Копысе, он узнал об измене могилевского архиепископа и чиновного дворянства. Какой позор! Нет, никак нельзя прощать этих высокопоставленных предателей! «А что ты сделаешь? Ведь у каждого из них, – подсказывало сознание, – наверное, и деньги, и связи найдутся, откупятся, дело замнут, да на тебя же еще и пасквиль сочинят».

В конце концов Денис решил, что лучше всего доложить обо всем лично фельдмаршалу, передав светлейшему из рук в руки список изменников. «Пусть судит, как хочет, – зато моя совесть спокойна будет», – подумал он.

XVI

Под командой Дениса осталась одна кавалерия: ахтырцы, бугские казаки и донской полк. Такой состав отряда позволял совершать быстрые марши, представлял большое удобство для партизанских поисков, но на дальнейшем пути лежали, города и местечки, занятые сильными гарнизонами противника, и выбивать их без пехоты и артиллерии было затруднительно.

Узнав о приближении к Копысу русских авангардных войск под начальством Милорадовича, Давыдов обратился к нему за помощью. Милорадович, один из любимцев Суворова, славившийся молодецкой удалью, действия партизан одобрял, к Денису относился дружелюбно. И хотя не смог дать пехоты, зато снабдил двумя легкими пушками с достаточным запасом снарядов. Денису эта артиллерия в ближайшие же дни весьма пригодилась.

Довольно быстро овладев Шкловом и Головчином, партизаны подошли к местечку Белыничи, где находились большие продовольственные склады и госпитали французов. Местечко, расположенное на возвышенном берегу реки Друцы, охраняли два батальона свежей неприятельской пехоты и два эскадрона улан.

Заметив партизан, противник, уверенный в своем

превосходстве, не выказал никакой паники. Напротив, уланы вышли навстречу. Денис с ходу произвел контратаку, улан смяли, однако когда казаки, увлекшись преследованием, ворвались в местечко, неприятельская пехота открыла такой огонь, что волей-неволей пришлось отступить.

Тогда Денис попробовал обойти Белыничи, но убедился, что болотистые берега реки и оттепель представляют еще большее препятствие, чем огонь противника. А единственный мост через реку находится в конце спускавшейся к ней главной улицы и крепко охраняется. Пришлось снова среди белого дня штурмовать неприятеля, укрепившегося за строениями и заборами.

Французы отбивались храбро. Казаки и лошади падали, попав под смертоносный ружейный огонь. Левушка, командуя отборной сотней донцов, под градом пуль проскакав вдоль главной улицы почти до моста, тоже вынужден был возвратиться назад. Стрельба картечью по домам, где засели французы, не достигала цели.

Кусая от досады губы, Денис приказал прекратить нападение. Оставалось последнее средство: зажечь брандкугелями строения, хотя этого никак не хотелось делать, – могли погибнуть в огне провиантские склады и магазины.

– Вот что, друг любезный, – обратился Денис к командиру орудий поручику Павлову, – зажги-ка осторожно крайнюю избу да пусти для острастки гранатами вдоль улицы… Пусть поймут, что от них одного хотят, чтоб поскорей отсюда убирались!

Расчет оказался правильным. Лишь только загорелась первая изба, как французы, ясно представив, что ожидает их, если обстрел брандкугелями будет продолжаться, зашевелились, стали выстраиваться, готовясь к отступлению.

Заметив это движение противника, Левушка подскакал к Денису.

– Разреши, я их опрокину…

– Голову себе и мне сломать хочешь? – посмотрев сердито на брата, произнес Денис. – Я того и жду, чтоб они сами ушли…

– Дорога впереди лесистая, можем упустить…

– Не беспокойся! Им больше некуда идти, как на Эсмоны, а там мы сумеем предупредить…

Дав возможность неприятельской колонне выбраться в поле, захватив в Белыничах госпитали и склады, партизаны, не задерживаясь, направились следом за противником. Пушки, выдвинутые вперед, вели стрельбу картечью, причиняли французам большой урон. Однако колонна их держалась стойко, медленно продвигаясь по дороге к Эсмонам.

Денис приказал Бекетову скрытно, стороной, пробраться к этому селу с казачьей сотней, разобрать мост на реке и укрыться

близ переправы. Одновременно он поручил Левушке и находившемуся в его сотне уряднику Крючкову устроить другую засаду в лесу, немного ближе Эсмон. Сам же с остальной кавалерией продолжал следовать по пятам противника, превосходящего численностью в три-четыре раза.

Начальнику французской колонны, очевидно, надоели беспрерывные наскоки партизан, и он решил дать бой, развернув в цепь большую половину своих войск.

Левушка с донцами находился поблизости. Увидев неприятельских застрельщиков, он лихо ударил на них с тыла. Донцы, перерезав цепь противника, захватили в плен подполковника, двух офицеров и сотню рядовых.

Среди французов произошло замешательство. Партизаны снова налетели на них. Но все же окончательно разбить колонну не удалось. Смыкаясь и отстреливаясь, она продолжала свой путь.

Залюбовавшись отважными действиями брата, Денис не спускал с него глаз. И вдруг заметил, как Левушка, в полуверсте от него преследовавший с казаками расстроенных улан, странно взмахнул руками, затем исчез из виду. «Убит!» – промелькнула в голове страшная догадка. Не помня себя, Денис пришпорил коня и помчался к тому месту, где видел брата.

Левушка лежал на казацкой шинели. Он был в бессознательном состоянии. Несколько спешенных казаков молчаливо стояли вокруг, Иван Данилович Крючков склонился над Левушкой и, разрезав окровавленную рубашку, бережно перевязывал глубокую рану на груди.

Опустившись на колени, Денис пристально вглядывался в изменившееся до неузнаваемости смертельно бледное лицо брата и еле удерживался от рыданий.

– Ничего, ваше высокоблагородие, жив будет, – тихо произнес Крючков. – Пуля, слава богу, наскрозь прошла…

– Надо немедленно отправить в Белыничи, в госпиталь, – отозвался Денис. – Распорядись побыстрей носилки сделать, Данилыч…

– Я уж и сам так сообразил, ваше высокоблагородие. Послал ребят в лесок, сейчас готовы будут…

А бой с отступающим противником продолжался. Денис знал, что его присутствие там необходимо. Прискорбно было оставлять на поле битвы брата, да нельзя иначе. Чувство долга пересиливало все остальное.

Поручив Левушку заботам Ивана Даниловича, наказав найти в Белыничах среди пленных лекарей опытного хирурга, Денис поскакал к своему отряду.

Развязка дорого стоившего боя наступила скоро. Бекетов

отлично выполнил приказ. Как только неприятель показался у разобранной переправы, спешенные казаки, укрытые в зарослях ивняка, встретили его ружейными залпами. И в ту же минуту на растерявшегося от неожиданности противника обрушилась вся кавалерия Дениса.

Колонна почти полностью была уничтожена. Спастись вплавь через реку удалось немногим.

Побывав ночью в Белыничах, выяснив, что тяжелая рана Левушки не внушает опасения за его жизнь, Денис распорядился об отправке брата в тыл и, простившись с ним, отправился в дальнейший путь.

Партизаны приближались к лесистым берегам Березины, где в то время разыгрывался один из самых драматических эпизодов кампании.

… Кутузов стремился осуществить собственный план полного окружения и истребления наполеоновской армии в районе между Оршей и Борисовом. Для этой цели по его приказу с юга стягивалась к Березине пятидесятитысячная Молдавская армия под начальством адмирала Чичагова, а с севера наступали войска генерала Витгенштейна. Соединившись, они должны были преградить дальнейший путь отступления неприятелю.

Дальновидность Кутузова была поразительна. Еще 23 октября, когда французы находились в Вязьме и Наполеон предполагал зимовать в Смоленске, Кутузов знал, что это намерение не осуществится, и тогда же, точно определив дальнейший маршрут противника, стал принимать меры к тому, чтобы войска Чичагова не опоздали прийти к Борисову. Именно в тот день Кутузов писал адмиралу:

«Сколь бы полезно было, если бы ваше высокопревосходительство как можно поспешнее, оставя обсервационный корпус против австрийских войск, с другою частию обратились в направлении через Минск на Борисов».

В другом письме к адмиралу, указывая, что неприятель держит путь на Вильно через Борисов, Зембин, Плещаницы и Вилейку, фельдмаршал предлагал немедленно занять «дефилею при Зембине, в коей удобно удержать можно гораздо превосходнейшего неприятеля».

Своевременно обо всем был уведомлен и генерал Витгенштейн, которому Кутузов писал, что «одна и главнейшая цель наших действий есть истребление врага до последней черты возможности»[35].

Однако Чичагов и Витгенштейн оказались ненадежными исполнителями дальновидных предначертаний главнокомандующего. Зная о неприязни к нему императора

Александра, они дельные советы Кутузова пропускали мимо ушей, предпочитали сноситься с самим царем, дававшим путаные и глупые указания.

Витгенштейн, недружелюбно настроенный к Чичагову, не желал ему подчиниться и не спешил на соединение с ним. Не выполнив ни одного из кутузовских указаний, Чичагов растянул свои войска и был введен в заблуждение Наполеоном, отвлекшим внимание адмирала подготовкой ложной переправы ниже Борисова. Чичагов направился туда, в то время как французские саперы под начальством генерала Эблэ строили мосты у деревни Студянки, выше Борисова,

14 ноября, под прикрытием установленной на берегу сорокапушечной батареи, французская армия во главе с Наполеоном начала переправляться через реку Березину. Оттеснив слабые русские кавалерийские отряды, маршал Удино поспешил занять зембинское дефиле. Когда войска Чичагова и Витгенштейна подошли к Студянке, Наполеон со старой гвардией был уже в Плещаницах.

Но всей неприятельской армии все-таки перейти на тот берег не удалось. На переправе французы потеряли около сорока тысяч человек, всю тяжелую артиллерию и обозы.

Тем не менее весть о том, что Наполеону удалось ускользнуть, произвела большой переполох в главной квартире русской армии. Отыскивая причины и предугадывая последствия, штабные господа раздували это событие до размеров огромного общенародного несчастья. Злорадствуя, враги фельдмаршала обвиняли во всем одного его.

Сам же Кутузов, отлично знавший, кто является истинным виновником неудачного исполнения его замыслов, наружно ничем своего огорчения не выдавал[36].

Кутузов не первый год знал Чичагова. Этот адмирал, не менее Беннигсена пристрастный ко всему английскому, был неплохим царедворцем, но военного дарования никогда не обнаруживал. Будучи морским министром, он прославился лишь тем, что уничтожил часть Балтийского флота, лишил из зависти заслуженной награды адмирала Сенявина, одного из лучших русских флотоводцев, и изменил покрой морского мундира.

Заменив Кутузова на посту главнокомандующего Молдавской армии, Чичагов прежде всего занялся собиранием сплетен о мнимых злоупотреблениях своего предшественника. Конечно, из этой затеи ничего не вышло, но императору Александру, которому доставляла удовольствие любая сплетня о Кутузове, адмирал угодил.

Просвещенный англоман и поклонник шпицрутенов, Чичагов

совершенно терялся при столкновении с неприятельскими войсками и обычно в таких случаях поручал командование начальнику своего штаба.

Что же мог сделать фельдмаршал, чтобы избавиться от Чичагова, назначенного на должность лично императором? В Петербурге, перед отправлением в армию, Кутузов попробовал осторожно намекнуть Александру, что желательно иметь более способного командующего молдавскими войсками. Александр не подумал изменить своего решения. Не утерпев, он подло и обидно кольнул:

– Вы напрасно, Михаила Илларионович, поддаетесь чувству личной неприязни к адмиралу. Сейчас не время для того.

– Я имею в виду лишь пользу отечества, государь, – едва сдерживая негодование, ответил Кутузов. – Одно это заставляет меня говорить вашему величеству не всегда угодное.

– Хорошо, хорошо, – поспешил сгладить разговор император, – я приму во внимание ваше замечание…

Теперь, когда адмирал, постоянно советовавшийся с царем, допустил непростительный промах, все «шишки» посыпались на седую голову фельдмаршала. Оставаясь среди близких людей, Кутузов давал волю гневным словам, резко осуждал лицемерного царя и его бездарных любимцев. Но какой смысл для него имели теперь бесцельные споры о том, почему не удалось при Березине захватить Наполеона? И стоило ли унижать свое достоинство тем, чтобы отвергать вздорные обвинения, возводимые на него враждебной партией штабных господ, в первую очередь сэром Робертом Вильсоном, которого выводит из себя спокойное, кажущееся безразличным, отношение фельдмаршала к березинской истории.

Разговор с английским агентом был вежливым, дипломатичным и острым.

– Я бы желал, ваша светлость, осведомить мое правительство о причинах несчастья, постигшего нас при березинской переправе, – сказал Вильсон, – но я лишен возможности это сделать, не зная мнения на этот счет вашей светлости…

– Не понимаю, о каком несчастье вы говорите? – невозмутимо произнес Кутузов. – Мне известно, что при переходе через Березину доблестные русские войска совершенно поразили неприятельскую армию, коя вынуждена далее спасаться бегством…

– Однако при этом общий наш враг и злодей Бонапарт счастливо избежал и гибели и пленения.

– Ах, вот что! А я, простите великодушно, никак в толк не возьму слов ваших…

– Меня интересуют истинные причины, способствовавшие спасению Бонапарта, – начиная выказывать раздражение, заметил Вильсон.

– Да какие же причины? – пожал плечами Кутузов. – Мне, признаюсь, и этот вопрос неясен. Почему же вы полагали, будто мы должны непременно поймать Бонапарта?

– При Березине представлялся к тому превосходный случай, ваша светлость…

– Случай! – повторил Кутузов. – Вполне согласен с вами, сэр, что иначе и определить невозможно такое дело, как пленение предводителя неприятельской армии… Но не кажется ли вам, милостивый государь мой, что англичане, например, находясь в близком соседстве с Францией и долгие годы воюя с Бонапартом, имели более, чем мы, случаев к тому, чтоб захватить его?

– Я вижу, что вы не желаете удостоить меня ответом на прямой вопрос, – выходя из себя, сказал Вильсон. – При таких обстоятельствах мне позволительно думать, что скорейшее спасение всего света от ига Бонапарта, эта благородная цель наших союзных держав, не находит сочувствия у вашей светлости.

– Я могу, сэр, повторить то, что не раз говорил, – с прежним хладнокровием ответил Кутузов. – Моя цель, как и цель народа русского, видеть свое отечество свободным от какого бы то ни было неприятеля… Что же касается спасения «всего света», – фельдмаршал передохнул и чуть-чуть усмехнулся, – я не склонен полагать, чтоб англичане, прибегающие к инквизиционным мерам в своих колониях, столь пеклись о его благоденствии. Скорей можно предположить другое.. Могущество Бонапарта лишает англичан многих преимуществ и выгод, а блокада, устроенная им, сильно уменьшает английские прибыли. А посему мне тоже позволительно думать, сэр, что ваша истинная цель несколько отлична от той, коя вами постоянно указывается…

Стрела, пущенная Кутузовым, угодила не в бровь, а в глаз. Вильсон, как на иголках сидевший в кресле, вскочил. Холодные серые глаза его не скрывали озлобления. Мускулы на каменном лице непривычно подергивались. Он еле сдерживался от бешенства.

– Прошу извинить, что осмелился вас побеспокоить, – сказал он, – мне остается теперь обратиться за некоторыми разъяснениями к русскому императору…

Кутузов, кряхтя, приподнялся, улыбнулся:

– И отлично сделаете! Ежели вздумаете проехать в столицу, лошади и достаточный конвой, приличный вашему званию, всегда к вашим услугам, сэр…

XVII

Слух о березинской переправе Наполеона, дойдя до партизанского отряда Дениса Давыдова, находившегося близ Козлова Берега, вызвал, как всюду, оживленные разговоры. Но никто из офицеров осуждать фельдмаршала не подумал. Всем было ясно, что вина лежит на Чичагове и Витгенштейне.

Надо сказать, что мысль о том, как бы «поймать Бонапарта», волновала многих. Об этом мечтал в свое время Кульнев. Об этом втайне думали почти все начальники партизанских отрядов. И Денису, хотя он никому об этом не говорил, тоже не чужда была такая мысль. Но, столкнувшись со старой французской гвардией, отступавшей в полном боевом порядке, он убедился, что если даже удастся окружить и уничтожить французов, то Бонапарт все равно найдет возможность избежать пленения. На пленение можно рассчитывать лишь как на чистую случайность. Вот почему известие о березинской переправе Дениса особенно не смутило. «Кому бы не хотелось, чтоб берега Березины содеялись гробницей всей наполеоновской армады и он сам стал нашим пленником, – размышлял Денис, – однако ж вправе ли мы, русские, изгнавшие из недр отечества полчища величайшего завоевателя, роптать на провидение, что не исполнилось одно из наших желаний?»

Более существенным было другое. В связи с происшедшим событием маршрут отряда изменился, необходимо было немедленно уточнить его.

Услышав, что фельдмаршал прибыл в Шеверницы, находившиеся верстах в пятнадцати от Козлова Берега, Денис, оставив отряд на марше к Борисову, поскакал в главную квартиру.

Изба, занимаемая Кутузовым, стояла в центре деревни, была окружена деревянным забором. Вход, возле которого, как обычно, толпились штабные господа, был устроен со двора.

Подойдя к крыльцу, Денис, сам того не ожидая, опять столкнулся с сэром Робертом Вильсоном.

После недавнего разговора с фельдмаршалом английский агент, несколько остыв, тщетно пытался вновь к нему проникнуть. Отговариваясь занятостью, Кутузов неизменно отказывал в приеме. Войти же без позволения Вильсон не осмеливался.

И теперь, бродя по двору с вечной сигарой в зубах и деланной улыбкой на лице, он был в неважном настроении.

– Вы, кажется, чего-то ожидаете здесь, сэр? – вежливо с ним. поздоровавшись, осведомился Денис.

– Вы угадали, любезный друг, – ответил Вильсон, беря Дениса под руку и отводя в сторону. – Жду известия о решительном

направлении армии после того несчастья, которое я давно предвидел и которое не может не терзать каждое истинно английское и русское сердце…

– Извините, сэр, – понимая, что дело идет о березинской переправе, сказал Денис, – я слышал, будто вина за это падает на адмирала Чичагова…

– Ах, милый друг! Я не имею ни малейших оснований обвинять адмирала, он делал то, что ему было приказано, – отозвался Вильсон. – Но если б светлейший не был так упрям и прислушивался к моим увещаниям и разумным советам других лиц, Бонапарт был бы теперь вне всякой сферы зловредного влияния на сем свете…

Денису эта самоуверенная фраза показалась оскорбительной. Не зная еще всех подробностей дела, он твердо был убежден, что Кутузов сделал все от него зависящее, чтобы помешать переправе Наполеона. Даже если бы все было и иначе, какое право имеет этот надменный англичанин вечно совать нос куда не надо и критиковать действия главнокомандующего русских войск? Денису сразу припомнился происшедший пять лет назад разговор между Раевским и этим сэром. «Мало тебе одного урока, – мелькнула мысль, – хорошо же, получишь сейчас другой».

– Как! – отступая шаг назад, воскликнул он. – Вы считаете, что фельдмаршал, коего наш народ и войско называют спасителем отечества, обязан слушать какие-то советы каких-то лиц?

– Позвольте, любезный друг, возразить вам, что разумные советы…

– Советы Кутузову! – чувствуя, как гнев еще более распаляет его, перебил Денис. – Да знаете ли вы, кто такой Кутузов? Если б вы, прежде чем в чем бы то ни было упрекать фельдмаршала, взяли на себя труд раскрыть книгу жизни этого полководца, то увидели бы, что, служба его отечеству продолжается непрерывно свыше пятидесяти лет; что две пули, прошедшие в разные времена сквозь могучую голову полководца, нимало не ослабили высоких его умственных способностей; что он, независимо от многих блистательных подвигов, совершенных им, командовал крайней колонною левого фланга в Измаильском приступе, заслужив известный отзыв Суворова: «Кутузов был на моем левом крыле, но был моей правой рукою». Знаете ли вы, – запальчиво продолжал Денис, – что этот самый Кутузов, истребив на Дунае турецкую армию, вооружением коей занимались не только французы, но и англичане, заключил славный мир, столь способствующий ныне изгнанию от нас всей ополченной Европы с ее доселе непобедимым полководцем…

– А вы почему так горячитесь, полковник? – сердито и беспокойно оглядываясь по сторонам, сказал Вильсон. – Разве я оспариваю достоинства фельдмаршала?

– Вы не смогли бы этого сделать при всем желании, сэр, – продолжал Денис, – ибо Кутузов сохранил во всем блеске честь русского оружия, тогда как честь оружия союзников наших сокрушалась о гранитные колонны, предводительствуемые Наполеоном, а их армии были рассеяны! Простите, сэр, мою солдатскую откровенность. Но я потерял бы уважение к себе, если б не сделал этих замечаний о полководце, глубокими соображениями которого спасено мое отечество и чье имя для нас, русских, драгоценно и священно…[37]

С этими словами, не дожидаясь ответа, Денис отвесил поклон недоумевающему англичанину и направился к дверям избы.

… Кутузов, как и прошлый раз, принял его словно сына. Усадил рядом с собой, подробно расспросил о делах при Копысе и Белыничах. При этом не удержался от шутки, вспомнив о ранее слышанной истории с мнимым мэром Поповым:

– Как у тебя духа стало пугать его? У него такая хорошенькая жена!

Осмелев от ласкового обращения фельдмаршала, Денис высказался откровенно:

– Полагаю, у могилевского архиерея еще более жен, которые, может быть, красивее жены Попова, но я желал бы, чтоб сия неоценимая особа попалась мне в руки, я бы с нею рассчитался по-приятельски…

– За что же ты так на пастыря духовного рассердился? – спросил Кутузов.

– За присягу французам, к коей он приводил могилевских жителей, и за поминание в церквах Наполеона…

– Да что ты? – удивился, покачав головой, Кутузов. – Прямо и верить не хочется… Экая ведь пакость!

– Чтоб в этом удостовериться, – продолжал Денис, – прикажите нарядить следствие. Ваша светлость, не награждайте почестями истинных сынов России, ибо какая награда может сравниться со спокойной совестью после исполнения своего долга, но щадить изменников столь же опасно и вредно, как истреблять карантины в чумное время.

И Денис тут же передал фельдмаршалу список могилевских дворян и чиновников, присягавших и помогавших неприятелю. Прочитав его, Кутузов тяжело вздохнул:

– Видно, верно в пословице говорится, что в одно перо и птица не родится… Согласен с тобой, голубчик, щадить негодяев сих нельзя, да придется обождать до поры до времени. Пока

неприятеля не изгнали, не стоит оглаской этой народ смущать. А списочек твой я сам поберегу, со всеми, даст бог, рассчитаемся…[38]

Денис пробыл на этот раз в главной квартире недолго. Получив от Коновницына более верные сведения о переправе на Березине и повеление следовать с отрядом в Ковно, чтобы истребить там все неприятельские запасы, Денис спустя два-три часа после беседы с фельдмаршалом уже находился в дороге, догонял свою партию.

Но до Ковно, как ни спешили туда партизаны, дойти не удалось. 30 ноября, когда отряд, несколько обойдя город Вильно, занятый два дня назад русскими войсками, пришел в Новые Троки, Денис получил предписание снова явиться в главную квартиру к Кутузову, остановившемуся в виленском замке.

«От Новых Трок до села Понари мы следовали весьма покойно, – записал впоследствии в своем дневнике Денис. – У последнего селения, там, где дорога разделяется на две, идущие одна на Новые Троки, другая на Ковно, груды трупов, человеческих и лошадиных, множество повозок, лафетов и палубов едва давали мне возможность следовать по этому пути; множество раненых неприятелей валялось на снегу или, спрятавшись в повозках, ожидало смерти от холода и голода… Сердце мое разрывалось от стонов, воплей разнородных страдальцев. То был страшный гимн избавления моей родины!

1 декабря явился я к светлейшему. Как главная квартира изменилась! Вместо разоренной деревушки и курной избы, окруженной караульными, выходившими и входившими в нее должностными людьми и проходившими мимо войсками, вместо тесной горницы, куда прямо входили из сеней и где видели мы светлейшего на складных креслах, рассматривавшего планы во время борьбы своей с гением величайшего завоевателя, я увидел улицу и двор, уставленные великолепными каретами, колясками и санями. Толпы подобострастных польских вельмож в русских мундирах, множество наших и неприятельских пленных генералов, штаб– и обер-офицеров, из которых многие с костылями, изувеченные, другие же бодрые и веселые, – всё, теснясь, стремилось к крыльцу, в переднюю и в залы человека, за два года перед этим в этом же городе заведовавшего лишь одним гарнизонным полком, несколькими гражданскими чиновниками, а ныне предводительствующего всеми русскими силами и спасителя своего отечества! Когда я вошел, одежда моя обратила на меня всеобщее внимание. Среди облитых золотом генералов, красиво одетых офицеров и литовских граждан я явился в черном чекмене, красных шароварах, с круглой курчавой бородой и

черкесской шапкой. Поляки шепотом расспрашивали обо мне; некоторые из них отвечали: «Партизан Давыдов»; самолюбие мое было живо затронуто, когда я услыхал несколько прилагательных, обративших внимание этой толпы. Через две минуты я был позван в кабинет светлейшего, который сказал мне, что граф Ожаровский идет на Лиду, австрийцы прикрывают Гродно и что он весьма доволен мирным поведением Ожаровского относительно их; желая совершенно изгнать неприятеля из пределов России, он посылает меня прямо в Гродно для занятия этого города и очищения окрестностей его от неприятеля; он при этом приказал действовать более дружелюбными переговорами, чем оружием».

XVIII

Никогда еще неприязнь императора Александра к Кутузову не достигала, кажется, такой степени, как морозным вечером 11 декабря, когда он, сидя в санях с Аракчеевым и Волконским, приближался к Вильно.

Вся эта война, ныне победоносно завершаемая, доставила ему, императору, столько унижений и оскорблений, что он, лишь пересиливая себя, мог с улыбкой принимать поздравления по случаю изгнания неприятеля.

Александр с детства мечтал о лаврах полководца. Аустерлиц, где впервые так ярко обнаружилась его бездарность, несколько поколебал, но не убил стремления к военной деятельности. «Я был молод, неопытен, Кутузов должен был удержать меня от сражения», – оправдывая себя, говорил император приближенным, хотя сам отлично сознавал, что Кутузов, фактически отстраненный им от командования, никак «удержать» его не мог.

Но вот началась эта война. И все планы императора, подсказанные Пфулем, снова оказались никуда не годными. Теперь уже было трудней найти себе оправдание. Сестра Екатерина Павловна, не щадя его самолюбия, первой в откровенном письме высказала то, о чем думали многие. «Ради бога, – писала она брату, – не берите командование на себя, потому что необходимо без потери времени иметь вождя, к которому войско питало бы доверие, а в этом отношении вы не можете внушить никакого доверия». Вслед за этим близкие люди вежливо посоветовали ему покинуть армию.

Молча проглотив обиду, Александр последовал этим советам. Войска Наполеона быстро продвигались вперед, создавалось угрожающее положение. Дальнейшее вмешательство царя в

военные дела могло окончиться катастрофой.

Александр уехал в Петербург и, опять-таки вопреки своему желанию, вынужден был назначить главнокомандующим Кутузова.

Разобраться в сложившихся обстоятельствах и тем более понять дальновидность кутузовских замыслов император был не в состоянии. Сидя во дворце, он всецело поддерживал сэра Роберта Вильсона и Беннигсена, требуя от фельдмаршала решительных сражений и заявляя всем, что «скорее отрастит себе бороду и уйдет в Сибирь», чем заключит мир с Наполеоном. Такая «твердость» Александра объяснялась просто. Он хорошо понимал, что дворянство, проявившее столь резкое недовольство Тильзитским миром, никогда не простило бы ему нового соглашения с Францией; он был бы убит, как его отец, на что и намекал проницательный Наполеон в беседе с Коленкуром.

Один животный страх за свою жизнь, а не твердость характера и интересы отечества, управлял действиями императора, вызывая у него ежедневные припадки раздражения против кажущейся «бездеятельности» Кутузова.

Блестящие маневры фельдмаршала, забота его о пополнении армии, попечение о солдатах, широкое применение суворовских методов, «малая война» и поощрение народного партизанского движения – все эти действия были глубоко чужды тупому приверженцу прусской военной системы, каким продолжал оставаться Александр.

Доверяя более доносам Беннигсена и Вильсона, чем рапортам главнокомандующего, он, как все бездарные люди, завистливые неудачники, замечал в действиях Кутузова лишь одни «упущения». Оставление Москвы казалось совершенно неоправданным, движение на Калужскую дорогу бессмысленным, переход Наполеона через Березину – злым умыслом фельдмаршала. Все делалось не так, как желал император!

Последнее сообщение сэра Вильсона о том, что фельдмаршал отказывается «спасать Европу», и нарочно медлит с преследованием неприятеля, окончательно вывело из себя Александра. Будь его воля, он, не колеблясь ни минуты, отстранил бы от командования непокорного и ненавистного фельдмаршала. Но воля была скована трезвыми соображениями о необычайной популярности этого человека, называемого всеми спасителем отечества. Приходилось скрывать свои чувства, на виду у всех лгать, лицемерить, писать главнокомандующему любезные письма, награждать его. И может быть, именно потому, что обстоятельства опять заставляли поступать не так, как хотелось, он испытывал с такой остротой озлобление против

Кутузова теперь, подъезжая к горевшему яркими огнями виленскому замку.

Кутузов в парадном мундире и при всех регалиях, ожидавший государя в одной из комнат нижнего этажа, отлично понимал его настроение. Кутузов знал, что ничего хорошего приезд царя не обещает, но обычного своего спокойствия не терял. Ведь Бонапарт, этот величайший завоеватель, позорно бежал из России, оставив на произвол судьбы свою армию, жалкие остатки коей перебираются нынче через Неман. Россия спасена! Доверие народа и войска оправдано! Все остальное по сравнению с этим представлялось не столь важным.

Когда Коновницын доложил, что тройка государя приближается, фельдмаршал неторопливо, с привычным кряхтеньем, поднялся и, взяв в руки приготовленный рапорт, усталой походкой, словно нехотя, стал спускаться со ступенек крыльца.

– Как я рад свиданию с вами, Михаил Илларионович, – с улыбкой, приятным голосом произнес царь, выходя из саней и раскрывая объятия. – Мне так не терпелось изъявить вам лично, сколь новые заслуги, оказанные вами отечеству, усилили во мне уважение, которое я неизменно к вам питал!

Кутузов по-стариковски хлюпнул носом. Это должно было означать, как сильно он растроган. Затем молча почтительно наклонил голову. Приятные улыбки и поцелуи двуличного царя никогда его не обманывали.

Находившийся в толпе придворных сэр Роберт Вильсон, хотя и знал о лицемерии царя, увидев его необыкновенную благосклонность к фельдмаршалу, обеспокоился не на шутку. Кто знает, не сумеет ли Кутузов, пользуясь столь милостивым вниманием государя, повредить английским интересам?

Однако на следующий день, приняв английского агента, Александр поспешил его успокоить.

– Я знаю, фельдмаршал не сделал ничего, что должен был сделать, – заявил он, не скрывая своего раздражения. – Все его успехи были навязаны ему. Он разыграл некоторые из своих прежних турецких штучек, но… московское дворянство поддерживает его и настаивает на том, что он первенствует в национальной славе этой войны. Поэтому я должен через полчаса, – Александр поморщился, – дать этому человеку орден Георгия первой степени… Но у меня нет выбора, – продолжал он со злобной ноткой в голосе, – я должен подчиниться повелительной необходимости… Во всяком случае, могу вас заверить, я уже не покину вновь мою армию и потому не будет дано возможности к продолжению дурного управления

фельдмаршала…[39]

Сэр Роберт Вильсон смотрел на царя благодарными глазами. Английские интересы находились под надежной защитой.

… Прошло несколько дней. Кутузов оставался главнокомандующим, но та власть, которой он пользовался до сих пор, постепенно у него отбиралась. Штаб по распоряжению царя переформировывался. Наиболее важные посты получали угодные ему люди. Передвижения войск, перемещения командиров, награждения отличившихся – все стало проходить через руки императора.

Ссылаясь на недомогание, Кутузов все чаще уклонялся от свиданий с ним. Противно было слушать невежественные рассуждения и поучения, видеть, как опять заводятся в войсках старые порядки в прусском духе.

Получив рапорт Дениса Давыдова о занятии его отрядом города Гродно, фельдмаршал вызвал остававшегося еще при нем Коновницына и, передавая рапорт, сказал:

– Пойди сам к государю, голубчик, доложи ему. Гродно, слава богу, в наших руках. Молодец Давыдов, огромные провиантские склады там захватил и шестьсот шестьдесят пленных взял…[40] Да похлопочи, чтобы без награды он оставлен не был…

– Разрешите напомнить, ваша светлость, мы уже дважды полковника Давыдова к награждению представляли.

– Знаю, знаю, – перебил Кутузов, – причины-то молчания ясны. Не могут никак старых грешков его забыть. Да, сам посуди, справедливо ли большие заслуги, оказанные отечеству Давыдовым, забвению предавать? Партизанские опыты его не токмо в сей войне, но и в будущих примером для многих послужат.

– Какое же награждение, по мнению вашей светлости, надлежит испрашивать? – спросил Коновницын.

– Полагаю, Давыдов заслужил не менее как орден Георгия третьего класса и чин генеральский, – ответил Кутузов и, тяжело вздохнув, добавил: – Впрочем, мнение мое высказывать воздержись, голубчик… Потому и не могу сам за это взяться, что нынче мнению моему все наперекор делается…

Коновницын принадлежал к числу тех скромных и умных генералов, которые считали великой честью для себя служить под непосредственным начальством Кутузова, пользовались его полным доверием, разделяли его взгляды, были до конца ему преданы. Коновницын, хорошо осведомленный обо всем, что знали немногие, с доводами фельдмаршала согласился и немедленно отправился к императору.

Александр, только что возвратившийся с бала, находился в

приподнятом настроении. Изобилие почтительности, подобострастные, льстивые улыбки и оголенные женские плечи до сих пор кружили голову. Он сидел в глубоком кресле у камина. Коновницына принял весьма благодушно.

– Вы с чем ко мне, Петр Петрович? Надеюсь, не с дурными вестями?

– Напротив, государь… Получено известие о взятии Гродно…

Не зная, что Кутузов направил к Гродно отряд Давыдова, Александр распорядился недавно, без согласия главнокомандующего, послать туда же одну из кавалерийских частей под начальством своего любимца генерал-адъютанта барона Корфа. И, полагая, что город взят этим генералом, поднявшись с кресла, воскликнул:

– Ах, как вы меня порадовали! Я всегда был уверен в решительности Корфа… Он еще в прошлом году так славно отличился на маневрах! И с какой быстротой все сделал! Превосходно. Я дам ему орден Георгия второго класса… Гродно этого стоит!

– Осмелюсь заметить, ваше величество, – подавая рапорт и несколько смущаясь, произнес Коновницын, – город занят кавалерийским отрядом полковника Давыдова…

Император от неожиданности совершенно растерялся:

– Что? Каким Давыдовым? А где же Корф?

Затем, поднеся рапорт к близоруким глазам, прочитал несколько строк и, взглянув на подпись, сказал с раздражением:

– Я не понимаю фельдмаршала… Как можно было поручать такое дело простому офицеру, ничем особенным себя не проявившему? И потом… я слышал, будто этот Давыдов, именующий себя партизаном, бог знает как ведет себя… Отпустил бороду, обрядился в мужицкий кафтан… Какая распущенность!

– Простите, государь, полковник Давыдов при самых труднейших условиях два месяца находился в тылу неприятельском, – твердо сказал Коновницын, – показал необыкновенную ревность при истреблении войск и транспортов противника…

– Так что же? Офицер российской армии при всех условиях должен прежде всего соблюдать уставы!

– Вполне согласен с вами, государь… Но позвольте вместе с тем взять на себя смелость обратить внимание вашего величества и на то обстоятельство, что полковник Давыдов находчивостью и отвагой своей содействовал капитуляции корпуса генерала Ожеро, а также отличился в боях при Копысе, Белыничах и во многих других местах.

Александр задумался Как бы там ни было, а заслуги Давыдова в самом деле столь очевидны, что скрыть этого нельзя. Оставь без награды – и пойдут всякие неприятные толки, нарекания… Приходилось поступать опять вопреки желанию.

– Хорошо, – сказал сердитым тоном царь. – Если вы так настаиваете, я согласен дать ему за указанные вами сражения Георгия четвертого класса… А за Гродно достаточно и Владимира третьей. Да записать в формуляр, за что ордена пожалованы, дабы не думал, будто я ценю все его действия и затеи…

– Слушаюсь, государь, – отозвался Коновницын. – Я бы просил еще милостивого вашего дозволения и о производстве в следующий чин…

– Все, что мог, я сделал, генерал! – резко ответил царь. – Прикажите одновременно самостоятельные действия отряда Давыдова и всех других так называемых партизанских отрядов прекратить… Давыдова я назначаю в авангардные войска под команду барона Винценгероде… Надеюсь, – не скрывая своей неприязни, заключил он, – барон приучит его к порядку и дисциплине!

… Партизанская деятельность Дениса Давыдова со взятием Гродно закончилась. Получив краткое сообщение Коновницына о наградах, а вслед за тем приказ о новом назначении, Денис, достаточно осведомленный о том, что творилось в главной квартире, верно определил отношение царя к себе.

Ему нетрудно было догадаться, что радовавший его, высоко ценимый георгиевский крест, в котором отказали за финскую кампанию, несмотря на представление покойного Багратиона, выдан теперь лишь потому, что иначе уж очень наглядно обнаружилась бы личная неприязнь и несправедливость царя.

Это соображение доставило большое внутреннее удовлетворение Денису. Он получил этот крест не в обычном порядке, а преодолев все преграды, вырвал его из рук императора! Он имел право гордиться своими заслугами, которые принуждали признавать их даже враждебно настроенных к нему людей!

Но, с другой стороны, мизерность награды по сравнению с заслугами несколько задевала честолюбие. Два креста последних степеней – ничего более! Да еще с записью в формуляр, что пожалованы за Ляхово, Копыс, Белыничи и Гродно… Ни звука о партизанской деятельности, словно ее никогда и не существовало![41] А многие сверстники, пребывавшие всю войну в штабах и резервных частях, давно обогнали его в чинах и украсились орденами куда солидней. Даже Дибич, женившийся на племяннице Барклая, был уже генералом.

Денису невольно припомнилась некогда рассказанная Ермоловым история дошедшего до нищеты храброго майора Кузьмина, не имевшего протекции у сильных мира сего… «Да, нелегко служить без протекции, – думал Денис, – а каково служить, когда тебя всюду преследует царская неприязнь?»

И будущая военная деятельность, особенно под начальством барона Винценгероде, тупого и злого австрийца, одного из виновников аустерлицкого поражения, представлялась не в розовом свете.

Однако все эти грустные размышления о личных делах быстро улетучивались, как только приходили в голову мысли об огромных исторических событиях, совершившихся на его глазах. Денис предчувствовал, что пройдут годы и чужеземные историки, везде и всюду клеветавшие на русский народ и войско, постараются объяснить причины поражения наполеоновской армии стечением всяких обстоятельств и случайностей. И Денис, сам участник этих событий, регулярно производивший записи о них в своем дневнике, готовился уже острым пером отстаивать честь отечества. Нет, не случайности, а необыкновенные качества русского народа и войска погубили армаду величайшего завоевателя! «Какой еще другой народ, – с гордостью думал Денис, – способен так полно раскрыть свою безмерную любовь к отечеству? А кто во всем мире может соперничать в доблести с нашим солдатом?»

Денису, как офицеру суворовской школы, особенно радостно было сознавать, что эта победа, озарившая немеркнущей славой русский народ, одновременно неоспоримо утверждала и мировое преимущество русского суворовского военного искусства.

Хваленые прусские военные доктрины, за которые безнадежно держался царь, на глазах у всех были развеяны гением Наполеона. А суворовская система выдержала все невзгоды и испытания. Воспитанные в суворовском духе войска доказали свою непобедимость. Генералы, следовавшие суворовским заветам, превзошли в искусстве прославленных наполеоновских маршалов. Кутузов, любимый ученик и соратник бессмертного Суворова, продолжавший развивать и углублять его идеи, стал победителем Наполеона.

И когда офицеры, товарищи по славным партизанским делам, среди которых были Храповицкий, и Бедряга, и Митенька Бекетов, собрались отпраздновать награждение Дениса, он, чувствуя наплыв ясных и зрелых мыслей, подняв бокал, сказал:

– Да, господа, когда думаешь о том, что Россия одна, своими собственными усилиями, без всякой помощи доброжелателей и союзников, совершила непосильное для всей Европы дело, тогда,

не краснея, можно говорить об Аустерлице и Фридланде, о нечестивых иноземных надсмотрщиках, о всех испитых нами горьких каплях, поглощенных широким потоком двенадцатого года; и тогда, подняв с гордостью голову, скажешь себе: я русский! Но, – все более вдохновляясь, с присущей ему страстностью продолжал Денис, – пусть не пытаются наши неприятели утешать себя мыслью, будто усилия, проявленные в этой войне, являются пределом наших возможностей. Нет, господа! Огромна наша мать Россия! Изобилие средств ее дорого уже стоило многим завоевателям, посягавшим на ее честь и существование; но не знают еще они всех слоев лавы, покоящихся на дне ее… Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется!

КНИГА ВТОРАЯ

Глава четвертая

О горе, молвил я сквозь слезы,
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог унизиться до прозы
Венчанный музою поэт,
Презрев и славу прежних лет,
И Бурцовой души угрозы!

А. Пушкин

О горе, молвил я сквозь слезы,
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог унизиться до прозы
Венчанный музою поэт,
Презрев и славу прежних лет,
И Бурцовой души угрозы!
А. Пушкин

I

Князь Петр Андреевич Вяземский проснулся в своем кабинете

с тяжелой головой и с ощущением виновности во вчерашней неприятной истории. Впервые за три года поссорился с женой. И как глупо, пошло все получилось!

Вяземский был молод, ему шел всего двадцать третий год, но в литературных кругах он пользовался уже большой известностью как поэт и автор нескольких серьезных критических статей. Карамзин, женатый на старшей его сестре, Екатерине Андреевне, предсказывал шурину большую будущность. Жуковский, Батюшков, Александр Тургенев и Василий Львович Пушкин были его закадычными друзьями.

А полгода назад, летом 1814 года, завязались самые близкие, приятельские отношения с возвратившимся в Москву из заграничного похода Денисом Давыдовым. Встречались они и прежде, во время кратких отпусков Дениса, но тогда слишком давала себя знать восьмилетняя разница в возрасте. Вяземский лишь с юношеским благоговением и восхищением смотрел на блестящего ротмистра-гусара, прославленного вольнолюбивыми баснями, высылкой из столицы и удалыми, часто нескромными стихами.

Теперь Денису Васильевичу сопутствовала слава героя Отечественной войны. Партизанские подвиги его были всюду известны. Жуковский увековечил его имя в «Певце во стане русских воинов».

Давыдов щеголял в новеньком генеральском мундире, доставлявшем ему видимое удовольствие, но держался со старыми знакомыми просто, своими заслугами не кичился.

Лихой, веселый забулдыга-гусар по-прежнему так и просвечивал в тридцатилетнем генерале.

… Сабля, водка, конь гусарский,
С вами век мой золотой!

Эти звонкие, словно из серебра откованные, строки последней его песни выдавали характер, в котором подчеркивалось и гусарское молодечество и готовность в любую минуту постоять за честь отечества.

… За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!

Вяземский от гусарских стихов Давыдова был в восторге. И не раз упрекал Жуковского, что тот относится к ним слишком сухо и докторально.

Сближению Вяземского с Давыдовым способствовали, впрочем, не только общие литературные интересы, но и многое другое. Вяземский женился на Вере Федоровне Гагариной, а ее сестра Надежда была женой Бориса Антоновича Четвертинского, любимого товарища Дениса. Вяземский, Давыдов, Четвертинский и общий их друг, известный храбрец, картежник и дуэлист Федор Толстой, прозванный Американцем, проводили почти все время вместе, не чуждаясь никаких светских развлечений.

Летом они часто бывали в подмосковном селе Кунцеве, где жил директор московского театра Аполлон Александрович Майков, устраивавший для избранной публики пышные театральные празднества. Здесь блистали лучшие певцы и танцовщицы, среди которых выделялись красотой и изяществом Саша Иванова и Таня Новикова, юные воспитанницы Московского театрального училища.

И вскоре стыдливо-грациозная, синеглазая Саша совсем очаровала Дениса Васильевича. Анакреон под доломаном, как прозвал Вяземский тридцатилетнего генерала, почувствовал жар поэтического вдохновения. Он воспевал свое божество в пламенных стихах, вызывавших восторги друзей:

О милый друг, оставь угадывать других
Предмет, сомнительный для них.
Тех песней пламенных, в которых, восхищенный,
Я прославлял любовь, любовью распаленный!
Пусть ищут, для кого я в лиру ударял,
Когда поэтов в хоре
Российской Терпсихоре
Восторги посвящал!

Но поэтические нежные послания сердца юной красавицы не затронули. Саша отдавала явное предпочтение молодому талантливому балетмейстеру Адаму Глушковскому. Впрочем, Денис надежд не терял!

А Вяземского пленила бойкая и веселая цыганочка Таня Новикова. Увлечение было, правда, более платоническим, нежели чувственным, оно не выходило за рамки необходимого благоразумия, но все-таки…

Маленькая, миловидная и общительная Вера Федоровна Вяземская смотрела на развлечения мужа сквозь пальцы, требуя лишь соблюдения известных светских правил общежития и приличия. Вчера он эти правила нарушил. Обещал вечером ехать с женой в театр, а вместо этого очутился на пирушке у Федора Толстого, явился домой поздно и в нетрезвом виде. Вера

Федоровна не выдержала. Устроила на глазах прислуги скандал, наговорила грубостей, забрала недавно начавшую ходить дочку Машеньку и уехала к Четвертинским.

«Фу, скверность какая! – поморщился Вяземский, вспоминая подробности вчерашней сцены. – Ну, положим, я виноват перед ней, сам знаю, что виноват, так выскажи все с глазу на глаз… Зачем же публичность? Неужели ей хочется, чтоб весь город о нас судачил?»

Часы на камине мерно отбили десять. Вяземский поднялся, набросил на себя полосатый шелковый халат, подошел к окну, поднял тяжелую штору и невольно сощурился. День был морозный, ясный, ослепительный! Выпавший ночью снег покрыл пушистым серебристым ковром тихую улицу, с незапамятных времен называемую Живодеркой.

Два года назад, когда Вяземский возвратился в опустошенную пожаром Москву, уцелевший каким-то чудом деревянный одноэтажный дом, принадлежавший отчиму его жены, находился среди груды развалин, почерневших печных остовов и обожженных пней. А теперь улица начала уже приобретать обычный вид. Десятки деревянных и каменных домов радовали глаз свежестью красок, разнообразием неприхотливой архитектуры. Дым из труб столбами поднимался в прозрачную голубую высь. Но большая часть зданий стояла еще в лесах. Каменщики, плотники, штукатуры работали не только днем, но и ночью, при свете смоляных факелов и костров. Стучали, не затихая, топоры и молоты, визжали пилы. По улице беспрерывно тянулись обозы, груженные кирпичом, камнем, лесом. Мохноногие крестьянские лошаденки с впалыми боками тяжело дышали и отфыркивались, от них валил пар. Бородатые возчики в армяках и тулупах шли, помахивая кнутами, сбоку поддерживали сани на раскатах.

Вяземский несколько минут стоял у окна. Неподвижные черты строгого, чуть скуластого лица его не изменились, но светлые близорукие глаза оживились веселым блеском. Москва, которую так любил он, быстро, на глазах, отстраивалась, украшалась, хорошела. Мысли об этом были приятны, действовали освежающе. Настроение заметно улучшилось.

«Поеду к Четвертинским и уговорю жену не дурить», – отходя от окна, решил Вяземский. И, приказав заложить возок, стал поспешно одеваться. Но не успел еще привести себя в порядок, как вошел камердинер, доложил:

– Его превосходительство Денис Васильевич…

Визит был неожиданный. Вчерашний вечер они провели вместе, ничего недоговоренного между ними не оставалось. К

тому же после попоек Денис спал обычно до обеда.

– Проси сюда, – сказал Вяземский. – Впрочем, я сам…

Подвязывая на ходу галстук, он заторопился навстречу гостю, вошел в зал и… остолбенел. Перед ним стоял Денис, но, боже мой, в каком виде! Вместо отлично сшитого генеральского мундира, придававшего стройность фигуре, штатский, нескладно сидевший костюм старинного фасона. Густые волосы на голове всклокочены. Пышные гусарские усы – предмет особой его заботы – против обыкновения не подкручены лихо вверх, а смешно топорщатся в разные стороны. Все лицо посерело и будто осунулось. Одни лишь темно-карие, чуть выпуклые глаза лихорадочно блестели.

– Что с тобой, Денис Васильевич? Что за маскарад? – не скрывая удивления, воскликнул Вяземский.

Давыдов сделал шаг вперед и, задыхаясь от волнения, хриплым тонким голосом произнес:

– Разжалован…

Вяземский растерялся:

– Как… разжалован? Шутишь, что ли?

Губы Дениса тронула желчная усмешка. Он достал из кармана бумагу, протянул приятелю:

– Вот приказ, читай! Сегодня утром из главного штаба прислали… По ошибке, оказывается, генеральский чин мне присвоен… Велено мундир снять… Не заслужил! Перед вельможами не пресмыкался! Дурацкой их системе военной противничал! Партизанство мое высоким особам не по нраву. А что я на полях брани за отечество жизни не щадил – им наплевать!

Давыдов не говорил, а гневно выкрикивал эти фразы, быстро расхаживая взад и вперед по залу и продолжая ерошить лохматую голову. Потом остановился перед Вяземским, ткнул себя кулаком в грудь:

– Сюда ударили! В сердце! Войди в мое положение… Ведь я почти год генеральский мундир носил… А выходит, что был я не генерал, а самозванец! Гришка Отрепьев! Людям в глаза смотреть стыдно! Жизни не рад!

Вяземский дружески полуобнял его, сказал сочувственно:

– Я все понимаю, Денис… С тобой поступили несправедливо. Но возьми себя в руки, пойдем ко мне и поразмыслим, что можно и нужно сделать?

– Думал, – тяжело вздохнул Давыдов. – В отставку проситься нужно, больше делать нечего… – И, войдя вслед за хозяином в кабинет, добавил: – Прикажи водки дать… Ум за разум зашел!

Камердинер явился тотчас же с графинчиком на подносе.

Давыдов залпом выпил рюмку водки, достал неразлучную свою спутницу – трубку, набил табаком, закурил.

– Обидно, Вяземский, горько, – произнес он, – да, видно, против рожна не попрешь…

– А ты не допускаешь мысли, – сказал Вяземский, – что этот приказ… какая-то случайность?

– Эх, друг мой милый, побывал бы ты в моей шкуре, так тебе и в голову не пришло бы случайности выискивать, – отозвался мрачно Давыдов, усаживаясь в кресло и попыхивая трубкой. – Я забираться далеко не буду, последние годы вспомню… Ну, о том, как наградили меня за войну Отечественную, ты знаешь. А далее что следует? Обрезают мне крылья, отдают под команду барона Винценгероде. О вдохновенных партизанских перелетах и сшибках с неприятелем приказано забыть. На всякую самостоятельность в действиях запрет. Делаем размеренные переходы по маршрутам, свыше предусмотренным. Идем через Польшу и Силезию, входим в Саксонию… Тут терпение мое лопнуло. Рванулся я с малым своим отрядом вперед, занял половину города Дрездена, защищаемого войсками маршала Даву. Судьба как будто мне улыбнулась! Посылаю рапорт, ожидаю похвалы. Да в методике баронской просчитался! И в дураках остался. Винценгероде, видишь ли, для себя самого честь занятия Дрездена предусматривал. Однажды на рассвете нагрянул барон на меня и, пообещав предать военному суду, приказал команду немедля сдать. Как это огорчило и меня и мой отряд – говорить не буду. При расставании со мною пятьсот человек рыдало! – Сообразив, вероятно, что тут он немного перехватил, Давыдов бросил взгляд на Вяземского, сделал передышку, подкрутил усы, затем продолжал: – Я отправился в главную квартиру. Корнет Александр Алябьев поехал со мною. Служба в отряде могла доставить ему отличия и награждения, поездка со мною – одну мою душевную благодарность. Алябьев предпочел последнее. Ну, приезжаем мы в главную квартиру… Хорошо, что жив был еще фельдмаршал Кутузов. Он за меня вступился, оправдал, приказал команду возвратить…

– Вот видишь! – улыбнувшись, перебил Вяземский. – В конце концов дело-то все-таки уладилось…

– Выслушай сначала, а потом суди, – бросив сердитый взгляд на приятеля, сказал Давыдов. – Команду мне под разными предлогами, один кривее другого, барон так и не возвратил…

– Как! И приказ Кутузова не помог?

– Михаила Илларионович в это время, к моему несчастью, скончался… Жаловаться на барона было некому. Спасибо, что кое-как удалось перейти под начальство Милорадовича. Он мое

усердие и опыт ценил, поручения давал самые опасные, следственно, и самые лестные. Я не выходил из-под огня. Дрался под Пределем, под Этсдорфом, под Бауценом, под Рейхенбахом. Милорадович не раз благодарил меня за славную службу, представлял к чину и орденам, однако представления его неизменно высшим начальством отвергались… Мало того! Меня вновь решили унизить. Русского полковника, боевого командира отдают с двумя казачьими полками под командование полковника австрийской гарнизонной службы Менсдорфа…

– Черт знает какая пакость! – возмутился Вяземский. – Как же ты выбрался из этой истории?

– Никак, – пожал плечами Давыдов. – Время, брат, не такое было, чтоб роптать. Французы отступали к Рейну, мы шли по пятам. Стычки каждый день. Законопачивать саблю в ножны не приходилось. Я был в сражениях под Люценом, под Альтембургом, под Хемницем, под Науембургом и под Лейпцигом. Тут встретил Матвея Ивановича Платова. Он предложил блистательное дело – командовать его авангардом. Но высшее начальство, конечно, не допустило. Я продолжал таскать каштаны из огня для австрийца. Менсдорф получал награды, меня обходили. За всю кампанию тринадцатого года ничего, кроме шишек. Разберись, где тут случайность?

Давыдов встал, выпил еще рюмку водки, прошелся по кабинету, потом продолжал:

– Семнадцатого января четырнадцатого года при Ларотьере я наголову разгромил пехотную бригаду противника Этого нельзя было замолчать. Мне дали чин генерал-майора… И более ничем не награждали, хотя до самого Парижа, командуя гусарской дивизией, я постоянно находился в самом пекле жестоких битв. Монмираль, Шатотьери, Эстерне, Краон и Лаон… Моя дивизия нигде не посрамила чести русского оружия, одной из первых вошла в Париж… И теперь что же? Высоким особам мало унижений, коим я был подвергнут… Меня лишают единственной награды, заслуженной на полях брани. Гнусно!

Давыдов опять зашагал по кабинету. Негодование, видимо, захватило его с новой силой.

– Я не понимаю одного, – сказал Вяземский, – кто же все-таки из высоких особ тебе так пакостит?

Давыдов резко повернулся к нему лицом. Горячие глаза гневно вспыхнули.

– Кто, кто! – сердито повторил он. – Государь! Александр Павлович! Вот кто!

Вяземский невольно покраснел. Он находился еще под обаянием царя. Разочаровываться было неприятно и тяжело.

– Ну, уж это ты, кажется, напрасно, – произнес он неуверенно. – Государь мягок и благороден…

– Для кого как! – обрезал Давыдов. – А меня он давно не любит. Басен забыть не может. А того хуже, что чужеземцами и гатчинскими парадирами себя окружил. Эти всю жизнь по мне, как клопы, ползают. Знают о неприязни государя, ну и творят со мной, что хотят, и жалят, гады…

– Так напиши государю, – посоветовал Вяземский. – Возможно, они без его ведома приказ сочинили. Вспомни, как говорят французы: «Сильные мира сего причиняют нам меньше страданий, чем их обезьяны…»

– Может быть, спорить не буду. Напишу, пожалуй, – согласился Давыдов. – Да ведь письма-то через их руки проходят! Они хотя и невежды в делах военных, а на интриги и подлости ума хватает! Бештимтзагеры чертовы!

Вяземский понимал: в словах Дениса много горькой правды. Штабные господа могут, конечно, и письмо задержать и новую гадость придумать. Но все-таки писать государю необходимо, иных надежд на возврат чина нет. Надо лишь отвлечь Дениса от мрачных мыслей, ободрить, воздействовать на чувствительность, которая порой заглушает у него доводы рассудка.

Вяземский взглянул на Дениса, улыбнулся:

– Расскажи-ка лучше, как этим штабным господам в Париже нос утерли… Очень хорошо у тебя получается!

Денис сразу оживился, упрашивать себя не заставил.

– Да, брат, было дело… Собрались эти парадиры – педанты в генеральских мундирах – на холме, наблюдают, как наша пехота в Париж входит… Погода чудесная. Солнце. Музыка. Парижанки с цветами. Картина на всю жизнь. Солдаты идут весело, с песнями, шагом широким, русским, а не гусиным прусским. Шинели и ранцы в пыли, кивера простреляны, сапоги стоптаны. И утомление на многих сказывается. Еще бы! Всю Европу с боями прошли, непобедимого полководца победили… Ну, а парадирам не суть важна, а внешность. Лупят на солдат глаза бараньи, перешептываются, морщатся. В это время и подъехал к ним один из наших русских боевых генералов. Поздоровался, спрашивает: «Что это вы невеселы, ваши превосходительства? Войска-то наши как идут – смотреть любо!» Парадиров за живое задело. Вытянули шеи, как гусаки, и залопотали: «Можно ли вздор такой говорить! Плохо войска идут. Совсем устав забыли. Шеренги неровные. Одеты не по форме. Пряжки не чищены. А шаг у солдат каков! Шаг каков! Заново учить шагу надо!» Посмотрел генерал на педантов тупоумных, усмехнулся: «Смею, однако, заметить, ваши превосходительства, это тот самый шаг, коим мы дошли до

Парижа». Откозырял и уехал.

Давыдов рассказывал мастерски. Тонкий, фистульный с хрипотцой голос придавал оригинальность речи. Парадиров представлял он в лицах, воплощал в себе. Каждая фраза произносилась с особой интонацией, сопровождалась характерным жестом. Бездарные ревнители шагистики выглядели, словно живые.

Вяземский от души смеялся. Денис, чувствуя, что рассказ дошел в полной мере, с довольным видом по старой привычке подкручивал усы. «Кажется, отошел уже», – подумал Вяземский, давно приметивший в характере приятеля склонность к быстрой смене настроений.

Разговор легко перешел на другие темы. Когда Вяземский рассказал о вчерашней ссоре с женой, Давыдов, дружески расположенный к Вере Федоровне, не удержался от упрека:

– Виноват ты, а не жена! Дал слово вчера вечером дома быть, так помни. Я не знал, а то бы сам тебя к ней доставил… Она умная, славная, обижать грех! Другая бы такого повесу, как ты, давно к рукам прибрала, а княгиня тебя не стесняет, знает, что горбатого одна могила исправит… Поезжай, проси прощенья, вези домой!

– Я и сам так хотел… Возок заложен. Может, и ты со мною?

– Нет, брат, в этих случаях третий лишний. Я, если разрешишь, вздремну здесь… Голова трещит… Приедете, разбудишь!

– Сделай милость! Располагайся как дома…

– Всю ночь, признаться, глаз не смыкал, – продолжал Давыдов, укладываясь на диване. – Стихи Ивановой писал… Влюблен, как дурак, ей-богу!

Он сверкнул глазами и с чувством продекламировал:

Я – ваш! И кто не воспылает!
Кому не пишется любовью приговор.
Как длинные она ресницы подымает,
И пышет страстью взор!

Давыдов смолк и неожиданно вздохнул:

– Нет, право, будь у меня средства, женился бы, оставил службу да принялся за сочинительство… Я в Париже записи партизанские Ермолову читал, одобряет… «Слог, – говорит, – живой, хороший, мемуарист толковый из тебя выйдет…»

– О боги, что я слышу! – комически воскликнул Вяземский. – Певец вина, любви и славы мечтает о презренной прозе!

– Всего, что видел, стихами не опишешь, – произнес

Давыдов. – А поэзия… это статья особая! Я не цеховой поэт, не хватаюсь за перо по каждому поводу, но чувства поэтические всегда со мною… В пылу сражения, в дыму бивуаков, в кочевке партизанской и в женской красоте. Я прирос к поэзии, как полынь к розе, и не устану упиваться роскошным ее ароматом… Так-то, друг милый! А прозы презирать не должно… Это служба, отечеству не бесполезная… Этим не шути…

Давыдов хотел еще что-то добавить, но не смог. Лохматая голова странно качнулась вбок, руки беспомощно опустились. Сон настиг его мгновенно.

Вяземский прикрыл окно шторой и тихо вышел из кабинета.

Рассказ о случае с Денисом Давыдовым произвел большое впечатление у Четвертинских.

– Возмутительная история, – негодовал Борис Антонович. – Я знаю Дениса с юнкерского чина, его не раз притесняли по службе, но сводить счеты с неугодным лицом подобным образом – вещь неслыханная! Отнять заслуженный в сражениях чин! Какой жестокий, оскорбительный произвол!

Плотный и плечистый, похожий на цыгана Федор Иванович Толстой, подъехавший одновременно с Вяземским, сверкая черными глазами, прорычал:

– Экие скоты! Имена бы проведать! Да всех к барьеру!

Дамы выражали сочувствие пострадавшему по-своему. Вера Федоровна, уже примирившаяся с мужем, вздыхала:

– Бедняжка Денис Васильевич! Представляю, каково ему переносить все это!

– Ужасно, ужасно! – вторила сестра Надежда Федоровна. – Нет, я благодарю бога, что Борис оставил военную службу и находится вдали от всяких интриг и козней…

– Отставка, пожалуй, была бы лучшим выходом из положения и для Дениса, – заметил Борис Антонович, – но, насколько известно, он не имеет никакого состояния.

– В этом трагедия! – подтвердил Вяземский. – Остается одна надежда на государя. Денис как будто собирается писать ему.

– Не поможет! – решительно заявил Толстой. – Знаю. Испробовал. Меня дважды лишали офицерских чинов…

– Добавь, что за дуэли, законом воспрещенные…

– Все равно! Государь не принимает никаких жалоб по производству и разжалованию…

Мужчины заспорили. Вера Федоровна, зная, что убедить Толстого невозможно, он всегда упрямо стоит на своем, вмешавшись в разговор, сказала:

– Мне кажется, господа, нам прежде всего следует сделать все от нас зависящее, чтобы Денис Васильевич не так остро ощущал

тяжесть удара и не впал в мизантропию…

Вяземский посмотрел на жену, улыбнулся:

– Умница! Ты словно читаешь мои мысли… Приглашай же всех к нам обедать. Это будет самым приятным сюрпризом для Дениса – видеть друзей, которые любят и ценят его не по чину.

– Чудесно, чудесно! И ты, конечно, сочинишь нечто подходящее для такого случая? – сказал Четвертинский.

– Да… В моей голове уже что-то бродит…

– Ветер, ветер! – рассмеялась Вера Федоровна и, ласково взяв руку мужа, добавила: – Я пошутила, Петр! Не обижайся!

* * *

Было совсем темно. Денис еще спал, из кабинета доносился его богатырский храп.

Вяземский вошел, зажег настольные свечи. Негромко кашлянул. Давыдов сразу затих, как-то по-детски чмокнул губами и приподнял голову. Заспанные глаза жмурились от света.

– Что? Привез княгиню?

Вяземский утвердительно кивнул:

– Вставай, ждем обедать…

Давыдов быстро и легко поднялся с дивана.

– Одолжи одеколон и бритву… Не могу же я перед ней чучелом предстать!

Через несколько минут он был готов. Лицо приобрело обычную живость. Густые волосы и бакенбарды старательно расчесаны, усы подкручены. Все бы хорошо, если б не этот штатский костюм… Давыдов знал, что выглядит в нем куда хуже, чем в мундире. Ну, да перед Верой Федоровной можно и не красоваться…

Между тем в ярко освещенной десятками свечей столовой с нетерпением ожидали его появления. Вяземский любил подготовлять сюрпризы. Стол был празднично убран, ломился от вин и яств.

Собравшиеся сидели тихо, разговаривали полушепотом. Только добрейший толстяк Василий Львович Пушкин, за которым успел съездить Толстой, забавляя всех анекдотами, не выдерживал иногда уговора, прыскал от давившего его самого смеха.

Давыдов вошел и замер от неожиданности. Думал, Вяземские одни, а тут целое общество! Все, кого любил, перед кем можно было распахнуть душу. Четвертинские, Толстой, Пушкин… И гул радостных приветствий. И теплота дружеских рукопожатий. Но

вот Вяземский поднял руку и, когда все немного затихли, взволнованным, глуховатым голосом, обратившись к Давыдову, прочитал:

Пусть генеральских эполетов
Не вижу на плечах твоих,
От коих часто поневоле
Вздымаются плеча других;
Не все быть могут в равной доле,
И жребий с жребием не схож:
Иной, бесстрашный в ратном поле,
Застенчив при дверях вельмож;
Другой, застенчивый средь боя,
С неколебимостью героя
Вельможей осаждает дверь;
Но не тужи о том теперь!
На барскую ты половину
Ходить с поклоном не любил,
И скромную свою судьбину
Ты благородством золотил;
Врагам был грозен не по чину,
Друзьям ты не по чину мил!

Последние фразы прозвучали особенно выразительно и тепло. Давыдов почувствовал, как запершило в горле. А Вяземский, передохнув, обвел рукой всех собравшихся и продолжал:

Спеши в объятья их без страха
И в соприсутствии нам Вакха
С друзьями здесь возобнови
Союз священный и прекрасный,
Союз и братства и любви,
Судьбе могущей неподвластный!..

Стихи вызвали общий восторг. Давыдов схватил молодого поэта в объятья, расцеловал:

– Ах ты, разбойник! Чуть до слезы не прошиб!

Василий Львович Пушкин, вытирая платком вспотевшее лицо и распространяя сильнейшие запахи духов и помады, до которых был большой охотник, просил:

– Позволь стихи списать, Петр Андреевич… Племяннику Александру в лицей пошлю[42]. Он вас обоих любит.

– Да, мне передавали, – сказал Вяземский, – будто он все стихи Дениса наизусть читает…

– Недавно даже пострадал за них, – хихикнул Василий Львович, обращаясь к Давыдову. – Изволил с товарищами своими по лицею Пущиным и бароном Дельвигом, кажется, гогель-могель устроить. Дядька ихний, Фома, рому достал, ну и захмелели ребята, и взысканы за то начальством… Александр при этом экспромтом на твою оду «Мудрость» подражание сделал… Как она у тебя начиналась-то?

Давыдов припомнил:
Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
И просили Мудрость вон…

– Вот-вот! А племянник по-своему изложил, – захлебнулся в смехе Василий Львович и продекламировал:

Мы недавно от печали,
Пущин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали,
А Фому прогнали вон…

– Ловко, ловко! – одобрил Денис Васильевич. – Молодец твой племянник, Василий Львович!

Вера Федоровна дала знак дворецкому, стоявшему у дверей с двумя лакеями. Пробки хлопнули. В хрустальных бокалах зашипело и заискрилось шампанское. Дружеская пирушка началась.

II

А дома было невесело. Состояние Давыдовых после войны оказалось в полном расстройстве. Бородино сожжено. Маленькая Денисовка приносила доход самый незначительный. Московский дом полуразрушен, имущество разграблено французами. И главное, некому приводить дела в порядок! Елена Евдокимовна скончалась полтора года назад. Братья находились на службе. Все заботы поневоле легли на сестру Сашеньку, но что же она могла сделать?

Денис Васильевич попробовал обратиться в военное министерство с просьбой о денежном пособии за ущерб,

причиненный военными действиями бородинскому имению. Ответили, что государь, ценя его заслуги, соизволил сложить долг, числившийся за покойным отцом. Никаких надежд на более существенную помощь не оставалось. Следовательно, служба была необходимостью… Хочешь не хочешь, а напяливай старый полковничий мундир и являйся в дивизию. Там, конечно, есть и друзья, но сколько таких, которым его унижение доставит приятную возможность для злорадства и насмешек! Самолюбие Дениса Васильевича ущемлялось до крайности.

После долгих раздумий он написал сдержанное, полное собственного достоинства письмо императору:

«Несправедливый рок обременяет в вашей державе человека, которого судьба сохранила так долго на полях чести… Я смел думать, что ваша воля, объявленная военными властями, непреложна, и не поколебался надеть на себя знаки моего нового достоинства; как вдруг, по произволу, которого я до сих пор не понимаю, я был лишен почестей, которыми ваше величество почтили самого усердного из ваших солдат… Удостойте вспомнить, что не я ходатайствовал о награждении моих слабых заслуг, но, получивши награду, позвольте мне просить вас оставить ее за мною…»

Ответа, как и предполагал, не последовало. А дни шли. Отпуск кончался. Мучительный вопрос никак не разрешался, томил, угнетал.

Пирушки с друзьями и театр, куда ходил посмотреть на свою поэтическую вдохновительницу, доставляли забвение на время, но, возвратившись домой, Давыдов еще сильнее ощущал тяжесть своего положения.

Однажды вечером, в середине января, когда погруженный в невеселые думы сидел он у камина в своем кабинете, к нему пришла только что возвратившаяся из Бородина сестра Сашенька. Небольшого роста, стройная и румяная, с давыдовскими темными густыми бровями, она не принадлежала к числу красавиц, но многие находили ее очень милой. К братьям Сашенька относилась почти с материнской нежностью, они тоже ее обожали, присылали часть жалованья, баловали подарками и жалели, что обстоятельства не позволяют им разделить с ней домашние заботы.

– Ты что такой мрачный, Денис? – спросила сестра, ласково погладив его по голове.

– Кто часто садится на гвоздь, тот редко смеется, – со вздохом ответил он французской пословицей. – Радоваться нечему, Сашенька… Пора в армию собираться.

– Все-таки решаешь?

– Да. Не вижу иного выхода…

– А если подождать? Может быть, государь еще…

– Бесполезно, – перебил Давыдов. – Царь меня терпеть не может и знает, что делает. Без сильной протекции ничего не получится, а протекторов у меня нет… И средств нет, чтобы дома сидеть!

– Ну, об этом не беспокойся, проживем, – отозвалась спокойно сестра. – Не так богато, конечно, как твои приятели Вяземский и Толстой, а проживем…

– На что же? Наследства, кажется, не предвидится?

– Без него обойдемся. Два имения все-таки. У меня такой расчет, чтобы с этого года столько же дохода получать, сколько до войны…

– Помилуй, Сашенька! Что за расчеты! – удивился Давыдов. – Денисовка менее двух тысяч в год дает, а на бородинских мужиков года три по крайней мере надеяться нечего, в землянках еще ютятся…

Сашенька посмотрела в глаза брата и рассмеялась.

– Ничего-то ты, Денис, в делах не смыслишь! А желаешь знать, мне один прошлогодний урожай в Бородине столько принес, сколько мы никогда прежде не получали. Правда, деньги эти пришлось на покупку леса и кирпича израсходовать, бородинцы сейчас строятся, зато в будущем горевать нечего…

– Чудеса какие-то! – продолжал недоумевать он. – Ума, право, не дашь, как это ты выкрутилась?

Дело же объяснялось просто. Оказавшись в трудное время полной хозяйкой, Сашенька вначале растерялась, но постепенно со своей ролью свыклась и, не надеясь на помощь братьев, все решительнее, крепче стала забирать бразды правления в свои маленькие руки.

Старый плут Липат Иванович, остававшийся бурмистром и полагавший, что молодую хозяйку ничего не стоит обвести вокруг пальца, уже с первого приезда Сашеньки в Бородино понял, как жестоко он ошибся.

Липат Иванович свое личное благополучие основывал на том, что господа не вникали в дела глубоко и предоставляли ему полную самостоятельность в действиях. Такой порядок позволял бурмистру хозяйничать, как он хотел. Выматывая из крестьян все силы на тяжелой барщине, Липат Иванович старался не только для господ, но и для себя, так как значительная доля доходов попадала к нему в карман. Отчитываясь перед господами, он обычно укрывал для себя часть посевов, показывая меньшую, чем на самом деле, урожайность, наживался на продаже хлеба и на многом другом. Если же какая-нибудь проделка раскрывалась,

покойный барин кричал на него, шлепал по щекам, а сынок его, Денис Васильевич, хватал за бороду и грозил скорой расправой, однако порядок от этого не изменялся. Бурмистр винился, откупался небольшими деньгами, оставался на прежнем месте и с новой силой налегал на мужиков. Крепостная система позволяла творить что угодно!

Сашенька ни на папеньку, ни на братца не походила. Приехав в Бородино, она прежде всего осмотрела поля, точно установила количество крестьянской и барской запашки, сразу лишив бурмистра возможности укрывать посевы. Потом взялась за проверку тягловых и оброчных крестьян, настойчиво докапываясь до всякой мелочи.

Липат Иванович встревожился. Молодая хозяйка была мила и любезна, но необычайная ее деловитость грозила разрушить привычный порядок.

– Ох, касатка, кормилица ты наша, – следуя всюду за Сашенькой, медоточивым голоском пел бурмистр, – да зачем тебе ноженьки утруждать, зачем рученьки белые пачкать? Все твое и никуда от тебя не денется…

– А как думаешь, Липат Иванович, – перебивала она, – много нынче хлеба соберем?

– Заранее не угадаешь, барышня моя ненаглядная, а по всей видимости, ежели погодка постоит, не менее прежнего собрать должны.

– А как все-таки? Меры четыре с копны снимем?

– Четырех на наших землях не видывали, родимая, а около того, может, господь и пошлет, – уклончиво отвечал бурмистр и думал: «Ишь, дошлая! Спровадить бы тебя отсель поскорее!»

Но спровадить не удалось. Хлеба подоспели, началась уборка, молотьба. Сашенька с раннего утра была на току, не гнушалась даже, засучив рукава, браться за лопату и грабли. Урожай вскоре определился: обмолачивали по пяти мер с копны.

Липат Иванович, расплываясь в улыбке, поздравлял ненаглядную барышню с «невиданным» урожаем. А у самого на душе кошки скребли. Чуял, что конец настал старому порядку. Ни одним зерном, ни одной копейкой не даст поживиться востроглазая жадная молодая помещица. Все себе загребут маленькие ручки!

Бородинцы, с любопытством наблюдавшие за бойкой хозяйкой, шептались:

– Здорово она старого пса Липатку прижала!

– Липатку не жалко, да кабы на себя беды не накликать!

– Того и опасаешься! Птичка невеличка, да коготок остер!

Бородинцы не ошиблись. Коготок у Сашеньки в самом деле

оказался острым. Спустя несколько дней объявил бурмистр, что приказала молодая хозяйка, дабы быстрее избыть разруху, работать на барщине четыре дня вместо трех. А оброк платить не по-старому, а по-новому, с надбавкой.

Вкратце рассказав брату о всех новшествах, введенных в бородинском имении, Сашенька с довольным видом заключила:

– Вот видишь, как надо хозяйничать! Я уверена, что мы доходность имений вдвое повысим, если будем не на бурмистров, а на себя полагаться… Все дело в хозяйском глазе!

Разговор с сестрой Давыдова несколько успокоил. «Во всяком случае, – подумал он, – если со службы вытолкнут, дома кусок хлеба найдется».

А тут вскоре приехал брат Левушка. Прошедшую кампанию он вместе с поэтом Батюшковым служил адъютантом у Николая Николаевича Раевского. Был ранен в ноги, попал в плен к французам. И теперь еще передвигался на костылях.

Издевательство над любимым братом Левушку возмутило до глубины души.

– В армию не показывайся, пока не возвратят чина, – решительно посоветовал он. – Проси о продлении отпуска, а там видно будет…

– А продлят ли?

– Продлят. Время мирное. Наполеон под караулом. Войны как будто не предвидится…

Денис Васильевич так и поступил. Занялся пока приведением в порядок своих партизанских записей. А поближе к весне решил съездить в Денисовку. Надо же сестре помогать.

Как-то днем к нему неожиданно заехал Вяземский.

– Собирайся к Василию Львовичу. Приказано доставить тебя живым или мертвым.

– А что там такое?

– Получены стихи молодого Пушкина, которые привели, говорят, в восторг старика Державина…

– Любопытно! Стало быть, желает дядюшка Василий Львович лаврами племянника плешивую голову прикрыть!

– Похоже, что так. Но есть и другая новость… Жуковский объявился!

– Как? Откуда? Где же он?

– Прибыл вчера ночью из тульского своего поместья. Остановился у Василия Львовича.

– Ну, так едем скорей, едем!..

Василий Львович Пушкин жил на Старой Басманной, в большом одноэтажном деревянном доме. Просторный кабинет хозяина, недавно разграбленный французами, не блистал

роскошью обстановки, зато на столе и на особых тумбочках стояло множество мраморных и бронзовых статуэток, а огромные старинные шкафы были набиты книгами и журналами.

Когда Вяземский с Давыдовым вошли в кабинет, там, кроме хозяина и Жуковского, никого еще не было. Давыдов, давно не видевший Василия Андреевича, душевно и радостно обнял его и, припомнив строки своего недоработанного и неотосланного послания к нему, произнес:

Жуковский, милый друг! Долг красен платежом:
Я прочитал стихи, тобой мне посвященны;
Теперь прочти мои, биваком окуренны
И спрысканны вином!
Давно я не болтал ни с музой, ни с тобой,
До стоп ли было мне?
Но и в грозах войны, еще на поле бранном,
Когда погас российский стан,
Тебя приветствовал с огромнейшим стаканом
Кочующий в степах нахальный партизан!

Жуковский, добродушно улыбаясь, положил ему руку на плечо и заметил мягко:

– Ты не меняешься, милый Денис! Все такой же кочующий партизан!

– Нет, брат, начал приобретать невольную оседлость, – с легким вздохом отозвался Давыдов. – Да что обо мне говорить! Поведай, чем нас порадуешь, любимец муз?

– Покайся, отче, – подхватил шутливо Вяземский, – сколь много наготовил греховной ереси, сиречь литературной всячины?

– Да прочитал бы что-нибудь новенькое, – добавил Давыдов. – Ей-богу, соскучился по нежным звукам твоей лиры!

– Сегодня не могу, друзья, увольте, – сказал тихо Жуковский. – Сегодня другая лира здесь зазвучит… нежнейшая моей…

– Ты уже читал стихи Александра? – спросил Вяземский.

– Да. Читал и восхищался… Как пишет этот озорник! В пятнадцать лет! Непостижимо!

– Он с детских лет к стихам пристрастие питал, – вставил довольный похвалой племяннику Василий Львович. – Бывало, соберемся вслух почитать что-нибудь этакое… слишком вольное… А он тут же торчит! Станешь из комнаты высылать, обижается: «Чего вы меня прогоняете, дядюшка, я эти стихи давно знаю…»

Тем временем приглашенные любезным хозяином гости

начали собираться. Василий Львович находился в приятельских отношениях со многими литераторами, большинство которых представляли весьма посредственные стихотворцы, такие, как Воейков, Гераков, Шаликов. Но сегодня помимо них послушать стихи молодого Пушкина явился даже известный баснописец Иван Иванович Дмитриев, бывший министр юстиции, важный старик во фраке с двумя звездами. Приехал и Николай Михайлович Карамзин, старинный друг Пушкиных, встреченный всеми особенно почтительно.

Василий Львович, усадив гостей, зачитал полученное им на днях из Петербурга письмо брата. Сообщал Сергей Львович о том, как на переводных экзаменах в лицее в присутствии Гавриила Романовича Державина читал сын Александр свои «Воспоминания в Царском Селе», как оживился, слушая их, старый бард, как обнял и благословил юношу.

Василий Львович, читая письмо, расчувствовался до слез и тут же от полноты душевной вознамерился было продекламировать гостям свои собственные стихи, сочиненные по этому случаю, но Иван Иванович Дмитриев, хорошо знавший страстишку хозяина к пиитическим упражнениям, решительно воспротивился:

– Ты нам голову не морочь, Василий Львович… На что звал, тем и корми! Мы твои напевы, слава богу, сколько лет безропотно слушаем! Нам стихи племянника давай, о коих почтенный Сергей Львович пишет.

– И пусть Жуковский их прочитает, – предложил Вяземский. – Родной-то дядя, да еще вольтерьянец, глядишь, заметит слабый стих да и пропустит, ну, а Жуковский не родня, богобоязнен, греха такого не возьмет на душу!

Шутка всех рассмешила. Предложение было принято. Василий Львович спорить не стал, вздохнул и, вытирая платком вспотевшее лицо, уселся в кресло.

Жуковский встал, откашлялся и, держа в руке листки со стихами, начал:

Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
И тихая луна, как лебедь величавый.
Плывет в сребристых облаках…

Стихи лились плавно, были выразительны, мелодичны. Чистый, приятного тембра, чуть-чуть взволнованный голос Жуковского как нельзя лучше подчеркивал их музыкальность.

В кабинете установилась глубокая тишина. Все сидели словно зачарованные.

А слова текли… Воспоминания о славном прошлом россиян, возникшие в прелестных аллеях царскосельского парка, сменились яркими картинами недавних битв с иноплеменной ратью.

… Дымится кровию земля:
И селы мирные, и грады в мгле пылают.
И небо заревом оделося вокруг…

Денис Васильевич чувствовал, как стихи все больше и больше берут за душу. Он наслаждался их звучностью, его поражали точность и ясность многих образных представлений. В то же время он явственно отмечал и следы подражательности, столь обычной для каждого молодого автора. Давал еще знать себя торжественный, напыщенный, слог державинских од. Может быть, это и прельстило старика Державина? Нет, юноша не пойдет его, державинским, путем. Слишком буйно, мощно прорывался наружу собственный, звонкий и жизнерадостный, голос молодого поэта.

Давыдов чутко прислушивался к каждому слову.

… Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед…

И вдруг в памяти неизвестно почему возникла одна из давнишних, ничем как будто не примечательных встреч… Он, тогда еще ротмистр, приехавший в Москву после Тильзитского мира, встретил где-то, кажется на Тверском бульваре, Василия Львовича. Был пасмурный осенний денек. Падала с деревьев желтая листва. Накрапывал мелкий дождь. Василий Львович, укрывшись зонтиком, спешил домой, а рядом, засунув руки в карманы пальто, с независимым видом шагал смуглый худощавый мальчик. Да, конечно, это был он! Саша Пушкин. Шалун и озорник, сочинитель этих стихов. Досадно, что тогда не обратил на него внимания, не заговорил. И все же эта мимолетная встреча была приятна. Вместе с мыслями о том, что

появился новый, необыкновенный по силе дарования поэт, рождалось ощущение какой-то душевной, почти родственной, близости к нему.

Но вот чтение окончилось. Несколько секунд все молчали, затем сразу со всех сторон послышались одобрительные голоса.

– Чудо как хороши! Ты прав, Жуковский! – воскликнул Вяземский. – Он обгонит всех нас!

– Это первый взлет молодого орла, господа, – сказал Карамзин. – Я знаю Александра с детских лет, я всегда ожидал от него необычайного…

Василий Львович с блаженной улыбкой на губах отвечал на поздравления друзей. Добродушный толстяк в самом деле, казалось, воздевал на свою голову лавровый венок племянника. И, может быть, над этим не стоило смеяться… Разве не он, Василий Львович, приохотил племянника к чтению, наставлял в первых поэтических опытах?

Денис Васильевич подошел к нему и, крепко пожав руку, произнес с чувством:

– Будешь в лицее, увидишь племянника, расцелуй за меня… Скажи, что стихи его разогрели мою кровь и оживили душу… Скажи, что я полюбил его.

III

Военная гроза отбушевала. Русский народ, освободив свое отечество от наполеоновских полчищ, принес избавление от узурпатора и европейским народам. Русские войска победоносно дошли до Парижа. Их везде встречали как освободителей. Офицеры и солдаты слышали восторженные крики, видели слезы радости в глазах людей, которым они возвратили право на свободную, независимую жизнь. Русский! Это слово гордо звучало во всем мире! А что ожидало освободителей дома?

Страна задыхалась в тисках самодержавия и крепостничества. Разруха, вызванная войной, во многих губерниях довела народ до полного обнищания. Экономика страны была расстроена, производство сырья и промышленных товаров сократилось, финансы находились в плачевном состоянии. Отсутствие твердых и ясных законов порождало многие злоупотребления, грабительство, мздоимство. Дух недовольства проявлялся всюду. Купцы жаловались на стеснение гильдиями и высокими пошлинами, мещане и ремесленники – на возраставшие налоги, чиновники – на вздорожание жизни и недостаточное жалованье. В войсках роптали на усиление бесполезной муштры, на самодурство и жестокость командиров, ставленников Аракчеева,

все более забиравшего власть в свои руки.

Но особенно тяжело жилось крепостному крестьянству.

При защите отечества от иноземцев крестьяне выказали свои патриотические чувства, мужество и самоотверженность куда наглядней, чем дворянство, но это нисколько не облегчило их положения.

В царском манифесте по случаю окончания войны объявлялись награды и льготы помещикам и крупным чиновникам, а про крестьян было сказано так: «Верный наш народ да получит мзду свою от бога». После войны положение крепостного крестьянства резко ухудшилось. Помещики, не желая отказываться от привычного уровня жизни, обременяли крестьян сверх обычной барщины новыми повинностями и поборами. Малейшее ослушание, как и прежде, жестоко наказывалось. В конюшнях свистели розги, слышались стоны. Господа продавали своих людей оптом и в розницу, проигрывали в карты, меняли на собак.

Солдаты и ополченцы, возвратившись домой и видя все это, с негодованием говорили:

– Мы проливали кровь, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа.

Эту фразу слышал и записал молодой офицер Александр Бестужев. Солдатские доводы он признавал справедливыми. Общественное сознание передовой дворянской молодежи, пробужденное Отечественной войной, уже не могло мириться с такими позорными для горячо любимой родины явлениями, как деспотизм и крепостное право. Но как избавиться от этого зла? Не произойдет ли при ломке старых порядков народный бунт, более всего страшивший дворянство? Вопросы были мучительны, требовали длительного времени для разрешения.

* * *

Денис Васильевич, поехав в начале марта, еще по санному пути, в Денисовку, вплотную соприкоснулся с ужасной действительностью.

Орловщина второй год страдала от недородов. Села и деревни имели неприглядный вид. Солома с крыш в большинстве случаев была потравлена скотине. Деревья в садах обглоданы козами. Дворовые постройки разрушены. Вместо плетней, обычно отгораживающих дворы, торчали одни колья. По безлюдным улицам бродили тощие, злые собаки.

В смрадных, черных от копоти избах оставались лишь старики и бабы с грудными детьми. Все, кто мог, ушли в города на заработки или побираться. Господа не считали в таких случаях нужным думать о своих крестьянах, предоставляя им самим заботиться зимой о пропитании.

Впрочем, бывало и так, что иной предприимчивый помещик извлекал из человеческой беды даже некоторую выгоду.

Близ Орла встретил Денис Васильевич большую толпу мужиков и баб, одетых в рваные армяки и кафтаны. Приказал ямщику остановиться, поинтересовался:

– Вы кто такие и куда направляетесь?

Высокий узкоплечий пожилой крестьянин подошел поближе к саням, неторопливо снял шапку.

– Мы елецкие, ваша милость. Работали зиму на винокуренных заводах господина Богомолова, верстах в пятидесяти отсюда, а ныне домой, стало быть, возвращаемся… Весна, вишь ты, не за горами…

– Значит, на заработках были?

– Да ведь как сказать, ваша милость… Оно точно, думалось заработать-то, детишки дома без хлеба сидят… Ан не привел господь!

– Почему же? Разве вам не платили?

– Платили, да в другие руки… барину нашему, господину Стаховичу… Он, барин-то, запродал нас на зиму. По десять целковых, вишь ты, с души получил. А мы с утра до ночи за кусок хлеба работали… Что поделаешь, на все господская воля!

Денис Васильевич нахмурился, но ничего не сказал. Закон был на стороне господина Стаховича. Помещик имел право как угодно распоряжаться своими крепостными.

А в Орле, где пришлось пробыть сутки в ожидании лошадей из Денисовки, произошла другая запомнившаяся встреча.

Вечером в гостинице к нему подошел коротенький, с изрядным брюшком и основательной лысиной, слащавый до приторности господинчик. Любезно осведомился:

– Не владельца ли деревни Денисовки господина Давыдова имею честь видеть?

– Да. А что вам угодно?

Господинчик так весь и расплылся в улыбке:

– Простите за беспокойство… Счастлив видеть знаменитого соотечественника… Сосед ваш по имению, отставной поручик Петр Петрович Ерохин.

– Очень приятно, – протянул руку Давыдов. – Я, признаться, никого из соседей не знаю. Был в деревне последний раз в детском возрасте. И теперь насилу время выбрал побывать там.

– Служба! Понимаем! – кивнул головой Ерохин. – Ну-с, а мы про вас наслышаны… И подвигами вашими гордимся и стишки ваши читывали…

– Вы что же, по каким-нибудь делам сюда приезжали? – перебил Давыдов, не желая слушать дальнейшие излияния.

– Так точно. Был по одной оказии у графа Сергея Михайловича Каменского… Здешний вельможа, быть может, слышали? Кумир нашего дворянства! Просвещеннейший человек! Я ему двух дворовых девок продал.

– Разве у него своих не хватает?

– Граф, изволите ли видеть, театр в своем имении устроил… А мои девки казистые и фигурные…

– И щедро его сиятельство заплатило за них? – с презрительной усмешкой спросил Давыдов.

– Три тысячи. Цена небывалая-с! – восторженно ответил Ерохин и облизнул губы. – Что касается театра… тут граф расходов не жалеет. Всецело, так сказать, предан искусству. Танцовщицы одна к другой подобраны, этаких в столице не увидишь. Граф даже самолично будущих Мельпомен и Терпсихор обтесывать изволит… Иной раз, верно, и к розгам прибегает, без этого нельзя, однако ж девицы обучаются благородным манерам быстро… Смотришь и не веришь, что девки простые!

Ерохин передохнул, опять облизнул губы и, поблескивая маслеными глазками, с упоением продолжал:

– Спектакли граф для всего дворянства показывает и платы не требует. Ну-с, а самыми сокровенными картинами, так сказать, лишь избранных особ мужского пола удостаивает… Тут уж подлинно, батенька мой, чудеса неописуемые, как прикажет его сиятельство своим балеринам одежды спустить и в этаком райском виде танцевать. Хе-хе-хе!.. Весьма соблазнительная картина!

Давыдов слушал молча. Сергея Михайловича Каменского он знал давно. Некогда этот вельможа подвизался на главных ролях в Молдавской армии, находившейся под командованием его брата. Войска сохранили о Сергее Михайловиче нелестное воспоминание, как о бездарном, трусливом и жестоком генерале, собственноручно избивавшем солдат за малейшую провинность. Теперь, выйдя в отставку, он занялся новыми мерзостями. А орловское дворянство считает его просвещеннейшим человеком!

На душе у Давыдова стало нехорошо. Сославшись на головную боль и не очень любезно простившись с соседом, он вскоре ушел в свой номер. А на другой день в самом скверном расположении духа выехал в свое имение.

Денисовка, насчитывавшая всего сто двадцать душ, была

захудалой деревенькой. Должность бурмистра исправлял здесь Федосеич, бравый по виду старик с длинными белыми усами и сизым носом. Лет сорок назад он добровольно пошел в солдаты за женатого брата, но, отслужив долгий солдатский срок и возвратившись домой, никого из родных в живых не застал.

Федосеич жил бобылем в маленькой избенке, построенной для него миром, и не был так алчен на деньги, как бородинский Липат, зато имел большое пристрастие к вину. Он возложил на крестьян своеобразную повинность поить его. Делал он это таким образом: зайдя в крестьянскую избу, объявлял хозяевам, что получил приказ отправить кого-нибудь из их семьи, парня или девку, для барской службы в Москву. В избе поднимался переполох. Хозяева начинали упрашивать бурмистра, чтоб избавил их от беды, тот некоторое время упирался, потом соглашался сделать уважение за угощение. С течением времени крестьяне хитрость бурмистра разгадали и не очень верили в его угрозы, однако поить и угощать его не отказывались. Все же он не был по отношению к ним такой собакой, как Липат.

Господа в деревне годами не появлялись, и Федосеич хозяйствовал спустя рукава. Гонял мужиков на барщину без особой строгости, за качеством работы не следил, хлеб продавал не торгуясь, лишь бы магарыч был.

Барский дом находился в запустении. Конюшни и скотные дворы месяцами не чистились. Инвентарь валялся где попало.

Денис Васильевич, приехав в деревню и сразу обнаружив следы бесхозяйственности, напустился на бурмистра:

– Ты что же, мошенник, вожжи распустил? Всюду грязь, беспорядок… Думаешь, на тебя и управы не будет?

Федосеич стоял, вытянувшись по-солдатски, и на все замечания отвечал кратко:

– Виноват, недоглядел…

Зато, побывав в нескольких крестьянских избах, Давыдов убедился, что живут здесь хотя и убого, но все же лучше, чем в соседних деревнях. По крайней мере побираться мужики не ходили, хлеб у них водился. Жалоб на бурмистра тоже никто не приносил, никаких грехов за ним, кроме пьянства, не открывалось. «Все бы это ничего, – размышлял Давыдов, – да беда, что старик ленив и о господских интересах не радеет… Чистое наказание с этими бурмистрами! Липатка хотя и вор, да дело знает, а Федосеич и честен, да к делам не способен… Конечно, Сашенька права, поднять доходность имения можно, но ведь для этого надо самому за все браться, постоянно жить здесь. А на такого бурмистра, как Федосеич, разве можно полагаться?»

Занятый этими мыслями, Давыдов медленно шел по

деревенской улице, направляясь в усадьбу, и повстречался с какою-то средних лет крестьянкой в высоких мужских сапогах и новеньком легком полушубке, перехваченном кушаком. Когда они поравнялись, крестьянка смело посмотрела на него серыми ласковыми глазами и тихо промолвила:

– Здравствуйте, барин…

Давыдов ответил на приветствие и, не останавливаясь, пошел дальше. Но миловидное, разрумяненное легким морозцем лицо крестьянки показалось ему удивительно знакомым. «Где-то я как будто ее видел?» – подумал он и невольно оглянулся назад. Крестьянка, свернув в проулок, выходивший на окраину деревни, вскоре скрылась из виду.

А лицо ее по-прежнему было перед глазами. Он стал старательно напрягать память и вдруг вспомнил. Ведь это же Агафья, жена Никифора, сверстника и товарища по детским забавам! Восемь лет назад он видел ее в Бородино. Тогда, в нищенском одеянии, выглядела она куда хуже, чем теперь, но это несомненно она. «Жить тяжко, барин!» Этот страшный крик, вырвавшийся у нее из глубины души, до сих пор звенел в ушах. Но как и почему она очутилась здесь?

Впрочем, все оказалось очень просто. Федосеич пояснил, что Никифор, возвратившись из ополчения к семье, находившейся в Денисовке, быстро тут прижился. Случилось так, что местного кузнеца не было, и Никифора, состоявшего на оброке, завалили работой. При обратном переселении бородинцев Никифор остался с разрешения Липата Ивановича в Денисовке.

– А землю здесь ему выделили? – осведомился Давыдов.

– Никак нет, – ответил Федосеич. – Никифор бородинским оброчным числится, да и без надобности ему земля-то… Ремеслом своим кормится. Избу и кузницу в аренде содержит.

– А мужики наши им довольны?

– Слова худого ни от кого не слышал. Всякая работа у Никифора спорится, и каждому он угодить рад. Опять же и нам без отказа все справляет. Кабы приписать его к нашей деревне – куда как хорошо было бы!

– Что ж, это можно… Я поговорю с ним! – ответил Давыдов.

И тут неожиданно промелькнула мысль: «А что, если Никифора назначить бурмистром? Грамоту он немного знает, в честности можно не сомневаться. Право, есть смысл!»

На другой день Давыдов сам навестил старого приятеля.

Изба, в которой жил Никифор, по внешнему виду ничем от других изб не отличалась, но внутри была просторна и довольно опрятна. Стены побелены, полы покрыты чистенькими рогожками. Никифор, только что возвратившийся из соседнего села, куда

ходил ковать господских лошадей, сидя на табурете, подшивал кожей валенки. Агафья с раскрасневшимся лицом хлопотала у печки. Запах свежеиспеченного хлеба приятно щекотал ноздри. Дети – белобрысый шустрый мальчик и худенькая девочка с рыжей косичкой – возились с ягнятами, отделенными в углу дощатой перегородкой.

Дениса Васильевича встретили хозяева приветливо.

– Мне Агафья уже сказывала, что вы приехали. Я к вам как раз наведаться хотел, – произнес Никифор, усаживая гостя на почетное место под образами.

– А я встретил вчера Агафью и не узнал сначала… Похорошела очень!

– Вы уж скажете, барин, – потупилась хозяйка. – С чего нам хорошеть-то?

– Не гневи бога, Агафья, – бросив строгий взгляд на жену, заметил Никифор и обратился к гостю: – Живем мы супротив прежнего попригляднеи, сами видите, Денис Васильевич.: Работы кузнечной много, хлеб у нас не переводится, оброк отсылаю исправно.

– Назад в Бородино, значит, не собираешься?

– Как вам будет угодно, – склонив голову, отозвался Никифор. – А по мне лучше здешних мест нет. От добра добра не ищут!

– В таком случае, если хочешь, я прикажу, чтоб тебя совсем сюда приписали и землю под усадьбу дали.

Лицо Никифора просияло. Он облегченно вздохнул.

– О том и просить вас хотел… Премного благодарны!.. Век ваши милости не забудем…

– Ну, хорошо, – продолжал Давыдов. – Только ты мне тоже услужить должен.

– Приказывайте, Денис Васильевич! Все исполню, будьте в надежде!

– Видишь, в чем дело… Я пока что в Денисовке жить и хозяйничать не могу, а Федосеич распустил тут всех, пьянствует, а имение из года в год все менее дохода дает. Вот я и надумал назначить тебя бурмистром.

Давыдов полагал, что назначение на выгодную должность несказанно удивит и обрадует Никифора, но случилось нечто непонятное. Никифор отшатнулся, побледнел, опустил голову. Руки его дрожали. Агафья, прислушивавшаяся к разговору, словно остолбенела, глядя на мужа испуганными глазами.

– Увольте… не справлюсь… – глухо пробормотал Никифор, не поднимая головы.

– Не понимаю, – пожал плечами Давыдов. – Народ тут,

кажется, смирный, послушный. Следи лишь за установленным порядком, чтобы от барских работ не отлынивали, сеяли и убирали в срок. Жалованьем я тебя не обижу, а будешь стараться, то в награду и вольную получишь.

Никифор несколько секунд стоял молча, переминаясь с ноги на ногу, потом медленно поднял голову.

– С великой охотой чем угодно служить вам рад, Денис Васильевич, а бурмистром быть не могу. Как мне мужиков на барщину гонять, коли сам я мужик?

– Глупости! Надо кому-то имением управлять. Лучше разве мужикам будет, если я, как другие господа делают, немца какого-нибудь над вами поставлю?

– Воля ваша, – тяжело вздохнул Никифор. – А мне совесть не дозволяет… Ежели без строгости править, как Федосеич, вас прогневишь, а ежели строго спрашивать – народ обидишь, а тогда известно, как глядеть на тебя будут…

Доводы были убедительны. Интересы помещиков и крестьян никак не совпадали. Давыдов сдвинул сердито густые брови, задумался.

– Хорошо, не желаешь мне помогать, не надо, – произнес он наконец. – Но скажи по правде, чего же все-таки ты опасаешься?

– Недовольства кругом много, Денис Васильевич. Тут-то, слава богу, ничего дурного пока не слышно, а в соседних деревнях сплошь роптание…

– Вот как! – насторожился Давыдов. – А кто же и на что ропщет? Говори, не бойся…

– Да ведь сами небось видели, как народ живет. Второй год, почитай, мужики кругом голодуют… Опять же и притеснения всякие.

– Жалости у иных господ вовсе нет, – неожиданно вставила Агафья и, не договорив фразы, всхлипнула. – Вчера в ближнем селе вдова повесилась… А уж какая была тихая, работящая…

– Почему же повесилась? Что за причина?

– Дочь единственную, первую в селе красавицу и певунью, барин от матери отлучил и продал, – пояснил Никифор. – Вот и не стерпела горемычная…

– А как фамилия барина?

– Господин Ерохин… В Орел продал девку-то для забавы графу какому-то… Сами судите, как в народе роптанию не быть?

Трагический конец истории, начало которой слышал недавно от помещика, взволновал и возмутил сильнейшим образом Дениса Васильевича. Конечно, чувств своих перед Никифором он не открыл, но, придя домой, долго не мог успокоиться.

Будучи человеком гуманным, убедившись во время войны,

насколько простой народ возвышается в любви к отечеству над «потомками древних бояр», Давыдов не мог считать нормальными такие явления, как помещичьи неистовства и разврат. Сам он, следуя суворовским традициям, ни разу не ударил солдата и не подвергал телесным наказаниям своих крестьян. Но когда сестра Сашенька сказала, что она увеличила в Бородине барщину и надбавила оброк, он не возражал. И сейчас приехал в деревню, чтобы по примеру сестры поднять доходность имения. О том, что подобный нажим на крепостное крестьянство тоже является одной из форм тиранства, он, вероятно, не думал.

Груз сословных представлений о незыблемости крепостного права, этой древней привилегии дворянства, мешал ему сделать верный вывод о необходимости прежде всего уничтожить именно крепостное право как главный корень зла. Может быть, где-то в глубине сознания смутно и шевелилась иногда такая мысль, но она подавлялась множеством сословных предубеждений. Границы добра и зла были неясны.

Теперь, как и два с лишним года назад, когда услышал ночной разговор гусар, мечтавших о воле, он вновь почувствовал какую-то острую душевную тревогу. Что-то было такое, что требовало ясности. Но что же?

Никифор сказал, что в Денисовке пока не слышно роптания, и явно связывал это обстоятельство с тем, что денисовские крестьяне, находясь под управлением Федосеича, жили несколько лучше, чем в соседних селах, имели хлеб и не испытывали лишних тягот. Это было, с одной стороны, и приятно, а с другой – попустительство Федосеича приносило ущерб собственным интересам Давыдова. Сашенька, наверное, не задумалась бы над этим, поступила так, как поступали все помещики, а он не мог, ибо боялся и не хотел вызывать роптания…

«Ну, хорошо, пусть управляет Федосеич, все равно на эту должность скоро нужного человека не подберешь, – размышлял Давыдов, – но разве это выход из положения? Я могу лишиться последних доходов, а мужики все равно не перестанут мечтать о воле, и наши интересы вечно будут различными…»

Самые противоречивые мысли теснились в голове и сплетались в причудливый клубок, распутать который не было, казалось, никаких сил.

«Нет, видно, я просто не создан для того, чтобы заниматься помещичьими делами, таланта Сашенькина не имею, – решил он в конце концов. – Но тогда что же мне делать, как жить?»

Этот проклятый вопрос тоже не находил ответа. И будущее представлялось Денису Васильевичу довольно туманно, когда он, так ничего существенного и не сделав в деревне, возвращался в

Москву.

Но здесь ожидала непредвиденная, потрясающая новость, сразу и круто изменившая строй его нерадостных мыслей.

Новость эту сообщил взволнованный Левушка, первым встретивший брата на крыльце дома:

– Слышал, что делается? Бонапарт бежал с острова Эльбы и высадился во Франции. Войска переходят на его сторону. Сопротивления никто не оказывает. Сегодня-завтра Бонапарт будет в Париже. Представляешь!

– Как! Значит… опять война!

– Надо полагать… В Петербурге, говорят, полная растерянность. Здесь тоже всех охватило смятение.

Из дому вышла Сашенька. Денис Васильевич, обняв сестру, объявил решительно:

– Доставай мой старый мундир, Сашенька. Еду в свой полк!

– Ты же хотел подождать, пока…

– Э! Теперь не до самолюбий! – перебил Давыдов. – Дело-то ясное! Бонапарт соберется с силами и вновь обрушится на нас… Отечеству опасность угрожает! Драться надо!

IV

Ахтырский полк находился на марше за границей. Путь туда лежал через Варшаву, где все проезжие генералы и штаб-офицеры обязаны были визировать свои документы.

Военная власть здесь была сосредоточена в руках великого князя Константина Павловича, командовавшего всеми русскими и польскими войсками, расположенными в пределах недавно присоединенного к Российской империи герцогства Варшавского.

Константин Павлович слыл одним из самых ярых приверженцев прусской военной системы. Поселившись в роскошном Бельведерском дворце, окруженный блестящей свитой, составленной в большинстве из гатчинских парадиров и истовых любителей «изящной ремешковой службы», великий князь ежедневно устраивал на Марсовом поле или на Саксонской площади пышные вахтпарады и разводы, проводимые на немецкий манер.

Дробь барабанов с раннего утра будоражила город. Войска упражнялись не в боевом искусстве, а в вытягивании носков, выделывании ружейных приемов и тщательном равнении шеренг.

Приехав под вечер в шумную польскую столицу, Денис Васильевич тотчас же отправился в военную канцелярию, но там занятия уже кончились, а дежурный офицер, прилизанный и вылощенный поручик Литовского полка, приняв документы и

спрятав их в стол, равнодушным тоном произнес:

– Явитесь за своими бумагами денька через три или через четыре.

– Помилуйте! Почему же такая задержка? – изумился Давыдов. – Я не для собственного удовольствия вояжирую, а в действующую армию спешу.

– Мы соблюдаем предписание высшего начальства, – пожав плечами, холодно ответил поручик. – Бумаги штаб-офицеров цесаревич просматривает лично, а на завтра его высочество назначил большие парадные маневры, и, надо полагать, они затянутся.

– Что за порядки, право! – возмутился Давыдов. – Война идет, а у вас этакое творится. Можно бы, кажется, хоть на время военных действий отказаться от пагубной страсти к бессмысленному парадированию.

Сказал – и тут же пожалел об этом. Тусклые глазки поручика блеснули недобрым огоньком. Он ничего не ответил, видимо сдержался, но простился с подчеркнутой сухостью. Неприязнь его была очевидной. «Черт меня дернул вступать с ним в разговоры, – подумал Денис Васильевич, – еще пакость какую-нибудь учинит, от такого всего ожидать можно…»

Однако того, что произошло дальше, Давыдов, конечно, не мог и предчувствовать.

Когда в назначенное время он снова явился в военную канцелярию, ему объявили:

– Ваши бумаги у генерала Куруты, который желает вас видеть.

Курута некогда был учителем греческого языка у цесаревича. Убедившись, что наследник российского престола не склонен обременять себя никакими науками, хитрый грек не стал утруждать его своими уроками. Цесаревич лишь заучил несколько классических греческих фраз (при случае он любил ими похвастаться), зато узнал от любезного наставника столько всяческих непристойных историй и острот, что мог сконфузить любого армейского прапорщика. Поощряя все необузданные желания цесаревича, Курута сделался постепенно самым близким его человеком, главным адъютантом и начальником штаба.

Войдя в кабинет генерала, находившийся в Бельведере, рядом с покоями цесаревича, Денис Васильевич увидел важно восседавшего за огромным письменным столом толстенького и плешивого человечка с помятым смуглым лицом, оттопыренными ушами и редкими гнилыми зубами.

– Его высочеству угодно знать, – с немилосердным акцентом выговаривая каждое слово, произнес Курута, – для какой

надобности ваше высокоблагородие направляется за границу?

– В моих бумагах точно обозначено, что я возвращаюсь из отпуска в свой полк, – несколько удивившись странному вопросу, сказал Давыдов.

Курута вскинул на него черные масленые глазки и ухмыльнулся:

– А не имеется ли у вашего высокоблагородия намерения насчет своевольных действий, подобных тем, что в прошлых кампаниях вами применялись?

«Вон куда метнул, паршивец!» – подумал Денис Васильевич, чувствуя, как закипает в нем раздражение. Но, сдержав себя, ответил спокойно, с достоинством:

– Намерение мое не составляет тайны, ваше превосходительство, ибо кому не известно, что такое долг солдата и присяга? Касательно же партизанских действий моих должен заметить, что оные всегда производимы были с дозволения начальства и, смею думать, не бесполезно для моего отечества…

Говоря это, Денис Васильевич не заметил, как тяжелая, из синего бархата, портьера, прикрывавшая дверь в соседнюю комнату, раздвинулась и на пороге показался сам цесаревич.

Он был в мундире нараспашку и узких лакированных с желтыми отворотами ботфортах. Пухлое, прыщеватое, с отеками под глазами лицо, вздернутый красный носик и мутные злые глазки под белобрысыми бровками делали его удивительно похожим на покойного папеньку, причем сходство это дополнялось и сиплым голосом, и порывистыми движениями, и сумасбродным нравом.

– Ан врешь, врешь! – перебивая Давыдова, крикнул он и, размахивая руками, забегал по кабинету. – Долг солдата повиноваться, а не умствовать и не критиканствовать! Устав российской армии презрел, сударь! Начальство в грош не ставите, субординации признавать не желаете! Винценгероде рассказывал, как ты в Саксонии своевольничать изволил… Хорошо партизанство, нечего сказать!

Денис Васильевич стоял, вытянувшись по форме, и слушал молча. Было ясно, что неприязнь великого князя вызвана доносом поручика и нет никакого смысла оправдываться перед человеком, на которого, как он знал, не действуют никакие резоны.

Курута, выкатившийся бочком из-за стола, наблюдал за происходящим, переминался с ноги на ногу, потихоньку вздыхая и отдуваясь.

Наконец цесаревич, выбросив еще несколько бессвязных фраз, круто повернулся, остановился против Давыдова и, сердито

фыркнув, приказал:

– Извольте с завтрашнего дня присутствовать на смотрах и учениях вверенных нам войск. Надеюсь, там будет чем пополнить ваше военное образование… Курута! – обратился он к генералу. – Выписать пропуска их высокоблагородию.

– Слушаюсь, ваше высочество, – угодливо отозвался генерал и, прикрыв рот рукой, тихонько хихикнул.

Денис Васильевич ожидал чего угодно, но только не такого издевательского приказания. Его охватила ярость. Спазма сжала горло. Щеки пылали, руки судорожно сжимались. И стоило немалых усилий, чтоб удержать себя в рамках благоразумия.

– Осмелюсь напомнить, ваше высочество, – сделав шаг вперед, глухим голосом проговорил он, – я принадлежу к Ахтырскому полку, входящему в состав действующей армии, и не могу воспользоваться оказанной мне честью.

– Что? По гусарам своим соскучился? – прищурив злые глазки, фыркнул цесаревич. – Ничего, придется подождать.

– В таком случае я просил бы ваше величество сообщить столь неясные причины моего задержания…

Цесаревич окинул его злорадным взглядом и, прищелкнув языком, развел руками:

– А на то есть воля государя, повелевшего мне останавливать господ офицеров, возвращающихся из отпусков в свои части… Так-то, сударь!

… В садах отцветали липы. Солнце с каждым днем жгло все сильнее. Вступало в права сухое, знойное лето.

События разворачивались своим чередом. Прогрохотали пушки под Ватерлоо. Кончилось стодневное царствование Наполеона. Английский фрегат «Нортумберлэнд», на борту которого находился бывший французский император, рассекая океан, на всех парусах мчался к пустынному острову Святой Елены.

Русские войска, не успевшие схватиться с неприятелем, возвращались домой.

А Денис Васильевич продолжал томиться в Варшаве, где уже до последней степени отвращения насмотрелся на ненавистные порядки, заведенные в войсках невеждами и педантами.

Теперь все чаще приходил он к мысли, что совершаемое здесь над ним насилие не является какой-то случайностью. Точно выяснив, что никакого повеления от государя о задержке офицеров не было, он написал жалобу в главный штаб князю Волконскому и Дибичу, послал рапорт фельдмаршалу Барклаю де Толли, но все безрезультатно. Не помогло и ходатайство Ермолова, хотя цесаревич обычно не отказывал Алексею

Петровичу и в более важных просьбах.

Документы Давыдова лежали в штабе цесаревича, а на вопрос, когда же наконец его отпустят в полк, Курута, пожимая плечами, отвечал неизменно:

– Не могу знать… Не от нас зависит…

Может быть, он даже и не лгал. Очевидно, издевательское приказание цесаревича было одобрено высшим начальством, а вернее всего, самим императором, и унизительное для офицера суворовской школы «обучение» плацпарадной шагистике продолжалось по их указанию.

Давыдов, и прежде догадывавшийся, что все притеснения по службе последних лет связаны между собой единым мстительным замыслом высшего начальства, теперь окончательно в этом убедился.

Да, его умышленно унижали! И не только потому, что в правительственных кругах помнили его вольнолюбивые басни, а главным образом потому, что выдвинутая им и блестяще оправданная на деле партизанская система рассматривалась как опасная затея, а вся его собственная партизанская деятельность противоречила той бюрократической военной системе, которая была установлена в российской армии.

И нет сомнения, впереди ожидают его еще многие и многие неприятности, следует быть всегда к ним готовым.

Однако надо же все-таки и что-то предпринимать, чтобы поскорей выбраться из Варшавы. Ведь жить здесь, помимо всего прочего, было тяжело и потому, что он числился состоящим в долгосрочном отпуску и жалованья не получал. Взятые на дорогу деньги были давно израсходованы, пришлось обращаться к сестре Сашеньке, она прислала пятьсот рублей, но и они быстро таяли. Денис Васильевич находился в самом мрачном раздумье.

Неожиданно в Варшаве появился Павел Дмитриевич Киселев. Бывший кавалергард, старинный приятель. Год назад в чине штаб-ротмистра он состоял адъютантом при генерале Милорадовиче. Приятная внешность и светские манеры Киселева обратили на него внимание императора Александра. Двадцатипятилетнего Павла Дмитриевича сделали полковником и флигель-адъютантом.

Теперь с каким-то важным поручением царя он направлялся из столицы в армию и остановился в самой лучшей варшавской гостинице.

Свидание с ним было кратко, но приятно. Новенький мундир с пышными аксельбантами и золотыми царскими вензелями придавал Киселеву некую сановитость, но держался Павел Дмитриевич просто, встретил Дениса как родного. Обнялись,

расцеловались.

– Ну, друг милый, выручай, – присев на край дивана, без дальних слов начал Давыдов. – Попал я впросак, жизни не рад…

– Да что же случилось? – встревожился Киселев.

– А вот что…

И он подробно рассказал обо всем, что с ним произошло, умолчав лишь о той неблаговидной роли, какую, по его мнению, играл в этом деле император. Был старый друг Киселев все же придворным, распахивать перед ним душу, как перед Вяземским, на этот раз поостерегся.

Киселев выслушал с явным сочувствием и задумался.

– Да, история скверная… Не знаю, как тебе и помочь… Я еду к фельдмаршалу Михаилу Богдановичу и могу, конечно, поговорить с ним, но если даже он примет участие… Тебе ведь известно, в каких неприязненных отношениях с цесаревичем он находится… Пожалуй, лучше все-таки действовать через главный штаб.

– Я же обращался к князю Петру Михайловичу Волконскому… Бесполезное дело!

– Подожди, подожди, Денис, – остановил его Киселев, неожиданно оживляясь, – я совсем забыл, просто из головы выскочило… Ты же, кажется, хорош был с Арсением Закревским?

– Еще бы! Не один год, слава богу, дружили… А что с ним такое? Я, признаться, давненько ничего о нем не слышал. Он все в полковниках, или?..

– На днях представлен в генерал-майоры… Но суть не в этом. Государь к нему весьма расположен, и мне точно известно, только прошу тебя пока об этом никому ни слова, – Арсения Андреевича назначают дежурным генералом главного штаба.

Давыдов подскочил от удивления:

– Что ты говоришь! Вот так новость! Ну, в таком случае… На Арсения-то уж, верно, я могу положиться.

– Как и на меня, надеюсь, – с улыбкой добавил Киселев. – Ты напишешь ему от себя, разумеется частным образом, а я по возвращении в столицу поговорю с ним особо. Дело, сам понимаешь, не легкое, но вдвоем мы что-нибудь стоим.

– Спасибо, спасибо, ты меня просто воскресил из мертвых, – растроганно проговорил Давыдов, обнимая приятеля.

На душе сразу стало легче. Арсений Закревский в главном штабе! С необычайной живостью вспоминалась Денису Васильевичу суровая финская зима 1808 года и маленькая, окруженная густым лесом станция Сибо близ Гельсингфорса, где проездом в армию встретился он впервые с поручиком Архангелогородского пехотного полка Закревским.

Были они в одних годах, небогаты, жизнерадостны, оба мечтали о славе и подвигах, стремились к романтическим приключениям и не чуждались тщеславия. Сдружились быстро и прочно!

Потом вместе служили в Молдавской армии, и тут Арсений, состоявший адъютантом при молодом главнокомандующем графе Каменском, оказал первую немалую услугу, помог Денису устроить перевод в войска Багратиона.

Потом пришло неожиданное известие о скоропостижной смерти Каменского, и поползли вдруг страшные слухи, будто его отравили и будто не обошлось это дело без участия Закревского, получившего по завещанию графа небольшую, но доходную деревеньку. Произведенным следствием слухи не подтвердились, а все же они держались и в какой-то степени компрометировали Закревского, вынудив его уйти в отставку.

Тут уж пришла очередь Дениса помогать другу! Кто, как не он, ободрял Арсения в тяжелые дни, а затем познакомил с Ермоловым! Алексей Петрович взял Закревского под свое покровительство и устроил в военную канцелярию первой армии. И, конечно, Закревский не может этого забыть, он сделает все, что от него зависит, чтоб выручить из беды, за это можно ручаться.

«Милый друг Арсений Андреевич, – в тот же вечер писал Денис. – Вот дело о чем идет: я ехал, скакал, спешил к своему месту, то есть в Ахтырский полк, но, проезжая через Варшаву, остановлен великим князем под предлогом, что он имеет повеление останавливать всех штаб– и обер-офицеров, едущих из отпусков в армию. Между тем все проезжают, а я живу, и имя мое слышать не хочет, говорит только: я не смею, я имею на то повеление… Так как ты мой старый друг и друг, на которого я более уверен, нежели на кого-нибудь, то прошу тебя войти в мое положение и употребить все старания вытащить меня отсюда»[43].

А через некоторое время, получив от Закревского кратенькую обнадеживающую записку, Денис Васильевич попросил его заодно похлопотать и о возвращении произвольно отнятого генеральского чина.

«… Сверх особых притеснений, – писал он, – не знаю, что я, полковник или генерал? Пора решить меня или уже вовсе вытолкнуть из службы».

Итак, дела были переданы в верные руки, оставалось теперь лишь ожидать решения своей участи. И можно было подумать о другом.

В Варшаве он, несмотря на общительный характер, не нашел друзей по сердцу, настораживал случай с дежурным офицером, да и не хотелось как-то ни с кем сходиться. Мысли его были в

Москве, где сейчас собрались все родные и близкие и где оставалась пленившая его милая синеглазая Саша Иванова.

«… Что делает божество мое? Все ли она так хороша? – запрашивал он Вяземского. – Богом тебе клянусь, что по сию пору влюблен в нее, как дурак. Сколько здесь красивых женщин; ей-ей, ни одна сравниться не может»[44].

Вяземский, однако, не стал держать друга в приятном заблуждении. О божестве посоветовал более не думать. Саша выходила замуж за балетмейстера Глушковского.

Прощаясь с Сашей перед отъездом из Москвы, Денис Васильевич не подал и намека на возможность соединить с ней свою судьбу, мимолетные мысли об этом подавлялись обычными для того времени сословными предрассудками, стало быть, девушка вольна была поступать по-своему, а все же сообщение о ее замужестве походило на небольшой щелчок по носу. И хотя, отвечая Вяземскому, он, отшучивался, что, приехав в Москву, «опутает усами ноги Глушковского и уничтожит все его покушения», настроение было скверное, и сердечная ранка разбаливалась порой весьма чувствительно.

Наконец-то пришло долгожданное известие о возвращении генеральского чина. Оказывается, в армии было шесть полковников Давыдовых. Государь не желал производства в генералы одного из них, а в главном штабе перепутали, сняли генеральский мундир не с того, с кого нужно. Объяснение не очень-то правдоподобное, но надо же как-то оправдать высшее начальство!

А следом пришел приказ: генерал-майору Давыдову состоять при начальнике первой драгунской дивизии. Закревский пояснил, что нет в кавалерии пока иных вакантных мест, а как будет более подходящая должность, уведомит.

Денис Васильевич успокоился и, не теряя времени, отправился к новому месту службы.

V

В середине декабря Петр Андреевич Вяземский, слышавший краем уха об освобождении Дениса и ожидавший, что он вот-вот заявится в Москву, получил следующее извещение:

«Наконец я, любезный Вяземский, вырвался из Варшавы и иду вместе с дивизией. Из Бреста поеду в Киев на контракты, а оттуда, если будет возможность, полечу к вам».

Вяземского сообщение заинтересовало. Киевские контракты сами по себе вряд ли Дениса привлекали. Зачем же и по какой надобности он туда столь неожиданно собрался? Наверное, опять

захотелось поамурничать с кузиной Аглаей.

Вяземский ошибался. Аглая Антоновна проводила эту зиму в Петербурге, где воспитывались ее дочери.

Но в Киеве находились всегда милые сердцу Раевские и Базиль Давыдов. Хотелось повидать их, пооткровенничать. Впрочем, были и другие соображения. Николай Николаевич Раевский командовал четвертым пехотным корпусом, расквартированным на Украине. Кто знает, может быть, удастся опять поступить под начальство любимого генерала?

В Киев приехал Денис Васильевич 8 января 1816 года. Жали землю лютые крещенские морозы, но огромная контрактовая площадь на Подоле с утра до ночи кишела шумным, пестро одетым народом. Со всех сторон ежегодно съезжались сюда в эти дни окрестные помещики, торговцы, барышники, паны и селяне, подходили толпами убогие люди, странники и нищие, а за полками многих лавок и ларьков, расположенных вокруг главного контрактового павильона, можно было увидеть краснобородых персов, и важных бухарцев, и юрких греков, предлагавших самые разнообразные заморские товары.

Город в дни контрактов необычно оживлялся. В гостиницах и ресторациях стоял дым коромыслом, там задавали пиры и попойки приехавшие из своих имений освежиться и потешить душеньку степные феодалы. В трактирах и шинках гулял и распивал магарычи народ попроще. Ломились от посетителей все зрелищные и увеселительные места. Всюду веселое, звонкое многолюдье.

Двухэтажный, деревянный, недавно заново отделанный дом Каменских-Давыдовых находился недалеко от контрактовой площади. Денис Васильевич проехал прямо туда и сразу, на крыльце, попал в объятия выбежавшего его встречать Базиля.

– Денисушка, дорогой, ты ли это? Да какими судьбами? Вот хорошо, вот славно! – торопливо и радостно говорил Базиль, не спуская сиявших глаз с двоюродного брата и держа его за руки. – Ну, пойдем же ко мне!.. Я один наверху живу, а внизу мы и не топим… Матушка с братом Александром в Каменке, на открытии контрактов обещали быть, да, видно, морозов испугались…

– А как Раевские? Живы-здоровы?

– Слава богу!.. Брат Николай Николаевич в Каменке хотел отдохнуть, а Софья Алексеевна настояла сюда перебраться, дочери подросли, невестятся. Нельзя, говорит, в деревне их держать, – болтал Базиль, поднимаясь по лестнице. – Теперь у них каждый вечер веселятся. Даже наш каменский оркестр сюда взяли. Александр и Николенька приехали, племянницы подружками обзавелись, и хорошенькие есть, честное слово!

Базиль, гусарский ротмистр, не оправился как следует от тяжелых ранений, полученных под Кульмом и Лейпцигом, и числился состоящим в долгосрочном отпуску.

Просторный кабинет его, выходивший тремя окнами на улицу, был завален книгами и журналами. Они стопками лежали на столе, в беспорядке валялись на креслах и диванах. Два больших разбитых ящика с пометами таможенного осмотра стояли у дверей.

– Вчера из Парижа от книгопродавца Дидо получил, не успел просмотреть и разобраться, – сказал Базиль. – А любопытного много… Мне даже выходить из дому не хочется.

– Знаю, что ты величайший книголюб, – улыбнулся Денис Васильевич.

И сам, не утерпев, потянулся к первой попавшей на глаза книжной стопке. Дидро, Вольтер, Жан Жак Руссо, Монтескье, Рейналь, Гельвеции… Многие книги прочитаны, а, пожалуй, более таких, о которых лишь слышал. Вот Мабли «Размышления о греческой истории»[VIII]. Говорят, тут сотни острых стрел, направленных против деспотического произвола. Недаром книга считается запретной. Надо непременно прочитать!

– А когда же ты свою собственную книгу выдашь? – неожиданно спросил Базиль.

– Какую там собственную! – отмахнулся Денис Васильевич. – Я и не собирался, кажется.

– Как?! Мне брат Алексей Петрович Ермолов говорил, будто ты о партизанстве своем пишешь, хвалил даже читанные ему страницы.

– Начал марать бумагу, да остановился, не до того мне последнее время было, брат Василий.

– Стихи же, помнится, писывал ты и на бивуаках и в эскадронных конюшнях.

– Стихи что! Стихи единым волнением чувства во мне рождались. Воспламенился – и брызнуло из тебя! А взялся за прозу… Тут, брат, первей всего надлежит кипение чувств рассудком хладным измерять. А ежели тебя со всех сторон и бьют, и колют, и щиплют, – где уж хладному рассудку быть!

Старый камердинер, неслышно ступая по ковру, подал шампанское. В камине вспыхнули и весело затрещали дрова, приятно пахнуло березовым дымком. Братья сняли мундиры, раскурили трубки. Беседа завязалась долгая, распашная. Денис, горячась, говорил о всем, что наболело, об издевательствах над ним, о подлости высшего начальства, о гнусных происках царя. Базиль слушал спокойно, не удивлялся.

– Твое возмущение, Денис, законно, понятно, – заметил он, –

но чего же ты хочешь?

– Справедливости – вот чего! Я не чужой, а свой лоб под пули подставлял.

– Подожди, подожди, давай сначала о справедливости, – перебил Базиль. – От кого ты ее ожидаешь? От человека, коему не только твое партизанство, а вообще все русское не нравится… Тебе разве не известно, что его величество изволит открыто утверждать, будто каждый русский или плут, или дурак? А во время смотра наших войск во Франции, когда Веллингтон похвалил устройство русской армии и боевые качества солдат, Александр Павлович заявил, что всем этим он обязан иностранцам.

– Знаю, знаю, – нахмурив брови, отозвался Денис Васильевич. – Тошно вспоминать, ей-богу!

– Но ты послушай дальше, – продолжал Базиль, расхаживая по кабинету и начиная приметно волноваться. – При возвращении в Россию, на марше, я стал свидетелем такого случая… Впереди нашей дивизии шел пехотный полк, где командиром, по всей вероятности, был какой-нибудь аракчеевский любимчик, ибо, как у таких господ водится, за полком следовало несколько телег с розгами. И вдруг откуда ни возьмись галопирует навстречу сам государь с кавалькадой вельможных иностранцев. Оглядел розги, побагровел от гнева, подскакал к командиру полка и, указывая глазами на телеги, крикнул: «Это безобразие, сударь!» Командир, полагая, что государь против телесных наказаний, тотчас же отдает распоряжение уничтожить розги, но… тут-то фокус и раскрылся! Александр Павлович недовольно передернул плечиком, бросил взгляд на стоявших поодаль иностранцев, затем обратился к командиру и с явной досадой на лице пояснил: «Вы не так меня поняли! Прикажите чем-нибудь прикрыть телеги, чтоб не было видно розог». Представляешь, каков гусь! – с пылающим лицом, не сдержав негодования, воскликнул Базиль. – Иностранцев, словно барышня, стыдится, а народ, коим правит, считает за скот. Народ, явивший себя перед всем миром в героическом ореоле, обречен пребывать в невежестве и рабстве… А ты справедливости какой-то от царя ожидаешь!

– Да ты не так меня понял, – вздохнул Денис Васильевич. – Я к слову сказал… А на государя какая же надежда? Я уже давно ничего хорошего от него не ожидаю…

– Все в нем ошиблись… Я недавно Михаилу Орлова встретил… Ты, кажется, знаком с ним?

– Как же! Мы под Дрезденом вместе с Михайлой гарцевали. Он тогда тоже отдельным кавалерийским отрядом командовал… Славный малый!

– Так вот Орлов хотя и сделан флигель-адъютантом и обласкан государем, а говорит, что более фальшивого человека никогда не видел. А еще, – понизил голос Базиль, – сказывал Михаила Федорович, будто для борьбы с тиранством и рабством создается у нас некий «Орден русских рыцарей»[45].

Денис Васильевич, слышавший не раз, как в офицерских кружках открыто осуждали царя и правительство, сразу сообразил, что дело идет, очевидно, о каком-то тайном заговорщицком обществе, вроде того, что было затеяно двадцать лет назад братом Александром Михайловичем Каховским, и счел нужным Базиля предупредить:

– Ты смотри, Василий… Этим не шутят!

– Сам понимаю, не маленький, – тихо и задумчиво произнес Базиль. – Я пока про этот орден толком ничего не знаю, может быть, у них и не выйдет ничего, а все же отрадно мыслить, что дух гражданственности проникает ныне всюду… И знаешь, что я тебе скажу, – неожиданно веселея, тряхнул он кудрявой головой, – твои басни тоже не мало тому способствуют… В нашей дивизии каждому прапорщику известно, как «однажды Ноги очень гневно разговорились с Головой»…

Денис Васильевич сделал недовольный жест, но Базиль обнял его и с воодушевлением продекламировал:

А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись – как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить.

– Написано у меня было не «Величество», а «Могущество», – поправил Денис Васильевич и, внутренне весьма польщенный популярностью собственного произведения, с притворным недовольством добавил: – Хотя бы переписывали как следует, черти… Без того до сей поры за эти басни отчесываюсь…

В доме Раевских на Александровской улице на самом деле царило веселье, какое обычно бывает там, где собирается много молодежи и где есть музыка. Денис Васильевич, уединившись в кабинете с Николаем Николаевичем, не успел еще наговориться с ним, как вбежала черноволосая, стройная и легонькая Елена Раевская, вторая дочка генерала, только что начавшая появляться в обществе, и прервала беседу:

– Простите, папенька!.. Нам очень нужен Денис Васильевич… – И, обратившись к нему, с детской непосредственностью,

торопливо и сбивчиво продолжила: – У нас заказана мазурка, а мы знаем, что вы хорошо танцуете, а Лиза без кавалера… и мы очень вас просим… Пожалуйста!

– Позвольте, а какая же это Лиза? – смеясь, спросил Денис Васильевич.

– Лиза Злотницкая! Ну, просто Лиза… подруга наша…

Николай Николаевич ласково поглядел на зарумянившуюся от волнения дочку и пояснил:

– Генерала Антона Казимировича, что дивизионным в моем корпусе, младшая дочь… Хочешь не хочешь, а придется тебе, видно, девиц уважить. Ты ведь и впрямь, помнится, мазурку лихо отплясывал… Ступай, делать нечего! Я позднее тоже приду посмотреть.

В танцевальном зале, устроенном из двух смежных разгороженных комнат и ярко освещенном десятками свечей, появление Дениса Васильевича, сопровождаемого Еленой, было встречено дружными рукоплесканиями. Общество состояло преимущественно из молодых офицеров и целого роя девушек самых разнообразных возрастов, – видеть в своей среде знаменитого партизана и поэта всем было лестно.

Распоряжавшийся танцами Александр Раевский, в лейб-гусарском ментике, оживленный и сияющий, тотчас же, позванивая серебряными шпорами, подлетел к нему:

– Разрешите, ваше превосходительство, представить вас вашей даме…

И по тому, что он бросил при этом взгляд в сторону стоявшей невдалеке с Катенькой Раевской девушки в белом атласном платье, и по тому, что в то же время с другой стороны подбежала к ней Елена и что-то шепнула ей на ухо, Денис Васильевич догадался, что именно эта девушка и есть Лиза Злотницкая.

Она была подлинно хороша. Волнистые, редкого пепельного цвета волосы ниспадали локонами на покатые, обнаженные по моде плечи. Тонкие и мягкие черты лица, большие, серые, чуть прищуренные глаза и открытая улыбка – все это сразу привлекало к ней, а милая застенчивость, с которой протянула она маленькую ручку, окончательно пленила Дениса Васильевича.

«Как она обворожительна!» – промелькнуло в голове, и образ ее занял его воображение так полно, что он уже ничего более не слышал и не замечал, очнувшись лишь при первых волнующих звуках мазурки…

Они шли в первой паре. Возбуждение от мазурки и близости чудесной девушки охватывало Дениса Васильевича все больше и больше. Он танцевал удивительно легко, со страстью и упоением и чувствовал, что Лиза словно слилась с ним и тоже находится в

том же восторженно-счастливом состоянии, что и он.

Ножки в красных туфельках грациозно скользили по натертому паркету, а маленькая тонкая ручка, лежавшая в его руке, казалось, обжигала его трепетными искорками скрытого внутреннего огня.

И потом, когда мазурка окончилась и он под руку с Лизой, болтая о разных пустяках, прогуливался по залу, он уже знал, что эта мазурка в какой-то степени сблизила их и в его жизни не пройдет бесследно.

– Вы знаете, – смеясь, признавалась она, – мне говорили, будто партизаны носят бороды, и я представляла вас таким страшным, а вы совсем не страшный…

– А какой же? – спросил он, глядя на нее и откровенно любуясь ею.

– Обыкновенный, простой, – без тени смущения ответила она и сейчас же перевела разговор на другое: – Скажите, а стихи вы писать продолжаете?

– Увы, божественный сей дар меня покинул, – шутливо отозвался он и, вспомнив строки из своих «Договоров», продолжил в том же тоне:

Прилично ль это мне? Прошла, прошла пора
Тревожным радостям и бурным наслажденьям,
Потухла в сумерках весны моей заря…

– Вы не шутите, Денис Васильевич, я серьезно вас спрашиваю. Мне бы очень хотелось, чтоб вы сочинили что-нибудь для меня…

– Сочту за счастье, Елизавета Антоновна!

– Ой, зачем же так длинно? – опять засмеялась она. – Меня все зовут Лизой.

– Можно и мне?

– Конечно можно.

Лизе Злотницкой не было еще полных семнадцати лет. Полька по рождению, живая, своенравная и не лишенная тщеславия, она отнеслась к знакомству с молодым прославленным генералом и сочинителем благосклонно, однако вряд ли догадывалась о силе внезапно вспыхнувшего в его груди чувства к ней.

Об этом на первых порах узнал лишь один Базиль. Утром следующего дня, зайдя в комнату, отведенную Денису, он застал его сидящим на диване с поджатыми ногами и с пером в руках. Большой персидский ковер, покрывавший пол, был усыпан мелко исписанными и перечеркнутыми тетрадочными листками.

– Ты чем же это, Денисушка, занят? – с удивлением спросил

Базиль.

– Стихи ей пишу! Сама велела! – подняв лихорадочно блестевшие глаза, произнес Денис. – Да никак рифмы не ладятся… и огня еще, кажется, мало… Вот послушай!

Он вскочил с дивана и, взяв один из лежавших перед ним листочков, прочитал;

Вы хотите, чтоб стихами
Я опять заговорил,
Но чтоб новыми стезями
Верх Парнаса находил;
Чтобы славил нежны розы,
Верность женские любви.
Где трескучие морозы
И кокетства лишь одни!
Чтоб при ташке в доломане
Посошок в руке держал
И при грозном барабане
Чтоб минором воспевал.
Неужель любить не можно,
Чтоб стихами не писать?
И, любя, ужели должно
Чувства в рифмы оковать?

Он остановился и, взлохматив привычным жестом голову, с недовольным видом буркнул:

– Ну, дальше совсем, брат, скверно… я и читать не хочу… А конец, пожалуй, недурен:

Я поэзией небесной
Был когда-то вдохновлен.
Дар божественный, чудесный,
Я навек тебя лишен!
Лизой душу занимая,
Мне ли рифмы набирать?
Ах, где есть любовь прямая,
Там стихи не говорят!..

Последние строки он произнес так взволнованно и с такой искренностью, что Базиль,.покачав головой, заметил:

– Денисушка, а ты и впрямь, должно быть, влюбился?

– И не говори, – вздохнув, признался Денис. – Всю ночь уснуть не мог… В жизни никого прелестней не встречал! Клянусь

честью!

VI

Прошел месяц. Денис Давыдов, продлив отпуск, продолжал жить в Киеве.

Николай Николаевич, используя свои связи, хлопотал о переводе его во вторую гусарскую дивизию, где в скором времени должно было освободиться место командира бригады. Закревский, в свою очередь, тоже обещал приложить все старания, чтобы эта должность была оставлена за ним, а в дальнейшем, кто знает, может быть, удастся получить и дивизию.

Но главное, над чем приходилось сейчас мучительно думать, – это устройство личной жизни.

Отношения с Лизой Злотницкой установились наилучшие. Денис Васильевич не раз бывал с ней на контрактах и на концертах, ездили кататься за город, танцевали на домашних вечерах. Лизе это внимание было приятно, и по многим признакам Денис Васильевич догадывался: если он сделает предложение, оно не будет ею отвергнуто. Мысль о возможности соединиться с нею навсегда не казалась безнадежной, тем более что в доме Злотницких, куда он был введен Раевским, приняли его радушно и генерал Злотницкий, прозванный за высокий рост Антоном Великим, отзывался о нем неизменно с большой похвалой.

Однако если даже брак состоится, на какие средства они будут жить? Ведь у него нет ничего, кроме небольшого жалованья, явно недостаточного для приличного содержания семьи, а на ее приданое не надо рассчитывать: у Злотницких пять дочерей и одно маленькое поместье. Как же быть? Что предпринять?

В конце концов Денис Васильевич открылся во всем Николаю Николаевичу, который, как всегда, принял в нем истинно отеческое участие.

– Выбор твой я весьма одобряю, мой друг, и очень рад за тебя, – сказал Раевский, – но, конечно, прежде чем делать предложение, надлежит подумать о средствах.

– Ничего не могу придумать, Николай Николаевич! В этом вся тяжесть моего положения.

– Представляю, а все-таки… Тебе известно, например, что существуют аренды, жалуемые государем за военные заслуги?

– Мне не дадут, – махнул рукой Денис Васильевич. – Об этом не стоит и заикаться!

– Не дадут, ежели будешь просить в обычном порядке, –

продолжал Раевский, – но могут дать, ежели близкие к государю люди растолкуют, что сия аренда единственный способ получить соглашение ее почтенных родителей на твой брак.

– В таком случае надо прежде всего заручиться согласием родителей. А то дадут, паче чаяния, аренду, а брак не состоится, и выйдет конфуз!

– Совершенно верно! Я могу предварительно поговорить с Антоном Казимировичем, узнать его мнение о сем деликатном предмете…

Денис Васильевич согласился. Через несколько дней Раевский объявил, что Антон Казимирович дал твердое обещание: если будет аренда, дочь свою благословит охотно.

И вот начались казавшиеся бесконечными хлопоты об аренде. Было отправлено письмо на имя государя. Были уведомлены обо всем Закревский и Киселев. Но главная надежда возлагалась на Ермолова. Как раз в это время Алексей Петрович получил назначение командующим отдельным кавказским корпусом и перед отправлением к новому месту службы заехал проведать родителей, живших по-прежнему в своем орловском имении. Денис Васильевич помчался туда.

Стояли погожие майские дни. Старый деревянный дом Ермоловых, утопавший в буйных зарослях цветущей сирени и выходивший верандой в сад, где неумолчно заливались соловьи, показался чисто райским местом.

Старики Ермоловы, первыми в доме встретившие Дениса, были трогательно милы.

– Ну-ка, покажись, покажись, каков ты стал, да иди сюда, батюшка, на веранду, тут видней, – со свойственным ей грубоватым прямодушием говорила бойкая и словоохотливая Мария Денисовна, видевшая племянника еще в детстве. – Ничего, только росточку бог не дал… и волосом, словно медведь, зарос.

– Ты, мать, всегда что-нибудь этакое скажешь, – вступился Петр Алексеевич, – а по-моему, всем хорош.

– А я и не говорю, что плох! Наша, давыдовская порода! – с гордостью произнесла Мария Денисовна, обнимая племянника. – Жениться-то еще не собираешься?

– Собираюсь, ma tante. Вот и приехал с Алексеем Петровичем посоветоваться!

– Эка, нашел советчика! – с коротким смешком откликнулась Мария Денисовна. – Нет, батюшка, ты в этих делах со мною советуйся, а наш Алеша сам до сорока годов не женился, да и тебе того гляди рассоветует…

– Вы бы подыскали ему невесту, ma tante, орловские красавицы славятся…

– Скольких предлагала – слушать не желает! А почему? Все через гордыню свою немыслимую, это я тебе верно сказываю. «Простенькая жена или дурнушка мне не нужна, – говорит, – она сконфузить может, а умной и красивой опасаюсь, могу под ее башмачок попасть, а тогда какой же я генерал?» Да вон сам он идет, – кивнула она в сторону сада, – поговори-ка с ним попробуй!

Алексей Петрович предстал не в мундире с регалиями, а в домотканой рубашке, с огромными садовыми ножницами в руках и с корзиночкой свежих парниковых огурцов.

– А, брат Денис! И в эполетах генеральских! Рад, сердечно рад!.. А я уж цидульку посылать тебе хотел – в край дальний отправляюсь, когда еще бог даст свидеться придется…

Они обнялись, расцеловались. Мария Денисовна, которую, видимо, более всего интересовал предстоящий разговор о женитьбе племянника, тут же, не утерпев, с веселой хитринкой вставила:

– Вот бы, Алешенька, тебе с Дениса пример взять. Он ведь жениться надумал!..

– Неужто? – удивился Ермолов. – Да на ком же? В Киеве, что ли, сосватали? Расскажи, расскажи!.. Любопытно!

Денис Васильевич церемониться не стал. Родные, близкие! С кем, как не с ними, можно поделиться и своей радостью и своими огорчениями?

Мария Денисовна, услышав, что женитьба поставлена в зависимость от получения аренды, забеспокоилась:

– Как же это так, Денис? Выходит, словно в карты счастье твое разыгрывается… Хорошо, дадут аренду, а ежели не дадут?

Алексей Петрович тоже призадумался.

– Да, брат, не легко тебе генеральский мундир достался, не легко и счастье отвоевать… Говоришь, Киселеву и Закревскому писал? Что ж, возможно, и они пригодятся, замолвят за тебя при случае словечко. Но степень их близости к государю не такова, чтобы питать твердую надежду.

– Ах ты, напасть какая! – сокрушенно покачивала головой Мария Денисовна, глядя с участием на племянника. – Теперь уж верно вижу, что не мои советы здесь нужны, а Алешины.

– Скажу прямо, – продолжал Алексей Петрович, – что в. таком деле лишь всесильный граф Огорчеев, сиречь Аракчеев, помочь может или… князь Петр Михайлович Волконский. Обращаться к первому – все равно, что Змею Горынычу в пасть свою голову класть, а ко второму… Сам знаешь, робость его до смешного доходит, не генерал, а баба! Ко мне, правда, он благоволит, и я, конечно, попрошу его доложить о твоем деле государю, но

придется как-то посильней на него воздействовать… Подумаем, брат Денис, подумаем!

Между тем наступил обеденный час, и Мария Денисовна пригласила их к столу, ломившемуся от домашних наливок, закусок и кушаний.

– Ты небось поздно привык кушать, – обратилась она к племяннику, – а мы по-деревенски живем… Встаем с петухами, обедаем в полдень, а солнышко спряталось – мы на боковую… И в пище не взыщи, чем бог послал потчуем!

– Что вы, я не аристократ, ma tante.

– А чего же образованность показываешь и меня все тантой кличешь? – чуть усмехнувшись, произнесла она. – Право, не люблю. В молодости сама по-французски лопотала, а нынче позабыла половину и как славно на одном русском обхожусь… Оно и душевней получается, ежели меня не тантой, а тетей Машей называть.

Алексей Петрович, с удовольствием слушавший мать, улыбнулся.

– Браво, маменька! Золотые ваши слова! Позвольте за ваше драгоценное здоровье выпить!

Он залпом осушил рюмку водки и, закусив ветчиной, продолжил:

– Дениса, маменька, с малолетства, как всех нас, французскому языку обучали, обмолвка его не диковина, а вот куда как смешно, когда иные люди, вроде наших храбрых генералов Милорадовича и Уварова, французского порядком не знают, а изъясняться пытаются на оном, считая невежеством говорить по-русски. Недавно на обеде у государя, сидя за столом близ француза Ланжерона, наши храбрецы затеяли какой-то горячий разговор. Государь прислушался и, ничего не уразумев из адской их тарабарщины, обратился к Ланжерону: «Я никак не могу понять, граф, о чем идет речь у ваших соседей.» – «Я тоже не могу их понять, государь, – ответил Ланжерон. – Они говорят по-французски…»

Старик Ермолов, посмеявшись над потешным случаем, заметил:

– Так уж в придворных кругах принято, Алешенька, там по-русски и впрямь будто говорить неприлично…

– А что такое придворные круги, папенька? – произнес Алексей Петрович. – Я нигде не замечал большего лицемерия, холопства и низости, нежели в среде придворных… Поистине они составляют нацию особенную, – язвительно продолжал он, – где разность ощутительна только в степени утончения подлости, которая уже определяется просвещением![XIX]

Денис Васильевич готов был подписаться под этими словами. Но Марии Денисовне тоже, вероятно, слова сына показались чересчур резкими.

– Ох, Алеша, – сказала она, – недолго тебе на Кавказе командовать, коли проведают об этаких твоих суждениях!..

– А вы думаете, маменька, почему меня на Кавказ посылают? – с усмешечкой отозвался Ермолов. – В прошлом году царские братья Николай и Михаил в парижских кабаках пьяные дебоши изволили устраивать, а я почел необходимым им заметить, что русские войска пришли сюда не для кутежей и пьянства. «Солдаты, – пояснил я при этом, – ведут себя с большим достоинством, нежели их высочества…» Затем не дозволил арестованных за малую провинность по распоряжению государя трех офицеров моего корпуса на английской гауптвахте содержать, сделав сентенцию, что государь властен посадить их в крепость, но он не должен ронять честь храброй русской армии в глазах чужеземцев… Вот как оно было дело, маменька!.. Не удивительно, что после сего в высших сферах решили меня подалее от двора держать… А Кавказ чего же лучше? Там шаркунам придворным делать нечего, там до поту трудиться надобно. Ну и пусть Ермолов потрудится! Мне труды, а им почести! Расчетец верный! С Кавказа-то, маменька, как видите, им меня выталкивать выгоды нет, а ежели и вытолкнут… что ж, другим чем-нибудь займемся. Была бы шея, а хомут найдется!

Денису Васильевичу раскрывался теперь Ермолов с какой-то новой стороны. Будто обвеяло и Алексея Петровича тем же духом, что повсюду возбуждал офицерскую молодежь.

Всегда был он недружелюбно настроен к сильным мира сего, язвительные ермоловские насмешки и остроты не первый год разили военных педантов, чиновную и придворную знать, однако раньше воспринималось это как обычное фрондирование, а теперь чувствовалась в его словах не только ненависть к придворным кругам, но и как будто недовольство существующим порядком.

А с другой стороны, ему, очевидно, чужды были надежды на крушение самодержавия.

Когда Денис Васильевич, оставшись с глазу на глаз с Ермоловым, рассказал о беседе с Базилем и якобы замышляемом тайном обществе, он лишь слегка пожал плечами.

– Прожекты не из новых, брат Денис… Сам ведаешь, как я с братом Александром Каховским в молодости рыцарствовал и где потом очутился! Замахнуться на самодержавье – дело не хитрое, да какой от того прок? Верней всего, что сам себе шишек насажаешь!..

* * *

Давыдов прогостил у Ермоловых неделю. Алексей Петрович написал Волконскому, что просьба брата Дениса есть и его единственная просьба и он, Ермолов, уверен, что о том государю будет безотлагательно доложено.

– Должны бы, кажется, уважить, – заметил он, – более я от них и в самом деле ничего не требую. А в крайнем случае к государю обращусь… Как-никак, а пока я им нужен!

Простившись с Ермоловым, Давыдов поехал в свою Денисовку, а оттуда поскакал в Москву повидаться с сестрой. Там пробыл несколько дней. Пришел давно ожидаемый перевод во вторую гусарскую дивизию.

И опять надо было залезать в почтовую бричку, трястись по скверным и пыльным дорогам под монотонный звон валдайских бубенчиков. Ах, эти дороги! Сколько верст он уже проехал по российским просторам и европейским землям и сколько еще подобных путешествий ожидало его впереди!

Только в начале осени, после дивизионных маневров, испросив отпуск, уставший и смертельно соскучившийся по любимой, возвратился он в Киев.

* * *

Лизу Злотницкую обрадовал его приезд. Она по-прежнему была с ним хороша и ласкова. И он чувствовал, как после каждой новой встречи возрастает в нем нежная привязанность к ней, но в том положении полной неопределенности, в каком он находился, это лишь усиливало тревогу о будущем.

Ответа на просьбу об аренде не было. Возвращаясь домой после свидания с Лизой, он предавался мрачным размышлениям. Счастье его поистине, как говорила Мария Денисовна, словно в карты разыгрывалось! Надежды были призрачны. Все могло разлететься в один миг.

Томительные дни ожиданий мучительно терзали его сердце.

И можно представить, в какой степени возбуждения он находился, когда разрывал казенный пакет из главного штаба, доставленный ему наконец-то в конце сентября.

«Милостивый государь мой, Денис Васильевич, – прочитал он, – извещаю ваше превосходительство, что я докладывал государю императору о пожаловании вам аренды и его величество соизволил отозваться, что оная вам назначена будет по событии ваших предположений, об окончании коих прошу

меня уведомить.

Генерал-адъютант князь Волконский»[46].

Он перечитал уведомление еще раз. Смысл был ясен: аренду обещают дать не за его военные заслуги, а только потому, что он женится. Это заставило его тяжело вздохнуть. Значит, государь не изменил своего нелестного мнения о нем! И очевидно, приняли во внимание не его просьбу, а ходатайство Ермолова. Но все же не отказали. Спасибо на этом!

Он тотчас же отправился к Злотницким. Антон Казимирович, как всегда, принял его с необыкновенной любезностью. В тонкость отношений Давыдова с государем старый генерал посвящен не был. Уведомление князя Волконского вполне его устраивало.

– Поздравляю, поздравляю, мой дорогой, – сказал он, обнимая Дениса, – от своих слов я не отказываюсь, зятем тебя назову с радостью… А с Лизой сам договаривайся. Как она решит, так тому и быть!

И вот прошло еще несколько дней. Денис Васильевич с Лизой сидят вдвоем на диванчике в небольшой уютной гостиной Злотницких. Спускаются осенние сумерки. В окна беспрерывно барабанит дождь. А в его душе все цветет и ликует! Лиза согласилась стать его женой. Вчера они помолвлены.

– Я одурел от счастья, душенька, – говорит он, не спуская горячих глаз с ее милого лица. – Я словно во сне. А вы… счастливы ли вы, Лиза?

Она щурит серые близорукие глаза и смеется.

– Какой вы, право!.. Сколько же можно спрашивать об одном и том же? И потом… вы совсем забыли, что кто-то обещал мне новую элегию?..

– Ах, да, прошу простить, душенька, – говорит он, и вдруг лицо его становится необычно серьезным.

Написанные ночью стихи не походили на обычные любовные элегии. Чувство нежной любви не могло заглушить в поэте-воине его благородных патриотических чувств. Пусть Лиза знает, что, любя ее, он всегда будет помнить о своем священном долге перед родиной! Он открывал перед ней всего себя в этих стихах:

В ужасах войны кровавой
Я опасности искал,
Я горел бессмертной славой,
Разрушением дышал;
И в безумстве упоенный
Чадом славы бранных дел,
Посреди грозы военной,

Счастие найти хотел!..
Но судьбой гонимый вечно.
Счастья нет! подумал я.
Друг мой милый, друг сердечный,
Я тогда не знал тебя!
О, мой милый друг! с тобой
Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину восстать;
Друг твой в поле появится.
Еще саблею блеснет,
Или в лаврах возвратится.
Иль на лаврах мертв падет!..
Полумертвый не престану
Биться с храбрыми в ряду,
В память Лизу приведу…
Встрепенусь, забуду рану,
За тебя еще восстану
И другую смерть найду!

Он читал стихи страстно, самозабвенно. Лиза неотрывно смотрела на него довольными ласковыми глазами, щеки ее окрасились легким румянцем. И когда прозвучали последние строки, она непроизвольно протянула ему свои руки. Это было лучшим признанием, что стихи ее тронули.

Он был счастлив!

VII

Денису Васильевичу снова предстояла разлука. Необходимо было, прежде чем справлять свадьбу, позаботиться об устройстве удобной квартиры, и в начале ноября, простившись с невестой, он отправился в свою дивизию, стоявшую близ города Вильно.

Довольно быстро и успешно управившись там с делами, он намеревался в конце того же месяца возвратиться обратно, но неожиданно маршрут пришлось изменить. Дениса Васильевича известили, что его сообщение о помолвке принято государем милостиво и на днях будет дан высочайший рескрипт о пожаловании ему шеститысячной годовой аренды. Надо ехать в Петербург, чтоб поскорей оформить это дело.

И хотя ему взгрустнулось при мысли об отдаляющемся свидании с Лизой, эта поездка в столицу все же была приятна. Ведь все так хорошо в последнее время ладилось, что просто удивительно! Его не покидало радостно-приподнятое настроение, знакомое каждому, кто после длительной полосы неудач вдруг начинает ощущать, что фортуна как будто становится к нему милостивей.

Петербург показался Денису Васильевичу на этот раз куда более привлекательным, чем раньше. Многих зданий, украсивших в последние годы столицу, он еще не видел и рассматривал их теперь с восхищением. Особенно сильное впечатление произвел Казанский собор.

Император Павел, как было известно, требовал, чтоб архитектор Воронихин, строивший собор, старался во всем сделать его подобным римскому собору Петра. Но гениальный русский зодчий, бывший крепостной человек графа Строганова, поступил по-своему, создав совершенно оригинальное строение, поражавшее взгляд величественной красотой.

«Прежде чем приступить к рассмотрению сего изящного произведения искусства, – прочитал Давыдов в только что изданной и купленной книжке «Достопамятности Санкт-Петербурга», – порадуемся, что оно вышло из рук российских художников без всякого содействия иностранцев, – равно как и все материалы, на сооружение сего храма употребленные, заимствованы из недр нашего отечества… Воспоминание о сем перейдет в потомство и послужит, конечно, уликою завистникам, утверждающим, что русские лишены творческого гения, что им в удел досталось одно подражание…»

Эти строки крепко западали в душу. Денис знал, что среди некоторой части дворянства, а в особенности в придворных

кругах, находилось немало лиц, до сих пор все иноземное предпочитавших русскому. Сколько раз приходилось вступать в жаркие схватки с этими господами, доказывать их заблуждения!

И теперь, зайдя в собор, любуясь своеобразием внутренней его отделки, великолепной скульптурой и живописью, он с гордостью думал о том, какое большое счастье быть сыном великого народа, столь прославившего себя и бессмертными подвигами и гениальными творениями.

Вдвойне дорого было это здание тем, что под сводами его покоился прах Михаила Илларионовича Кутузова.

С благоговейным чувством долго и неподвижно стоял Денис Васильевич у священной гробницы.

В памяти невольно одна за другой оживали встречи с великим полководцем. Вставало перед глазами и раннее августовское утро, когда Кутузов осматривал войска на марше близ Царева Займища. Представлялась разоренная смоленская деревенька, тесная, с бревенчатыми стенами и низким закопченным потолком горница, где Михаил Илларионович так просто и сердечно беседовал с ним о партизанских делах. Но особенно ярко рисовался последний прием у Кутузова, происходивший в конце марта тринадцатого года, незадолго до его кончины, в Калише, где стояла главная квартира российской армии.

Денис Васильевич находился тогда в самом отчаянном положении. Барон Винценгероде отстранил его от должности и отдал под суд за самовольное занятие Дрездена. Вся надежда была на Кутузова, он один мог спасти от предстоящего позора, но как к нему проникнуть? Здоровье Михаила Илларионовича заметно слабело, он почти не вставал с постели, приемы были строго ограничены. И все же, узнав от генерала Коновницына о приключившемся с Давыдовым несчастье, Кутузов сам велел тотчас же разыскать его, пригласить к себе.

– Садись сюда, голубчик, – произнес тихим голосом фельдмаршал, указывая Давыдову на стоявшее близ кровати кресло. – Да расскажи поподробней про свою историю…

В правдивости того, о чем рассказал Давыдов, фельдмаршал ничуть не усомнился. Ему не раз приходилось наблюдать подобные явления. Большая часть иностранных генералов, находившихс.я на русской службе, заботилась не о славе русского оружия, а о личных выгодах. Барон Винценгероде предполагал представить занятие Дрездена как блестящую свою победу над неприятелем, надеясь при этом на великие и богатые царские щедроты. А смелый налет Давыдова на саксонскую столицу разрушил все замыслы барона. Причина озлобления на храброго

офицера была совершенно очевидна.

– Ты в каких силах был, когда задумал овладеть Дрезденом? – спросил фельдмаршал.

– Мой сборный отряд состоял из пятисот пятидесяти гусар и казаков, ваша светлость, – ответил Давыдов. – Кроме того, действовавший против неприятеля в соседстве со мною флигель-адъютант Михаил Орлов усилил меня двумя сотнями донцов.

Посеревшее от недуга, покрытое морщинами крупное лицо Кутузова осветилось неожиданной доброй улыбкой.

– Стало быть, по-суворовски воевал: не числом, а умением… Молодец! – похвалил он. – Ну, а барона мы вразумим, наших удальцов судить не позволим, того не опасайся…

Воспоминания растрогали Дениса Васильевича. Да, пока жив был Кутузов, каждый русский офицер, каждый воин мог найти у него поддержку в правом деле. Людям сухой души и тяжкого рассудка не давалась такая воля, как теперь! Да, при нем все было в войсках родимых иначе, лучше.

И многие посетители Казанского собора видели в тот день, как по смуглому лицу молодого генерала, стоявшего у гробницы великого полководца, медленно катились скупые, непрошеные слезы.

* * *

Декабрь выдался мягкий, снежный. Дни мелькали в столичной сутолоке незаметно. Дениса Васильевича не покидало хорошее настроение.

Аренда была получена без особых трудностей. Вещи и свадебные сувениры по списку, старательно составленному сестрой Сашенькой, приобретены, упакованы. Все необходимые визиты сделаны[47].

Денис Васильевич побывал на приеме у царя, чтоб поблагодарить за аренду. Не раз виделся с Закревским и Киселевым, навестил старых друзей Тургенева и Жуковского и недавно приехавшего из Парижа Михаилу Орлова.

Особенно приятны были посещения шумных и веселых собраний арзамасцев. Дениса Васильевича членом литературного общества «Арзамас» избрали заочно еще в прошлом году, и теперь, пользуясь случаем, он выступил здесь с требованием нелицеприятной критики литературных произведений.

– Может ли кто-нибудь из нас огорчиться дружескою критикой? – говорил Давыдов. – Он узнает, что написал дурные стихи, но вместе увидит и то, что имеет истинных

чистосердечных друзей, может быть, и от них же самих получит беспристрастное уверение, что может сделать лучше. Но зато как же неоцененна будет для него похвала их, в которой не увидит он никакой скрытности, никакого пристрастия: он предастся тогда свободно своей радости, ибо для каждого из нас, признаемся искренно, друзья мои, для каждого из нас не может быть ничего приятнее такого приговора.

Итак, с делами было покончено, можно собираться в обратный путь, и по мере того как день отъезда приближался, Денис Васильевич становился все нетерпеливей, милый образ вставал перед ним все чаще, серые, близорукие, чуть прищуренные глаза, чудилось, смотрят на него с укоризной.

25 декабря, на первый день рождества, когда все уже было готово к отъезду, он отправился проститься с Жуковским.

Год назад Василия Андреевича назначили на должность чтеца вдовствующей императрицы Марии Федоровны; он получал четырехтысячный годовой пансион, жил в дворцовой просторной квартире. Там всегда стояла удивительная тишина. Ковры, устилавшие комнаты, и тяжелые бархатные портьеры на дверях скрадывали звуки. Печи дышали жаром. Воздух был пропитан какими-то особыми дворцовыми благовониями.

Оставаясь холостяком, Жуковский большую часть дня проводил у себя, ходил в халате и в мягких сафьяновых туфлях, располневший, обленившийся.

– Ох, боюсь, Василий Андреевич, как бы из независимого философа ты не превратился в раба фортуны, – переступив порог уютно обставленного кабинета и обнимая старого приятеля, сказал шутя Денис Васильевич.

Жуковский посмотрел на него печальными глазами.

– Не беспокойся, мой друг, фортуна не так милостива ко мне, как может показаться… – И, чуть склонив голову, доверчиво понизил голос: – Вся эта вещественность и мишура ничто, когда не находят отклика чувства и перестает ласкать надежда на счастье…

Давыдов, уже знавший, что недавно оборвался долголетний роман Жуковского с нежно любимой племянницей, попробовал его ободрить:

– Полно, Василий Андреевич… В нашем возрасте, еще можно рассчитывать на бальзам для сердечных ран.

– Нет, милый Денис, – с легким вздохом сказал Жуковский, – я знаю себя, свою натуру. Роман моей жизни окончился.

Прошли, прошли вы, дни очарованья!
Подобных вам уж сердцу не нажить!

Жуковский смолк, дотронулся до широкого чистого лба, словно что-то стараясь припомнить, и, вдруг бросив взгляд на гостя, кротко улыбнулся.

– Впрочем, что же я тебе настроение порчу? Пойдем-ка займемся праздничным пирогом, да расскажи подробней про свою невесту… Поди, соскучился уже по ней?

– Как не соскучиться! В разлуке почти два месяца, сам посуди…

Разговаривая, перешли в столовую, где был празднично накрыт и уставлен винами и закусками небольшой круглый стол. Старый дядька Жуковского, толстенький, важный и медлительный Архипыч, внес только что вынутую из печи пышную, с румяной, глянцевитой корочкой кулебяку. Жуковский взял хрустальный графинчик с водкой, наполнил рюмки.

– Да, что ни говори, – задумчиво произнес он, – а нет для нас бесценней дара, нежели добрая семья, где ты любим и где ты любишь, где мыслишь, отдыхаешь и творишь… За твое будущее семейное счастье, Денис!

Они чокнулись, выпили. Но завязавшаяся дружеская беседа с глазу на глаз продолжалась недолго. Вошел опять Архипыч, чтр-то шепнул на ухо Жуковскому.

– Ну?! – удивился и обрадовался Василий Андреевич. – Так что же ты мне докладываешь? Проси, проси скорей сюда… Экий ты увалень, право! – И, поднявшись из-за стола, глядя потеплевшими глазами на Давыдова, спросил: – Угадай, кто пожаловал?

– Готов думать, что достопочтенный наш приятель, его превосходительство Александр Иванович Тургенев.

– Э нет, милый друг, не угадал!.. Вот кто!

На пороге, приподняв портьеру, остановился, видимо чуть-чуть смущенный присутствием незнакомого генерала, юноша невысокого роста, курчавый и быстроглазый, в синем лицейском мундирчике с красным стоячим воротничком и красными же обшлагами.

– Пушкин! Саша Пушкин! – догадавшись, громко сказал Денис Васильевич и, позванивая шпорами, направился к юноше, находившемуся уже в объятиях Жуковского.

– Ты когда же из лицея? Как добрался? Надолго ли? – забрасывал юношу вопросами Василий Андреевич.

– Батюшка вчера на рождественские вакации взял, – отвечал Пушкин, а сам, оправившись от смущения, пристально, с нескрываемым любопытством глядел на шедшего к нему с

распростертыми руками маленького, заросшего волосами генерала.

– Дай же и мне обнять тебя, душа моя, – произнес Давыдов. – Ты-то меня не знаешь, а я…

– Знаю, знаю, я таким вас и представлял, Денис Васильевич, – живо и радостно откликнулся Пушкин и, ничуть не церемонясь, доверчиво к нему потянулся.

Они по-родственному обнялись, расцеловались.

– Мне дядя Василий Львович и Вяземский вас хорошо обрисовали, – продолжал Пушкин. – И среди гусар в Царском Селе много ваших знакомых… Николай Раевский, Чаадаев про вас часто рассказывают…

Жуковский, вмешавшись в разговор, добавил:

– А рассказы гусар о твоих партизанских подвигах Александра на стихи даже вдохновили.

Пушкин недовольно покосился на Василия Андреевича. Стихи о наездниках-партизанах в самом деле были начаты, но они еще не закончены, многое требовало переделки, читать их никак не хотелось. Однако Денис Васильевич так настойчиво упрашивал, что не хватило духу отказаться. Чего доброго, заподозрят в жеманстве, а этого Пушкин терпеть не мог! Он выпил бокал вина и без особого настроения начал:

Уж полем всадники спешат,
Дубравы кров покинув зыбкий,
Коней ласкают и смирят
И с гордой шепчутся улыбкой;
Сердца их радостью горят,
Огнем пылают гневны очи;
Лишь ты, воинственный поэт,
Уныл, как сумрак полуночи,
И бледен, как осенний свет…

Прочитав еще несколько строк, Пушкин приостановился, наморщил лоб.

– Нет, дальше не помню… и, право, все это не более как черновой набросок…

Жуковский, подперев голову руками, сидел, о чем-то задумавшись. Давыдов, видимо польщенный стихами, крутил черный ус и благодушно улыбался.

Пушкин скользнул по ним быстрым взглядом, и какая-то озорная мысль внезапно оживила смуглое его лицо.

– Я прочитаю другие стихи… Слушайте!

По-мальчишески резво, со смехом он вскочил на стул,

тряхнул курчавой головой. И вдруг звонкие строки залетного давыдовского гусарского послания взорвали устоявшуюся тишину дворцовых апартаментов:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога и… арака
Посети домишко мой…

Денис Васильевич знал, что его нигде не печатавшаяся гусарщина давно в тысячах списков расходится по всей стране, знал, что эти стихи известны и в лицее, но все же неожиданное пылкое выступление Пушкина удивило и взволновало. Слушая выразительную декламацию, он чувствовал, что Пушкин не просто хорошо изучил стихи, а впитал их в себя, ему, видимо, по душе пришелся чуждый обычных поэтических условностей слог, каким стихи были написаны. Та же особенная восторженность, с какой стихи читались, свидетельствовала, как прельщала и манила Пушкина гусарская жизнь. Денису Васильевичу этот юноша становился все милей и ближе…

Жуковский, напротив, поведением Александра был недоволен. Ну, пристойно ли воспитанному юноше забираться без всякого стеснения на стулья и устраивать в дворцовой квартире какую-то казарму? А к тому же благонамеренного и тишайшего автора сладкозвучных и нежных стихов всегда коробил простонародный, казавшийся грубым и развязным язык давыдовской гусарщины. Василий Андреевич тихонько подошел к двери и незаметно сдвинул плотней тяжелые портьеры, на всякий случай…

А Пушкин, разгоряченный вином и стихами, явно расшаливался. Соскочив со стула, без всякой учтивости бросился на шею к Давыдову, объявил:

– Денис Васильевич, я иду в гусары! Это решено! Примите меня под свою команду!

– За мною дело не станет, дружок, но что скажут почтенные твои родители? – сдержанно ответил Давыдов. – Лицей, кажется, готовит вас не для военной службы…

– Что за ветреность такая, Александр? – сердитым тоном произнес Жуковский. – Не ты ли сам утверждал недавно, что служение музам предпочитаешь всякому иному занятию и навсегда останешься поэтом?

– А разве нельзя служить музам и вместе с тем быть гусаром? – задористо возразил Пушкин. – Вот вам первый пример – Денис Васильевич… А наш русский Буфлер – поэт и гусар

Батюшков?

Довод был более чем убедителен, но Жуковский сдаваться не хотел.

– Не забудь, однако ж, и про Федора Глинку, – намекнул он, зная, как неодобрительно относится Александр к стихам этого офицера.

Пушкин, не раздумывая, легко и весело ответил неожиданным экспромтом:

> … Я шлюсь на русскою Буфлера
> И на Дениса-храбреца,
> Но не на Глинку офицера,
> Довольно плоского певца,
> Не нужно мне его примера…

Давыдов громко рассмеялся. Что за дьявольский талант у этого бесенка!

На губах Жуковского тоже появилась невольная улыбка, но сейчас же и угасла. Василий Андреевич любил Пушкина, видел в нем надежду российской поэзии, именно поэтому испытывал в последнее время большое беспокойство за поведение Александра.

Сегодняшние шалости сами по себе были вполне извинительны, но они находились в прямой связи с другими, более серьезными и опасными. Вероятно, под влиянием вольнолюбивых царскосельских гусар слишком быстро зрели у Александра враждебные существующему порядку мысли и стремления. Совсем недавно произошел такой случай. Сестра государя выходила замуж за принца Вильгельма Оранского. Старику поэту Нелединскому поручили в честь этого торжества сочинить куплеты, но он не справился и по совету Карамзина обратился к Пушкину. Польщенный просьбой известного поэта, Александр пишет куплеты, их кладут на музыку, с успехом исполняют во дворце. Императрица посылает в награду автору золотые часы. И что же? Александр, не желая иметь царского подарка, саркастически усмехается и демонстративно разбивает часы о каблук сапога. Хорошо, что удалось кое-как замять историю, однако можно ли после этого оставаться спокойным за дальнейшую судьбу молодого поэта?

Василий Андреевич, будучи уверен в том, что Давыдов несомненно осудит подобный поступок и, может быть, они вместе хоть немного урезонят Александра, рассказал про этот случай.

Денис Васильевич встревожился:

– Как же так, Саша? Можно ли быть столь неблагоразумным? Если государь об этом узнал бы… Подумай-ка, чем такие вещи

кончаются?

Пушкин стоял с опущенной головой, грыз по привычке ногти, неровно и прерывисто дышал.

Жуковский назидательно заметил:

– Ну что? Разве я не то же самое говорил тебе, Александр? Ты еще молод, чтоб осуждать веками установленные порядки и позволять себе якобинские выходки…

Пушкин приподнял голову. Его лицо странно изменилось, словно осунулось. В потемневших глазах какой-то холодный режущий блеск, и губы слегка дрожат. А голос тверд и решителен:

– Я ненавижу деспотизм и рабство. Я не рожден забавлять царей… Я стыжусь лишь того, что написал придворные куплеты… Но это более никогда, никогда не повторится!

И, круто повернувшись, он быстро вышел из комнаты.

VIII

Нет, фортуна не собиралась покровительствовать Денису Васильевичу. Она нарочно обласкала его радужными надеждами, чтобы тем сильнее и чувствительнее был удар, который с необыкновенным коварством ею подготовлялся.

В Киев возвратился Давыдов 3 января 1817 года. Как и в прошлом году, первым встретил его Базиль. Однако на этот раз обычно открытое и оживленное лицо Базиля выражало явную растерянность, он почему-то смущался, отводил глаза в сторону.

Денис Васильевич сразу заподозрил недоброе.

– Что случилось, брат Василий? – спросил он, когда они вдвоем остались в кабинете.

Базиль ответил невнятно, сбивчиво:

– Не хочется говорить, Денис… Но ничего не поделаешь, тебе надо пережить это… Елизавета Антоновна отказалась…

– То есть?.. Лиза отказалась… выйти за меня? – с трудом произнес Денис Васильевич, чувствуя, как бешено заколотилось сердце и волна горячей крови прихлынула к вискам.

Базиль взял его руку, сочувственно пожал.

– Ты все же не очень расстраивайся… Может быть, оно даже к лучшему, что ее легкомыслие обнаружилось сейчас, а не позднее.

– Какое легкомыслие? – прохрипел Денис. – Говори прямо. Я солдат, выдержу, не бойся!..

– Я в том смысле сказал… если она могла так быстро изменить свои чувства…

– Ну? И кто же мне предпочтен?

– Князь Петр Алексеевич Голицын.

– Как! Этот бонвиван? Ведь его из гвардии выписали за грязные делишки и живет он как будто лишь на карты да на долги…

– Генерал Злотницкий к брату Николаю Николаевичу объясняться приходил. Сказывал, будто все ее родные против Голицына, но она и слышать более ни о ком не желает.

– Да, если так, уж тут ничего не поделаешь, – взлохмачивая густые волосы, отозвался чужим голосом Денис Васильевич и попросил: – Дай мне, брат, побыть одному, разобраться..

Закрывшись в кабинете, он бросился на диван, погрузился в тяжелые размышления.

Почему же так получается? В позапрошлом году, правда при других условиях, Саша Иванова предпочла ему балетмейстера, а теперь Лиза влюбляется в этого князька. Чем сумели покорить девиц эти молодцы? Если б они были богаты, выделялись умом, знаниями, а то ведь ровно ничего такого… В голове вертелось много доводов, но все они были слишком поверхностны, чтобы удовлетвориться ими. В глубине сознания зрело горькое, зато верное объяснение. Счастливые соперники обладали привлекательной наружностью, были красивы, а он, Денис Давыдов, этими качествами, необходимыми для успеха у женщин, похвалиться не мог. Ему припомнилось, как однажды, гуляя с Лизой по киевским улицам, они повстречались с этим Голицыным, только что переведенным сюда из столицы. Высокий, стройный красавец, поравнявшись с ними и отдавая честь Давыдову, как старшему в чине, окинул их чуть ироническим, недоумевающим взглядом. В то время Денис Васильевич, занятый беседой с любимой девушкой, не обратил на это особого внимания, но теперь, вспоминая об этом, догадался, что означал тот взгляд. Да, это, несомненно, был взгляд избалованного легкими победами у женщин самоуверенного наглеца, взгляд, выражавший недоумение и сожаление по поводу того, что маленький некрасивый генерал подцепил красавицу.

Денис Васильевич почувствовал прилив бешенства, вскочил с дивана. Вызвать на дуэль, к барьеру! Однако, несколько остыв, от дуэльных мыслей отказался. В положении отвергнутого жениха самое лучшее держаться спокойно, не возбуждать лишних толков!

Денис Васильевич закурил трубку, наморщил лоб. Да, хочешь не хочешь, придется затаить и сердечную боль, и обиду, и ревность, постараться в шутливом тоне объяснить друзьям и знакомым разрыв со Злотницкой. А пожалованную по случаю предстоящей женитьбы аренду надо немедленно возвратить. Но что же написать государю? Тут опять нужно было подавлять самолюбие.

Денис Васильевич знал, что благодаря гусарским стихам в широких кругах за ним прочно установилась репутация лихого и бесшабашного гуляки, не склонного к семейной жизни, а поэтому известие о предстоящей его женитьбе многими было воспринято с недоверием.

Царь Александр Павлович тоже не очень-то верил. Об этом свидетельствовало письмо Волконского, сообщавшего, что аренда будет пожалована лишь «по событии ваших предположений». Но и после помолвки, подписав рескрипт об аренде, царь все-таки продолжал сомневаться.

Приняв Давыдова в Петербурге и выслушав слова благодарности, он, глядя на него в лорнет долгим, оценивающим взглядом, произнес с улыбкой:

– Стало быть, тебя в самом деле не страшат узы Гименея?

– Напротив, ваше величество, я с радостью связываю себя ими.

– И она, говорят, прелестна?

– Можем ли мы судить о достоинствах той, которую избирает наше сердце, государь?

– Прекрасно! И ты надеешься, что она составит твое счастье?

– Вполне уверен, государь!

Денис Васильевич уловил в голосе царя и нотки сомнения и какую-то скрытую иронию, но не обиделся. Сам-то он в предстоящей женитьбе не сомневался, какое ему дело до того, верят или не верят в нее другие!

Теперь же, когда помолвка была расторгнута и причины неудачи выяснены, разговор с царем представлялся совершенно в ином свете.

В оценивающем царском взгляде стояло почти то же самое выражение иронического недоумения, что и во взгляде Голицына. Царь, конечно, сомневался не столько в том, что он, Давыдов, решил изменить образ жизни и жениться, сколько в том, что за него шла, его могла полюбить молодая очаровательная девушка. И, оказалось, он был прав! И Денис Васильевич должен сам писать, что отвергнут невестой. О том, какое впечатление произведет его письмо во дворце, нетрудно было догадаться. «Я так и думал, господа, – не скрывая удовольствия, скажет царь окружающим лицам, – что предполагаемая женитьба Дениса Давыдова не осуществится… Ну, с какой стати, в самом деле, молодой очаровательной девушке связывать жизнь с таким невзрачным, ничем не примечательным мужчиной… Она посмеялась над ним – и прогнала!»

Унизительная сцена представилась с поразительной ясностью. Денис Васильевич схватился за голову, глухо застонал.

Горько, горько! Но что же делать?! Базиль прав, нужно пройти и через это! Отказ от аренды с объяснением причин на другой день был государю отправлен.

Вяземскому в письме среди других бытовых и служебных новостей, как бы между прочим, вставил он всего две неискренние строчки:

«… Что тебе про себя сказать? Я чуть-чуть не женился. Бог спас! И я теперь счастливее, нежели когда-нибудь был…»

В стихотворении же, посвященном неверной, он попытался объяснить свое положение в более шутливой манере:

Неужто думаете вы,
Что я слезами обливаюсь,
Как бешеный кричу: увы!
И от измены изменяюсь?
Я – тот же атеист в любви,
Как был и буду, уверяю;
И чем рвать волосы свои,
Я ваши – к вам же отсылаю.
А чтоб впоследствии не быть
Перед наследником в ответе,
Все ваши клятвы век *любить* —
Ему послал по эстафете.
Простите! Право, виноват!
Но если б знали, как я рад
Моей отставке благодатной!
Теперь спокойно ночи сплю,
Спокойно ем, спокойно пью
И посреди собратьи ратной
Вновь славу и вино пою.
Чем чахнуть от любви унылой,
Ах, что здоровей может быть,
Как подписать отставку милой
Или отставку получить!

Так укрывал он от посторонних глаз жестокую обиду и тяжелую тоску, давившие сердце.

Милый образ изменницы мучил его долго, сильно… Ночами, когда обострялась душевная боль и чувствительней всего бывало одиночество, он зажигал свечу, хватался за перо, И тогда рождались совсем иные поэтические строки:

… Я одинок, – как цвет степей,
Когда колеблемый грозой освирепелой,

Он клонится к земле главой осиротелой
И блекнет средь цветущих дней!
О боги, мне ль сносить измену надлежало!
Как я любил!.. – В те красные лета,
Когда к рассеянью все сердце увлекало,
Везде одна мечта,
Одно желание меня одушевляло,
Все чувство бытия лишь ей принадлежало!

В Киеве опять шумели и звенели веселые контракты, по-прежнему собиралась вечерами молодежь танцевать у Раевских, но Денису Васильевичу было не до развлечений.

Мысли постепенно сосредоточивались на другом. Надо служить, взяться по-настоящему за работу над военными сочинениями, привести в порядок вчерне готовую рукопись «Опыт партизанской войны». Вот что даст забвение!

Денис Васильевич заторопился в свою дивизию, решив, однако ж, заехать сначала домой повидаться, с Сашенькой и Левушкой.

Мягкий, душевно отзывчивый Базиль, с которым так сроднился в последнее время, ехал вместе с ним. Базиль, произведенный в подполковники, переводился по собственной просьбе в Александрийский гусарский полк, входивший в состав бригады, которой командовал Денис Васильевич.

И вот спустя несколько дней, побывав в Москве, они катят на перекладных по старой Смоленской дороге. Погода морозная, солнечная, тихая. Искрится алмазами выпавший ночью легкий снежок. Привычной ровной рысью бегут лошади; поскрипывая полозьями, плавно скользит возок,

Базиль дремлет, уткнув лицо в широкий бобровый воротник. Денис Васильевич, приоткрыв дверцу, с любопытством глядит на проплывающие мимо заснеженные леса, поля и селения. Не прошло полных пяти лет, как он партизанил в этих местах. Здесь все тогда дышало опустошительной войной, дым пожарищ заволакивал небо, на месте иных деревень виднелись груды почерневших камней и кирпичей, всюду были разбросаны поломанные орудия, фуры, телеги и трупы в синих, чужеземных мундирах, над которыми с беспокойным карканьем носились вороньи стаи. А сейчас ничто здесь о том времени не напоминало; в заново отстроенных селениях текла обычная мирная жизнь; струился легкий дымок из новых кирпичных труб, у оледенелых колодцев стояли и судачили бабы с ведрами, ребятишки шумно катались на салазках, и вряд ли кто-нибудь

знал и вспоминал, что освобождению этих мест от чужеземцев помогал и он, Денис Давыдов.

Неожиданно внимание его привлекла показавшаяся несколько в стороне от дороги господская усадьба, полускрытая мелким березовым лесочком. Что-то знакомое было в архитектурных очертаниях строений. Или ему так показалось?

, – Эй, любезный! – крикнул он ямщику. – Не знаешь, чье поместье вон там, за березнячком?

Ямщик придержал лошадей, повернулся. В покрасневших слезящихся от холодного ветра глазах будто мелькнула какая-то смешинка.

– Как не знать, коли сам я из соседней деревни, – ответил он. – Поротый барин тут хозяйствует.

– Как фамилия-то? – не разобрав фразы, переспросил Давыдов.

– Фамилия-то ему будет Масленников, а народ поротым барином прозывает, – охотно пояснил ямщик. – Как война была, он, вишь ты, с хранцами снюхался, а казаки наехали и постегали его малость…

«Вот оно что! – подумал Денис Васильевич. – Значит, Масленникову удалось избежать суда и он по-прежнему благоденствует… Любопытно бы сейчас завернуть к нему, посмотреть!»

Но мысль посетить поротого барина была мимолетной, она тут же и погасла. Стоит ли связываться с негодяем!

Денис Васильевич закрыл дверцу возка, запахнул шубу. Ямщик взмахнул кнутом, присвистнул:

– Эй вы, залетные!

Кони рванулись и понеслись, взметая снежную пыль. Знакомая усадьба скрылась.

А если б он все-таки туда заехал?

Масленников чувствовал созданную позорной экзекуцией двусмысленность своего положения. Судейские чиновники начатое следствие об измене за известную мзду прекратили, но отношения с окрестными помещиками и в особенности с крестьянами сделались необычайно сложными.

Помещики не считали возможным продолжать знакомство с человеком, составившим себе столь незавидную репутацию. Крестьяне перестали выказывать былую почтительность и покорность перед высеченным на их глазах барином, не скрывая при встрече с ним насмешливых взглядов.

Масленников жил в деревне безвыездно и одиноко. Он был вдов, сын служил в гвардии, дочь воспитывалась в одном из столичных пансионов. До войны алчный и жестокий Масленников

лично управлял имением, выматывая из крестьян все силы, и не расставался с плетью, пуская ее в ход при всяком случае. Теперь от подобных методов волей-неволей пришлось отказаться. Крестьян нельзя раздражать, они могли позволить какое-нибудь самоуправство, а хуже того, могли возбудить снова дело об измене помещика, и кто знает, чем бы это кончилось?

Более других внушали опасение возвратившиеся домой ратники ополчения и партизаны. Они постоянно собирались вместе, о чем-то толковали, а коноводом у них по-прежнему был Терентий. При одном упоминании этого имени неутолимая злоба жгла сердце поротого барина, хорошо знавшего, кто сделал на него донос, привел в усадьбу казаков. Но страх, этот вечный спутник изменников и предателей, был сильнее злобы. Попробуйка тронуть ненавистного Терешку, тогда жди опять в гости Дениса Давыдова!

Масленников передал управление имением в руки бурмистра и приказчиков, а сам стал незаметно, осторожно действовать за их спинами, стараясь как можно реже встречаться с крестьянами.

Бывших партизан постепенно разъединили. Одних переселили в саратовскую захолустную господскую деревушку, других отпустили на оброчные работы.

А с Терентием у бурмистра разговор был особый.

– Барин приказал подправить усадебные постройки, – заявил бурмистр. – Мы тебя пока на месячину переведем, как всех дворовых, а там видно будет…

У Терентия захолонуло сердце. Безобидное на первый взгляд распоряжение ставило его в значительно худшие условия. Будучи превосходным штукатуром, маляром, мастером на все руки, находясь на оброке, он имел неплохие заработки, семья содержалась без нужды и горя. Превращение в дворового человека, по сути дела, лишало всяких заработков, он получал за работу только хлеб из барского амбара.

– Я бы вдвое против прежнего платить стал, кабы на оброке оставили, – попробовал предложить Терентий.

Бурмистр слушать не захотел.

– Того и в голове не держи, пока господских дел не справишь…

Терентий принялся за работу. Теплилась надежда: авось закончу здесь, и отпустят! В умелых руках дело спорилось. Как-то раз бурмистр не удержался от похвалы:

– Эка, брат, наградил тебя господь талантом!

Терентий вытер рукавом рубахи пот со лба, напомнил:

– Прошения моего насчет оброку не запамятуйте…

Бурмистр, разглаживая бородку, буркнул невнятное:

– Старайся, старайся! Нечего прежде времени…

Но старания оказались напрасными. Кончилась одна работа, подвалили другую. Время шло. Семья беднела, нищала. Просвета не было. Терентий понял, что попал в ловушку.

Поротый барин не делал ничего такого, что давало бы повод говорить о том, будто он мстит бывшему партизану за свой позор. Терентию не на что было жаловаться. Его не подвергали телесным наказаниям, не заставляли даже чрезмерно работать. Барин перевел из оброчных в дворовые? Но ведь это его законное господское право. Никто не посмеет заступиться за крепостного человека, если действия господина не выходят за рамки определенных законом отношений с крепостными. А в этих рамках умещались тысячи всяких способов и возможностей для бесчеловечных, издевательских поступков господ.

Терентий не знал, какая еще гроза прогремит над ним, но чувствовал, что ее следует ожидать. И не обманулся.

Император Александр, возвратившись из-за границы, загорелся желанием устроить в стране хорошие дороги. Вся тяжесть этого дела пала на крепостное крестьянство. Сотни тысяч мужиков и баб были вынуждены взяться за изнурительный и бесплатный труд. При любой погоде, в жару, в дождь, в холод, полуголодные, нищенски одетые люди надрывались на земляных работах. Спали в придорожных канавах и шалашах, повально болели цингой и лихорадкой.

Всесильный Аракчеев приказывал губернаторам не щадить усилий для исполнения царского замысла. Полиция нагайками выгоняла народ из сел и деревень.

Всюду слышался ропот и распевались полные гнева и ненависти забористые частушки:

Аракчеев дворянин,
Аракчеев сукин сын
Всю Россию разорил,
Все дорожки перерыл…

Осенью шестнадцатого года Масленников тоже получил предписание о высылке людей на строительство дорог.

Крепкие мужские руки требовались для господских дел, поэтому партия отправляемых составлялась главным образом из стариков и женщин. Поротый барин, разумеется, припомнил при этом ненавистных людей, их родные были назначены на дорожную повинность прежде всех. Хворая жена Терентия не избежала этой участи.

А погода стояла ненастная, дули северные ветры, не

прекращались обложные холодные дожди. Деревня глухо волновалась:

– Что же это, братцы, творят над нами?

– Каково в такую непогодь на дорогах-то?

– С бела света во сыру могилу нас сгоняют…

Но что же могли сделать крепостные? Дорожная повинность была введена царским правительством. Недавно один из губернаторов по случаю неурожая освободил от работы на дорогах несколько голодающих селений. Император, узнав об этом, распоряжение губернатора отменил и сказал сердито:

– Что они дома сосут, то могут сосать и на больших дорогах…

Жестокость не каралась, а поощрялась. Масленников знал об этом. Когда мужики пришли покорно просить, чтобы задержал до погоды отправку на дороги, поротый барин, ехидно сощурив белесые глазки и не скрывая торжествующего злорадства, отказал решительно:

– Думать о том не смейте! Не для меня, а для нашего дорогого отечества и государя императора трудиться будете!

Вскоре после этого страшное горе обрушилось на Терентия. Жена застудилась на дорогах и умерла, а зимой от занесенного в деревню дифтерита погибло двое детей.

Терентием овладело мрачное отчаяние. Все опостылело, работа валилась из рук, мысли были безрадостны. Он, не щадя жизни, защищал родину, втайне, подобно другим, мечтая о лучшей доле после изгнания чужеземцев, и вот как складывалась жизнь!

Он находился в полной власти негодяя помещика, тот творил над ним что хотел, и никто не мог изменить этого установленного царскими законами жестокого порядка.

Терентию припомнились встречи с Денисом Давыдовым, и, может быть, иногда пробуждалось желание повидаться с ним, рассказать про свою несчастную судьбу. Но где же его разыщешь? Да и будет ли толк от такого свидания? Терентий, во всяком случае, никаких планов на этот счет не строил.

Между тем Масленников как раз более всего и опасался, чтоб Терентий снова каким-нибудь образом не связался с Денисом Давыдовым. Теперь Терентий лишился семьи, следовательно, никакой привязанности у него здесь не стало, приходилось особенно зорко следить за ним.

Масленников строго-настрого приказал бурмистру не спускать глаз с бывшего партизана и о всех замеченных за ним подозрительностях доносить незамедлительно. Бурмистр якобы на время поставил на квартиру к Терентию недавно прибывшего из саратовской деревни приказчика Гришку Цыгана. Но и эти

меры показались недостаточными.

По соседству с Терентием жила солдатская вдова Фроська, разбитная, распутная бабенка, промышлявшая шинкарством, и знахарством, и чем бог пошлет. Масленников на грешки вдовы смотрел сквозь пальцы. Она знала все деревенские новости и не брезгала иной раз наушничать барину на односельчан, за что дважды ими была бита.

Масленников задумал женить на ней Терентия, полагая, что ловкая баба сумеет его взять в руки и никуда от себя не отпустит.

Бурмистр объявил господскую волю. Фроська с радостью согласилась. Терентий наотрез отказался.

Масленников велел привести ослушника, вышел к нему грозный.

– Ты почему не хочешь жениться, воле моей противничаешь?

Терентий поднял голову, тяжелый ненавидящий взгляд обжег барина.

– На этакое дело нужна моя воля, а не ваша…

Круглое, болезненно припухшее лицо Масленникова мгновенно покрылось темными пятнами. Он вскипел, забыл всякую осторожность:

– Что? Ты с кем говоришь, сукин сын? Я тебе покажу!.. Я тебя научу, бунтовщик проклятый!.. В Сибири сгною!

Терентий слушал господскую брань молча, стоял словно окаменелый, сузившиеся глаза были неподвижны, и только еле приметно дрожали побелевшие губы.

Масленникова это не предвещавшее ничего доброго спокойствие быстро отрезвило. Вспомнил, что подливает масла в огонь! Вытер платком вспотевшую шею, переменил тон:

– Ну, ступай да хорошенько подумай… О тебе же забочусь.

Терентий, ничего более не сказав, ушел.

А на следующее утро прибежала в барскую усадьбу Фроська с известием, что ее объявленный жених ночью скрылся неизвестно куда, предварительно напоив вином до потери сознания приставленного к нему приказчика Гришку Цыгана.

В усадьбе поднялся переполох. Масленников неистовствовал. Сгоряча огрел плетью Фроську, выбил зубы у бурмистра. Гришку Цыгана повели на конюшню драть розгами. Посаженные на коней дворовые мужики поскакали по разным дорогам искать беглеца.

Но все это не успокоило поротого барина. Он долго еще в предчувствии недоброго метался по кабинету. Что-то будет, если доберется разбойник Терешка до грозного генерала Дениса Давыдова и сумеет его разжалобить? Ведь дело об измене замято не так уж крепко, Давыдов может сразу перечеркнуть все крючкотворные доводы подкупленных судейских чиновников.

Масленникова кидало в озноб от этих страшных мыслей. Он остановился у окна. Отсюда открывался прекрасный вид на окрестность, покрытую девственно чистым снежным покровом. За редким березнячком хорошо просматривалась большая дорога, а за нею начинались уходившие до самого горизонта непроглядные леса. Терентий лучше чем кто-нибудь знает все лесные тропы. Нечего думать, что дворовые мужики его найдут! А коли и найдут, так отпустят.

Масленников, злобно покусывая губы, перевел взгляд на дорогу. По ней мчалась почтовая тройка, заложенная в старинный господский возок. Слегка клубилась снежная пыль. Ямщик гнал лошадей, видимо стараясь угодить господам и получить на водку.

Масленников, конечно, не мог и догадываться, что это не кто иной, как сам грозный генерал спешил в свою дивизию.

IX

Служба в гусарской дивизии никакого удовлетворения Денису Васильевичу не доставила. Кипучая энергия не находила живого дела, куда бы ее можно было влить. Обязанности, заключавшиеся, по его ироническому замечанию, в том, чтобы как шорнику отвечать за ремешки и пряжечки и как берейтору за посадку гусар, вызывали отвращение.

Вяземскому он писал:

«… Если мы когда достойны сожаления, то, право, не в сражении, не в изнурительных походах, не в грязи бивуака, где чаще, нежели где-нибудь находили людей, которые нас понимают и чувствуют, но в так называемых непременных квартирах, то есть в совершенной ссылке. Каково положение провести лучшие дни своей жизни, в разоренной деревне, окруженной болотами и лесами, в обществе невоспитанных и тяжелых дураков, не умеющих о другом говооите, как о ремонтах, продовольствии и на казее претензии! Я тебя уверяю, что, не возьми я с собой книг несколько, пера, чернил и белой бумаги, я бы с ума сошел…»

Вторая гусарская дивизия, куда входили Ахтырский, Александрийский, Белорусский и Мариупольский полки, состояла, разумеется, не из одних дураков. В дивизии было немало и умных, превосходно образованных людей, живо интересовавшихся общественными и политическими делами. Новые веяния не обошли стороной гусар. Многие офицеры, особенно молодые, серьезно занимались самообразованием, пополняя свои военные знания, открыто возмущались аракчеевскими порядками, горячо обсуждали самые современные вопросы, мечтали о военных и гражданских преобразованиях.

Почему же Денис Васильевич не сблизился с этой гусарской средой?

Возможно, путь к сближению отчасти преграждался тем, что он сам после разрыва со Злотницкой, находясь в мизантропическом состоянии, избегал новых знакомств.

Базиль всячески старался развлекать его, но, к сожалению, побыл в дивизии недолго. Осложнилась болезнь, вызванная ранениями. Базиль взял долгосрочный отпуск, поехал лечиться в Карлсбад, а затем прочно осел в Каменке.

Однако, думается, главную причину общественной отчужденности Дениса Васильевича можно обнаружить в написанной им тогда «Песне старого гусара», вскоре снискавшей самую широкую известность.

Старый, коренной гусар, каким считал себя Денис Давыдов, не мог не заметить происшедших после Отечественной войны изменений в гусарской жизни, и то, что он заметил, ему не понравилось.

Воспетый им самим лихой рубака, ёра и забияка Бурцов представлялся как наилучший образец гусара. И возникавшие в памяти картины былого гусарского быта по-прежнему казались привлекательными.

На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, ташки у бедра,
И диваном – кипа сена.

Трубки черные в зубах;
Все безмолвны, дым гуляет
На закрученных висках
И усы перебегает.

Ни полслова… Дым столбом…
Ни полслова… Все мертвецки
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.

Но едва проглянет день,
Каждый по полю порхает;
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.

А нынешние гусары стали слишком важничать и умничать! Военный мундир для них, видимо, особой цены не имеет, многие

щеголяют на вечерах в штатской одежде, бесконечно спорят по каждому поводу или с глубокомысленным видом обсуждают книжонки военного теоретика генерала Жомини.

Старый, коренной гусар смотрит на молодых жоминистов недоумевающими глазами, закручивает холеный черно-бурый ус и саркастически усмехается:

А теперь что вижу? – Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Говорят: умней они…
Но что слышим от любого?
«Жомини да Жомини!»
А об водке – ни полслова![48]

Так или иначе, прослужив в дивизии более года, Денис Васильевич новыми, интересными для него знакомствами не обзавелся, зато славно потрудился на литературном поприще. Написал большую половину «Дневника партизанских поисков», подготовил для печати особенно им ценимую книгу «Опыт партизанской войны». Время, проведенное в глухой деревне, даром не пропало.

19 февраля 1818 года Дениса Давыдова назначили начальником штаба седьмого пехотного корпуса, стоявшего тогда близ Киева.

* * *

Николай Николаевич Раевский высаживал цветы на клумбы, разбитые в небольшом садике за домом, выходившим сюда широкими ступенями небольшой открытой веранды.

Был конец апреля, теплый, солнечный. В полотняной рубашке, с открытой, начавшей сильно седеть головой, с темными капельками пота на загорелом лице, Раевский ничем не отличался от простого селянина. Опустив цветочную рассаду в подготовленную лунку, Раевский левой рукой бережно поддерживал хрупкое растеньице за верхние листочки, а правой быстро и легко присыпал корешок взрыхленной землей.

Младшая, любимая дочь, двенадцатилетняя смуглая, черноглазая вострушка Машенька, помогала отцу, поливала высадки из детской лейки.

Тут же в палисаднике находилась и Софья Алексеевна. Она сидела на скамейке с вязаньем в руках, прислушиваясь к оживленному разговору, который вели стоявшие несколько в стороне старшие ее дочери Катенька, Елена и Соня с молодым красивым генералом. Крутой, без единой морщины лоб, светлые, немного выпуклые глаза и какая-то почти детская, застенчивая улыбка невольно располагали к генералу каждого. Большие черные глаза Катеньки Раевской не скрывали зарождавшегося нежного чувства.

Несколько месяцев назад этого генерала прислали из Петербурга в Киев на должность начальника штаба четвертого корпуса. Звали его Михаилом Федоровичем Орловым. И замечательным человеком был он не только по внешности.

Племянник екатерининского фаворита, превосходно образованный и разносторонне одаренный, Орлов служил в кавалергардах, а в 1813–1814 годах командовал, как и Денис Давыдов, отдельными отрядами авангардных войск. Император Александр взял его в свою свиту, поручил вести переговоры о капитуляции Парижа, после чего двадцатишестилетний Орлов был произведен в генералы.

Но царские милости Орлова не прельстили. Он открыто критиковал порочные привычки закоснелых феодалов и аракчеевские порядки в войсках, выступал с публичными вольнодумными речами, принял участие в составлении петиции царю от группы помещиков, считавших необходимой постепенную отмену крепостного права.

В наказание за это император Александр приказал отчислить Орлова из своей свиты, перевести в армию.

Представляясь Раевскому, как командиру корпуса, Михаил Федорович подробно поведал о причинах постигшей его опалы. Раевский, выслушав, пожал ему руку.

– Мне нет дела до того, что государь изволил прогневаться на вас, но ваши горячие, бескорыстные помыслы о благе отечества внушают мне самое глубокое уважение…

В семье Раевских опального молодого генерала приняли радушно, он всем пришелся по душе, и Софья Алексеевна втайне уже подумывала о том, какую прекрасную партию может составить себе Катенька.

Денис Васильевич, заехав проведать Раевских, сразу ощутил ту радостно-приподнятую и счастливую атмосферу, которая создается в дружных, согласных семьях появлением в доме нового, еще не успевшего раскрыть себя до конца, но безусловно интересного человека.

Дениса Васильевича встретили у Раевских, как обычно, по-

родственному.

– Давненько тебя не видели., мой милый, – ласково говорил Раевский, вытирая платком руки и присаживаясь на скамейку. – Я, признаться, ожидал тебя на зимние контракты, а потом и ожидать перестал… Ну, рассказывай, как живешь? Надолго ли к нам выбрался?

– Проездом, почтеннейший Николай Николаевич. Спешу в Балту по делам аренды, коя государем за мною оставлена…

Орлов, успевший расцеловаться со старым приятелем и стоявший рядом, заметил:

– Положим, друг Денис, быстро я тебя из Киева не выпущу, о том не помышляй!

– Нельзя, Михаила… Мне еще из Балты в Москву предстоит скакать. Сестра замуж выходить собралась.

– Да что вы говорите? – заинтересовалась Софья Алексеевна. – За кого же?

– За Бегичева Дмитрия Никитича, полковника Иркутского гусарского.

– Позволь, это же брат моего доброго друга Степана Бегичева! – подхватил Орлов. – Поздравляю, поздравляю! Люди они чудесные!

Беседа, завязавшаяся на темах домашних, вскоре приняла, однако, другое направление. В то время всюду особенно много говорили о военных поселениях, устройство которых новым тяжким бременем ложилось на крепостное крестьянство. Прежняя рекрутская повинность заменялась для поселенцев обязанностью поголовно нести военную службу. Вся их жизнь подчинялась суровой дисциплине, они не могли распоряжаться ни своим временем, ни своим трудом, не могли даже жениться без разрешения начальства. Поселенцев заставляли отказываться от старых обычаев, принуждали жить под барабан, брить бороды, напяливать ненавистные узкие мундиры. За малейшую провинность их по распоряжению Аракчеева, ведавшего военными поселениями, подвергали жестоким истязаниям, засекали шпицрутенами.

Раевский и Давыдов не скрывали своего возмущения устройством военных поселений. Орлов, побывавший недавно в новгородских поселениях, негодовал более всех. Разумеется, в присутствии девиц Михаил Федорович мыслей своих не заострял, но как только генералам удалось остаться после обеда одним, он стал высказываться более прямо и резко:

– Военные поселения – одна из самых гнусных затей самовластья. Это новый, самый худший вид рабства! Я не могу без содроганья вспоминать о тех несчастных, кои отданы под

власть Аракчеева.

– Можно представить, каково им живется. Аракчеев недаром пользуется в народе мрачной славой изверга, – отозвался Раевский. – Этот человек поистине является злым гением государя.

– Прошу прощенья, Николай Николаевич, – сдерживаясь, возразил Орлов, – однако ж, насколько мне известно, мысль о военных поселениях зародилась не у Аракчеева, а у государя… И когда в новгородских поселениях начались волнения, вызванные бесчеловечным отношением начальства, не кто иной, как государь Александр Павлович, посылая войска усмирять непокорных, изволил высказаться так: «От Петербурга до Чудова уложу дорогу трупами бунтующих, но военные поселения, как мною задуманы, так и будут». Военные поселения! Вот, господа, единственная царская награда русскому народу за беспримерный героизм двенадцатого года! – пылко воскликнул Орлов. – Угождая европейскому общественному мнению, царь дарует полякам конституцию, а наше отечество обрекается на рабство и невежество.

– Позвольте, Михаил Федорович, – перебивая, сказал Раевский, – а разве недавняя речь государя на открытии Варшавского сейма не подает надежд и нам на некоторые улучшения в государственном устройстве?

– Никаких надежд, ваше высокопревосходительство, – уверенным тоном ответил Орлов. – Я хорошо знаю лицемерный характер государя. Обещание распространить конституционные учреждения в других, вверенных его попечению странах, сделано для успокоения легковерных… Зато никто не поручится, что государь не переведет на поселение все наши армейские войска.

– Как? Всю армию? – возмутился Денис Давыдов. – Ну, это уж слишком. Ежели так случится… Слуга покорный! Дня одного в войсках не останусь!

– Не горячитесь прежде времени, господа, – с обычной невозмутимостью произнес Раевский. – Надо полагать, до этого дело не дойдет, и знаете, почему? – Николай Николаевич сделал паузу и улыбнулся. – Казнокрады не позволят… Нет, кроме шуток… Предполагалось, что содержание поселенцев будет обходиться казне дешевле, чем содержание регулярных войск, однако назначенные Аракчеевым поселенские начальники, отведав казенного пирога, оказались такими лакомками и хапугами, что в министерстве финансов схватились за голову.

– Случай небывалый! – рассмеялся Денис Давыдов. – Казнокрады и лихоимцы спасают нас от поселения! – И тут же, насупив густые брови, с легким вздохом добавил: – А все же

грустно наблюдать, господа, как аракчеевские порядки возрождаются и в родимых наших войсках, как ряды начальства все более пополняются бездарными аракчеевцами, а боевые командиры заменяются не нюхавшими пороха фрунтоманами, полагающими, что шпицрутены и розги лучшее средство для воспитания солдатской доблести…

– Все это верно, Денис, – заметил Орлов, ласково полуобняв старого приятеля, – а потому всем, кто желает видеть в русском воине не забитого палками раба, а разумного боевого товарища, тоже надлежит не сидеть в бездействии… Не правда ли?

Денис Васильевич смутился. Он хорошо знал о политических убеждениях Орлова, знал, что Михаил Федорович вместе с Дмитриевым-Мамоновым занимался организацией тайного общества; в Петербурге в позапрошлом году Орлов даже давал ему читать тайно изданные на французском языке «Краткие наставления русскому рыцарю». И тогда же Денис Васильевич откровенно Орлову признался, что считает его благородный замысел практически неосуществимым, следовательно, бесполезным, а если так, то он, Давыдов, входить в такое общество не намерен, опасаясь, что за бесполезное действие придется слишком долго томиться в бездействии под замком… Зачем же теперь Орлов как будто вновь поднимает этот вопрос, да еще в присутствии Раевского?

И на казавшийся каверзным орловский вопрос ответил также вопросом:

– Не понимаю, Михаила, что же мы в состоянии противопоставить аракчеевщине?

– Мне кажется, мы можем, например, усилить попечение о нижних чинах, заняться их просвещением…

– Помилуйте! Как это можно! Я не видел в штабе своего корпуса ни одного подобного предписания…

– А зачем их ожидать, мой друг, коли знаешь, что дело хорошее, – неожиданно вмешавшись в разговор, сказал спокойно Раевский. – Вот мы с Михаилом Федоровичем без всяких предписаний кое-что тут предприняли… Надеюсь, вы, – обратился он к Орлову, – познакомите Дениса Васильевича с нашими учреждениями?

Давыдов от необычных и нежданных этих слов совершенно растерялся.

А Орлов, глядя на старого генерала веселыми глазами, отрапортовал:

– Сочту наиприятнейшим своим долгом, ваше высокопревосходительство!

… Деревянный казарменного вида дом, куда Орлов привел

Дениса Давыдова, находился недалеко от корпусного штаба. Дом только что был отстроен, внутри не выветрился еще запах свежих стружек и краски.

Здесь, в чистых и светлых комнатах, сидели за столами мальчики разного возраста, но в одинаковых, солдатского покроя, форменных курточках с начищенными до блеска пуговицами. Это были солдатские дети, или кантонисты, как тогда их называли, собранные сюда Раевским и Орловым для обучения по особой системе. Занятия проводились без учителей. Кантонисты, разбитые на группы по десять – двенадцать человек, обучались сами, успевающие подтягивали отстающих. Наиболее способные выделялись как руководители групп. Главный наставник – молодой, белокурый и светлоглазый капитан давал лишь педагогические указания кантонистам-руководителям.

Денис Васильевич живо заинтересовался новой системой образования. Особенно понравилось ему, что ребята обладали хорошей военной выправкой и воспитывались явно в суворовском духе.

В одной из комнат, куда они зашли, проводился урок русского языка. Невысокий, худощавый кантонист, стоя у доски, наблюдал за товарищем, который старательно круглым почерком выводил мелом фразу: «Любовь к отечеству и ненависть к его врагам воспламеняют воина».

– А всем ли понятен смысл фразы, – спросил Денис Васильевич капитана-наставника, – или ребята лишь механически ее с доски переписывают?

– Мы прежде всего стараемся, чтоб ясен был смысл, – ответил капитан и, повернувшись к кантонистам, сидевшим за столами, спросил: – Кто может, ребята, объяснить, что такое отечество и кто его враги?

Тотчас же все ребята подняли руки. Сразу было видно, что вопрос никого не затрудняет.

– А знаете ли вы, ребята, – неожиданно для самого себя задал другой вопрос Давыдов, – кто такие были Суворов и Кутузов?

И опять дружно выметнулись вверх руки. Денис Васильевич сделал шаг вперед.

– Вот ты нам скажи, – обратился он к сидевшему в первом ряду белобрысому со смышлеными серыми глазами крепышу подростку.

Тот поднялся, ответил спокойно, четко:

– Суворов и Кутузов были великие полководцы, защищавшие от чужеземцев отечество, коим именуется наша родная русская земля.

– Хорошо, – похвалил Давыдов. – А чем Суворов и Кутузов

отличались от других полководцев?

Крепыш на несколько секунд задумался, шмыгнул носом, потом, смело взглянув на генерала, проговорил уверенно:

– Они любили своих солдат.

Когда осмотр школы был окончен, Михаил Федорович Орлов пояснил:

– Система взаимного обучения придумана английским квакером Иосифом Ланкастером, посему и называется ланкастерской… Она удобна тем, что позволяет быстро обучать людей грамоте и широко распространять просвещение, столь необходимое войскам и народу. И обходится такое обучение значительно дешевле, чем обычное.

– Я понимаю, но все же какие-то средства требуются? – спросил Денис Васильевич.

– Видишь ли, как обстоит дело. Ребята, коих ты здесь видел, находились в большинстве на содержании местного военно-сиротского отделения, располагающего известными средствами, хотя, надо сказать, средства эти до сей поры больше расхищались интендантскими чиновниками, нежели расходовались по назначению. Мы законным образом приняли военно-сиротское отделение в свое ведение, следовательно, забрали и принадлежащие оному средства. Затем выгадываем немного из корпусных хозяйственных сумм, ну, и, конечно, нам с Николаем Николаевичем приходится кое-что добавлять своими. Ведь количество наших питомцев непрерывно растет, нам присылают солдатских сирот из других городов, а, кроме того, мы создаем еще и солдатскую школу взаимного обучения.

– Ну, за это уж высшее начальство, наверное, по головке не погладит, – заметил Денис Васильевич.

– Надо полагать, – усмехнувшись краешком губ, ответил Орлов. – Но, знаешь, как говорится: пока солнце взойдет – роса очи выест… Ты представь себе важность этого дела! – воодушевляясь, продолжил Орлов. – Если в других корпусах последуют нашему примеру, то в каких-нибудь два-три года в армии появится не менее десяти тысяч вполне грамотных, сильных духом суворовских солдат, кои, в свою очередь, будут просвещать товарищей… Подумай!

– Заманчиво, заманчиво, что и говорить! – согласился Денис Васильевич. – Я, как тебе известно, политик плохой и до отвлеченных твоих химер не очень-то большой охотник, но школа твоя, признаюсь, меня восхищает! Тут, брат, дело живое, стоящее… И что бы там ни случилось – вот тебе моя рука, Михайла, я в стороне от такого дела не останусь!

– А я в этом и не сомневался, Денис, – улыбнулся Орлов,

крепко сжимая руку друга.

X

Летом войска седьмого пехотного корпуса неожиданно были переведены на юг. Корпусная квартира, находившаяся в Умани, перемещалась в Херсон. Денису Давыдову ехать туда никак не хотелось. Еще бы! От Умани до Киева и до Каменки рукой подать, он имел возможность часто навещать и Раевских, и Михаилу Орлова, и Базиля, и, наконец, ветреную свою кузину Аглаю, гостившую этим летом в Каменке…

Встреча с ней всколыхнула заглохшее чувство. Аглая по-прежнему была очаровательна, кокетлива и удивительного своего легкомыслия с годами не утратила. Давыдов, правда, пылкой влюбленности в нее уже не испытывал, ревностью, как раньше, не терзался, характер кузины был ему слишком известен, а все же в отношениях с Аглаей было немало и нежности и романтики.

Вяземскому, служившему в Варшаве, он писал из Умани в конце июля:

«… Тебя тревожат воспоминания! Но если ты посреди какой бы то ни было столицы вздыхаешь о предметах твоей дружбы, то каково мне будет в Херсоне, где степь да небо? Каково миг, удаленному от женщины, которую люблю так давно и с каждым днем более и более и которую с намерением увлекают вовсе в противную сторону той, где я осужден убивать не последние уже года, но последние дни истинной жизни? Я надеялся до отъезда ея сколько-нибудь утешить сердце на берегах Рейна[X], но перемещение нашей корпусной квартиры разрушает и эту надежду. Впрочем, хотя я Орлова очень и очень люблю, но, правду сказать, несчастие мое не подвластно его утешениям; надо человека, которого бы сердце отвечало моему, а Орлов слишком занят отвлеченною своей химерою, чтобы понять меня. Ты один, точно один для меня, которому я могу открывать все чувства мои, не опасаясь сухой математической улыбки. Что бы я дал быть бесчувственным или по крайней мере затушить заблуждениями ума заблуждения сердца! Этот проклятый романический мой характер и мучит, и бесит меня. Я думаю, что, удрученный годами, в серебряных локонах, я буду тот же, – более:

Когда я лягу на одр смерти, и
Тогда на дни мои, протекшие при ней,
Я обращу еще мой взор слезами полной,
Еще в последний раз вздохну о них невольно,
Невольно постыжусь я слабости своей

Однако ни в этом, ни в последующих письмах к Вяземскому он ни о своих общественно-политических взглядах, ни об увлечении ланкастерскими школами ни словом не обмолвился, зато фальшивых, напыщенных фраз о преданности царю вставлять не забывал. Объяснялось это просто. Вяземский в то время открыто либеральничал, критиковал действия правительства и мог, при излишней болтливости, предать гласности то, чего Денис Давыдов, наученный горьким опытом, предпочитал не оглашать. Не исключалось и предположение, что корреспонденция Вяземского просматривается полицией.

Так или иначе, но именно в то самое время, когда Денис Васильевич в письмах к Вяземскому жалуется на свой романический характер и скуку, он весьма энергично занимается подготовкой ланкастерского обучения в своем корпусе.

«Я видел несколько раз военно-сиротское отделение в Киеве, преобразованное Орловым, – видел и восхищался! – сообщает он Закревскому. – А так как корпусная наша квартира переходит в Херсон, где такое же отделение, то я хочу им заняться, на что требую от тебя разрешение, таким образом, чтобы комендант не мог мне делать преград».

Закревский и на этот раз помог. Разрешение было прислано. Херсонский комендант преград чинить не стал. Денис Васильевич принял военно-сиротское отделение, быстро подыскал помещение под школу, обзавелся хорошим помощником в лице инженерного офицера Воронецкого, но… сразу остро стал вопрос о средствах. Принадлежащие отделению деньги интендантские чиновники выдать категорически отказались.

– Помилуйте, господа! – пробовал урезонить их Денис Васильевич. – Наша школа будет обучать и воспитывать ваших питомцев.

– Пожалуйста, мы не возражаем, если у вас имеется разрешение, – отвечали чиновники, – но о выдаче на сей предмет средств там ни слова не сказано…

Делать нечего, пришлось опять обращаться за помощью к Закревскому.

«… Сверх введения методы взаимного обучения (или ланкастерской), – писал 14 октября 1818 года из Херсона Денис Давыдов, – я бы хотел, чтобы воспитанников кормили лучше, чтобы как они сами, так и казармы, и учебные залы были как стекло, но на все это надо деньги, и на употребление 13 769 рублей суммы, принадлежащей сему отделению, нужно от тебя

разрешение, или по крайней мере позволение мне заимствовать из нее нужное количество денег, ибо если на первое ты не имеешь права и на употребление ее не воспоследует высшего разрешения, то я по образовании всего могу внести свои собственные деньги. Привыкши спать на бурке с седлом в изголовье, мне много не нужно!»[49]

Закревский уведомил, что деньги военно-сиротского отделения будут выданы, однако следует иметь в виду, что высшее начальство стало смотреть на ланкастерские школы косо, ассигнования на следующий год всем сильно урезаются. Закревский советовал старому другу приехать в столицу, чтоб хлопотать о средствах, обещая свою всемерную помощь.

Ехать было необходимо! Воронецкий, назначенный начальником школы, принял уже свыше ста кантонистов, и ожидалось дальнейшее быстрое пополнение.

Денис Васильевич снова отправился в далекий путь, но, заехав по дороге в Москву, был задержан здесь непредвиденными обстоятельствами.

Среди других многочисленных московских семейств, связанных давней дружбой с Бегичевыми, было семейство покойного генерала Николая Александровича Чиркова. Генерал храбро воевал в суворовских войсках, отличился при взятии Очакова, за что получил георгиевский крест. Выйдя же в отставку, оказался большим хлопотуном и стяжателем. Жене и двум дочерям он оставил порядочное наследство.

Вдова генерала Елизавета Петровна, выдав замуж старшую дочь, проживала в собственном доме на Арбате с младшей любимой дочкой Соней, воспитанной в строгих старинных правилах.

Будучи весной в Москве на свадьбе сестры Сашеньки, Денис Васильевич познакомился с Соней Чирковой, но эта спокойная, полная, вышедшая из поры нежной молодости блондинка с голубыми, как ему показалось, неласковыми глазами, не оставила особого впечатления.

– К ней и прикоснуться страшно, честное слово! – шутя сказал он сестре. – Чопорная какая-то!

– Ты уж придумаешь, – возразила Сашенька, – а по-моему, Соня очень славная, умная девушка…

Денис Васильевич молча пожал плечами. Разговор на эту тему не возобновлялся.

Теперь же, приехав проведать молодых Бегичевых, живших в прекрасно отделанном особняке на Старо-Конюшенной, он вновь встретился здесь с Соней. На этот раз, может быть, потому, что лицо девушки оживилось при встрече с ним вспыхнувшим

румянцем и радостным блеском внезапно потеплевших голубых глаз, она показалась ему более привлекательной, чем прежде.

«Кажется, я в самом деле не очень-то хорошо разглядел ее в прошлый раз», – подумал Денис Васильевич, с удовольствием пожимая протянутую приветливо пухлую ручку и догадываясь, что он для девушки не совсем безразличен.

А потом, познакомившись с Соней покороче, он обнаружил и много симпатичных черт в ее характере. Соня жила с открытой душой, не умела ни лгать, ни притворяться, ей чужды были многие светские условности, все ее слова и поступки дышали неподдельной простотой. Денису Васильевичу с каждой новой встречей она нравилась все больше.

Дмитрий Никитич Бегичев, знавший Соню с детских лет, и Сашенька, успевшая подружиться с ней, заметив, что отношение Дениса к девушке изменилось в лучшую сторону, обрадовались несказанно. Между собой они не раз говорили, что для Дениса лучшей жены, чем Соня, не нужно искать.

И при первом удобном случае Сашенька со свойственной ей решительностью приступила к делу.

– Не понимаю, Денис, почему бы тебе не посвататься за Соню? – сказала она брату. – Чем, в самом деле, она тебе не пара?

– Соня и скромница, каких мало, и хозяйка хорошая, и не бесприданница, – продолжил Дмитрий Никитич. – Покойный родитель за ней приволжскую свою деревню отписал да, если не ошибаюсь, идет за ней как будто, – он поднял значительно палец, – и винокуренный завод в Оренбургской губернии…

– Да что ты говоришь! Винокуренный завод! – рассмеялся Денис Васильевич. – Ну, против такого соблазна, верно, ни одному гусару не устоять… Сватайте, я готов!

– Не дурачься, пожалуйста, – обидчиво сказала Сашенька. – Мы с Митей говорим с тобой серьезно…

– Ей-богу, я не дурачусь, – обнимая сестру, произнес Денис Васильевич. – Просто смешно стало, с какой чувствительностью Митя винокуренный завод помянул… А Соня мне, признаюсь, по душе, ежели сосватать поможете – я вам в ножки поклонюсь! Прошу лишь об одном, – добавил он, вспомнив печальный опыт прошлого сватовства, – чтоб, кроме вас, ни одна живая душа прежде времени об этом не ведала… Мало ли еще как дело повернуться может!

– Положим, особых препятствий я не предвижу, – отозвался уверенно Дмитрий Никитич. – Соня к тебе расположена, это нам хорошо известно, а старуха Елизавета Петровна сама не раз меня просила, чтоб жениха для Сонюшки искал…

Однако через некоторое время уверенность Дмитрия

Никитича сильно поколебалась. Предложение было сделано. Елизавета Петровна поблагодарила, обещала подумать, и… на этом сватовство остановилось. Шли дни, ответ по неизвестным причинам задерживался. Соня у Бегичевых бывать перестала. В доме Чирковых, очевидно, что-то приключилось.

Дмитрий Никитич не выдержал, направился туда сам и возвратился совершенно расстроенный. Оказалось, «добрые люди», которые всегда находятся при таких обстоятельствах, успели нашептать старухе матери, что Денис Давыдов человек развратного образа жизни, гуляка, пьяница, безбожник и якобинец. В доказательство представили наиболее залихватские его гусарские послания.

– Ну и сам можешь представить, что теперь там творится, – сбобщив шурину неприятную историю, заключил Дмитрий Никитич. – Старуха запретила дочери и думать о тебе, никаких резонов в толк не желает брать. Соня плачет, не знает, что делать… В общем, черт голову сломит!

– Да, брат Дмитрий, – вздохнул Денис Васильевич, – по всему видно, напрасно мы это сватовство затеяли… Я, признаться, к щелчкам до того привык, что иного и не ожидал!

– Полно, полно, Денис, не отчаивайся… Дай срок, придумаем что-нибудь!

– Ничего не выйдет! Таков уж мой печальный жребий! – махнув рукой, с горькой усмешкой произнес Денис Васильевич.

И на другой день, полный самых мрачных раздумий о своей судьбе, выехал в Петербург.

XI

Страсбургский пирог, посланный Вяземским из Варшавы в адрес его превосходительства директора департамента духовных дел Александра Ивановича Тургенева, был доставлен в полной сохранности. Вяземский знал, чем угодить старому дружку. Александр Иванович обожал страсбургские пироги и даже при воспоминании о них неизменно причмокивал полными губами.

Вместе с тем, будучи человеком отменной доброты, Александр Иванович обычно старался попотчевать любимыми яствами и своих приятелей.

18 декабря 1818 года он уведомил Вяземского:

«Я получил пирог в целости и на сих днях разделяю его с арзамасцами, между которыми и Денис Давыдов»[50].

Александр Иванович и младший его брат Николай, служивший в министерстве финансов, занимали квартиру в большом трехэтажном каменном доме на Фонтанке. Превосходно

образованные, поражавшие всех разнообразными знаниями, всегда любезные и общительные братья Тургеневы, несмотря на высокое служебное положение, принадлежали к тому дворянскому кругу, где жадно интересовались всеми общественными и политическими событиями, и в противовес закоснелым староверам не боялись высказывать вольнодумные мысли. Братья, оба холостяки, жили в редком душевном согласии, хотя их взгляды и мнения нередко расходились. Александр Иванович не переступал границ самого умеренного либерализма, а Николай являлся одним из первых членов тайного общества, ярым противником деспотического самовластья и крепостного права.

В литературном обществе «Арзамас» братья Тургеневы тоже стояли на разных позициях. Александр, как и Жуковский и большинство других арзамасцев, полагал, что их деятельность должна ограничиваться невинным удовольствием осмеивать «губителей российского слова», как называл Александр Пушкин бездарных мракобесов литераторов, входивших в созданную реакционером Шишковым «Беседу любителей русского слова». Николай Тургенев, как и его друг Михаил Орлов, призывал арзамасцев перейти от шуток и забав к серьезному делу, издавать журнал, печатать политические статьи, пропагандировать идеи свободы.

Предложения Орлова и Николая Тургенева большинством арзамасцев были отвергнуты, однако начавшийся в связи с этим раскол не прекращался, а усиливался. Новые члены общества, молодые вольнодумцы, такие, как Александр Пушкин, получивший в «Арзамасе» прозвище «Сверчок», и Никита Муравьев, прозванный «Адельстаном», выступая на арзамасских собраниях, все чаще затевали горячие споры на политические темы, резко осуждали самодержавие и крепостнические порядки, выказывая себя сторонниками Николая Тургенева.

Денис Давыдов, слышавший краем уха о том, что происходит у арзамасцев, приглашение Александра Тургенева на пирог принял особенно охотно.

Денис Давыдов находился в Петербурге уже несколько дней. Закревский оказался прав: высшее начальство на ланкастерские школы смотрело косо.

– Это ненужное баловство, чреватое пагубными последствиями, – говорили угрюмые генералы в военном министерстве. – Для солдатских детей лучшей школой являются военные поселения…

Зато знакомые гвардейцы и офицеры генерального штаба относились к хлопотам Давыдова о средствах для Херсонской

ланкастерской школы с полным сочувствием. Брат зятя кавалергард Степан Бегичев предложил даже в случае отказа высшего начальства собрать необходимую для школы сумму по подписке среди гвардейцев. Приятель Бегичева, образованный и умный капитан гвардейского генерального штаба Иван Григорьевич Бурцов, пожимая руку Дениса Васильевича, сказал с чувством:

– В нынешних обстоятельствах распространение грамотности и просвещения есть наилучший способ служения отечеству… Меня восхищает ваш благородный поступок!

Столь различное, прямо противоположное мнение о ланкастерском обучении невольно наталкивало на мысль, что не только среди арзамасцев, но и всюду происходит какой-то очень серьезный процесс разделения людей на два враждебных лагеря. В одном были староверы, защитники самовластья, косности и невежества, а в другом… какие силы стягивались в этом лагере, какова их готовность к действию?

Давыдов хорошо знал о недовольстве существующим порядком вещей во всех слоях общества, он сам принадлежал к числу недовольных, но какова действенная сила этого недовольства? Он знал, что всюду идут бесконечные прения, слышал, будто уже создано где-то тайное общество, ставящее целью замену самодержавия конституционным правлением, однако большого значения этому не придавал, считая мечты и замыслы вольнодумцев «отвлеченными химерами», о чем не раз и говорил своим друзьям.

Такое скептическое отношение создалось у Давыдова потому, что ему, как очень немногим, было известно, чем двадцать лет назад кончились мечты и замыслы вольнодумцев, объединенных в тайное общество Александром Михайловичем Каховским. Слова Ермолова, сказанные перед отъездом на Кавказ, не выходили из головы.

Но может быть, теперь действенная сила недовольства была более мощной и все складывалось иначе, чем тогда?

Этот заданный самому себе вопрос начинал чувствительно беспокоить. Приглашение Александра Ивановича пришлось кстати. Где же, как не у Тургеневых, послушать умных людей и узнать кое-какие интересующие подробности?

К дому на Фонтанке, где жили Тургеневы, Давыдов подъехал поздно вечером, когда всюду весело светились огни. Лишь окруженная рвами каменная громада Михайловского замка, стоявшего как раз против тургеневского дома, не освещалась ни единым огоньком. Порой скользивший меж облаков месяц робко заглядывал в темные впадины окон, и тогда безлюдный замок

казался особенно зловещим, невольно напоминая о кровавой драме, разыгравшейся здесь восемнадцать лет назад[XI].

Какой-то человек в шубе нараспашку стоял близ парадных дверей тургеневского дома и, опершись на палку, подняв голову вверх, молча созерцал пустынную и мрачную громаду.

Давыдов, обладавший зоркими глазами, определил безошибочно:

– Пушкин!

Александр, признав знакомый голос, поспешил навстречу:

– Денис Васильевич! Как я рад, право! Мне уже говорили, что вы будете сегодня у Тургеневых…

За два года Пушкин сильно изменился, повзрослел, отрастил бакенбарды, но по-прежнему порывисты были его движения, юношески звонка быстрая речь, полны жизни и чувства прекрасные глаза.

– А тебя, видно, опять вдохновляет «преступный памятник тирана, забвенью брошенный дворец»? – обнимая молодого поэта и цитируя строки из его оды «Вольность», сказал Давыдов.

Пушкин чуть-чуть смутился. В прошлом году, будучи у Тургеневых и глядя из окон квартиры на Михайловский замок, он создал эту вдохновенную оду, одно из самых мятежных своих творений, гневно и страстно обличавшее самодержавный деспотизм.

Увы! Куда ни брошу взор.
Везде мечи, везде железы.
Законов гибельный позор.
Неволи немощные слезы;

Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела – Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.

Пушкин знал, что стихи эти в тысячах списков распространяются по всей России, и не было ничего удивительного в том, что Денис Васильевич их прочитал, но каково его отношение к произведениям подобного рода? Все-таки он теперь генерал, а не лихой забулдыга-гусар.

И Пушкин в свою очередь спросил с хитринкой:

– А правда, ваше превосходительство, недурные строки есть в моей оде?

Они вошли в подъезд, стали медленно подниматься наверх по широкой лестнице. Денис Васильевич взял Александра под руку,

душевно и мягко ответил по-французски:

– Я был в твоих летах, милый Саша, когда за более невинные строки меня выслали из столицы, и до сей поры при любом случае продолжают преследовать… Память тиранов зла и долговечна! Будь осторожен! Я говорю об этом потому, что сердечно люблю тебя.

– Я не сомневаюсь в ваших добрых чувствах, Денис Васильевич, – признательно и взволнованно отозвался Пушкин.

– Ну, стало быть, ты не будешь сомневаться и в том, что я не переубеждать тебя хочу, а только по-братски предостеречь. Что же касается моего мнения… Ода сия по силе чувств и пламенности языка может почитаться совершенным твоим шедевром.

– Вот странно! – заметил Пушкин. – А Вяземский считает моим шедевром послание к Жуковскому!

– Я знаю. Вяземский весной писал мне о том, я не согласился. По моему разумению, это послание не принадлежит к лучшим твоим стихам… Мне непонятны там первые четыре строки… И весь конец кажется слабым, словно не тобой, а дядюшкой Василием Львовичем писан, слышу напев его…

Пушкин высоко ценил оригинальный поэтический талант Дениса Давыдова и критические его замечания, резко расходившиеся с восторженной оценкой Жуковского и Вяземского, выслушал внимательно. Да, первые четыре строки в самом деле плохи… Пушкин мысленно тут же от них отказался и, слегка изменив второе четверостишие, радостно улыбнулся.

– Верно, верно! Первые строки не нужны, начнем сразу так:

Когда к мечтательному миру
Летя возвышенной душой,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой…

– А конец я тоже сокращу, – добавил он, – не хочу ничем на дядюшку походить![51]

* * *

У Тургеневых в тот вечер было особенно многолюдно. В просторной столовой собрались почти все проживавшие в столице арзамасцы. Тут были и Жуковский, и Никита Муравьев, и остроумный Блудов, и женоподобный злой Вигель. Пришли и не состоявшие в литературном обществе приятели младшего Тургенева: подвижной и всезнающий адъютант Петербургского

генерал-губернатора Милорадовича известный литератор Федор Глинка и высоколобый, с пухлыми белыми щеками и серыми пытливыми глазами ротмистр Петр Чаадаев, умница и философ, успевший окончить Московский университет. Пушкин, еще с лицейских пор друживший с Чаадаевым, тотчас же к нему подсел и весь вечер с ним не разлучался.

Беседа вначале была общей. Жуковский и Блудов издевались над бездарными литераторами-шишковистами. Александр Иванович Тургенев, успевший справиться с изрядным куском пирога, откинулся в кресле и, прикрыв плечи клетчатым английским пледом, благодушествовал, потешая всех забавными анекдотами.

Денис Васильевич увлекся разговором с Никитой Муравьевым. Они познакомились недавно у Степана Бегичева. Муравьеву было всего двадцать два года, но этот молодой статный гвардеец с тонкими чертами лица, мягкими волнистыми волосами и глазами мечтателя слыл одним из умнейших, образованнейших офицеров. Дениса Васильевича более всего привлекали высказывания Муравьева о необходимости создания исторической литературы.

– Муза истории дремлет в нашем отечестве, – говорил Никита. – Россия имела Румянцевых, Суворовых, Кутузовых, но славные дела их никем надлежащим образом не описаны,.. Горестно сознавать, что юные воины, лишенные отечественных сих пособий, должны пользоваться примерами других народов…

– И без возражений выслушивать пасквили чужеземных историков и писателей, – подхватил Денис Васильевич. – Литература наша доселе скудна описаниями жизни людей, коими Россия вправе гордиться…

– Совершенно справедливо! – вмешался в разговор Федор Глинка. – Великие деяния, рассыпанные в летописях отечественных, блестят, как богатейшие восточные перлы на дне глубоких морей. Стоит только собрать и сблизить их, чтоб составить для России ожерелье славы, коему подобное едва ли имели Греция и Рим! Тогда, конечно, взыграет дух юного россиянина, – с пафосом заключил он, – при воззрении на великие доблести и воинскую славу предков!

Николай Тургенев, с любопытством прислушивавшийся к этому разговору, неожиданно вздохнув, заметил:

– Все это так, друзья мои, я согласен с вами, но не забудьте, пока существуют у нас самовластье и рабство, народ обречен коснеть в невежестве… Литература же историческая, как и всякая иная, нужна не безграмотным рабам, а свободным и просвещенным гражданам.

– Позвольте, Николай Иванович, – блеснув злыми глазками, перебил его Вигель. – Насколько я могу судить, вы желали бы первей всего изменить правление и уничтожить древнее право дворянства владеть мужиками. Так ли я вас понял?

В умных строгих глазах Тургенева вспыхнула гневная искорка и тут же погасла.

– Владение мужиками никогда не может быть правом, Филипп Филиппович, – сдержанно ответил он. – А своего желания я ни от кого не скрываю… Могу ли я без сердечной горечи видеть то, что я всего более люблю и уважаю, – страну свою, русский народ в рабстве и унижении?

Последняя фраза произнесена была с таким чувством, что взоры всех невольно обратились на Николая Тургенева.

А он тихо, с большим внутренним жаром продолжал говорить об ужасном состоянии крепостного крестьянства. Возвратясь недавно из поездки в Симбирскую губернию, он приводил живые примеры жестокого, бесчеловечного произвола помещиков. Многие заставляют своих крепостных работать на барщине по пять дней в неделю. Всюду нищета, всюду стоны. Торговля людьми – обычное явление. Да что говорить о других помещиках! Собственный дядя, считавший себя гуманным человеком, не стыдится продавать девок в чужие селения!

– Мне постоянно, – продолжал с душевной болью Николай Иванович, – вспоминаются слова Радищева: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала…» Да, господа, я теперь более, нежели когда-либо, ненавижу всю гнусность рабства… У меня беспрестанно в голове наша деревня, участь крестьянства и печальное положение России. Меня гнетет мысль, что нам долго еще жить под деспотизмом и я при жизни не увижу мое отечество свободным.

Тургенев замолк, грустно склонив голову. Вигель, беспокойно повернувшись в кресле, опять, не утерпев, вставил:

– Однако ж позвольте вам напомнить, не все придерживаются ваших взглядов и не все видят благо в желательных для вас переменах…

– Что и говорить! Аракчееву, наверное, перемены не нужны! – сверкнув глазами, крикнул возбужденно Пушкин.

– Но каждый истинный сын отечества, – поддержал его Чаадаев, – никогда не перестанет помышлять о лучшем его устройстве!

– Нельзя терпеть, – вмешался пылко Никита Муравьев, – чтоб произвол одного человека был основанием правления. Нельзя, чтобы все права были на одной стороне, а все обязанности на другой.

В столовой сразу завязался шумный, горячий, острый спор.

В те дни ожидали с часу на час возвращения в столицу с Аахенского конгресса императора Александра. Никто еще не знал о решениях этого реакционного конгресса, зато многим была памятна варшавская речь императора, обещавшего ввести в своей стране конституционное устройство. Может быть, теперь, возвратясь из долгой поездки, царь сдержит свое слово? Умеренные арзамасцы, пытаясь утишить страсти, попробовали привести этот довод и лишь подлили масла в огонь. Молодые вольнодумцы в благие намерения царя давно не верили.

– Бессмысленные надежды! Пустые мечтания!

– Никогда того не бывало, чтоб цари сами отказывались от своих прав!

Пушкин с пылающим лицом вскочил со своего места, поднял руку:

– Господа! Я прочитаю вам последние мои стихи… Мой «Ноэль»…

И, сделав короткую паузу, выждав, пока немного затих шум, взволнованно, певучим голосом начал:

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот,
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ…

Насмешливые, злые стихи как нельзя лучше показывали отношение молодого автора к кочующему по европейским землям царю и его обещаниям.

И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам по доброй воле, —

вещает, возвратясь домой, самодовольный, лицемерный деспот, но в это время

От радости в постеле
Распрыгалось дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! Закрой свои ты глазки;
Уснуть уж время наконец,
Ну, слушай же, как царь-отец

Рассказывает сказки…»

Денис Васильевич, с глубоким вниманием наблюдавший за всем, что происходило у Тургеневых, мог составить довольно верное представление о настроениях, царивших среди наиболее просвещенной части столичного общества. Да, недовольство существующим порядком было сильное. И со многим, что слышал, можно согласиться. Самодержавная власть слишком грубо попирает права людей. Царь же своих обещаний, никогда не выполняет. Пушкин прекрасно это выразил: царь-отец рассказывает сказки! Но что же будет дальше? Разразится ли гроза, или все ограничится сверканием зарниц и легким громыханьем? Денис Васильевич долго размышлял об этом…

Он видел в петербургских вольнолюбцах милых, хорошо воспитанных людей, кипевших благородным негодованием против деспотического произвола и мечтавших о лучших порядках в отечестве… Не более! Он не ощущал за ними никакой силы, не замечал среди них людей, готовых к решительным действиям. Что они смогут сделать одним красноречием? Брат Александр Михайлович Каховский опирался на силу штыков, у него не было недостатка в смелых, решительных людях, да и то ничего не вышло! Самодержавный строй существует века, не так-то просто его разрушить!

Денис Васильевич склонен был думать, что гроза не соберется.

XII

Соне Чирковой минуло двадцать четыре года. Возраст для девушки по тем временам почти критический. Соня, обладавшая большой рассудительностью, об этом не забывала. К тому же Денис Васильевич ей нравился.

Воспитанная в строгих правилах, она, разумеется, никогда бы не решилась выйти замуж без материнского благословения, но, сохраняя внешнее спокойствие и почтительность, споров с Елизаветой Петровной не прекращала:

– Не забудьте, маменька, стихи Дениса Васильевича, о которых вам сказывали, писаны им были в молодости.

– Перестань эаступничать! – хмурилась мать – Давыдова ничто извинить не может. Он атеист и якобинец!

– На него напрасно наговаривают, маменька…

– Ты ничего не знаешь! Он сам многим признавался, что состоит членом якобинского клуба[52].

– Быть того не может! – не сдавалась Соня. – Поговорили бы лучше с Бегичевыми…

– Славно придумала! – усмехнулась мать. – Бегичевы того и домогаются, чтобы родственнику приличную партию составить, а я им верить буду! Нет, дружочек, я еще из ума не выжила!

Подобные стычки происходили ежедневно, и кто знает, чем бы дело кончилось, если б однажды не заехал проведать Чирковых находившийся проездом в Москве старый генерал Алексей Григорьевич Щербатов. Близкий друг покойного Николая Алексеевича Чиркова, он пользовался особым уважением и доверием его вдовы.

Узнав, что за крестницу Сонечку сватается Денис Давыдов, генерал отозвался о нем с большим одобрением:

– Я еще по прусской кампании молодца помню, и в четырнадцатом году он в моих войсках служил… Храбр, умен и преданность отечеству партизанскими подвигами запечатлел… Поздравляю! Лучшего мужа для Сонечки я не желал бы!

Елизавета Петровна от столь неожиданных слов пришла в полное недоумение:

– Да что ты, Алексей Григорьевич! Хорош будет муж для Сонечки, коли никакой обстоятельности в нем нет… Сама, чай, стихи его читала… Одни пирушки у него на уме да вино проклятое…

Генерал весело рассмеялся.

– Ну, матушка, ты, верно, гусар-то с монахами путаешь… На священное писание стихи Дениса Давыдова, конечно, мало похожи, зато всем военным по душе… Я сам до сей поры одно из посланий его помню… Как, бишь, там он пишет..

Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закрученными усами!
Бурцов, брат, что за раздолье!
Пунш жестокий! Хор гремит!
Бурцов, пью твое здоровье:
Будь, гусар, век пьян и сыт!

И, с видимым удовольствием продекламировав стихи, генерал назидательно добавил:

– Талант в вину не ставится, матушка! Вот что уразумей!

– Ох, да как же это? – растерянно произнесла Елизавета Петровна. – Ведь он сам, говорят, такие страсти про себя высказывает…

– Поменьше уши развешивай! – с грубоватой дружеской простотой перебил генерал. – Слабости у каждого есть, Давыдов тоже не безгрешен, лишнее сболтнуть может, да за это строго взыскивать нельзя. Davidoff, quand on le connait bien, – заключил он по-французски, – n'esl que le fanfaron du vice[XII].

Соня стояла у дверей с пылающими щеками, прислушиваясь к разговору. Благонравным девушкам так поступать не полагалось. Но разве утерпишь? Решалась ее судьба. И то, о чем говорил сейчас крестный, было необыкновенно интересно[53].

* * *

Новый, 1819 год встречал Денис Давыдов в Петербурге, а в Москву возвратился лишь в половине января.

Необходимые средства для ланкастерской школы удалось все-таки получить, и Денис Васильевич, уведомляя о том Воронецкого, сообщил кстати, чтоб ждали его самого в Херсоне к концу месяца. О благоприятном исходе сватовства он не думал. Столичным друзьям о существовании Сони Чирковой даже не заикнулся.

И вдруг… такая приятная неожиданность: Елизавета Петровна соглашается выдать за него свою дочь!

Денис Васильевич, надев новый, недавно сшитый лучшим московским портным мундир со всеми регалиями и опрыскав себя духами, отправляется к Чирковым. Соня встречает сияющая. Домашние глядят на него с тем особым любопытством, какое обычно вызывается первым появлением в доме жениха.

Но Елизавета Петровна, по всей видимости, продолжает относиться к будущему зятю с плохо скрытой недоверчивостью. Она окинула его строгим взглядом, молча поцеловала в лоб, увела в гостиную.

– Бегичевы небось говорили тебе, что моя Сонюшка невеста не из бедных, – промолвила она с легкой, еле уловимой иронией.

Денис Васильевич смутился. Знал, что разговор о приданом неизбежен, но казалось постыдным вести его.

– Я осмелился просить руки вашей дочери потому, что мои чувства…

Елизавета Петровна договорить не дала:

– Чувства, батюшка мой, чувствами, а дело делом… Не век вдвоем жить будете, детишек господь пошлет, их кормить и воспитывать надо… Сонюшке отец завещал сызранскую деревеньку Верхнюю Мазу, там пятьсот с лишним душ, и завод винокуренный под Бузулуком… Кабы в хозяйские руки состояние

это попало, я бы и беспокоиться не стала, ну, а нам как быть? Сам, чай, ведаешь, каков из тебя помещик, да к тому же на службе ты состоишь… Вот и порешила я, чтобы до поры до времени Сонюшка сама своим приданым владела, она в хозяйственных делах смышлена, ежели приумножить не сумеет, то по крайности от разорения сбережет…

Все было ясно и немного обидно. Старуха побаивалась, что он промотает богатое приданое дочери. Однако ее нельзя строго осуждать. Он, правда, не собирался расточительствовать, но помещик из него в самом деле плохой. И в конце концов, если Соня окажет такие же хозяйственные способности, как Сашенька, лучшего нечего и желать. Он смотрел серьезно на устройство своей будущей семьи.

– Пусть все будет так, как вам угодно, – произнес он. – Я прошу лишь о том, чтобы впредь вы не оставляли нас своими советами…

Суровые глаза старухи сразу подобрели. Ответ, выражавший полное бескорыстие, пришелся по душе, примирил с будущим зятем.

Спустя некоторое время Соня, войдя в гостиную, застала мать и жениха в самой дружеской, мирной беседе.

… Выхлопотав дополнительный отпуск по случаю женитьбы, Денис Давыдов всю весну прожил в Москве. Здесь и получил он в конце февраля приказ о переводе его начальником штаба третьего пехотного корпуса. Приказ пришелся кстати. Соня желала после свадьбы ехать с ним в Херсон, ее смущала лишь дальность расстояния. Кременчуг, где находился штаб третьего корпуса, был значительно ближе, и недалеко от этого города жила в своем имении замужняя старшая сестра Сони, давно приглашавшая ее погостить. Все складывалось прекрасно.

13 апреля, на красную горку, состоялась свадьба, а в конце мая молодые Давыдовы были уже в Кременчуге[54].

Положение женатого человека сначала раскрывалось Денису Васильевичу одними привлекательными сторонами. Соня была мила, нежна. Она интересовалась всеми его делами, старалась понравиться его друзьям. Скромная их квартира благодаря ее заботам превратилась в уютное гнездышко. Соня не могла сидеть без дела. С раннего утра она что-то шила, прибирала или, надев фартук, готовила для него сюрпризом какое-нибудь лакомое кушанье. А вечерами, когда были одни, садилась за клавесины, и он, слушая тихие напевы любимых старинных романсов, ловил себя на мысли, что никогда прежде не ощущал такого полного душевного спокойствия.

Но, создавая домашний уют, стараясь всячески угодить мужу,

Соня вместе с тем настойчиво навязывала ему свое понимание семейной жизни, заключавшееся в том, что все свободное от служебных занятий время муж обязан проводить дома и не искать никаких развлечений на стороне. А он любил шумную мужскую компанию, жестокие споры за бокалом вина, распашные дружеские беседы и не собирался отказываться от своих старых привычек. Рассудительная требовательность жены казалась ему слишком прозаичной и вскоре начала тяготить его.

5 августа он писал Вяземскому, по-прежнему находившемуся в Варшаве:

«Я к тебе так долго не писал, потому что долго женихался, потом свадьба, потом вояж в Кременчуг, поездка в Киев и в Екатеринославль на смотры. Но едва приехал домой, как бросился писать к друзьям моим, из которых ты в голове колонны.

Что тебе сказать про себя? Я счастлив! Люблю жену всякий день более и более, продолжаю служить и буду служить век, несмотря на привязанность к жене милой и доброй; зарыт в бумагах и книгах, пишу, но стихи оставил! Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни… Кременчуг сухая материя».

Да, поэзии в безмятежной жизни не было. И желание «век служить» вызывалось тем, что служба в известной мере спасала его от прозаических семейных будней. Однако прошло несколько недель и произошли события, которые заставили Дениса Васильевича резко изменить намеченный образ жизни.

XIII

Второй армией командовал фельдмаршал Витгенштейн. Он был в преклонном возрасте, служебными делами занимался мало, проживая в своем имении недалеко от Тульчина, где находился штаб второй армии.

Император Александр, побывав на смотрах, остался фельдмаршалом недоволен. Войска выглядели плохо, обучение производилось, видимо, кое-как, дисциплина явно слабела. Необходимо было послать в армию человека, который, не обижая старчески капризного и мнительного фельдмаршала, сумел бы навести там порядок.

Выбор пал на флигель-адъютанта Павла Дмитриевича Киселева, совершенно очаровавшего государя умом и чисто придворной обходительностью. Киселева произвели в генерал-майоры, назначили начальником штаба второй армии. Прощаясь с ним, государь сказал:

– Надеюсь, вы понимаете мою мысль… фельдмаршала не

надо тревожить, он заслужил покойную старость, но вместе с тем нельзя и терпеть допущенных им безобразий… – Он немного помолчал, привычно потер пухлые щеки, потом добавил: – Вы молоды, но, я верю, это не помешает вам проявить должную твердость… Генерал Каменский, посланный мною некогда в Молдавскую армию, был моложе вас…

Каменский наводил порядок крутыми, жестокими мерами. Намек был понятен. Киселев почтительно наклонил голову.

– Я сделаю все, что в моих силах, ваше величество…

Витгенштейн встретил нового начальника штаба недружелюбно, однако Павел Дмитриевич, проявив необычайную почтительность, довольно быстро со стариком поладил. Витгенштейн, сохраняя звание командующего, продолжал сажать цветы в своей деревне. А все управление армией перешло в руки Киселева.

Действовать же крутыми мерами Павел Дмитриевич не собирался. Большое честолюбие и склонность к карьеризму не исключали в нем гуманности.

Киселев был противником рабства, ненавидел аракчеевщину, безоговорочно, осуждал палочную дисциплину и фрунтоманию. Приехав в армию, он прежде всего стал ограничивать произвол и беззакония, творимые отдельными начальниками, и заявил о своем отвращении к телесным наказаниям солдат. Побывав в одном из пехотных полков, он с негодованием записывает:

«В полку от ефрейтора до командира все бьют и убивают людей, и как сказал некто в русской службе: убийца тот, кто сразу умертвит, но кто в два, в три года забил человека, тот не в ответе. Убыль людей бежавшими и умершими, безнравственность, отклонение от службы и страх оной происходят часто от самовластных наказаний».

Аракчеевским ставленникам деятельность Киселева, направленная к преобразованию армии в гуманном духе, пришлась не по душе. Зато он нашел самое горячее сочувствие и поддержку со стороны либерально настроенных командиров[55].

Денис Давыдов высказал одобрение старому другу одним из первых.

«Дай бог тебе исполнить все, что ты предпринимаешь, – писал он, – ибо рвение твое имеет целью общую пользу. Я тебя всегда любил, ты знаешь это; но теперь тебя более и более почитаю при каждом о тебе известии. Продолжай, брат, дави могучей стопою пресмыкающихся!»

Однако назначение Киселева на высокий пост невольно заставило Дениса Васильевича и тяжело вздохнуть. Ведь Киселев был еще ротмистром, когда он, Денис Давыдов, носил мундир

полковника! И сколько других, младших по годам и по службе, часто не отличавшихся ничем, кроме уменья угодить сильным мира сего, обогнали его в чинах и наградах! Нет, умный, хорошо образованный, честный, всегда готовый оказать поддержку товарищу и занятый большой плодотворной деятельностью Киселев, конечно, не идет в сравнение с другими. Денис Васильевич умел подавлять свое самолюбие, когда дело касалось общей пользы, и на этот раз остался верен себе.

«… Если уже назначено мне судьбою быть обойденным, то пусть лучше обойдет умный и деятельный человек, как ты, нежели какой-нибудь ленивый скот, в грязи валяющийся, – признавался он Киселеву. – Божусь, что я это от души говорю. Люди прошедшего столетия не поймут меня, ибо их мысли и чувства падали к стопам Екатерины, Зубова и Грибовского! Слова: отечество, общественная польза, жертва честолюбия и жизни для них известны были только в отношении к власти, от которой они ждали взгляд, кусок эмали или несколько тысяч белых негров».

И все же грустные мысли о несправедливости судьбы, губившей его забвением, продолжали одолевать Дениса Васильевича… А тут как раз он получил и новый «щелчок по носу», как сам любил выражаться. Дело заключалось в следующем: в прошлом году им была отправлена на рассмотрение государя рукопись «Опыта о партизанах», представлявшая несомненно ценный вклад в военную науку, как утверждали все читавшие эту рукопись военные теоретики и друзья. И вот теперь, вместо ожидаемой благодарности, он получил письмо от барона Карла Федоровича Толя, извещавшего, что государь соизволил поручить ему, Толю, «сочинение Правил о службе на передовых постах и вообще во всех малых отрядах», а посему он, Толь, просит Дениса Васильевича, как «опытного по сей части», прислать партизанские записки, дабы облегчить труд, порученный ему государем.

Денис Васильевич пришел в бешенство. Большее издевательство трудно было придумать! Вся его служба, долголетний опыт командира отдельных отрядов и партизанские заслуги сбрасывались со счетов. И, очевидно, нарочно, чтоб принизить вообще действия русских партизан, государь поручил заняться этим предметом штабному педанту Карлу Толю.

Сдержанно ответив барону, что не хотел бы видеть своих мыслей в чужом сочинении, Денис Васильевич тут же решил на свой счет издать «Опыт о партизанах». Пусть сколько угодно шипит раздраженная посредственность, а он сделает это непременно!

Но вся дальнейшая военная служба стала представляться ему

теперь совсем в ином свете, чем несколько недель назад.

И в том же письме к Киселеву он не удержался от смелого и откровенного признания:

«Я как червонец в денежных погребах графини Браницкой! Но погоди, кто знает, что будет? Может быть, перевороты государственные вытащат сундуки из-под сводов и червонцы в курс пойдут».

Итак, он признавал, что при существующих условиях служба его бесполезна. Нечего мечтать, что царь и высшее начальство дадут ему возможность развернуть военное дарование! Он не обладал, подобно Киселеву и Закревскому, придворной обходительностью и уменьем приспособляться к обстоятельствам; он не был, подобно Дибичу и Толю, приверженцем столь любезных царю прусских военных доктрин; он не хотел походить на таких шедших в гору командиров, как Гурко, Мартынов, Нейдгордт, Шварц, отличавшихся крайним педантизмом и бессмысленной жестокостью с подчиненными. А вечно прозябать в не свойственной ему должности начальника штаба пехотного корпуса он не собирался.

Что же еще оставалось? Соня не раз советовала выйти в отставку. Ведь у них есть имение, есть средства. Он может спокойно работать над военными сочинениями. Доводы были разумны, но, опасаясь прозаических семейных будней, он противился. Грела надежда на лучшее. Во время летнего смотра войск корпуса царь говорил с ним весьма благосклонно. Может быть, дадут под команду, как давно о том хлопотал, кавалерийскую дивизию!

И Соне он возражал:

– Рано еще мне думать о домашнем халате…

Теперь стало ясно, что принял за благосклонность царя дежурную улыбку лицемера. Непростительная слабость! Сколько раз давал себе слово не обольщаться любезностями и улыбками властителей, а тут опять попался на эту удочку! Нет, более того не будет!

Жизнь складывалась не так, как хотелось. Ничего не поделаешь. Служба потеряла смысл. Приходилось мириться с прозаическими семейными буднями.

И когда жена возобновила однажды старый разговор, он, обняв ее, сознался:

– Я думаю, ты права, милая Сонечка… Кажется, надо просить отставку… Можно служить отечеству и в домашнем халате с большей пользой, нежели в мундире!

А на Украине в то время было беспокойно. Два года назад Аракчеев устроил военные поселения в Херсонской губернии и

под Харьковом. Города и села, где стояли полки нескольких дивизий, были переданы в руки окружного военно-поселенческого начальства. Коренных жителей исключили из гражданского ведомства, их имущество переписали, время и быт подчинили суровым аракчеевским порядкам. Понятно, что несчастные горожане, селяне и казаки, насильственно обращенные в поселенцев, сопротивлялись как могли, волнения, переходившие зачастую в открытые восстания, в военных поселениях не прекращались.

В конце июня 1819 года поселенцы Чугуевского округа получили приказ заготовить без всякого вознаграждения сто три тысячи пудов сена для кавалерийских лошадей. Чугуевцы выполнять приказ отказались. Никакие увещания не помогли, наиболее ретивые командиры, пытавшиеся принудить народ к выходу на сенокос, были побиты.

Генерал Лисаневич, начальник расквартированной в здешних местах дивизии, послал в Чугуев несколько рот пехоты и двенадцать конных орудий. Поселенцев согнали на городскую площадь. Они держались с удивительным спокойствием и покоряться не думали.

– Ни мы, ни дети наши военных поселений не желаем…

Из окрестных деревень к ним на помощь двинулись толпы селян. В соседнем Таганрогском округе тоже началась смута.

Тогда по распоряжению Лисаневича было схвачено и арестовано свыше тысячи бунтовщиков. Сборища поселенцев, происходившие повсюду, разогнаны кавалерией.

11 августа в Харьков примчался Аракчеев. Военный суд, созданный им, работал день и ночь. Солдаты двух батальонов Орловского пехотного полка спешно заготовляли в лесу шпицрутены. И вскоре в Чугуеве началась кровавая расправа.

Денису Давыдову обо всем этом подробно рассказал приехавший в Кременчуг капитан Воронецкий.

После того как Дениса Васильевича перевели в третий корпус, он продолжал из Кременчуга помогать своими указаниями созданной им в Херсоне школе ланкастерского обучения, и херсонский комендант, в ведении которого она оказалась, указания эти выполнял, опасаясь, как бы Давыдов через Закревского не наделал ему неприятностей. Капитана Воронецкого, не имевшего достаточного опыта в ланкастерском обучении, комендант послал в Кременчуг, чтоб посоветоваться с Денисом Васильевичем о методах преподавания.

Воронецкий по дороге решил проведать мать, жившую под Харьковом, и стал невольным свидетелем чугуевской экзекуции.

– Мне никогда не забыть этого кошмара, – говорил

взволнованно капитан, сидя в кабинете Дениса Васильевича. – Толпа несчастных, именуемых бунтовщиками, окруженная конными казаками и полицией, стояла безмолвно на площади против собора… Тут же помещались возы с шпицрутенами и несколько поодаль длинные шеренги солдат, один против другого, вы знаете, как это бывает… А день был ясный, тихий, словно созданный для того, чтоб жить и радоваться. И вдруг на колокольне ударил колокол, начался трезвон, какой бывает обычно при встрече высокопоставленных особ. К собору подкатила сопровождаемая конвоем карета, из нее вышел, опираясь на палку, сам Аракчеев, в генеральском мундире и регалиях… Честное слово, я никогда не видел физиономии более гнусной! Подстриженные ежиком жесткие волосы, щетинистые брови, оттопыренные уши, мутные злые глаза, большой сизый нос и обвислые губы выродка… Он поднялся на паперть, обвел стоящих перед ним людей тяжелым взглядом и, надув багровые щеки, прогнусавил: «На колени, мерзавцы!»

Воронецкий сделал короткую паузу. Денис Васильевич, нахмурив брови, курил трубку, молчал. Картина представлялась так ярко, что пояснения не требовались.

– А потом огласили судебную сентенцию, – рассказывал Воронецкий. – Сотни людей приговаривались к шпицрутенам, женщины к розгам… Сорок человек должны были пройти сквозь строй тысячи солдат по двенадцать раз… Представляете, какой ужас, какая бесчеловечность! Но осужденные продолжали оставаться в безмолвии… Признаюсь, я сначала подумал, что они не представляют того чудовищного, что должно произойти… Нет, я ошибся! Они отлично все понимали и не ожидали ничего иного, но ненависть, явственно обозначенная в их глазах, обращенных на Аракчеева, превышала все остальные чувствования… Они считали, что обречены страдать за правое дело, и не хотели унижать себя перед мучителями мольбами о пощаде… И это общее молчание смутило Аракчеева, я видел, как он заерзал на месте, затем сделал шаг вперед и объявил, что каждый, кто раскается в своем преступлении, будет прощен… Прошла минута, другая. Аракчеев ждал, они продолжали молчать. Воистину было что-то героическое в этом поединке поруганного права с необузданной, грубой силой!

– Неслыханно! – перебил Денис Васильевич. – Неужели никто так и не изъявил готовности принести повинную?

– Нет, какой-то хлопец в порванной свитке все же не выдержал, выдвинулся из толпы, видимо желая просить помилования. Тогда стоявший близ него отец, старик в нищенском одеянии, с белой бородой патриарха, угадав

намерение сына, поднял вверх сжатые в кулаки руки и, трясясь всем телом, крикнул: «Сенька, я прокляну тебя навек, если ты посмеешь!» И хлопец, повернув голову, увидев распаленное яростью лицо отца, сжался, как от удара обухом, и стал пятиться назад, и толпа расступилась и поглотила его…

Воронецкий смолк, захваченный силой запечатленной в памяти сцены, поправил дрожащей рукой словно душивший его ворот мундира, затем продолжал:

– Аракчеев, злобно кусая губы, махнул рукой… Взвизгнули флейты, по площади рассыпалась звонкая барабанная дробь. Солдаты стали хватать несчастных, засвистели шпицрутены, начались истязания… Выносили замертво одного, вели другого, а толпа по-прежнему хранила суровое молчание… Аракчеев тщетно продолжал предлагать прощение… Они молча глядели на него с ужасом и отвращением, как на чудовище, спущенное на них с цепи самим дьяволом![56]

Денис Васильевич, взволнованный до глубины души, сидя у стола, ерошил волосы. Воронецкий, не в силах более сдержаться, вскочил с места. Лицо его покрылось красными пятнами, и в светлых глазах стояли слезы.

– Двадцать пять наказанных в тот же день скончались, – сказал он приглушенным голосом. – Я не знаю, что со мною творилось тогда и творится каждый раз, как вспоминаю об этом… Вероятно, болезненная мнительность или не знаю что… Только мне чудится, будто брызги крови… тех несчастных… попали и на мой мундир… Меня словно что-то душит, все опротивело, служить не хочется… И я непременно взял бы отставку, если б имел возможность существовать на что-нибудь другое, кроме жалованья…

Ой прикрыл лицо руками и тяжело опустился в кресло. Денис Васильевич подошел к нему, положил на плечо руку:

– Я понимаю вас, милый Воронецкий… Но успокойтесь, вы молоды, время залечит душевную вашу рану… И помните, что вы занимаетесь благородным делом, воспитывая будущих воинов.

– Я боюсь, Денис – Васильевич, это недолго продолжится, – подняв глаза, задумчиво произнес капитан. – Комендант, побаиваясь вас, не чинит препятствий открыто, однако, считая затею весьма сомнительной, все больше с каждым днем мучает меня придирками.

– Хорошо. Я буду в Тульчине, поговорю на этот счет с Киселевым. А вы поезжайте в Киев. Я дам вам деньги и письмо к начальнику штаба четвертого корпуса Орлову. Он лучше, чем я, понимает в ланкастерском обучении… Посмотрите, как поставлено дело там, и действуйте у себя в том же духе![57]

Воронецкий уехал. А нарисованная им картина чугуевской расправы долго еще беспокоила воображение Дениса Васильевича. Зрели новые мысли, рождалось образное представление самовластья в виде чудовищного домового, который, по народным поверьям, наваливается на спящего и душит его до тех пор, пока тот не соберет всех сил и не привстанет разом.

Денис Васильевич вынужден был отказаться от некоторых старых своих взглядов, начал прилежно изучать политическую экономию Сея, конституционные книги и брошюры Бенжамена Констана и Бентама и все чаще задумываться над тем, что когда-нибудь самодержавие все-таки будет, пожалуй, заменено более справедливым свободным правлением. Правда, представлялось такое правление весьма туманно и в далеком будущем, но оно казалось привлекательным, хотя вместе с тем ограниченное сословными предрассудками мировоззрение заставляло сильно побаиваться, как бы при смене правления не произошло народное восстание, вторая пугачевщина, а от этого избави бог!

Но так или иначе – от душившего все живое самовластья ничего доброго он не ожидал.

Вопрос об оставлении службы не требовал дальнейших размышлений. Надо лишь подыскать более или менее, правдоподобные причины.

20 сентября он пишет Закревскому:

«Скажи по совести, что я в существе службы моей? Не правитель ли канцелярии корпусного командира?.. Какие же бумаги проходят через мои руки? Стоят ли они взгляда умного человека? Требуют ли они хоть минуты размышления?.. Где я убил и убиваю последние дни лучшей части жизни моей? В непросвещенных провинциях, в степях, в городках и деревнях; еще коли бы я тем приносил пользу отечеству: но какая польза ему, что я подписываю: «К сведению, справиться там-то и предписать и донести о том-то»? В сто раз глупее меня человек не то ли сделает?»

Сославшись также и на болезненное состояние, Денис Васильевич просит представить ему долгосрочный заграничный отпуск для лечения. Тогда подобные отпуска давались без обозначения срока и являлись наиболее удобной и приличной формой оставления службы.

Денис Васильевич не сомневался, что Закревский и на этот раз его выручит.

XIV

Была еще зимняя поездка в Тульчин. Там, в роскошном замке польского магната графа Мечислава Потоцкого, жил начальник штаба второй армии Павел Дмитриевич Киселев.

В замке с утра до поздней ночи не смолкал шум голосов. Киселев никому не отказывал в приеме, времени и любезности у него для всех доставало.

Проводя гуманные преобразования в войсках, он смело приближал к себе умную офицерскую молодежь, глядя сквозь пальцы на то, что многие приближенные не скрывали своих вольнодумных мыслей.

Киселев был холост, но держал превосходного повара и любил на славу угостить своих приятелей.

Денис Васильевич, приехавший к обеду, застал за столом большое общество знакомых и незнакомых офицеров. Среди присутствовавших был и старый его друг князь Сергей Григорьевич Волконский, и пожилой, степенный, с выпуклыми глазами армейский генерал-интендант Юшневский, и черноволосый, подтянутый адъютант главнокомандующего подполковник Пестель, сидевший рядом с красавцем ротмистром Ивашевым, и капитан Иван Григорьевич Бурцов, петербургский знакомый, ныне старший адъютант Киселева, и юный, недавно прибывший в армию прапорщик Басаргин[58].

Разговор шел о наделавшей много шума речи Михаила Орлова, произнесенной им не так давно в Киевском библейском обществе. Восхваляя ланкастерскую систему взаимного обучения, говоря о необходимости широкого развития просвещения и свободомыслия, Орлов смело и резко обрушивался на хулителей всего нового, политических староверов, защитников рабства и невежества, которые «думают, что вселенная создана для них одних, и присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение…»

Денису Васильевичу эта речь была хорошо известна. Ему прочитал ее сам Михаил Федорович, у которого он гостил два дня проездом в Тульчин. Выслушав, Денис Васильевич заметил:

– Я почитаю тебя умнейшим человеком, я занялся по твоему примеру ланкастерским обучением, следовательно, разделяю мнение твое о полезности сего предприятия, однако ж твое красноречие способно скорее погубить его, нежели возвысить. Ты затеял опасную игру, дразня гусей и не имея прута в руках, чтобы отбиться!

– Друг мой! – возразил Орлов. – Правила моей жизни не позволяют мне уклоняться от обличения того, что противно человеколюбию и здравому рассудку.

– Все это красивые слова, Михайла, не более! Но я тебе прямо

говорю, что ты болтовней своей воздвигаешь только преграды в службе и делах своих, коими можешь быть истинно полезен отечеству…

– Я не могу согласиться с тобой, ибо убежден, что множество других людей оценят мое выступление иначе, чем ты, – сказал Орлов.

И вот теперь в столовой Киселева, слушая, с какой восторженностью говорят все о смелом выступлении Орлова, какое большое значение его речи придают, Денис Васильевич испытывал странное чувство недоумения и неясной душевной тревоги.

Больше всех восхищался Волконский:

– Самое замечательное в этой речи, господа, что она не оставляет нас равнодушными… Каждое слово развивает во мне чувства гражданина! Я вижу в Михаиле Орлове истинного патриота, желающего искоренения общественных пороков и устройства справедливых отношений между людьми.

– А какова его критика староверов и гасильников! Какова сила воздействия на общественное мнение! – поддерживали другие. – Помните, господа, еще Дюкло писал, что «общественное мнение рано или поздно опрокидывает любой деспотизм…».

Всплывали одна за другой новые, не менее острые темы. Говорили без стеснения о многих язвах отечества, о жестоких порядках и нравах, об ужасах аракчеевщины. И что показалось Денису Васильевичу особенно странным, Киселев слушал с видимым сочувствием, со многим соглашался и при тостах дружески со всеми чокался.

Молчал один Пестель. Волевое, умное лицо его оставалось непроницаемым.

И лишь когда Бурцов заговорил о том, как важно для блага отечества и сограждан нравственное совершенствование путем просвещения, лицо Пестеля слегка оживилось.

– А вам не кажется, Иван Григорьевич, – спросил он вполне учтиво и вместе с тем чуть иронически, – что для указанной вами великой цели одного нравственного совершенствования маловато?

Бурцов явно смутился:

– Во всяком случае, я убежден… Это одна из благороднейших задач нашего времени…

– А не угодно ли вам признать, – спокойно и твердо продолжал Пестель, – что мы слишком много говорим о благе отечества, о благороднейших задачах нашего времени и слишком мало действуем?

Бурцов беспокойно переглянулся с Ивашевым и пожал

плечами:

– Не понимаю, Павел Иванович… Просветительные меры, по моему разумению, и есть в нынешних обстоятельствах наиполезнейшее действие.

Черные умные глаза Пестеля насмешливо блеснули.

– Сколько же лет, вы полагаете, потребуется, чтобы одними подобными средствами прекратить хотя бы истязание солдат и военных поселенцев?

Бурцов, чувствуя неловкость, хотел что-то возразить, но тут вмешался Киселев:

– А какие же разумные, зависящие от нас самих действия имеете в виду вы, Павел Иванович?

В столовой сделалось совершенно тихо. Все взоры обратились на Пестеля.

– Всякие действия, ваше превосходительство, направленные не столько к совершенствованию, сколько к облегчению жизни сограждан, – отчеканивая каждое словом сказал Пестель, – в том числе и ваши действия во второй армии, снискавшие вам признательность наших храбрых воинов…

Денис Васильевич не знал, конечно, что в Тульчине существует тайное общество и многие из офицеров, сидевших с ним за столом, являются членами этого общества, но все же кое-что в их поведении показалось загадочным. Ему живо припомнилась прошлогодняя встреча с петербургскими вольнолюбцами у Тургеневых. Там все было ясней. Собрались просвещенные, кипевшие негодованием против самодержавия молодые люди в частном доме, поспорили, пошумели. А ведь здесь люди военные, решительные, у многих под командой воинские части! И чувствовалось, что за либеральными рассуждениями таятся какие-то скрываемые намеки и намерения, недаром Бурцов переглядывался с Ивашевым и все так притихли, ожидая ответа Пестеля на вопрос Киселева.

Впрочем, когда вечером Денис Васильевич, оставшись наедине с Павлом Дмитриевичем, высказал свои опасения, тот со спокойной улыбкой на лице сказал:

– Я сам знаю, любезный друг Денис, что многие из офицеров штаба участвуют в прениях и выражаются слишком вольно, но кто же нынче не грешит этим? В салонах великосветских даже наши барыни иной раз не прочь поспорить о политических делах… Дух времени, с этим надо считаться!

– Однако ж здесь не салон, а штаб армии…

– Ну так что же? Разве, надев военный мундир, порядочный человек теряет право возмущаться тем, что кажется ему несправедливым? А предметов для возмущения, согласись, у нас

немало… Военные поселения, жестокость начальников, аракчеевская расправа… Ты знаешь, как осторожен Закревский, а и тот после чугуевских казней писал мне, что Аракчеев вреднейший человек в России…

– Все это верно, что и говорить! – согласился Денис Васильевич. – Право, волос дыбом становится, как подумаешь о несчастных, ему пожертвованных…

– В том-то и дело! Попробуй-ка осудить после этого Пестеля, когда он говорит, что военные поселения – жесточайшая несправедливость, которую только разъяренное зловластие выдумать могло!

– А Пестель, по всему видно, цену себе знает и умница!

– Еще бы! Витгенштейн про него так отзывается: «Пестель на все годится – дай ему командовать армией или сделай министром, – везде он будет на своем месте». Я же умных людей никогда не чуждался, стараюсь извлечь пользу из их способностей и усердия.

– А как тебе нравится красноречие нашего друга Михайлы Орлова?

– Я писал ему недавно, что суждения его прекрасны в теории, а на практике неосуществимы.

– Вот и я таким же образом его опровергаю, да он мне не внимает, – вздохнул Денис Васильевич – Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не столкнуть самовластья с России. Этот домовой еще долго будет давить ее тем свободнее, что, расслабясь ночной грезою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом…

– Будем надеяться, что до последнего дело не дойдет, – произнес Киселев. – Уверен, правительство в конце концов само исправит положение хорошими, разумными законами.

– Признаюсь, тут я не совсем твоего мнения, – возразил Денис Васильевич. – Вряд ли наше правительство даст нам другие законы, как выгоды оседлости для военного поселения или рекрутский набор в Донском войске!

Киселев посмотрел на него несколько удивленными глазами:

– Извини, Денис, мне кажется, в твоих мыслях нет ясности. Ты считаешь, что самовластье давит страну и не способно сделать ничего разумного, а с другой стороны, опровергаешь Орлова. Как же тебя понять? Чего ты ожидаешь?

– В настоящем вижу мало хорошего, во всяком случае, – буркнул Денис Васильевич, чувствуя, что и в самом деле беспокойные мысли его смутны и противоречивы.

– А в будущем? Ты же поэт, а вашему брату свойственно туда заглядывать, – улыбаясь, сказал Киселев.

– А на будущее я смотрю не как поэт и не как политик, а как военный человек, – взъерошивая по привычке волосы, отозвался Денис Васильевич. – Я представляю себе свободное правление, как крепость у моря, которую нельзя взять блокадою, а приступом – много стоит. Но рано или поздно поведем осаду и возьмем ее осадою, не без урона рабочих в сапах, особенно у Гласиса, где взрывы унесут не малое их число, зато места взрывов будут служить ложементами и осада все будет продвигаться, пока, наконец, войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева… Но Орлов об осаде и знать не хочет, он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия двигается, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл и Патрокл, которые вдвоем хотели взять Трою, предприняли приступ… Вот мое мнение[59].

– Значит, отвергая возможность свободного правления в настоящее время, ты все же веришь, что в конце концов оно у нас будет?

– Да, может быть, я и заблуждаюсь, но мне так думается, по крайней мере, – задумчиво произнес Денис Васильевич. – Все свершается в свой срок и в свое время!

17 марта 1820 года долгожданный приказ был получен. Давыдова зачислили в список лиц, «состоящих по кавалерии», и предоставили бессрочный отпуск для излечения болезни.

Расстаться с военной службой, которой отдал почти двадцать лет, было, конечно, нелегко. Но служить так, как тогда требовалось, он не мог.

Преуспевающий полковник Шварц во время полевых занятий ложился на землю, чтоб лучше видеть «игру солдатских носков», ревел диким голосом при виде неправильно пришитой пуговицы, выдергивал у провинившихся нижних чинов усы, заставлял солдат плевать в лицо друг другу. Однажды, заметив, что утомленная дневными учениями рота солдат возвращается в казармы недостаточно бодрым шагом, Шварц приказал всей роте снять сапоги и целый час гонял несчастных солдат босыми по колючей стерне. Жители тех мест, где стоял полк Шварца, с ужасом глядели, как быстро растут могилы забитых палками солдат.

А кто в армии не знал другого аракчеевского ставленника, Мартынова? Тупого и жестокого этого фрунтомана даже в стихах увековечили:

… Источник страха роты смирной,
Бескрылый, – дланями крылат,
Известный службою единой,

Стоящий фронта пред срединой,
Веленьем чьим колен не гнут,
Чей крик двор ротный наполняет,
Десница зубы сокрушает,
Кого Мартыновым зовут!

Давыдов не мог более равнодушно наблюдать, как бесчинствуют в родимых войсках аракчеевцы, не мог оставаться в среде Шварцев и Мартыновых. И эта причина, в цепи других, была одной из главных для оставления службы.

«Наконец я свободен, – писал он Закревскому, – учебный шаг, ружейные приемы, стойка, размер пуговиц изгоняются из головы моей! Шварцы, Мартыновы, Гурки и Нейдгарты, торжествуйте, я не срамлю ваше сословие! Слава богу, я свободен! Едва не задохся; теперь я на чистом воздухе».

Над Москвой плыл тяжелый звон колоколов. Был великий пост. В доме на Пречистенке стояла тишина, пахло сушеными грибами. Соня ожидала ребенка, ходила по комнатам в капоте и стоптанных туфлях, подурневшая и скучная. Мундир с генеральскими эполетами висел в шкафу.

Заложив руки за спину, Денис Васильевич стоял в своем кабинете у окна и думал.

Начиналась новая полоса его жизни…

Глава пятая

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!

Е. Баратынский

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
Е. Баратынский

Во второй половине июня 1820 года Денис Васильевич вместе с женой впервые приехал в Верхнюю Мазу. Соня не оправилась как следует после тяжелых родов и смерти преждевременно появившейся на свет девочки. Поездку в степную деревню ей посоветовали врачи. А он хотел пожить в глуши, поработать над военной прозой. Впрочем, имелась еще одна тайная, скрытая даже от жены причина, побудившая его охотно согласиться на дальнюю поездку.

В Москве ожидали приезда императора. Закревский, искренне желавший, чтоб старый друг Денис возвратился на военную службу и получил под начальство кавалерийскую дивизию, решил с этой целью, пользуясь случаем, устроить ему аудиенцию у государя. Денис Васильевич отказался. Довольно с него прежних унижений! Ему даже мысль о подобном свидании была ненавистна. В переписке с Закревским он всегда соблюдал осторожность, а тут, отвечая на предложение, распахнулся:

«Ты мне пишешь, чтобы я обдумал, представляться ли мне государю во время проезда его через Москву или нет? Я очень и давно это обдумал, ибо нынче же еду в новую деревню мою, где пробуду до октября месяца…»[60]

Деревня на первых порах не понравилась. Хаты верхнемазинцев, словно ласточкины гнезда, были слеплены из хвороста и глины, покрыты старой, замшелой соломой и производили жалкое впечатление. Господский дом, построенный в старом стиле, с бесчисленными полутемными комнатушками и дрожавшими от ветхости деревянными колоннами, требовал немедленного ремонта. Сад находился в запустении, от большого полупересохшего, подернутого зеленой ряской пруда пахло тлением. А вокруг села раскинулась неоглядная, казавшаяся безжизненной, сухая, желтая, знойная степь. Глазу не на чем было остановиться.

Но в конце месяца в Поволжье выпали обильные дожди, и все преобразилось. Небесная голубизна стала выше и ярче, запели и засвистели примолкшие в духоте птахи, поднялись пожухшие степные травы, затрепетали над ними стайки разноцветных бабочек, девственно чистый воздух наполнился медовым запахом полевых цветов.

В доме сделали необходимую перестройку, сад привели в порядок. Из Самары привезли недоставшую мебель. В соседнем селе Репьевке у помещика Бестужева купили хорошо выезженных лошадей. Спокойная и здоровая деревенская жизнь вошла постепенно в свою колею.

Денис Васильевич каждый день совершал далекие верховые прогулки и все более очаровывался степным раздольем. Соня

часто сопровождала мужа. Она оказалась прекрасной наездницей, к тому же знала всю окрестность – ведь здесь прошли ее детские годы. Степной воздух действовал на Соню благотворно. Было приятно видеть, как быстро она крепнет и покрывается золотистым загаром!

Управлял имением дядюшка Мирон Иванович, отставной поручик, дальний родственник покойного генерала Чиркова. Соня вмешиваться в дела не собиралась, хотела подольше отдохнуть, но так получилось, что и сам дядюшка и приказчики начали обращаться к молодой барыне со всевозможными хозяйственными вопросами, и ей волей-неволей пришлось судить и рядить людей, смотреть, как идет уборка и молотьба хлебов, словом, быть помещицей.

Денис Васильевич никакой склонности к подобным занятиям не обнаруживал и жене, попробовавшей поделить с ним хозяйственные заботы, откровенно сознался:

– Лет пять назад взялся я сестре Сашеньке помогать, да ничего не вышло! Нет у меня этого таланта, милая Сонечка… Ты хозяйничай как хочешь, лишь здоровью своему не повреди, а меня не приневоливай!

Помыслы его были сосредоточены на другом. Решив во что бы то ни стало издать «Опыт о партизанах», он еще раз перечитал рукопись и пришел к выводу, что ее необходимо «совершенно перекроить». Многое изложено сухо, а главное, не получили достаточного развития мысли, направленные в защиту партизанской системы от посягательств военных методиков-педантов. Ему было известно, что партизанскую систему прежде всего не желает признавать сам царь, поручивший барону Толю сочинять «Правила о службе на передовых постах и вообще по всех малых отрядах», но все равно он, Денис Давыдов, свидетель и участник стольких славных партизанских действий, должен утверждать свое мнение на этот счет. Партизанская система, созданная не штабными методиками, а опытом русских партизан, существует, господа, хотите или не хотите вы признавать это!

Сжато рассказав о том, как действовали партизанские отряды в двенадцатом году, Давыдов убедительно доказывает, что эти действия носили не случайный характер, а были хорошо продуманы, и накопленный партизанский опыт представляет большую ценность, ибо может быть не менее успешно использован при защите отечества в будущем.

Отиравшиеся близ царя методики, вроде барона Дибича и барона Толя, ограничивали деятельность партизан обычной службой на передовых постах и разведкой. Денис Васильевич рисует совершенно иную картину:

«Летучие партии наши зорко и неусыпно маячут по всему неприятельскому пути сообщения, пробираются в промежутки корпусов, нападают на парки и врываются в караваны съестных транспортов. Приноравливая извороты свои к изворотам армии, они облегчают ея усилия и довершают ея успехи. Через сокрушительные наезды их неприятель разделяет и внимание и силы, долженствующие стремиться одною струею к одной цели; невольно действует *ощупью,* вопреки свойству войны наступательной и теряя надежду отразить сии неотразимые рои наездников, коих войско его ни догнать, ни отразить, ни припереть к какой-либо преграде не в состоянии…»

Денис Васильевич сидит за круглым столом в беседке, устроенной под старыми липами в конце сада. Благоухает ласковый предвечерний ветерок. Тихо колышется листва на деревьях. Монотонно стрекочут в степи кузнечики.

Рукопись лежит перед ним, вся испещренная поправками и вставками. Нелегкое это дело быть писателем! Особенно когда приходится постоянно помнить о цензуре. Он перелистывает только что переделанную главу, где говорится о выборе начальника партии, вдруг морщинки, собравшиеся на его лбу, разглаживаются, лицо принимает довольное выражение. Все-таки проклятых методиков зацепил он тут крепко!

«… Назначение *методика,* – он не забыл подчеркнуть это слово, – с расчетливым разумом и со студеною душою, хотя бы то было и по собственному его желанию, вреднее для службы, нежели выбор оного или по очереди. Сие полное поэзии поприще требует романического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою прозаическою храбростью. Это строфа Байрона! Пусть тот, который, не страшась *смерти,* страшится *ответственности,* остается перед глазами начальников: немый исполнитель в рядах полезнее того ярого своевольца, который всегда за чертою обязанностей своих, от избытка предприимчивости в сравнении с предприимчивостью начальника…»

Последняя фраза, правда, несколько длинновата и туманна, но кто пожелает докопаться до смысла, тот докопается. Зато тем, кого может заинтересовать вопрос, почему замалчивается славная деятельность партизан, отвечает он прямей и проще:

«К несчастью, всякое *новое* или возобновленное изобретение встречает более порицания, нежели одобрения, и потому все рвение партизан в сию войну навлекло на них одно только негодование тех чиновников, коих оскорбленное самолюбие не простило *смельчакам,* оказавшим успехи, независимо от их влияния, и наравне с ними занявшими место в объявлениях того

времени…»[61]

Денис Васильевич набил табаком трубку, закурил, задумался. Не всем по душе придется эта книжечка! Далеко не всем! Ничего не поделаешь!

* * *

Однажды утром камердинер ему доложил:

– Странник прохожий у нас объявился. В людской сидит, просит допустить его к вам.

– А что ему от меня надо?

– – Тайность какая-то, сказывает, у него имеется.

Денис Васильевич заинтересовался. В доме неизвестного принимать не решился – Соня до ужаса боялась прохожих, – велел проводить в садовую беседку.

Странник имел вид самый жалкий. Грязная рубаха, подпоясанная тесемкой, и холщовые заплатанные порты составляли все его одеяние. На загорелом до черноты лице и свалявшейся бороде густым налетом лежала сизая пыль. Странник был высок ростом, сильно сутулился, часто кашлял.

– Ты кто таков? Откуда? – спросил Денис Васильевич, окинув его суровым взглядом.

На лице странника появилось подобие робкой улыбки.

– Не признаете, Денис Васильевич?

В хриплом голосе впрямь улавливалась какая-то знакомая интонация, но память ничего не подсказывала. Денис Васильевич промолчал. А странник со вздохом продолжал:

– Оно и мудрено признать-то, ежели столько годов жизнь меня ломает… Терентий я, который в партизанах ходил…

Денис Васильевич не мог скрыть изумления. Терентий запомнился молодцеватым, всегда подтянутым и опрятно одетым. Прошло восемь лет – срок достаточный, чтоб изменить человека, но не сделать его неузнаваемым!

– Что же с тобой случилось, любезный? И как ты попал сюда?

Терентий, ничуть не робея, рассказал обо всем обстоятельно. И об издевательствах поротого барина, и о своей несчастной доле, и о бегстве из родных мест.

– Четвертый год без всякого вида живу, по глухим деревням и лесам укрываюсь, – говорил он тихо, покашливая в руку. – Побывал и на украинских землях и у донских казаков; где поработаешь малость, где христовым именем, – свет не без добрых людей, – да только долгого приюта бродяге никто не дает, каждый полиции опасается… А потом прослышал, будто в

заволжских степях бездомный народ свободно селится, задумал туда добраться… А под Сызранью о вашем приезде в Верхнюю Мазу проведал, ну и не стерпел, поворотил на ваш проселок, давно была у меня думка-то заветная повидать вас… как вы меня прежде в партизанах знавали и о господине моем жестокосердном хорошо осведомлены… Может, облегчение какое мне сделаете?

Крепко призадумался Денис Васильевич, слушая бывшего партизана. Вот она, горькая действительность! Наказанный за измену отечеству помещик благоденствует. Спасавший отечество от чужеземного ига крестьянин становится бездомным бродягой. Несправедливость вопиющая! Необходимо, конечно, оказать помощь Терентию, но как и чем? Он бежал от помещика, следовательно, совершил преступление и может быть в любую минуту и в любом месте схвачен полицией. А укрывательство беглых строго карается законом. Значит, этого нельзя. А что можно? Дать денег, снабдить одеждой и отпустить бродяжничать? Такому наиболее легкому решению вопроса противилась совесть. Терентий страдал за свою партизанскую деятельность. Денис Васильевич, всегда и всюду защищавший партизан, не мог оставить его в беде.

– У тебя кто дома-то из родных остался? – спросил он Терентия.

– Кабы кто там был, разве убежал бы? Один я как перст, Денис Васильевич…

– А о том, кто ты таков, никому в наших местах не рассказывал?

– Не извольте беспокоиться, я сам себе не враг.

– Ну так вот что, любезный. Оставайся, если желаешь, у нас, работа в хозяйстве найдется, лесу на избу дам и жалованье положу, а дальше будет видно!

– Премного благодарен, по гроб жизни помнить буду, – растроганно и тихо произнес Терентий. – Да кабы вам самим беды не нажить… Бумаг-то у меня никаких не имеется!

– Знаю! Это, брат, самое скверное! – сказал Денис Васильевич. – Деревня наша, положим, не на бойком месте, полиция сюда не часто заглядывает, а все же… бумаги для тебя, так или иначе, выправлять придется! – Он помолчал немного, насупив брови и потирая в раздумье лоб, потом заключил загадочными словами: – Есть одна надежда… Говорить прежде времени нечего. Может быть, и не удастся, а может быть, и обойдется по-хорошему… Попробуем во всяком случае!

Выправить бумаги беглому крепостному человеку! Терентий считал такую задачу неразрешимой и с удивлением смотрел на Дениса Васильевича… Что же такое он задумал?

Терентию очень хотелось задать этот вопрос, но он не осмелился.

II

Возвратившись в Москву поздней осенью, Денис Давыдов был оглушен новостью, которую не замедлил сообщить ему Дмитрий Никитич Бегичев:

– В Петербурге кутерьма идет… Семеновцы взбунтовались!

– Помилуй, с чего же это? – воскликнул Денис Васильевич. – Ведь Семеновский гвардейский полк особенно любим государем, семеновцы пользуются всякими льготами, им живется как будто не плохо!

– Так оно прежде и было, – кивнув головой, подтвердил Дмитрий Никитич. – После Отечественной войны и заграничных походов, где семеновцы, сам знаешь, держались геройски, в полку совсем уничтожили телесные наказания, офицеры стали обращаться с нижними чинами вежливо, полковой командир Яков Алексеевич Потемкин не изнурял солдат лишней муштрой… Но такой порядок нашему Змею Горынычу графу Аракчееву как раз и не понравился! Потемкин был отрешен от должности, а на его место назначен хорошо тебе известный людоед полковник Шварц…

– Позволь! Я же слышал, будто Шварца из армии перевели в лейб-гвардейский гренадерский?

– Совершенно верно! Он некоторое время и зверствовал над гренадерами, затем его приставили к семеновцам, причем Аракчеев сам сказал ему, что «надо выбить дурь из голов этих молодчиков».

– Ну, теперь причины возмущения для меня ясны… В человеколюбии Шварца не упрекнешь! – вставил Денис Васильевич. – Рассказывай, что произошло дальше?

А дальше было так. Жестокие притеснения и палочная расправа вывели семеновцев из терпения. В ночь на 17 октября головная «государева рота» самовольно выстроилась во фронт, солдаты вызвали ротного и батальонного командиров и, заявив, что под начальством Шварца служба сделалась невыносимой, потребовали его смещения. Перепуганный Шварц поскакал к бригадному командиру великому князю Михаилу Павловичу. Тот, явившись в казармы, стал увещать солдат не смутьянить, они с редким единодушием продолжали настаивать на своем.

На следующий день корпусной командир Васильчиков арестовал всю роту. Весть об этом всполошила полк. Семеновцы вышли из казарм, построились на плацу и объявили, что не

вернутся в казармы, пока не освободят арестованной роты и не сменят Шварца.

Император Александр в то время находился на очередном конгрессе в Троппау. Оставшееся в столице начальство растерялось. Аракчеев, сказавшись больным, не показывал носа. Генерал-губернатор Милорадович без толку гарцевал перед семеновцами, его уговоры ни к чему не привели. Приехавшую в карете императрицу Марию Федоровну солдаты выслушали почтительно, дружно прокричали «ура», но с места не тронулись.

Между тем стали обнаруживаться признаки волнения в других гвардейских полках, обеспокоенных участью товарищей, усилился ропот в городе, появились неизвестно кем писанные прокламации, разъясняющие, за что стоят семеновцы[62]. Имя изверга Шварца вызывало общую ярость. Какие-то вооруженные солдаты ворвались в его квартиру. Шварц едва успел выпрыгнуть через окно на двор, где зарылся с головой в навозную кучу, там не догадались его искать.

В конце концов Васильчиков собрал военный совет. Требовались решительные меры, чтобы прекратить смуту. Семеновский полк в полном составе был отправлен в Петропавловскую крепость. Краса гвардии погибла! В Троппау с донесением о чрезвычайном и прискорбном происшествии поскакал адъютант корпусного командира Петр Чаадаев.

А спустя несколько дней пришел царский приказ судить головную мятежную роту военным судом, остальные расформировать по армейским частям и гарнизонам.

Размышляя над этим событием, Денис Васильевич невольно сопоставил его с другими, столь же необычайными событиями, совершавшимися сейчас повсюду. В Испании еще в начале года молодые офицеры Рафаэль де Риего и Антонио Квирога, опираясь на созданную ими военную партию, провозгласили конституцию, заставив короля Фердинанда присягнуть ей на верность. По всей Италии действовали венты грозных и неуловимых карбонариев, добивавшихся национальной независимости страны и уничтожения монархического правления. Летом карбонарии успешно произвели революцию в Неаполе. В Португалии восставший народ изгнал жестокого диктатора Бересфорда. На юге России бурно развивалась деятельность гетерии – греческого революционного общества, подготовлявшего освобождение Греции от турецкого долголетнего владычества.

А на Дону генерал Чернышев расстреливал картечью крестьян и казаков, поднявщихся за старые донские вольности. Не затихали волнения среди военных поселенцев, все чаще пылали в разных концах страны подожженные помещичьи усадьбы.

Что-то ощущалось предгрозовое, что-то назревало, вызывая глухое душевное томление.

Взбудораженные мысли не находили выхода. В Москве на этот раз, кроме Бегичевых, близких не было. Братья Лев и Евдоким служили в Петербурге. Ермолов на Кавказе. Раевские в Киеве, Базиль в Каменке, Вяземский в Варшаве. Не с кем по душам поговорить, не с кем пооткровенничать! Дмитрий Никитич Бегичев наслаждался домашним уютом, пирогами и кулебяками, толстел и взирал на все, что происходило за стенами дома, с завидным равнодушием. Новые знакомые, с которыми приходилось встречаться в обществе и в английском клубе, где Денис Васильевич изредка бывал, к распашным беседам не располагали.

Вот почему он с особенной охотой собирался в Киев, куда во время зимних контрактов привозили ему арендные деньги из Балты.

В Киеве он надеялся повидать и Раевских и каменских своих родных. Базиль, Александр Львович и Аглая жили в своей деревне. Вероятно, они тоже будут на контрактах, тем более что ожидалась помолвка Катеньки Раевской с Михаилом. Орловым, недавно получившим благодаря Киселеву пехотную дивизию, стоявшую в Кишиневе.

Да, предстоящая поездка обещала быть необычайно интересной!

Денис Васильевич выехал в Киев в первых числах января 1821 года. Но дорогой намеченный маршрут немного изменил. На одной из почтовых станций знакомый офицер, возвращавшийся с юга, сообщил, будто он слышал, что высланный из столицы поэт Александр Пушкин гостит сейчас в Каменке у Давыдовых.

Слух показался правдоподобным. Пушкин летом путешествовал по Кавказу и Крыму с Раевскими. Не удивительно, что Николай Николаевич представил его гостеприимным своим братьям. Денис Васильевич решил заехать сначала в Каменку. Если слух вымышлен и хозяева на контрактах, он переночует и отправится вслед за ними. Крюк небольшой!

Однако хозяева были дома. И не успел еще Денис Васильевич снять шубу, как выбежавшая в переднюю вслед за Базилем хорошенькая синеглазая, похожая на куколку Адель, дочь Аглаи Антоновны, возвестила:

– А у нас Пушкин!

Базиль сам хотел удивить Дениса этой новостью и недовольно покосился на племянницу.

– Скажи-ка лучше, голубушка, кто тебе позволил сюда выскакивать?

Адель сконфузилась и убежала. Базиль продолжал:

– Александр Сергеевич приехал из Кишинева в конце ноября, к матушкиным именинам…

– Вот что! И вероятно, вместе с Михайлой Орловым?

– Конечно! Они там подружились крепко. И теперь Пушкину вроде как пора в Кишинев возвращаться, а он во что бы то ни стало желает на помолвку Михайлы попасть.

– Когда же помолвка-то? Я слышал, будто в середине января предполагается?

– Михаила в Москву по своим делам поехал, отложили до первых чисел февраля. А Пушкина мы у себя, с дозволения начальства, задержали, чтобы вместе в Киев поехать.

– А какому же начальству вверены попечение и надзор за Пушкиным?

– Бессарабскому наместнику генералу Инзову. Старик, впрочем, славный. Мы отписали ему, будто Пушкин простудился, почему не может в назначенный срок возвратиться в Кишинев, и, конечно, Инзов догадался, что болезнь придумана, как оправдание задержки, однако ж весьма любезно разрешил Пушкину пребывать у нас до тех пор, «поколе он не получит укрепления в силах».

– Ну хорошо, а где же он, певец Руслана? Почему не вижу?

– Беседует с музами в укромном уголке, именуемом в сих местах «карточным домиком», – произнес, улыбаясь, Базиль. – Ступай к нашим дамам, представляйся, целуй ручки, да не задерживайся… Я буду ждать тебя в кабинете. Мы пойдем к нашему изгнаннику!

Денис Васильевич, пригладив перед зеркалом волосы и подкрутив усы, направился на половину старой барыни Екатерины Николаевны, но в танцевальном зале, через который нужно было проходить, его ждала Аглая.

Они не виделись более двух лет. И он не без трепета душевного взял и поднес к губам все еще прелестную, девически пухлую руку. Аглая поцеловала его в лоб.

– Итак, вы женаты, довольны, счастливы?

Он взглянул ей прямо в глаза, ответил откровенно:

– Женат, доволен… А счастлив ли? Не знаю!

Тонкие брови ее слегка приподнялись.

– Вот как! А я полагала, вы упиваетесь счастьем, потому и забыли про своих старых друзей и про свои старые… привязанности!..

– Нет, со мною этого не может случиться, Аглая, – горячо возразил он, вновь беря ее руку. – Могу ли я предать забвению милые сердцу дни и часы, протекавшие близ вас? Никогда! Как

бы ни сложилась моя жизнь, я всегда буду вас хранить в своем сердце и в своей памяти…

– Верю, мой добрый, милый друг, – благодарно сказала она, и тут же вдруг на лице ее обозначилась привычная кокетливая гримаска, а веселые глаза блеснули лукавым огоньком. – И, надеюсь, вы теперь не станете, как прежде, безумствовать, если заметите, что кто-то другой удостаивает меня вниманием не только в воспоминаниях?

Кто-то другой! Намек был слишком прозрачен. В Каменке, кроме Пушкина, никто не гостил. Денис Васильевич, продолжая разговор в том же легком, шутливом тоне, на который перешла Аглая, поинтересовался:

– Может быть, дорогая кузина, вы успели сделать вашим рыцарем Пушкина?

Аглая рассмеялась.

– А что вы думаете? Пушкин очень мил, забавен, остроумен… Я же, как вам известно, всегда покровительствовала поэтам, а иногда их и вдохновляла… Один из них некогда посвятил мне такие строки:

> … Ты улыбкою небесною
> Разрушаешь все намеренья
> Разлюбить неразлюбимую!

Денис Васильевич, припомнив время, когда писались им эти стихи, подхватил:

– Клянусь, это чистейшая правда, и несчастному поэту пришлось поплатиться за свои нежные чувства пятидневным презрением покойного князя Багратиона…

Проболтав таким образом с ветреной кузиной еще несколько минут, затем навестив старую барыню, Денис Васильевич зашел за Базилем, и они, накинув шинели, поспешили к Пушкину.

Карточный домик, находившийся в конце сада, представлял собой небольшой деревянный, с четырьмя колоннами павильон, где помещался бильярд и карточные столы. Во время съезда гостей здесь обычно уединялись мужчины, шла игра в карты, велись за бокалом доброго вина горячие вольные споры.

А теперь этот опустевший домик, перед окнами которого могучий дуб раскинул серебрившиеся инеем ветви, был облюбован для работы Пушкиным[63].

Базиль, гордившийся дружбой с опальным поэтом, сам следил, чтоб печи в домике были хорошо натоплены, и чтоб не было угара, и чтоб дворецкий не забывал с утра ставить на стол тарелку любимых Пушкиным моченых антоновских яблок.

Когда Денис Васильевич и Базиль, тихо приоткрыв, дверь, вошли в домик, Пушкин в коротком кафтане и бархатных молдаванских шароварах лежал на бильярде и, поскрипывая пером, быстро заполнял лежавшие перед ним листки ровными стихотворными строками.

Базиль полушепотом его окликнул:

– Александр Сергеевич!

Пушкин, чуть вздрогнув, повернул голову и увидев стоявшего за Базилем улыбающегося Дениса, соскочил с бильярда и, запахивая кафтан, воскликнул:

– Бог мой! Не сон ли это? Денис Васильевич! Каким образом?

– Ехал на контракты, душа моя, а услышал, что ты здесь…

Пушкин договорить не дал, бросился к нему на шею. Они крепко расцеловались.

А тут явился и камердинер с шампанским. Хлопнули пробки. Завязался оживленный разговор. Денис Васильевич, узнав о некоторых неизвестных подробностях высылки Пушкина из столицы, напомнил:

– А ведь я тебя предупреждал, Александр! Ты мне не внял, не угомонился и теперь повторяешь мой путь…

Базиль, бережно собиравший разбросанные повсюду пушкинские черновые листки, откликнулся с живостью:

– Любопытно, в самом деле, получается, Денис! Мне как-то в голову не приходило… А ведь тебя выслали из Петербурга почти в том же возрасте, что и Пушкина, и причины высылки у вас одинаковы?..

– Не забудь, – добавил Денис Васильевич, – что Александр, как и я, отправляется на юг и находит утешение…

Пушкин, улыбаясь и поблескивая глазами, заключил:

– Среди семейства почтенного генерала Раевского и в деревне милых, умных отшельников братьев Давыдовых! Какое чудесное сходство биографических черт! И, бог свидетель, я ничего не имею против дальнейшего продолжения… Быть участником великих событий, исполинских битв, предводительствовать отважными партизанами… Жизнь, полная романтики! – Он бросил теплый, но отчасти и озорной взгляд на сидевшего в кресле и раскуривавшего трубку Дениса и продолжил: – Впрочем, я не стал бы возражать и против хорошенькой жены и против генеральского чина…

– Ну, брат, если б тебе достался этот чин, как мне, ты бы, пожалуй, отказался, – промолвил добродушно Денис Васильевич. – Да и на что тебе генеральство? Ты без того молодец и полный генерал на Парнасе!

– Как сказать! – весело и быстро ответил Пушкин. – Вам-то

царь все-таки и жалованьишко платит и орденами награждает, а мне тридцатью шестью буквами российского алфавита кормиться приходится…

– А я тебя, душа моя, могу надоумить, как стихами чины добывать, – хитровато прищурив глаза, сказал Денис Васильевич. – Проживающая в одном из западных наших городов жена канцеляриста, воспользовавшись проездом государя, умудрилась преподнести ему подушечку, на которой довольно искусно вышила шелками овцу и сделала такое стихотворное признание:

Российскому отцу
Я вышила овцу
Сих ради причин,
Дабы мужу дали чин!

И, представь, ловкая баба своего достигла, государь велел пожаловать канцеляриста классным чином…

Пушкин расхохотался. Базиль, подсев к нему на диванчик, шутя заметил:

– А случай, что ни говори, достоин внимания! Ты бы, Александр Сергеевич, тоже попытал счастья!

– Сам о том подумываю, – ответил Пушкин, едва сдерживаясь от смеха. – И стихи готовы… Словно для такого случая писаны!

Он обвел собеседников веселыми глазами и прочитал:

Воспитанный под барабаном.
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

Базиль, глядя с восхищением на Пушкина, захлопал в ладоши:

– Представляю, как бы сия любопытная эпиграмма выглядела на подушечке!

Денис Васильевич, смеясь, добавил:

– Каждое слово не в бровь, а в глаз! Ведь подлинно под барабан и государь и братья его воспитывались. Бывало, царица-мать Мария Федоровна, подозвав дворцового коменданта,

упрашивала его производить потише смену караула. «А то великие князья, – говаривала она, – услышав барабан, бросают свои занятия и опрометью бегут к окну, а после того в течение всего дня не хотят ничем другим, кроме барабана, заниматься».

Разговор, подогреваемый вином и бесконечными шутками, катился, словно легкая волна на море. Все согласно клеймили произвол самовластья, возмущались несправедливым судом над семеновцами и донскими расстрелами. Поднимали бокалы и чокались за лучшее будущее отечества, за русский народ. Денис Васильевич и Пушкин, чувствуя, как, несмотря на разницу лет и положения, стали они близки друг другу, выпили на брудершафт и расцеловались совсем как родные братья.

Потом Пушкин с увлечением говорил о замыслах гетеристов, подготовлявших восстание греков против турок, и о своей беседе в Кишиневе с безруким сыном бывшего господаря Молдавского полковником русской службы Александром Ипсиланти, готовым возглавить греческое восстание.

Денис Васильевич вставил:

– Я слышал, будто в Петербурге относятся к этому благосклонно и будто государь обещал грекам поддержку…

Пушкин подтвердил:

– Ипсиланти и греки на эту поддержку, по крайней мере, очень надеются… Но кто поручится за честность намерений нашего кочующего венценосца?

Честность его намерений! Базиль, читавший постоянно заграничные журналы и газеты и более других осведомленный о европейских делах, тут же красноречиво начал доказывать, что император Александр думал не о помощи грекам, а о том, как бы поскорее расправиться с итальянскими карбонариями. Конгресс монархов, заседавший осенью в Троппау, недаром перебрался в Лайбах, ближе к мятежному Неаполю, чтоб тесней связаться с приверженцами монархии в Италии, быстрее перебросить туда австрийские и русские карательные войска.

Денис Васильевич, не менее своих собеседников сочувствовавший грекам и желавший их освобождения от турецкого ига, произнес со вздохом:

– Будущего, правда, не предугадаешь, но отказать в помощи несчастным единоверцам грекам было бы грешно и позорно…

Базиль кивнул головой и дополнил:

– Как, впрочем, и посылать войска в чужие страны для порабощения народов! Однако ж если б это случилось, – он немного помедлил, – кто может сказать, каков будет исход? Венты карбонариев объединяют свыше восьмисот тысяч итальянцев, готовых драться за свободу насмерть. И не

произойдет ли при вторжении чужеземных войск общее возмущение народа?

Тут мог бы, вероятно, завязаться и спор, вызванный некоторым расхождением мнений. Базиль и Пушкин, явно преувеличивая силы карбонариев, были убеждены, что их пример всколыхнет народы других стран. Денис Васильевич в этом сомневался. Но высказать своих сомнений не успел.

Двери домика шумно распахнулись. Вошел, пыхтя и отдуваясь, толстяк Александр Львович Давыдов, только что возвратившийся из поездки в соседнюю свою деревню.

– Вы что же здесь секретничаете? – сказал он, со всеми обнимаясь и целуясь. – Дамы без вас скучают… Да уж и стол к обеду накрывают!

– А чем нас кормить будут? – задал брату вопрос Базиль, и все невольно улыбнулись.

Пристрастие Александра Львовича к гастрономическим и кулинарным изделиям всегда служило предметом для шуток, и он знал это, но, когда с ним заговаривали на любимую тему, было выше сил отвергнуть такой разговор. Тем более что сегодня он уже успел заглянуть на кухню и живо ощущал еще ее запахи.

Жмуря от предвкушаемого удовольствия глазки и причмокивая жирными губами, Александр Львович начал перечислять кушанья:

– Расстегайчики будут изумительные, мой милый… Севрюжка под белым соусом с грибочками… Фазаны… я таких сочных давно не видывал…

Пушкин до конца не выдержал, перебил:

– Пощадите, Александр Львович! Ваше обозрение столь живописно, что я чувствую уже колики в желудке…

Базиль, успевший между тем наполнить вином бокалы, предложил:

– Выпьем посошок и отправимся обедать!

Пушкин, перемигнувшись с Базилем и Денисом, поднял бокал:

– За итальянскую красавицу, господа!

Все дружно выпили. Однако Александр Львович, мысли которого работали медленней, чем положено, поставив опорожненный бокал на стол, спохватился:

– А ты, Пушкин, какую такую итальянскую красавицу имеешь в виду? Ты, брат, смотри, – погрозил он пальцем, – мы с Денисом хотя и не служим, а все же генералы… Нам не тово…

Денис Васильевич под общий смех его успокоил:

– Ничего, почтеннейший мой брат… Бог милостив! Выпитое вино не прокиснет!

Три дня, проведенные в Каменке, надолго сохранились в памяти Дениса Васильевича. Общение с Пушкиным, в гениальности которого давно не сомневался, жаркие, острые споры и блестящие шутки, пышные лукулловские трапезы и легкий флирт. Аглая кокетничала напропалую и с ним и с Пушкиным. Базиль не переставал нежно поглядывать на Сашеньку Потапову, миленькую, застенчивую воспитанницу Екатерины Николаевны. В общем все в доме было полно романическим воздухом!

А какие прелестные стихи Денису посвятил Пушкин! Они были, правда, не окончены, читались по черновику. И все же каждая строчка трогала особой теплотой и задушевностью:

Певец – гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров,
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов;

С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль.

Я слушаю тебя – и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею
Воспоминаньем прежних дней…

Я все люблю язык страстей,
Его пленительные звуки
Приятны мне, как глас друзей
Во дни печальные разлуки.

Денис Васильевич любил впоследствии рассказывать о пребывании в Каменке друзьям и знакомым. Однако случилось здесь и нечто такое, что приходилось от всех утаивать.

В последнюю ночь, когда дом затих, а он еще не спал, лежа в постели с книгой в руках, в его комнату пришел Базиль, плотно прикрыл за собой дверь и, подсев к нему, сказал:

– Мне нужно, Денис, поговорить с тобой совершенно откровенно.

– А разве мы говорили с тобой когда-нибудь иначе? – приподняв голову, спросил он удивленно.

– Прости, я не совсем точно выразился… Именно потому, что

мы всегда были откровенны и образ наших мыслей во многом весьма сходен… Мне хотелось знать твое отношение…

– К кому или к чему?

– К тайному обществу, ставящему своей целью замену самодержавия конституционным правлением, – тихо произнес Базиль. – Мы не виделись с тобой больше года, я не имел возможности признаться тебе, что вступил в него.

– Вот что? Значит, ты хочешь знать, как я отношусь к этому?

– И это тоже и другое… Как ты смотришь на то, чтобы самому войти в общество?

– Гм… Вопрос, брат Василий, для ответа не из легких… Но изволь, давай объяснимся!

Он привычно потянулся к трубке, лежавшей на тумбочке у кровати, и, закурив, продолжил:

– О том, что существует тайное общество, я знаю, и цели оного мне более или менее известны…

– И какие благородные цели, Денис!

– Не спорю. Воспитанный под барабаном царь плох. Аракчеевщина никому не мила. Самовластье, словно домовой, душит страну. Я не раз высказывал это своим друзьям. Возможно, при свободном правлении будет лучше. Но где силы, способные осуществить переворот? Пустыми прениями, милый мой, этого не сделаешь…

– Они не так пусты, как тебе кажется. Не забудь, что в спорах рождается истина… А силы, о коих ты говоришь, могут быть подготовлены только тайным обществом… Все идет к тому, что самодержавие, так или иначе, будет заменено лучшим правлением… Михаила Орлов недаром как-то сказал, что «девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий».

– Слышал, брат, я эти доводы от самого Михаилы, – махнул рукой Денис. – А вот теперь женится он на Екатерине Раевской и небось сразу все свои предсказания и отвлеченные химеры из головы выбросит!

– Напрасно так думаешь… Тебе разве не известно, какие порядки в своей дивизии Михаила Орлов заводит? Я наизусть помню его приказ, в коем он объявляет, что будет «почитать злодеем того офицера, который свою власть употребит на то, чтобы истязать солдат. Воля моя тверда. Ничто от сего предмета меня не отклонит. Терзать солдат я не намерен. Я предоставляю сию постыдную честь другим начальникам, кои думают о своих выгодах более, нежели о благоденствии защитников отечества».

– Это дело иное! За справедливое отношение к солдатам и за ланкастерские школы я всегда Михаилу хвалил и хвалить буду! А

тайное общество… тут, брат, подумать нужно! Не шутка! Кому-кому, а нам с тобой печальный опыт брата Александра Михайловича Каховского хорошо ведом!

– А если мы все-таки будем более счастливы, чем брат Каховский и его товарищи?

– Допустим, хотя и маловероятно… А дальше что? Признаюсь, меня более всего страшат колебание государства, ужасы народных революций…

– Мы тоже этого страшимся, но наши опасения, кажется, напрасны, – возразил Базиль. – Я приведу в пример гишпанскую революцию. Она не вызвала никакого потрясения, все совершилось быстро, и ничего ужасного не было… Тоже и в Италии… Нет, ты просто плохо следишь за политическими событиями!

– Возможно, спорить не буду. В политике я не очень-то разбираюсь. И это, кстати сказать, тоже одна из причин, удерживающих меня от деятельности на поприще свободы. Я солдат, не политик! Двадцать лет идя одной дорогой, я могу служить проводником по ней, тогда как по другой я слепец, которому нужно будет схватиться за пояс другого, чтобы идти безопасно… Вот мой ответ на твой вопрос, брат Василий!

– Что же, каждый думает и поступает по-своему, – вздохнул Базиль. – Я прошу тебя только, чтоб наш разговор остался совершенно между нами…

– Ну, об этом не надо тебе беспокоиться, – перебил Денис Васильевич. – Я понимаю, какая тайна мне доверена… Это умрет со мною!

III

В Киеве у Раевских в эту зиму было особенно оживленно. Все четыре дочери генерала находились в таком возрасте, когда родителям, по обычаям того времени, приходилось ломать голову над лучшим устройством их будущности и не жалеть средств для того, чтоб девицы постоянно были на виду. В доме с раннего утра портнихи и белошвейки кроили, гладили и примеряли барышням платья. Каждый вечер то маскарад, то концерт.

Николай Николаевич в свойственном ему спокойном и чуть-чуть ироническом тоне признавался Денису Васильевичу:

– Незавидная должность, мой друг, быть отцом взрослых дочерей… И хлопот полон рот и в долгах, как в репьях! А замуж дочь отдаешь – новые заботы ожидают и тревоги одолевают…

– О Катеньке вам как будто тревожиться нечего, Николай Николаевич. При стольких своих достоинствах Михаил

Федорович Орлов, я уверен, будет и хорошим мужем и почтительным зятем.

– В этом не сомневаюсь, – сказал Раевский. – Душа болит о другом… Сдерживать себя он не умеет, в крайности впадает и, entre nous soit dit[XIII], сын Александр говорил, будто Михаил Федорович связан с тайным обществом…

Для Дениса Васильевича это открытие новостью не было, но он умел держать язык за зубами. Раевский продолжил:

– Я не почел возможным обижать его допросом, однако ж высказал желание, чтобы он отказался от деятельности, могущей подвергнуть опасности будущую семью. Он обещал и тут же получил мое согласие на брак с Катенькой, а все-таки сердце-то отцовское… сам понимаешь…

– Могу ручаться, Николай Николаевич, слово с делом у Михаилы никогда не расходится.

– Надеюсь, надеюсь, мой друг, – улыбнулся Раевский. – Люблю-то я его, как родного! Вот возвратится из Москвы, и сразу помолвку объявим… А ты до тех пор, смотри, из Киева уехать не вздумай! На семейном нашем торжестве чтобы непременно тебя видели… Знаешь сам, как все мы к тебе привязаны…

Денис Васильевич поблагодарил за приглашение, но, хотя и хотелось побывать ему на помолвке старого друга, осуществить это не удалось.

Из Москвы от Сони пришло неожиданное известие. С Кавказа приехал Ермолов. Направляется к родным в Орел, оттуда по служебным делам в Петербург. Просил, чтоб Денис, если возможно, свиделся с ним.

Случай был таков, что раздумывать не приходилось. Денис Васильевич извинился перед Раевскими и в конце января поскакал в Орел[64].

Ермолов! Почти пять лет он управлял Кавказом, и за это время вокруг его имени скопилось столько всяких разноречивых, порой загадочных толков и слухов, что разобраться в них было нелегко. Деятельность проконсула Кавказа, как называли Алексея Петровича, одних ужасала, других восхищала. Одни говорили о трудностях службы при этом грозном, властном начальнике, о страшных жестокостях, коими смирял он немирных горцев. Другие рассказывали о том, как он умен и справедлив, как ревностно заботится о благосостоянии края. И Пушкин тоже свидетельствовал, что Ермолов наполнил Кавказ своим именем и благотворным гением.

А молодой дипломат Александр Сергеевич Грибоедов, пробыв несколько месяцев у Ермолова, писал о нем своему близкому другу Степану Бегичеву: «Что это за славный человек! Мало того,

что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски на все годен, не на одни великие дела, не на одни мелочи. Заметь это. Притом тьма красноречия, и не нынешнее отрывчатое, несвязное, наполеоновское риторство, его слова хоть сейчас положить на бумагу… По закону я не оправдываю иных его самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии, – здесь ребенок хватается за нож. А, право, добр, сколько мне кажется, премягких чувств, или я уже совсем сделался панегиристом, а, кажется, меня в этом нельзя упрекнуть…»

Удивительней же всего были вести, будто Ермолов открыто высказывает либеральные идеи, покровительствует сосланным на Кавказ неблагонадежным и разжалованным офицерам, называет в приказах солдат товарищами.

Денис Васильевич, зная осторожность Ермолова, сначала подобным вестям не верил, пытался их оспаривать, но в прошлом году Алексей Петрович сам прислал ему один из таких приказов да сделал еще собственноручную приписку: «Посылаю тебе приказ мой в войска. По сему предмету хвастать нечем, в. старину все выболтано, но хочу, чтобы видел ты, что не многие смели называть солдат товарищами и еще менее печатать то…»

Недоумение, возникшее у Дениса Васильевича при чтении приказа, так и не прошло. Что происходит на Кавказе? Что случилось с Ермоловым? Зачем понадобилось раздражать высшие сферы, где, несомненно, следят за каждым его шагом? Выработанные Ермоловым правила поведения никак не вязались с его поступками.

Денис Васильевич всю дорогу размышлял над этим. С юношеских лет он старался следовать ермоловским советам и теперь чувствовал себя в положении ученика, обнаружившего ошибку любимого учителя. Хотелось, чтобы учитель доказал, что все делалось правильно и никакой ошибки нет, и не верилось, что он сможет это доказать.

В старом ермоловском доме царила печальная тишина. Мария Денисовна второй год как скончалась. Заметно дряхлевший Петр Алексеевич почти не поднимался с постели. За ним ухаживала дочь, высокая, тощая и злая баба. Она говорила скрипучим голосом и вечно на всех жаловалась. Порядка ни в чем не было. Все делалось кое-как. Вещи покрывались пылью. Цветы в кадках засыхали. Печи дымили.

Алексей Петрович выглядел неважно. Львиная грива густо посеребрилась, под глазами легли морщины, отпущенные усы старили, придавали лицу несвойственное выражение жестокости.

– Ты к моим усам не приглядывайся! – пошутил он, обнимая Дениса. – Они, братец, в стратегических видах омрачили

приятное лицо мое! Не пленяя именем, не бесполезно страшить наружностью!

Домашняя обстановка, видимо, Алексея Петровича тяготила. Приезд Дениса поэтому особенно его обрадовал, поднял настроение. Красноречие, о котором писал Грибоедов, нашло выход. Ермоловские рассказы о кавказской службе слушал Денис Васильевич с живым любопытством, и, хотя ему трудно было иной раз судить, правильны или неправильны делаемые Алексеем Петровичем выводы и заключения, однако многое вырисовывалось теперь иначе, чем представлялось прежде.

– Половину каждого года, иногда более, – говорил, прохаживаясь по кабинету Ермолов, – проживаю я в лагере, спокойствия нет, трудов много и славы никакой! Притом я знаю, иные либералисты почитают меня за сатрапа, без всякого сожаления искореняющего древние вольности горцев… Необходимость, признаю, заставляет порой прибегать к суровым мерам, ибо мягкосердечие и отсутствие строгости считается там лишь слабостью, но… попробуй рассуди, любезный Денис, не оправдывают ли сии суровые средства цели?

Ермолов передохнул, сдвинул мохнатые брови и, глядя на Дениса, продолжал медленно и значительно:

– В стычках с немирными горцами наши солдаты все чаще находят на убитых противниках оружие английского происхождения. Есть сведения, будто завозится оно морем, но, вероятней всего, идет через Персию, где с каждым годом все более увеличивается число оружейных мастеров и оружейных торговцев, наехавших из Лондона. Наследник шаха Аббас Мирза окружен англичанами, а их адская политика подстрекательств и захвата известна всему свету. Подумай-ка, куда дело клонится? Алчный взгляд всемирного ростовщика мистера Пудинга[XIV] давно уже блуждает по горам и долинам Кавказа. Не должно ли нам помышлять о том, чтоб быстрее смирить немирных горцев и тем оградить богатый сей край от вожделений чужеземцев?

Стремясь упрочить спокойствие и порядок, Ермолов возводит крепости у подножия гор, неуклонно заботится о боевом духе и хорошем содержании своих войск. Нарушая установленные правила, он запрещает изнурять солдат фронтовыми ученьями, отменяет телесные наказания, изменяет стеснительную форму одежды, всячески облегчает солдатскую жизнь.

Вместе с тем Ермолов энергично занимается и благоустройством края. Поощряет развитие шелководства и виноделия, прокладывает новые дороги, строит госпитали, обследует минеральные источники, содействуя устройству при них гостиниц и ванных зданий. В Тифлисе начинает выходить

первая газета на грузинском языке, создается офицерский клуб с библиотекой, получающей не только русские, но и заграничные газеты.

По мере того как Денис Васильевич из разговора с Ермоловым узнавал обо всем этом, он все глубже проникался сочувствием к его деятельности. Будь он сам на месте Ермолова, он, вероятно, поступил бы точно так, разве был бы немного поосторожней. И что удивительного в том, что ермоловские нововведения принимаются восторженно людьми свободолюбивых взглядов, составившими тесный приятельский кружок проконсула Кавказа!

Денису Васильевичу невольно вспоминался Тульчин. Там Киселева тоже поддерживали вольнолюбцы, не стеснявшиеся излагать при нем свои взгляды. Но тут же сразу возникал острый вопрос о пределах благонамеренности и о границах дозволенного. Киселев, не избегая либеральных разговоров и даже соглашаясь во многом со своими сотрудниками, явно границ переступать не собирался. А Ермолов? Как и пять лет назад, он язвительно обрушивался на высшие сферы, не щадил и царя, но в то же время Алексей Петрович не прочь был пройтись и на счет некоторых либералов. Однако рассуждая о политических делах, он как будто что-то недосказывал, и эти недомолвки казались загадочными. Впрочем, имелись и другие признаки, усиливавшие такое впечатление[65].

Когда Денис Васильевич осведомился у Ермолова, по каким делам его вызывают в Петербург, он ответил:

– Над этим вопросом, любезный Денис, я сам, признаться, второй месяц голову ломаю… Сообщили, что ожидается в феврале приезд из Лайбаха государя, коему угодно меня видеть… не для обмена взаимными нежностями, конечно. А зачем? Закревский весьма туманно намекнул, будто носятся слухи о том, что государь готовит мне новое важное назначение… Но какое?

– Может быть, вам предстоит занять пост командующего войсками, кои, по слухам, будут направлены на помощь грекам? – подсказал Денис Васильевич.

– Чепуха! – махнув рукой, решительно произнес Ермолов. – Нашим английским и австрийским союзникам невыгодно появление русских войск на Балканах. Да и трудно ожидать, чтоб Александр Павлович осмелился на такое дело, как поддержка греческого восстания.

Подобные доводы недавно высказывал в Каменке Базиль. В Киеве же говорили другое. Раевский получил несколько предписаний, свидетельствовавших, что правительство учитывает возможность близких военных осложнений. Денис Васильевич

счел нужным Ермолову возразить:

– Вам, однако ж, должно быть известно, почтеннейший брат, что в наших войсках, расположенных близ границ, производятся некоторые передвижения?

– Знаю. Кажется, даже экспедиционный корпус составляется. И в том с тобою соглашусь, что меня могут прочить туда на должность начальника. Но… кто сказал, что мы отправимся на Балканы освобождать греков, а не куда-нибудь в другие места?

– Куда же, вы полагаете?

– Вероятней всего в Италию, карбонариев смирять, – отрезал Ермолов и сразу заметно взволновался. – А командовать войсками, назначенными для сей неблагородной цели, прямо тебе скажу, я никак не собираюсь… Никак!

Денис Васильевич опять отметил, что о возможности посылки карательных войск в Италию впервые услышал от Базиля, считавшего позорной такую экспедицию. Очевидно, этот вопрос был предметом обсуждения членов тайного общества и близких к нему кругов. Но то, что спокойно выслушивалось от Базиля, начинало беспокоить, когда произносилось Ермоловым. Базиль сидел в своем поместье и демагогические споры, как выражался Пушкин, запивал шампанским, а Ермолов, занимая столь важное положение, находился на виду всей страны, каждое его неосторожное слово могло иметь для него дурные последствия.

Алексей Петрович между тем, продолжая расхаживать по комнате, говорил:

– Все это пока одни предположения. Возможно, я ошибаюсь, дай бог, чтоб так и было. А думать приходится! Аракчеев и другие близкие царю люди давно на меня наушничают. Великий князь Николай Павлович, коего я в Париже за пьяные дебоши осаживал, прямо изволит заявлять, будто я неблагонадежный начальник. Ну, а назначением меня в каратели представляется прекрасный случай мою благонадежность испытать… Дьявольски тонкая сеть сплетается, любезный Денис! Любой мой ответ подлецам на руку! Соглашусь – навеки в глазах всех честных людей свое имя замараю. Не соглашусь – придется, как неблагонадежному, отставку брать и мундир снимать. Вот какое дело!

– Что же, в таком случае, вы намерены предпринять?

– Воспользоваться советами древних мудрецов, – усмехнулся неожиданно Ермолов. – Не делать того, чего твои враги желают и ожидают!

– Не понимаю, каким образом вы сумеете этого достигнуть?

– Попробую сослаться на болезни и на робость, одолевающую меня при мысли, что придется явиться на той же сцене, где недавно действовали Суворов и Наполеон…

– Помилуйте! Кто же поверит вам, почтеннейший брат?

– А не поверят, можно, смотря по обстоятельствам, еще что-нибудь придумать… Трудно, знаю! Однако попробуем!

И, чуть помолчав, расправляя собравшиеся на широком лбу морщины, закончил твердо:

– Так или иначе… Имени своего марать не буду!

IV

Ранней весной Александр Ипсиланти в сопровождении двухсот всадников, переправившись по льду через пограничную реку Прут, занял город Яссы.

Силы Александра Ипсиланти, которому греческая гетерия доверила возглавить восстание, были ничтожно малы, надежды огромны. «Великая держава одобряет сей подвиг» – одной этой фразы, появившейся в первом воззвании, выпущенном в Яссах, оказалось достаточно, чтобы вселить уверенность в освобождении от турецкого рабства не только греков, но и других славянских народов. Все понимали, о какой великой державе идет речь.

– Россия с нами, русские нам помогут, – читая воззвание, говорили со слезами радости на глазах греки и сербы, валахи и молдаване, стекавшиеся отовсюду в Яссы.

Александру Ипсиланти было хорошо известно, что в Петербурге всячески старается за греческих патриотов не кто иной, как сам министр иностранных дел, грек по рождению, граф Каподистрия. Отношения России с Турцией натянуты до последней степени. Русский посланник из Константинополя отозван. Русские войска стягиваются к границам.

А в братском сочувствии к восставшим грекам русского народа можно было не сомневаться. Далекие от дипломатических интриг русские люди рассуждали попросту: кому же, как не России, взять под свою защиту несчастных единоверцев? В церквах служили молебны о даровании им победы. Собирались пожертвования. Во многих семьях рождавшимся детям давали греческие имена. Во всех слоях общества Александра Ипсиланти и его товарищей чтили героями.

Павел Дмитриевич Киселев из Тульчина писал Закревскому:

«Нельзя вообразить, до какой степени они очарованы надеждою спасения и вольности. Что за время, в котором мы живем, любезный Закревский? Какие чудеса творятся и какие твориться еще будут? Ипсиланти, перейдя за границу, перенес уже имя свое в потомство. Греки, читая его прокламацию, навзрыд плачут и с восторгом под знамена его стремятся. Помоги ему бог в святом деле! Желал бы прибавить: «и Россия».

Киселев знал, конечно, что Россия в любую минуту оказать помощь готова. Вторая армия стояла под ружьем. Начальник штаба все ночи напролет просиживал над картами, обсуждая со своими сотрудниками планы возможных в ближайшем будущем наступательных действий. Остановка была за царем, находившимся еще в Лайбахе. Взоры всех обращались туда. Уверенность, что царь не оставит без поддержки восставших, была полной.

Денис Давыдов, живший всю весну в Москве, не менее других был взволнован известием о начале греческого восстания.

На первых порах, помня разговоры с Базилем и Ермоловым, он, правда, относился с некоторым недоверием к разговорам о царской помощи грекам, но постепенно поддался общему настроению. Слишком упорны и правдоподобны были распространявшиеся всюду слухи! Говорили, будто четыре корпуса войск под начальством Ермолова вот-вот выступят против турок. Говорили, будто Ермолов спешно выехал из Петербурга в Лайбах для совещания с царем и начальником главного штаба Волконским о предстоящей военной кампании. А Дмитрий Никитич Бегичев списал где-то строки стихов молодого петербургского поэта Кондратия Рылеева, посвященные Ермолову:

Наперсник Марса и Паллады,
Надежда сограждан, России верный сын
Ермолов! поспеши спасать сынов Эллады…

Стихи были приятны. Признание почетной миссии Ермолова выражалось в них весьма явственно. Денис Васильевич начал даже подумывать над тем, чтобы самому проситься в будущую действующую армию.

– Стыдно, брат, дома мне сидеть, когда война за святое дело начинается, – признавался он Бегичеву. – Я же в тех местах с турками воевал и многим Алексею Петровичу полезен был бы… Хочу в главный штаб писать!

Но спустя некоторое время события предстали в совершенно ином свете.

В Москву из Варшавы неожиданно приехал Вяземский. Он внешне мало изменился, зато возбужден был до крайности. И Денису Васильевичу, ничуть не таясь, объявил:

– Меня лишили службы и выслали сюда, найдя, что мой образ мыслей и поведения противен духу правительства…

– Помилуй! Да что же такое ты там натворил?

– Ровно ничего, если не считать некоторых замечаний, кои

делаются ныне каждым честным человеком…

– Иными словами, высказывал недовольство, насколько я разумею? Но чем же ты недоволен?

– Нельзя вечно существовать обманом и отказываться сегодня от того, что обещали вчера, – с раздражением сказал Вяземский. – А эти признаки стали, кажется, основными определителями нашей политики! Я уже не говорю о том, что царь и его министры перестали совершенно считаться с чаяниями своего народа… Мы прокламируем конституционное устройство полякам и отвергаем любую их попытку в этом направлении; мы ведем постыдную игру с обнадеженными нами греческими патриотами… Разве ты не слышал, какой ответ дан государем обратившемуся к нему за помощью Александру Ипсиланти?

– Понятия не имею, – несколько растерянным голосом произнес Денис Васильевич. – Расскажи, сделай милость…

– Нет, уж если ты не слышал, я передавать своими словами не буду, а прочитаю сию достойную вечной памяти эпистолу, списанную мною в Варшаве у одного из наших дипломатов…

И Вяземский, достав из портфеля бумагу, прочитал: «Никакой помощи, ни прямой, ни косвенной, вы не получите, ибо недостойно подкапывать основание Турецкой империи действиями тайного общества. Ни вы, ни ваши братья не находитесь больше на русской службе, и вы никогда не получите позволения возвратиться в Россию».

Денису Васильевичу стало ясно, что предположения, высказанные некогда Базилем и подтвержденные затем Ермоловым, оправдываются и общие надежды на царскую помощь грекам бессмысленны, однако многое еще было непонятно.

– Почему же так получается, милый друг? – спросил он. – Мне за верное известно, что гетеристы находились под покровительством нашего правительства и графа Каподистрия…

– В том-то все дело! – перебивая, сказал Вяземский. – Начало греческого восстания совпало с революцией, которую карбонарии произвели в Пьемонте. К тому же было получено известие, что валах Теодор Владимиреско, собравший целое войско из простого народа и примкнувший вначале к Ипсиланти, воюет не только против турецких янычар, но и расправляется со своими боярами. Австрийский канцлер Меттерних запугал государя призраком всеобщего народного возмущения. А монархи, собравшиеся в Лайбахе, более всего того опасаются. Греки были признаны такими же мятежниками, как и карбонарии. Греки стали жертвой царского испуга и подозрительности. А граф Каподистрия? Он тщетно пытался выгородить своих соотечественников. Государь заподозрил его самого в связях с карбонариями и приказал

именно ему писать, под свою диктовку, ответ Александру Ипсиланти… Представляешь?

– Представляю. История поганая, – вздохнул Денис Васильевич. – Но скажи, ради бога, мне важно твое мнение: зачем же все-таки продолжается движение наших войск к границам и Ермолов вызван в Лайбах? Неужто возможно, что, отказав в помощи грекам, мы пойдем, как некоторые предполагают, усмирять карбонариев?

– Во всяком случае, я тоже слышал, что подобное намерение нашему перепуганному царю не чуждо. И Ермолов, вероятно, получит назначение командовать усмирительными войсками, чему я, разумеется, не завидую…

– Ермолов такого назначения не примет! Об этом не может быть речи! – взволнованно и горячо отозвался Денис Васильевич. – Я виделся с Алексеем Петровичем перед отъездом его в Петербург, я могу ручаться, карателем он не будет! Но я ума не приложу, каким образом может он выкрутиться? Если государь так подозрительно настроен, то любые доводы Ермолова для отказа от назначения могут стоить ему службы, которая свыше четверти века была столь примерной и блистательной… Ты должен понять, я не могу оставаться спокойным!

– А мне хочется все-таки немного тебя успокоить, любезный Денис, – неожиданно улыбнулся Вяземский. – Ты не учитываешь тысячи всяких случайностей, почти непременных в подобных делах… Сообрази хотя бы, что переброска войск за две тысячи верст может растянуться на месяцы, а подавление мятежей требует обычно быстроты. И, говорят, австрийцы уже зверствуют в Италии…

– Твои доводы отзываются софизмами, друг милый, – ответил Денис Васильевич. – Ты забываешь, что войска отправляются в поход не прежде назначения начальника, а наоборот… И Ермолов, по всей видимости, сейчас уже в Лайбахе, где первый же разговор с царем может окончиться для него самыми дурными последствиями… Нет, что скверно, то скверно! Сердце болит за Ермолова!

* * *

В доме Вяземского опять стали теперь собираться по вечерам старинные приятели: Василий Львович Пушкин, Федор Толстой, Четвертинский, Денис Давыдов… Но происходившие события наложили отпечаток на общее настроение и характер бесед. Былая легкомысленная веселость исчезла. И Вяземский,

разгоряченный несколькими бокалами шампанского, начинал обыкновенно бушевать:

– От большого количества народа не скроешь, что рабство – уродливость и что свобода, коей они лишены, такая же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце. Тиранство могло пустить по миру одного Велизария, но выколоть глаза целому народу – вещь невозможная…

Василия Львовича такие крамольные слова заставляли беспокойно поглядывать по сторонам и ерзать на стуле. Федор Толстой басовито изрекал не относящиеся к речи вздорные реплики. Четвертинский сидел молча с трубкой в зубах и покачивал головой.

А Вяземский продолжал витийствовать:

– Рабство – нарост на теле нашего государства… Рабство – вот причина, которая порождает у нас революционную стихию… Уничтожив рабство, мы уничтожим всякие предбудущие народные возмущения! Или вы хотите ждать, чтобы бородачи топорами разрубили этот узел?

Слова, сказанные Вяземским, звучали грозно. Бородачи с топорами страшили всех дворян: и либералистов и староверов. Денис Давыдов исключения не представлял. Но, слушая Вяземского, он не испытывал обычного в таких случаях щемящего душу беспокойства.

Вяземский желал уничтожения рабства, чтоб предотвратить возможность народных возмущений. Другие либералисты хотели того же, однако расходились с Вяземским в вопросах о том, каким способом этого добиться. Они не возлагали надежд, подобно Вяземскому, на реформы и просвещение, а считали необходимым прежде всего свергнуть самодержавие, изменить государственный строй, для чего и создавали тайные общества. Денису Давыдову позиция, занятая Вяземским, представлялась более надежной[66].

Брат Евдоким, произведенный недавно в генерал-майоры, и Левушка, ставший полковником, продолжали служить в Петербурге. Денис Васильевич, обеспокоенный судьбой Ермолова, писал им письма, просил сообщать все слухи, доходившие из далекого Лайбаха. Пошел второй месяц, как Ермолов туда уехал. Пора бы всему выясниться! Но братья долгое время не отвечали. Молчал и Закревский.

И вдруг пришла коротенькая, более чем странная записка от Левушки. Ермолов в Лайбах еще не приезжал! Никто не знает, где он. Начальник главного штаба Волконский выражает недоумение. Император сердится. Закревский в полном расстройстве.

У Давыдовых и Бегичевых записка Левушки произвела настоящий переполох. Что такое с Ермоловым? Случай всем

казался загадочным. Строились тысячи всевозможных догадок. Соня и Сашенька высказывали мнение о возможной болезни, Дмитрий Никитич пускался в пространственные рассуждения о всяких дорожных историях. Однако Денис Васильевич, сопоставив некоторые события, начал склоняться к иному объяснению.

Полагая Ермолова в Лайбахе, он не обратил внимания на замечание Вяземского о том, что подавление мятежей требует быстроты, а теперь это замечание приобрело весьма существенное значение. Ермолов недаром возлагал надежду на обстоятельства, которые помогут что-нибудь придумать, чтоб избежать нежелательного назначения. Алексей Петрович, несомненно, лучше других знал, что австрийцы торопятся подавить мятеж, и мог нарочно замедлить свой приезд. И когда спустя несколько дней пришло известие, что Ермолов наконец-то благополучно прибыл в Лайбах, а в газетах появились сообщения о взятии австрийскими войсками Неаполя, Денис Васильевич почти перестал сомневаться в своей догадке.

Разумеется, ни родным, ни друзьям он не сказал о том ни слова. Напротив. После того как окончательно выяснилось, что посылать русские войска в Италию незачем, Вяземский однажды намекнул:

– А тебе не кажется, что Ермолов выкрутился какими-то хитростями?

Денис Васильевич сейчас же возразил:

– Вздорная мысль, друг мой! Ермолову никакой нужды в хитростях не было при той быстроте австрийцев, о какой сам ты говорил… И, пожалуйста, сделай одолжение, Петр Андреевич, не высказывай впредь никакого вздора о Ермолове. Кумушек обоего пола в Москве много. Ты пошутишь, они подхватят, а кто-то и ухватиться за слух может… Сам знаешь, в какое время живем! Репутацию человеку нынче испортить ничего не стоит!

Денис Васильевич последние фразы сказал не зря. Время было опасное. Правительство, встревоженное ростом общего недовольства, усилило деятельность гражданской и военной полиции. Обе столицы кишели тайными наблюдателями и доносчиками, жадно ловившими каждое неосторожное слово, каждый слух…

Денис Васильевич проявлял благоразумную предусмотрительность. Лето Давыдовы проводили в небольшой подмосковной деревне Приютово. Соня опять ожидала ребенка. А Денис Васильевич готовил издание «Опыта о партизанах», предполагая осенью выпустить книгу в свет. Жили замкнуто, тихо. Никого, кроме Бегичевых и Вяземских, не принимали. Круг знакомых был ограничен. В общественных местах он старался

показываться как можно реже. В английском клубе обедал всего два или три раза, причем от разговоров на острые темы обычно уклонялся.

Старинный приятель поэт Александр Федорович Воейков недоумевал:

Давыдов, витязь и певец
Вина, любви и славы!
Я слышу, что твои совсем
Переменились нравы:
Что ты шампанского не пьешь,
А пьешь простую воду,
И что на розовую цепь
Ты променял свободу,
Что ныне реже скачешь в клоб,
В шумливые беседы,
И скромные в семье своей
Тебе милей обеды…

Однако даже уединенная, скромная жизнь от полицейского надзора не спасала.

Брат Левушка, приехавший погостить на недельку, сообщил секретно:

– Вызывал меня перед отъездом Закревский и просил тебя предупредить, чтобы ты избегал неосторожных и нескромных разговоров…

– Помилуй, что за странность! – изумился Денис Васильевич. – Какие нескромные разговоры и с кем я их веду?

– Арсений Андреевич сказал, будто до него дошли слухи, что ты порицаешь действия высшего начальства, ропщешь на порядки в армии и осуждаешь военные поселения.

– Откуда же исходят подобные слухи? Какие мерзавцы их собирают?

– Агенты военной тайной полиции, как я понял.

Денис Васильевич тщетно напрягает память, стараясь припомнить, когда и в каком обществе высказывал такие мысли. Впрочем, это не так существенно. Он понимал, что доносчики, может быть и не совсем доказательно, приписали ему, несомненно, его собственные суждения, которые они где-то краем уха подслушали.

Итак, он под постоянным наблюдением тайных соглядатаев. Он идет по улице, а чьи-то глаза его провожают; он остановился, чтоб повидаться с приятелем, а чьи-то настороженные уши ловят обрывки его фраз; он приходит домой и, ничего не подозревая,

сидит в кругу семьи, а чьи-то грязные руки уже строчат на него донос: «Фу, мерзость какая!» – невольно содрогается Денис Васильевич от негодования и отвращения. А следом приходят тревожные мысли о возможных последствиях. Ведь при существующем недоброжелательном отношении к нему высшего начальства любому доносу бродяги могут дать веру!

И, обращаясь к брату, он спрашивает:

– А как думаешь, куда эти слухи, облеченные, вероятно, в форму доноса, направляются? Не следует ли мне что-то предпринять?

Левушка отвечает успокоительно:

– Мне кажется, тебе беспокоиться об этом не надо. Благожелательный и любезный Арсений Андреевич сам обо всем позаботился…

Возникшая тревога постепенно исчезает. Хорошо все-таки иметь в главном штабе друга! Но с возмущением, клокотавшим в груди, не так-то легко справиться. Денис Васильевич не мог скрыть его и в письме к Закревскому:

«Слухи, которые дошли до тебя насчет моей нескромности, вовсе несправедливы. Ежели бы я что и соврал, то никто бы пересказать не мог мною совранное, ибо я совершенно никуда не выезжаю и никого не принимаю. Я знаю, как и другие, что Москва не менее Петербурга наводнена людьми, которых я не опасался бы, если б они доносили о том, что слышат, но чего не сочинит мерзавец для того, чтобы выслужиться? К тому же – горькая истина! – какая храбрая служба, какая благородная жизнь перевесить может донос бродяги, продавшего честь свою полиции?»

Доверить такое письмо почте, где завелся обычай просматривать корреспонденцию, Денис Васильевич никогда бы не решился. Он хорошо знал, что бумага терпит все, но многие не терпят того, что на бумаге написано. Письмо в столицу отправлено было с Левушкой.

А предупреждение Закревского запомнил крепко. В английском клубе совсем перестал появляться. Благоразумную предусмотрительность надо превратить в чрезвычайную осторожность. Такова была жизнь!

V

Соня впервые после родов вышла в цветник, разбитый при доме. Сентябрьские дни стояли на редкость сухие и теплые. В прозрачном воздухе дрожали паутинки бабьего лета. Пышно цвели на клумбах махровые астры. Денис Васильевич бережно

усадил жену на скамейку и присел рядом.

Они только что оставили детскую. Маленькая Сонечка, как назвали девочку, крепко спала. Он долго с неизъяснимо радостным чувством глядел на обрамленное кружевным чепчиком крохотное личико. Дочка! Черты родственного сходства распознать было трудно, но густые, темные, давыдовские брови обозначались ясно. Это усиливало пробуждавшуюся отцовскую нежность. И в то же время он думал о том, как появление малютки внесло что-то новое в его отношение к жене, к Сонебольшой. Она стала словно ближе, родней, привязанность к ней неизмеримо возросла.

Такое ощущение не покидало Дениса Васильевича и в цветнике. Он ласково привлек к себе жену и произнес:

– А ротик нашей крошки похож на твой, милая Соня… И, пожалуй, весь овал лица!

Соня улыбнулась.

– Вот уж не нахожу! По-моему, она живой портрет своего папы!

Денис Васильевич признался:

– Ну, если говорить правду, я не такого высокого мнения о своей наружности, чтобы желать этого… Нет, право, дай бог, чтобы наша Соня-маленькая во всем походила на мою Соню-большую…

Они поговорили таким образом еще несколько минут и неожиданно примолкли. Чей-то тяжелый экипаж, громыхая, свернул с улицы и остановился у ворот их дома. Они поднялись со скамьи, обменялись немым взглядом: «Кто же это может быть?»

Давыдовский дом построен был по-старинному. Просторные сени, отделявшие жилую часть от парадного подъезда, выходили другой, противоположной стороной в цветник. Денис Васильевич и Соня еще в сенях увидели мощную фигуру Ермолова, показавшегося в открытых камердинером парадных дверях. А следом за ним шел, заплетая ногу за ногу и смешно размахивая руками, высокий и тонкий как жердь незнакомец.

Ермолов сбрил усы и поэтому казался помолодевшим. Генеральская фуражка выгорела от солнца и помялась. Наброшенная на плечи легкая шинель покрыта дорожной пылью.

– Знаю, знаю, что непрошеные гости хуже татар, но ничего не поделаешь, вам придется сие татарское нашествие вытерпеть, – весело говорил он, входя в дом. – Я прямо из столицы… Закревский завтра или послезавтра в своей подмосковной будет, просил, чтоб я здесь задержался…

Алексей Петрович сбросил шинель, расцеловал Дениса и Соню, а узнав, что она стала матерью, поздравил ее и вздохнул:

– Эх, жаль, что задержали меня в Петербурге! Непременно бы в кумовья назвался!

Потом, повернувшись к незнакомцу, представил:

– А это мой спутник и будущий кавказский сослуживец Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Прошу любить и жаловать!

Кюхельбекер, согнувшись чуть не вдвое, поцеловал протянутую руку Сони, что-то невнятно пробормотал и густо покраснел.

Денис Васильевич, догадавшись, что перед ним тот самый поэт и чудак Кюхля, о котором с неизменной теплотой отзывался Пушкин, поспешил его обнять и ободрить:

– Друзья моих друзей всегда мои друзья, любезный Вильгельм Карлович… По службе парнасской и понаслышке я давно почитаю тебя своим приятелем!

Серо-голубые выпуклые глаза Кюхельбекера радостно засияли. Он схватил руку Давыдова и, благодарно пожимая ее, сказал взволнованно:

– Я тоже давно знаю и люблю вас. Еще в лицее, вместе с Пушкиным, мы заучивали ваши стихи и басни. Они помогали образовывать наши вкусы. А партизанские действия ваши всегда вызывали самое искреннее мое восхищение…

Соня пригласила всех в столовую. Там за чаем, чувствуя общее расположение, Кюхельбекер открылся как интересный собеседник. Он недавно побывал за границей, куда в должности секретаря сопровождал старого остряка камергера Александра Львовича Нарышкина, и теперь с увлечением рассказывал о своих европейских впечатлениях. Нарышкин не обременял работой. Свободного времени было много. Кюхельбекер занимался не только осмотром достопримечательностей. В Веймаре он посетил знаменитого Иоганна Вольфганга Гёте, в Париже познакомился с Бенжаменом Констаном, по просьбе которого прочитал французам несколько лекций.

Впрочем о своих лекциях Кюхельбекер распространяться не собирался. Он сказал о них между прочим, а сказав, сразу смутился, бросив при этом на Ермолова взгляд, выражавший как бы молчаливую просьбу не делать замечаний на сорвавшуюся с языка фразу.

Но Денис Васильевич, перехватив этот взгляд, полюбопытствовал:

– А позволь узнать, любезный Вильгельм Карлович, о чем же были лекции?

Кюхельбекер произнес запинаясь:

– Моим предметом являлись история нашего отечества и состояние нашей словесности…

– Отлично! А какие же, собственно, мысли ты высказывал?

– Я высказывал сердечное убеждение, что Россия, устранив злоупотребления и пороки, достигнет некогда высочайшей степени благоденствия, – преодолев смущение и начиная разгораться, отвечал Кюхельбекер. – Я говорил, что русскому народу не вотще дарованы чудные способности и богатейший, сладостнейший между всеми европейскими язык, что россиянам предопределено быть великим, благодатным явлением в нравственном мире…

Кюхельбекер передохнул и снова посмотрел на Ермолова. Однако Алексей Петрович того, что знал, скрывать не счел нужным и тут же добавил:

– А следствием оного красноречия явилось предложение русского консула господину оратору незамедлительно покинуть французскую столицу и возвратиться в пределы Российской империи…

– Как! Значит, вас выслали из Парижа? – недоумевая, обратилась Соня к Кюхельбекеру. – Я ничего не понимаю… За что же все-таки?

Кюхельбекер вынужден был признаться:

– Нашли, будто я допускаю неуместные выражения…

Ермолов с обычной для него усмешечкой Соне пояснил:

– Надо полагать, милая сестрица, Вильгельм Карлович, высказываясь о настоящем и будущем россиян, не всегда делал ударения там, где следует…

Денис Васильевич, покачав головой, вставил:

– А при нынешних строгостях подобная история могла окончиться весьма печально.

– Оно и было на то похоже, да выручили спасительные случайности, – сказал Ермолов. – Незадолго перед тем, возвратясь из Лайбаха в Петербург, государь, довольный кавказскими делами, изволил пожаловать мне сорокатысячную ренту на двенадцать лет, а я, поблагодарив, отказался от оной в пользу бедных служащих, обремененных семействами…

Соня не выдержала, перебила:

– Вы… отказались от ежегодных сорока тысяч?

– А я за большими деньгами и подарками никогда не гонялся, хватит с меня жалованья, – отозвался чуть даже резковато Ермолов и, передохнув, продолжил: – Зато когда всем известный опекун и покровитель господ сочинителей Александр Иванович Тургенев уговорил меня взять на службу Вильгельма Карловича, государю мою просьбу об этом, судите сами, отвергнуть было уже совсем неловко… Вот как все устроилось!

Кюхельбекер влюбленно глядел на Ермолова и что-то шептал.

Потом вскочил порывисто с места, заговорил несвязно:

– Позвольте, господа… Я всю жизнь… Это не забывается…

И вдруг, выпрямившись во весь рост и переведя снова взгляд на Ермолова, с большой силой и трогательной искренностью прочитал:

Он гордо презрел клевету,
Он возвратил меня отчизне:
Ему я все мгновенья жизни
В восторге сладком посвящу…

Темпераментное выступление Кюхельбекера и его стихи произвели большое впечатление. Денис Васильевич одобрил автора первым:

– Прекрасно, милый Вильгельм Карлович! Такие строки не рассудком, а сердцем рождаются… Знаю по себе! Чувство, оно, братец мой, всегда скажется!

Ермолов, ласково поглядев на Кюхельбекера, добавил:

– Я в стихах знаток небольшой, в разборе их с братом Денисом тягаться не могу, однако ж отличать сердечность чувств и мне, одичавшему жителю Кавказа, свойственно… Благодарю, дружок! – И, что-то вспомнив, он едва приметно усмехнулся: – Хотя, должен заметить, дикими азиатами нелегкий труд сочинителей иной раз ценим бывает на свой манер весьма щедро. Мне Грибоедов рассказывал, как персидский Шах, прослушав стихи одного старого поэта, приказал ему раскрыть пошире рот и собственной рукой сунул туда горсть бриллиантов!

– Позволю напомнить, почтеннейший брат, – сказал, смеясь, Денис Васильевич, – что подобные азиатские способы награждения не только в Азии, но и у нас в России были известны…

– Разве? – удивился Ермолов. – Ну, я, признаюсь, никогда не слышал… Кто же и когда у нас этим занимался? Расскажи, любопытно!

– Императрица Анна Иоанновна набивала серебром и медью рты своим потешным карлам. А покойная государыня Елизавета Петровна развлекалась иначе: она приказывала запекать в пироги вместо начинки серебряные рублевики и одаривала таковыми кулинарными изделиями своих приближенных…

Ермолов, насмешливо блеснув глазами, перебил:

– Способы награждения, слов нет, похожи, да суть не в способах, брат Денис, а в том, кого и за что награждают. Там сочинителей и поэтов, а у нас шутов и лакеев…

И, довольный своей остротой, Ермолов громко, без стеснения,

рассмеялся.

Сама по себе эта острота ничем из других его острот не выделялась. Не такое еще говаривал Алексей Петрович! А все же его поведение, как и в прошлую встречу, казалось Денису Васильевичу во многом загадочным и заставляло опять задумываться…

Ермолов отказался от сорокатысячной аренды… Почему же? Денис Васильевич не мог поверить его собственному объяснению. Более правдоподобной казалась другая причина: зная о своей популярности в либеральных кругах, Ермолов желал ее упрочить. Ведь слух об отказе от аренды в пользу бедных служащих, несомненно, будет тому способствовать. А прием на службу попавшего в беду милого чудака Кюхельбекера? Можно не сомневаться, что Александр Тургенев трезвонит об этом благородном поступке во всех столичных гостиных.

Но зачем нужна Алексею Петровичу популярность в либеральных кругах? Неужели лишь для того, чтоб потешить свое тщеславие? Не узнал ли он чего-то во время пребывания в Лайбахе? И наконец, что же случилось с Ермоловым по дороге туда?

Говорить обо всем этом можно было лишь с глазу на глаз. И такой разговор в тот же день состоялся. Начал его сам Алексей Петрович, и начал совершенно неожиданным вопросом:

– Надеюсь, к тайному обществу ты не принадлежишь?

– Помилуйте! – изумился Денис Васильевич. – Я как будто никогда не давал повода полагать меня в числе сторонников подобных учреждений!

– А если не принадлежишь, то и хорошо, – сказал спокойно Ермолов. – Я предупредить хотел, ибо на собственном опыте убедился, сколь важно заранее прибраться и почиститься. Помню, как меня в молодости арестовали… Найди тогда генерал Линденер бумажки, кои брат Александр Каховский хранить доверил, – обоим бы нам голов не сносить! Да, пренебрегать, милый мой, опытом никогда не следует…

– Но что же произошло, почтеннейший брат?

– Государю стало известно о существовании тайных обществ, и, вероятно, будут приняты меры для искоренения оных…

Денис Васильевич изменился слегка в лице. Вспомнились Базиль, Михаила Орлов… Над сколькими друзьями и знакомыми нависла опасность! Сдерживая волнение, он спросил:

– Неужели государю доложены даже имена наших отечественных карбонариев?

– Ну, о таких подробностях меня не осведомляли, – произнес Ермолов, – зато я узнал другое… Они сильнее, нежели я думал!

Государь так их боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся![67]

– Следовательно, они занимаются не только демагогическими спорами, но и предприняли что-то серьезное?

– А как, по-твоему, в бирюльки, что ли, в тайных обществах играют? В Италии карбонарийские венты в короткий срок вооружили десятки тысяч людей… Вот у его величества от мрачных дум и пошла головка кругом!

– Простите, почтеннейший брат, однако мне кажется, при таких обстоятельствах и некоторые ваши собственные поступки могли показаться государю подозрительными…

– Ты на что же намекаешь? – прищурился Ермолов. – К тайным обществам я касательства не имею… А ежели Кюхельбекера с собою взял, так не без царского же согласия!

– Я имею в виду не только этот случай… После нашего прошлого разговора меня крайне беспокоила ваша поездка в Лайбах, тем более что длилась она слишком долго…

– А-а, ты вон о чем! – догадался Ермолов, и губы его тронула привычная усмешечка. – Поездка была занятная, что и говорить! В Варшаве великий князь Константин Павлович на неделю задержал, парады и разводы свои показывал. Как его высочеству откажешь? А потом несколько раз в дороге то карета, то бричка ломались…

– Зачем же вам другой экипаж понадобился?

– Экий, брат, ты несметливый! Со мною подарки для его величества и для Петрухана Волконского следовали. Петрухан, сам ведаешь, на подарки падок! Приезжаю, он волком смотрит: почему, дескать, медленно ехал? А увидев ковры и всякие иные изделия восточных чудесников, сразу обмяк… Побежал государю докладывать, что мои рассуждения основательны и виновности моей в дорожной задержке не было! Ну, а к тому времени надобность в посылке наших войск в Италию отпала, и назначение мое отменили, о чем я, как сам понимаешь, услышал без сожаления… Выходит, беспокоился ты напрасно, брат Денис!

– Могло же, однако, дело кончиться для вас и не столь благополучно?

– Разумеется. На грех мастера нет. В таком случае видел бы ты меня сейчас без мундира, только и всего!

Разговор отчасти успокоил. Ермолов к тайным обществам касательства не имеет, пользуется прежним доверием государя. А вместе с тем было очевидно, что сокровенные мысли и стремления проконсула Кавказа далеко не укладываются в рамки обычной благонамеренности, что он настроен к правительству враждебно и сочувствует объединившимся в тайные общества вольнодумцам. Сколько странностей, сколько противоречий!

Попробуй-ка разгадать, чего желает Ермолов?

VI

Бал, который дал Закревский в своем подмосковном селе Ивановском в честь Ермолова, был великолепен. Обширный господский дом сверкал огнями. Аллеи парка, спускавшегося к пруду, украшали гирлянды разноцветных фонариков. Играл военный оркестр. Палили при тостах из пушек. А когда взмыли в небо первые ракеты фейерверка, перед домом на самом видном месте, брызгая золотым дождем, медленно закрутился огромный щит, с одной стороны которого, под ермоловским дворянским гербом, значилась надпись: «Врагов мечом караешь», а с другой, под таким же гербом, стояло: «Друзей душой пленяешь!»[68]

Гостей наехало много. Тут была и титулованная московская знать, и чиновники разных ведомств, и окруженные перезрелыми дочерьми соседи-помещики, но большинство составляли военные. Закревский никого не хотел обижать, пригласил всех, с кем когда-то служил или состоял в знакомстве.

Денис Давыдов, приехавший вместе с Ермоловым, находился в приподнятом настроении и, вспомнив гусарскую молодость, много пил, шутил, танцевал до упаду. Черноволосая, кареглазая красавица Аграфена Федоровна Закревская, жена Арсения, совершенно его очаровала. Она была смешлива, лукава и чем-то напоминала ему Аглаю, может быть удивительным легкомыслием.

Танцуя с нею и ведя обычную светскую болтовню, он, не предвидя особого сопротивления, готов был атаковать ее пламенными словами признания, но его пыл охлаждали ревнивые взгляды Арсения, старавшегося не выпускать жены из поля зрения. Денис Васильевич, подавляя вздохи, все более соображал необходимость немедленного прекращения неуместного флирта. Сделав над собой усилие, он, едва только закончился длинный котильон, откланялся милой Аграфене Федоровне и, вытирая платком вспотевший лоб, подошел к Закревскому и Ермолову, стоявшим в кругу нескольких военных.

– Дух Бурцова в тебе неистребим, брат Денис! – смеясь, заметил Ермолов. – Тот, говорят, мог без отдыха двенадцать часов сряду плясать…

– Куда нам до Бурцова! – отмахнулся Денис Васильевич. – Бурцовским проказам уже более не быть… Будучи однажды в отпуску в Липецке, где родитель его служил градоначальником, Бурцов въехал к нему в кабинет верхом на коне и потребовал тысячу рублей для уплаты своего долга… А кабинет, господа,

находился на втором этаже дома!

Закревский, улыбаясь, произнес:

– Между прочим, мне передавали, будто в Петербурге не так давно пытался повторить подобное гвардеец Хрунов…

– Какой Хрунов? Матвей Григорьевич? Измайловского полка?

– Кажется, что так… Ты разве его знаешь?

– Пять лет назад, когда за арендой к вам приезжал, познакомили с ним… Нет, с Бурцовым Хрунова не сравнишь! Тень жалкая! Водку хлещет жестоко и под балалайку пляшет лихо, а на все иное никакой фантазии… Я, впрочем, сделал на него рифмованный набросок…

Под вечерок Хрунов из кабачка Совы,
Бог ведает куда, по стенке пробирался;
Шел, шел и рухнулся. Народ расхохотался.
Чему бы, кажется? Но люди таковы!
Однако ж кто-то из толпы —
Почтенный человек – помог ему подняться
И говорит: «Дружок, чтоб впредь не спотыкаться,
Тебе не надо пить…» —
«Эх, братец! Все не то: не надо мне ходить!»

Стихи вызвали общие похвалы. Денис Васильевич с довольным видом подкручивал усы. Закревский, взяв его под руку, говорил любезности. А между тем музыка снова заиграла. Бал продолжался.

И никто не заметил, как в зале появился невзрачный полицейский пристав, отыскал глазами среди гостей московского коменданта Волкова и, отозвав его в сторону, что-то шепнул на ухо. На круглом румяном лице коменданта выразилось беспокойство, он тотчас же, прихрамывая, вышел из дому вслед за приставом.

Ермолов и Давыдов узнали о ночном происшествии лишь на следующий день. Заночевав у Закревских, как и многие другие гости, они утром вышли в парк подышать свежим воздухом и, пройдясь по аллеям, уселись в одной из беседок, закурили трубки. Здесь к ним подошел стройный и черноглазый, похожий на итальянца Александр Яковлевич Булгаков, дотошный, умный и всеведущий московский почтмейстер, общий приятель, и сказал:

– Потрясающая новость, господа! Оказывается, ночью готовился поджог имения!..

– Полно, что за шутки, Александр Яковлевич, – произнес Давыдов.

– Сведения самые достоверные, – подтвердил Булгаков. –

Должно благодарить нашего коменданта, предусмотрительно распорядившегося об усилении охраны. Поджигатели вовремя были схвачены.

– Кто же они такие?

– Здешние мужики. Поджог для них – не диковина. В последние годы они сожгли несколько господских строений, дважды поджигали местную суконную фабрику и винокуренный завод, пытались добраться и до барского дома…

– А чем же все это вызывается? – сдвинув брови и наморщив лоб, спросил Ермолов.

– Страшным озлоблением крестьян, – ответил Булгаков. – Ивановское, как вам известно, было приданым Аграфены Федоровны, но до последнего времени управляла имением ее мать, скончавшаяся недавно графиня Толстая. И хотя о покойниках не принято говорить худого, должен заметить, старая графиня недаром стяжала мрачную славу одной из самых скаредных и жестоких помещиц Подмосковья. Крестьяне были доведены до полного нищенства. Фабричные работали по двенадцать часов, получая лишь кусок хлеба и две копейки. Дворовые ходили, пошатываясь от постоянного недоедания и бесчеловечных наказаний. И вот что поучительно, господа: скаредность и жестокость привели не к повышению, а к понижению доходности имения. Люди работают кое-как. Урожаи собираются на редкость плохие, сукно фабрика выпускает скверное…

– Значит, Арсению Андреевичу на многое рассчитывать от имения не приходится? – поинтересовался Давыдов.

– Думаю, что так. До тех пор по крайней мере, пока не наладятся отношения с крестьянами… Я далек от либеральных идей, господа, но, как видите, собственная наша выгода заставляет с этим считаться.

– Вполне с тобой согласен, Александр Яковлевич, – сказал Давыдов. – В этом вся суть!

Вскоре подошел Закревский, сопровождаемый комендантом Волковым, с которым находился в давней дружбе. Они только что побывали в селе, где присутствовали при допросе арестованных поджигателей. Подробности дела подтверждали правильность того, о чем говорил Булгаков.

Покойная барыня «довела до разора» крестьянина Трофима Сутулина. А сын его погиб на фабрике от несчастного случая. Трофим вместе с другими обозленными ивановцами участвовал два года назад в поджоге господского имущества, был судим и скончался по дороге на каторгу. Тогда другой его сын, Лука, тоже работавший на фабрике, мстя за отца и брата, испортил ценную

машину, за что по приказу барыни был наказан плетьми и выслан в другую графскую деревню, находившуюся под Лебедянью. Оттуда спустя некоторое время Лука сбежал обратно и, хоронясь у ивановских крестьян, стал подготовлять поджог господского дома, задумав сжечь в нем старую барыню. Узнав о ее смерти, Лука, как показали свидетели, «заскрежетал зубами», но намерения о поджоге не оставил, хотя ивановцы уговорили его изменить план и сначала подпалить ненавистную всем фабрику, которая в последнее время по распоряжению Закревского была временно закрыта для переустройства. Полагая, что бал в господском доме отвлечет внимание приказчиков, Лука и двое его дружков легко пробрались на фабричный двор и, заложив паклю в щели деревянного здания, начали высекать огонь, но в это время подоспела полицейская охрана.

– Самое ужасное заключается в том, – говорил расстроенный происшествием Закревский, – что преступники не только пользовались тайным сочувствием всех ивановцев, но и вдохновлялись ими… Выясняется, господа, такая особенность: мужики, более двух месяцев укрывавшие беглого Луку Сутулина, кормили его по очереди, как обычно кормят пастухов и других полезных мирских людей. В глазах ивановцев поджигатели господского имущества не преступники, а смелые, справедливые люди, страдающие за мирское дело! Видели бы вы, сколько всяких продуктов, даже лакомств, вроде сала и меда, натащили арестантам чуть свет со всего села!

– Я тебе советовал, Арсений Андреевич, поскорей отправить отсюда мерзавцев, – вставил Волков. – А что касается сочувствия арестованным со стороны мужиков… удивляться и тревожиться нечего, всюду так, а ничего страшного не происходит. Надо надзор построже учредить!

– Нет, а я Арсения Андреевича вполне понимаю, – возразил Булгаков. – Поджигателей по закону накажут, сошлют в Сибирь, а мужицкая ненависть тут останется… И строгостью скорее сам себе повредишь, чем поможешь! Да вот я вам один случай занятный расскажу. Был у одного пензенского помещика старик бурмистр, и до того строгий и злой, что мужики, только увидев его бороду, а борода размеров была невероятных, начинали дрожать от страха. Помещик бурмистра ценил и всюду расхваливал: вот, дескать, если б таких бородатых псов во всех именьях завести, то ни смут, ни бесчинств никогда бы не было. Однажды, приехав в Москву, стал этот помещик своим знакомым, как обычно, бурмистром хвалиться, а в это время ему почтовый большой пакет подают… Что такое? Раскрыл – и глазам не верит! Лежит в пакете борода бурмистра… и вместе с ней послание от

крестьян: мы, дескать, пока отрезанную нами бурмистрову бороду посылаем, а ежели его не уберете, то вскоре и голову ожидайте. Каков случай, а? И не хочешь, а улыбнешься, хотя чему же, собственно?

Неожиданно в разговор вмешался Ермолов:

– Отпустил бы ты мужиков на волю, Арсений Андреевич. Они тебя благодетелем почитать станут и по найму, глядишь, лучше работать будут!

Все посмотрели на Алексея Петровича с некоторым удивлением. Говорил он в обычной своей слегка иронической манере, и трудно было разобрать, то ли всерьез, то ли в шутку сделано предложение. Закревский с кислой улыбочкой произнес:

– А пожалуй, и впрямь придется вашим советом воспользоваться, Алексей Петрович…

Происшествие в Ивановском произвело тяжелое впечатление на Дениса Давыдова. Происшествие это не было исключительным случаем. В последнее время в дворянском обществе все чаще говорили о волнениях среди крестьян, о нападениях на помещиков, о поджогах. Не было ничего удивительного и в том, что крестьяне сочувствовали поджигателям господского имущества. Всюду так! Но именно потому, что подобные явления наблюдались всюду, нельзя было, как делал Волков, успокаиваться тем, что ничего страшного не происходит. Страшное заключалось уже в самом слове «всюду». Оно встревожило воображение мрачными картинами народного мятежа. Топоры бородачей, о которых напомнил как-то Вяземский, могут быть в конце концов пущены в ход! А кто виноват во всем этом? Сословные предрассудки и привычки уводили от правильного ответа. Коренная причина крестьянской враждебности виделась не в крепостной системе, а в самоуправстве и жестокостях некоторых помещиков. Денису Давыдову хорошо помнилась трагическая история проданной развратному Каменскому крестьянской девушки. Но чем лучше Каменского скаредная старуха Толстая, заставляющая людей работать за две копейки в день?

Всякий раз, когда приходилось слушать разговоры о бесчеловечных поступках помещиков, Денис Васильевич чувствовал, как вместе с отвращением к этим господам начинает закипать в нем и гнев против них. Они, и никто более, возмущали и озлобляли народ, разрушая добрые отношения с крестьянами! Такого несколько наивного мнения придерживался, впрочем, не он один. Оно было достаточно широко распространено тогда в той дворянской среде, где он вращался.

Конечно, высказывать при Закревском негодование

действиями его покойной тещи было неудобно, да и бесполезно. Закревский сам превосходно все понимал. Однако ивановское происшествие не прошло для Дениса Васильевича бесследно, и тревожные мысли, порожденные этим происшествием, спустя два месяца дали отзвук в другом месте и при других обстоятельствах.

VII

Денис Васильевич не забыл своего обещания выправить бумаги Терентию. Но дело оказалось значительно сложнее, чем можно было ожидать.

Расчет основывался на предположении, что Масленников, ускользнув от суда, несомненно, не захочет ссориться с человеком, знающим его прегрешения, и не откажет в просьбе дать Терентию вольную или в крайнем случае продать его. Когда же Дмитрий Никитич Бегичев, охотно взявшийся помогать шурину, навел необходимые справки у судейских чиновников, посоветовался с опытными стряпчими, то пришлось весь расчет признать несостоятельным.

Ведь было неизвестно, каким образом Масленникову удалось избежать суда, а главное, куда делись следственные материалы? Обычно они хранились в судебных архивах, но Масленников, не пожалев денег, вполне мог добиться изъятия их оттуда и совершенного уничтожения. А в таком случае его сношения с французами делались почти недоказуемыми, и это обстоятельство сразу изменило бы характер предполагаемых отношений с ним. Масленников мог отказаться от всяких переговоров да вдобавок заявить полиции, что Давыдов укрывает беглых.

Но если следственные материалы и уцелели, то, во-первых, не так-то просто до них добраться, а во-вторых, прошло столько времени, что, вероятно, пришлось бы заниматься снова собиранием свидетельских показаний, обличающих помещика в измене. А это предприятие чрезвычайно трудное и не обещающее никакого успеха.

Наконец, Масленников легко может перейти от обороны к наступлению, обвинив Давыдова в том, что он самовольно, из личной неприязни, подверг телесному наказанию ни в чем не повинного дворянина. Как его пороли – видели многие, а за что – не знал точно никто. К тому же Масленников, наверное, заручился бумажкой о прекращении судом его дела за полной недоказанностью обвинения. Приложенная к жалобе такая бумажка могла стать весьма основательной и грозной уликой против Давыдова. Вот как все повертывалось!

Обрисовав в подробностях невеселую эту картину, Бегичев посоветовал:

– Благоразумней всего не связываться с негодяем…

Денис Васильевич мрачно усмехнулся:

– Занятные сети плетет наша богиня Фемида! Виноватый

проскользнет, а правый застрянет! – И, вздохнув, заключил: – Что ж, придется повременить… Ты, Митя, все же через смоленских своих знакомцев проведай, как держит себя поротый барин и бывает ли в Москве… Не мешает знать на всякий случай!

Между тем положение Терентия, жившего без всякого вида в Верхней Мазе, начинало с некоторых пор внушать серьезные опасения.

Терентий, судя по письмам дядюшки Мирона Иваныча, не сидел без дела и все, что ему поручалось, выполнял с необычайным усердием. Он привел в порядок дворовые постройки, превосходно отделал все комнаты господского дома, а парадное крыльцо и террасу украсил такой искусной резьбой, что все диву давались. Дядюшка нахвалиться не мог Терентием, считая его бесценным человеком.

Но трудолюбие и мастерство Терентия стали возбуждать невольный интерес к нему и ненужные толки, причем не только среди дворовых. Соседка помещица Мария Ивановна Амбразанцева нарочно приезжала в Верхнюю Мазу, чтобы справиться у Мирона Ивановича, откуда взялся у них этакий умелец и нельзя ли прислать его недельки на две к ней для домашних работ. Стало быть, слухи о Терентии вышли за пределы села и могли привлечь внимание полиции… Что-то так или иначе необходимо было предпринимать. Но что же?

Размышления об этом совпали с большим событием в жизни Дениса Васильевича. На письменном столе появилась пахнущая свежей типографской краской первая его книга «Опыт теории партизанского действия». Названию он умышленно придал суховатый оттенок, чтоб несколько скрыть взволнованность своих чувств. Когда приходилось защищать партизан от нападок военных педантов, людей сухой души и тяжкого рассудка, разве мог он оставаться спокойным?

Правда, подсушенное название не очень-то спасало книгу от осуждения в высших сферах. Царь морщился при упоминании о ней. Дибич и Толь удивлялись, как могла цензура разрешить ее выпуск. И Закревский, учитывая эти настроения, журил за допущенные в книге дерзкие рассуждения. Денис Васильевич признавал, что «занесся во многих местах», обещал впредь быть осторожней.

Впрочем, книгой он был очень доволен. Кислые физиономии военных педантов и методиков не смущали, он знал заранее, что этим господам книга придется не по вкусу, зато в либерально настроенных офицерских кругах приняли ее более чем благосклонно. Выражая мнение этих кругов, Иван Григорьевич Бурцов писал из Тульчина:

«Русская военная литература, как известно вам, богата только фронтовыми уставами и прибавлениями к оным; следственно, приходится искать наставления по ремеслу нашему в сочинениях чужеземных. Я покорялся сему закону, хотя с великим негодованием: читал много и утвердительно могу сказать, что ничего близкого, похожего даже на ваше произведение не знаю… Это в другом роде «Опыт теории о налогах» Тургенева, коим не похвалится ни одна чужестранная литература. Тому воздавать будут хвалы политики, доколе не обрушатся столпы государственных зданий, – этому будут возносить благодарность воины, пока люди не перестанут точить штыки…»[69]

Выпуская первую свою книгу, Денис Давыдов заботился не только о военно-теоретических, но и о литературных ее достоинствах. Карамзин, Жуковский, Вяземский, читавшие рукопись, помогали своими советами, однако надо заметить, автор не следовал им слепо, несмотря на полное уважение к почтенным литераторам. Выправлялись отдельные страницы, заменялись одни выражения и слова другими, а слог оставался свой собственный, оригинальный, живой, Давыдовский.

Поэтому особенно приятно было получить стихотворный отклик на книгу от Александра Пушкина:

Недавно я в часы свободы
Устав наездника читал
И даже ясно понимал
Его искусные доводы;
Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога…

И хотя при этом Пушкин в шутливом тоне скорбел о том, что «перебесилась проказливая лира» поэта-партизана, признание в прозаическом его сочинении «неподражаемого слога» наполняло Дениса Васильевича чувством большого творческого удовлетворения.

Итак, созревший несколько лет назад замысел был осуществлен!

Несмотря на явное нежелание царя и его ближних признавать партизанскую систему, она утверждалась в книге как ценный, проверенный опытом способ защиты отечества. А в журнале «Отечественные записки» печатались отрывки из «Дневника партизанских действий». Мысли, высказанные в книге, подтверждались в журнале красочными примерами партизанской практики.

Денис Васильевич, глядя на книгу, невольно каждый раз

вспоминал о славных деяниях партизан, и злая судьба одного из них, ныне с последней надеждой ожидавшего решения своей участи, волновала все больше и больше. Возвращение полицией беглого крестьянина помещику было обычным для того времени делом и само по себе Дениса Васильевича, вероятно, не взволновало бы, но в данном случае беглый крестьянин являлся партизаном, защитником отечества, а помещик – изменником. К тому же через смоленских знакомых Бегичева стало известно, что поротый барин, вынужденный первые годы после экзекуции сдерживать свой нрав, в последнее время, решив, очевидно, что старые его грехи окончательно забылись, совершенно озверел и, по слухам, засекал иногда своих крестьян до смерти. Нетрудно представить, что ожидает Терентия, если… Нет, этого допускать было нельзя! Денис Васильевич не знал еще, что он предпримет, но знал, что ему придется перешагнуть черту, отделяющую так называемые благоразумные действия от риска. Он ощущал необходимость такого шага. Слишком уж попиралась справедливость. А кроме того, после ивановского происшествия не затихло в груди негодование против озлоблявших народ неистовых помещиков, и поротый барин казался одним из самых гнусных и вредных.

В последних числах ноября Масленников приехал в Москву. Узнав об этом, Денис Васильевич быстро принял решение. Надев мундир со всеми регалиями, он отправился в гостиницу Коппа на Тверской, где, по сведениям Бегичева, останавливался поротый барин.

Большой, номер, занимаемый им, находился на втором этаже и состоял из двух комнат и передней. Дверь открыл пожилой, с испуганными глазами, камердинер в затрапезном кафтане и растоптанных валенках.

– Барин проснулся? – спросил Давыдов.

– Так точно, кофе кушают… Как прикажете доложить?

Денис Васильевич молча сбросил шинель и, слегка отстранив оторопевшего камердинера, переступил порог.

Масленников в домашнем халате сидел за столом. Увидев нежданного гостя, сразу признав его, он с трудом приподнялся. Круглое, обрюзгшее лицо покрылось мгновенно багровыми пятнами. Глаза выкатились из орбит. Губы тряслись, и слова едва выдавливались:

– Чем обязан… удовольствию… видеть у себя… ва-а-ше превосходительство?

Денис Васильевич, скрестив руки на груди, стоял не шевелясь и в упор глядел на поротого барина горячими, гневными глазами. Потом, чувствуя, что впечатление произведено огромное и

Масленников смертельно его боится, сделав шаг вперед, произнес сурово:

– Девять лет назад я пощадил вашу жизнь, сударь… Мне казалось понесенное вами наказание достаточным для того, чтобы никогда не забывать о существующем возмездии за ваши недостойные поступки. Не хочу скрывать, ваша дальнейшая жизнь меня интересовала, и мне приятно было узнать, что на первых порах вы держались скромно… Я даже собирался сжечь хранящиеся у меня, заверенные в штабе главнокомандующего бумаги, касающиеся ваших сношений с неприятелем, но… я не сделал этого, сударь, ибо вскоре до меня дошли иные сведения…

Говоря это, Денис Васильевич не спускал глаз с поротого барина и не упустил из виду, как вздрогнул он и втянул голову в плечи при упоминании о бумагах. Значит, слова о существовании таких бумаг подействовали крепко!

– Клянусь, я никогда более не знался с неприятелем, – дрожа, словно в ознобе, пролепетал Масленников.

– Охотно верю, ибо неприятеля в России, слава богу, более не было, – ответил Денис Васильевич, – однако вы стали притеснять тех, кто, не щадя жизни, способствовал быстрейшему его изгнанию… Хотя обещали мне не повторять ваших прежних гнусностей!

– Меня оговорили… Я ни ратников, ни партизан не трогал, – пытался возразить Масленников.

– Молчите, сударь! Мне все известно! – остановил его Денис Васильевич. – Такие ожесточители, как вы, причина ропота в народе, поджогов, буйств… И ежели вы, – сверкнул он глазами, – будете продолжать порочащие дворянина и вредящие дворянству неистовства… пеняйте на себя!

Последние слова, хотя и произнесенные грозно, Масленникова немного ободрили. Он уловил звучавшее в них предупреждение. Стало быть, немедленной расправы можно не опасаться. Он, собрав силы, промолвил:

– Я бываю иногда крут, согласен… Я даю слово… это не повторится…

Денис Васильевич прошелся по комнате, затем остановился против него, сказал:

– Хорошо. Поверю в последний раз. Помните! – И тут же с прежней резкостью перешел на другое: – Но я приехал не только затем, чтоб напомнить об этом… Вы изволили, сударь, довести до разорения и бегства человека, о партизанских заслугах коего я свидетельствовал… Мне не так давно случайно открылось, какие иезуитские способы применяли вы против Терентия, и… – он опять обжег гневным взглядом поротого барина, – ваше счастье,

что вы были в то время далеко, сударь!

Масленников, опустив голову, пробормотал что-то невнятное. Денис Васильевич, не слушая его, продолжал:

– А теперь что же? Мне хочется думать, что вы сами чувствуете необходимость хотя бы отчасти загладить причиненное вами зло… Не так ли?

Масленников поднял голову:

– Мне неизвестно, где находится Терентий. Он в бегах почти пять лет… И что же я могу сделать?

– Любопытствовать о его местопребывании вам не следует, о возвращении речи быть не может, сударь, – сухо ответил Денис Васильевич, – но было бы справедливо облегчить ему жизнь и подписать вольную… А дабы вы не имели претензий на меня и не сетовали на ущерб, причиненный бегством Терентия, вам будут уплачены обычные оброчные деньги за пять лет…

Судейские чиновники, строя всевозможные хитроумные доводы, упустили из виду одну особенность: страх, который, смотря по обстоятельствам, то усиливается, то временно утихает, все же сопровождает изменников и предателей всю жизнь. Неожиданное появление Дениса Давыдова привело в ужас поротого барина, а упоминание о сохранившихся бумагах окончательно ошеломило и придавило.

Масленников с трепетом ожидал самого худшего. Поэтому предложение Давыдова не только не встретило противодействия с его стороны, а, напротив, пришлось по душе. Подписывая вольную Терентию, которого давно считал потерянным, Масленников отводил от себя нависшую угрозу. Да еще деньги получал! Чего же лучше?

– Я с полной готовностью выполню указания вашего превосходительства, – почтительно наклонил он плешивую голову.

Денис Давыдов, не ожидавший такой быстрой сговорчивости, тоже остался доволен.

– Отлично! Мой поверенный сегодня же будет у вас. Договоритесь о подробностях с ним. И будьте впредь благоразумны. Не заставляйте меня сожалеть, что я пощадил вас… Прощайте, сударь!

VIII

Зима была снежная и до самого крещенья стояли крепкие морозы, а затем подули южные ветры и сразу началась небывалая оттепель. Быстрое таяние снега испортило дороги. Поля почернели. Вскрывались реки. А Денис, как на грех, отправился

опять на киевские контракты!

Софья Николаевна стояла у окна и, глядя на мчавшиеся по широкой улице грязные и пенистые потоки, думала о том, что все-таки напрасно отпустила мужа в Киев.

Путь далекий! Мало ли что может дорогой случиться! Десять дней нет никаких известий. Но Софью Николаевну тревожили не одни эти опасения. Обязательны ли вообще ежегодные визиты Дениса в Киев? С делами арендными, наверное, любой поверенный управился бы лучше, чем он. Другие, обычно выставляемые им причины, казались еще менее уважительными. Соскучился по Раевским, по каменским своим родным?.. А не вернее ли предположить, что манят старые увлечения?

Софья Николаевна хмурится, кусает губы. Денис не скрывал дружеских отношений с Аглаей и неудачного сватовства за Лизу Злотницкую. Кто поручится, что старое чувство заглохло? Эта Лиза стала, правда, княгиней Голицыной, да ведь каких чудес на свете не бывает! Софья Николаевна ревнует, хмурится, мысли бегут невеселые…

Неожиданно у дома останавливается забрызганная грязью бричка. Сходит какой-то незнакомый офицер. Софья Николаевна спешит в переднюю. Догадывается: известие от Дениса! Ну, конечно, так и есть!

– Я из Киева, сударыня. Денис Васильевич просил передать вам…

Она возвращается с пакетом в руках. Нетерпеливо открывает. Большое письмо. Написано в Киеве 13 января 1822 года. Софья Николаевна садится в кресло, углубляется в чтение.

«Милая моя Сонечка, я сегодня поутру переправился на пароме через Днепр и приехал благополучно в Киев. Почти в один час приехали сюда Александр Львович, Василий Львович и Волконский. Орлова с женою ждут с часа на час. Аглаю с детьми ждут также сегодня вечером. Я обедал у Николая Николаевича Раевского, теперь дома один и пишу к тебе. Пока продолжалась дорога, перемены станций, погоды, ухабы и пр., все заставляло меня забывать разлуку мою, но едва въехал в Киев, как горесть мною овладела! Поверить не можешь, что я дам скорее отсюда выехать: сейчас посылаю Донича в Балту, думаю, что он будет к 18 сего месяца, тогда арендаторы мои будут здесь и я приступлю немедленно к делу, по окончании которого ни минуты не медля не поскачу, а полечу к тебе. Нет, мне нельзя жить разно с тобою не только год, но и несколько дней! Что же будет со мною, если война откроется? К счастию, о ней здесь ни малейшего нет слуха. Больше говорят о ней в Москве и Петербурге, нежели здесь, а Киев ближе к Турции, нежели наши столицы. Какая жалость: слух

носится, будто бы князь Александр Ипсиланти, будучи не в состоянии снести несчастье быть праздным, тогда как его соотечественники сражаются за свободу Греции, принял яд. Однако эта новость требует подтверждения. Николай Николаевич Раевский переменил дом и живет в прекраснейшем, подлинно барском доме. У него готовятся вечера по-прежнему, здесь множество съехалось артистов и уже начались споры насчет протекций, тот того протежирует, а тот другого. Я намерен провести здесь время как прошлого года, то есть съездить каждый вечер к Николаю Николаевичу на полчаса, а там воротиться домой, писать к тебе, курить трубку и болтать с Василием Львовичем, который неисчерпаемый источник веселости, ума и прекрасных чувств. Прости, милый и единственный друг мой, устал очень, ложусь отдохнуть».

Далее следовала приписка, сделанная на следующий день:

«Сегодня я ездил с визитами, был у губернатора, у коменданта и губернского маршала, у Бороздиной. Обедал я у Александра Львовича, который ждет сегодня жену свою из Каменки, она пробудет здесь только одни сутки и едет в Петербург, а летом в Париж и вряд ли возвратится когда-нибудь в Россию. Позабыл тебе сказать, что здесь я нашел старинного моего приятеля графа Гераклиуса Полиньяка с женою и маленьким сыном – он родня близкий Аглае и служил в нашей службе полковником; а теперь он во французской службе, приехал сюда продать маленькое свое имение и возвратится во Францию. Что мне еще сказать тебе? Завтра бал у Н. Н. Раевского, увидим, что там будет. Забыл еще уведомить тебя, чтобы ты не беспокоилась: Голицыной здесь нет, она в Дрездене. Довольна ли ты, моя милая душка? Я хотел было ехать сегодня на вечер к Раевским, но когда Василий Львович и Полиньяк уехали, я раздумал и сел писать к тебе… Завтра почта – жду твоего письма. Уведомь о Соньке, не начинаются ли у ней зубы резаться?»[70].

Прочитав письмо, Софья Николаевна успокоилась, повеселела. Все обстояло как будто благополучно. И Голицыной в Киеве не было, слава богу. А Денис в самом деле засиделся дома, нет ничего удивительного, что ему захотелось проветриться, побывать в кругу таких милых, образованных людей, как кузен Василий Львович, князь Сергей Волконский, Михаила Орлов… Они в разное время были Софье Николаевне представлены мужем, и о всех составила она самое хорошее мнение.

А в киевском доме Давыдовых, где остановился Денис, происходило между тем следующее.

Год назад на Московском съезде Союза благоденствия, где большинство представляли умеренные члены, стоявшие за

«разумную медлительность», было решено прекратить деятельность тайного общества. Пестель и его тульчинские товарищи не согласились с таким решением и создали отдельное Южное тайное общество. Было подтверждено, что целью его является отмена крепостного права и введение республиканского правления. Пестеля и Юшневского избрали директорами общества.

К южанам вскоре присоединились Сергей Волконский, Василий Давыдов, Сергей Муравьев-Апостол и некоторые другие бывшие члены распущенного Союза благоденствия. Ряды общества начали также пополняться революционно настроенной офицерской молодежью. Возникла необходимость в съезде руководителей Южного общества для обсуждения основ будущей конституции и ближайших задач. Съезд решили провести в Киеве во время зимних контрактов.

Вопрос о месте для тайных киевских совещаний Пестель и Юшневский тщательно обдумывали. «Удобней всего показалось собираться у меня», – свидетельствовал позднее Василий Львович. А знали ли Пестель и Юшневский о том, что у него остановился, живет вместе с ним Денис Давыдов? Несомненно знали. Василий Аьвович не мог не предупредить об этом. И все же совещания о важнейших и секретнейших делах тайного общества проводились у Василия Львовича, возможно, в той самой комнате, где с ним ежедневно до поздней ночи «болтал» Денис Давыдов.

Все это свидетельствует, что не только Василий Львович, но и такие деятели тайного общества, как Пестель и Юшневский, относились к Денису Давыдову с полным доверием. Им было хорошо известно, что хотя Денис Давыдов не состоит в тайном обществе, считая конституционные замыслы преждевременными и неосуществимыми, однако он разделяет многие их взгляды, во многом близок им, и, уж конечно, можно вполне положиться на его благородство и честность, он будет держать язык за зубами, если о чем-нибудь и догадается.

А оно так и было. Возвращаясь однажды с контрактов ранее обычного времени, Денис Васильевич, подходя к давыдовскому дому, издали заметил, как из парадного подъезда вышли четверо военных и, о чем-то оживленно беседуя, свернули в ближайший переулок. Денис Васильевич, обладавший зоркими глазами, без труда признал в военных Пестеля, Юшневского, Волконского и Муравьева-Апостола, некогда служившего ординарцем у Раевского.

Подозрение, что они неспроста посещают Базиля, возникло сразу. Вольнолюбивые помыслы Пестеля были хорошо известны. У Дениса Васильевича тревожно сжалось сердце. Разговор с

Ермоловым не выходил из памяти, и при первой встрече с Базилем он передал ему, что правительство осведомлено о существовании тайного общества. Базиль не придал этому особого значения, начал отшучиваться, сказал, что общество прекратило существование, и несколько успокоил. Теперь же в искренности этих слов приходилось сомневаться.

Денис Васильевич вошел в кабинет хмурый и, отклонив обычные шуточки Базиля, сказал:

– Ты можешь не отвечать, зачем собираются у тебя Пестель и другие офицеры, я сам понимаю, что не для игры в бирюльки, как говорит Ермолов, но меня возмущает твое легкомысленное отношение к серьезному предупреждению… И, думается, я не заслужил, чтобы ты водил меня за нос.

Базиль смутился, покраснел, потом бросился обнимать Дениса:

– Прости, милый, но, право, мой грех не так велик, как тебе кажется! Общество, о коем известили правительство, на самом деле в прошлом году распущено… Спроси Михаилу Орлова, если мне не веришь! А что мы собрались здесь поговорить о политических и общественных делах… это совсем другое…

– Повторяю, я не ищу объяснений, зачем вы собираетесь, старое или новое у вас общество, – перебил Денис Васильевич. – Только, я вижу, Михайла-то Орлов сидит сейчас у Раевских и со своей Катенькой милуется, а ты опять с непонятным фанатизмом и безрассудством пускаешься в политику!

– Что поделаешь, не все способны следовать примеру Михайлы, – отозвался с легким вздохом Базиль.

Денис Васильевич бросил на него недоумевающий взгляд.

– А разве здравый смысл тебе не подсказывает, что Михайла Орлов, уклоняясь от ваших сборищ, ставших сейчас особенно опасными, поступает благоразумно?

Базиль неожиданно рассмеялся.

– Ей-богу, Денис, смешно слушать твои соображения насчет здравого смысла и благоразумия!.. Кто же более тебя пренебрегал сими драгоценными качествами? И не лучше ли меня ты сам знаешь, что существуют сотни всяких причин и обстоятельств, заставляющих нас отступать от так называемого здравого смысла?

– Ты мне голову не затуманивай! – сердито остановил его Денис Васильевич. – Мы говорим серьезно. Какие такие причины заставляют тебя, молодого, красивого, богатого, обласканного жизнью со всех сторон человека, стремиться к поприщу, не сулящему ничего, кроме гибели?

– Совесть моя, Денис, – слегка склонив голову, тихо произнес

Базиль. – И долг, как я его понимаю, и верность слову… Я не в состоянии, подобно некоторым, отказаться сегодня от того, что вчера одобрял вместе с другими.

– Э, полно, брат Василий, меня этакими заклинаниями не удивишь, – возразил Денис Васильевич. – Я, бывало, от Михаилы Орлова более красноречивые слышал! Скажи лучше, что удерживать тебя некому. Вот всякие химеры в голову и лезут. Да оно и понятно! Пока холост – за одного себя ответствуешь, ну и сам черт тебе не брат! А появится жена, заведутся дети, так волей-неволей и осторожным и благоразумным станешь, ибо не захочешь их-то, ни в чем не повинных, превратностям судьбы подвергать!

Последние слова произвели на Базиля сильное впечатление. Он заговорил взволнованно и сбивчиво.

– В твоих суждениях много верного… Одинокому, конечно, вольготней. Но ты ошибаешься, полагая, будто меня завлекает в политику одно безрассудство. Я сделаю тебе признание, и ты поймешь, как ты не прав! Только имей в виду… я не открывал этого даже Раевским…

Денис Васильевич посмотрел на взволнованного Базиля удивленными глазами и встревожился:

– Да что за тайность? Ты меня пугаешь, брат Василий!..

– Нет, пугаться нечего… Тут совсем другое… Ты помнишь воспитанницу матушки Сашеньку Потапову?

– Помню, конечно, что за вопрос! Я еще в прошлогодний заезд заметил, какими нежными взглядами вы обменивались!

– Мы давно любим друг друга, Денис… Но ты, вероятно, догадываешься, что соединиться законным браком нам не так-то просто? Сашенька взята к нам в дом пятилетней девочкой после смерти родителей, мелкопоместных дворян, не оставивших ей ничего, кроме родительского благословения…

– Следовательно, твоя женитьба на ней представляется родным и знакомым ужаснейшим мезальянсом?

– В этом суть! Когда я открылся матушке и стал умолять о согласии на мой брак, она произнесла: «Боже, как ты смешон! Надо же договориться до такой глупости! Нет, мой друг, согласия я никогда не дам, устраивай свою метреску иным способом».

– Ну и что же после этого ты сделал?

– Я предложил Сашеньке обвенчаться тайком. Она наотрез отказалась. Матушка была ее воспитательницей и благодетельницей. Сашенька при своей чрезмерной совестливости не могла выказать себя неблагодарной, страшилась прослыть интриганкой… А между тем вскоре призналась мне, что ждет ребенка…

– Вот так история! – воскликнул Денис Васильевич. – И давно ли это случилось?

– Прошлой зимой.

– Значит… ты уже отец?

– Да, у меня растет сын. Только ни моя жена, ни мой сын не носят моей фамилии и живут не в Каменке, а близ Полтавы, где у Сашеньки, к счастью, оказалась старуха тетка… Как видишь, я имею семью, хотя не имею права на ее признание! И стоит ли пояснять тебе, что в случае какого-нибудь несчастья со мной моя бесправная, беззащитная жена и мой сын останутся в столь бедственном положении…[71]

– Нет, брат Василий, – перебивая его, горячо отозвался Денис Васильевич, – ты хорошо сделал, что во всем мне признался… Если, не дай бог, что и произойдет, я всегда буду считать их своими родными, они найдут во мне защитника…

– Спасибо, милый, – промолвил растроганный Базиль. – Я никогда не сомневался в твоих братских чувствах и в твоем благородном сердце… И надеюсь, – добавил он с улыбкой, – представление твое обо мне, как о безрассудном человеке, несколько изменится? Не правда ли?

– Но скажи, пожалуйста, ужели Сашенька знает о твоих опасных политических увлечениях?

– Да. Я ничего от нее не скрываю. Она разделяет мои взгляды, а посему и относится к моим увлечениям иначе, чем ты… хотя, разумеется, не может не бояться за меня…

Денис Васильевич задумался. Отказаться от старых, укоренившихся понятий всегда нелегко. А приходилось! Было совершенно очевидно, что Базиль избрал опасное поприще не ради каких-либо честолюбивых стремлений, или свойственного молодости легкомыслия, или личной выгоды, а по убеждению, что на этом поприще он принесет пользу отечеству. Денису Васильевичу такое убеждение по-прежнему казалось заблуждением, но несомненная чистота намерений и самоотверженность Базиля заслуживали полного уважения. И странное дело! В благоразумии Михаилы Орлова теперь невольно проглядывались черты малодушия, а заблуждение Базиля вызывало в глубине души нечто вроде гордости за него.

Денис Васильевич потер лоб, словно отгоняя непрошеные мысли, затем сердитым тоном произнес:

– А все же требуется осторожность соблюдать! И если ты от политики отказаться не в состоянии, то, во всяком случае, с военной службой простись… Со штатского спрос один, с военного – другой, сам должен знать.

– Вот в этом вполне согласен с тобой, Денис… Я давно рапорт

об отставке в главный штаб послал, да, видно, там без внимания оставили… Ты бы напомнил Закревскому!

– Хорошо. Сегодня же напишу. А отставка и потому тебе необходима, что более всего государь военного восстания опасается, стало быть, и надзор за военными усиливается. В ближайшее время, как мне говорили, особый опрос всех военных готовится, подписку требовать будут, что ни к масонским, ни к тайным обществам не принадлежишь.

– Да что говорить! Мне и по всяким иным соображениям военная служба не нужна! Только будешь писать Закревскому, укажи, что прошусь в отставку по причине тяжелых ранений… Чтоб не подумали там, – весело подморгнул он Денису, – будто я по собственной охоте, с превеликим удовольствием царю-батюшке служить отказываюсь!

Письмо Закревскому было написано и отправлено в тот же вечер.

«… Прошу тебя, любезный друг, – писал Денис Васильевич, – постарайся скорее выдать в свет отставку двоюродного брата моего Василия Давыдова (подполковника, считающегося по армии), он просится в отставку за ранами, то, пожалуйста, не забудь, чтобы сказали о нем в приказе *за ранами,* ты меня сим крайне обяжешь…»

10 февраля, будучи уже в Москве, Денис Васильевич получил уведомление от Закревского, что просьба его выполнена. И ответил старому другу радостно:

«Я не знаю, как благодарить тебя за отставку брата Василия, которого я люблю, как родного брата»[72].

IX

Прошел год. Денис Давыдов почти безвыездно жил в Москве или в недавно купленном подмосковном селе Мышецком. Выпустил вторым изданием «Опыт теории партизанского действия». Собирал материалы для истории современных войн. Пробовал заниматься хозяйством[73].

Дом оживлялся веселым щебетаньем Соньки-маленькой и озарялся ее улыбкой. Девочка начинала ходить. Она была розовенькая, пухленькая, со вздернутым носиком и темными бровками. Отец души в ней не чаял. А Соня-большая опять затяжелела. И поздней осенью родила сына Василия.

Весь этот год Денис Давыдов продолжал настойчивые хлопоты о возвращении на военную службу. Нет, возвращаться в армию, где продолжали бесчинствовать аракчеевские клевреты, он не собирался. Но в то время существовали окончательно

сложившиеся войска иного типа, войска, где господствовали любезные сердцу суворовские порядки, войска, расположенные на огромном пространстве от Каспийского моря до Черного, от Терека до Карадага, озера Гохчи и горы Алагез, войска отдельного Кавказского корпуса.

Впервые мысль о службе в этих войсках возникла во время пребывания Ермолова в Москве и, вероятней всего, под влиянием его красочных рассказов. О своем желании служить Денис Давыдов с Ермоловым не говорил, об этом он сообщил Алексею Петровичу письмом лишь спустя три недели после его отъезда из Москвы.

15 октября 1821 года Ермолов писал Закревскому:

«Какой чудак наш Денис! Всякий день бывали мы вместе, и никогда ни слова не сказал он о деле, о котором не бесполезно было бы и посоветоваться вместе… С Денисом желаю я служить и мог бы из способностей его извлечь большую себе помощь…»

Так положено было начало хлопотам о кавказской службе.

Денису Давыдову на первых порах казалось, что его желание не встретит особых препятствий. Ведь ходатайствовал за него сам проконсул Кавказа! Да можно было вполне рассчитывать и на всемерную помощь Закревского и даже на Петрухана Волконского, находившегося в дружеских отношениях с Ермоловым. Но все расчеты оказались неверными.

Император Александр не утвердил подготовленного главным штабом приказа о назначении Дениса Давыдова в Кавказский корпус. И Волконскому с явным неудовольствием сказал:

– Как можно, Петр Михайлович, полагаться на этого Давыдова, коего мы с тобой знаем столько лет и неизменно со стороны самой худшей… Я еще помню его якобинские басни! А потом, – император поморщился, – эти во многом сомнительные партизанские затеи… И, наконец, недавно выпущенная возмутительная книжонка о партизанстве… где все пропитано духом своеволия и вредоносных идей… Нет, я решительно не доверяю Давыдову!

– Я взял на себя смелость, ваше величество, предложить назначение генерала Давыдова на ваше усмотрение ввиду настоятельной просьбы Алексея Петровича…

– Так что же? Разве тебе не известна склонность Алексея Петровича к необдуманным словам и поступкам? Я ценю его энергию, бескорыстие, но… судя по тайным донесениям, войска Кавказского корпуса не в блестящем состоянии, солдаты разучились маршировать, уставы не соблюдаются… и, признаюсь, меня особенно беспокоит необычайная приверженность офицеров и нижний чинов к Ермолову, о чем нам не раз сообщали. Почему

бы это? Как твое мнение?

– Я полагаю, ваше величество, – промолвил робко Волконский, – в донесениях многое преувеличено… Ермолов достаточно показал свою преданность отечеству…

– Преданность отечеству! Какое мне дело до отечества! – с нескрываемым раздражением воскликнул царь. – Я хочу, чтобы преданно служили мне, а не отечеству и своему честолюбию! А если этого нет… – Он круто сломал фразу и, успокоительно потирая щеки, перешел на другой тон. – Да… необходимо усилить наблюдение за кавказскими войсками, Петр Михайлович. А посылать туда человека, известного своеволием и отвращением к дисциплине да еще близкого родственника командующего, крайне неразумно… Надеюсь, тебе ясно?

Об отказе в назначении Денис Давыдов узнал в конце февраля 1822 года. Если б ему был известен разговор императора с начальником главного штаба, он, несомненно, прекратил бы дальнейшие хлопоты. Но в кратком канцелярском сообщении причины отказа не указывались. Неудача представлялась Денису Давыдову результатом недостаточной настойчивости. А служба на Кавказе, не выходившая из головы, успела приобрести в воображении некую романтическую окраску… Приезжавшие офицеры с увлечением говорили о стычках с черкесами в горах, о подвигах известного храбреца капитана Якубовича, о всяких необычайных приключениях.

Денис Давыдов опять взялся за сочинение пространного рапорта. На север и на юг полетели письма влиятельным родным и знакомым.

Ермолов, в свою очередь, не сидел сложа руки, хотя о причинах отказа частично был осведомлен. Волконский намекнул, что государь имеет о Давыдове «невыгодные мысли, вызванные прежним его поведением». Придворный этикет не позволял после этого беспокоить царя просьбами о неугодном лице. Ермолов с этикетом не посчитался. Он пишет одно, другое, третье письмо, доказывая «несправедливость предубеждения» и настаивая на удовлетворении своей просьбы.

Все было тщетно. С Ермоловым на сей раз не посчитались. Волконский отделался молчанием.

15 декабря 1822 года из Тифлиса Алексей Петрович жаловался Закревскому:

«Получил от Дениса уведомление, что вновь по просьбе моей отказано его сюда назначение. Конечно, уже не стану говорить о нем впредь, но это не заставит меня не примечать, что с ним поступают весьма несправедливо Впечатление, сделанное им в молодости, не должно простираться и на тот возраст его, который

ощутительным весьма образом делает его человеком полезным. Таким образом можно лишать службы людей весьма годных, и это будет или каприз, или предубеждение. Признаюсь, что это мне досадно, а князь Волконский даже и не отвечает на письмо. Словом, насмехаются нашим братом. Подобного успеха ожидаю я и по прочим просьбам. Не я теряю, ибо человек моего состояния не рискует лишиться кредита, им никогда не пользовавшись, но служба не найдет своих расчетов, удаляя достойных».

Последние фразы не оставляют сомнения в том, что положение Ермолова далеко не было таким прочным, каким представлялось современникам. Проконсул Кавказа не пользовался особым доверием императора. Ермоловские ходатайства и просьбы все чаще оставлялись без последствий, тайных наблюдателей на Кавказе становилось все больше.

В конце концов Алексей Петрович принужден был покориться обстоятельствам. 2 марта 1823 года он с горечью сообщил Закревскому:

«Нет нам удачи с Денисом, и больно видеть, что неосторожность и некоторые шалости в молодости могут навсегда заграждать путь человеку способному… Нечего делать, и я прекращаю мои домогательства до лучшего времени…»[74]

Окончательно убедившись, как сильна неприязнь к нему злопамятного императора, Денис Давыдов вышел в чистую отставку. Гусарские холеные усы были сбриты. Военный мундир с «наплечными кандалами генеральства», как любил он выражаться, перекочевал из гардероба в сундук.

* * *

Как-то раз, в конце марта, Денис Васильевич заехал под вечер к Бегичевым. Встретила его сестра Сашенька.

– Легок ты на помине! – сказала она. – А мы только что собирались за тобой посылать…

– А что за экстра?

– Гость у нас. Тобой интересуется.

– Кто же такой?

– Проходи в гостиную, узнаешь.

Он переступил порог. В гостиной помимо Дмитрия Никитича находился его недавно вышедший в отставку брат Степан, флегматичный, круглолицый толстяк, а возле него в кресле сидел, поблескивая очками, незнакомец в щегольском черном фраке, модном галстуке и узких белых панталонах со штрипками.

Дмитрий Никитич сейчас же его представил;

– Александр Сергеевич Грибоедов.

Степан Никитич промолвил:

– Митин однополчанин, а ныне служащий по дипломатической части при Ермолове чиновник и сочинитель…

– Знаю, знаю, – смеясь, перебил Денис Васильевич и, крепко пожимая руку Грибоедова, осведомился: – Давно ли с Кавказа прибыли, Александр Сергеевич?

– Третьего дня… Попал дорогой в распутицу. Две недели добирался…

Так вот каков Грибоедов! Сухощавое лицо, тонкие поджатые губы, умные, чуть прищуренные глаза под густыми бровями. На первый взгляд Грибоедов не понравился. Он слишком походил на дипломата, а Денис Васильевич всегда дипломатов недолюбливал. Но ведь недаром Грибоедова, как сына, любил Ермолов и с неизменной теплотой вспоминали о нем Бегичевы! Стоило разговориться с Александром Сергеевичем, и холодок, порожденный первым, внешним впечатлением, быстро исчез. У Грибоедова оказался мягкий, приятный голос, суждения его отличались откровенностью, а главное, что сближало с ним, – была его несомненная принадлежность к тому ермоловскому кругу, который существовал на Кавказе.

– Нет, право, господа, я должен считать себя счастливцем, что служу у Алексея Петровича, – говорил Грибоедов. – Что за человек! Он всегда одинаков, прост, приятен, готов к услугам… Сколько свежих мыслей, глубокого познания людей всякого разбора! Ругатель безжалостный, но патриот, высокая душа, замыслы и способности государственные, истинно русская, мудрая голова![xv] Он встает из-за стола и здоровается за руку с каждым армейским прапорщиком, а титул «ваше высокопревосходительство» вызывает у него усмешку и замечание о предпочтительности титула «ваше высокоблагополучие»…

– Однако, Александр, это одна сторона медали, – заметил Степан Бегичев. – А помнится, ты писал и о том, как Ермолов жестоко смиряет ослушников…

Грибоедов невольно посмотрел на Дениса Васильевича; тот, поняв значение взгляда, проговорил:

– Здесь все свои, Александр Сергеевич, высказывайтесь без стеснения… А если вас интересует мое отношение… Я люблю брата Алексея Петровича, но не принадлежу к числу тех, кои безусловно оправдывают все его поступки…

Грибоедов дружески кивнул головой.

– Я готов полностью разделить ваше мнение, любезный Денис Васильевич… – И, повернувшись к Степану Бегичеву, дополнил: – Я в том смысле и писал тебе, мое сокровище… Нельзя всего

оправдывать, но нельзя и забывать, что он в Азии, – там ребенок хватается за нож! Впрочем, господа, безрассудно полагать, что мы сможем справедливо взвешивать добро и зло, содеянное современниками. Это занятие для потомства!

Беседа продолжалась в самом непринужденном тоне. Говорили открыто обо всем, что приходило в голову. Денис Давыдов, больно переживавший неудачу с определением на службу, дал волю негодованию против высшего начальства.

Грибоедов, не знавший всех подробностей дела, спросил:

– А вы не находите, что Алексей Петрович не довольно твердо настаивал на вашем назначении?

– Он несколько раз обращался в главный штаб и к государю, – ответил Денис Васильевич. – На него грешить нечего!

– Ермолов, братец мой, на Кавказе велик и грозен, – присовокупил Дмитрий Никитич, – а в Петербурге не очень-то с ним считаются!

– Положим, этому трудно поверить, – не согласился Грибоедов. – Тех, с кем не считаются, проконсулами не ставят, мой милый… Нет, как вам угодно, господа, а я остаюсь при своем мнении… Ермолов мог быть более решительным!

Денис Васильевич немедленно с горячностью возразил:

– Полно, полно, Александр Сергеевич! Причины отказа в моем назначении таковы, что удивляться бесплодности ермоловских стараний не должно.

– Какие же причины? Я слышал лишь о том, будто в высших сферах не могут забыть ваших неосторожных стихов, писанных двадцать лет назад?..

– Есть другие, которые обычно не выставляют, – произнес сумрачно Денис Васильевич, взлохмачивая привычным жестом голову. – Я не имею чести принадлежать к высокочтимой государем военной школе покойного короля прусского Фридриха и не перестаю скорбеть, что родимые войска наши закованы в кандалы германизма. Мне чужды аракчеевские порядки, ибо я почитаю солдата не механизмом, артикулом предусмотренным, а боевым своим товарищем. Словом, я вполне не соответствую тем ныне желательным образцам военных, поклонников палочного воспитания и барабанного просвещения, для коих равнение шеренг и выделывание ружейных приемов служат источником самых высоких поэтических наслаждений.

Грибоедов слушал красноречивое и взволнованное это признание с большим вниманием. И когда оно было закончено, сказал сочувственно:

– Отлично вас понимаю, Денис Васильевич… Ужасно, конечно, что правительство отстраняет от службы военных с

вашими взглядами и все более наполняет армию тупыми и ничтожными аракчеевскими баловнями… Меня всегда возмущают эти, столь живо вами представленные, казарменные готтентоты.

Давай ученье нам, чтоб люди в ногу шли.
Я школы Фридриха, в команде – гренадеры,
Фельдфебели – мои Вольтеры…[XVI]

Брови Дениса Васильевича удивленно приподнялись.

– Откуда эти строки? Мне что-то не доводилось слышать…

– Пока они существуют только в моей голове и нигде не начертаны, – отозвался с легкой улыбкой Грибоедов, – хотя, может статься, найдут со временем место в комедии, два действия которой я привез с Кавказа в черновых набросках.

– А что за комедия, позвольте спросить? Каков замысел по крайней мере?

– Замысел прост, любезный Денис Васильевич. Мне хочется нарисовать портреты некоторых современников, обладающих чертами, свойственными многим другим лицам… Вопрос в том, хватит ли умения и таланта?

– Не скромничай, Александр, – вмешался в разговор Степан Бегичев. – Твоя комедия, судя по начальным сценам, обещает творение совершенное!

– Не заставляй, однако, меня краснеть от неумеренной похвалы, – вставил Грибоедов. – Да и не ты ли, мой милый, прочитав эти сцены, сделал столько замечаний, что вынудило меня переделать почти заново несколько страниц?

– А не я ли при том говорил, – отпарировал Степан Никитич, – что недостатки твоей пьесы не умаляют очевидных ее достоинств? Живость картин и разговорность языка удивительны! Многие выражения сразу врастают в память…

– Довольно, брат Степан Никитич! Не распаляй до крайности моего любопытства! – воскликнул Денис Васильевич и тут же в шутливом тоне обратился к Грибоедову: – Надеюсь, вам ясно, милостивый государь, что надлежит сделать после всего вышесказанного? Впрочем, это вполне в ваших интересах… Ибо до тех пор, покуда вы не прочитаете мне того, что написали, вам покоя не ведать…

На другой день первые сцены комедии «Горе от ума» были прочитаны. Денис Васильевич пришел в полный восторг.

– Помилуй, Александр Сергеевич, – говорил он, обнимая автора. – Да в твоих набросках столько замечательного, что о погрешностях и думать не хочется! И Фамусов твой, и Чацкий, и Молчалин, и бестия Скалозуб – все словно живые! По многим

лбам щелчки придутся! Спасибо, порадовал! Продолжай давить бессловесных и пресмыкающихся!

X

В своем доме, находившемся на Новинской площади, Александр Сергеевич Грибоедов почти не жил. Матушка Настасья Федоровна принадлежала к лагерю закоснелых староверов. Она была богомольна и жестока. Либерализм сына ее ужасал. К литературным его занятиям относилась она с нескрываемым презрением.

Как-то за ужином Александр Сергеевич сделал справедливое критическое замечание о бездарных пьесах одного современного драматурга. Настасья Федоровна бросила на сына иронический взгляд и не удержалась от оскорбительной реплики:

– В тебе говорит зависть, свойственная всем мелким писателям, мой дружок…

Грибоедов вспыхнул. Встал из-за стола. Прошелся по комнате, чтобы успокоиться. Потом остановился перед Настасьей Федоровной, сказал в самом почтительном тоне:

– Простите, матушка, что мое замечание вызвало вашу досаду, впредь я никогда не позволю своими суждениями огорчать вас.

Поклонился и вышел. Горечь была затаена в душе. Но родительский дом стал казаться выстуженным.

А радушные, гостеприимные братья Бегичевы привечали его как родного! Особенно Степан, старый, бесценный друг! Он никогда не сомневался в необычайном литературном даровании Грибоедова, верил, что развернется оно удивительно.

– Бегичев первый стал меня уважать, – объяснял Грибоедов причины их сближения.

А самому Степану Никитичу признавался:

– Ты, мой друг, поселил в меня или, лучше сказать, развернул свойства, любовь к добру, я с тех пор только начал дорожить честностью и всем, что составляет истинную красоту души, с того времени, как с тобою познакомился…

Степан Никитич, женившийся недавно на известной московской богачке Анне Ивановне Барышниковой, устроил в своем просторном особняке кабинет для Грибоедова и всячески старался, чтобы Александр Сергеевич, предаваясь светским развлечениям, не забывал и творческой работы.

Братья Бегичевы жили в душевном согласии со своими родственниками, из которых Денис Давыдов был особенно ими любим. И можно смело сказать, что Бегичевы, Денис Давыдов и

брат его Лев, находившийся тогда в долгосрочном отпуску, составляли тот спаянный не только родственными узами, но в значительной степени и общностью взглядов кружок, где Грибоедов душевно отогревался в московский период своей жизни.

Разумеется, кружок этот не был замкнутым. Среди гостей Степана Никитича частенько можно было видеть друживших с Грибоедовым композиторов Алябьева и Верстовского, молодого поэта и ученого Одоевского, наконец, возвратившегося с Кавказа год назад Кюхельбекера. Встречи с ними происходили у Грибоедова и в других местах. Однако большую часть времени он все-таки проводил в тесном семейном бегичевском кругу и впоследствии, в письмах из Петербурга к Степану Никитичу, с особой теплотой вспоминал тех, с кем успел сродниться в Москве:

«Дмитрия, красоту мою, расцелуй так, чтобы еще более зарделись пухлые щечки. Александру Васильевну тоже, Дениса и Льва и весь освященный собор. Верстовскому напомни обо мне и пожми за меня руку».

В другой раз Грибоедов пишет:

«Дениса Васильевича обнимай и души от моего имени. Нет, здесь нет эдакой буйной и умной головы, я это всем твержу; все они, сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки! Дмитрию, Александре Васильевне, Анне Ивановне, чадам и домочадцам многие лета».

Установление близких отношений Дениса Давыдова с Грибоедовым не подлежит сомнению. Но что было предметом их откровенных разговоров? Напомним, что в то время Денис Давыдов находился в состоянии особого раздражения против царя и правительства за вынужденную отставку. Дело не обошлось, вероятно, без острых выпадов. Недаром же Грибоедов восторгается «буйной и умной» головой Дениса!

Бесспорно, что много раз говорили о славном 1812 годе.

Как раз во время пребывания Грибоедова в Москве Денис Давыдов ревностно занимался разбором записок Наполеона, сочиненных на острове Святой Елены и после смерти его изданных в Париже. Денис Давыдов был глубоко возмущен тем, что Наполеон, «всегда и всюду играя легковерием людей, представляет им обстоятельства и события в том свете, в каком желает, чтобы их видели, а не в том, в каком они действительно были».

Вспоминая о своем походе на Москву, всячески выпячивая себя как великого полководца, Наполеон умалял подвиги русских войск и замалчивал действия русских партизан, утверждая, что «никогда не имел в тылу своем неприятеля».

Подобной лжи нельзя было оставлять без возражения. Пользуясь бюллетенями французской армии, письмами маршала Бертье и другими официальными материалами, а также своими воспоминаниями, Денис Давыдов убедительно и неопровержимо доказывает несостоятельность вымысла Наполеона, показывает, как на самом деле русский народ героически защищал свое отечество от чужеземцев, какие мощные удары обрушивали партизаны на неприятельскую армию.

Двенадцатый год вставал озаренный блеском славы народной. Денис Давыдов мог без устали, с присущим ему мастерством и темпераментом, рассказывать о великих деяниях этого года, свидетелем которых приходилось ему быть. И конечно, Грибоедов слушал эти рассказы с любопытством.

Еще с большим основанием можно утверждать, что до самых тонкостей обсуждались ими кавказские дела.

Грибоедов любил Ермолова, пытался даже оправдывать проводимые им строгие меры, но картины жестоких расправ производили на него удручающее впечатление. В глубине души он не мог не сочувствовать свободолюбивым горцам.

Денис Давыдов, всегда проявлявший рыцарское отношение к отважным противникам, несомненно, разделял мнение Грибоедова.

Позднее, возвратившись на Кавказ, Грибоедов писал оттуда Степану Бегичеву:

«Вообще многое, что ты слышал от меня прежде, я нынче переверил, во многом я сам ошибался. Например, насчет Давыдова мне казалось, что Ермолов не довольно настаивал о его определении сюда в дивизионные. Теперь имею неоспоримые доказательства, что он несколько раз настоятельно этого требовал, получая одни и те же ответы. Зная и Давыдова и здешние дела, нахожу, что это немаловажный промах правительства… Здесь нужен военный человек, решительный и умный, не только исполнитель чужих предначертаний, сам творец своего поведения, недремлющий наблюдатель всего, что угрожает порядку и спокойствию от Усть-Лабы до Андреевской. Загляни на карту и суди о важности этого назначения. Давыдов здесь во многом поправил бы ошибки самого Алексея Петровича, который притом не может быть сам повсюду. Эта краска рыцарства, какою судьба оттенила характер нашего приятеля, привязала бы к нему кабардинцев».

Надо полагать, что в какой-то связи с рассказами Грибоедова начинается в конце 1823 года и неожиданная переписка Дениса Давыдова с приятелем Грибоедова, известным храбрецом Якубовичем, причем, оказывается, первое написанное ему письмо

«пролежало довольно долго, было предано каминному пламени», а второе, которое Давыдов решился послать почтой, содержит следующие строки:

«Любопытно видеть разницу партизанской войны в вашей стороне с партизанскою европейской войной: la derniere n'est qu'une plante exolique, sa veritable patrie est la Caucase[XVII]. Право, почтеннейший Александр Иванович, потрудитесь и порадуйте меня сим начертанием, я им воспользуюсь при третьем издании «Опыта», который дополню последнею войною Мины в Испании и моею в 1812 и 1813 годах».

Франциско Эспоза Мина был революционным генералом, возглавлявшим отряды гверильясов, отбивавшихся от королевских войск. Мысль о том, чтобы поставить в один ряд испанских гверильясов и русских партизан, могла возникнуть лишь в голове человека, благожелательно расположенного к гверильясам.

Не следствие ли это определенного воздействия на Дениса Давыдова бесед с Грибоедовым? И, кстати, не Грибоедов ли возбудил интерес Дениса Давыдова к действиям испанского революционного генерала Мины? Ведь на Кавказе, в Нижегородском драгунском полку, вместе с Якубовичем служил находившийся под покровительством Ермолова испанский эмигрант революционер Хуан Ван Гален, получавший личные письма от генерала Мины. Грибоедов, вполне возможно, был об этом осведомлен[75].

* * *

Спустя несколько дней после приезда Грибоедова в Москву Денис Давыдов познакомил его с Вяземским. Они втроем часто собирались и в английском клубе и за домашними обедами.

Комедия «Горе от ума», законченная в конце лета, встречена была Петром Андреевичем с живым сочувствием, хотя вместе с тем многое в пьесе ему не нравилось. Зато ум, дарование и разносторонние обширные знания Грибоедова признаны были безоговорочно.

Осенью Грибоедов и Вяземский начали совместную работу над водевилем «Кто брат, кто сестра, или обман за обманом», заказанным им Московским театром для бенефиса известной артистки Львовой-Синецкой. Грибоедов взял на себя всю прозу, диалог, расположение сцен. Вяземский – стихи и куплеты. Музыку писал Верстовский.

«Водевильная стряпня», как назвал Петр Андреевич эту

работу, изготовлена была очень быстро, 24 января 1824 года состоялось первое представление.

В тот день Грибоедов, Верстовский, Владимир Федорович Одоевский, Василий Львович Пушкин и Денис Давыдов обедали у Вяземского. Говорили, как обычно, о делах литературных и общественных. Время было глухое. Царское правительство, встревоженное широким распространением либеральных идей, старалось подавлять их с помощью религии и жестоких цензурных притеснений.

Василий Львович, поминутно вытирая платком облысевшую голову и по обыкновению смешно пришепетывая, рассказывал:

– В прошлом году, господа, самые невиннейшие элегии поэта Олина не были дозволены к печатанию в журнале… И почему бы, думаете? Журнал-то, изволите видеть, выходил великим постом, так цензор усмотрел весьма неприличным во дни поста «писать о любви девы, неизвестно какой»…

Все рассмеялись. Одоевский, поправив очки, придававшие его молодому лицу необычайно серьезный вид, заметил:

– А не больший ли курьез представляет составленная членом ученого комитета Магницким инструкция для университета, в коей отвергаются все науки, несогласные со священным писанием?

– Вы правы, Владимир Федорович, – согласился Вяземский. – Курьез постыднейший! Профессоров физики и естественной истории обязывают утверждать премудрость божию и непостижимость для нас окружающего мира! Студентов вместо учебников снабжают евангелием и библией! Я чую, господа, кладбищенский, тлетворный воздух на Руси…

– И говорят, будто Магницкий сильно ратует за сокращение начальных школ, – вставил, поблескивая черными умными глазами, Верстовский

Денис Васильевич посмотрел на сидевшего против Грибоедова, сказал с хитринкой:

– А ты, Александр Сергеевич, как ни скрывай, а прохвоста этого Магницкого каждый в комедии твоей признает…

А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?

Грибоедов слегка пожал плечами.

– Подлейшие сии черты не одному Магницкому свойственны, Денис Васильевич…

Одоевский с живостью дополнил:

– Это и дорого в пьесе, что в любом почти персонаже, будь то Фамусов, или Молчалин, или Скалозуб, обличаются невежественные нравы и дикие понятия не одного, а многих..,

– Не забудем, однако, старой нашей пословицы: правда глаза колет! – произнес Верстовский. – Пьеса вызывает сильнейшее раздражение тех, кого обличает, а эти господа сидят не только в ученых комитетах, но и в цензурном ведомстве…

– Они могут сделать вид, что не с них портреты писаны, – сказал Василий Львович. – Нет, право, вспомним случай со стихами Рылеева! Не изволил же граф Аракчеев угадать себя в образе гнусного временщика? Даже с похвалой будто бы отозвался о сочинителе…

– Кстати, о сочинителях! – весело сказал Денис Васильевич. – Покойный атаман Матвей Иванович Платов, будучи представлен почтенному и, как всем известно, совершенно непьющему Николаю Михайловичу Карамзину, подморгнув ему пьяным глазом и хлопнув по плечу, изволил высказаться так: «Люблю сочинителей, ибо все они горькие пьяницы». Все засмеялись. Вяземский попросил:

– А ты расскажи, как некоего бездарного сочинителя, связанного с тайной полицией, защищал его приятель. Чудно у тебя получается!

Лицо Дениса Васильевича приняло моментально выражение озабоченной простоватости, он проговорил с чувством:

– Нет, нет, господа, вы не судите о нем строго, он, спора нет, часто негодяй и подлец, но у него добрейшая душа. Конечно, никому не советую класть палец ему в рот, непременно укусит, да, пожалуй, верно, что при случае и продать и предать может, этого отрицать нельзя, такая у него натура. Но за всем тем он прекрасный человек и нельзя не любить его Утверждают, будто он служит в тайной полиции, но это сущая клевета! Никогда этого не было, господа! Правда, он просился туда, но ему было отказано…

У Вяземского тоже всегда имелись в запасе забавные истории. Да и остальные гости в долгу не оставались. Беседа становилась все оживленней.

Только Грибоедов находился в состоянии какой-то странной задумчивости. Денис Васильевич, заметив это, решил, что Александра Сергеевича беспокоит предстоящий сегодня спектакль. Верстовский, имевший большие связи в театральном мире, не скрывал возможности всяких закулисных интриг.

После обеда Денис Васильевич, отойдя с Грибоедовым к окну, спросил:

– А что, признайся, сердце у тебя немножко екает в ожидании

представления?

– Так мало екает, – ответил отрывисто Грибоедов, – что я даже не поеду в театр[76].

– Стало быть… все-таки побаиваешься?

Грибоедов покачал головой:

– Нет. Но мне, признаюсь, горька мысль, что приходится смотреть на сцене свои безделки и, может быть, никогда не придется увидеть ни в театре, ни в печати любимое свое детище…

Денис Васильевич взял его руку, сочувственно пожал.

– Я понимаю тебя, Александр Сергеевич… Понимаю тем более, что сам из числа тех поэтов, которые, по обстоятельствам, довольствуются лишь рукописною или карманного славой. Но полно, стоит ли предаваться меланхолии? Ведь карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения!

Губы Грибоедова тронула слабая улыбка. Он произнес тихо;

– Рукописная или карманная слава… Что ж, пусть будет так!

* * *

Денису Васильевичу исполнилось сорок лет. Семейная жизнь хотя и заставляла по-прежнему сдерживать вспышки страстей, но не тяготила. Старые привычки заменялись новыми. Он отдавал должное жене. Отношения с ней не оставляли желать лучшего. Она была верным, чутким и снисходительным другом.

Получив чистую отставку, он сказал:

– Ну и слава богу! Будем благодарить провидение! Спокойней жить без наплечных кандалов генеральства!

Софья Николаевна знала: это говорится лишь затем, чтоб подсластить горькую пилюлю. В кабинете, на письменном столе, лежала недавно изданная книга И.М.Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде». Денис читал ее с большим интересом. Многие строки были подчеркнуты, а мысли, наиболее его взволновавшие, выписаны по обыкновению на отдельном листке:

«Опасности миновали, и жизнь воина становится томною… способности души его дремлют. Переход к сему положению от деятельности есть ужаснейшее состояние на свете, от коего зарождается смертельная души болезнь – скука… Опасности угрожают, зато они и дают человеку способность живее ощутить свое бытие…»[77]

Софья Николаевна всячески отвлекала мужа от мрачных размышлений. Она теперь не препятствовала ему бывать в

мужских компаниях, не докучала хозяйственными заботами, старалась, чтобы он постоянно ощущал домашний уют и мог без помех отдаваться литературным занятиям.

Но более всего Дениса Васильевича радовали дети. Их было трое: Соня, Вася и появившийся на свет полгода назад Николенька. Отец любил всех. Однако признанной любимицей продолжала оставаться Сонечка. Он испытывал необыкновенную нежность к этой трехлетней курносенькой и темнобровой девочке и чувствовал, как с каждым днем возрастает привязанность к ней. Он под разными предлогами стал даже уклоняться от необходимых деловых поездок, лишь бы надолго не разлучаться с ней. Когда Сонечка заболевала, он не находил себе покоя. А уж баловал так, что жена вынуждена была выговаривать.

– Что поделаешь, душенька! – сознавался он. – Дурацкий характер! Ничего не могу вполовину…

И вдруг неизвестно как и откуда подкралось к Давыдовым страшное, непоправимое несчастье: Сонечка осенью схватила дифтерит. Московские медицинские знаменитости оказались бессильными спасти девочку.

Горе было беспредельно. Денис Васильевич, немало потерявший родных и друзей, впервые с такой лютой остротой предавался отчаянию. Глухая тоска давила сердце. Он весь словно окаменел. Не хотелось ни жить, ни мыслить.

И только через два месяца, узнав, что Павел Дмитриевич Киселев тоже потерял первенца, Денис Васильевич собрал силы, чтобы взяться за перо.

«Впрочем, бог знает, – писал он старому приятелю, – на радость ли, на горе нам даются дети? Конечно, тяжело терять их, коих имеешь, но когда нет их, то желать их страшно, особенно тем, кои ничего не могут любить посредственно. Я после потери моей Сонечки окаменел сердцем. Люблю детей, но так слабо в сравнении с нею, что о такой любви и говорить нечего. Мраморный бюст ее мне милее их. Знаю, что со временем я буду их любить, но девственность сердца исчезла. Святилище его ни одному из детей моих навек недоступно».

Бушевала за окном зимняя вьюга. Дом снова начал постепенно оживляться. Васенька и Николенька, подрастая, становились все шумливей. Мать разрешила им бегать по всем комнатам – детская возня лучше всего отвлекала от горьких дум и черной меланхолии. И конечно, благодетельная работа! На письменном столе уже давно лежала корректура брошюры «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона». Надо браться за перо, надо делать то, что считал долгом делать. Жизнь шла своим чередом.

XI

В середине февраля 1825 года в Москву неожиданно приехал Базиль. Новость, которую он под секретом сообщил Денису Васильевичу, показалась сначала невероятной.

– Недавно был на Кавказе Сергей Григорьевич Волконский. Он встречался там с Якубовичем, и тот дал ясно понять, что у них создано тайное общество, во главе коего стоит Алексей Петрович Ермолов.

– Быть того не может! Ручаюсь! Вздорные слухи! Чепуха! – пытался возражать Денис Васильевич. – Брат Алексей Петрович, будучи здесь, сам мне признался, что никакого касательства к тайным обществам не имеет…

– С тех пор прошло более трех лет, мой милый, – сказал Базиль. – Согласись, ручаться трудновато!

Денис Васильевич задумался. Ручаться, конечно, нельзя. Тем более что в последнее время Ермолов почему-то совсем перестал писать.

Да, в сущности, если хорошенько поразмыслить, так ли уж и невероятно сделанное Базилем сообщение? Ведь в поведении Ермолова и прошлый раз остались неразгаданными многие странности. И Грибоедов постоянно намекал на склонность Алексея Петровича окружать себя людьми вольнолюбивыми. А Якубович, принадлежавший к ермоловскому кругу, несомненно, был осведомлен о том, что там творилось.

Базиль уехал. А вызванное его сообщением душевное смятение никак не утихало. Денис Давыдов, судя по некоторым замечаниям Базиля и по многим другим признакам, догадывался, что деятельность тайных обществ расширилась; и на юге и на севере зреют какие-то заговорщицкие замыслы. Неужели Ермолов, несмотря на заверения, все-таки решился поддержать их?

Вопрос долго обдумывался со всех сторон, и все же никакой ясности не было.

Оставалось ждать Якубовича. В одном из сражений с горцами храбрый капитан, командуя авангардом, получил тяжелое ранение в голову и намеревался весной ехать в Петербург для лечения в клинике Медико-хирургической академии. Он обещал непременно задержаться в Москве и навестить Дениса Васильевича.

И вот в конце апреля наступил день, когда они впервые свиделись. Давыдовы в связи с перестройкой своего особняка временно снимали квартиру на Поварской улице, в доме Яновой. Якубович явился сюда в черкесском чекмене и папахе. Он был

высок, крепко сложен и наружность имел вообще довольно примечательную. Шелковая повязка на лбу, черные выпуклые глаза, резкие складки на щеках, белые, крупные, ровные зубы, блестевшие из-под толстых казацких усов. Все свидетельствовало о человеке сильных страстей, и Дениса Давыдова сразу к нему расположило.

– Дайте мне руку, почтенный Александр Иванович, и будем друзьями, – приветливо сказал он, встречая гостя. – Я давно жаждал сего и имею на то право не по службе моей, которая ничем особенным не ознаменована, но по душе, умеющей ценить подвиги ваши.

– Не заставляйте меня краснеть, Денис Васильевич, – ответил Якубович. – Вы врубили свое имя в славный двенадцатый год, а моя известность не простирается далее канцелярии командующего отдельного Кавказского корпуса.

Они перешли в кабинет. Закурили трубки. Поговорили о Кавказе, о Ермолове, вспомнили Грибоедова, Пушкина, общих знакомых. Потом Якубович, не стесняясь, стал рассказывать о гвардейской бурной своей молодости и о том, как за участие в дуэли был по личному распоряжению императора выписан из гвардии и выслан из столицы.

Денис Васильевич заметил:

– В молодых летах я испытал участь, несколько сходную с вашей, но менее счастливую, ибо нашел в ссылке не битвы, а разводы и манежи.

– А были ли вы оскорблены подобно мне? – сверкнув глазами, задал неожиданный вопрос Якубович и, достав из кармана бумагу, размахивая ею, продолжил негодующим тоном. – Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого! Приказ по гвардии, в коем объявлено, будто корнет Якубович выписывается в армейский полк за неприличные поступки, порочащие честь гвардейского офицера! Киселев убил на дуэли Мордвинова – и прощен! А меня за секундантство у друга упекают к черту на кулички и щелкают притом как бесчестного человека! Нет, не могу простить! Не прощу! Жажду мщения!

Последние слова Якубович выкрикнул совсем свирепо. И хотя умолчал, кому же, собственно говоря, собирается мстить, было и без того понятно, что подразумевается высшее начальство, вернее всего царь, допустивший несправедливость.

Считая момент благоприятным для того, чтобы перейти к интересовавшей его щекотливой теме, Денис Васильевич сказал:

– Не могу не сочувствовать вам, ибо жестокий произвол, жертвой коего вы являетесь, сопутствует мне самому всю жизнь… Легко ли, судите сами, сносить равнодушие, с каким оттолкнули

меня в толпу хлебопашцев после стольких лет службы! Но что же поделаешь? Вероятно, лишь какие-нибудь перевороты способны изменить существующий порядок вещей…

– Ну, я, признаюсь, ни в какие перевороты не верю, – без тени смущения на лице отозвался Якубович. – Да и кому у нас перевороты производить?

– Я слышал, – осторожно намекнул Денис Васильевич, – будто существуют тайные общества…

– Я тоже слышал, только никакого проку в том не вижу, – с несомненной прямотой отразил Якубович. – Умствуют и кричат на ветер господа либералисты… Дурачества пустые!

– Однако ж, любезный Александр Иванович, мне передавали, будто на Кавказе многие тоже сих дурачеств не чуждаются?

– Болтовни либеральной всюду хватает, – проговорил Якубович, – но тайные общества, слава богу, у нас покамест не заводились… Да и не допустит Алексей Петрович!

Денис Васильевич был в крайнем удивлении. Что же это такое? Неужели Волконский и Базиль каким-то образом введены в заблуждение? Или Якубович нарочно из осторожности так искусно маскируется? Нет, не похоже! Якубович горяч, тщеславен, любит, вероятно, побахвальствовать, прихвастнуть тем, чего и не было, но дипломатические тонкости и увертки явно ему несвойственны.

После нескольких встреч с Якубовичем, убедившись совершенно в его откровенности, Денис Васильевич стал склоняться к мысли, что кавказского тайного общества, по всей видимости, не существует[78].

Вместе с Якубовичем не раз бывал у Дениса Давыдова штабс-капитан Александр Александрович Бестужев, приехавший в Москву из столицы. Любезный, веселый и остроумный красавец Бестужев щеголял в нарядном мундире адъютанта герцога Вюртембергского, обожал шумную светскую жизнь и романтические приключения, кружил головы московским красавицам, и по первому взгляду вряд ли кто мог догадаться, что у этого блестящего офицера есть другая жизнь, другие интересы. Возвращаясь с балов и пикников, Бестужев снимал мундир, облекался в халат и, пренебрегая отдыхом, с той же страстностью, с какой отдавался развлечениям, брался за книги и рукописи. Бестужев был превосходно образованным, талантливым писателем, критиком и публицистом. Повести, которые он печатал под псевдонимом «Марлинский», имели большой успех. Альманах «Полярная звезда», издаваемый Бестужевым и Кондратием Рылеевым, читали с интересом всюду.

Денис Давыдов познакомился и подружился с Бестужевым

два года назад[79].

Бестужев не только охотно печатал в альманахе Давыдовские стихотворения, но и одним из первых критиков оценил их своеобразие.

«Амазонская муза Давыдова, – писал он, – говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивуака и с улыбкою рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно оживляют оный. Иногда он бывает нерадив в отделке; но время ли наезднику заниматься убором? В нежном роде – «Договор» с невестою и несколько элегий; в гусарском – залетные послания и зачетные песни его останутся навсегда образцом»[XVIII].

Бестужев и Якубович в небольшом уютном кабинете Дениса Давыдова чувствовали себя как дома. Хозяин принимал молодых офицеров с неизменным радушием, держался с ними на равной ноге. А главное, здесь можно было говорить и спорить о чем угодно и острых слов не остерегаться.

Как-то Бестужев особенно красноречиво и пламенно громил существующие порядки:

– Посмотрите вокруг себя, господа, много ли увидите вы лиц счастливых? Налоги разоряют торговцев и ремесленников. Военных угнетает бессмысленная муштра. Злоупотребления земских и гражданских властей достигли неслыханной степени бесстыдства. Жизнь крепостных крестьян ужасна. Негры на плантациях счастливее многих помещичьих крестьян! Продать в розницу семьи, похитить невинность, развратить жен крестьянских считается ни во что и делается явно. А есть изверги, которые заставляют крестьянок выкармливать грудью борзых щенков! Да, господа… Приложите ухо к земле, и вы услышите, как клокочет лава общего негодования!

Якубович, сидевший с трубкой в зубах на диване, мрачно осведомился:

– Так что же, по-твоему, нам делать? В карбонарии записываться, что ли?

– Я не даю рецептов, милый тезка, – ответил с легкой досадой Бестужев. – Каждый волен поступать согласно своим убеждениям и наклонностям…

– Мщение! Кровь за кровь, как у горцев! Вот что нужно! А для этого не требуется создавать тайные венты, и я скоро всем докажу, – несколько бессвязно загадочным тоном проговорил Якубович. – Один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов![80]

Желая казаться необыкновенным человеком, Якубович

постоянно, кстати и некстати, выставлял себя каким-то кровожадным мстителем. Это начинало надоедать. Денис Васильевич постарался направить разговор по другому руслу. Обратившись к Якубовичу, с которым успел дружески сойтись, он сказал:

– Более близок к истине был бы ты, дорогой мой богатырь-философ, если б сказал, что самое насущное и справедливое требование века заключается в усилении просвещения… Не так ли, любезнейший Александр Александрович? – повернулся он к Бестужеву.

– Кто из здравомыслящих и честных людей, Денис Васильевич, не желает усиления просвещения? – откликнулся Бестужев. – Но можно ли мечтать об этом, пока существует деспотизм, коему нужно невежество? Можно ли питать какие-то надежды, когда темный и распутный монах Фотий, ратующий за неграмотность народа, имеет свободный доступ в кабинет царя, а лучших наших поэтов, гордость словесности отечественной, держат на положении ссыльных вдали от столицы?

– Каких же поэтов ты имеешь в виду? – заинтересовался Якубович. – Я знаю только, что выслан в свою деревню Пушкин…

– А Грибоедов, автор знаменитой комедии и старый твой приятель? – напомнил Бестужев. – Тебе разве не известно, что он тоже далеко не по собственной воле вновь предпринимает путешествие в теплую Сибирь, как называет государь Кавказ. А Баратынский, дивные стихи которого потрясают читателей? Сам чародей наш Пушкин писал мне в прошлом году: «Баратынский прелесть и чудо! После него никогда не стану печатать своих элегий…» И что же? Баратынский девять лет тянет солдатскую лямку! За детское озорство в кадетском корпусе солдатство без выслуги! Какая бессмысленная жестокость!

– Разделяю ваше возмущение, любеяный Александр Александрович, – произнес Денис Васильевич, – но, думается, скоро мы все же увидим Баратынского среди нас в офицерских эполетах.

– Напротив, – покачав головой, возразил Бестужев, – я слышал, будто Жуковский недавно говорил об этом с государем, и тот опять отказал…

– Ну, я не знаю, как там было у Жуковского, зато мне точно известно, что Баратынский на днях произведен в прапорщики, – с довольным видом сказал Денис Васильевич.

Бестужев и Якубович с изумлением ча него взглянули.

– Неужели? Каким же чудодейственным образом все устроилось?

Денис Васильевич пояснил:

– Счастливое сцепление обстоятельств. Нейшлотский пехотный полк, где служит Баратынский, расквартирован в Финляндии. А туда полтора года назад назначили военным губернатором моего старого доброго друга Закревского. Ну, я и не преминул этим воспользоваться… Жуковский и Александр Тургенев действовали на главном наиравлении, обстреливая своими просьбами дворец, подобно тяжелой артиллерии. Я же по старой партизанской привычке наскочил на фланг, начав бомбардировку резиденции финляндского губернатора. Мои письма Закревскому можно сравнить с брандкугелями, которыми некогда беспокоил я французов из жалких конных пушчонок, подсунутых мне генералом Милорадовичем. Мое преимущество было в том, что брандкугели недорого стоят, я стрелял часто и до тех пор, пока не добился своего…[81]

– Слава партизанской системе! – пробасил Якубович. – Я недаром всегда ее расхваливаю!

– Позвольте обнять вас, милый Денис Васильевич, – сказал Бестужев. – Ваше благородное участие в облегчении участи несчастного Баратынского трогает меня несказанно!

XII

Весть о кончине в Таганроге императора Александра поразила неожиданностью и совершенно расстроила Дениса Давыдова. Он целый день ходил из угла в угол по кабинету, беспрерывно курил и шумно вздыхал. Зная, что муж к покойному никакой симпатии не питал, Софья Николаевна полюбопытствовала:

– Что с тобой, мой друг? Все-таки жалко государя? Денис Васильевич покачал головой

– Совсем не жалко, Сонечка… Но опасаюсь, как бы при новом хуже не было… Константин Павлович император всероссийский! Этот шут гороховый сумасбродным нравом и невежеством, пожалуй, перещеголяет и папеньку… Суди сама, сколь приятно присягать такому владыке и чего от него ожидать можно?

Присягать все же пришлось. В витринах магазинов появились портреты неказистого нового императора. А спустя несколько дней в Москве стали распространяться слухи, будто присяга была ошибочной, будто Константин Павлович, женившись на польке Грудзинской, утерял права на престол и по завещанию покойного царя наследовать должен второй брат Николай Павлович.

Дениса Васильевича начали одолевать более тревожные мысли. Великого князя Николая Павловича он видел мельком, зато того, что слышал о нем, было вполне достаточно, чтобы

составить самое нелестное мнение. Николай Павлович слыл человеком ограниченным, грубым, жестоким, злопамятным и мстительным. Говорили, что в детстве, ласкаясь к своим наставникам, он, как дикий звереныш, кусал им руки. Говорили о многочисленных случаях непристойного поведения великого князя и фельдфебельских его замашках. Он удивлял всех отсутствием каких-либо серьезных знаний и мастерским выбиванием барабанной дроби.

Пристрастный, как и братья, к парадированию и бессмысленной муштре, Николай Павлович, командуя гвардейской бригадой, стремился довести шагистику до самой высокой степени совершенства. Вечерами он вызывал к себе во дворец старых ефрейторов человек по сорок. Зажигались люстры, бил барабан, звучала команда. Его высочество изволил с упоением заниматься маршировкой по гладко натертому паркету. И не раз случалось, что на правый фланг, рядом с огромным усатым гренадером, становилась молоденькая жена великого князя Александра Федоровна и, вытягивая носки, маршировала вместе с ефрейторами в угоду супругу[82].

Войска его ненавидели, особенно гвардейцы. Всем было памятно, как три года назад Николай Павлович, недовольный разводом одной из гвардейских рот, незаслуженно оскорбил в самой грубой форме любимого товарищами командира Норова. Тот вызвал великого князя на дуэль, а когда последний «сатисфакции не отдал», офицеры полка в знак протеста стали один за другим выходить в отставку. Капитан Челищев, родственник Бегичевых, принимавший участие в этой истории, клялся, что гвардия никогда Николаю Павловичу позорного поступка его не простит!

Таков был новый, всем немилый претендент на трон российского самодержца. Но может ли он добраться до трона, если слухи о завещании покойного царя окажутся верными? Ведь Константину уже присягнули! Пожелает ли он уступить место младшему брату? Не вспыхнет ли междоусобица и не воспользуются ли этим чрезвычайно удачным обстоятельством тайные общества?

Неотвязные мысли о возможном колебании государства Дениса Васильевича особенно страшили и жгли. Что-то будет, если российские карбонарии перейдут от слова к делу? Перебирая в памяти старые встречи и разговоры, он с предельной ясностью вдруг припомнил некогда высказанное Михаилом Орловым предположение: «Девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий!» Почем знать, может быть, этому суждено сбыться! Что-то

необычайное явно назревало. Первая четверть века заканчивалась, но не была еще закончена. Денису Васильевичу захотелось повидать Михаилу, откровенно обо всем поговорить с ним.

Орлов, отстраненный три года назад от командования дивизией и уволенный из армии, жил последнее время близ Донского монастыря.

Орлов изменился неузнаваемо. Продолжая находиться под влиянием жены, в которую был влюблен без памяти, он от политической деятельности устранился, в общественных местах показывался редко и, вероятно, от домашней сидячей жизни располнел, обрюзг, поскучнел. Куда исчез задорный блеск в глазах! Куда девались прежнее красноречие и боевой пыл!

– Когда дьявол стареет, он становится отшельником, – невесело сказал по-французски Орлов, встречая старого приятеля с обычной любезностью.

Однако задушевная беседа между ними не состоялась.

Слухи о завещании покойного царя волновали Михаила Федоровича не менее других, и, судя по всему, он испытывал большую растерянность, но старался всячески скрыть это, говорил осторожно, взвешивая каждое слово, и, в сущности, ничего нового к тому, что всем известно, не прибавил.

Свидание произвело на Дениса Васильевича какое-то удручающее впечатление. Возвращаясь домой, он опять, как некогда после разговора с Базилем, ловил себя на страшно противоречивом отношении к поведению Михайлы Орлова. Сколько раз, бывало, в жарких спорах с Михайлой предостерегал его он, Денис Давыдов, от рискованного увлечения химерами, советовал быть осторожным и благоразумным! И вот Михаила остепенился, следовательно, заслуживает похвалы, а не осуждения… А смотреть на него грустно! Не согревает, а студит душу его благоразумие!

На ум приходят невольно две яркие пушкинские строчки:

Ты, видно, стал в угоду мира
Благоразумный человек!

Нет, эти отзывающиеся горькой иронией стихи обращены не к Михаиле Орлову, а к нему, Денису Давыдову. Ведь он тоже после женитьбы, сменив мундир на фрак, стал все более удаляться от шумных сборищ и избегать острых политических прений, подчиняя страсти житейским условностям.

Денис Васильевич тяжело вздыхает. Давят мысли сумбурные, темные. Отмахнуться от них он не может. Разобраться не в

состоянии. А что-то беспокоит, что-то мучает!

Баратынский отлично знал, что производством в прапорщики он обязан во многом Денису Давыдову. Еще в прошлом году Закревский, вызвав к себе Баратынского и беседуя с ним, спросил между прочим:

– Вы давно знакомы с Денисом Васильевичем Давыдовым?

– Мне никогда не приходилось с ним встречаться, ваше превосходительство, – удивляясь вопросу, ответил Баратынский.

– Вот что! А ведь, судя по его письмам, я полагал, вы в близких с ним отношениях.

– Прошу прощения, ваше превосходительство, я не представляю, что же может писать обо мне Денис Васильевич?

– Он в восхищении от вашего дарования и настойчиво просит меня избавить вас от оков солдатчины, – произнес откровенно Закревский. – Это не так просто, ибо не от меня одного зависит, вы сами понимаете. Тем не менее я уже уведомил Дениса Васильевича, что все от меня зависящее, – он подчеркнул последнею фразу, – будет сделано…

Дождавшись производства и взяв отпуск, Баратынский пробыл более месяца в столице, а затем приехал в Москву. Прежде всего надо было благодарить Дениса Давыдова. Однако, отправляясь к нему, Баратынский вместе с чувством глубокой признательности испытывал и некоторую настороженность, вызванную болезненной мнительностью. Имя Давыдова было известно всем, и чин он имел генеральский, хотя и находился в отставке. Не посмотрит ли он свысока на вчерашнего солдата, не возьмет ли оскорбительного покровительственного тона?

Но все получилось совсем не так. Увидев молодого, высокого, большелобого, с детскими капризными, чуть припухлыми губами прапорщика, Денис Васильевич сразу догадался, кто он такой, приятельски пожал его руку и по-родственному расцеловал.

– Вот мы и познакомились наконец-то! Рад душевно! Я от Вяземского слышал, будто из Петербурга сюда собираешься… Спасибо, что навестил меня, голубчик!

Баратынский промолвил:

– Я должен благодарить вас, я стольким обязан вашему превосходительству…

Денис Васильевич сморщился, замахал руками:

– Ну, ну, бог с тобой, Евгений Абрамович, что за выходка, право, какое там превосходительство! Я про свое генеральство давно и сам позабыл… Садись-ка рядом да поговорим без изворотов, как и должно говорить со своими… А первей всего скажи, голубчик, что в столице болтают насчет царей-то? Неужто впрямь Николай на трон заберется?

Баратынский, собираясь сюда, решил держаться сдержанно, воли языку не давать, но простота хозяина и дружеский, задушевный прием умилили Евгения Абрамовича почти до слез, и скрытничать он не стал.

– Мне говорили, будто из Варшавы получено отречение Константина, но в такой странной, неопределенной форме, что Николай не решается объявить об этом. Между ним и Константином продолжается переписка, скачут по варшавской дороге сотни фельдъегерей, идет, как замечают некоторые умники, игра короной в волан… Хотя все это, разумеется, толком никто ничего не знает!

– Вот то-то и оно, что толком никто ничего не знает! – вздохнул Давыдов. – А я, признаться, побаиваюсь, как бы чего не вышло… Николая в войсках терпеть не могут!

– Да, всякое может статься, если объявят вторую присягу, – согласился Баратынский. – Подобные смены властителей всегда чреваты неожиданностями!

Откровенная беседа быстро сближала. Говорили и о политике, и о литературе, и о Пушкине, и о семейных делах. Прошел какой-нибудь час, а Баратынский смотрел уже на маленького, густобрового и взъерошенного отставного генерала влюбленными глазами. И в голове сами собой начинали слагаться взволнованные стихи о первой встрече с ним:

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминаньи горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной.
Твоею лирой боевой,
И в славный год войны народной
В народе славной бородой![83]

Баратынский, вытерпевший за годы солдатчины столько всяких обид и унижений, особенно нуждался в добром

человеческом отношении. Но судьба продолжала его мучить. Мать, жившая в подмосковном имении, заболела тяжелым психическим расстройством. Родные смотрели на него со скрытым недоверием, как на каторжника, отбывшего наказание.

Не удивительно, что Баратынский быстро и прочно сблизился с Денисом Давыдовым, в котором обрел отзывчивого и попечительного друга. Софье Николаевне молодой поэт тоже пришелся по душе. Он стал в доме Давыдовых своим человеком.

Зная, как тяготит его военная служба, Денис Васильевич посоветовал:

– Если решил просить отставку, то медлить не надо. Лучшего времени для этого не сыщешь! Пока идет, как ты говоришь, игра короной в волан, Закревский на свой риск враз все устроит…

Баратынский согласился. Денис Васильевич не замедлил отписать старому другу:

«Мой *протеже* Баратынский здесь, часто бывает у меня, когда не болен, ибо здоровье его незавидное. Он жалок относительно обстоятельств его домашних, ты их знаешь – мать полоумная, и, следовательно, дела идут плохо. Ему надо непременно идти в отставку, что я ему советовал, и он совет мой принял. Сделай же милость, одолжи меня, позволь ему выйти в отставку, и когда просьба придет, то реши скорей – за что я в ножки поклонюсь тебе, ты меня этим навек обяжешь»..

Письмо было написано 10 декабря 1825 года. А спустя несколько дней Денис Васильевич отправился проведать Бегичевых и возвратился от них поздней ночью сам не свой.

Софья Николаевна, встретившая мужа в передней, сразу почуяла беду. Но расспрашивать не решилась. Молча прошла за ним в кабинет, зажгла свечи.

Он остановился в остолбенении посреди комнаты. Потом перевел блуждающий взгляд на жену, проговорил не очень связно хриплым голосом:

– В Петербурге произошло восстание. Расстреливали картечью. Случилось то, чего я опасался. Выступление воинских частей подготовлялось тайным обществом. Все открыто. Схвачены Рылеев, Бестужев, Якубович… Начинается расправа, и, судя по всему, она будет жестокой!

– Боже мой, как это ужасно, – прошептала Софья Николаевна, глядя с тревогой на помертвевшее лицо мужа, – но ведь тебе, мой друг… разве тебе тоже может что-то угрожать?

– Не знаю, не знаю, не спрашивай… Думаю не о себе, а о тех, кто был связан с тайным обществом… Страшит участь Базиля! Других близких! А что ожидает Ермолова? Ведь Якубович отрицал существование кавказского общества, как и свою причастность к

заговорщикам, а оказался среди них… Что же теперь будет, что будет!

Денис Васильевич схватился за голову и с глухим стоном Медленно, словно больной, повалился на диван. Софья Николаевна знала, что сейчас лучше всего побыть ему одному. Она тихо вышла из кабинета и прикрыла за собой дверь.

Глава шестая

… С бородою бородинской
Завербованный в певцы,
Ты, наездник, ты, гуляка,
А подчас и Жомини,
Сочетавший песнь бивака
С песнью нежною Парни!

П. Вяземский

I

Аресты продолжались всю зиму. Восстание в самом конце декабря вспыхнуло и на юге, где тоже не обошлось без кровопролития. Закрытые кибитки, сопровождаемые хмурыми

фельдъегерями и полицейскими чиновниками, мчались в Петербург по всем дорогам. Ямщики с почтовых станций поясняли скупо и неохотно:

– Государственные преступники…

Москва замерла в напряженном ожидании. Наступившие святки не веселили, как обычно. Во многих домах, где жили родственники или просто знакомые заговорщиков, не спали ночами. Тревожно прислушивались -к каждому стуку, готовили на всякий случай сумки с теплым бельем и необходимыми вещами. Всюду пылали печи и камины, жглись письма и дневники, где был хоть какой-нибудь намек на неосторожные мысли и сомнительные знакомства.

А по глухим московским переулкам бродил лохматый и грязный костромской монах Авель, известный всем прорицатель, и, проклиная нового царя, вещал хриплым голосом:

– Змей проживет тридцать лет! Змей проживет тридцать лет[84].

Денис Давыдов находился в необычайном душевном смятении. Списки арестованных каждый день пополнялись близкими и знакомыми именами. Бестужев, Рылеев, Якубович, Михайла Орлов, Александр и Николай Раевские, Волконский, женившийся недавно на Марии Раевской, младшей дочери генерала, брат Василий Львович, Басаргин, Бурцов, Поджио, Кюхельбекер, Ивашев…

Денис Васильевич перестал выходить из дому. Вся прелесть жизни, недавно еще беспечной и оживленной дружескими беседами, исчезла. Привычные светские развлечения казались ничтожными, пошлыми. С утра до ночи, в домашнем халате, с неизменной трубкой в зубах, сидел Денис Васильевич у камина в своем кабинете и думал, думал…

Итак, игра короной в волан, как говорили остроумцы, закончилась. Николай Павлович уселся на трон. Восстание подавлено. В Зимнем дворце беспрерывно заседает «Комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества». Николай Павлович лично допрашивает арестованных. Ежедневно называются новые фамилии. Трудно рассчитывать, что оставят в покое отставного генерал-майора Давыдова, давно внушающего подозрения сочинителя, находившегося в дружбе со столькими бунтовщиками, и двоюродного брата одного из главарей Южного общества!

Возможный арест и допрос, который будет производить царь, представлялись довольно живо.

– Вы разделяли преступные взгляды мятежников, мы располагаем показаниями многих из них, не запирайтесь, –

скажет сурово Николай Павлович.

– Ваше величество! Я никогда не принадлежал тайным обществам, – ответит он, – никогда не одобрял их деятельности…

– Ваша, не менее тяжелая, вина в другом. Вы знали о существовании тайных обществ и не предупредили правительство!

– Я полагаю, ваше величество, оно было осведомлено об этом лучше, нежели частные лица…

– Долг верноподданного не умствовать, а в любых случаях содействовать искоренению вредных замыслов… Вы не состояли в тайном обществе, но образ ваших мыслей и поступки свидетельствуют о вашей неблагонамеренности. Вращаясь среди заговорщиков, вы вместе с ними подвергли критике самодержавие, сочувственно относились ко многим прожектам безумцев. Вам ненавистно все устройство наших войск, существующие уставы и порядки, вы нарочно уклоняетесь от военной службы, подавая дурной пример другим. А ваши связи с Ермоловым…

Тут воображаемая обвинительная речь царя прерывалась. Мысли Дениса Васильевича меняли направление. Ермолов! Что с ним, каково его отношение к тому, что происходит? Известий от Алексея Петровича давно не было. А в Москве упорно распространялись тревожные слухи, будто Ермолов отказался присягать Николаю Павловичу и собирается двинуть против него войска Кавказского корпуса. Говорили, будто австрийский посол, встретив во дворце великого князя Михаила Павловича, спросил открыто:

– Какие новости из Грузии? Правда ли, что генерал Ермолов со всей армией находится на марше к Петербургу?

А приезжавший в Москву близкий к дворцовым кругам генерал, не стесняясь в выражениях, поносил Ермолова как изменника и говорил, будто его в скором времени привезут с Кавказа в кандалах.

Денис Васильевич хотя и опровергал подобные разноречивые слухи как вздорные, но в глубине души понимал, что нет дыма без огня: на Кавказе явно было неблагополучно.

В памяти оживало последнее свидание с Базилем, утверждавшим, якобы Ермолов возглавляет кавказское тайное общество. Кто знает, кто знает! Якубович схвачен и, возможно, не выдержав пыток, выдал Алексея Петровича, а попутно рассказал и о московских распашных беседах с Бестужевым и Давыдовым. Всякое может быть. Надо готовиться к худшему.

Денис Васильевич чувствовал на себе холодный, неподвижный взгляд царя. Гроза собиралась над головой.

* * *

Как-то в начале февраля, рано утром, к Давыдову заехал Дмитрий Никитич Бегичев. Он был чем-то обеспокоен. Войдя в кабинет, тщательно прикрыл дверь, вытер платком шею, красное от мороза лицо и сказал:

– Сообщаю тебе за тайное… Вчера проездом останавливался у меня арестованный на Кавказе… кто бы ты думал! Александр Сергеевич Грибоедов!

Денис Васильевич задохнулся от волнения.

– Как… останавливался… арестованный? – спросил он, стараясь взять себя в руки.

– Упросил своего телохранителя Уклонского, за деньги, я думаю, сделать в Москве остановку, – ответил Бегичев. – Впрочем, оказался лысый Уклонский этот малым покладистым. Даже возражать не подумал, когда Грибоедов попросил меня за братом Степаном дослать. А когда Степан приехал и несколько опешил, застав нас в обществе безволосой фигуры в курьерском мундире, Александр Сергеевич, не стесняясь, в самом шутливом тоне изволил представить брату сего Уклонского, как испанского гранда Дон-Лыско-Плешивос-ди-Пари-ченца…

– Не понимаю, зачем Грибоедову понадобился глупый этот фарс? – пожал плечами Давыдов.

– А затем, чтоб нас ободрить, показать, в каких отношениях он к своему телохранителю, – пояснил Бегичев. – Ну, а после обеда Александр Сергеевич совершенно его отпустил.

– То есть… как это… отпустил?

– Очень просто. Обратился к нему и говорит: «Что, братец, ведь у тебя здесь есть родные, ты бы съездил повидаться с ними». Уклонский откланялся и уехал. Мы остались одни, так-то, конечно, нам свободней было обо всем беседовать… Ну, и мы, сам понимаешь, воспользовались случаем…

– Не томи, ради бога! – не выдержал Давыдов. – За что Грибоедов арестован?

– Причина нынче одна. Подозревается в связях с бунтовщиками. Но держится молодцом, спокоен. И надежду питает оправдаться вскоре…

– А что с братом Алексеем Петровичем?

– Пока, слава богу, жив-здоров, на прежнем месте… Слухи эти всякие насчет ермоловских замыслов Александр Сергеевич отвергает.

– Но что же все-таки там произошло?

– Ну, всего-то Грибоедов не скажет… Дипломат! Но кое-что поведал… В корпусе на самом деле задержка с присягой

произошла, несколько дней священника не могли найти…

– Помилуй, что за причина! Да ведь в каждом полку священник есть и в каждом селении! – удивился Денис Васильевич.

– Алексей Петрович с отрядом в какой-то, видишь ли, станице дальней находился, там будто одни раскольники беспоповского толка проживают, – с легкой усмешкой сказал Дмитрий Никитич. И неожиданно тяжело вздохнул: – Дело-то, как Александр Сергеевич ни скрывает, по-моему, скверное. Вот на раскольников-беспоповцев и сваливают грех, следы заметают.

– Да, похоже на го… Но не будем гадать! Еще о чем с Грибоедовым говорили?

– Интересовался Александр Сергеевич всякими подробностями бунта, осведомлялся, кого взяли и кого еще не взяли, чтобы на допросах не проболтаться… Картина ясная!

– Мне-то Ермолов ничего с Грибоедовым не передавал?

– Передавал. Я знтем и заехал, чтоб сообщить… Советует тебе Алексей Петрович снова на военную службу определиться. И доводы приводит веские! Новый царь, наверное, не очень-то хорошего о тебе мнения… А время смутное! Своим же прошением о службе ты угодишь царю и мнение его изменишь. А там, как заваруха эта кончится, причины, чтобы снять мундир, найдутся… По-моему, маневр не плох!

Денис Васильевич, выслушав зятя, самодовольно улыбнулся:

– Вполне с тобой согласен. Именно посему, рассудив совершенно таким же образом, я уже подал рапорт…

– Да что ты! – удивился Бегичев. – А ведь я, признаться, полагал, тебя уговаривать придется… Скажешь, что о войне слуху-духу нет, а для мирных экзерциций не годен…

– Так-то оно так, – вздохнул Давыдов, – да не приходится церемониться, когда только о том думаешь, как бы в каземат не попасть… Вопрос: примут ли на службу-то? Не разгадают ли маневра?

– Примут, не сомневайся, – попробовал ободрить Бегичев. – Мне сказывали, что к подобным прошениям о возвращении на военную службу государь относится с особой благосклонностью.

– Причина-то для моего возвращения больно шаткая, – поморщился Давыдов. – Слишком известна неприязнь моя к фрунтомании и парадирству. А Николай Павлович, кроме развития этой отрасли военного искусства, как будто ничего и не обещает! На одной явной лести выезжаю… Называю педанта чрезвычайно сведущим в военном искусстве, выражаю готовность поддержать душой и саблей будущие его военные предприятия… Белыми нитками все шито!

– А я бы на твоем месте еще несколько письмишек с изъявлением верноподданнических чувств послал в разные места друзьям и знакомым, – подсказал Бегичев. – Письма-то наверняка в тайной полиции окажутся. Ежели запросят – они тебе там самую наилучшую рекомендацию дадут!

Денис Васильевич заметил с усмешкой:

– Метода не новая, Митенька. Пользуемся помаленьку. Риска, конечно, нет. Только неизвестно, кого более в заблуждение введешь: то ли тайную полицию и царя, то ли собственных друзей и потомков?

II

Переданное императору Николаю Павловичу из тюрьмы письмо мятежника Владимира Штейнгеля было обстоятельно и достаточно достоверно.

«Сколько бы ни оказалось членов тайного общества или ведавших про оное, сколь бы многих по сему преследованию ни лишили свободы, все еще остается гораздо множайшее число людей, разделяющих те же идеи и чувствования. Россия, которую я имел возможность видеть от Камчатки до Польши, от Петербурга до Астрахани, так уже просвещена, что лавочные сидельцы читают уже газеты, а в газетах пишут, что говорят в Париже в палате депутатов.. Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Рылеева, Пушкина, дышащими свободою? Кто не цитировал басни Дениса Давыдова «Голова и Ноги»?..»

Взгляд царя привычно задержался на фамилиях. Рылеев сидел в крепости. Пушкин – в псковской своей деревне под строжайшим надзором. Дерзкие их сочинения императору более или менее известны. Но… что это за басня Дениса Давыдова? Почему поставлена она в один ряд с произведениями, развращающими умы вольнолюбивыми бреднями?

Император знал, что имя поэта-партизана пользуется большой популярностью. В галерее Зимнего дворца среди портретов героев Отечественной войны двенадцатого года, написанных недавно знаменитым английским художником Доу, находился портрет Дениса Давыдова. Император несколько раз останавливался перед ним и рассматривал. Добродушное круглое лицо. Залихватски приподнятые кончики холеных гусарских усов, открытый взгляд выпуклых, умных глаз. Нет, он никак не походил на бунтовщика! Да и в показаниях арестованных заговорщиков имя Дениса Давыдова до сей поры не всплывало. А что касается его гусарских стихов – в них решительно не было ничего

предосудительного. Николай Павлович сам, бывало, не без удовольствия декламировал их в веселую минуту!

Необходимо произвести строжайшую проверку. Ведь среди «друзей четырнадцатого», как называл царь декабристов, оказалось немало таких лиц, кои были вне всяких подозрений.

Император взял со стола перо, чтобы сделать запись в памятную книжку, и тут же положил его обратно. Вспомнил, что письмо Штейнгеля передано Бенкендорфом, а вся корреспонденция, проходившая через руки любезного Александра Христофоровича, предварительно им прочитывалась и необходимые справки подготовлялись заранее.

Император дернул сонетку. Вошедшему адъютанту приказал отрывисто:

– Александра Христофоровича ко мне…

Бенкендорф, в гвардейском, застегнутом на все пуговицы мундире с пышными эполетами и свисающими аксельбантами, позванивая шпорами и благоухая духами, появился в кабинете незамедлительно.

Николай спросил:

– Тебе что-нибудь известно про басню Дениса Давыдова, упоминаемую в письме Штейнгеля?

Бенкендорф к такому вопросу был, видимо, хорошо подготовлен. Ответил сразу:

– Я имел возможность, ваше величество, ознакомиться с нею недавно по списку, найденному при обыске на юге у комиссионера Иванова…

– И, полагаю, ты распорядился, конечно, снять копию?

– Так точно, ваше величество… Но, – Бенкендорф слегка запнулся, – басня сия полна столь неистового вольномыслия…

– Ничего, Александр Христофоров;»ч, мы с тобой не институтки, – чуть скривив губы, перебил Николай. – Пачкаться нам приходится в этом каждый день!

Бенкендорф молча протянул листок бумаги. Николай пододвинул свечку, быстро пробежал глазами написанное. Смысл дерзкого спора Ног с Головой был предельно ясен.

Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись – как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить.

Лицо царя потемнело, брови гневно сдвинулись. Дочитав, он непроизвольно скомкал бумагу и прошипел:

– Какой негодяй, однако! Я не думал!

– Осмелюсь заметить, ваше величество, – произнес Бенкендорф, – басня сия написана более двадцати лет назад. Давыдов был выписан за сочинительство из гвардии в армейский полк.

– Покойный брат непростительно миндальничал! – сказал с раздражением Николай. – За подобные басни следует судить как за подстрекательство к бунту. Прикажи комиссионера Иванова строжайше допросить, кто и как распространяет подобные произведения и не принадлежат ли господа сочинители оных и тайным обществам…[85]

И, чуть помедлив, осведомился:

– А чем занимается Денис Давыдов в настоящее время? Он, кажется, в отставке?

– Так точно. Не служит шесть лет.

– Что за причина?

– Насколько удалось выяснить, Давыдов остался партизаном и чуждается установленных в армии порядков…

– Гм… А связей ни с кем из наших друзей четырнадцатого не имел?

– Пока таких сведений нет, ваше величество. Зато имеются основания предполагать, что он находится в близких отношениях с генералом Ермоловым, коему приходится двоюродным братом, а также с семейством генерала Раевского…

Брови Николая удивленно и сердито приподнялись.

– Вот как! Ну в таком случае все равно ничего доброго от него ожидать нельзя! Ермолов и Раевский, я убежден, были и остаются опаснейшими либералами… Недаром мятежники намеревались избрать их в свое правительство!

Николай сделал несколько крупных солдатских шагов по кабинету и, остановившись перед Бенкендорфом, приказал:

– За Давыдовым учреди наблюдение самое тщательное… Опасаюсь, не принимает ли он участия в каких-то неясных еще мне ермоловских махинациях.

Бенкендорф, теребя серебристый шнур аксельбанта и глядя подобострастно на царя, проговорил:

– Ваши опасения весьма проницательны, государь. Три года назад Ермолов с необычайным и подозрительным упорством добивался назначения Давыдова в Кавказский корпус… А ныне сам Давыдов, рассчитывая, вероятно, что изменившиеся обстоятельства помогут ему в конце концов пробраться к Ермолову, просит вновь зачислить его на военную службу…

– Ну, этого удовольствия я ему не доставлю, – сказал Николай. – Военного мундира каналья не получит!

– Простите за откровенность, государь, – неожиданно

возразил Бенкендорф, – но, мне кажется, было бы полезней сделать наоборот…

Николай пристально посмотрел в светлые, нагловатые глаза любимца и, стараясь понять смысл сказанного им, произнес с расстановкой:

– Ты думаешь… будет полезней… принять Давыдова на службу?

– Так точно, ваше величество, – ответил Бенкендорф. – Вступление Давыдова на военную службу благотворно подействует на многих и послужит хорошим примером. Помимо сего, каждый военный может быть, по соизволению вашего величества, переведен или послан по служебной надобности в любое место империи.

– Так, так, так, – почесывая рыжие бачки и, видимо, что-то постигнув, отозвался император. – Ты прав, пожалуй, Александр Христофорович…

* * *

Казенный пакет из главного штаба был получен в начале апреля. Денис Васильевич, ожидавший свыше трех месяцев ответа на свое прошение, нетерпеливо прочитал бумаги и сказал жене с облегченным вздохом:

– Ну, слава богу! На службу зачислили, назначили состоять при кавалерии… Стало быть, никаких подозрений против меня нет. Тучи разошлись!

А спустя некоторое время стали доходить до Москвы и другие добрые вести. Выпустили из крепости Александра и Николая Раевских, освободили Грибоедова, избежал суда Михайла Орлов… Затеплилась надежда, что и с остальными заключенными обойдутся милостиво. Генерал Ивашев, ездивший в столицу хлопотать за арестованного сына, уверял Дениса Давыдова, что государь настроен благодушно и никаких строгостей не ожидается. Может быть, удастся и брату Василию Львовичу, судьба которого особенно тревожила, отделаться высылкой на поселение или в собственную деревню под надзор.

И вдруг, словно гром в ясном небе, этот ужаснувший всю страну, кажущийся неправдоподобным судебный приговор: пятерых четвертовать, тридцати одному, в том числе Василию Давыдову, отрубить головы, остальным каторга! Правда, четвертовать людей и рубить головы царь не решился, но все же и смягченная окончательная сентенция отличалась чудовищной жестокостью. Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и

Бестужев-Рюмин приговаривались к повешению; Василий Давыдов, Волконский, Бестужев, Басаргин, Ивашев, Кюхельбекер, Якубович и еще свыше ста человек после лишения дворянства и чинов отправлялись в каторжные работы навечно или на длительные сроки.

13 июля ранним утром на пустыре у крепостного рва состоялась казнь. Император сам изыскивал способы придать этой картине наиболее мрачный характер. Всех приговоренных, одетых в белые саваны, отпели живыми. Барабанщики все время выбивали мелкую дробь, как при наказании солдат сквозь строй[86].

После того как на приговоренных набросили петли и затем отняли доски из под ног, Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол упали с виселицы. Распоряжавшийся казнью петербургский генерал-губернатор Павел Васильевич Кутузов подскакал ко рву, где в окровавленных саванах копошились трое мучеников. Рылеев, с трудом приподнявшись и откинув колпак, сказал губернатору:

– Вы, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, его желание исполняется: вы видите, мы умираем в мучениях…

– Вешайте их скорее! – неистово завопил Кутузов.

Рылеев, глядя на него, произнес:

– Дай же палачу твои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз…

Подробности кровавой расправы передавались из уст в уста, вызывая общее негодование. Вяземский, отдыхавший в Ревеле, писал жене:

«О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место… Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно нестерпимо… Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни! Сколько жертв и какая железная рука пала на них!»

У Дениса Давыдова было столь же подавленное состояние. Воображение мучили и виселицы на крепостном пустыре и звон кандалов, которыми царь заменил веревку другим несчастным.

Со сколькими из них он, Денис Давыдов, еще недавно откровенничал, шутил, спорил! Руки чувствовали еще теплоту дружеских рукопожатий и Волконского, и Бестужева, и Басаргина, и Кюхельбекера, и Якубовича… А милый, родной Базиль? Сердце обливалось кровью, когда думал о нем! Оживали в памяти все встречи, долгие распашные братские беседы и особенно этот

разговор в Киеве, когда Базиль признался в своих чувствах к Сашеньке Потаповой. Хорошо, что год назад, после смерти матери, Базиль все-таки женился на Сашеньке, успел узаконить положение ее и трех детей, иначе она ничего не смогла бы сделать для облегчения его страданий; а теперь, как и другие жены декабристов, Александра Ивановна Давыдова собиралась ехать к нежно любимому мужу в далекую Сибирь. Да, если предполагаемые поездки осуществятся, это будет самым лучшим утешением для страдальцев!

Впрочем, вскоре другие события отвлекли Дениса Васильевича от тягостных размышлений, вызванных ужасным приговором.

Император Николай, очистив, как ему казалось, отечество от крамолы, в конце июля прибыл вместе со всем двором, огромной свитой и гвардией в Москву для коронации. В Кремле состоялось торжественное молебствие. Гудели колокола, гремели пушки. Митрополит Филарет возносил благодарственные молитвы богу за победу царя над бунтовщиками.

Денису Васильевичу кое-как удалось уклониться от участия в этом гнусном спектакле, но он был обязан представляться царю среди других генералов и чиновных москвичей.

Признав Давыдова, вероятно, по портрету, Николай задержал на нем взгляд, сказал:

– Рад видеть тебя, любезный Давыдов… Благодарю, что надел эполеты в мое царствование… Здоров ли ты? Можешь ли служить в действительной службе?

– Могу, государь.

Николай ничего более не спросил и, милостиво кивнув головой, проследовал дальше. Все как будто обстояло благополучно.

Но через несколько дней Давыдова вызвал начальник генерального штаба генерал Дибич. Глядя в сторону, как всегда он делал, выполняя особо важные поручения царя, рыжий и криволицый старый знакомец объявил:

– Мне весьма прискорбно, что имею препоручение от государя императора предложить вам то, что, может быть, неприятно вам будет принять. Государю угодно, чтобы вы ехали в Грузию. Там опять начинается война с персианами. Нужны отличные офицеры. Государь избирает вас…

О том, что персидские войска недавно вторглись в пределы Грузии, Давыдову было уже известно. В предложении, переданном Дибичем, ничего странного не было. Оно показалось даже лестным. Денис Васильевич поблагодарил за оказанную ему честь.

– Но, – значительно добавил Дибич и опять отвел глаза в сторону, – государю угодно, чтобы вы как можно скорей ехали туда…

Вот эта-то фраза, а вернее, та особая интонация, с которой произнес ее Дибич, заставила Дениса Васильевича невольно насторожиться. Зачем посылают его на Кавказ? Действительно ли как боевого генерала с прямой целью или?.. Какое-то смутное подозрение начало закрадываться в душу. Ведь в кавказскую армию отправлены все офицеры и солдаты, хотя бы косвенно причастные к восстанию в Петербурге и на юге. Туда же прямо после выхода из Петропавловской крепости получил назначение оправданный, но оставленный в подозрении Николай Раевский. Правда, Ермолов был еще командующим Кавказским корпусом, однако о его близком смещении продолжали говорить упорно.

Денис Васильевич решил во что бы то ни стало повидать царя. Попытаться отгадать его замысел. Выторговать на всякий случай право возвратиться домой после окончания войны.

И эту встречу с Николаем в кабинете Кремлевского дворца он запомнил до мельчайших подробностей.

Николай, начавший к тридцати годам сильно толстеть, был в своем обычном зеленом гвардейском мундире. Выпуклая, обложенная ватой грудь, туго стянутый живот, расширенные бока, жирные ляжки в белых лосинах и полусогнутая рука, большой палец, который театрально заложен за борт мундира. Николай в молодости недаром брал уроки у французских актеров Сенфаля и Батиста.

Но особенно приметилось лицо царя: пухлое, болезненно белое, лишенное всякой живости. И большие, навыкате, какие-то оловянные глаза.

Николай стоял у окна. Увидев вошедшего Давыдова, подошел к нему, дружелюбно протянул руку.

– Прости меня, любезный Давыдов, что я посылаю тебя туда, где, может статься, тебе быть не хочется, – сказал царь своим деревянным голосом.

«Дибич начал разговор почти такой же фразой, – промелькнуло в голове Давыдова. – Почему они извиняются, если дело чистое?»

– Напротив, государь, – ответил он, сдерживая волнение, – я не колеблюсь ни минуты и пришел благодарить ваше величество за выбор, столь лестный для моего самолюбия… Но позвольте изложить вам мою просьбу.

– Что такое?

– Когда война кончится, позвольте возвратиться в Москву. Я здесь оставляю хвост – жену и детей…

– Как! Я не знал, что ты женат! Много ли у тебя детей?

– Три сына.

– Славно! А как была фамилия твоей жены?

– Чиркова.

– Кажется, есть родня ей в гвардии?

– Есть, государь, двоюродный брат…

Просьба, видимо, оказалась неожиданной. Ответ не был подготовлен. Какая-то недобрая морщинка собралась на крутом лбу царя и сразу исчезла. Он резко повернулся, сделал несколько шагов по кабинету. Затем снова принял прежнюю, величественную, как ему казалось, позу и произнес:

– Я не определяю тебя в Кавказский корпус, а посылаю с оставлением по кавалерии… Когда война кончится, скажи Алексею Петровичу, что я желаю твоего возвращения, он отпустит, и дело кончено…

– Благодарю, государь!..

– Ты давно не получал писем от Ермолова? – как бы продолжая разговор, спросил Николай, не меняя позы.

– Давно. Алексей Петрович последнее время почти не пишет.

– Вот как! Ну, теперь сам скоро его увидишь… Кланяйся от меня, скажи, что я с нетерпением жду известий и молюсь за него. Да, я забыл! Ведь ты, кажется, и прежде желал служить на Кавказе?

– Желал, государь… Мечтал, можно сказать!

Николай окинул Давыдова быстрым, ничего не говорящим взглядом и неожиданно ласково полуобнял.

– Очень рад, если так… Прощай, любезный Давыдов, желаю счастья и успехов!

Несмотря на то что Давыдов отметил при разговоре с царем некоторые фальшивые его жесты и интонации, все же он решил, что Николай относится к нему благосклонно, никакого тайного замысла не имеет. Сомнительными теперь показались и все слухи о Ермолове. Наверное, выдумывают враги брата Алексея. Ведь болтали же о его связях с заговорщиками, а между тем следствие кончилось, суд свершился, а Ермолов по-прежнему на Кавказе и государь говорил о нем в самом благосклонном тоне.

Но при выходе из дворца Денис Васильевич лицом к лицу столкнулся с Закревским. Осведомившись, о чем разговаривал с царем старый друг, Арсений Андреевич отвел его в сторонку и спросил:

– А ты не думаешь, что можешь оказаться на Кавказе под начальством какого-нибудь другого командующего, а не Алексея Петровича?

У Дениса Васильевича от невольного волнения дрогнул

голос:

– То есть… почему же? Разве Ермолова сменяют?

– В этом все дело, милый Денис, – тихо и доверительно произнес по-французски Закревский. – Я сообщаю тебе то, что, надеюсь, будет навсегда сохранено в полной тайне… Государь на днях при мне сказал, что терпеть Ермолова более не намерен. И вчера на Кавказ уже выехал любимец царя, интимный друг его Паскевич. Он должен немедленно найти любые причины для смещения Алексея Петровича и занять его место…[87]

Денис Васильевич совершенно опешил.

– Помилуй, Арсений! Я отказываюсь верить! Ведь он, – Давыдов кивнул на дворец, – только что говорил…

Закревский вздернул плечи, перебил решительно:

– Не будем обсуждать того, чего не должно… Наша долгая, ничем не омраченная дружба и моя самая глубокая привязанность к Алексею Петровичу обязывают меня сделать предупреждение, дабы вы могли не сомневаться в цели, с какою отправлен Паскевич на Кавказ, и соответствующим образом, с наибольшим благоразумием определить свои поступки… Вот все, что мне хотелось!

Страшную новость, сообщенную Закревским, подтвердил косвенно и ермоловский адъютант Талызин, только что прибывший с Кавказа. Он встретил Паскевича под Воронежем. Талызин рассказал также, что еще зимой в Кавказский корпус прибыл полковник Бартоломей, посланный царем для сбора тайных сведений о Ермолове. Паскевичу остается лишь подписать донос. И Алексей Петрович сам чувствует, что на Кавказе служить ему недолго.

Денису Давыдову все теперь стало ясно. Значит… царь лгал, говоря с ним о Ермолове как о главнокомандующем, который после войны отпустит его домой! Царь хорошо знал, что Ермолова не будет, а будет Паскевич! Зачем же эта низкая, бесчестная игра? Чего он хочет?

Посылка на Кавказ без определенного назначения ставила Давыдова в полную зависимость от воли командующего Кавказским корпусом. Пока оставался в этой должности Ермолов, нечего было беспокоиться о дальнейшем. Теперь же, продумывая создавшееся положение, Денис Васильевич ясно различал для себя три возможности. Командующий мог назначить начальником превосходного отряда и поручить славное дело, достойное опытного и боевого командира; командующий мог оставить при главной квартире, обрекая на унизительное безделье, порочащее достоинство и честь; командующий мог, наконец, послать в опасную экспедицию, на верную смерть, особенно если будет на

то тайное соизволение свыше… И эта третья, последняя возможность представлялась самой вероятной.

Николай желает избавиться от него. Как можно скорее.

Фраза, сказанная Дибичем, приобретала теперь особое, зловещее значение.

С тяжелым чувством собираясь в дальний путь, Давыдов скрыл от родных и близких угрожающую ему опасность. Не сказал даже жене. Она должна была скоро родить, не хотел расстраивать. Но на одном из прощальных вечеров не мог все-таки удержаться от горькой эпиграммы, посвятив ее генералам, танцующим на балу:

Мы все несем едино бремя,
Но жребий наш иной;
Вы назначены на племя,
Я же послан на убой…

III

Стояли чудесные, тихие и солнечные августовские дни. Открытая рессорная коляска, запряженная тройкой лошадей, бойко катилась по старому почтовому тракту, пролегавшему на юг через Елец и Воронеж.

Денис Васильевич, первый раз ехавший по этому пути, с любопытством смотрел на картины, открывавшиеся взору. Величественная, щедро одаренная природой мать Россия, которую любил он нежным сыновним чувством, раскрывалась перед ним во всей своей красоте и убожестве. Прекрасны были эти плодородные черноземные поля, быстры и чисты реки. Манили прохладой тенистые леса, нежили взгляд тронутые первой позолотой берёзовые рощи. Господские дома и угодья, расположенные обычно на взгорьях, окруженные садами и парками, щеголяли нарядной архитектурой, затейливыми башенками, белыми арками и колоннами. А в близком соседстве с ними тянулись кривые улицы и переулки соломенных деревень, где мужики и бабы в посконных рубахах и лаптях молотили цепами хлеб. А в барских садах загорелые и босые девки складывали в корзины налитые сладким соком яблоки и пели грустные песни. И легкий ветерок вместе с тихими напевами доносил еле уловимый тонкий запах спелых плодов.

Тяжелое настроение, владевшее Давыдовым при выезде из Москвы, постепенно заменялось чувством какого-то умиротворения. Деревенская жизнь, вдали от столицы, показалась

ему соблазнительной. «Наверное, – думал он, – никого здесь не волнуют ни политические события, ни дворцовые интриги, живут тихо, спокойно, наслаждаясь семейными радостями. Охота, друзья, книги. Право, есть смысл!»

И вдруг живо воскресла в памяти далекая приволжская деревенька Верхняя Маза. И почему-то сразу посветлело на душе. Счастливая мысль! Служить отечеству там, пожалуй, можно лучше! Он был участником многих замечательных событий, ему есть о чем рассказать в своих книгах. Да, непременно надо, выйдя в отставку, поселиться там, подальше от этого страшного человека с холодным взглядом оловянных глаз… Лишь бы поскорей удалось благополучно освободиться от кавказской службы. Вся надежда на брата Алексея Петровича. Он пока еще главнокомандующий. Он посоветует, поможет. Надо торопить ямщика!

И вот уже кончились бесконечные ковыльные степи, и в безоблачном темно-голубом небе засеребрились вершины Кавказских гор.

А недалеко от Владикавказа неожиданная встреча. Александр Сергеевич Грибоедов. Возвращается в Тифлис к месту прежней службы.

Подробности его ареста Давыдову были уже известны. В Москве Талызин рассказал, как Ермолов, получив ордер на арест Грибоедова, предупредил его, помог уничтожить бумаги. Талызин сам принимал в этом участие. И конечно, Александр Сергеевич будет век благодарен Ермолову. Грибоедов свой, близкий человек. Захотелось обнять его, расцеловать. Но, с другой стороны, он ведь приходится родственником Ивану Федоровичу Паскевичу, женатому на его двоюродной сестре. Родство, правда, не бог знает какое, однако в сложившихся обстоятельствах оно приобрело значение, невольно сдерживая душевный порыв.

Грибоедов, очевидно, тоже чувствовал неловкость, держался сухо, настороженно. Узкое, желтое от лихорадки лицо его пасмурно. В умных, чуть прищуренных глазах застыла, казалось, какая-то скорбная мысль.

Узнав, что в Дарьяльском ущелье произошли обвалы и Грибоедову, ехавшему с почтой, придется ждать, пока расчистят дорогу, Давыдов предложил:

– Мне одалживают двухместные дрожки. Налегке пробраться в Тифлис, думаю, можно… Прошу разделить со мной компанию.

– Благодарю, глубоко признателен, Денис Васильевич.

В Тифлис они едут вместе. И невольный холодок между ними начинает постепенно исчезать. У них столько общих интересов, столько общих близких знакомых. Им есть что вспомнить и о чем

поговорить наедине. Грибоедов наконец доверчиво признается:

– Вам известны мои отношения с Алексеем Петровичем… Я предан ему до гроба. Какой светлый ум, какая высокая душа! Но мое положение… это ужасно, если оно отдалит его… И признаюсь, Паскевич никогда не был мне близок. Он самонадеян и тщеславен. Я не верю, чтобы этот человек восторжествовал над одним из умнейших людей в России.

– Паскевич выполняет волю государя, – не соглашается Денис Васильевич, – а высочайшее мнение о Ермолове никогда, к сожалению, не сходилось с твоим… Впрочем, не будем загадывать.

Грибоедов молчит. Хмурится. О чем-то сосредоточенно думает.

– Высочайшее мнение! Высочайшая воля! – неожиданно иронически восклицает он, и в глазах, сквозь стекла очков, вспыхивает злобная искорка. – Я содержался на гауптвахте главного штаба и видел многих из этих несчастных… Мне передавали разговор императора с Николаем Бестужевым, братом нашего Александра. Государь, удивленный умом и твердостью Бестужева, сказал: «Вы знаете, что все в моих руках, что я все могу, и я бы простил вас, если бы мог быть уверен, что впредь буду иметь в вас верноподданного!» – «В том наше и несчастье, ваше величество, – ответил Бестужев, – что вы все можете, что ваша воля выше закона. А мы желаем, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел не от вас, а от закона…» Вот видите, какое, оказывается, частное мнение, – Грибоедов сделал на этой фразе ударение, – существует о высочайшей воле.

– Помилуй, Александр Сергеевич. С подобным мнением согласится каждый честный человек, следственно, оно уже не частное, – горячо отозвался Денис Васильевич.

Грибоедов внимательно посмотрел на него потеплевшими глазами и улыбнулся:

– Я потому прямо и говорю с вами о таких вещах, что хорошо знаю вас, друга Ермолова, Пушкина, Раевских… Но я никогда не открывал и не открою своего сердца Паскевичам.

По мере того как дрожки, запряженные парой лошадей, медленно продвигались вперед, дорога становилась все хуже. Камни и огромные валуны во многих местах преграждали путь. Казачий конвой, ехавший впереди, спешивался, казаки убирали камни, выпрягали лошадей, на руках переносили дрожки.

Ущелье становилось все теснее. Горы, обступавшие со всех сторон, казалось, готовы были упасть на головы. Грибоедов долго, неподвижно смотрел вверх на каменные громады. Потом медленно опустил голову. Какое-то затаенное огромное горе

исказило вдруг тонкие черты его лица. Губы дрожали, в глазах стояли слезы.

– Что с тобой, Александр Сергеевич? – спросил обеспокоенный Давыдов, тихо дотрагиваясь до его локтя.

Грибоедов вздрогнул и как-то судорожно схватил, сжал руку Давыдова.

– Я чувствую себя раздавленным, друг мой, – прерывающимся голосом заговорил он по-французски. – Я могу вам признаться, что во многом не соглашался с ними… Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России. Я сам как-то сказал эту фразу. Но кто же откажет им в мужестве, честности и благородстве! Так за что же столько страданий? Ведь их даже не судили, а осудили по высочайшей воле. Александр Бестужев и Александр Одоевский – тягчайшие государственные преступники! Ваш брат, умнейший и добрейший Василий Львович, которого я имел честь знать, осужден на каторгу! Мое сердце обливается кровью. Я плохо сплю… я постоянно слышу мерную дробь барабана и звон кандалов. На кронверкской куртине, где повешены эти пять мучеников, распяли нашу совесть… о, как это ужасно! А Фамусовы, Скалозубы и Молчалины торжествуют! Мне непереносимо это отвратительное зрелище…

Грибоедов остановился, глубоко вздохнул и, понизив голос, закончил:

– Но верьте, друг мой, что их страдания бесплодно не исчезнут… Я сам недавно пришел к этой мысли… Пройдут годы, и явятся другие… и час свершения настанет… Россия оставаться в младенчестве не будет.

Эта последняя, с большим чувством произнесенная фраза Денису Васильевичу запомнилась особенно крепко.

IV

В Тифлис приехали поздно ночью. Алексей Петрович Ермолов, вопреки обыкновению рано ложиться спать, находился еще в своем просторном, скромно убранном кабинете. И тотчас же Дениса Васильевича принял.

Ермолову исполнилось сорок девять лет. Резкие складки морщин на крупном, мужественном лице, темные круги под глазами и крайняя раздражительность, появившаяся за последнее время, свидетельствовали, что огорчения, вызванные происшедшими событиями, войной и неблагоприятными отношениями с новым императором, не прошли бесследно.

Ермолов сидел за большим дубовым столом в парадном мундире, при всех орденах, хотя обычно, как всем было известно,

ходил в простом черкесском чекмене. Он тяжело поднялся навстречу брату, сердечно его обнял:

– Слышал, что едешь, ждал, рад тебя видеть, Денис… Как семья твоя? Все здоровы? Ну, слава богу… Садись, поговорим…

И, заметив, что Давыдов окинул удивленным взглядом его парадный мундир, усмехнулся:

– Что? Думаешь, привычки свои изменил? Нет, брат, это я для господина Паскевича павлином вырядился… Час назад проводил его отсюда. Нельзя, брат Денис, иначе, – продолжал он иронически, – особа знатная, полным доверием государя пользуется. Сам царь мне о том писал.

Алексей Петрович сделал несколько шагов по кабинету; потом остановился перед Давыдовым, вспомнил:

– Да, так ты, говорили мне, с Грибоедовым сюда? Ну, что? Переменился, я думаю… Еще бы! Паскевичу родней приходится, а у Паскевича сама государыня императрица детишек крестить изволила. Дух захватывает от столь высокого родства, – не удержался Ермолов от насмешки. – Как же Александру Сергеевичу с нами, опальными, дружбу водить?

– Напротив, почтеннейший брат, – возразил Давыдов, – Грибоедов более всего опасается, чтобы вы сами через это родство к нему не охладели…

– Да, что ушло, то ушло… Может быть, и несправедливым я окажусь, после рассудят, а прежних отношений у нас не будет, – задумчиво произнес Алексей Петрович.

– Грибоедов душевно расположен к вам… И, простите, мне непонятны сомнения ваши.

Ермолов подошел к столу, достал какую-то бумагу.

– А ты послушай, что военный министр мне пишет, – сказал он и, пододвинув свечу, прочитал: – «…коллежский асессор Грибоедов, на коего упало подозрение в принадлежности к тайному злоумышленному обществу, по учинению исследования, оказался совершенно, – подчеркнул Ермолов последнее слово, – неприкосновенным к нему. Вследствие чего, по повелению его императорского величества, освобожден из-под ареста, с выдачей аттестата…»

– Таковые аттестаты выданы не одному Грибоедову, а и многим другим лицам, – заметил Давыдов.

– Знаю, знаю, – кладя бумагу на стол, сказал Ермолов, – а все-таки… Этот самый господин Паскевич, прибыв сюда, с первых слов просит Грибоедова в его канцелярию откомандировать… Слов нет, нужда в сочинителе господину Паскевичу крайняя. Сам грамотей не бойкий: говорит со знаками запинания, а пишет без оных… Однако ж мне особое благоволение этого господина к

Грибоедову по многим причинам нравиться не может…

– Помилуй! Я совсем сбит с толку! – воскликнул Денис Васильевич.

Ермолов подошел к окну, прикрыл его, завесил тяжелой шторой. Затем сел в кресло рядом с Давыдовым, положил на его плечо широкую горячую руку.

– От тебя скрывать мне нечего, – тихо произнес он. – Прошлой осенью брат наш Василий Львович предлагал мне примкнуть к ним… А письмецо его Грибоедов мне доставил! Следственно, полным их доверием был облечен Александр Сергеевич…

– И что же вы решили? – не дослушав фразы, перебил Денис Васильевич.

– Не беспокойся, ничего страшного нет, – ответил Ермолов. – Никаких обещаний я не давал, в переговоры не вступал… Но, признаюсь, однажды намекнул Александру Сергеевичу, что ежели этакое случится… усмирять не пойду и, смотря по обстоятельствам, подумаю…

– Стало быть, эта задержка с присягой?..

– Мой грех, – наклонив голову, с тяжелым вздохом отозвался Ермолов. – Было в голове разное… Ну, а потом дело исправил, с этим кончено. Один свидетель Александр Сергеевич, да я на него в этом деле совершенно полагаюсь, ибо зачем же ему меня и себя губить. И тому, что вышел он чистым из скверной истории, я не менее, а более других рад…

– Поверьте, почтеннейший брат, Александр Сергеевич навсегда останется вам признателен…

– А вот тут-то как раз бабушка надвое сказала! – прищурился Ермолов. – Я голову на отсечение дам, что Александра Сергеевича рука Паскевича из пропасти вытащила, следственно, этот господин Грибоедову не только родня, но и благодетель… Сам суди, как в таком случае мне держаться теперь с Грибоедовым. Не знаю, не знаю, брат Денис, напрасно подозревать не могу, но в моем положении опасаться всего должен…

Ермолов поднялся. Сделал опять несколько грузных шагов, остановился, потер широкий лоб.

– А положения моего тебе объяснять нечего… Отношение Николая ко мне известно. Он с тех пор еще, как я за пьяные дебоши в Париже его отчитывал, зубы на меня точит и разделаться со мною собирается. Теперь настал его час счастливый! – Ермолов сделал короткую передышку и затем продолжил: – Я не из робкого десятка, ты сам знаешь, меня царским неблаговолением не испугаешь, но я низостью, подлостью его возмущен! Ну, неугоден ему, так отреши от

должности, твоя воля. Нет, натура не такова. Боится, чтобы тень, упаси бог, на него не упала. Желает, чтобы сам я в отставку подал… а на всякий случай шпионов сюда засылает… И опять подлость свою фиговым листком прикрывает. Вот он, этот листик-то, прибрал на память, – желчно добавил Ермолов, достав из кармана какую-то бумагу. И, насмешливо выделяя слова, прочитал: – «…назначив его командующим под вами войсками, даю я вам отличнейшего сотрудника, который выполнит всегда все ему делаемые поручения с должным усердием и понятливостью. Я желаю, чтобы он, с вашего разрешения, сообщал мне все, что от вас поручено будет…»

– Назначает, оказывается, господина Паскевича моим помощником! Дает отличнейшего сотрудника! Благодарю покорно! А этот сотрудник сидит здесь, словно дитя невинное, любезничает, в царской любви меня уверяет, а за спиною грязные сплетни против меня собирает. Николай клеветой и вздором не брезгает. Мерзко, подло, гнусно!

Негодование захватило Ермолова. Он резким движением расстегнул, словно душивший его, ворот мундира и продолжал:

– Вот и надел я эти ордена, чтобы превосходство свое над царским лазутчиком чувствовать. Не за дружбу с царями боевые ордена получал. Этот, – указал он на один из георгиевских крестов, – самим незабвенным Александром Васильевичем Суворовым пожалован. Этот, – дотронулся до другого, – князем Петром Ивановичем Багратионом! Этот – за войну Отечественную…

Ермолов оборвал фразу, махнул рукой, сразу перешел на другой тон:

– Ну, да ты сам все знаешь, и чувства мои тебе понятны. И не будем больше говорить обо мне…

Он вытер платком разгоряченное лицо, опять подсел к Давыдову.

– Займемся твоими делами, брат Денис, пока я еще помочь могу, если требуется…

Давыдов подробно рассказал все, что произошло с ним в последнее время. Ермолов слушал молча, внимательно. Ни один мускул на лице не дрогнул даже тогда, когда Давыдов говорил о своем свидании с царем и Закревским. Тайная цель, с какою прибыл на Кавказ Паскевич, разгадана была раньше. Да и не послал бы Николай сюда брата Дениса, если бы рассчитывал самого Ермолова оставить командующим Кавказским корпусом. И, конечно, при Паскевиче служить Денису нельзя. Тоже все ясно. Но как выйти ему из корпуса, куда он назначен лично царем? Пока продолжалась война с персианами, немыслимо было об этом

думать. Необходимо принять участие в военных действиях, отличиться, отвести от себя всякие возможные подозрения.

Алексей Петрович прежде всего познакомил Давыдова с военной обстановкой. Наследник персидского шаха Аббас-мирза, находившийся под сильным влиянием окружавших его англичан, нарушив мирный договор с Россией, вторгся в Карабах, обложил крепость Шушу. Действующий заодно с ним брат Эриванского сардара Гассан-хан овладел Бамбакской и Шурагельской провинциями.

Войска Кавказского корпуса, изнуренные постоянными кровопролитными стычками, были разрознены. Ермолов против стотысячной персидской армии мог выставить не более десяти тысяч. Однако, превосходно осведомленный о вооружении и боевых качествах противника, Алексей Петрович не считал положение угрожающим. Войска корпуса были лучше вооружены, а главное, одушевлены суворовским духом, отличались большим мужеством и стойкостью.

– Долгой войны не предвижу, – спокойно сказал Ермолов. – Но персиане бесчинствуют в занятых местностях и при набегах, поэтому следует поспешить… Я сосредоточил войска против главных сил Аббаса… А под твое начальство, брат Денис, даю превосходный отряд, действующий против Гассан-хана. Находится этот отряд сейчас под временным начальством полковника Николая Николаевича Муравьева, человек он умный, знающий, помощником тебе будет отличным…

– Я опасаюсь, однако, почтеннейший брат, не причинило бы мое назначение обиды Муравьеву?

– Ничего. Я ему особое письмо пошлю с просьбой содействовать тебе, как моему брату… Надеясь на твой опыт, никакими особыми предписаниями рук тебя не связываю. Ты должен быстрым ударом разбить Гассана и двигаться к персидской границе… Ну, а дальше обстоятельства подскажут, что предпринять. Думаю, что лучшим предлогом для оставления корпуса послужат твои болезни. Дибичу напишешь. Я тоже заранее его уведомлю, что ты из последних сил служишь… На всякий случай!

Ермолов сделал небольшую паузу и с горькой усмешкой добавил:

– Да, любезный Денис, ты прав, по нынешним временам деревня для нас самое подходящее место. Что ж, и там люди живут!

– А вы когда же направляетесь к войскам, почтеннейший брат? – поинтересовался Давыдов.

– Пока остаюсь в Тифлисе. Нельзя иначе. Здесь всего

четыреста солдат гарнизона, опасаюсь, что при моем отсутствии неприятель сделает набег. Ну, а при мне, – усмехнулся он, – вряд ли персиане на этакое дело осмелятся… Мы с Аббасом приятели старые. При войсках же я менее необходим сейчас. Там мои ширванцы, там Вельяминов, Мадатов, я снабдил их подробными наставлениями. Уверен, нескольких пушечных выстрелов будет достаточно, чтобы принудить персиан к бегству. У Аббаса и орудий нет, десяток шестифунтовых пушек на верблюдах возят… Справиться не трудно!

– Кому же все-таки вы вверяете начальство над действующими силами?

– Господину Паскевичу.

– Как! – изумился Денис Васильевич. – Вы предоставляете этому господину случай столь легко украситься свежими лаврами? Помилуйте, почтеннейший брат!

– Я за край сей не перед одним государем в ответе, – медленно произнес Ермолов. – О большей пользе дела думаю, а за легкими лаврами не гоняюсь. Ибо никогда не разлучено со мною чувство, что я россиянин…

Ермолов встал, подошел к окну. Поднял тяжелые шторы, распахнул рамы. Занималось утро, пели петухи. Поток свежего воздуха, ворвавшись в комнату, заколебал оплывшие нагаром свечи. Ермолов молча стоял у окна, жадно вдыхая прохладу и наконец повернулся:

– В Москве, наверное, от народу теперь деваться некуда? – обратился он к Давыдову и, не дожидаясь ответа, насмешливо продолжил: – Еще бы! Коронация государя императора! Не каждый год такие зрелища показывают… Помню, как при коронации родителя его, Павла Петровича, московский полицмейстер Архаров отличился. Народ тогда тоже толпами валил. Все знали, что государь немудрящий, да поглазеть-то всякому любопытно. А Павлу бог знает что вообразилось. «Видишь, – похвалился он Архарову, – как меня народ любит?» – «Вижу, ваше величество», – отвечает полицмейстер, а сам со страху соображать перестал. «А приходилось ли тебе, – продолжает Павел, – наблюдать когда-нибудь такое стечение народа?» – «Так точно, ваше величество, приходилось», – не задумываясь, режет Архаров. «Это когда же и где?» – удивляется государь. «Недавно, в Москве, ваше величество». – А по какому случаю?» – «Слона водили…»

И Алексей Петрович не выдержал, расхохотался:

– Вот бы Николаю Павловичу напомнить кстати!

V

Николай Николаевич Муравьев принадлежал к числу замечательных людей своего времени. Сын известного генерала, основателя Московской школы колонновожатых, он с ранних лет увлекался книгами французских просветителей, под влиянием которых зародилась у него мысль заняться усовершенствованием человеческих отношений. Шестнадцатилетний Муравьев в конце 1810 года создает в Петербурге юношеское тайное общество, куда входят его сверстники Артамон Муравьев, Матвей Муравьев-Апостол, братья Перовские и другие. Юные мечтатели ставят перед собой благородную, хотя и несколько туманную цель – устроить для примера республиканское правление на острове Сахалине. Николая Муравьева избирают президентом общества. Вырабатывают устав, вводят условные знаки для узнания друг друга при встрече, подготовляют будущие республиканские законы, порядки.

Отечественная война прекратила деятельность юношеского общества. Николай Муравьев и его товарищи отправились в действующую армию. А через три года за излишнее свободомыслие Николая Муравьева переводят в кавказские войска. Ермолов приближает к себе превосходно образованного молодого офицера с незаурядным военным дарованием. Муравьев становится ревностным ермоловцем, дружески сходится с Кюхельбекером и Грибоедовым.

Между тем все его бывшие друзья юности оказываются в рядах заговорщиков. Родной брат Александр возглавляет Союз спасения. И Николай Николаевич хорошо знал о деятельности тайных организаций. Возможно, через него осуществлялась какая-то связь ермоловского кружка с Южным обществом. По крайней мере Сергей Григорьевич Волконский на заданный ему следственным комитетом вопрос о возможности такой связи ответил ясно:

– Я знаю, что полковник Бурцов переписывался с полковником Муравьевым…

Впрочем, следственный комитет почему-то не обратил внимания на это показание. Николая Николаевича даже не побеспокоили допросом. Тем не менее ему приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Ведь после декабрьского восстания все большое семейство Муравьевых было буквально опустошено, все родные и двоюродные братья попали в крепость.

Когда персидские войска вторглись в пределы Грузии, полковника Муравьева вызвал к себе Ермолов и приказал:

– Возьми шесть рот Тифлисского полка да конных пушек десяток и отправляйся в Джелал-Оглу. В крепости сей примешь также под свою команду три роты карабинеров, а в ближайшее

время я постараюсь подкрепить тебя несколькими казачьими сотнями… Будешь не только отсиживаться в крепости, но и постоянно тревожить Гассан-хана нападениями. Понятно?

Муравьев посмотрел на Ермолова благодарными глазами.

– Так точно, Алексей Петрович…

После такого разговора Муравьев не сомневался, что самостоятельно действующий отряд, формирование которого ему поручалось, останется под его непосредственным начальством и он получит возможность полнее развернуть свое военное дарование.

И вдруг все надежды рухнули! Отряд, стоявший в Джелал-Оглу, начал уже боевые действия, как пришел неожиданный приказ. Командиром отряда назначался генерал-майор Давыдов, а полковник Муравьев утверждался в должности начальника штаба. Полученное вместе с приказом личное письмо Ермолова гласило:

«Почтенный Муравьев! Знаю усердие твое к службе и деятельности и потому ни минуты не усомнюсь, что всеми средствами будешь ты способствовать Давыдову, которому необходимы сведения твои о земле и неприятеле… Прошу дружбы к Давыдову, о котором говорю я теперь, как о брате. Прошу содействовать ему трудами. Прощай. Душевно любящий Ермолов».

Прочитав письмо, Муравьев почувствовал себя незаслуженно оскорбленным. Ермолов отстранял его, боевого и опытного кавказского офицера, от командования отрядом и заставлял помогать своему родственнику, не имевшему, как видно было из письма, представления об устройстве неприятельских войск и совершенно незнакомому с местными условиями. Самолюбие Муравьева было задето сильнейшим образом. Раздражение против Ермолова не утихало, а вместе с тем возникла и невольная глухая неприязнь к Давыдову.

15 сентября, пасмурным, холодным днем, офицеры отряда собрались для встречи нового начальника в большом деревянном, недавно отстроенном комендантском доме. Общее любопытство к Давыдову подогревалось нескончаемыми рассказами о его овеянном романтической дымкой прошлом, о совершенных и не совершенных им партизанских подвигах. И хотя было известно, что последние годы находился Давыдов в отставке и гусарских залетных посланий давно не сочиняет, но все же представлялся он всем этаким зрелым молодцом Бурцовым, лихим кавалеристом, грозным в сражениях и неутомимым в товарищеских пиршествах.

– Едет, едет, господа! – крикнул стоявший у окна толстенький, краснощекий поручик Васенька Корсаков.

Офицеры, толпясь, вышли наружу. Коляска, окруженная казачьим конвоем, остановилась у подъезда. Денис Васильевич, ласково отвечая на приветствия встречающих, приподнялся, хотел сойти и вдруг, схватившись за поясницу, с легким стоном опустился на кожаные подушки сиденья.

Глядя на болезненно сморщенное лицо генерала, Муравьев осведомился встревоженно:

– Что с вами, ваше превосходительство?

– Ужасный ревматизм, мой друг! – со слабой улыбкой отозвался по-французски Давыдов. – Единственная награда нам за долголетнюю и верную службу!

Двое спешенных казаков осторожно подняли генерала, помогли добраться до комендантского дома. Офицеры, недоумевающими глазами поглядывая друг на друга, последовали за ним. Первая встреча всех несколько разочаровала.

Но в теплых комнатах Денис Васильевич скоро отогрелся, и болезнь словно рукой сняло. Он с большим удовольствием поужинал с будущими сослуживцами, пил кахетинское, рассказывал анекдоты, шутил. Он не походил на воспетого некогда им самим разгульного гусара, зато отсутствие начальственной надменности, открытый характер и простота в обращении сразу к нему всех расположили.

Офицеры поздно вечером расходились довольные. Васенька Корсаков, делясь с товарищами своим впечатлением о новом начальнике, говорил:

– Я не могу, господа, судить о других качествах Дениса Васильевича, но ручаюсь, что душу он имеет добрейшую!

Товарищи соглашались, добавляли:

– И ума от него не отнимешь и опыта боевого! Недаром же любили его и Кутузов, и Багратион, и Кульнев…

Муравьев настроен был иначе. Денис Васильевич казался ему слабым, ленивым и довольно пустым человеком, который, вероятней всего, нарочно демонстрировал свою болезнь, чтобы иметь возможность подольше оставаться в крепости и не показываться на глаза неприятелю. Однако это вызванное предубеждением мнение пришлось вскоре изменить[88].

Оставшись наедине с Муравьевым, выслушав доклад о состоянии отряда, находящегося в постоянных стычках с конницей Гассан-хана, Денис Васильевич объявил:

– Нам надлежит произвести вторжение в персидские владения, дабы тем самым отвлечь внимание неприятеля, сосредоточивающего основные силы на пути к Тифлису…

Муравьев приподнял удивленно густые рыжие брови.

– Позвольте напомнить, ваше превосходительство, что

проведение подобной операции без кавалерии весьма рискованно.

Денис Васильевич, подтверждая правильность высказанной мысли, кивнул головой:

– Знаю, знаю. Кавалерия завтра прибудет, Николай Николаевич. Я оставил ее на марше, в шестидесяти верстах отсюда. Две тысячи конных грузинских ополченцев!

На лице Муравьева отразилось еще большее удивление.

– Гассан-хан, по нашим сведениям, имеет не менее десяти тысяч обученных иностранными инструкторами и довольно стойких в бою конников. Трудно рассчитывать, что грузинские ополченцы выдержат натиск впятеро сильнейших вражеских сил!

Денис Васильевич возразил спокойно и уверенно:

– В двенадцатом году наши партизаны, вооруженные чем попало, успешно производили нападения на более грозные громады неприятельских войск. Успех сей определялся внезапностью налета и горевшей в партизанских сердцах священной ненавистью к врагам отечества. А грузинские ополченцы будут драться не менее отважно, чем наши партизаны, ибо грузины не забыли еще ужасов прошлых нашествий персиан, набегов подстрекаемых ими абрагов, страшной резни, устроенной в Тифлисе сарбазами Ага-Магомет-хана… Что касается быстроты и внезапности – это уж наша забота. Как вы полагаете, сколько времени понадобится, чтоб подготовить отряд к выступлению?

– Все зависит от того, как долго продлится рейд.

– Думаю, семь-восемь дней, не больше. Вас что смущает? Вероятно, опасаетесь задержки с подвозом провианта?

– Так точно. Создание большого транспорта и движение его по горным дорогам несомненно затруднит осуществление смелого замысла…

– А мы транспортом обременять себя не будем! Поступим, как некогда, во время похода в Швецию при незабвенном Кульневе. Каждый возьмет по ковриге хлеба, по три фунта мяса и по фляге водки. Фураж погрузим на запасных верховых лошадей.

Денис Васильевич сделал небольшую паузу и, посмотрев на лежавшую перед ним карту, продолжил;

– Мы перейдем границу вот здесь, близ Мирака, а выйдем обратно к Гумрам, куда тем временем интенданты вполне успеют доставить необходимое продовольствие… Что вы скажете?

Доводы были основательны. Муравьев не мог не признать этого. Предстоящий смелый рейд начинал невольно увлекать его самого. Ответил он кратко:

– Согласен, ваше превосходительство. Отряд будет готов к походу через три дня.

Денис Васильевич радостно посмотрел на него и дружески

протянул руку:

– Великолепно! Я так и думал, что мы договоримся!

* * *

Верхом на коне Денис Васильевич чувствовал себя помолодевшим. Несмотря на затянувшуюся холодную погоду, ревматические боли не беспокоили, и о них в другое время он не вспомнил бы, но теперь никак нельзя была забывать. Ермолов уже известил Дибича, якобы брат Денис серьезно болен и «служит из последних сил». Надо держать себя так, чтоб никто из сослуживцев не усомнился в генеральском ревматизме, чтоб каждый мог, в случае необходимости, подтвердить достоверность ермоловского донесения. Задача, что и говорить, не из легких! Особенно когда командуешь таким превосходным отрядом, и всюду видишь пламенеющие боевым задором лица, и уже различаешь вдали неприятельские пикеты, и улавливаешь тонкий свист пуль, посланных из горных ущелий неуловимыми джигитами.

Отряд, перевалив через хребет Безобдала, спускался в долину близ Мирака. Достигнув места, откуда открывался вид на миракские укрепления, захваченные неприятелем, Денис Васильевич разглядел на высотках впереди укреплений и с правой стороны от них большое скопище конницы. Отряд приостановился. Полковник Севарсамидзе, начальник грузинских ополченцев, гарцевавший на горячем кабардинце в передней цепи, подскакал к Денису Васильевичу.

– Конница проклятого Гассан-хана… Прошу позволения атаковать!

Красивое, горбоносое, загорелое лицо молодого полковника слегка подергивалось, черные глаза возбужденно сверкали. Нетерпение его было понятно. Вероломный и жестокий Гассан-хан разорил десятки грузинских селений, в том числе принадлежавшее Севарсамидзе имение, уничтожив там его родных.

Денис Васильевич, глядя ободряюще на полковника, не замедлил распорядиться:

– Хорошо. Сбейте их правый фланг, но опасайтесь засад и не преследуйте далеко… А вы, Николай Николаевич, – обратился он к стоявшему рядом Муравьеву, – возьмите казаков и пару пушек и отрежьте персианам дорогу в наш тыл. Я же с остальными орудиями и пехотою двинусь прямо на Мирак. С богом, господа!

Муравьев еще раз мог убедиться, что в отсутствии отваги,

решительности и военных познаний Дениса Васильевича упрекнуть трудно. Миракская операция удалась блестяще. Грузинские ополченцы обрушились на правый фланг с яростью необыкновенной. Неприятельская конница была приведена в полное расстройство. Гассан-хан попытался, как и ожидалось, передвинуть часть своих войск и зайти в тыл, но там стояли скрытые в кустарнике пушки Муравьева, залпы картечью заставили персиан повернуть обратно.

В это же время загрохотали орудия и на центральном направлении. Пехота, приведенная Денисом Васильевичем, грозно ринулась на штурм укреплений, и спустя какой-нибудь час на них уже развевался русский флаг.

А на другой день отряд Дениса Давыдова был в персидских владениях. Заняли большое селение Кюлиюдже и несколько деревень, подошли к урочищу Судег-ям. Сопротивления никто не оказывал. Жители пограничных городов и сел бежали в глубь страны. Гассан-хан с остатками разбитой конницы спешил укрыться за толстыми каменными стенами Эриванской крепости. Паническое смятение, вызванное известием о вторжении русских, заставило сардара эриванского отказаться от наступательных планов, собранные для этой цели близ озера Гохчи войска стягивались теперь сардаром для защиты своей столицы.

* * *

В начале октября, благополучно завершив смелый рейд, отряд Дениса Давыдова возвращался в Джелал-Оглу. Офицеры и солдаты находились в приподнятом настроении. Опасности были позади, ожидался длительный, заслуженный отдых, возможно и награды, а к тому же в Гумрах интенданты вволю снабдили отряд провиантом и вином.

На привалах не умолкали песни и острые шутки, кипели жаркие споры, начисто вытаптывались полянки вокруг костров неутомимыми плясунами.

Только в палатке начальника стояла печальная тишина. Денис Васильевич лежал на походной узкой кровати и, прислушиваясь к доносившемуся веселому гомону голосов, предавался воспоминаниям. Совсем как будто недавно он был молод и вот так же, как они сейчас, наслаждался прелестями походной жизни. И как памятны ему незабвенные, навек очаровавшие душу бивуачные огни под суровыми финскими небесами, и на балканской земле, и в дремучих лесах Смоленщины! Как привольно тогда жилось, как сладко дышалось! А теперь его жизнь осложнена и возрастом, и постоянными думами о семье, и беспокойным ожиданием какой-нибудь новой царской подлости. А тут еще и в самом деле начал прихварывать, схватил где-то лихорадку. Нет, видно по всему, что он стал полусолдатом и служба для него тягостна.

Неожиданно на губах Дениса Васильевича появилась улыбка. Полусолдат! Вот слово, достаточно точно определяющее его состояние! Рука непроизвольно потянулась к бумаге и перу. В голове рождались и зрели поэтические строки:

Нет, братцы, нет: полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!
Вы видели: я не боюсь
Ни пуль, ни дротика куртинца;
Лечу стремглав, не дуя в ус,
На нож и шашку кабардинца.
Все так! Но прекратился бой,
Холмы усыпались огнями,
И хохот обуял толпой,
И клики вторятся горами,

И все кипит, и все гремит;

А я, меж вами одинокий,
Немою грустию убит,
Душой и мыслию далеко.
Я не внимаю стуку чаш
И спорам вкруг солдатской каши;
Улыбки нет на хохот ваш,
Нет взгляда на проказы ваши!
Таков ли был я в век златой
На буйной Висле, на Балкане,
На Эльбе, на войне родной,
На льдах Торнео, на Секване?

Бывало, слово: друг, явись!
И уж Денис с коня слезает;
Лишь чашей стукнут – и Денис
Как тут – и чашу осушает…

Стихи оживили, подняли настроение. Денис Васильевич встал с кровати, накинул бурку и, опираясь на палку, вышел из палатки. Была изумительная лунная ночь. Лагерь давно затих. Где-то невдалеке, в горных теснинах, бились о камни быстрые воды Аракса. Откуда-то из долин доносился пряный запах южных цветов и трав. Восточная часть неба начинала светлеть. Горы вырисовывались все отчетливей, и угадывался уже среди них хмурый Алагёз, прикрытый легким кружевным туманом.

И весь этот роскошный кавказский пейзаж становился теперь как бы частицей его жизни и тоже требовал поэтического воплощения.

Аракс шумит, Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
И Алагёз, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;
И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь сребристых облаков
Луна плывет над Араратом…

Долго неподвижно стоял Денис Васильевич, созерцая восхищенными глазами эту картину, и губы его шептали слова благоговейно, как молитву. Он переставал быть солдатом, но

продолжал оставаться поэтом.

* * *

В Джелал-Оглу пришлось провести еще два томительных месяца. Ермолов приказал немедленно завершить начатое ранее строительство укреплений и каменных казарм. Гассан-хан, собрав новые силы, мог в конце концов совершить внезапное нападение, чтоб отомстить за позор своего поражения.

В декабре все работы были окончены. Передав командование отрядом Муравьеву, Денис Васильевич спешит в Тифлис. Первым встречает его там и обнимает Грибоедов. Первая новость, сообщенная Александром Сергеевичем, радует сердечно.

– Вы слышали?.. Государь возвратил из деревенской ссылки Пушкина!

– Вот это славно! Вспомнили наконец-то! Где же теперь наш чародей обитает?

– Среди московских своих друзей и поклонников. Наслаждается свободой и собирается печатать недавно законченную трагедию «Борис Годунов»… Мне пишут, что пиеса сия превосходит все, созданное им доселе!

Они говорят о достоинстве пушкинских стихов, о великом значении литературы, о равнодушии высшего света к людям с дарованием, о многом другом. И говорят вполне откровенно.

Денис Васильевич интересуется:

– Ну, а что же ты ничего не скажешь о своих отношениях с Алексеем Петровичем?

Грибоедов передергивает плечами, с напускным равнодушием произносит:

– Пока все как будто обстоит по-старому… Жаловаться мне не на что!

Грибоедов лукавит. Вчера он писал Степану Бегичеву совсем другое.

«Милый друг мой! Плохое мое житье здесь. На войну не попал: потому что и Алексей Петрович туда не попал. А теперь другого рода война. Два старшие генерала ссорятся, с подчиненных перья летят. С Алексеем Петровичем у меня род прохлаждения прежней дружбы. Денис Васильевич этого не знает; я не намерен вообще давать это замечать, и ты держи про себя…»

Денис Васильевич все же замечает. Грибоедов уклоняется от разговора на щепетильную тему, следовательно, что-то произошло. Вероятно, Ермолов не смог скрыть известной настороженности, о которой сам говорил… Впрочем, может быть,

все еще обойдется!

Вскоре, однако, он с грустью убеждается, что возобновление старых дружеских отношений Ермолова с Грибоедовым совершенно невозможно. Алексей Петрович угрюм и зол больше прежнего. Паскевич продолжает под него подкапываться. Он собрал вокруг себя ермоловских недругов, которые, выслуживаясь перед царским фаворитом, лжесвидетельствуют и стряпают бесчисленные доносы на проконсула Кавказа. Дело доходит до того, что негодяи, с молчаливого согласия Паскевича, сочиняют подложное письмо, якобы писанное Аббас-мирзою, обвиняющим Ермолова в нарушении мира и возлагающим на него ответственность за возникновение войны.

Алексей Петрович, поведав брату Денису про эти вражеские козни, заключает мрачно:

– По всему видно, что последние недели служу… Придется отставку просить, иначе, чего доброго, господин Паскевич распорядится какого-нибудь черкеса с кинжалом ко мне подослать…

Денис Васильевич невольно вздрагивает и пытается возразить:

– Мне думается, почтеннейший брат, вы слишком преувеличиваете…

Ермолов, расхаживавший привычно по кабинету, останавливается, резко перебивает:

– Ничуть! Я же для Паскевича не только соперник, коего не терпится убрать с дороги, но и лицо, во всех отношениях неугодное царю, следственно, опасаться нечего… И черкес, поражающий в спину жестокосердного проконсула, – картинка весьма соблазнительная! Хе-хе-хе!

Короткий, желчный ермоловский смешок скребет сердце. Денис Васильевич молчит. Ермолов, передохнув, продолжает с еще большим раздражением:

– А подлости у господина Паскевича на десятерых хватит, не сомневайся! Говоришь с ним – словно в грязи барахтаешься! Рожа его гнусная омерзительна! И всех тех я презираю, кои у него бывать не брезгают. Вот, знаю, спросишь ты о Грибоедове… Нет, грешить не буду, никакого предательства за ним не замечал, и хочется иной раз даже приласкать его по-прежнему, да как вспомнишь, что Паскевич ему родня… Ну, право, всякое доброе слово к гортани прилипает! Кончено, кончено, навеки ушло былое…

Ермолов, тяжело дыша, опускается в кресло, вытирает платком шею, затем неожиданно круто ломает разговор:

– О миракском деле и о смелой твоей экспедиции я не

преминул донести государю… Был бы на твоем месте придворный шаркун или Паскевичев любимчик, вышел бы ему, конечно, и чин и крест, ну, а тебе, брат Денис, придется довольствоваться одним объявленным высочайшим благоволением…

– Ничего иного, скажу по совести, я и не ожидал, – вздыхает Денис Васильевич. – Да и бог с ними, с чинами и крестами! Мне лишь бы под начальство Паскевича не попасть!

– Да, я сам об этом не забываю, – отзывается Ермолов. – И ныне решаюсь на свою ответственность отпустить тебя к семейству. Что скажешь?

– Покорно благодарю, почтеннейший брат! Мне лучшего награждения не нужно! Смотрите, однако ж, как бы высшего начальства нам не рассердить. Война-то еще продолжается.

– Напишем, что отпуск дан для излечения твоих недугов, о коих я и главный штаб поставил в известность и господину Паскевичу сказывал!.. На войне ты побывал, усердие показал, а в болезнях не мы, а бог волен! Доводы, брат Денис, крепкие! Езжай домой, целуй за меня своих… А там будет видно, как дальше поступать…

Ермолов глядит на него чуть прищуренными проницательными глазами и смеется:

– Смотри только, чтоб господь в милосердии своем не облегчил тебя в болезнях прежде времени!..

VI

Новый, 1827 год встречал Денис Васильевич в семейном кругу. И намеревался всю зиму провести дома на правах больного, чтоб не возбуждать ненужных толков, но, конечно, не вытерпел, спустя несколько дней помчался с визитом к московским приятелям. В голове их колонны, как он выражался, первым стоял Вяземский, с которым не виделся почти год.

Вяземские перебрались недавно в собственный двухэтажный дом, находившийся в Чернышевском переулке. Денис Васильевич приехал сюда днем. Вяземского не было, он с утра отправился куда-то по делам, обещав возвратиться к обеду. Принимала наверху Вера Федоровна. Она появилась оживленная, сияющая и после обычных приветствий с таинственным видом сказала по-французски:

– Пойдемте со мною. Я покажу вам нечто весьма любопытное.

– Безбожно так интриговать, княгиня, – пошутил Денис Васильевич.

– О, я уверена, то, что вам откроется, стоит нескольких минут

загадочной неизвестности…

По маленькой домашней лестнице они спустились вниз. Там размещались спальные и детские комнаты. Около одной из них Вера Федоровна остановилась, приложила маленькую ручку к губам, делая знак соблюдать тишину, и осторожно приоткрыла дверь.

Посреди комнаты, освещенной неяркими лучами зимнего солнца, прямо на ковре, рядом с толстеньким семилетним Павлушей Вяземским сидел, приподняв фалды парадного фрака и поджав под себя ноги, Александр Сергеевич Пушкин. Мальчик и поэт с увлечением во что-то играли и беспрерывно спорили. В руках у них были карточки, обычно оставляемые посетителями во время праздничных визитов.

Павлуша, сделав ход, горячо доказывал:

– А мой Жихарев вашего Снегирева бьет… Жихарев прокурор, а ваш Снегирев археолог… На карточке так и написано!

– Позволь, дружок мой, – возражал Пушкин. – Снегирев профессор, а к тому же цензор.. Жихарев не может запретить мне стихи печатать, а Снегирев может!

– А Жихарев может в тюрьму посадить и Снегирева и вас…

– Гм… Пожалуй, ты прав! Это он может! – смеется Пушкин и, в свою очередь, выбрасывает карточку. – Ну, а чем, посмотрим, ты моего графа Виельгорского крыть будешь?

Павлуша опять что-то говорит. Пушкин раскатисто и заразительно хохочет. Разгадав, чем забавляется Пушкин, Денис Васильевич тоже едва сдерживается от смеха.

Вера Федоровна шепчет:

– Какая у Александра удивительная непосредственность…

Денис Васильевич переступил порог. Пушкина ошеломило его появление, он даже выпустил невольно из рук карточки, потом с мальчишеской живостью вскочил с ковра, кинулся в раскрытые объятия.

– Вот неожиданность! А мы с Петром Андреевичем только вчера тебя вспоминали… Когда же с Кавказа? Войну-то с персианами не закончили? Что Ермолов? Что Грибоедов? А где Раевский-младший?

Пушкин тормошил, забрасывал вопросами. Денис Васильевич держал его руки в своих и улыбался. Пушкин! Все такой же горячий, нетерпеливый, милый, влюбленный в жизнь и жадный до всего земного Пушкин! Словно не было позади долгих скитаний и ссылки, острых столкновений с правительством, горьких раздумий и мучительных переживаний.

– Подожди-ка, Александр… Дай сначала разглядеть тебя… Шесть лет не виделись; шутка ли?

– Да, шесть лет, – повторил со вздохом Пушкин. – Годы бегут, а с ними улетают и страсти и воображение! Шесть лет… Помнишь, как веселились мы у Базиля в Каменке?

Вера Федоровна, бросив беспокойный взгляд на прислушивавшегося к разговору сына, предложила.,

– Пройдите в гостиную, господа… А меня извините… Павлуше пора заниматься уроками!

Мальчик недовольно на нее покосился, затем неожиданно вставил:

– А я Пушкина все-таки обыграл, мама! Моего Урусова ему крыть нечем было!

– Не хвались, друг мой Павел, – сказал Пушкин, ласково поглаживая кудрявую головенку маленького своего партнера, – в следующий раз и на твоего Урусова козырь найдется!

– А какие же это преимущества обнаружены им у промотавшегося князька Урусова? – поинтересовался Денис Васильевич, поднимаясь наверх вместе с Пушкиным.

– Три дочери и все красавицы, – весело пояснил Пушкин. – Довод, согласись, неотразимый!

– Допустим… Но тебе не кажется, что подобные занятия с мальчишкой… как это теперь говорят… не педагогичны?

– У меня свой взгляд на эти вещи, мой милый. Позволительно все, что возбуждает здоровый смех. Суть нашей игры не в разжигании страстей, а в остроумных определениях и доказательствах.

Гостиная Вяземских была очень уютна. Паркетный пол устлан пушистым ковром. Стены украшены дорогими картинами и гравюрами. Мебель из красного дерева, отделанная бронзой и обитая малиновым штофом, мягка, покойна. Все располагало здесь к душевным беседам, интимным признаниям.

Они говорили о многом. Денис Васильевич поведал и о положении на Кавказе, и о своих семейных и служебных делах, и о своих опасениях. Пушкин о том, как был привезен он фельдъегерем из деревни в Москву и в дорожном, покрытом грязью платье, усталый, небритый доставлен прямо в Кремлевский дворец.

– Меня ввели в кабинет. Государь поднялся навстречу, сказал: «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты тем, что возвращен?» Я отвечал как следовало. Потом он спросил: «Пушкин, принял бы ты участие в бунте четырнадцатого декабря, если б был в Петербурге?» Я не стал изворачиваться, ответил чистосердечно: «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем». Царям, видимо, льстит иной раз такая откровенность, он произнес милостиво: «Довольно ты

шалил, надеюсь, теперь будешь благоразумен, и мы более ссориться не станем. Присылай ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором».

Выслушав этот рассказ, Денис Васильевич заметил:

– Ну, если так… чего же лучше? Случай небывалый! Тебе повезло на этот раз, Александр Сергеевич! Поздравляю!

Пушкин грустно покачал головой.

– Милый, ты ошибаешься так же, как я сам ошибся! Царь освободил меня от цензуры, однако ж, когда высшее начальство узнало, что я читал знакомым «Бориса Годунова», мне, весьма, правда, учтиво, вымыли голову. А шеф жандармов Бенкендорф изволил напомнить, что я обязан даже каждую написанную мною безделицу прежде всего представлять ему… Я боюсь, что меня задушит царская опека!

– Ты же, надеюсь, не собираешься впредь противоборствовать правительству?

– Это будет зависеть от правительства, а не от меня… Гонимый шесть лет сряду, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю и подсвистывал ему до самого гроба. Теперь началось новое царствование. Я возвращен из ссылки и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости, но… меня уже начинает многое раздражать… Голубые жандармские мундиры слишком часто мелькают перед глазами, я не могу избавиться от ощущения какого-то ужасного гнета.

– Я понимаю, – отозвался со вздохом Денис Васильевич, – это неизгладимые следы событий четырнадцатого декабря и жестокой расправы над мятежниками.

– Да, да, тебе тоже, наверное, не дают покоя мысли о близких, запрятанных заживо в каторжные норы, – проговорил Пушкин сразу изменившимся, глуховатым голосом. – А сколько осталось осиротевших семей, сколько безнадежно разбитых отчаянием сердец? Вспомним Раевских…

Пушкин склонил голову и замолк. Продолжать было тяжело, да и не нужно. Денису Васильевичу лучше, чем ему, известны бедствия, обрушившиеся на дорогую обоим семью. Сыновья генерала, освобожденные из-под ареста, были под надзором. В деревенской ссылке безвыездно жили Орловы. В каторге зять Волконский и Поджио с Лихаревым, мужья племянниц. А совсем недавно уехала к мужу в Сибирь любимица отца Мария.

– Я находился среди лиц, собравшихся проводить в далекий путь Марию Николаевну, – тихо и медленно произносит наконец Пушкин. – Перед отъездом ее вынудили подписать чудовищно

жестокие условия, придуманные императором. Ее заставили отказаться от своего ребенка, лишили права возвратиться в Россию, она потеряла звание и состояние… И все же она уехала!

Пушкин опять затих, задумался. Большие ясные глаза затеплились нежностью. Образ Марии давно занимал воображение поэта. Он познакомился с нею летом 1820 года, когда ездил с Раевскими на Кавказ и в Крым. В то время Мария была еще подростком, но уже тогда он угадал в ней такие душевные качества, каких более ни в ком не находил. Потом они встречались в Киеве, в Одессе. И сколько раз, бывало, там, на юге, и позднее в деревенской глуши вставала перед ним пленительная, смуглая, резвая и умная девушка!

Все думы сердца к ней летят,
О ней в изгнании тоскую…

И вот этот последний, прощальный вечер… В домашнем театральном зале княгини Зинаиды Волконской, родственницы Марии по мужу, собрались лучшие певцы и музыканты. Мария, бледная, похудевшая, сидит в гостиной, у дверей в зал, напряженно слушая рыдающие звуки скрипки.

– Еще, еще! – шепчет она. – Подумайте только, я никогда больше не услышу музыки!

В больших темных глазах сверкают слезинки. Пушкин, наклонившись, берет ее руку, подносит к губам.

– Я перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках…

Сердце его переполнено любовью и восхищением, и лишь величие ее подвига сдерживает готовые сорваться с языка признания. О, этого вечера он никогда не забудет!

Денис Давыдов знал только об отъезде Марии Волконской в Сибирь, а на прощальном вечере не присутствовал и о переживаниях Пушкина, вероятно, не догадывался Но Марию он помнил с детских лет, и твердость ее характера и самоотверженность казались ему вполне естественными. Ведь она дочь Раевского!

Денис Давыдов с юных лет был своим в семье Раевских; благотворное нравственное влияние этой семьи он ощущал всю жизнь. И все, что связывалось с Раевским, принималось им близко к сердцу. Пушкин любил Раевских не меньше, он сам некогда писал брату, что провел в семье Раевских счастливейшие минуты своей жизни. И эта, почти родственная, привязанность к Раевским не только скрепляла дружбу Пушкина с Денисом Давыдовым, но и накладывала на нее отпечаток особой теплоты и сердечности.

Раевские! Это была большая, интересная для обоих тема, которая никак не исчерпывалась самоотверженным поступком Марии.

Денис Васильевич, сидя в кресле и покуривая трубку, рассказывает:

– Я виделся с Николаем Николаевичем незадолго до отъезда на Кавказ. Сердечные горести быстро его состарили. Он почти не слышит, с трудом передвигается. Зато какая изумительная, свойственная героям древности твердость духа.

– Я таким и представлял себе Николая Николаевича в несчастье, – добавляет задумчиво Пушкин. – И как бы мне хотелось, милый Денис, чтобы ты, всегда столь красноречиво повествующий о Раевском, взялся когда-нибудь хотя бы за очерк о нем…

– Нет, душа моя, я об этом сам думал, но, во-первых, вспомнил, что это собственность Михайлы Орлова, а во-вторых, оробел, зная скудность своего дарования…

– Ну, ну, не надевай на себя маску скромности, мой милый! Михайла Федорович, вероятно, мог бы превосходно написать военные страницы жизни Раевского, а я имею в виду иное. Меня привлекают более душевные качества Николая Николаевича. Я люблю в нем человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, человека без предрассудков, с сильным характером и чувствительного…

– Словом, тебе не нравится жалкое обыкновение наших биографов представлять деятелей военных только на коне, в дыму битв и с гласом повелительным! Вполне разделяю твой взгляд и тем не менее остаюсь при своем мнении, что изобразить Раевского таким, каким и ты и я желаем, мне не под силу… Для такого предприятия нужны люди, владеющие пером искуснее меня!

Вскоре появился Вяземский. Он привез с собой Баратынского. Позднее подъехали Четвертинские и Федор Толстой. Тишина, стоявшая в доме, сменилась шумными возгласами, смехом. И сразу установилась та полная непринужденности атмосфера, которая обычно господствовала у Вяземских.

В столовой, куда все перешли, общее веселое оживление усилилось. Свечи в бронзовых канделябрах, поставленных на стол, были зажжены. Заискрился хрусталь. Запенилось в бокалах золотистое шампанское. Зазвучали тосты. Плелась, словно кружево, легкая светская болтовня, и ничем серьезным отягощать ее никому не хотелось.

Пушкин, садясь за стол, так и объявил:

– A demain les affaires serieuses[XIX]. – Затем, обведя всех

сияющими глазами, добавил по-русски: – Хочется глупостей!

Пушкин был неистощим на выдумки, шутки и каламбуры. Другие от него не отставали. Вяземский всегда имел в запасе десятки любопытных анекдотов. Денис Васильевич в словесных стычках никому не уступал. Умели пошутить и Баратынский и Федор Толстой. Приподнятое настроение было кому и чем поддержать! И все же…

Началось с того, что в конце обеда кто-то заговорил о недавно основанном журнале «Московский вестник». И сразу возник спор. Пушкин обещал редактору Погодину полную поддержку и постоянное сотрудничество. Баратынский тоже. Но Вяземский решительно противился. Он оставался верен журналу «Московский телеграф», который издавался старым его приятелем Николаем Полевым.

– Ей-богу, мне грустно от твоего упрямства, – упрекал Пушкин Вяземского. – Так никогда порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут! Нам нужно, пойми ты это, ангел мой, соединиться, завладеть хотя бы одним журналом и царствовать самовластно и единовластно!

– Так почему же нам не соединиться в журнале Полевого? – возражал Вяземский. – Чем Полевой как издатель хуже Погодина?

– А тем, что издателю полагается знать грамматику русскую и писать со смыслом, а этого, согласись, Полевой не умеет! Как же мы доверим ему издание журнала, освященного нашими именами?

– Доводы белыми нитками шиты, Александр… Полевой издатель старый, опытный и необидчивый, а последним качеством нам отнюдь пренебрегать, не следует! У меня в памяти такой случай… Лет двадцать тому назад не потрафил чем-то один московский издатель Юрию Александровичу Нелединскому, тот разгорячился и собственноручно изволил сего издателя наказать… Дело в общем заурядное! Но другой-то издатель, пожалуй, оскорблением посчитал бы прикосновение к его личности, в суд бы жаловаться побежал, а этот был необидчив. И своим клиентам встречу с автором так расписывал: «Ну, надо признаться, вспыльчив господин Нелединский! Приходит на днях ко мне и ни с того ни с сего начинает меня ругать и позорить; я молчу, жду, что дальше будет. А он, наругавшись вдоволь, кинулся на меня, стал тузить и таскать за бороду. Я опять молчу, ожидаю: что дальше будет? Наконец плюнул он мне в лицо и ушел, хлопнув дверью, не объяснив даже, в чем дело. Я все молчу и жду, не воротится ли он для объяснения. Нет, не возвратился… Так и остался я, господа, ни при чем!»

Все рассмеялись. Денис Васильевич заметил:

– Нет, шутки в сторону, душа Вяземский, а я готов согласиться с Пушкиным, что нам надо действовать сообща и завладеть каким-нибудь журналом… А того лучше тебе самому или Пушкину взяться за издание. Я готов быть вам помощником. Жуковский, Баратынский, Дельвиг, все лучшие литераторы поддержат, а с таким ополчением, я уверен, мы все журналы затопчем в грязь! Право, господа, подумайте-ка!

Баратынский, соглашаясь, кивнул головой.

– Мысль занятная! Я говорил недавно с Языковым, он тоже намекал на желательность своего журнала… и, конечно, будет с нами!

– В тюрьме он будет, а не с нами, – неожиданно с мрачным видом пробасил Толстой. – Вы разве не слышали, какими его стихами наводнена вся страна?

И, не дожидаясь ответа, прочитал:

Рылеев умер как злодей,
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

В столовой все затихло. Странная неловкость овладела всеми. Дело было не в том, что стихи отличались поразительной смелостью, их уже многие знали, а в том, что слишком резко и беспощадно напоминали они о недавних ужасах царской расправы над декабристами.

Пушкин медленно поднялся. Его нельзя было узнать. На побледневшем, странно замкнувшемся лице никаких следов недавних дурачеств. Голосом тихим, чуть сдавленным, он произнес:

– Не будем лукавить, господа. Происшедших несчастных событий предать забвению невозможно… Да и нельзя стремиться к этому, ибо повешенные повешены, а каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей ужасна! Они лишены всего, чем мы пользуемся. Можем ли мы лишать их нашей любви и дружества?

Он дотронулся до лба, словно желая что-то припомнить, и, слегка вздохнув, продолжил:

– Я навестил на днях Александру Григорьевну Муравьеву, жену Никиты, нашего арзамасца Адельстана… Она, как и княгиня Волконская, отправилась к мужу в Сибирь… И я передал с ней свое послание к ним…

Пушкин сделал короткую паузу и голосом звонким и вдохновенным начал:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы,
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Пушкинское послание весьма чувствительно затронуло Дениса Васильевича. Трогательны были прекрасные, согретые сердечным жаром стихи, благородно мужество поэта, посылавшего эти стихи на каторгу друзьям. Послание порадует несчастных, нравственно их ободрит.

Денис Васильевич всей душою был с теми, кто осуждал жестокие меры правительства против декабристов и желал облегчения их участи. А вместе с тем в происшедшем восстании он видел только бесплодную, а потому казавшуюся ненужной попытку изменить самодержавный строй. Собственно говоря, он и прежде думал, что ничего из этого не выйдет. Сам некогда писал Киселеву, что самовластье, словно чудовищный домовой, навалилось на Россию, и стряхнуть его усилиями отдельных лиц невозможно, необходимо, чтоб вся страна привстала разом. Россия не привстала. Домовой продолжал душить ее.

Но находились люди – их было, правда, немного в дворянской среде, – которые рассуждали иначе, придавали неудавшемуся восстанию большое значение, верили в правоту затеянного дела и в конечную его победу. Еще в прошлом году, по дороге в Тифлис, подобное мнение высказывал Грибоедов. А теперь оно более отчетливо утверждалось в пушкинских стихах:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье…

Денис Васильевич понимал, что эти строки вызваны не

простым желанием сказать приятное осужденным, а являются плодом глубоких размышлений умницы Пушкина. И долго потом строки эти не выходили из головы, они волновали, заставляли снова и снова возвращаться к осмысливанию того, что представлялось недавно достаточно осмысленным. Это было нелегко, а порой мучительно, ибо противоречивые мысли, как всегда, плохо склеивались, а отмахнуться от них он был не в состоянии.

VII

А между тем императору доложили, что Денис Давыдов пребывает не на Кавказе, а в Москве. Император, не скрывая раздражения, отозвался так:

– Ермолов нарочно устроил это своевольство, чтоб досадить мне… Впрочем, хорош и Давыдов с хваленой своей партизанской храбростью!

Дениса Васильевича о царском неудовольствии уведомили. Он встревожился не на шутку.

«Недавно дошла до меня весть неприятная, – писал он Закревскому, – будто бы *свыше* мною недовольны, зачем я отпущен Алексеем Петровичем и зачем я сим отпуском воспользовался. Неужто это правда? Я не могу этому поверить! Я болен и очень болен с самого моего прибытия к отряду, которым я командовал…»

Письма о болезни были посланы и другим столичным приятелям. Пусть при каждом удобном случае разъясняют, что заставило его воспользоваться отпуском!

Но спустя несколько дней надежда на спасительную «болезнь» рухнула.,

Виноват был он сам. Не показывайся никуда из дому, если болен! А он не проявил необходимой осторожности. Стояла оттепель, он выезжал на дрожках к близким, это не укрылось от любопытных глаз. По московским клубам и салонам пошла гулять эпиграмма:

Когда кипит с врагами бой,
И росс вновь лавры пожинает,
Усатый, грозный наш герой
В Москве на дрожках разъезжает.

Ядовитые эти стишки сочинил грузинский князек Шаликов, издатель «Дамского журнала». Обстоятельство само по себе более

чем странное. Шаликов был старым знакомым. Держался он всегда почтительно, даже с некоторой робостью, и не раз свидетельствовал о своем уважении в слащавых до приторности мадригалах. Года четыре назад Шаликов написал к портрету Дениса Давыдова такие строки:

В нем храбрость, ум, талант и чувство благородства
Блистают равными чертами превосходства!

И вдруг теперь такой неожиданный, резкий выпад! С чего бы это?

Появление эпиграммы, недвусмысленно обвиняющей в трусости заслуженного генерала, могло вызвать самые дурные последствия для Шаликова, он, будучи человеком малодушным, панически этого боялся. Можно было ручаться, что по собственному разумению князек никогда бы напасть не отважился. Значит, его вдохновили на сочинительство какие-то сильные покровители, за спины которых в случае необходимости он рассчитывал спрятаться. И эти покровители явственно разглядывались. Московские литераторы давно поговаривали о связях Шаликова с полицией, он сам хвалился, что во время пребывания в Москве царского двора был дважды милостиво принят всемогущим шефом жандармов Бенкендорфом. А если так… что же Денису Васильевичу оставалось? Он поспешил оправиться от «болезни» и, несмотря на весеннюю распутицу, отправился обратно на Кавказ. Ермолов еще не был смещен. Что-нибудь вместе они там придумают. Он утешал себя надеждами.

Баратынский, возмущенный провокационным поведением Шаликова, опубликовал ответ ему:

Грузинский князь, газетчик русской
Героя трусом называл;
Не эпиграммою французской
Ему наш воин отвечал.
На глас войны летит он к Куру,
Спасает родину князька,
А князь наш держит корректуру
Реляционного листка.

… Приехав в Тифлис, Денис Васильевич попал к самому концу драматического поединка между Ермоловым и Паскевичем, длившегося свыше полугода. Ермолов вынужден был сдаться.

«Недостаток доверенности вашего величества, – писал он

царю, – поставляет меня в положение весьма затруднительное… В этих обстоятельствах, не имея возможности быть полезным для службы моего отечества, я почти вынужден желать увольнения от командования Кавказским корпусом…»

Прибывший на Кавказ начальник главного штаба Дибич объявил волю государя. Отставка Ермолова утверждалась. Главнокомандующим Кавказского корпуса назначался Паскевич.

Денис Васильевич застал Ермолова за сборами к отъезду. Алексей Петрович чувствовал себя несколько спокойней, чем прошлый раз, хотя, рассказывая о последних событиях, не удерживался, разумеется, от язвительных замечаний:

– А побаивается, видно, меня Николай Павлович не меньше, чем своих друзей четырнадцатого, – говорил Ермолов, сидя на диване рядом с Денисом и покуривая трубку, что делал изредка и лишь когда интимничал с близкими. – Дибич объявляет о моем смещении и тут же, представь, меня, отставного, покорнейше просит… О чем бы ты думал? Не прощаться с войсками, ибо он опасается, что они, по преданности ко мне, могут взбунтоваться… Каково признание? А? Ей-богу, век весь гордиться буду!

– Дибич, вероятно, любопытствовал знать и о ваших планах и о ваших желаниях? – спросил Денис Васильевич.

– Еще бы! Не единожды даже осведомляться изволили, нет ли у меня просьб, кои он обещал повергнуть к стопам государя… Надеялись, что я, как другие, о всяких милостях клянчить буду! А я ответствовал, что прошу лишь сохранения прав и преимуществ чиновника четырнадцатого класса, что избавляло бы меня по крайней мере от телесного наказания… Хе-хе-хе!.. Вот и пусть к царским стопам повергнет!

Ермолов передохнул. Густые брови его сердито сдвинулись. Как бы рассуждая сам с собой, он продолжил:

– Службу, слов нет, оставлять тяжело… Тридцать пять лет на одном винту крутился, не шутка! И чувствую, что отечеству мог бы еще быть полезен… В этом главное! А Николаю Романову я служить не собирался и не хочу. Мне и тогда на него противно смотреть было, как в моей гвардейской дивизии он торчал, бригадой командовал… Да уж если на то пошло, – Ермолов привычно прищурился и взглянул на Дениса, – я тебе один секретец открою… Неизвестно еще, Романов ли наш царь-то Николай Павлович или… из приблудных?

Дениса Васильевича эта неожиданность совершенно сбила с толку.

– Помилуйте, почтеннейший брат! Возможно ли такое подозрение?

Ермолов утвердительно кивнул головой:

– Вполне. Император Павел Петрович ничуть в том не сомневался. Он даже манифест заготовил, в коем младшие сыновья Николай и Михаил объявлялись незаконнорожденными. Граф Ростопчин, бывший тому свидетелем, сам мне говорил, с каким трудом удалось задержать обнародование манифеста…[89]

– Занятная история, нечего сказать! Кому же предположительно обязан Николай появлением на свет божий?

– Поговаривали, будто генералу Федору Петровичу Уварову. Долголетняя связь Уварова с Марией Федоровной сомнений, во всяком случае, не вызывает. Да и ростом и сходством Николай на него смахивает… Впрочем, об этом толковать бесполезно! – неожиданно заключил Ермолов, поднимаясь с дивана. – Кто бы царь ни был, Уваров или Романов, а нам с тобой ожидать от него хорошего не приходится… Подличать и угодничать мы не научились, а он только эти свойства человеческие и ценит! Поедем в деревню, брат Денис, огурцы сажать и кур разводить…

– Мне ж, однако, надо прежде отсюда выбраться, – напомнил печально Денис Васильевич. – Я остаюсь без вас в очень трудном положении…

– Ну, не думаю, чтоб так, – сказал Ермолов. – Паскевич своего достиг, пыл борьбы утих, мой отъезд совершенно его успокоит, большой гадости он тебе не сделает. Слишком наглядно обнаружились бы низость и мстительность! А нынче подобной наглядности царь стал остерегаться, ибо без того его жестокость и коварство всюду отвращение вызвали. Недаром Аракчеев отстранен, а жене казненного Рылеева пожалована пенсия. Приходится и царям великодушничать!

– Соглашусь с вами, почтеннейший брат, что большой-то гадости Паскевич, может быть, теперь и не сделает, зато уж, верно, хорошей, команды мне не даст, заставит вместе с маркитантами таскаться за главной квартирой…

Ермолов сделал несколько шагов по комнате, остановился, подтвердил:

– Вот эта догадка твоя правильная. Так оно и будет. Паскевич всюду своих вассалов определяет. А тебе чего же лучше? Более благовидного повода для оставления службы и отыскать мудрено! Подумай-ка! К тому же барон Дибич здесь, старый дружок твой… Можешь Ваньке на Ваньку для отвода глаз пожаловаться, что достойной команды не дает, и с благородным негодованием требовать своего возвращения…

– Дибич для меня пальцем о палец не стукнет, ибо знает о царской ко мне неприязни. С Дибичем говорить бесполезно!

– Не скажи, не скажи, брат Денис, – снова усаживаясь на диван, произнес Ермолов. – Я сам о Дибиче невысокого мнения,

но и он полезных для нас слабостей не лишен. Тщеславен барон свыше меры! Я уже приметил, как при разговоре со мною он пыжился, желая собственным величием и великодушием блеснуть… Лестно и барону показать, что он не просто царский холуй, а и сам по себе что-то значит! Для тебя же, который его еще в мелких чинах и в захудалости знавал, он особенно постарается.

– Вашими бы устами да мед пить, – улыбнулся Денис Васильевич. – Побываю у Дибича непременно, хотя признаюсь, лицезрение криволицего сего баловня фортуны никогда удовольствия мне не доставляло…

– Не возлагай только надежд на продолжение служебного поприща, – заметил Ермолов, – и не верь никаким обещаниям, питающим твои мечтания о хороших командах… Надо смотреть правде в глаза, брат Денис! Мы с тобой не проповедовали революций, но мыслям и действиям нашим всегда было тесно в дозволенных самовластьем границах… и у царя есть основания не доверять нам… и нас не простят, как и тех, кто осмелился выступить открыто…

Ермолов замолчал и, потирая пальцами лоб, несколько секунд оставался в задумчивости. Потом медленно повернулся лицом к Денису и вдруг, наклонившись к его уху, дохнул жарким шепотом:

– Может быть, прогадал я тогда, что не решился примкнуть к ним… двинуть Кавказский корпус? Сто тысяч штыков! Не усидел бы, пожалуй, Николай на троне? А?

Ермолов уехал. Паскевич заводил в войсках свои порядки, требовал строевой выправки, поощряя телесные наказания, и командирам приказывал солдатских спин не щадить. Делая смотр Ширванскому полку, особенно любимому Ермоловым, и заметив, что не все солдаты соблюдают предписанный уставом шаг, новый главнокомандующий, побагровев от злобы, пригрозил открыто:

– Я из вас вышибу ермоловский дух!

Денис Давыдов сознавал, что ему ничего, кроме неприятностей, ожидать нельзя. Разговор с Паскевичем был краток, вежлив, холоден и выразителен.

Давыдов:

– Вашему высокопревосходительству известно, что прошлой осенью я командовал не без успеха значительным отрядом, действовавшим против Гассан-хана, а затем занемог и был отпущен в Москву для лечения. Ныне, преодолев недуги, я возвратился в Кавказский корпус, чтоб продолжать службу, определенную для меня милостивым выбором государя,

Паскевич:

– Я высоко ценю усердие к службе вашего превосходительства и при первом случае предоставлю вам с удовольствием достойное место.

Давыдов:

– Я не прошу ничего иного, как команды в действующих против неприятеля войсках.

Паскевич:

– В настоящее время, к глубокому моему сожалению, я не в состоянии ничего сделать. Никакой команды для вас пока на примете нет.

Все складывалось точно так, как и предполагалось. Команды, конечно, были. Паскевич раздавал их своим клевретам, зачастую не имевшим ни боевого опыта, ни достаточных военных знаний. Денис Васильевич имел основание негодовать и жаловаться. Он отправился к Дибичу.

Облеченный широкими полномочиями, успевший получить и полный генеральский чин и титул графа, этот разукрашенный неизвестно как добытыми орденами баловень фортуны принял любезно и в самом деле, как предугадывал проницательный Ермолов, постарался разыграть роль всесильного мужа и великодушного друга. Выслушав с видом сочувствия жалобу старого знакомца, Дибич важно изрек:

– Я скажу Ивану Федоровичу. Команду на днях вы получите. Я обещаю!

Денису Васильевичу сразу припомнилось предупреждение Ермолова, и он сам не склонялся верить обещанию, но ведь оно сделано начальником главного штаба и в таком уверенном тоне, что просить после этого о возвращении домой было просто невозможно. Он поблагодарил, откланялся. И лишь спустя несколько дней, удостоверившись, что Паскевич никакой команды давать ему не собирается, опять обратился к Дибичу.

На этот раз прием прошел иначе. Дибича словно подменили. Важность исчезла, он чувствовал себя неловко, исподлобья озирался и говорил нехотя. Было нетрудно догадаться, что Дибич прошлый раз переиграл. Паскевич пользовался большим доверием царя и, вероятно, здорово осадил начальника главного штаба за покровительственное отношение к ермоловскому родственнику.

Денис Васильевич решил не церемониться.

– Видя себя излишним в корпусе, – сказал он, – я предаю чувства мои благородной душе вашего высокопревосходительства и смею уверить вас, что в настоящем затруднительном положении моем я приму дозволение возвратиться в Россию за истинное благодеяние…

– Вы посланы сюда государем, – промолвил Дибич. – Я должен войти к нему с докладом по этому вопросу, что непременно сделаю по приезде в столицу,

– В таком случае, впредь до получения вашего ответа, разрешите мне отъехать в Пятигорск, где бы я мог пользоваться минеральными водами от жесточайшего ревматизма, которым страдаю пятнадцатый год.

Дибич, пожевав губами, согласился:

– Хорошо. Тут, я думаю, Иван Федорович возражать не будет…

Итак, Денис Васильевич мог сделать более или менее точные выводы. Опасность, висевшая над ним подобно дамоклову мечу, миновала благодаря задержке со смещением Ермолова и изменившимся за это время обстоятельствам. Однако нелестное мнение о нем высшего начальства сохранилось. Военная карьера закончена. А если так, то и пребывание в Кавказском корпусе бессмысленно. Разрешение возвратиться домой он несомненно получит!

На минеральных водах Денис Васильевич пробыл больше двух месяцев. Паскевич по высочайшему соизволению приказал выписать его из корпуса 17 июля. А в конце этого месяца он уже подъезжал к Москве и с трепетным сердцем глядел восторженными глазами на раскрывавшийся перед ним белокаменный и златоглавый, всегда дорогой ему город.

Стихи, вызванные взволнованными чувствами, слагались сами:

О, юности моей гостеприимный кров!
О, колыбель надежд и грез честолюбивых!
О, кто, кто из твоих сынов
Зрел без восторгов горделивых
Красу реки твоей, волшебных берегов,
Твоих палат, твоих садов,
Твоих холмов красноречивых!

VIII

Время неумолимо отсчитывало часы, дни, месяцы. Жизнь в стране переустраивалась не на лучших, а на худших основах. Император Николай, смертельно напуганный восстанием декабристов, стремился всеми средствами предотвратить возникновение новых революционных и антиправительственных замыслов. Политика расчетливых великодушных жестов и

неясных обещаний каких-то улучшений прекратилась. Россия оказалась под строжайшим надзором жандармов.

Тюрьмы стали наполняться лицами, заподозренными в свободомыслии или непочтительности к власти. Скалозубы, поставленные во главе гражданских учреждений, подстригали под одну казенную гребенку вкусы и мысли подчиненных. Чиновники, имевшие свое мнение, заменялись другими, которые его не имели и были способны без рассуждений выполнять волю начальства. Распространение грамотности среди народа решительно пресекалось. Частные учебные заведения закрывались, а в казенных школах вводилось наказание розгами; образование сводилось к тому, чтоб приучить детей чтить бога и царя и не умничать.

Литература была взята под особый контроль. Цензорам предписывалось запрещать всякое произведение, где порицались существующие порядки или замечались «бесплодные и пагубные мудрствования». Жандармы, коим вменялось в обязанность «вникать в направление умов», считали господ сочинителей самыми вредными людьми. Благоденствовали только те из них, кто подобно редактору «Северной пчелы» Фаддею Булгарину являлся тайным агентом полиции или подобно Нестору Кукольнику сочинял восхваляющие царя и самодержавный строй книги. Рассказывали, будто Кукольник на упреки читателей, как не стыдно ему пресмыкаться, с циничной откровенностью сказал: «Прикажут – завтра же буду акушером!» Продажность и угодничество, порождаемые страхом, наблюдались, впрочем, всюду.

Денис. Васильевич, живя в Москве, чувствовал нерадостные перемены и к жандармским порядкам испытывал глубокое отвращение. Так были настроены и все его приятели. Пушкин, Баратынский, Вяземский, опальный Ермолов, которого он часто навещал, даже благонамеренный и тихий Митенька Бегичев – никто не скрывал возмущения, говоря о жандармских насилиях, цензурных притеснениях и неслыханном попрании человеческого достоинства.

В 1828 году началась война с Турцией. Денис Васильевич на этот раз в армию не стал проситься. И, как бы успокаивая себя, говорил друзьям так:

– Кто прослужил, не сходя с поля чести, от Аустерлица до Парижа и в антрактах подрался со шведами, турками и персианами, тот совершил уже круг своих обязанностей как солдат и видел то, чего настоящие и будущие рыцари не увидят. Видел Наполеона с его разрушительными перунами, видел сшибки полумиллиона солдат и три тысячи пушек на трех– и

четырехверстовых пространствах, видел минуты, решающие, *быть или не быть* России и независимости вселенной, *быть или не быть* Наполеону, видел и участвовал в этом так, что оставил по себе память. После этого взятие Эривани, Тульчи и Мачина не удивят меня, и конечно, я не сшибками с турками прибавлю что-либо к моему военному имени!

Успокоительная эта тирада нуждалась в дополнении. Давыдов не просился в армию потому, что это было совершенно бесполезно. Он помнил предупреждение Ермолова. Обращение к высшему начальству, считавшему его подозрительным человеком, могло окончиться лишь каким-нибудь новым унижением или оскорблением. Да, все возможно! Пушкин попросился в действующую армию, а шеф жандармов Бенкендорф предложил поэту сначала определиться к нему на службу. Пушкину, которого вся страна почитала великим поэтом, предложили стать полицейским шпиком! Вот до чего дошла жандармская наглость! Нет, лучше всего в такое подлое время к высшему начальству ни с чем не соваться…

Тем не менее Давыдов внимательно следил за развитием военных действий. Парадные реляции не интересовали, он знал им цену, но появлявшиеся в газетах описания сражений и подвигов русских войск читались с жадностью. И, конечно, как он ни скрывал этого, грустно было ему, человеку военному, сознавать свою определенную высшим начальством отрешенность… В одном из стихотворений той поры он признается:

Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы…

Оставалось только радоваться славным деяниям россиян, несших на своих победных знаменах освобождение славянским народам Балкан от долголетнего турецкого владычества. Особенно взволновало его мужество молодых морских офицеров Ефима Зайцевского, отличившегося при штурме Варны, и Александра Казарского, прославившегося геройской защитой военного брига «Меркурий». Зайцевский был к тому же поэтом. Это обстоятельство невольно сближало с ним. Денис Васильевич откликнулся стихотворным посланием:

Счастливый Зайцевский, поэт и герой!
Позволь хлебопашцу-гусару
Пожать тебе руку солдатской рукой

И в честь тебя высушить чару…

… Казарский, живой Леонид,
Ждет друга на новый пир славы…
О, будьте вы оба Отечества щит,
Перун вековечной державы!

В послании не было ничего крамольного. Оно дышало любовью к России, гордостью за храбрых ее сыновей. И все же напечатать послания цензура не дозволила. Показалось подозрительным, что бывший в генеральском чине автор восторженно приветствовал офицеров, имевших скромные звания капитан-леитенантов, да еще величал их щитом отечества[90]!

Денис Васильевич тяжело вздыхал. Черт знает, какое нелепое самоуправство! Значит, нечего и думать о том, чтоб печатать в московских журналах военные и партизанские записки, где столько всяких критических замечаний. Ни Погодин, ни Полевой на такое предприятие не отважатся.

А ведь он продолжал упорно работать над военными сочинениями, и эта работа становилась главным смыслом жизни.

Вяземскому, проводившему лето в селе Мещерском, недалеко от Пензы, он пишет:

«Я теперь пустился в записки свои военные, пишу, пишу и пишу. Не дозволяют драться, я принялся описывать, как дрались».

В том же письме он сообщает о своем намерении вскоре и надолго основаться в Симбирской губернии.

Мысль об этом не покидала его с первой поездки на Кавказ. Укрыться в деревне, подальше от жандармских ушей и глаз!

Ермолов, приехавший в Москву на несколько дней, говорил:

– Нам с тобой, Денис, нельзя жить в столицах, где каждое наше слово на замете… Да что там слово! Я недавно посетил Дворянское собрание и задержался на минутку у дверей в зал, а в Петербург донос отправили, будто Ермолов, остановившись насупротив портрета государя, грозно посмотрел на него!

Софья Николаевна тоже поддерживала мысль о переезде в Верхнюю Мазу. Там во всех отношениях жизнь легче, чем в городе. И детям раздолье. И можно даже скопить какие-то средства, если самим хозяйствовать. А заниматься сочинительством где же лучше?

* * *

Давно задуманный переезд в Верхнюю Мазу Давыдовым удалось осуществить весной 1829 года.

Собираясь туда, мечтая в тишине и покое продолжать работу над военными записками, Денис Васильевич опасался только помех со стороны любопытствующих и назойливых соседей, от которых хотел оградить себя «парапетом из книг и бумаг», как шутя писал Вяземскому.

Но соседи были на редкость людьми скромными. Старуха Мария Ивановна Амбразанцева, навещавшая чаще других, обращалась со всеми просьбами к Софье Николаевне, старалась «самого» не беспокоить и говорила в доме шепотом. Бывший гусарский майор Карл Антонович Копиш, обрусевший немец, владелец десяти душ в соседней деревеньке Дворянские Терешки, знал наизусть все стихи Дениса Давыдова, благоговел и робел перед ним и являлся не иначе, как по приглашению или в большие праздники с поздравлением. Алексей Васильевич Бестужев из своей Репьевки выезжал редко, занимаясь созданием образцового хозяйства и выведением новой породы молочного скота[91].

Нет, на соседей жаловаться не приходилось, и, если Денис Васильевич все-таки брался здесь за перо редко, причины тому нужно искать в другом. Он более тесно, чем прежде, соприкоснулся с жизнью приволжского крестьянства, и то самое бесправие народа, о котором столько говорилось в московских распашных беседах с друзьями, открылось перед ним в поражающей воображение ужасной неприглядности.

Возвращаясь домой из Пензы, куда ездил на летнюю ярмарку, Денис Васильевич сделал остановку в какой-то деревушке. День был жаркий, и, пока лошади кормились на постоялом дворе, он спустился к протекавшей вблизи быстроводной речонке, искупался, подремал в тени ракит, а на обратном пути увидел, как большая толпа мужиков и баб что-то возбужденно обсуждает на деревенской лужайке. «Наверное, сено делят или лесные делянки распределяют», – подумалось ему. Но хозяин постоялого двора Корней Иваныч, степенный, с умными, чуть прищуренными глазами крестьянин, поглаживая темную, с сильной проседью бороду, пояснил:

– Старики наши выборные с дурными вестями из города явились… Порешили там сечь нас плетьми!

– Вот оно что! Значит, вы чем-нибудь провинились?

– Да ведь оно как сказать, барин, случаи бывают, и безвинных стегают, – проговорил со вздохом Корней Иваныч. И поведал одну из тех историй, которые в то время считались довольно заурядными.

Пять лет назад проводились в здешних местах маневры, и потоптала кавалерия крестьянские посевы. Военное начальство потраву подтвердило, крестьянам в возмещение убытка было приказано уплатить около двух тысяч рублей. Однако чиновники губернской казенной палаты отобрали у выборных бумагу якобы для проверки дела, затем несколько лет всячески мытарили их и, наконец, объявили, что деньги им разрешили уплатить по ошибке и чтоб они забыли о них думать. Возмущенные крестьяне подали на чиновников жалобу пензенскому губернатору. А тот, не вникнув в суть, довольствуясь объяснениями тех же чиновников, признал жалобу клеветнической и распорядился всех, кто под ней подписался, наказать розгами.

Денис Васильевич велел позвать в избу выборных. Пришли четыре старика в длинных, покрытых пылью рубахах и в лаптях. Перекрестились на образа, отвесили низкие поклоны и все, о чем говорил Корней Иваныч, подтвердили. Губернатор Горголи не позволил им сказать слова. Сразу начал кричать, и устрашать, и топать ногами. Что поделаешь, начальство! Видно, забыли люди про бога и про совесть, и нет на земле правды!

Денис Васильевич сидел нахмуренный, курил трубку и молчал. Сомнений не было. Рука руку моет. Чиновники присвоили мужицкие деньги, а губернатор покрывает виновных и карает невинных. Так водилось всюду!

Денис Васильевич и негодовал, и страдал, и не знал, на что решиться. Старики глядели на него правдивыми, добрыми глазами, и взгляд этих глаз, в которых теплилась последняя, робкая надежда, выворачивал душу. Надо, надо помочь мужикам! Он отдавал себе отчет в том, что заступничество за них может показаться высшему начальству подозрительным, и все же встревоженная совесть властно толкала на такой поступок. Справедливость и человечность не были для него отвлеченными понятиями. Вопрос заключался лишь в том, чем же можно помочь несчастным.

Пензенский губернатор Горголи был известен как человек крайне упрямый, взбалмошный и самолюбивый. Вступись за мужиков, и он, чтоб оправдать себя, взвалит на них нарочно еще какую-нибудь вину и расправится с ними покруче, чтоб впредь не жаловались. Нет, к Горголи обращаться не следует. И вдруг мысль явилась! Написать Закревскому! Старый приятель продолжал головокружительное восхождение по служебной лестнице, сумел расположить императора и несколько месяцев назад стал министром внутренних дел. Произвести расследование и образумить губернатора, пожалуй, как раз в его власти.

Открыть свой замысел старикам Денис Васильевич

остерегался, могли возникнуть всякие кривотолки, а Закревскому написать не забыл:

«Не мое дело впутываться в дела, до меня не касающиеся, но о деле, где гибнет невинность, не могу умолчать. Вот оно: во время маневров при *покойном* потоптали засеянные поля у казенных мужиков, не помню какого-то села близ Пензы. Государь приказал за это заплатить, деньги выданы и, как водится, не дошли до крестьян: они просили Горголи – их осудили в непослушании и хотят сечь плетьми за несправедливый донос. Спаси несчастных, если это правда!»

Письмо немного облегчило душу, но от мучительных раздумий не избавило. Если Закревский в данном случае и поможет восстановить справедливость, то в тысяче других случаев будут торжествовать произвол и насилие. Денис Васильевич эту сущность жизни понимал отлично. Он писал Закревскому, что деньги *не случайно,* а *как водится,* не дошли до крестьян. И все-таки, находясь в плену сословных традиций, он по-прежнему был далек от того, чтоб видеть главный источник зла в существующем строе. Он, как и многие его друзья, возлагал надежды на постепенное нравственное совершенствование человеческих отношений, хотя и тут достаточной ясности не было. Ведь жизнь не улучшалась, а ухудшалась. Страдания людей не уменьшались, а увеличивались. Жестокость в обращении с людьми царствовала всюду. Искоренить ее трудно даже в собственном доме. Да, это было именно так.

Однажды под вечер выйдя в сад, он услышал, как за кустами желтой акации, густо разросшейся около ограды, кто-то глухо всхлипывал. Он подошел поближе, окликнул. Всхлипывания сразу затихли. Он раздвинул кусты и увидел смотревшие на него испуганные и заплаканные девичьи глаза.

Это была Анюта, четырнадцатилетняя девчонка, обычно проворная и веселая, взятая недавно в горничные. Окаменев от неожиданности, она сидела на траве, поджав под себя босые ноги. Русые волосы были растрепаны, а на детском еще, нежном и милом личике ярко и неестественно багровели припухшие щеки.

Денис Васильевич спросил:

– Ты почему здесь? Кто тебя обидел?

Анюта вскочила, быстрым движением оправила сарафан и, опустив голову, стояла молча. Он переспросил. Она, не поднимая глаз, снова тихо всхлипнула и прошептала:

– Барыня… нашлепала… и прогнала…

– За что же?

– Пенки… лизала… пальцем…

Признание, выявившее ничтожность проступка, отличалось

трогательной детской интонацией. Он сказал:

– Ступай в людскую, не плачь. Я попрошу барыню, чтоб она тебя простила…

Маленькая эта сценка вывела Дениса Васильевича из себя. Жене, кажется, достаточно известно, что он решительный противник телесных наказаний и рукоприкладства. Как могла она избить девчонку! Гадость, мерзость!

Он прошел прямо на веранду, где Софья Николаевна варила варенье. Рядом вертелись дети. Значит, вполне возможно, она била Анюту по щекам при них! Еле сдерживаясь, с несвойственной суровостью в голосе он отослал детей в дом.

Софья Николаевна посмотрела на мужа немного удивленными голубыми холодными глазами и, продолжая помешивать ложечкой кипевшее в тазу варенье, произнесла с обычной невозмутимостью:

– Что с тобой, мой друг? Какие-то неприятности?

Поразительное спокойствие жены показалось ему сейчас отвратительным. Задыхаясь, негодуя, он проговорил:

– Надо потерять совесть, чтоб черт знает за что истязать несчастную девчонку! Я не удивлюсь, если со временем из тебя выйдет вторая Салтычиха…

Софья Николаевна слегка повела полными плечами и, не теряя спокойствия, произнесла:

– Ты напрасно вмешиваешься не в свое дело… Если каждая дворовая девка будет совать грязные руки в варенье, то, пожалуй, тебе первому станет противно его кушать!

– Не оправдывай того, что нельзя оправдать! Бить по лицу! Девчонку, почти ребенка! Бессердечно!

– Не сверкай глазами и не подбирай страшных слов. Это ничего не доказывает, кроме твоей горячности, которая мне без того известна. Скажи просто, что тебе угодно?

– Мне угодно, чтоб у нас не было этой подлости!.. избиения людей… Пора бы тебе знать о моих желаниях!

– Хорошо. Впредь я буду тебе докладывать о провинившихся… Соблаговоли сам назначать им наказание или увещевать их назидательными беседами…

В голосе жены слышалась явственно насмешка. Денис Васильевич понял, что переубеждать ее бесполезно. И, глядя ей в лицо, заключил строго и решительно:

– Так или иначе, а заводить аракчеевские порядки я тебе не позволю. И если ты попробуешь… это добром не кончится! Подумай!

IX

Первая ссора длилась недолго. Спустя несколько дней он помирился с женой. Она обещала себя сдерживать. Анюта снова взята была в дом. Тихое течение жизни в Верхней Мазе продолжалось.

Однако образовавшаяся трещинка в его отношении к жене не заглаживалась. Он знал, что Соня, не желая продолжать ссоры, поступилась своими взглядами, а не отказалась от них, и единомыслия между ними нет, и вряд ли оно может быть достигнуто.

Чувства жены впервые были подвергнуты критическому рассмотрению. Она, несомненно, по-своему любила его как мужа и отца их детей, но ее любовь грела ровным теплом, подобно осеннему солнцу, без того накала, который порождает самозабвенную готовность следовать дорогой любимого.

Ему невольно вспомнились жены декабристов, уехавшие к мужьям в Сибирь. Особенно живо представлялась маленькая, хрупкая фигурка Александры Ивановны Давыдовой, жены Базиля. Прошедшей зимой она проездом два дня пробыла у них в Москве. Она спешила к мужу, оставив трех детей на попечение деверя Петра Львовича.

Денис Васильевич с восторженным удивлением и благоговением всматривался в миловидное, бледное, с мелкими, словно высеченными из мрамора, чертами лицо кузины. Она отдавала отчет, что, возможно, никогда оставляемых детей больше не увидит. Впереди ожидали невероятные лишения. И все-таки…

Соня у ней как-то спросила:

– Удивляюсь, милая Саша, откуда у вас, такой маленькой и слабой, столько душевной силы и твердости?

– Я люблю Базиля и не забываю ни на минуту о его страданиях, – ответила она тихо. – Там будет трудно, я знаю, но мне легче с ним там, чем здесь без него!

Денис Васильевич думал о том, что, окажись он в положении Базиля, Соня, без сомнения, осталась бы при детях и к нему не поехала. Он готов был даже признать такой поступок благоразумным, и в то же время как бы хотелось, чтоб Соня хоть немного походила на кузину!

Трещинка не заглаживалась. И, может быть, поэтому дома ему никак не сиделось. Он все чаще искал развлечения на стороне, устраивал охоты, не пропускал ни одной ярмарки в соседних городах. А иной раз завертывал к Терентию, жившему на правах вольного мастерового человека, и предавался вместе с ним воспоминаниям о былых партизанских делах.

Были еще две поездки в Саратов. Было недолгое увлечение

красавицей Софьей Кушкиной, вдохновившей написать стихи, снискавшие впоследствии общую похвалу всех его литературных друзей.

Бывали ль вы в стране чудес,
Где, жертвой грозного веленья,
В глуши земного заточенья
Живет изгнанница небес?
Я был, я видел божество;
Я пел ей песнь с восторгом новым
И осенил венком лавровым
Ее высокое чело…

Так начиналась «Душенька». Стихи появились в первом номере «Литературной газеты», как назывался новый альманах, издаваемый Дельвигом и Пушкиным.

Объясняя Вяземскому появление этих стихов, Денис Васильевич писал:

«Поверить не можешь, как поэтический хмель заглушает все стенания моего честолюбия, столь жестоко подавленные в глубь души моей; без него и в уединении покой не был бы моим уделом. Мне необходима поэзия, хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, – изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или на *сгонителей с поля битв на пашню.* От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспаляется – и я опять поэт!»

Поэтическое вдохновение, впрочем, иссякло очень быстро. Более ни одной поэтической строки Денис Васильевич здесь не написал. А деревенскую скуку осенней и зимней поры скрашивал не поэтический хмель, а вполне прозаическая и обширная переписка с друзьями. Он не хотел отставать от жизни, он жадно всем интересовался. Почта сдавалась и принималась ежедневно. Братья Лев и Евдоким сообщали о столичных новостях. Бегичевы и Вяземский – о московских. Баратынский и Дельвиг уведомляли о событиях литературных. Ермолов делился своеобразными и язвительными замечаниями о современных военных деятелях. Приходили письма и с заграничными штемпелями. Французский академик Арно посылал свои стихи, посвященные поэту-партизану. Знаменитый английский романист Вальтер Скотт, выпустивший недавно книгу «Жизнь Наполеона», просил почтить замечаниями на нее. А сколько было еще всяких корреспондентов!

Не было только переписки с Пушкиным, он весь год находился в разъездах. «Черт знает, где этот Пушкин? – писал Денис Васильевич Вяземскому. – Уведомь ради бога, куда адресовать письма к нему?» Но известие о Пушкине пришло от Ермолова. Оказывается, Александр Сергеевич отправился в Грузию и по пути заехал в Орел познакомиться с Алексеем Петровичем. Ермолов писал:

«Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения. Ему также, я полагаю, необыкновенным показался простой прием, к каковым жизнь в столице его, верно, не приучила».

Власть высокого таланта! Денис Васильевич после нескольких московских встреч с Пушкиным был совершенно заворожен им. Новые творения поэта, особенно «Борис Годунов» и «Полтава», произвели неизгладимое впечатление, да и все, что не только писал, но и говорил Пушкин, отличалось особой, свойственной ему душевностью, благородством и поразительной ясностью мыслей. Ничто сказанное им не улетучивалось с течением времени из памяти, а, напротив, приобретало большее значение и весомость.

Денис Васильевич давно любил Пушкина, но прежде, когда представлялся он лишь талантливым и озорным юношей, чувство к нему было как бы отеческим и отчасти покровительственным, а теперь чувство стало неизмеримо глубже, оно словно впитало в себя и возросшее уважение, и почтительность, и братскую привязанность. А ко всему этому примешивались и лестные для самолюбия Дениса Васильевича мысли о том, что его собственные стихи способствовали в какой-то, пусть самой малой, степени развитию необычайного пушкинского поэтического гения.

Признание это сделал сам Пушкин. Они обедали однажды у общего приятеля Сергея Дмитриевича Киселева, отставного полковника, брата Павла Дмитриевича. Хозяин вспомнил, с каким восхищением гусарские стихи Дениса Давыдова читались офицерами их полка. Пушкин подхватил:

– Не удивительно! Стихи прекрасные! Они написаны неподражаемым живописным слогом и полны истинного поэтического жара. Я помню, как, читая их в лицее, впервые почувствовал возможность быть оригинальным.

Денис Васильевич непривычно покраснел.

– Ты знаешь, Александр Сергеевич, я не цеховой стихотворец и не весьма ценю мои успехи на поприще поэтическом… Я могу принять твои слова разве что за дружеский комплимент…

Пушкин быстро откликнулся:

– Напрасно, мой милый. Я говорю серьезно. От твоих стихов я стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам твоим, что потом вошло мне в привычку[92].

Слова эти Денисом Васильевичем не забывались и радовали его, и близость с Пушкиным ощущалась еще более…

Пушкин вспоминался постоянно. Особенно хотелось видеть его и говорить с ним, когда пришла глухой осенью прискорбная весть о кончине Николая Николаевича Раевского, а через несколько дней была получена его некрология, напечатанная в журнале «Русский инвалид».

Некрология появилась без подписи, однако, судя по некоторым подробностям и по слогу, Денис Васильевич догадался, что она принадлежит Михайле Орлову, находившемуся по-прежнему в деревне под надзором и потому скрывшему свое авторство. Как бы там ни было, а душевные качества покойного, о которых с таким чувством говорил Пушкин, в некрологии не нашли места. Это было очень обидно, и теперь, когда особенно много и тепло думалось о Раевском, совет Пушкина взяться за очерк о Николае Николаевиче не выходил из головы. Да и Вяземский в письмах уговаривал!

Во всяком случае необходимо дополнить некрологию хотя бы замечаниями о том, что военная служба Раевского, принесшая столько пользы и славы отечеству, была блистательнейшей, но не превосходнейшей из песней благозвучной его жизни.

Денис Васильевич начал зимой делать черновые наброски. Пушкинская выразительная и памятная характеристика Раевского давала как бы главное направление работе и порой отчетливо слышалась в тексте замечаний:

«Чем ближе я вникал в образ мыслей, чувства и деяний его, тем более открывал в нем сочетание древних, едва ли в нашем веке в одном человеке сочетающихся добродетелей: сильного характера с отменною чувствительностью, ума проницательного, точного с кротостью неподдельною, естественною; снисходительности к слабостям других со строгостью к своим собственным».

Раевский оживал. Черты обаятельного его образа становились все отчетливей. Денис Васильевич мысленно прочитывал написанные наброски Пушкину и чувствовал, что он его одобрит.

X

Летом 1830 года в Поволжье стали распространяться тревожные слухи, будто с персидской границы ползет в Россию

страшная болезнь, от которой нет никому спасения. Повальный мор, холера морбус!

Слухи скоро подтвердились. Где-то вблизи Астрахани холера в два дня опустошила дочиста приволжскую рыбацкую деревеньку. Затем сразу обнаружились ее грозные признаки в Саратовской и Пензенской губерниях.

Народ заволновался. В надежде укрыться от гибели многие побежали куда глаза глядят, а это переселение еще более способствовало распространению заразной болезни. Начальство стало решительными мерами пресекать переселение и переезды. Всюду учреждались карантины, на больших дорогах и переправах появились заставы. Но холера продолжала продвигаться к центру страны, вызывая смятение и панику. Кое-где крестьяне, находясь во власти темных слухов, избивали лекарей, якобы пускавших мор, а заодно поджигали барские усадьбы и расправлялись с господами и приказчиками.

Денису Васильевичу удалось заблаговременно перевезти семью в подмосковную свою деревню Мышецкое. Сюда же приехала и сестра Сашенька Бегичева с тремя детьми. Дмитрий Никитич, осторожности ради, отправил их из Воронежа, куда недавно был назначен губернатором.

История с назначением Дмитрия Никитича представлялась москвичам чрезвычайно таинственной. Дмитрий Никитич всем был известен как добродушный, тихий и скромный обыватель, никак не пригодный к административной должности. И вдруг этого байбака куда-то вызывают, дают чин статского советника и облачают в губернаторский мундир. Почему, за какие заслуги? Вопрос этот порождал самые разнообразные и противоречивые толки, тем более что сам Дмитрий Никитич не мог удовлетворить любопытствующих сколько-нибудь связным ответом. Он пыхтел, улыбался, разводил руками и ссылался на волю начальства.

Назначение на самом деле произошло не совсем обычным порядком. В январе или феврале прошлого года в Москву прибыл только что сделанный министром Закревский. Денис Васильевич явился поздравить старого приятеля, принят был любезно и, пользуясь случаем, как бы в шутку сказал:

– Теперь-то, пожалуй, я могу надеяться, что ты за меня порадеешь и мне будет уготовано теплое местечко?

– А что ты под этим подразумеваешь?

– Ну, хотя бы приличное губернаторство?..

Закревский взглянул ему прямо в глаза и ответил с оттенком легкой грусти:

– Если б это зависело от меня, милый Денис! Но я губернаторов рекомендую, а утверждает их государь, а его

отношение к тебе, сам знаешь, не отличается, к сожалению, благосклонностью…

– Знаю, знаю, – перебивая, махнул рукой Денис Васильевич. – Я ведь думал, это в твоей собственной власти…

– Она ограничена, как видишь, волей государя и… – Закревский замялся, бросил быстрый взгляд на дверь, затем, понизив голос до шепота, докончил по-французски: – Бенкендорф следит за каждым моим шагом. Мое доброжелательное отношение к Ермолову и к тебе давно внушает ему подозрение. Не проси никогда невозможного и сам будь всегда осторожен!

Денис Васильевич поблагодарил за откровенность, хотя она и показалась отчасти сомнительной. Министр внутренних дел под жандармским надзором! Это уж чересчур! А впрочем, время такое, всякое может статься[93].

– Я понимаю, в сложившихся обстоятельствах обо мне и заикаться нельзя, – произнес он, – однако за моего Митеньку Бегичева прошу тебя постараться… Я уже писал тебе о нем, если помнишь?

– Это дело другое! Тут я могу действовать с большими шансами на успех и при первой вакансии зятя твоего попробую пристроить, – пообещал Закревский.

Дмитрию Никитичу и Сашеньке разговор этот, конечно, был известен и последовавшее назначение неожиданности для них не представляло. Отнеслись же к этому назначению супруги по-разному: Дмитрий Никитич без особого удовольствия, так как предчувствовал, что лестная должность все же лишит его привычного покоя и праздности; Сашенька с восторгом, ибо самолюбия и тщеславия у нее было куда больше, чем у мужа, и о службе для него Денис хлопотал ведь по ее настоятельным просьбам.

В Воронеже новая губернаторша командовала и мужем и подчиненными ему чиновниками. Достаточно было нескольких месяцев, чтоб воронежцы убедились, кто является подлинным правителем губернии. На прием к губернаторше посетителей всякого рода набивалось побольше, чем к губернатору.

А сейчас, когда холера, по слухам, добралась уже до Воронежу, Сашенька отсиживалась в подмосковной брата и волновалась. Нет, она ни в коем случае не оставила бы мужа одного, если б не дети. Уезжая из Воронежа, она питала тайную надежду: погостить немного у родных, оставить детей на Соню и возвратиться обратно В конце концов Сашенька не вытерпела и высказала это свое желание. Софья Николаевна пришла в ужас:

– Ты сумасшедшая! Ехать в город, где свирепствует холера!

Сашенька возражала:

– Пойми, без меня Митя хандрит и теряется. И мало ли что может там случиться!

Денис Васильевич душой был на стороне сестры. Смелость и самоотверженность всегда его привлекали. Соня слишком односторонне и эгоистически на все смотрит! Не высказывая своих мыслей вслух – сестру-то любимую ему отпускать не хотелось, – он все же постарался разведать, можно ли вообще проехать в Воронеж. И выяснил, что почти нельзя.

Холера бушевала в центральных губерниях. Дорога заграждена карантинами. Крестьяне бунтуют во многих городах, деревнях и селах. В Тамбове произошло восстание. В лесах под Воронежем завелись разбойничьи шайки. Теплая, тихая осень дышала мятежами и смутой. Куда же ехать! Сашеньке волей-неволей пришлось отказаться от своего замысла.

В Москве день ото дня тоже становилось все тревожней. Говорили, будто в городе уже выявились случаи холерных заболеваний. Москвичи жили в страхе. Обезлюдели прежние шумные улицы и покрытые опавшей желтой листвой бульвары. В присутственных местах и казенных заведениях пахло карболкой, в частных домах и квартирах – сладковатым пахучим дымком старинных лечебных трав.

Приехав как-то в город из подмосковной, Денис Васильевич столкнулся на Кузнецком мосту с Вяземским. Они обнялись, сделали порученные женами покупки, отправились обедать в английский клуб.

Вяземский с семьей укрывался от холеры в своем Остафьеве. Настроение у него было невеселое, и шутил он мрачно:

– Я недавно занятный разговор слышал. Встретились два приятеля, вроде нас, один из них говорит: «Скверная, брат, штука эта холера! Вот мы сегодня с тобой мило беседуем, смеемся, а завтра заходишь ты ко мне… – тут он запнулся и поправился, – то есть я захожу к тебе, а ты уже того… готов!» Запиночка-то какова! Без слов человека рисует!

В английском клубе было непривычно пусто и за обедом никто беседовать не мешал. Говорили обо всем, что лежало на душе, но больше всего о Пушкине, о предполагаемой его женитьбе на московской красавице Наталии Николаевне Гончаровой.

Вяземский знал все подробности сватовства. Мать Наталии, злая, сварливая баба и ханжа, не желала брака дочери с Пушкиным. Он представлялся женихом незавидным: состояния не имел, отличался вольнодумством и был на дурном счету у государя. Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разъяснить его ложное и сомнительное положение. Шеф

жандармов известил, что к предстоящей женитьбе Пушкина царь относится благосклонно и поэт находится «не под гневом, но под отеческим попечением его величества». Это письмо будущую тещу успокоило. В мае состоялась помолвка Пушкина, и он начал предсвадебные хлопоты. Отец выделил ему деревеньку Кистеневку близ села Болдино, Нижегородской губернии.

Было получено разрешение царя напечатать «Бориса Годунова». Все как будто складывалось хорошо. И вдруг в конце августа в доме Гончаровых произошел скандал. Будущая теща осыпала жениха градом колкостей и незаслуженных оскорблений. Он не стерпел и в долгу не остался. А потом со свойственной горячностью возвратил невесте ее слово и, не простясь, уехал в Болдино.

– Значит, что же… женитьба расстроилась? – выслушав эти подробности, спросил Денис Васильевич.

– Трудно сказать, – ответил Вяземский. – Во всяком случае, повод для этого налицо, он оставил дверь открытой настежь…

– Жаль, ей-богу! Жениться молодцу давно пора! Он хотя и смеялся как-то, что законная жена род шапки с ушами, голова вся в нее уходит, да ведь это для красного словца сказано, а жизнь и годы свое берут. Без шапки-то молодому хорошо!

– А меня, признаюсь, не расстройство с женитьбой беспокоит, – сказал Вяземский – Я сегодня был у губернатора Дмитрия Васильевича Голицына, он сообщил, будто окаянная эта холера морбус в Нижнем объявилась. Проезд туда и выезд оттуда со вчерашнего дня запрещены. Представляешь положение Пушкина? Один в глухой деревне, среди озлобленных мужиков!

– Скверно, скверно, слов нет! – согласился Денис Васильевич. – Оно хотя и у нас небезопасно, да все же с деревней не сравнишь… Здесь и медицинская помощь и меры защиты от холеры принимаются…

– Голицын мне говорил, между прочим, что сейчас Москва и пригороды разбиваются на санитарные участки, – продолжил Вяземский. – В каждом будет несколько карантинов, и лечебные учреждения, и необходимый персонал… Вся беда в том, что московское дворянство уклоняется от помощи во всех этих защитительных действиях. Своя рубашка ближе к телу. Мало находится охотников взять на себя сопряженный с опасностью для жизни надзор за санитарным участком.

Денис Васильевич задумался. Картина знакомая. Тогда, в двенадцатом году, многие дворяне тоже уклонялись от защиты отечества. Но разве в то время он сам ограничивался простым осуждением подобного позорного поведения? Разве он не был в числе тех, кто, показывая иное понимание долга, дрался не на

жизнь, а на смерть с чужеземцами? Так почему же теперь, когда неслыханное бедствие пало на страну, он сидит спокойно в своей подмосковной?

– Нехорошо получается, – произнес он вслух, отвечая самому себе на внезапно возникшие вопросы.

– Нехорошо, конечно, а что поделаешь! – подхватил Вяземский. – Болезнь заразная, страшная! Кому охота связываться? Строго и осуждать нельзя…

Денис Васильевич затевать спора с Вяземским не счел нужным. А простившись с ним, поехал прямо к губернатору. И там без дальних слов вызвался надзирать за двадцатым санитарным участком, на территории которого находилась и его подмосковная – Мышецкое. И сразу почувствовал большое облегчение. Пусть соотечественники знают, что он при всяком общем бедствии, как в двенадцатом году, так и в теперешнюю тяжелую годину, не из последних является на службу отечеству!

Однако дома не обошлось без перепалки с женой. Софья Николаевна, узнав о поступке мужа, ввзмутилась:

– Какое безрассудство! Взяться надзирать за вторжением холеры, самому лезть головой в омут!

– Ты преувеличиваешь, Соня, – попробовал он возразить. – Должность надзирателя не так уж подвержена опасности. Мне не придется иметь непосредственного соприкосновения с больными.

– Тебе следовало подумать, что ты живешь не один, у тебя семья, дети!

– Надзор для того и устанавливается, чтоб защищать от холеры и мою и другие семьи…

– Пустые слова! Тебе нет дела до семьи! Ты не думаешь о нас! Тебе дорого удовлетворение твоего тщеславия, ты ищешь похвал и награждений!

Она продолжала распаляться и повышать голос. Он не желал раздувать ссоры.

– Я ничего не ищу и не хочу, кроме одобрения собственной совести, – тихо сказал он и пошел к себе в кабинет.

Сестра Сашенька, слышавшая происшедшую перепалку, нагнала его у дверей, обняла, поцеловала и шепнула:

– Прими этот поцелуй, Денис, не как от сестры, а как от женщины, умеющей ценить благородство и мужество!

* * *

Двадцатый санитарный участок, пересекаемый петербургской дорогой, считался одним из трудных. Здесь было сосредоточено

значительно больше, чем в других местах, лечебных и карантинных учреждений, и от надзирателя требовались особые усилия и бдительность. Стоило ведь пропустить одного больного, и холера могла вспыхнуть в столице!

Понимая свою ответственность, Денис Васильевич трудился не покладая рук. Он каждый день объезжал участок, устанавливал всюду строгий порядок и военную дисциплину, следил за неукоснительным выполнением своих распоряжений. Все лечебные учреждения были быстро отремонтированы, побелены, санитарные отряды увеличены, запасы необходимой одежды, лекарств и дезинфекционных средств пополнены.

Московский губернатор, посетив двадцатый участок, нашел здесь все в таком превосходном состоянии, что стал этот участок рекомендовать другим надзирателям как образцовый. Но эта рекомендация имела некоторые непредвиденные дурные последствия.

Прибывший в конце октября для ознакомления с работой надзиратель выглядел довольно бодрым стариком. Лицо его сразу показалось Денису Васильевичу знакомым. Где-то он видел этого человека с тонким крючковатым носом и серыми, навыкате глазами? А вспомнить решительно не мог, пока прибывший не отрекомендовался:

– Яков Иванович де Санглен…

Денис Васильевич немного даже растерялся. Перед ним с любезной улыбкой на тонких губах стоял бывший начальник тайной военной полиции. Некогда он предал Сперанского, а в 1812 году был послан императором Александром в армию для тайного наблюдения за Кутузовым и преданными ему офицерами.

Денис Васильевич не раз мимолетно встречался с де Сангленом (хотя с тех пор прошло много лет, не мудрено, что это забылось) и теперь, глядя на старого шпиона, думал о том, как, должно быть, неприятны таким людям свидания с теми, кто знал об их темном прошлом. Но Яков Иванович, видимо, был иного мнения на этот счет. Он сам напомнил о старинном знакомстве и о том, что когда-то выполнял некие важные поручения покойного императора, поспешив, впрочем, добавить, что давно находится в отставке, занимается хозяйством и не осмелился бы беспокоить высокочтимого Дениса Васильевича, если б не губернатор, посоветовавший нанести этот визит.

Делать было нечего. Пришлось дать гостю место в своей коляске и ездить с ним по участку. Яков Иванович держался вежливо, почтительно, осматривал все с большим любопытством и одобрением.

А между тем начали сгущаться ранние осенние сумерки. В

московских пригородах зажигались огни. Денис Васильевич предложил спутнику возвратиться в Мышецкое, отдохнуть, переночевать и продолжить осмотр завтра.

Де Санглен охотно согласился.

В доме гость показал себя вполне светским человеком, начитанным, остроумным. Сидя после обеда в кабинете хозяина и благодушно покуривая предложенную трубку, он выказал себя давним поклонником Давыдовских стихов и учтиво осведомился:

– А чем новеньким, милейший Денис Васильевич, собираетесь вы порадовать своих почитателей?

– Увы, кажется, ничем, кроме военных обзоров и статеек, – ответил Денис Васильевич. – Стихи сейчас в голову не идут!

– Но ваша военная проза представляется мне, не сочтите за комплимент, не менее сладостным плодом благородного и высокого литературного дарования, – сказал де Санглен. – Читая ваши возражения на записки Наполеона, я испытывал величайшее наслаждение, ибо видел, что писаны они и патриотом, и воином, и поэтом… Право, я был бы несказанно счастлив услышать хотя бы небольшой отрывок из последнего вашего сочинения!

На письменном столе лежали «Замечания на некрологию Раевского». Ничего предосудительного в них Денис Васильевич не видел. Он отложил в сторону трубку и придвинул свечу.

– Извольте, я прочитаю не обработанные еще страницы о покойном генерале Раевском, только заранее прошу извинить за многие погрешности, исправление коих требует времени.

Читая рукопись, он увлекся, и строки, посвященные несчастным событиям в семье Раевского, прозвучали особенно сильно и взволнованно.

«Неожиданная, гроза разразилась над главою поседевшей, но еще не остылой от вдохновений воинственных и еще курившейся дымом сражений… Раевский был поражен во всем милом, во всем драгоценном для его сердца, созданного любить без меры все то, что однажды оно полюбило. Мы видели и мужей твердых в опасностях, видели самого Раевского в весьма критических обстоятельствах; он никогда, нигде и ни от чего не изменялся, но тут он превзошел наше ожидание или, лучше, самого себя! Новый Лаокоон, обвитый, теснимый змеями, он не докучал воплями небу, не унижал себя мольбами о сострадании. Ни единого ропота, ни единого злобного слова не вырвалось из уст его, ни единым вздохом, ни единым стенанием не порадовал он честолюбивую посредственность, всегда готовую наслаждаться страданиями человека, далеко превосходящего ее своими достоинствами»…

Яков Иванович слушал с величайшим вниманием и не

спускал с автора поблескивающих от удовольствия глаз. И вдруг с тонких губ его сорвался короткий приглушенный смешок. Денис Васильевич приостановил чтение и с недоумением посмотрел на гостя. Тот пояснил:

– Помилуйте, драгоценнейший Денис Васильевич, вас ли я слышу, возможен ли этакий неуместный либерализм!

– Не понимаю, где вы либерализм обнаружили, – сердито буркнул Денис Васильевич. – Генерал Раевский достаточно известен России, как один из самых храбрых и благородных ее сыновей…

– Боже мой, да разве я оспариваю достоинства генерала Раевского? – разведя руками, воскликнул Яков Иванович. – Меня удивляет ваше толкование всем памятных крамольных событий… О чем вы скорбите? О справедливом возмездии, совершившемся по воле премудрого нашего государя над вреднейшими преступниками, являвшимися ближними родственниками покойного генерала. Вот дело в чем-с! А ежели я ошибаюсь – давайте поспорим! Докажите, докажите ошибочность моего суждения, милейший!

Денис Васильевич догадался, что старый шпион нарочно вызывает его на политический разговор и постарался от него уклониться, отделавшись незначащими общими фразами. А о том, что произошло дальше, он написал начальнику московского жандармского округа Волкову, бывшему ранее московским комендантом, тому самому, с которым когда-то встречался у Закревского.

«Я пишу не к окружному начальнику и генералу жандармского корпуса, а пишу старинному моему приятелю Александру Александровичу Волкову в полной надежде, что он разрешит мое сомнение, или избавит меня от другого подобного случая, или скажет, отчего такая со мной могла случиться неприятность.

Вот дело в чем. Я живу с семейством моим в подмосковной спокойно, уединенно и надзираю за 20-м участком от вторжения заразы. Вдруг на днях приезжает ко мне господин де Санглен, человек известный России со стороны более чем невыгодной и с которым не только что я был знаком, но который по случаю трех или четырех мимоходных моих встреч с ним в течение всей моей жизни мог приметить явное мое презрение к его отвратительной особе…

В течение вечера и на другой день поутру он явно рассказывал нам о четырех тысячах рублей жалованья, получаемых им от правительства, о частых требованиях его вами для совещаний и для изложения вам его мыслей и пр., переменял

со мною ежеминутно разговоры, переходя от одного политического предмета к другому, – словом, играл роль подстрекателя и платим был мною одним безмолвным примечанием изгибов его вкрадчивости и гостеприимством.

Наконец, я узнал, что на обратном пути, завозя домой в с. Чашниково случившегося тогда у меня помощника моего в надзоре за 20-м участком поручика Специнского, он несколько раз ему повторял, что приезд его ко мне дорого стоит… что он был у меня не для удовольствия меня видеть и пользоваться моею беседою… что я стал очень скромен… и сверх того не переставал расспрашивать Специнского о всех мелочах, до образа моих мыслей касающихся…

Разрешите мое сомнение, любезнейший Александр Александрович: если де Санглен точно на мой счет был прислан, то мне остается только взглянуть на седой ус, в столько тысячах боях окуренный порохом, уронить на него слезу и молчать. Но если этот господин сам собою приезжал тревожить покой честного и семейного человека, то прошу вас, и покорнейше прошу вас, почтить меня официальным, полуофициальным или партикулярным письмом такого рода, чтобы в случае вторичного его ко мне прихода я мог дать ему вашим письмом такой отпор, от которого бы он никогда уж не смел присутствием своим заражать воздух, коим дышит заслуженной и прямой жизни человек»[94].

Волков никаких поручений де Санглену не давал и направил копию письма шефу жандармов, а спустя несколько дней Денису Васильевичу объявил:

– Бенкендорф распорядился через губернатора господину де Санглену приказать, чтобы впредь он не смел тревожить московских жителей таковыми поступками…

– Все это прекрасно, любезный Александр Александрович, но ежели вы помните, я желал выяснить не то, чем будет впредь заниматься господин де Санглен, а точно ли этот господин был послан на мой счет или сам собою приезжал?

– Мне кажется поступок де Санглена самовольным, – сказал Волков. – Вот послушайте, что пишет Александр Христофорович: «Я считаю долгом уведомить вас, что господин де Санглен столько известен нам, что он ни мною, ни вами употреблен быть не может ни для каких поручений».

Это сообщение уверенности Дениса Васильевича в том, что де Санглен был к нему кем-то подослан, не поколебало. Напротив, он взглянул прямо в глаза Волкову и произнес:

– Согласитесь, в письме опять нет ясности… «Ни мною, ни вами употреблен быть не может»… А кем же?..

Волков пожал плечами и ничего не ответил.

Вопрос оставался загадочным, однако, недолго. Через братьев, живших по-прежнему в столице, Денис Васильевич вскоре узнал, что де Санглен приезжал в Петербург и был милостиво принят императором, с которым имел длительный разговор. А после этого, в одной из частных бесед, старый шпион признался, что он убедил императора в политической неблагонадежности Дениса Давыдова.

Черта была подведена. Размышлять над тем, кто и зачем подсылал шпиона, более не требовалось. Причины царского недоброжелательства и подозрительности давно известны. Оправдываться не имеет смысла. Но спокойно относиться к тому, что случилось, Денис Васильевич, вполне понятно, был не в состоянии. Черные тучи беспрерывно ходили над головой, и гроза могла ударить.

Он не сомневался, что надзора над ним не прекратят, а он не давал обета молчания и в конце концов мог болтнуть лишнее. Сам знал за собой такой грешок! А голубые жандармские мундиры теперь на каждом шагу. Еще больше тайных соглядатаев. Ермолов, говоря об одном генерале, ядовито намекнул;

– Мундир на нем зеленый, а если хорошенько поискать, то, наверное, в подкладке обнаружишь голубую заплатку…

Вот эти голубые заплатки в военных мундирах, чиновничьих сюртуках и штатских фраках страшили более всего. Нет, довольно! Только в далекой от столиц деревенской глуши можно, пожалуй, чувствовать себя в большей или меньшей безопасности. Надо опять поскорей перебраться в Верхнюю Мазу Холера как будто начинает затихать. Карантины снимают. По зимнему первопутку нужно и отправляться!

Жизнь в деревне становилась теперь необходимостью. Иного выбора не было.

Глава седьмая

Страсть есть преобладающее чувство в песнях любви Давыдова; но как благородна эта страсть, какой поэзии и грации исполнена она в этих гармонических стихах.. Боже мой, какие грациозно-пластические образы!

В. Белинский

I

Всю ночь бушует декабрьская вьюга. Бешеные степные ветры со свистом и визгом поднимают и крутят снежные тучи и под самые крыши заносят сыпучими сугробами крестьянские избенки в Верхней Мазе, где в такую непогодь редко кто спит. Мужики пытаются пробраться сквозь сугробы во двор и в хворостяные, смазанные глиной закуты – там мычит озябшая, голодная скотина. А бабы тщетно разжигают кизяки в давно остывших печах. Тяги нет; густой едкий дым оседает в хатах, смешиваясь с чадом лучин и неистребимым запахом кислых овчин. Кричат на палатях проснувшиеся дети. Жалобно блеют одуревшие от смрада

ягнята.

А в большом господском доме, расположенном несколько в стороне от деревни, злая метель никого, кажется, не беспокоит. Там еще с вечера все окна надежно укрыты обитыми войлоком ставнями, а печки жарко натоплены. И давно уже потушены в доме последние огни, давно сладко спят в чистых и теплых постелях взрослые и дети, вся большая семья Дениса Васильевича Давыдова.

Не спится только ему самому… Вот уже вторую неделю лежит он, не поднимаясь, на широкой турецкой тахте в своем кабинете, стены которого увешаны оружием, портретами знаменитых полководцев и писателей, а пол устлан великолепным персидским ковром. У изголовья, на маленьком столике, стоят пузырьки и склянки с лекарствами. Стакан крепкого, остывшего чая. Тонкие ломтики лимона на хрустальной розетке. И открытый на середине томик стихов Языкова.

Денис Васильевич болен. Мучает астма, припадки которой за последнее время усилились. Дает себя знать застарелый ревматизм левой ноги. Пошаливает сердце.

Вызванный женой из Саратова модный врач-гомеопат, рыжебородый немец Клейнер, взяв за визит двести рублей, предписал строжайшую диету и абсолютный покой. В комнатах, недавно оживленных детской беготней и смехом, установилась тишина. Жена закрыла на ключ клавикорды и надела мягкие туфли. Дети ходят на цыпочках. Однако больной облегчения не чувствует, напротив, тишина начинает его угнетать.

Часы за стеной пробили три раза. Порывистый ветер глухо бьется о ставни. Слабый, колеблющийся свет ночника наполняет кабинет дрожащими полутенями. Тускло отсвечивают стекла шкафов, где собрана большая библиотека.

Денис Васильевич с открытыми глазами неподвижно лежит на спине и, заложив под голову короткие руки, предается грустным размышлениям…

Кончается 1833 год, а в следующем ему исполняется пятьдесят лет. Жаловаться на то, что полвека прожиты безрадостно для себя и бесполезно для отечества, никак нельзя. Не многим на долю выпал завидный жребий быть участником стольких замечательных событий! Он воевал бок о бок с Кутузовым, Багратионом, Кульневым, Раевским, он врубил свое имя в достопамятный двенадцатый год, да и в отечественной словесности какой ни на есть след оставил. Недавно вышел из печати первый сборник его стихотворений, и в автобиографическом предисловии он с полным основанием мог дать себе такую любопытную характеристику:

«Давыдов не нюхает с важностью табаку, не смыкает бровей в задумчивости, не сидит в углу в безмолвии. Голос его тонок, речь жива и огненна. Он представляется нам сочетателем противоположностей, редко сочетающихся. Принадлежа старейшему уже поколению и летами и службою, он свежестью чувств, веселостью характера, подвижностью телесного и ратоборством в последних войнах собратствует, как однолеток, и текущему поколению. Его благословил великий Суворов; благословение это ринуло его в боевые случайности на полное тридцатилетие; но, кочуя и сражаясь тридцать лет с людьми, посвятившими себя исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место в словесности между людьми, посвятившими себя исключительно словесности. Охваченный веком Наполеона, изрыгавшим всесокрушительными событиями, как Везувий лавою, он пел в пылу их, как на костре тамплиер Моле, объятый пламенем. Мир и спокойствие – и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; но повеет войною – и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Снова мир – и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех ее отраслях – в юной деве ли, в произведениях художников, в подвигах ли военном или гражданском, в словесности ли, – везде слуга ее, везде раб ее, поэт ее. Вот Давыдов!»

И все же большого удовлетворения прожитыми годами он не испытывал и знал почему. Мыслям и действиям его всегда было тесно в дозволенных самовластьем границах. Прав Ермолов, заметивший это! Императоры Александр и Николай окружали себя бездарными педантами и невеждами, преграждавшими путь способным, инициативным, просвещенным людям. Мертвящие душу косноязычные инструкции и уставы сковывали каждый шаг. Он, Денис Давыдов, в сущности, так и не получил возможности полно развернуть свое военное дарование, обширные знания и опыт оставались без употребления…

Ему вспоминались последние годы. Тогда, после печального случая с подсылкой шпиона де Санглена, он не успел переехать в Верхнюю Мазу. Непредвиденные обстоятельства, как не раз уже бывало, спутали все планы. Началось поднятое шляхтой восстание в Польше.

В том крупу, где он вращался, отношение к восставшим было сбивчивым и противоречивым. Пушкин, возвратившийся в то время в Москву, им не сочувствовал. Шляхта не думала о свободе польского народа, она пеклась об усилении своих прав и привилегий, честолюбиво мечтая расширить польские границы за счет украинских и белорусских земель. А европейские

политиканы, злобно клевеща на Россию, призывали свои правительства ополчиться на нее под предлогом помощи восставшим за свободу полякам. Пушкин отвечал клеветникам стихами:

> О чем шумите вы, народные витии?
> Зачем анафемой грозите вы России?
> Что возмутило вас? волнения Литвы?
> Оставьте: это спор славян между собою,
> Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою
> Вопрос, которого не разрешите вы.

Как хорош был Пушкин, читая эти стихи, каким благородным негодованием пламенели его прекрасные глаза! И он, Денис Давыдов, разделял отношение Пушкина к мятежной польской шляхте и европейским ее покровителям.

Решение проситься в армию возникло, впрочем, из других побуждений Будучи уверен в бесполезности своих просьб, он не подавал заявления о желании служить в прошедшую турецкую войну, но после доноса, сделанного царю де Сангленом, положение изменилось, теперь молчание могло быть истолковано в самую дурную сторону. И хотя воевать он не собирался и, как все кругом, полагал, что мятеж не продлится более двух месяцев, – в Москве бились об заклад, что Варшаву возьмут без выстрела! – а все же пришлось писать начальнику главного штаба, демонстрировать верноподданнические чувства и готовность принять участие в военных действиях.

И вдруг в ответ на письмо неожиданно приходит назначение в войска, общее начальство над которыми вверялось Дибичу. Назначение удивило и смутило, однако делать нечего, он надевает мундир, опоясывается саблей и отправляется в Польшу, думая не о предстоящих сражениях, а о том, как бы поскорей возвратиться домой.

Он не спешил попасть туда, куда попадать не хотелось. Некогда Ермолов ехал свыше месяца из Петербурга в Лайбах. А он в более короткой дороге пробыл два месяца! Заехал в Юхнов проведать старого друга Степана Храповицкого, погостил у знакомых в Смоленске и станционных смотрителей нигде спешной подачей лошадей не утруждал[95].

Два месяца! Срок достаточный, чтоб разбить во много раз слабейшего противника. И, вероятно, так оно и получилось бы, прояви главнокомандующий необходимую быстроту и решительность. Но Дибич, произведенный недавно в фельдмаршалы, этими качествами не отличался.

Денису Васильевичу живо представился этот баловень фортуны таким, каким видел его тогда в главной квартире. Низенький, толстенький, с опухшей и воспаленной физиономией, небритый, немытый, с рыжими нечесаными волосами, падавшими почти до плеч, в запачканном сюртуке без эполет и с обычными, странными ужимками и ухватками. А под этой неблаговидной оболочкой скрывался все тот же методик и педант, способный сутками просиживать над составлением инструкций и диспозиций и не замечать истинного положения дел.

Два месяца русские войска передвигались с места на место, теряя самое благоприятное для наступательных действий время.

Под стать барону Дибичу были и остальные высшие армейские чины: начальник штаба барон Толь и корпусные командиры бароны Крейц, Розен, Гейсмар. Они тщательно следили за тем, чтоб в вверенных войсках все было застегнуто от глотки до пупа, чтоб всякая пуговица, всякая пряжечка, всякий солдат, вахмистр, офицер и генерал находились на месте, уставом им определенном, зато не обращали никакого внимания на то, что войска обтрепаны и изнурены, а путь их следования всюду отмечается трупами павших от бескормицы лошадей и застрявшими в грязи орудиями и повозками. Солдаты невесело шутили: лбами красимся, а затылки вши едят!

Служба под начальством баронов была для Дениса Васильевича тяжела и противна. Командуя небольшим отрядом, он отличился в нескольких стычках с противником, получил давно следуемый по старшинству чин генерал-лейтенанта, но вся эта военная кампания оставила в душе мрачный налет. Видя бестолковые действия начальства и плохое состояние войск, он явственно различал и причину такого положения: отжившая свой век прусская система военной подготовки продолжала господствовать в русской армии

Возвратясь домой, он начал под свежим впечатлением писать об этом, хотя и знал, что острота критических замечаний делает записки непригодными для печати, цензура не осмелится пропустить их. Ведь он открыто обличал императора Николая и правительство в том, что они, не понимая истинных требований века, не щадят ни усилий, ни огромных материальных средств на гибельное развитие притупляющей человеческие способности системы, могущей в конце концов ввергнуть Россию в страшную беду. «Горе ей, – думал он с грустью, – если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет лишь окружено толпою неспособных и упорных в своем невежестве людей».

А все-таки было там, в Польше, и нечто приятное, при

воспоминании о чем невольно теплели его глаза и на губах появлялась легкая радостная улыбка. Вечно незабвенен будет для него необычайный прием, оказанный войсками! Еще не доехав до главной квартиры, он писал жене:

«Вообрази, что офицеры, генералы, мне незнакомые, все меня знают и все сходятся или знакомиться, или хотя глядеть на меня и слушать меня! Нет деревни и местечка, где бы этого со мною не получилось! Вчера, приехав вперед с Тиманом, мы зашли в трактир отобедать и как скоро узнали в городе, что я тут, – вся зала наполнилась любопытными, как будто о великом персонаже»[96].

Сначала он недоумевал: неужели подобная известность заслужена его партизанством и гусарскими стихами? Затем стал догадываться, что дело не в этом. Близ Красностава, где находился его отряд, входивший в корпус барона Крейца, встречи были особенно триумфальными. Офицеры и солдаты на походе, на привалах и биваках толпами бежали к нему и, окружив со всех сторон, глядя веселыми глазами, говорили:

– Ваше превосходительство, слава богу, что вы приехали, есть на кого опереться!

И он отвечал им растроганно:

– Постараюсь заслужить ваше обо мне доброе мнение, братцы…

Так вот оно что! Высшее начальство, состоявшее из ревнителей прусской системы, не решалось доверить ему небольшой самостоятельной команды, а войска встречали его как командира, на которого можно опереться, значит, считали, что он выгодно чем-то отличается от других генералов. И тут уже начиналась ясность. Войска чествовали в его лице генерала любезной им суворовской школы, отвергавшей изнурительную, бессмысленную муштровку и жестокое обращение с подчиненными. В родимых войсках, окованных кандалами германизма, никогда не забывали о суворовских временах, и не потухала никогда в сердцах надежда на возвращение их!

И новый смысл обрела теперь для него работа над военными сочинениями. Он видел тех, для кого писал, видел тысячи устремленных на него, горевших любопытством глаз. Рождалось ощущение большого невыплаченного долга. Сколько тем и замыслов было еще не воплощено! Писать, писать! Он должен рассказать и о войнах, в которых участвовал, и о своих встречах с Суворовым и Кутузовым, и о том, как воспитанные в суворовском духе русские войска доказали всему свету свою непобедимость.

Военная служба была оставлена без сожаления. И в Москве, где после возвращения из Польши пробыл более года, взялся он

за военную прозу по-настоящему. Выправил и выпустил отдельной книжкой «Замечания на некрологию Н. Н. Раевского», закончил прежде начатые статьи «Мороз ли истребил французскую армию» и «Встреча с фельдмаршалом Каменским», готовился писать о Суворове.

Друзья относились к его прозаическим произведениям сочувственно. Редактор «Библиотеки для чтения» Сенковский просил позволения печатать их в своем журнале. Но более всего ободряла поддержка Пушкина.

Денис Васильевич прикрывает глаза, чтоб живей представить дорогой образ, и пробует повернуться, как вдруг короткий, удушливый кашель сотрясает все его тело. Болезненно морщась, он приподнимается, выпивает успокоительные капли и несколько минут молча сидит на тахте, охватив руками колени поджатых ног, прикрытых одеялом. Прислушивается.

Вьюга за окнами стихает. Из соседней комнаты, спальной жены, доносится спокойное, равномерное дыхание. Денис Васильевич отбрасывает одеяло, опускает ноги в туфли, накидывает халат и тихо пробирается к письменному столу. Там, в одном из ящиков, хранится побывавшая во многих походах его старая трубка. Надежный друг, с которым разлучил врач Клейнер. «Чертов колбасник», – усмехнувшись, произносит Денис Васильевич, набивая табак дрожащими пальцами. И вскоре ароматный, слегка кружащий голову дымок расплывается по комнате. И возбужденные мысли снова возвращают к прошлому.

Пушкин! Он возникает во всей неповторимой своей притягательности, маленький, быстрый, с широкими бакенбардами и вьющимися темными волосами. Будучи женихом, он не казался довольным, часто впадал в задумчивость и любил повторять некогда сказанную Баратынским фразу:

– В женихах счастлив только дурак, а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим…

Или, теряя порой надежду на женитьбу и высказывая желание отправиться в Польшу, расхаживал быстро по комнате и напевал:

Не женись ты, добрый молодец,
А на те деньги коня купи…

В то время Денис Васильевич встречался с Пушкиным почти каждый день. Вместе ездили они в Остафьево к Вяземскому, собирались в английском клубе, у Баратынского и в других местах. Пушкин одним из первых прочитал и одобрил рукопись «Замечаний на некрологию Н. Н. Раевского»:

– Какой красноречивый eloge[XX]! Чудесно, милый1 Впрочем, я

иного от тебя и не ожидал… Теперь смелей принимайся писать всю жизнь Раевского!

Поездка в армию разлучила с Пушкиным. На его свадьбе гулять не пришлось. И свиделись они вновь через несколько месяцев, когда Пушкин был уже женат. Приехав из Петербурга, он остановился у Нащокина, жившего близ Пречистенских ворот. Павел Воинович Нащокин, отставной офицер Измайловского гвардейского полка, был общим приятелем. Отличаясь своеобразным умом, живым художественным чувством, несказанной добротой и сердечностью, Нащокин жил широко и безалаберно. В квартире его ни днем ни ночью не смолкал шум. Тут толкались люди самого разного сбора: игроки и отставные гусары, студенты, стряпчие, цыгане, шпионы, заимодавцы. Играли в карты, пили, пели, плясали. Всем было вольно у гостеприимного хозяина! Пушкина такая жизнь страшно тяготила, но переселяться на другую квартиру он не хотел – Нащокин нежно любил его и мог смертельно обидеться.

Денис Васильевич навещал Пушкина обычно днем.

– Ну что, Александр Сергеевич, нет ли чего новенького?

– Есть, есть, – кивая головой, отвечал тот с неизменной приветливостью.

Потом тащил гостя в свою комнату, усаживал на диван, доставал из стола тетрадь и принимался с добродушной простотой за чтение новой повести или стихов[97].

Чаще же всего коротали они время за долгими беседами об историческом и военном прошлом России. Тема эта увлекала обоих, и во многих случаях взгляды их удивительно сближались.

Они воскрешали в памяти славный двенадцатый год. Кто тут нам помог? Мороз ли, как утверждали иностранцы, или бог и царь, как пытались доказать Булгарин, Загоскин, Кукольник и прочие верноподданные литераторы? Отвергая с негодованием подобные доказательства, Пушкин и Давыдов истинные причины гибели наполеоновской армии согласно видели в героизме русского народа, в мужестве партизан и воинов, в полководческом искусстве Кутузова.

А разве не возмутительно было для обоих принижение чужеземными историками значения Петра Первого? Пушкин как раз замышлял писать его жизнь, а Денис Васильевич только что окончил небольшую статью «О России в военном отношении», где защищал Петра от клеветнических нападок французского историка Левека.

Пушкин, с особым удовольствием прослушав эту пылкую статью, указал:

– Я совершенно с тобой согласен… Петр один есть целая

всемирная история! Ты хорошо сделал, написав этот прекрасный памфлет. Впрочем, и остальная твоя военная проза заслуживает похвалы со всех сторон. Мне лишь непонятно, почему ты не предаешь своих статей гласности?

– Боюсь, душа моя, таможенных застав цензуры, нападений критиков, а того более издевательских своевольств…

– А что? Разве тебя кто прижимает?

– Сенковский просил прислать ему что-нибудь, я отправил для пробы статейку, а он так исковеркал… Читаешь, уши краснеют!

– Ну, это уж черт знает что такое! – возмутился Пушкин. – Сенковскому учить тебя русскому языку все равно, что евнуху учить Потемкина…

Денис Васильевич, прервав воспоминания, снова приподнимается. Буря, кажется, кончилась. Он выбивает горячий пепел из трубки, прячет ее от глаз жены в стол и, поправив повыше подушки, опять ложится, – куреньем немного расслабленный и успокоенный.

Да, Пушкин мог его подбодрить! И еще, пожалуй, Вяземский! Тому как-то он писал: «Ты и Пушкин имеете дар запенить меня, как бутылку шампанского». Вяземский живет сейчас в Петербурге. Поступил на службу, стал важным чиновником, назначен недавно вице-директором департамента внешней торговли, того и гляди произведут в генералы! И большинство других приятелей и знакомых каждый год продолжают украшаться чинами и орденами. Митенька Бегичев по-прежнему губернаторствует в Воронеже, и, кажется, им довольны. Процветают Закревский и Киселев. Стали министрами бывшие арзамасцы Блудов и Дашков. Лишь Ермолов да он отвергнуты и вынуждены жить в деревне. Губит их судьба забвением!

И что там ни говори, как ни убеждай друзей, будто честолюбие черт знает куда делось и не желаешь ничего, кроме спокойной, деревенской жизни, а тяжелая, давняя обида не проходит, и стенания подавленного в глубь души честолюбия, порой беспокоят весьма чувствительно.

Деревня! Он давно сам собирался сюда, и работается здесь несравненно лучше, чем в Москве, и есть тут другие привлекательные стороны, это верно, а все-таки…

«Если б вы знали, – писал он издателю своих стихотворений Салаеву, – что такое день прихода почты или привоза газет и журналов в деревню степную и удаленную от всего мыслящего, то вы поняли бы мое положение… Истинно нестерпимо сидеть в пропасти, как заваленному в Геркуланум, слышать над собой движение и жизнь и не брать в них участия».

Он мог бы добавить к этому, что поселился в деревне не совсем-то по доброй воле, что нельзя ему было оставаться в Москве, где он «задыхался от полицейских и жандармских надзоров». Поэтому-то и не исчезало у него в деревенском уединении ощущение ссылки; в письме брату Льву он прямо сообщал, что чувствует себя «как сибирский невольник». А закадычному другу Петру Ермолову, двоюродному брату Алексея Петровича, жаловался:

«Я живу в деревне степной губернии. Поле да небо. Но разве это я делаю от удовольствия? И я бы умел с вами разделить жизнь столицы»[98].

Грустно думать об этом, грустно сознавать, что годы незаметно уходят и жить, вероятно, осталось не так уж долго, а ты оторван от привычного общества и прозябаешь в степном захолустье.

Скоро наступят святки. Соня готовит для детей елку и праздничные подарки. Приедут с поздравлениями соседи, и будешь говорить с ними о посевах сахарной свекловицы и выгодности разведения мериносов или слушать немудреные деревенские сплетни. А потом снова размеренная, тихая, однообразная деревенская жизнь и работа над военной прозой… И ничего для души, для сердца, для поэтического вдохновения! Неужто должно с этим примириться? Неужто так никогда и не вспыхнет для него во мраке золотистая звездочка?

Денис Васильевич тихо вздыхает и, чувствуя, как туманятся мысли и приятно немеют ноги, повертывается на правый бок и отдается во власть благодетельного, спокойного сна.

II

Он пробудился от невнятного шороха и увидел сердитое лицо жены. Она успела чуть-чуть приоткрыть форточку, и отхода вместе с ослепительным солнечным лучиком ворвался в комнату, клубясь и сразу оседая, морозный воздух.

– Ну можно ли, Денис, так отравлять себя проклятым табаком? – произнесла Софья Николаевна, заботливо укрывая мужа вторым одеялом. – Я вошла и задохнулась… Ты же отлично знаешь, что курение тебе запрещено…

Он протянул к ней руки и сказал примирительно:

– Знаю, душенька, виноват, не ворчи, пожалуйста. Что-то не спалось, буря, вероятно, мешала, вот и соблазнился! – И, смеясь, признался: – Явно старею, Сонечка!.. Трубку спрятал и полагал – концы в воду, а того в толк не взял, что дым в комнате!

Сердитое выражение с ее лица сошло. Она коснулась рукой

его лба, промолвила:

– Жара как будто нет… А как ты себя чувствуешь?

– Пока хорошо. Не хочется даже лежать. И денек как будто прелестный! А сколько сейчас времени?

– Двенадцать скоро…

– Ого! Поспал славно! И право, Сонечка, если б ты была более человеколюбива, – продолжал он в шутливом тоне, – ты не стала бы возражать, чтоб я потеплей оделся и хотя бы на часок поехал в санках полюбоваться степью…

– Нет, такого человеколюбия от меня ты не дождешься! Да и любоваться нечем, одни сугробы кругом. Из Репьевки от Бестужева нарочный верховой прискакал, говорит – санного пути нигде нет…

– А с чем же нарочный?

– Алексей Васильевич из Пензы вчера возвратился, там виделся с Бекетовым и письмо от него тебе привез…

– Так что же ты молчала? – приподнимаясь, нетерпеливо перебил он. – Давай, давай скорей! Это же, я полагаю, не какой-то другой Бекетов, а Митенька милый мой!

Ну, конечно, конечно! Писал Дмитрий Алексеевич Бекетов, бывший поручик Ахтырского гусарского полка, ясноглазый и румяный Митенька, который в двенадцатом году одним из первых офицеров вступил в его партизанский отряд. Митенька Бекетов! Хороший, надежный товарищ во всех партизанских кочевках, верный и преданный друг! Года четыре тому назад, будучи в Пензе на ярмарке, Денис Васильевич впервые после долгой разлуки свиделся с ним. Бекетов давно находился в отставке, жил совместно с братом, растолстел и немного обрюзг, но по-прежнему глядел на бывшего своего начальника влюбленными глазами и, будучи несказанно обрадован неожиданной встречей, тут же стал приглашать к себе в Бекетовку, верстах в сорока от города.

Денис Васильевич спешил тогда домой и обещал Митеньке приехать погостить в другой раз, да так и не собрался. И вот теперь Бекетов, напоминая о невыполненном обещании, снова настойчиво приглашал к себе.

– А что? Не съездить ли и впрямь к нему на святки? – прочитав вслух письмо, сказал Денис Васильевич, обращаясь к жене. – Мне, кстати, и в Пензе побывать надо…

Софья Николаевна, знавшая, что деревенская однообразная жизнь ему наскучила, поддержала:

– Если будешь здоров, поезжай непременно! Все-таки немного развлечешься…

Он сразу оживился:

– Нет, право, душенька, соблазн велик! Митенька, помнится, говорил, у них зайцев и лисиц видимо-невидимо и будто даже медведи водятся… Поохотимся, поговорим, вспомним партизанство наше! А двести верст по зимней дороге не заметишь, как и проскочат! Поеду!

* * *

Братья Бекетовы считались богатейшими помещиками Пензенской губернии. Они владели восемью тысячами десятин земли и леса. Родовое их село Бекетовка, или Богородское, выгодно отличалось от соседних деревень своей благоустроенностью. Улицы были хорошо распланированы, хаты снаружи побелены и покрыты черепицей или свежей соломой, дворы обнесены крепкой изгородью, два больших пруда, обсаженные ветлами, содержались в видимом порядке. А господский каменный, двухэтажный, с колоннами и лепными барельефами дом, к которому примыкал огромный старый парк, выглядел как дворец.

Братья Бекетовы жили в душевном согласии и делиться не думали, хотя Дмитрий Алексеевич оставался холостяком, а Николай Алексеевич, мичман в отставке, был женат, имел четырех детей. Семья Николая Алексеевича занимала весь нижний этаж дома. Там же находилась столовая. А кабинет Дмитрия Алексеевича, зал, приемные комнаты и довольно значительная библиотека помещались наверху. Бекетовы слыли людьми просвещенными и гуманными. Вяземский, побывавший у них проездом несколько лет тому назад, пришел в восторг от их культурного образа жизни и милого гостеприимства.

Приезд Дениса Васильевича радостно всполошил весь дом. Да иначе и быть не могло. Столько чудесных историй рассказывал домашним Дмитрий Алексеевич про своего храбреца командира, с таким восхищением всегда декламировал его стихи! Николай Алексеевич, его жена и дети, многочисленные родственники и соседи, собиравшиеся, по обыкновению, в Бекетовку на святки, встретили долгожданного гостя с большим радушием и сердечностью.

Среди встречающих были и племянницы Бекетовых, милые девушки Евгения и Полина Золотаревы, дочери покойной сестры Екатерины Алексеевны, бывшей замужем за пензенским помещиком Дмитрием Васильевичем Золотаревым[99].

Евгении шел двадцать третий год. Эта стройная, с каштановыми локонами и темными бархатными глазами девушка

окончила пензенский женский пансион, любила почитать и помечтать, отличалась большими музыкальными способностями. Полина, бывшая на год моложе сестры, хотя и походила на нее некоторыми чертами лица, однако во всем остальном представляла ее полную противоположность. Она тоже окончила пансион, но полученное образование не оставило на ней никакого следа. Толстенькая, пухленькая, краснощекая Полина не утеряла детской наивности, могла без устали хохотать и веселиться и ничем серьезным себя не утруждала.

Когда Дмитрий Алексеевич представлял племянниц, Полина, стоявшая немного впереди сестры, сделала неловкий реверанс и, покраснев до ушей, улыбнулась совсем некстати.

Взглянув на Полину, Денис Васильевич без труда определил и ее непосредственность и ее простоватость и тут же, переведя взгляд на старшую сестру, отдал ей невольное предпочтение. Эта без смущения протянула ему руку и, грея ровным теплом своих чудесных глаз, произнесла по-французски необыкновенно свежим и мягким голосом:

– Eugenie…

И тут Денис Васильевич молниеносно вспомнил, где и при каких обстоятельствах двадцать один год назад слышал он это имя. Вспомнил осенний дождливый день на марше к Вязьме, вспомнил, как ехавший рядом Митенька, беспрерывно болтая, упомянул впервые имя своей крошечной племянницы, оставленной в Пензе! Евгения! Так вот она какая стала, эта самая Евгения!

– Я с вами знаком по рассказам любезного вашего дядюшки Дмитрия Алексеевича, – с улыбкой на губах сказал он и, заметив, как при этом дядя и племянница обменялись быстрым недоумевающим взглядом, пояснил: – Это было в двенадцатом году, вы покоились тогда в колыбели и вряд ли могли выговорить свое имя даже на детском наречии…

Все рассмеялись. Дмитрий Алексеевич промолвил:

– Верно, верно! Теперь я припоминаю такой разговор… только подробности ускользают…

– Ты говорил о племяннице в тот день, душа моя, как мы столкнулись с французскими войсками, продвигавшимися на Калугу, и вынуждены были отойти на Медынскую дорогу.

Дмитрий Алексеевич, сияя всем лицом, подхватил:

– А на другое утро узнали, что Москва освобождена от неприятеля! Боже, как мы ликовали! Незабвенные дни!

Денис Васильевич, обратившись к Евгении, заметил:

– Видите, какими великими событиями освящено наше знакомство… Это верный залог моего расположения к вам!

Щеки девушки слегка порозовели, но она не опускала глаз и смотрела на него смело и с доброжелательным любопытством.

А на следующий день, зайдя в библиотеку, Денис Васильевич застал там Евгению за просмотром новых книг и журналов. Она была в скромном синем шерстяном платье с белоснежным кружевным воротничком и показалась еще привлекательней, чем вчера. На его приветствие кивнула она изящной головкой ласково и без всякого жеманства, как старому знакомому.

– Простите, Эжени, я, кажется, вам помешал? – осведомился он.

– О нет! Да я уже сейчас и заканчиваю!.. Вон сколько отобрала читать! – указала она на стопку книг, лежавших отдельно на круглом столике, за которым сидела.

– Позвольте полюбопытствовать… что же привлекает ваше благосклонное внимание? Романы Радклиф, Дюма, Вальтера Скотта?

– Я жадная, я читаю все, что попадется под руку, – улыбнулась она, – хотя верное изображение жизни в книгах предпочитаю игривым и неправдоподобным сюжетам…

– Ну, а каково ваше мнение о нашумевших романах Загоскина? – спросил он, присаживаясь на диванчик, и наблюдая за ней, и любуясь «о.

– Мне больше понравился «Юрий Милославский», а в «Рославлеве»… – Она на секунду задумалась… – Дядя рассказывает про двенадцатый год несколько иначе и более интересно, чем описывается в романе… А скажите, – неожиданно обратилась она к нему, – это правда, что написано там господином Загоскиным про вас?

– Моего имени, однако ж, он как будто нигде не употребляет…

– Да, но кто же не узнает вас в начальнике партизанского отряда? И дядя подтверждает, будто случай с пленным французским поручиком произошел на самом деле… Верно ли это?

– Верно, хотя описано не совсем точно, – сказал он. – Поручик, взятый нами в плен, был не кирасир, а гусар по фамилии Тилинг. Он пожаловался, что казаки отняли у него кольцо, портрет и письмо любимой женщины. Увы, будучи сам склонен ко всему романтическому, – при этом он вздохнул, – я не мог оставаться равнодушным к его жалобе. В то время я пылал страстью к неверной, которую полагал верной. Чувства моего узника отозвались в душе моей, ибо мы служили одному божеству и у одного алтаря. Я был счастлив, когда мне удалось отыскать у казаков вещи Тилинга и отослать их при той записке,

о которой сообщается в романе: «Примите, сударь, вещи столь для вас драгоценные. Пусть они, напоминая о милом предмете, вместе с тем докажут вам, что храбрость и злополучие так же уважаемы в России, как и в других землях».

Евгения, слушавшая с затаенным дыханием этот рассказ, воскликнула:

– Воображаю, как несчастный влюбленный был рад и как должен он был благодарить вас!

Денис Васильевич слегка усмехнулся:

– Что касается благодарности… Этот Тилинг, живший после того два года в Орле, говорил о сем приключении как о великодушии некоторых атаманов-разбойников.

– А каким же образом ваша записка стала известна Загоскину?

– В одной из моих бесед с ним я сам сообщил об этом эпизоде, ибо, будучи чуждым не только словесности, но и грамматики, я довольствуюсь ролью указчика и подсказчика знаменитым нашим писателям некоторых происшествий, участником коих являлся…

Евгения внезапно вспыхнула, перебила:

– Неправда, неправда! Зачем вы так говорите? Я знаю ваши стихи… и читала статьи… Пушкин недаром ценит вашу оригинальность и ваш неподражаемый слог!

Денис Васильевич от последних слов пришел в совершенное недоумение

– Позвольте… откуда же вы знаете, что ценит Пушкин?

– А разве его лестные отзывы являются для вас новостью? – с едва приметным лукавством ответила она вопросом на вопрос.

– Положим, я что-то такое слышал, – признался он, – но ведь я не раз бывал с Пушкиным, это никому не покажется странным, а кто же вам-то поведал о том, что Пушкин ценит? Что за тайна!

– Никакой тайны нет. Мне говорил Вяземский.

– Вяземский? Вы с ним знакомы?

– Да. Мы встречались в Пензе. Петр Андреевич был со мною очень мил и любезен.

– Вот что! Значит, милейший наш Вышний Волочек и у вас подвизался на любимом поприще!

– Я… не очень понимаю вас.

– Простите… Вышним Волочком мы дружески прозвали Вяземского за постоянные волокитства… А Пушкин называет его еще и князем Вертопрахиным.

Она засмеялась.

– Прелестно! Этот грешок за ним водится, я тоже замечала. А все-таки он человек интересный. Я до сих пор вспоминаю о нем с

удовольствием. И он не менее моего дяди много и хорошо говорил о вас!

– И напрасно, ибо вы, вероятно, успели теперь убедиться, насколько все эти похвальные слова обо мне были преувеличены.

– Я слишком мало вас знаю, чтоб иметь право на какое-либо мнение о вас, – опустив глаза, тихо сказала она и тут же решительно поднялась: – Мы заговорились, я совсем забыла, что пора ехать домой.

– Как! Вы сегодня уезжаете?

– Да. Погостили пять дней, пора и честь знать. И, кроме того… не забудьте, что сейчас праздники и в Пензе ожидает нас много веселостей. Полина покоя мне не дает!

Он взял ее руку и не удержался от смелого и откровенного признания:

– Мне жаль расставаться с вами, Эжени…

Она улыбнулась и сказала:

– Приезжайте к нам, я буду рада вас видеть. Кстати, на будущей неделе большой бал в Дворянском собрании.

– Постараюсь быть, – ответил он, – хотя не могу обещать, завтра затевается тут охота, потом облава на волков…

– Успеете и всех волков истребить и в Пензу вояж совершить, – произнесла она на прощание и повторила: – Приезжайте!

Он молча поклонился. А сам уже знал, что поедет непременно.

III

Евгения осталась без матери двенадцати лет. Отцу было давно за пятьдесят, он с двумя женатыми сыновьями, Сергеем и Павлом, жил постоянно в своей Золотаревке, под Пензой, где построил довольно большую по тем временам суконную фабрику.

Евгению и Полину взяла старшая их сестра Анна Дмитриевна, бывшая замужем за скромным и тихим отставным поручиком Спицыным. Анна Дмитриевна своих детей не имела и всей душой отдалась заботам о любимых без памяти сестренках. Дом Спицыных в Пензе стал их родным домом. Девочек баловали, одевали, как куколок, и присматривали за ними без строгости.

Когда они окончили пансион и заневестились, отец выделил им по шестьдесят тысяч рублей. Девушки, получив возможность жить самостоятельно и беспечно, стали блистать в пензенском обществе. У богатых невест толпа поклонников не редела, и многие пытались за них свататься, хотя безуспешно. Полина, правда, остановила как будто свой выбор на молодом чиновнике

губернаторской канцелярии Барабанове, однако на вопрос Анны Дмитриевны о серьезности ее намерений девушка, смеясь, ответила:

– Подожду, может быть, получше найдется, а этот от меня никуда не уйдет…

А у Евгении все было сложнее. Она не отказывалась от светских развлечений, но в среде пензенских дворянских сынков и губернских чиновников, не отличавшихся своеобразием и живостью мысли, большой отрады для себя не находила. Книги, к чтению которых пристрастилась еще в пансионе, расширяли ее умственный кругозор. Сатирические замечания Вяземского на пензенцев не выходили из головы. Ощущение какой-то неудовлетворенности и пустоты являлось все чаще. Евгении грезились люди высоких духовных запросов, люди незаурядные и остроумные, совсем не похожие на окружающих ее лиц.

Приезда Дениса Давыдова в Бекетовку она ожидала с нетерпением. Овеянное романтикой имя поэта-партизана было давно ей известно и давно возбуждало интерес. И хотя предстал он перед нею с поблекшим лицом и густой сеткой мелких морщинок под глазами, но эти отпечатки неумолимых лет как-то сразу сглаживались благодаря присущей ему изумительной молодости сердца и нрава[100].

Евгения нашла Дениса Васильевича приятным во всех отношениях, осталась довольна знакомством и чувствовала, что он тоже отнесся к ней не безразлично, однако, собираясь на бал в Дворянское собрание, не была достаточно уверена в том, что он приедет. Думая об этом, она ловила себя на противоречивых мыслях: она одновременно и желала встречи с ним и побаивалась его приезда, ибо, кто знает, не вообразит ли он, что ее дружеское приглашение означает нечто большее и не создаст ли это обстоятельство ложных отношений между ними?

Опасения Евгении не оправдались. Денис Васильевич упросил, впрочем без особого труда, друга Митеньку ехать с ним. В Пензе у Бекетовых был свой дом, где они, приехав засветло, и остановились, а затем, надев парадные мундиры, отправились к Спицыным, чтобы захватить Евгению и Полину и вместе ехать в собрание. Денис Васильевич находился в хорошем настроении, и, пока девушки кончали одеваться, он не отказался от предложенного Анной Дмитриевной чая и остроумной беседой совершенно расположил к себе хозяев.

Все обошлось наилучшим образом. Евгения не ощутила ни малейшей неловкости при встрече с Денисом Васильевичем. Он держался непринужденно, спокойно, и, когда она попросила написать на память что-нибудь в ее альбом, он тут же взял перо и

ответил прелестным четверостишием:

В тебе, в тебе одной природа, не искусство,
Ум обольстительный с душевной простотой,
Веселость резвая с мечтательной душой,
И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!

Но что было особенно важно и за что она была особенно ему благодарна, взятый им тон семейной простоты в обращении с нею он сохранил и в собрании. Никаких кривотолков возникнуть не могло. Все знали, что знаменитый поэт-партизан гостит у Бекетовых, и таким естественным казалось его появление на балу в обществе бывшего сослуживца и его племянниц и дружеское обхождение с ними!

Только старый знакомец Иван Васильевич Сабуров, местный помещик и оригинал, человек угрюмый и желчный, увидев Дениса Васильевича, проходившего под руку с Евгенией и Полиной, попробовал вызвать смущение и сказал как бы в шутку:

– А ведь милые девицы в конце концов могут потребовать от вашего превосходительства ответа, которой же отдано ваше сердце? Что тогда?

Денис Васильевич быстро нашелся:

– Я поступлю, любезный Иван Васильевич, как в подобном случае поступил Талейран… Лукавый сей дипломат, проводя время в обществе неразлучных подруг госпожи Рекамье и госпожи Сталь, ни одной из них явного предпочтения не отдавал. Тогда прекрасные дамы договорились сами вызвать его на признание. «Если б мы обе тонули, – спросили они однажды Талейрана, – которую из нас бросились бы вы сперва спасать?» – «О, я уверен, сударыни, – ответил дипломат, – что вы обе отлично умеете плавать!»

Хорошее настроение не покидало Дениса Васильевича весь вечер, несмотря на то, что быть наедине с Евгенией пришлось очень немного. Митенька, гордясь дружбой с бывшим командиром, старался с ним не разлучаться и без конца представлял его своим любопытствующим землякам. Подобное проявление дружеских чувств при других обстоятельствах показалось бы несносным, но теперь принималось в качестве необходимого средства для сохранения декорума. Денис Васильевич был в новом для него обществе, вызывал повышенный интерес и понимал, как любой его неосторожный шаг или даже взгляд могут скомпрометировать Евгению. Довольно с него нескольких милых слов, сказанных во время одной из отданных ему кадрилей:

– Мне с вами так хорошо, свободно и легко, словно..

– Словно вы мой старый двоюродный дядюшка, – шутя докончил он, слегка пожав ее руку.

– О, я совсем не то хотела сказать, – смутившись, произнесла она, – мне легко с вами потому, что вы кажетесь таким простым и открытым…

Музыканты, размещенные на хорах, играют вальс. Кипит веселый людской поток. Огни люстр и канделябров, колыхаясь, отсвечивают на паркете. Денис Васильевич в группе почтенных пензенцев стоит в дверях зала и, наблюдая за танцующими, видит ее одну, ловит брошенный ею ласковый взгляд. Сердце его начинает биться сильнее, чем положено. Нежность, затаенная в душе, требует выхода. Поэтический хмель кружит голову. И начинаются стихи:

Кипит поток в дубраве шумной
И мчится скачущей волной,
И катит в ярости безумной
Песок и камень вековой.
Но, покорен красой невольно,
Колышит ласково поток
Слетевший с берега на волны
Весенний, розовый листок.
Так бурей вальса не сокрыта,
Так от толпы отличена,
Летит воздушна и стройна
Моя любовь, моя харита,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей!

Стихотворение, впрочем, было им положено на бумагу и вручено вдохновительнице спустя несколько дней после бала.

Вяземскому, посылая «Вальс», он писал:

«По стихам этим ты подумаешь, – что я смертельно влюблен, и хорошо сделаешь. Кстати о вдохновительнице оных, она помнит тебя, хотя я употребляю все мои старания, чтобы она тебя совсем забыла».

* * *

15 января 1834 года в Пензе силами местных артистов была

поставлена комедия «Горе от ума».

Денис Васильевич, успевший съездить в Бекетовку и снова возвратиться, находился вместе с Евгенией среди зрителей. И, несмотря на близость пленившей его девушки, он, глядя на сцену и вслушиваясь в страстные, обличительные монологи Чацкого, невольно и все чувствительнее отдавался во власть нахлынувших грустных воспоминаний.

Грибоедов словно живой встает перед ним. Вот за столом у Бегичевых, поблескивая очками, с чуть приметной улыбкой на тонких губах, читает Александр Сергеевич впервые свою бессмертную комедию; вот сидит против него задумчивый на шумном обеде у Вяземского; вот едут они вместе на дрожках в Тифлис. А что же произошло дальше? Ермолов сказал тогда, что не может более доверять Грибоедову, как доверял прежде, что Грибоедов сочиняет партикулярные письма своему родственнику и благодетелю Паскевичу, переметнувшись в его лагерь. И он, Денис Давыдов, будучи безгранично предан Ермолову, не выяснив подробностей, тоже начал сердито обвинять Грибоедова в неблагодарности, в том, что, «терзаемый бесом честолюбия, он заглушил в сердце своем чувство признательности к лицам, не могущим быть ему более полезными». Но так ли это было?

Как-то в Остафьеве он прочитал Вяземскому свои черновые наброски о Грибоедове. Петр Андреевич заметил:

– Бес честолюбия терзает нас всех, милый Денис, и тебя не менее других, что не причина для обвинения Грибоедова, а доказательных доводов в твоей статье нет, да и сомневаюсь, что ты найдешь их…

Он согласился, статью обрабатывать и печатать не стал, спрятал в стол. Однако все это было позднее, а тогда… Ермолов разорвал связи с Грибоедовым, и, таким образом, он, Денис Давыдов, был поставлен в условия, при которых сохранение прежних отношений с Грибоедовым сделалось невозможным. И как больно отложилась в памяти последняя кавказская встреча с ним! Грибоедов направлялся в канцелярию Паскевича, а Денис Васильевич, только что получивший разрешение на выезд в Россию, выходил оттуда. Они молча, сухо раскланялись и разошлись, словно никогда не существовало между ними близости, полной душевных откровений, признаний и теплоты.

Денис Васильевич не удержался от легкого, непроизвольного вздоха. Евгения, чуть наклонившись к нему, тихо по-французски спросила:

– Вам, очевидно, не очень-то нравится игра наших артистов?

Он, сразу придя в себя, промолвил:

– Мне довелось слышать, как Грибоедов сам читал свою

комедию…

Этот разговор продолжился после спектакля. Они решили подышать свежим воздухом и отправились домой пешком. Был легкий морозец, светила полная луна. Евгения, идя под руку с Денисом Васильевичем, как зачарованная слушала полные живости рассказы о знаменитом писателе.

– А вы знаете, – сказал между прочим Денис Васильевич, – что в Платоне Михайловиче Гориче изображен не кто иной, как мой зять Дмитрий Никитич Бегичев?

– Да что вы говорите! А я слышала, будто Бегичев губернатором в Воронеже?

– Ну, в то время, когда писалась пьеса, Дмитрий Никитич о губернаторстве и не помышлял… Летом он с женой, моей доброй сестрой Александрой Васильевной, гостил у брата Степана в тульской деревне, где в это же время жил и Грибоедов. Чтоб никто не мешал Александру Сергеевичу работать, для него в саду построили особый павильон с двумя большими окнами, там и была закончена знаменитая комедия. И вот однажды, придя домой, Грибоедов застал братьев Бегичевых в жаркой беседе о давно прошедших временах. Вечер был теплый. Они сидели у открытых окон с расстегнутыми жилетами, и сестра моя, зная, что Дмитрий Никитич склонен к простуде от сквозняков, подойдя к нему, стала уговаривать застегнуть жилет. Дмитрий Никитич, обратясь к ней, с досадой воскликнул: «Эх, матушка!» – и сейчас же, повернувшись снова к брату, заключил прерванный с ним разговор вздохом: «А славное было время тогда!» Грибоедов, наблюдавший сцену, рассмеялся, побежал в свой павильон и, возвратясь с рукописью, прочитал известную сцену с Платоном Михайловичем и Натальей Дмитриевной. Когда же все посмеялись, Грибоедов добавил: «Вы не подумайте только, что я вас изобразил, я окончил эту сцену перед приходом сюда». Но так или иначе, а многие черты зятя схвачены верно; подобно Чацкому и Горичу, Грибоедов и Бегичев были однополчане и знали друг друга в совершенстве[101].

– Из этого можно сделать вывод, – улыбнулась Евгения, – как опасны знакомства с писателями и поэтами… Ведь они предают бессмертию не только наши достоинства, но и недостатки!

Намек был сделан в шутливом тоне. Денис Васильевич весело отозвался:

– Милая Эжени, вам нечего страшиться, ибо поэты – рыцари прекрасного, а вы… вы вся поэзия с ног до головы!

Она смутилась и выпустила его руку.

– Ваши комплименты начинают пугать меня… Я их не заслуживаю!

Он пылко возразил:

– Какие там комплименты! Да знаете ли вы, что одного вашего взгляда достаточно, чтобы любой, самый сухой приказный ударил по струнам лиры? А что же говорить о тех, кому свойственно ощущение поэтического? Я, подобно закупоренной бутылке вина, три года стоял во льду прозы, а сейчас…

Евгения не выдержала и рассмеялась:

– Пробка хлопнула! И что же?

Он в тон ей продолжал:

– Вино закипело и полилось через край, грозя наводнением Парнасу, коим для меня отныне является сей холм, на котором лежит Пенза. Нет, право, глядя на вас, невольно начинаешь даже мыслить стихами…

Они подошли к дому. Он взял ее руку и, глядя с нежностью ей в глаза, проговорил:

Уходишь ты, и за тобою вслед
Стремится мысль, душа несется,
И стынет кровь, и жизни нет!..
Но только что во мне твой шорох отзовется,
Я жизни чувствую прилив, я вижу свет,
И возвращается душа, и сердце бьется!..

Потом, достав из кармана аккуратно сложенный листок бумаги и передавая ей, сказал:

– А вот эти стихи появились на свет божий вчера… Я не уверен, что они понравятся вам, но я писал их, думая о вас!

Евгения, придя к себе, нетерпеливо развернула листок и прочитала:

Море воет, море стонет,
И во мраке, одинок,
Поглощен волною, тонет
Мой заносчивый челнок.
Но, счастливец, пред собою
Вижу звездочку мою —
И покоен я душою,
И беспечно я пою:
Молодая, золотая
Предвещательница дня,
При тебе беда земная
Недоступна для меня.
Но сокрой за бурной мглою
Ты сияние свое —

И сокроется с тобою
Провидение мое!

IV

Он пробыл в Пензе до марта и возвратился в Верхнюю Мазу великим постом «очищать себя от грехов всех родов поэзии», как писал поэту Языкову, жившему тогда по соседству с ним в той же Симбирской губернии.

Начавшийся роман с Евгенией Золотаревой был, разумеется, тщательно от жены скрыт, да в то время он еще и не выходил за рамки восхищения умной девушкой и легкой влюбленности, порождавшей радостную поэтическую настроенность.

Денис Васильевич давно не чувствовал себя так свежо и молодо, как в эту весну. И давно так хорошо ему не работалось! Он с увлечением писал воспоминания о польской войне и одновременно отделывал статьи о прусской кампании 1807 года. А вечерами отправлялся по обыкновению гулять и, слушая весенние степные шорохи и гортанные крики пролетавших в вышине журавлиных стай, с замиранием сердца думал о Евгении, и трепетные слова, мысленно сказанные ей, ложились в стихотворные строфы.

4 апреля он писал поэту Языкову:

«Я к вам послал еще несколько пиес, вырвавшихся из души, а при сем еще посылаю одну. Вы видите, что чем черт не шутит! Однако все эти посылки я делаю не для того, чтобы вы стихи мои хвалили, а более для того, чтобы вы их бранили и изъявили бы мнение ваше, где в них что надо исправить и как исправить? Так со мною поступают друзья мои: Баратынский, Пушкин, Вяземский, того и от вас прошу. Да ради бога не пишите ко мне церемониальных писем. Последнее ужаснуло меня официальным заключением: «с истинным почтением и таковою же преданностью, честь имею быть вашего превосходительства и пр.». Бог с вами с такими выходками!»

В тот же день было написано письмо и Пушкину, новую повесть которого «Пиковую даму» он только что с наслаждением прочитал в третьем номере «Библиотеки для чтения».

«Помилуй, что у тебя за дьявольская память; я когда-то на лету рассказывал тебе разговор мой с М.А.Нарышкиной. Ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений «Пиковой дамы». Вообрази мое удивление и еще более восхищение жить так долго в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда единственного родного моей душе поэта. У меня сердце

облилось радостью, как при получении записки от любимой женщины.

Как мне досадно было разъехаться с тобой прошлого года! Я не успел проехать Симбирск, как ты туда явился, и что всего досаднее, я возвращался из того края, в который ты ехал и где я мог бы тебе указать на разные личности, от которых ты мог бы получить нужные бумаги и сведения. Ты был потом у Языкова, а я не знал о том. Неужели ты думаешь, что я мог бы засидеться в своем захолустье и не прилетел бы обнять тебя? Злодей, зачем не уведомил ты меня о том?

Знаешь ли, что струны сердца моего опять прозвучали. На днях я написал много стихов, так и брызгало ими. Я, право, думал, что рассудок во мне так разжирел, что вытеснил последнюю поэзию; не тут-то было, встрепенулась небесная, а он давай бог ноги! Так что по сю пору не отыщу его».

А в конце месяца, сообщая Вяземскому, что продолжает находиться в поэтическом восторге, признается:

«Без шуток, от меня так и брызжет стихами. Золотарева как будто прорвала заглохший источник. Последние стихи, сам скажу, что хороши, и оттого не посылаю их тебе, что боюсь, как бы они не попали в печать, чего я отнюдь не желаю… Уведомь, в кого ты влюблен? Я что-то не верю твоей зависти моей помолоделости; это отвод. Да и есть ли старость для поэта? Я, право, думал, что век сердце не встрепенется и ни один стих из души не вырвется. Золотарева все поставила вверх дном: и сердце забилось, и стихи явились, и теперь даже *текут ручьи любви,* как сказал Пушкин. A propos[XXI], поцелуй его за эпиграф в «Пиковой даме», он меня утешил воспоминанием обо мне… Жду с нетерпением Пугачева. Я уверен, что это будет презанимательная книга. Уведомь, что он еще пишет? Да ради бога заставьте его продолжать Онегина, эта прелесть у меня вечно в руках…»

Прошла весна. В июне происходила знаменитая ежегодная пензенская ярмарка, и Денис Васильевич, собираясь ехать туда вместе с Языковым, нетерпеливо считал оставшиеся до поездки дни. Он заранее известил Евгению о предполагаемом приезде, и она в небольшой ответной записке выразила удовольствие вновь его увидеть; эта записка послужила поводом для нового нежного послания к ней, и, таким образом, завязалась переписка, как бы подливавшая масла в огонь, готовый вспыхнуть.

И тут произошла неприятность, которой он опасался. В журналах появились его первые песни любви, да еще с явным намеком, где живет их вдохновительница!

Вяземскому по этому поводу он писал так:

«Злодей! Что ты со мною делаешь? Зачем же выставлять

Пенза под моим *Вальсом?* Это уже не в бровь, а в глаз; ты забыл, что я женат, что стихи писаны не жене. Теперь другой какой-то шут напечатал и *Моя звездочка* – вспышку, которую я печатать не хотел от малого ее достоинства, и также поставил внизу *Пенза.* Что мне с вами делать? Видно, придется любить прозою и втихомолку. У меня есть много стихов, послал бы тебе, да боюсь, чтобы и они не попали в зеленый шкаф «Библиотеки для чтения». Вот что со мной наделали, или лучше, – что я сам с собой наделал!

Если б, подобно тебе, я сначала приучил жену читать стихи мои ко всем красавицам без разбору, то и дело было бы в шляпе, а внезапность опасна. Правда, жена моя не верит моим восторгам к другим, ну, а как неравно поверит? Ведь такую гонку задаст, что своих не узнаешь, и поделом. Что я за Мазепа другой, чтобы соблазнять другую Марию? Шутки в сторону, а я под старость чуть было не вспомнил молодые лета мои; этому причина бродящий еще хмель юности и поэзии внутри головы и черная краска на ней снаружи; я вообразил, что мне еще по крайней мере тридцать лет от роду».

Случай с журналами, как видно из письма, несколько отрезвил его, вызвав вполне благоразумные размышления. Чем, кроме ужасных страданий и бедствий, мог кончиться для него и для нее завязавшийся роман? Он вдвое старше Евгении, у него семья, шестеро детей…

Думать о взаимности, о настоящем ответном чувстве ему просто смешно! Необходимо положить конец увлечению, пока не поздно! Пусть останется светлым пятном в его жизни встреча с нею, и только! Надо написать прощальное письмо, отослать посвященные ей стихи и отказаться от поездки в Пензу.

Но милый образ был таким обаятельным и манящим, что вскоре чувство невольно начало сопротивляться доводам рассудка и толкать на иное решение вопроса. «В конце концов почему же надо отказаться от поездки? – думал он. – Что за малодушие! Нет, я должен сдержать обещание, поехать, повидаться с Евгенией и честно объясниться…»

Искать смысла в таком заключении нечего, ибо ясно, что в нем было скрыто одно лишь желание во что бы то ни стало еще раз увидеть ее – он не мог уже отказаться от этого.

И он поехал.

* * *

Евгения в летнем открытом платье и соломенной шляпке

сидела на скамье в далеком конце бекетовского парка. В бархатных глазах ее каждый безошибочно отгадал бы следы скрытой тревоги. Книга, взятая с собой, лежала на коленях. Евгения пробовала отвлечь себя от беспокойных мыслей чтением – и не могла.

Три дня назад произошла в Пензе встреча с Денисом Васильевичем. Он подарил ей свои чудесные стихи, потом они вместе ходили на ярмарку и покупали безделушки, он был по обыкновению мил и любезен. Но вечером, когда прощались наедине, он, целуя ей руки, страстно прошептал:

– Если б вы знали, как я люблю вас и как вы меня мучаете, милая Эжени!

Она невольно вздрогнула от этого шепота и сразу изменилась в лице. Для нее не было новостью его признание; он еще зимой говорил о своем чувстве к ней, и оно сквозило в каждой строчке посвященных ей стихов, однако все это воспринималось как-то не очень серьезно, казалось проявлением ничем не обязывающего флирта и чисто поэтической взволнованности. Разница в летах, а главное, семейное его положение, словно каменной стеной, ограждали от каких бы то ни было практических видов на него, хотя он и нравился ей все более.

Теперь же в страстном шепоте она ощущала подлинную силу его любви и сердечной муки. И, потупив глаза, несколько секунд стояла молча, не зная, что сказать. Нужно было время, чтоб разобраться в самой себе. И нужно уехать из Пензы, где все на виду.

Она робко протянула ему руку и произнесла:

– Я собираюсь завтра на несколько дней в Бекетовку…

Вероятно, уловив ход ее мыслей, он почтительно осведомился:

– А вы разрешите мне навестить вас там?

Она кивнула головой… Глаза его радостно просияли.

И вот она здесь. Вопросы, встающие перед ней, сложны и тяжелы, потому что расставаться с ним навсегда она никак не хочет. А в таком случае что же? Неужели она любит? Или просто не понимает, какими опасностями чревато продолжение их свиданий? Кажется, что любит… Ее волнуют немые взгляды его горячих глаз, его признания, его стихи…

Евгения машинально раскрывает книгу. Там хранится дорогой листок с написанным для нее романсом:

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений

Не возвращай, не возвращай!
Не повторяй мне имя той,
Которой память – мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.
Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай
Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.

Евгения перечитывает эти трогательные строчки, в которых, казалось, слышны были рыдания души опаленного страстью поэта. На глазах у нее навертываются невольные слезинки. Милый Денис Васильевич… Как он страдает! И теперь она должна оттолкнуть его, сказать, чтоб он поскорей забыл ее? Нет, этого она не сделает! Он честен, рыцарски благороден, на него можно положиться, пусть сам решает, как нужно поступить.

И все же полного успокоения подобные самовнушения не давали, она ждала приезда Дениса Васильевича в Бекетовку не с прежней беззаботностью, а с затаенным смятением, ибо знала, что приближается час неминуемого объяснения и что-то должно серьезно измениться в ее жизни.

И час объяснения настал.

Спускалась на землю короткая летняя ночь. Чистое, подрумяненное закатом небо украшалось первыми звездами. В парке цвели липы, и сильный медвяный запах слегка кружил голову. Денис Васильевич и Евгения сидели на той самой скамье, где недавно она одна предавалась размышлениям.

– Вы угадываете, конечно, о чем я хочу говорить с вами? – начал он и вопросительно посмотрел на нее.

– Да… Мне так кажется, по крайней мере, – смущенно промолвила она, опуская глаза.

Он немного помолчал, затем вздохнул и взволнованным голосом сказал:

– Если б я был свободен… я, не колеблясь ни минуты, упал бы к ногам вашим и, как величайшего счастья, просил бы руки вашей.. Но вам известно, что я не могу этого сделать, следовательно… нам должно расстаться…

– Ах, нет! – воскликнула она вдруг, и на длинных ресницах ее

приподнятых глаз блеснули слезы.

Тронутый этим душевным порывом, он благодарно поцеловал ее руку и продолжил:

– Я верю, что вы не хотите разрыва, милая Эжени, и знаю, что вы жалеете меня… Однако наши отношения могут быть истолкованы в превратном смысле, и безупречность вашей репутации подвергнется незаслуженным сомнениям… А потом, – он почти до шепота понизил голос, – подумайте немного и о том, каково мне. Я имею в виду не мнение света и семейные неприятности, я говорю о своем чувстве… Жить призрачным счастьем и сгорать в огне безнадежной любви! Согласитесь, подобное мучительное состояние тяжелей любой пытки…

– Почему же вы… говорите… о безнадежной любви? – чуть слышно сказала она.

– Потому, что я вдвое старше вас, милая Эжени, и потому…

Евгения неожиданно с нервной дрожью в голосе перебила:

– Неправда! Я не стала бы сидеть с вами здесь, и у меня не сжималось бы сердце от ваших слов, если б я…

Она не договорила и отвернулась, сжав губы, чтоб не расплакаться. Он, не веря ушам своим и задыхаясь от прихлынувшего к груди потока жаркой крови, произнес:

– Возможно ли? Вы… вы… любите? Эжени, жизнь моя!

Она медленно повернула голову. Он увидел ее милое, смущенное, счастливое лицо и, ликуя от восторга и уже не владея собой, стал целовать ее руки, ее глаза, ее полуоткрытые горячие губы…

И не в эту ли памятную ночь, а вернее, в часы рассвета, ошеломленный счастьем и еще обуреваемый сомнениями, он писал:

Неужто я любим? – Мой друг, мой юный друг,
О, усмири последним увереньем
Еще колеблемый сомненьем
Мой пылкий, беспокойный дух!
Скажи, что сердца ты познала цену мною,
Что первого к любви биения его
Я был виновником! Не надо ничего —
Ни рая, ни земли! Мой рай найду с тобою…

V

Может быть, эти летние дни, проведенные с Евгенией в Бекетовке и Пензе, были самыми счастливыми днями в его жизни.

Он перебирал в памяти прошлые свои увлечения и ни в одном не находил сходства с тем, что испытывал сейчас. Аглая, Лиза Злотницкая, Соня… И он их любил, и они его любили, каждая по-своему. Но кто был ему близок по общности духовных интересов и поэтическому восприятию жизни? Никто! И он давно ощущал душевное свое одиночество и писал о нем:

Я часто говорю, печальный, сам с собою:
О, сбудется ль когда мечтаемое мною?
Иль я определен в мятежной жизни сей
Не слышать отзыва нигде душе моей?

В отношениях с Евгенией появилось то, о чем он мечтал. Душа нашла отзыв. Чувственные волнения сочетались с волнениями поэтическими. Денис Васильевич и Евгения могли часами говорить на самые разнообразные темы, спорить о литературе и не замечать времени. Она наслаждалась его рассказами и стихами, он – ее наслаждением. Его привязанность к ней возрастала.

Вопрос о будущем затемнялся теперь еще больше и, если посмотреть со стороны, уже приобретал драматические очертания, однако Денис Васильевич, находясь на верху блаженства, старался об этом не думать, вернее – склонен был, как многие в подобных случаях, к тому, чтобы предоставить решение мучительного вопроса времени, спасительному «там будет видно».

Пока же можно было не беспокоиться. Жена в конце августа уезжает с детьми в Москву, он останется один и всю осень проведет в Пензе с Евгенией!

И осень, на редкость сухая и теплая в том году осень, наступила, принеся с собой не только ожидаемые радости, но и неожиданные огорчения. Впрочем, можно ли называть их неожиданными? Произошло то, что не могло не произойти. Как ни старались Денис Васильевич и Евгения скрывать свои свидания, а все-таки они были пензенцами замечены, и по городу ядовитыми змеями стали расползаться сплетни.

Анна Дмитриевна Спицына встревожилась первой.

– Надо прекратить ваши встречи, они до добра не доведут, – решительно и строго заявила она Евгении. – Если ты сама этого не сделаешь, я буду говорить с Денисом Васильевичем…

Евгения вспыхнула:

– Не уподобляйся, пожалуйста, базарным кумушкам и оставь нас в покое! Я не намерена лишать себя его общества только потому, что кому-то это не нравится!

Анна Дмитриевна укоризненно покачала головой.

– Надо считаться с мнением людей, Евгения… Понятие о том, что девицам прилично и что неприлично, не мною установлено. Подумай-ка хорошенько!

Разговор с сестрой Евгению и взволновал и насторожил. Она в глубине души соглашалась, что сестра права, необходимо, во всяком случае, хотя бы сократить встречи, показываться вместе в обществе как можно реже. А Денис Васильевич принял эти доводы за начавшееся с ее стороны охлаждение! Он несколько дней не показывался, потом явился с новыми стихами, выражавшими его настроение:

Я вас люблю так, как любить вас должно!
Наперекор судьбе и сплетней городских.
Наперекор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю, – не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит.
Уста роскошствуют и взор востоком пышет,
Что вы – поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, —
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья…
Я вас люблю затем, что это – вы!
На право вас любить не прибегу к пашпорту
Иссохших завистью жеманниц отставных:
Давно с почтением я умоляю их
Не заниматься мной и убираться к черту!

Последние четыре строчки Евгении не понравились. И не потому, что звучавшее в них раздражение как-то огрубляло нежные слова признания, а потому, что раздражение вылилось в форму бравирования, и это показалось совсем неуместным. Ведь сплетни не так были страшны для него, как для нее. Ему следовало бы над этим подумать, прежде чем задевать завистливых отставных жеманниц!

Так прозвучал первый упрек, так начались первые размолвки. Они окончились, правда, новыми клятвами и поцелуями, а все же от внутреннего беспокойства и недовольства Евгения не избавилась. И это понятно.

В середине ноября Денис Васильевич уехал в Москву, где собирался пробыть до весны. Евгения хотя и грустила, но в то же время была довольна, ибо его отъезд положил конец обывательским пересудам. В одном из писем к нему она

сообщает, что «проводит дни за чтением книг и отдыхает от злых языков наших салопниц». В другом пишет, что страстный язык, которым он выражается, «заставляет ее трепетать», и предлагает, чтобы впредь между ними сохранились лишь дружеские отношения.

Он был несказанно таким предложением огорчен и отозвался так:

«У вас хватает смелости предлагать мне дружбу, жестокий друг? Любовь подобна жизни, которая, раз утраченная, не возвращается более. Будьте откровенны хоть раз в жизни, – вы хотите отделаться от меня, который, я это чувствую, гнетет и беспокоит вас. Убейте меня, вонзите, не поморщась, мне нож в сердце, говоря: я вас не люблю, я никогда вас не любила, все с моей стороны было обман, я забавлялась».

Евгения поспешила его успокоить, и переписка, так ее восхищавшая, продолжалась всю зиму. Заметим, что в письмах Дениса Васильевича, полных не только любовных вздохов, но и живых набросков московской жизни, много отзывов о новых книгах, которые он постоянно вместе с новыми нотами посылал Евгении.

«Вы всегда говорили мне, – пишет он, – что из романов вы любите менее игривые. Я писал так моему поставщику Белизару, и он мне прислал один из знаменитых А.Дюма. Я не знаю, достоин ли он быть вам предложенным, я его не читал, так как получил только вчера, а сегодня посылаю вам. Также посылаю повести Пушкина, прочтите их, я уверен, что вы их будете ставить гораздо выше Павлова. Особенно «Выстрел», который Пушкин сам мне читал много раз, и я перечитываю его с большим удовольствием».

В другой раз, сообщая о посылке романа Бенжамена Констана «Адольф» и стихов Виктора Гюго «Осенние листья», он рекомендует их прочитать непременно как произведения замечательные. А ведь в стихах Виктора Гюго, о которых идет речь, революционные мотивы звучат с такой силой, что далеко не всякий решился бы рекомендовать подобные стихи, да еще провинциальной барышне!

Подобные приписки позволяют, во всяком случае, судить о тех общественных и литературных интересах, какими в значительной степени скреплялись отношения Дениса Васильевича и Евгении.

… В конце января 1835 года в Москву неожиданно приехал из своей деревни Алексей Петрович Ермолов.

Царская опала, которой он подвергся, снискала ему еще большую популярность в войсках и среди гражданского

населения. Из рук в руки ходила басня – и поговаривали, будто написана она знаменитым Крыловым, – про боевого коня, доставшегося плохому наезднику, приказавшему держать его на привязи:

Вот годы целые без дела конь стоит;
Хозяин на него любуется, глядит:
А сесть боится.
Чтоб не свалиться.
И стал наш конь в летах,
Потух огонь в его глазах,
И спал он с тела.
И как вскормленному в боях не похудеть без дела!
Коня всем жаль: и конюхи плохие,
Да и наездники лихие
Между собою говорят:
«Ну, кто б коню такому был не рад,
Кабы другому он достался».
В том и хозяин сознавался,
Да для него вот та беда,
Что конь в возу не ходит никогда
И вправду: есть кони, уж от природы
Такой породы
Скорей его убьешь,
Чем запряжешь!

Появление Ермолова в общественных местах неизменно вызывало общий интерес. В либеральных кругах его идеализировали, считали смелым противником николаевского казарменного режима. В Кавказском корпусе складывались легенды о бывшем проконсуле, причем он награждался всеми гражданскими добродетелями, а жестокости, допускаемые им при замирении горцев, обычно замалчивались. Именно в таком виде изобразил его Александр Марлинский в повести «Аммалат-Бек», недавно напечатанной в «Московском телеграфе». Все знали, что Марлинский – это псевдоним служившего солдатом на Кавказе декабриста Александра Бестужева, и это обстоятельство придавало черты особой привлекательности образу Ермолова. Наконец, имя обиженного царем генерала вопреки его желанию стали использовать и агитаторы-революционеры, бунтовавшие народ и уверявшие, что «Ермолов стоит с нами заодно».

В высших сферах не могли, разумеется, мириться с подобными признаками все возраставшей популярности Ермолова и давно искали случая скомпрометировать чем-нибудь

отставного проконсула в глазах его приверженцев.

Император Николай, будучи в Москве после польского восстания, принял Ермолова с необычайным радушием и в знак особого благоволения пригласил к обеду. Но за столом, когда разговор коснулся некоторых мятежных польских генералов и все осуждали их и ожидалось, что Ермолов тоже присоединится к этому мнению, заявив себя, таким образом, сторонником крутых мер, принимаемых царем против поляков, Алексей Петрович произнес:

– А я думаю, господа, что они поступили как благородные граждане…

Николай, услышав эти слова, вспыхнул и, неприлично возвысив голос, сказал:

– Не забудь, однако ж, Алексей Петрович, что эти любезные тебе граждане вскоре станут жителями Сибири…

– Никто их при этом, конечно, не убедит, – спокойно ответил Ермолов, – что милосердием государя они не будут возвращены оттуда…

Николай был обезоружен. И, переведя разговор на другую тему, несколько раз намекнул, что был бы рад видеть вновь Ермолова на службе. Алексей Петрович промолчал.

А через некоторое время Ермолова посетил военный министр граф Чернышев и от имени царя в самом почтительном тоне предложил занять место председателя в генерал-аудиториате.

Ермолов быстро раскусил, в чем дело. Генерал-аудиториат утверждал приговоры судов над военнослужащими. Ермолов решительно предложение отверг:

– Передайте государю, что единственным для меня утешением была привязанность войска, я не приму должности, которая бы возлагала на меня обязанности палача…[102]

Рассказывал Алексей Петрович о царских происках и многом другом брату Денису так занимательно, что тот однажды посоветовал:

– Вам бы, право, следовало записывать рассказы ваши.

– А зачем? Кто же их публиковать осмелится?

– Так-то оно так, да ведь надо же и в нетленном виде что-нибудь для будущего сохранить…

– Ну, в этом я вполне на тебя полагаюсь, – с обычной усмешкой отозвался Ермолов. – Ты, я знаю, давно всякие, цензурой не допускаемые, любопытные истории в заветные тетради записываешь, думаю, и для моих рассказов местечко там найдешь!

– С вашего позволения, почтеннейший брат, – вставил Денис Васильевич, – и, признаюсь, с большим удовольствием!

Заветные тетради, о которых упомянул Ермолов, существовали на самом деле. Они находились под ключом, тщательно от всех оберегались. Вписывались туда в форме набросков, заметок или анекдотов такие случаи и происшествия, в которых с резкой беспощадностью обличались царственные особы и высшее начальство. Меткие и острые авторские характеристики дорисовывали неприглядные портреты.

Император Александр представлялся как «Агамемнон новейших времен, коего подозрительный и завистливый характер немало всем известен». Цесаревич Константин Павлович, ненавидевший, «подобно младшим братьям своим, умственных занятий», выглядел как полное ничтожество, трус и дурак. Император Николай, по его описанию, имел «мрачный характер и был большей частью крайне злопамятен», он «вовсе не сочувствовал людям способным и бескорыстным», всегда был готов на подлый обман, а к тому же этот «змей», коему некоторые приписывали мужество, совершенно был лишен его. Со слов своего друга Денис Васильевич записал, что 14 декабря 1825 года у Николая все время «душа была в пятках». А летом 1831 года, когда на Сенной площади в Петербурге произошло народное возмущение, царь укрылся в Петергофе и, дрожа от страха, «прислушивался, не раздаются ли выстрелы со стороны Петербурга», вместо того чтоб быть в столице, как «поступил бы всякий мало-мальски мужественный человек». Он прибыл в Петербург «лишь на второй день, когда уже все начинало успокаиваться». Явно осуждается в записках поведение Николая накануне казни главнейших заговорщиков 14 декабря и жестокое отношение к сосланным декабристам; царь даже «не изъявил согласия на просьбу графини Канкриной, ходатайствовавшей об отправлении в Сибирь лекаря для пользования сосланного больного брата ее Артамона Муравьева».

Денис Васильевич знал, какой опасности он подвергается, делая подобные записки, и все же не оставлял их, а для этого, может быть, требовалась не меньшая отважность, чем в самых смелых партизанских налетах.

Необходимо кстати сказать, что в военных сочинениях Дениса Давыдова, которые к тому времени лишь частично были опубликованы, а в большинстве находились в рукописях, описываются очень многие военные деятели. Такие выдающиеся из них, как Суворов, Кутузов, Багратион, Кульнев, Раевский, обрисовываются полнокровно, кистью влюбленного в них вдохновенного художника. Бездарных же ревнителей шагистики, особенно тех, которые еще здравствовали, автор изображал с помощью сатирической характеристики. Он перед ними галантно

расшаркивается, как бы смягчая удар тут же спущенной ядовитой стрелы сарказма.

Так, например, он пишет:

«Генерал Беннигсен был известен блистательными кабинетными способностями, редким бескорыстием и вполне геройскою неустрашимостью», а через несколько строк добавляет, что «он был одарен малою предприимчивостью, доходившей в нем иногда до чрезмерной робости», а к тому же «был подвержен падучей болезни, которая проявлялась в то время, когда ему следовало бы наиболее обнаружить умственные способности и деятельность».

«Генерал Эссен… в своем кабинете простирал свою распорядительность до самой изящной аккуратности. Эссен не был лишен замечательного ума и решительности, но правила, которыми он руководствовался, были иногда более пагубны для своих, чем вредны для противника».

«Генерал Седморацкий… обнаруживал большое хладнокровие при встрече с неприятелем, которого он еще никогда не видывал».

«Князь Дмитрий Владимирович Голицын есть в полном смысле благородный и доблестный русский вельможа», а в конце того же абзаца сообщает, что этот русский вельможа, став московским губернатором, «весьма мало знакомый с русским языком, принимая городские сословия, держит часто речи, написанные на полурусском и говоренные им на четверть-русском наречии».

Алексей Петрович Ермолов, которому прочитывались все рукописи, помогал не только полезными сведениями, но и в некоторой степени способствовал своими обычно язвительными замечаниями созданию оригинального и порой замысловатого стиля давыдовской прозы.

VI

Племянница пензенского губернатора Панчулидзева, бойкая, умная, веселая и пикантная брюнетка Мария Львовна Рославлева, была задушевной подругой Евгении Золотаревой. Заметив, что с некоторых пор Евгения как будто загрустила и стала избегать общественных увеселений, Мария Львовна вызвала подругу на откровенное объяснение. И Евгения в конце концов со слезами на глазах призналась:

– J'aime un homme marie!..[XXII] Ты знаешь, о ком я говорю…

Рославлева посмотрела на нее почти с испугом и воскликнула:

– O, c'esttres malheureux![XXIII] Я не спрашиваю о его чувствах,

они написаны на его лице, но ведь у него большая семья… Я не представляю… Вы говорили о возможности развода?

Евгения отрицательно покачала головой. Рославлева удивленно развела руками:

– В таком случае прости, ma chere, я отказываюсь тебя понимать… Чтобы ты, всегда такая серьезная, умная, и вдруг… Какое невероятное легкомыслие! – И, немного помолчав, как бы рассуждая с собою, сказала: – А интересно знать, что же думает делать он?

– Поверь, Мари, ему не легче, чем мне, – прошептала Евгения.

– Я не об этом… Он тебе пишет?

– Да. Я получила из Москвы два письма. Страстный язык, каким он выражается…

Рославлева с досадливой гримаской на лице остановила подругу:

– Сеea пе peut pas tirer a consequence![XXIV] Он поэт, ma chere, я не сомневаюсь ни в страстности, ни в красоте его выражений… Но тебе, надеюсь, ясно, что он должен или оставить тебя в покое, или найти способ узаконить ваши отношения? В этом смысле я и спрашиваю… Каковы его дальнейшие намерения?

Евгения опустила голову и вздохнула:

– Не знаю… Он об этом не пишет…

– И тебя это не волнует?

– Ну, что ты говоришь! – произнесла Евгения приглушенным и чуть обиженным голосом. – Я непрестанно об этом думаю и думаю и не вижу впереди ничего хорошего… и терзаюсь… И в конце концов сама не понимаю, что со мною творится!

– А он знает о твоих переживаниях? Ты ему написала об этом?

– Нет, как можно! Я не хочу, чтоб он знал… И мне вообще трудно переписываться с ним, трудно отвечать, я ощущаю все время страшную неловкость…

Рославлева внимательно посмотрела на нее и неожиданно улыбнулась:

– Ты не обидишься, милая Эжени, если я выскажу одно предположение?

– Какое же?

– В твоем чувстве к нему, мне кажется, больше жалости, сострадания, чем любви…

Щеки Евгении зарумянились, она хотела что-то возразить. Рославлева приложила к ее губам свою руку, мягко продолжала:

– Подожди, подожди! Сначала разберемся… Денис Васильевич очень милый, остроумный, тебе приятно с ним, тебе нравятся его стихи, его поклонение… Все это так. Но скажи,

пожалуйста, кого и когда затрудняла переписка с возлюбленным? Пушкинская Татьяна, полюбив Евгения, решается даже писать ему первой… Да и переживания твои, прости меня, не создают впечатления об истинной любви и страсти! Ты приняла за любовь, милая Эжени, близкое к ней чувство, но это еще не любовь…

Евгения, охватив руками голову, сидела молча. Она лишь явственно различала в своем отношении к Денису Васильевичу какие-то изменения. Тогда, летом, ее словно опьянила его пламенная страсть, и в те бездумные, чудные, счастливые дни она и засыпала и просыпалась с мыслями о нем, и он был для нее самым дорогим человеком на земле. А потом, после первых осенних размолвок, она стала все чаще думать о нем с той подсознательной критической оценкой, которая знаменует обычно начало разочарования. Впрочем, этого процесса Евгения не могла еще точно определить, ибо слишком памятны были дурманные летние вечера и не остыл на губах жар его поцелуев, а потому мучительное свое состояние она готова была считать следствием каких-то иных, непонятных ей причин.

Слова подруги вызывали невольный протест, согласиться с ними Евгения не хотела, а вместе с тем и доводы для возражения не находились. Она только тихо спросила:

– И как же, по-твоему, мне следует поступить?

– Проверь себя, милочка, – ответила Рославлева, – и если увидишь, что я немножко права…

– Расстаться?

– Может быть… Это, во всяком случае, от тебя будет зависеть, и это не худший исход вашего романа.

– Нет! – взволнованно отозвалась Евгения. – Нет, этого я не смогу сделать. Он сам летом говорил о том, а я не захотела, а сейчас сяду и напишу, что не люблю его, что напрасно его завлекала и чтоб он забыл обо мне…

На глазах Евгении опять заблестели слезы. Рославлева поспешила успокоить:

– Зачем же такие крайности, милая Эжени? Ты вполне можешь сохранить знакомство и дружбу с ним…

– Нет, я знаю его лучше, чем ты… Ему нужна моя любовь, а не дружба!

– Не забудь, однако, что он, несомненно, сам тоже ищет выхода из тяжелого положения и если не имеет в виду ничего иного, то, возможно, будет теперь настолько благоразумен, что предпочтет дружеские отношения полному разрыву… Ты попробуй осторожно намекнуть в письме на это!

Евгения попробовала, и, как известно, ее предложение о

дружбе было Денисом Васильевичем отвергнуто самым решительным образом.

Что же Евгении оставалось делать? «Любовь подобна жизни, которая, раз утраченная, не возвращается более», – эта фраза из его письма сжимала грудь. Он догадывался, что наступила пора охлаждения, догадывался и страдал! Евгения не могла быть жестокой. Она смешала правду и неправду, ответив, что никакого обмана с ее стороны не было и относится она к нему по-прежнему.

Дни шли. Весна сменила зиму. Письма из Москвы приходили прелестные, и она читала их с удовольствием, а слова признания, высказанные в них, почти не трогали. Евгения убеждалась, что любви в сердце ее было, пожалуй, меньше, чем жалости. Но от этого было не легче, а тяжелей. Сознание, что она, не разобравшись как следует в себе, уверила его в своей любви и увлекла, и все поведение ее явилось, таким образом, причиной его нравственных мук, породило у Евгении чувство виновности перед ним, и это чувство все обострялось по мере того, как все ощутительней становилось охлаждение к нему. Испытывая угрызения совести, Евгения старалась, как могла, загладить свою виновность и отвечала на его письма хотя сдержанно, но неизменно тепло и ласково. Вот источник, питавший угасавшие надежды Дениса Васильевича!

К концу мая он снова приехал в Пензу. Евгения встретила его приветливо, была мила и нежна, сделала все, чтоб он не заметил начавшегося охлаждения. «Прием, который вы тогда мне оказали, наполнил меня вновь счастьем и восторгом», – писал он ей позднее. Однако заблуждение не могло продолжаться вечно.

Губернатор Панчулидзев сочетал в себе жестокость царского сатрапа с любовью к музыке, держал большой оркестр, составленный из крепостных, и часто давал у себя концерты для избранной публики. Будучи однажды на таком концерте, Денис Васильевич заметил, как в антракте Евгения и Рославлева, с которой давно был знаком, уединились в гостиной с каким-то неизвестным молодым человеком и ведут с ним оживленный, видимо интересный обеим, разговор.

Денис Васильевич почувствовал легкий укол ревности. Он стоял в дверях с губернатором и, когда наконец девицы под руку с неизвестным вышли из гостиной, спросил Панчулидзева как бы между прочим:

– А кто таков молодец, фланирующий с вашей племянницей, любезный Александр Алексеевич? Я, кажется, впервые его вижу…

Панчулидзев повел длинным носом в указанную сторону и, слегка поморщась, пояснил:

– Служащий моей канцелярии. Выслан сюда недавно из Москвы под строгий надзор за пагубное свободомыслие и пение пасквильных песен… Признаюсь, не понимаю: старинного дворянского рода, прекрасно воспитанный, богатый молодой человек – и вдруг этакая непозволительность!

– А позвольте полюбопытствовать об имени и фамилии?

– Огарев, Николай Платонович.

Антракт кончился. Беседа с губернатором прервалась. Но после концерта Евгения и Рославлева своего кавалера Денису Васильевичу представили.

Огарев был роста выше среднего, широк в плечах, с неправильными, но приятными чертами лица и густыми, вьющимися каштановыми волосами. Большие, серые, задумчивые глаза и добрая улыбка свидетельствовали о мягком и податливом характере. Денису Васильевичу он понравился. Чем-то неприметно Огарев напоминал брата Базиля, и не столько некоторым сходством внешних черт, сколько добровольным избранием опасной жизненной дороги. Базиль тоже был хорошо образован, богат, красив и, вместо того чтоб полно пользоваться этими щедрыми дарами жизни, предпочел заниматься политикой… И вот теперь расплачивается каторгой!

Денис Васильевич, как и прежде, а может быть, и больше, чем прежде, считал революционные замыслы химерами, но бескорыстное служение идее, пусть даже, по его мнению, ошибочной, внушало всегда уважение. И он, пожав руку Огарева, обменялся с ним несколькими фразами вполне доброжелательно.

Однако, провожая домой Евгению, не удержался от ревнивых намеков:

– О чем же вы, если не секрет, с Николаем Платоновичем столь любезно и приятно беседовали?

– Он занимательно говорил о своих наблюдениях, сделанных в губернаторской канцелярии, – ответила она, – а мы с Мари не во всем соглашались и спорили, хотя с Николаем Платоновичем спорить не так легко… Он собеседник очень интересный и умный!

Денис Васильевич саркастически усмехнулся:

– Еще бы! Я заметил это уже по вашим красноречивым взорам, обращенным к нему…

Евгения весело рассмеялась и сказала по-французски:

– Не ревнуйте! Огарев безумно влюблен в Мари, и она мне созналась, что ответила взаимностью…

Вот оно что! Он сразу почувствовал душевное облегчение, и ему захотелось сказать что-нибудь необыкновенно хорошее про Мари и Огарева, но он не успел этого сделать. Евгения заметила:

– И они стоят друг друга, не правда ли? Прекрасная пара! Я все время смотрю на них и радуюсь!

Последняя фраза произнесена была с оттенком невольной легкой зависти, и это от него не ускользнуло и больно задело, опять изменив настроение.

– Чему же радоваться? – сказал он сумрачно. – Огарев, я слышал, оказался в Пензе не совсем по доброй воле, и родные Мари вряд ли одобрят ее выбор.

– О, вы не знаете Мари! – воскликнула Евгения. – Полюбив, она способна переступить через многое, чтоб сохранить свое счастье!

Говоря это, Евгения, вероятно, никакого умысла не имела, а Денис Васильевич, настороженно прислушиваясь к ее словам, воспринял их теперь как горький упрек себе. И, сознавая, что, в сущности, она права, высказывая в той или иной форме недовольство положением, в какое он ее поставил, вздохнув, промолвил:

– Счастье! Есть много способов завоевать его и ни одного верного, чтоб сохранить!

Она посмотрела на него долгим, изучающим взглядом и ничего не сказала. Он, простившись с нею, ушел в самом тягостном настроении.

И с того вечера, многое передумав и взвесив, начал сомневаться в том, что Евгения продолжает по-прежнему любить его, и, следя за каждым ее поступком и словом, все более убеждался в том. Она под разными предлогами избегала оставаться с ним наедине, и приманка милых слов не скрывала от него признаков сердечного холодка.

Пожив в Пензе месяц, он уезжал после ярмарки домой. И хотя они условились встретиться вновь осенью и она говорила, что будет с радостью ждать его, от сомнений и тоски он не отделался. Переданное ей в последнюю минуту стихотворение выражало как нельзя лучше его душевное состояние:

Жестокий друг, за что мученье?
Зачем приманка милых слов?
Зачем в глазам твоих любовь,
А в сердце гнев и нетерпенье?
Но будь покойна только ты,
А я на горе обреченный,
Я оставляю все мечты
Моей души развороженной…
И этот край очарованья,
Где столько был судьбой гоним,

Где я любил, не быв любим,
Где я страдал без состраданья,
Где так жестоко испытал
Неверность клятв и обещаний, —
И где никто не понимал
Моей души глухих рыданий!

Софья Николаевна Давыдова давно подозревала, что пензенские поездки мужа вызваны не столько его желанием отдохнуть у старого сослуживца и побродить с ружьем в привольных охотничьих местах, сколько какой-то возникшей там любовной интригой.

Он над ее подозрениями посмеивался, сознаваясь лишь в том, что «бросил на бумагу несколько стихотворных строк в честь племянниц Бекетова». Следуя примеру Вяземского, он даже прочитал жене наименее интимные стихи, уверяя при этом, что выражение любовных восторгов в поэтических произведениях является не чем иным, как обычной условностью.

Софья Николаевна сделала вид, что поверила. Но последняя поездка Дениса в Пензу, вернее – возвращение оттуда в расстроенном состоянии, чего скрыть никак не удалось, окончательно убедили ее в своей правоте, и она молча, с присущей твердостью решила действовать. Замысла своего она ничем не выдала, а когда в конце лета он опять стал собираться в Пензу, заявила, что ей необходимо там кое-что купить и она едет с ним. Ему ничего не оставалось, как согласиться, ибо отговоры могли сразу разоблачить его.

В Пензе остановились они в гостинице, и Софья Николаевна под предлогом, что одной удобней делать покупки, отпустила мужа на три дня в Бекетовку повидаться с Митенькой. Возвратясь, он застал жену за сборами к обратному отъезду. Удивился:

– Что такое? Уже домой?

Она обожгла его недобрым взглядом холодных глаз, сказала кратко:

– Лошади сейчас будут поданы…

Он быстро сообразил, что кто-то успел, вероятно, насплетничать про него, и, стараясь казаться равнодушным, проговорил:

– Как тебе угодно, Сонечка, хотя мне хотелось бы побывать с тобой у Бекетовых, там тебя ждут…

Она, сдерживая клокотавшее в груди негодование, резко оборвала:

– Там ждут тебя, а не меня! Мне все известно про твое

распутство! Эта Золотарева твоя пассия! Весь город знает! Молчи, не смей возражать!

Возражать было бесполезно, он отлично понимал. И, закурив трубку, слушал гневные упреки жены молча. Всего она не знала – это выяснялось все более из ее слов и отчасти успокаивало.

Она заключила жестоко и без слез:

– Я не принуждаю тебя ехать со мною, можешь оставаться со своей пассией и никогда не возвращаться. Жалеть не буду, проживу сама с детьми отлично, не беспокойся!

Он опустил голову/ Если б эти слова были сказаны год назад! О, тогда его отношения с Евгенией могли бы сложиться совсем иначе. А теперь? Он только что виделся с нею в Бекетовке; она была, как всегда, хороша и ласкова с ним, а все же признаки начавшегося охлаждения неумолимо напоминали о себе. Что же делать ему с полученной свободой? Поздно, поздно!

Он ответил жене с ледяным спокойствием:

– Ты раздражена сплетнями и не отдаешь себе отчета в словах, поэтому я молчу. Пройдет твоя дурь – поговорим! Едем!

* * *

Оправдаться перед женой Денис Васильевич сумел. Сентиментальное и поэтическое увлечение, ничего больше! Примирение так или иначе состоялось. И он опять погрузился дома в литературные дела.

Последняя его работа, печатавшаяся в «Библиотеке для чтения», статья «Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау», заслужила похвалу всех, кто ее читал, да и сам он чувствовал, как в этой статье оригинальный его слог придавал живость описанным военным событиям. С творческим увлечением писалась им статья «Взятие Дрездена» и небольшой, приправленный юмором очерк «О том, как я, будучи штабс-ротмистром, хотел разбить Наполеона». Во всяком случае, теперь он ясней, чем прежде, сознавал художественные достоинства своей прозы и поэтому отделывал статьи с особой тщательностью[103].

И, конечно, по-прежнему не мало времени отнимала переписка с друзьями. Порадовал Языков, посвятивший ему стихи, в которых были такие выразительные строки о двенадцатом годе:

Где же вы, незваны гости?
Серебристый русский снег
Покрывает ваши кости,
Ваш погибельный побег!
Долго, знать, запировались
Вы в московских теремах!
Как бежали, как сражались —
Так вы пали и остались
На холодных пустырях.
Знайте крепость нашей силы.
Вы зачем сюда пришли?
Иль не стало на могилы
Вам отеческой земли?! —
Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу,
У врагов ты отнял славы,
Ты – боец чернокудрявый,
С белым локоном на лбу!

Благодаря Языкова за поэтический подарок, Денис

Васильевич писал:

«Можете ли вы думать, чтобы я воспротивился напечатанию оного? Кто противится бессмертию? А вы меня к нему несете, как в поднебесную орел голубя, – мощно и торжественно. Что за стихи, что за прелесть… Вы меня так этими стихами расшевелили, что я было принялся писать вам стихами же, измарал около дести бумаги и стал в пень от совести платить медью за золото»[104].

Но работа работой, а жестокие слова, жены, сказанные в Пензе, не забывались, настраивая при размышлении на мрачный лад.

Ревность жены была естественна, форма проявления ревности – более чем странна. Ни единой слезинки и никакого подобия чувства! И тоном таким говорила, словно рассчитывала провинившегося приказчика. «Жалеть не буду, проживу сама с детьми отлично». Это не простая фраза, сорвавшаяся с языка в запальчивости, он не раз слышал уже нечто похожее во время прежних домашних ссор. Имение принадлежало не ему, а жене. Золотой поток пшеницы надежней, чем литературные бредни! Она как бы намекала, что семья содержится на доход с ее имения, а следовательно, он не должен забывать о своей второстепенной роли в доме. И этот ощущаемый им оскорбительный намек, действуя на самолюбие, пробуждал глубокое раздражение против жены, против ее спокойной деловитости и помещичьей деятельности, против того жестокосердия, которое – он в этом не раз убеждался – было заложено в ее характере.

Вспомнился такой случай. Прошлый год выдался неурожайный. В ближнем селе Дворянская Терешка, где жила целая колония мелкопоместных дворян и среди них отставной гусарский майор Карл Антонович Копиш, приятель Давыдова, крестьянские посевы совершенно погибли, и настал голод. Тогда Копиш решил кормить своих крестьян, выдавая им ежемесячно хлеб из собственного амбара и не ожидая никакой беды за свой благородный поступок.

И вдруг в один прекрасный день являются к Копишу соседи-дворяне с объявлением, что хотят подать на него жалобу правительству как на неблагонамеренного человека, старающегося возбудить народ к бунту.

– Позвольте, господа, когда же и каким образом я это делал? – недоумевает Копиш.

– А как же, – толкуют ему соседи, – у наших крестьян нет ни куска хлеба, мякину с лебедой едят, и мы ни зерна им не даем на пропитание, а вы своих кормите… Знаете ли, какое это преступление? Знаете ли, какое последствие из этого выйти

может, милостивый государь?

– Знаю, – отвечает Копиш, – последствия те, что мои крестьяне живы будут, а ваши или перемрут с голоду, или разойдутся просить милостыни.

– Нет, сударь, это ничего, это плевка стоит, – возражают дворяне, – а вот наши крестьяне, узнав, что вы своих кормите, а мы не кормим, взбунтуются, и тому причиною будете вы. Вы, сударь, бунтовщик, посягатель на спокойствие государства, язва государственная, стыд дворянского сословия, и мы сейчас идем писать на вас донос губернатору…

Будучи в гостях у Копиша и узнав об этой выходке помещиков, Денис Васильевич, возмущенный до глубины души, сказал:

– Беспокоиться вам о дурных последствиях нечего, Карл Антонович, я сегодня же отправлю письма куда следует… Да хорошо бы ваших ретивых соседей в комедии осмеять, чтоб другим неповадно было! Я Вяземскому сообщу, может быть, он возьмется… Экие ведь подлецы, право![105]

Помещиков вразумили. Доносу хода не дали. Но дело не в том. Когда Денис Васильевич дома рассказал про это происшествие, жена, пожав полными плечами, произнесла:

– Не вижу причин для твоего негодования. Если все помещики, подобно Копишу, будут кормить мужиков, они забалуются и перестанут работать…

– Помилуй, Соня, что ты говоришь? – изумился он. – Там голод, люди пухнут от лебеды…

– В Поволжье неурожайные годы явление обычное, – отозвалась она невозмутимо, – поэтому разумные крестьяне имеют хлеб в запасе, а неразумным надлежит брать с них пример, а не рассчитывать на дармовое кормление… Вот и все, мой друг!

Да, рассуждая таким образом, Соня сама отдалялась от него, ибо отлично знала, как отвратительны ему всякие проявления жестокосердия.

И вместе с нараставшим раздражением против жены он все более испытывал теперь потребность в совершенно независимом от жены источнике дохода. Деньги, получаемые за продажу пшеницы, жгли ему руки. Пшеница выращивалась на жениной земле тяжелым трудом крепостных.

Денис Васильевич ясно, как очень немногие из дворян, понимал разницу между пшеничными деньгами и теми, которые зарабатывались собственным трудом. Известный издатель Смирдин платил по триста рублей за печатный лист военной прозы. Деньги небольшие, а получение их радовало необычайно. Ему самому деньги были не очень-то нужны, он никогда не был

жаден до них, но подрастали, учились дети. Он не хотел, чтобы впоследствии жена говорила, что воспитала их сама, без его участия и на деньги пшеничные.

В конце декабря, сообщая известному историку Михайловскому-Данилевскому о предполагаемой своей поездке в Петербург, Денис Васильевич писал:

«Я вздумал все выручаемые мною деньги за сочинения мои употреблять на прибавку жалования учителям и на покупку книг детям моим… Мне хочется, чтоб в совершенном возрасте сыновей моих они знали, что на воспитание их употреблены были не одни деньги пшеничные, но и те, которые я приобретал головою. Это, может быть, послужит им примером, ибо хороший пример действительнее всякого словесного наставления».

VII

Став высокопоставленным чиновником, Вяземский и внешне и в своих убеждениях резко изменился. Он располнел, в глазах появилось выражение не свойственной ему сухости, а в голосе некая начальственная медлительность и снисходительность. Былая горячая взволнованность уступила место холодной рассудочности. Былое свободомыслие испарилось, критическая настроенность заменялась постепенно признанием существующего порядка вещей.

В кругу старых приятелей Вяземский, правда, позволял еще себе иной раз либеральничать, зато за пределами этого круга высказывался лишь в казенных тонах благонамеренности. А в журналах вместо легких и изящных поэтических творений Вяземского стали печататься его статьи о внешней торговле. И у всех, кто близко знал Петра Андреевича как светского любезника и жуира, тяжеловесные и деловые его произведения вызывали невольную улыбку.

Денис Давыдов, приехавший в столицу 20 января 1836 года, явившись с первым утренним визитом к старому другу, разразился довольно красноречивым монологом по поводу его новой деятельности:

– Ты поверить не можешь, до какой степени мне странно твое превращение… Я читал твои статьи и глазам не верил. Как? Вяземский без классической своей улыбки! Вяземский без вдохновения, без чувств, без гармонии стихов, а холодный и рассчитывающий государственные приходы и расходы! О времена! Я видел тебя выбивающимся из этого океана вещественности, глотающим ее, захлебывающимся ею и протягивающим руку к какой-нибудь спасительной поэтической

веточке. Но не тут-то было! Вместо рифмы попадается тебе в руку извлеченный кубический корень и вместо начальной буквы имени твоей красавицы – неизвестные икс и зэт. «Батюшки, – думал я – он тонет! Запрягайте повозку, я скачу спасать его с бутылкою шампанского в руках! Пушкин, Жуковский, вы ближе меня к нему, помогите, помогите – один ведьмами и чертями, другой Онегиным, который ни на огне не сгорит, ни в воде не утонет. Караул! Вяземского топят! Его топят Канкрин и Бибиков! Они тянут его ко дну вещественности, как две гири государственных доходов. Бедный поэт!»

Вяземский слушал и улыбался.

– Очень забавно, милый Денис, однако не припомнишь ли ты некоего молодого человека, утверждавшего лет двадцать тому назад, что прозой пренебрегать не следует, ибо это тоже служба, отечеству небесполезная?

– Смотря какая проза! – с живостью возразил Денис Васильевич. – Иные твои статьи, внушенные не внешней торговлей, а умом и душой твоей, нежат не хуже стихов. И не извиняйся, пожалуйста, тем, что я тоже пишу иногда военные статьи. В темах военных есть поэзия, но какую, черт, поэзию ты найдешь под шкурой овцы, где спрятана блонда для тайного провоза через таможню?[106]

– Не задирай, не задирай, возражать все равно не собираюсь! – засмеялся неожиданно Вяземский. – Ей-богу, я так рад тебя лицезреть, что рапира из рук вываливается… Рассказывай про себя! Как живешь? Каковы успехи на романтическом поприще? Как чувствует твоя сага donna[XXV]?

Первый разговор, впрочем, был недолгим. Давыдов спешил по своим делам. Вяземского ждали в департаменте. Они уговорились встретиться вечером, чтоб вполне насладиться разговором наедине, столько ведь лет прожито в разлуке!

Но вечером… едва только Денис Васильевич показался в зале Вяземских, как его бросился обнимать Четвертинский. А следом за ним из дверей гостиной показался благодушно улыбающийся Жуковский, за широкой спиной которого прятался и хохотал Пушкин.

Оказывается, Вяземский, любивший подобные сюрпризы, успел известить всех о приезде Дениса, и они собрались сюда только для того, чтобы повидать его. Денис Васильевич был тронут. Вот истинные друзья! И после крепких объятий и поцелуев сказал:

– Скоро, мои любезные, мы будем видеться чаще… Будущую весну везу сюда учиться двух сыновей, а там ежегодно раза два придется производить партизанские наскоки для надзора за

ними. Смотрите же, прошу не стареть до того времени и брать пример с меня, а если вздумаете стареть, то, чур, вместе. Ох, тяжелое это дело! – признался он вдруг со вздохом. – Как я ни храбрюсь, а все чувствую, что не тот уже, что был.

Вяземский пошутил:

– Видим, видим, не охай! Отмытым белым локоном и сединой нас не удивишь. Бес на седину падок!

Пушкин подхватил:

– А знаешь, Денис Васильевич, я как только прочитал прелестное послание к тебе Языкова, так и подумал, что после этого чернокудрявому бойцу ничего не остается, как снова отмыть воспетый поэтом белый локон. И, право, хорошо ты сделал. Это знак благоговения к поэзии.

Беседа незаметно и оживленно завязалась вокруг нового журнала «Современник», издание которого недавно было разрешено Пушкину. И Вяземский, и Жуковский, и Денис Давыдов искренне радовались, что будет наконец-то свой журнал. Вырваться из грязных лап Булгарина и Сенковского давно все мечтали!

Пушкин говорил:

– Смирдин предлагает мне пятнадцать тысяч, чтоб я от своего предприятия отступился и снова стал сотрудником его «Библиотеки». Я не согласился, хотя это и выгодно. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура, что с ними связываться невозможно.

Денис Васильевич тут же поддержал:

– Ты совершенно прав. Давно пора нам отделаться от литераторов-ярыжников. Смирдин и Сенковский опакостили лучшие розы цветника моего.

– Какое оригинальное выражение недовольства редакторами! – заметил, смеясь, Жуковский.

– Согласись, однако, что оно достаточно точно и сильно, – вставил Вяземский.

– Нет, господа, кроме шуток! – продолжал Денис Васильевич. – Коверкая статьи, Сенковский не задумывается над тем, что одно переставленное слово часто отнимает всю душу периода. Посмотрите, например, как он расправился с концом моей статьи «Встреча с Суворовым». У меня было: «И Прага, залитая кровью, курилась», а Сенковский изменил так: «И Прага курилась, залитая кровью защитников». Этот урод не понял, что слово «курилась» в конце периода есть последний мах кисти живописца, следственно, в нем и вся сила периода. А что Смирдин и Сенковский сделали с любимым моим детищем «Воспоминанием о Прейсиш-Эйлауском сражении»! Варвары!

– Твое неудовольствие мне на руку, – весело сказал Пушкин, – ибо, надо полагать, ты охотно перейдешь после этого на службу под мое начальство.

– И служить буду лихо, не сомневайся! Рассчитывай на меня! – отозвался Денис Васильевич. – Помимо статьи «Занятие Дрездена», я обещаю тебе все, что будет выходить из-под пера моего и в прозе и в стихах.

– А скажи, как мне поступать, если то, что выходит из-под твоего пера, будет выглядеть несколько иначе, выйдя затем из-под пера цензора?

– Делай, как сочтешь нужным. Я уполномочиваю тебя вымарывать и изменять все, что твоей душе будет угодно. Я с тобой на все согласен, никаких условий не ставлю!

Так в тот вечер Денис Давыдов стал сотрудником пушкинского «Современника».

Родственную любовь и бескорыстную преданность поэта-партизана Пушкин всегда ценил и относился к нему с неизменной сердечностью и полным доверием. Года три назад Пушкин писал жене: «Я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник». А теперь, бывая вместе у Вяземского и у Жуковского, они сближались еще более.

Пушкин никогда не забывал, как в двенадцатом году, будучи лицеистом, он с восторгом слушал вести о партизанских подвигах Дениса Давыдова, как упивался его хмельными стихами и учился по ним «крутить» свои. И вот этот славный, милый Денис, не раздумывая, порывал связи со старыми, признанными книжными дельцами, вверяя безбоязненно ему, Пушкину, неопытному издателю, все свои литературные произведения!

Пригласив к себе Дениса Васильевича, Пушкин принял его, как родного, познакомил со своим семейством, а когда вошли в кабинет, взял с письменного стола книгу – это была недавно изданная «История Пугачевского бунта» – и, передавая ее гостю, сказал:

– Приготовлена для тебя. И с небольшим посланием!

Денис Васильевич раскрыл книгу и на первой странице увидел знакомый, тонкий, с легкими, нежными разводами пушкинский почерк и, краснея от удовольствия, прочитал:

Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса

Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир. в
Вот мой Пугач – при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой!
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

…26 января в Зимнем дворце был прием. Денис Васильевич, которого Жуковский уговорил представиться императору, стоял среди раззолоченной, титулованной столичной знати. Николай с выпяченной по обыкновению грудью и с надменным выражением окаменевшего лица обходил солдатским шагом собравшихся. Увидев Дениса Давыдова, царь остановил на нем взгляд немигающих оловянных глаз и, слегка кивнув головой, сказал:

– Наконец и ты здесь. Что причиною?

– Приехал устраивать двух старших сыновей, государь.

Один из адъютантов царя сейчас же пояснил:

– У его превосходительства генерала Давыдова пять сыновей, и он желает всех поместить в разные училища…

– Надеюсь, однако, что все они будут военные? – спросил строго Николай.

– Нет, государь, – возразил Денис Васильевич, – один пойдет по статской службе.

– Почему так?

– Он слабее других здоровьем.

Николай неопределенно хмыкнул, затем круто перешел на другое:

– А что Ермолов? Ты, наверное, каждый день с ним видишься?

– Никак нет, государь. Я живу в приволжской деревне и очень редко выезжаю оттуда.

– Вот что! Сделался деревенским байбаком! А сочинительством заниматься продолжаешь?

– Тружусь по мере сил, государь, над описанием войн, в коих принимал участие.

– Ну, трудись, только смотри, – царь слегка погрозил пальцем, – не заносись в мыслях, как с тобой не раз бывало… Узнаю – поссоримся!

Разговор с царем и тяжелый давящий взгляд оловянных глаз действовали на Дениса Васильевича угнетающе. После приема он отправился к Жуковскому, который продолжал жить в дворцовой

квартире. И, войдя, попросил:

– Сделай милость, Василий Андреевич, прикажи большую чарку водки дать…

Жуковский удивился:

– Да ведь ты как будто говорил, что от водки давно отказался?

Денис Васильевич зябко повел плечами:

– Продрог что-то! И потом бывают, знаешь, моменты, когда душа требует…

Выпив, он немного отошел, повеселел. Сообразив, что странное настроение Дениса связано с царским приемом, Жуковский собрался расспросить его обо всем подробно, но не успел. В гостиную, где они сидели, вошел остроносый, болезненного вида, с маленькими серыми глазами и застенчивыми манерами незнакомец. Жуковский сейчас же поднялся ему навстречу, обнял, расцеловал и представил:

– Николай Васильевич Гоголь.

Имя это Денису Васильевичу хорошо уже было известно. Он с удовольствием читал появлявшиеся в печати повести Гоголя, а о его недавно сочиненной комедии «Ревизор» все литературные приятели говорили как о совершенном шедевре. Пожимая теплую узкую руку Гоголя, он сказал:

– Счастлив познакомиться, Николай Васильевич, ибо принадлежу к числу восторженных ваших почитателей.

Гоголь добродушно улыбнулся:

– А я столько любопытного слышал о вас со всех сторон, и от Пушкина и от Языкова, что видеть вас – мое давнее желание…

Они успели обменяться лишь несколькими фразами. Комната стала заполняться другими гостями. Явился известный художник Чернецов, потом Вяземский с Плетневым, еще несколько столичных литераторов и, наконец, Пушкин[107].

Жуковский объявил:

– Некоторые из нас имели возможность насладиться прелестной комедией Николая Васильевича, однако большинство может судить о ее достоинствах только понаслышке, поэтому, господа, я решился просить любезного автора одолжить нас вторичным чтением…

Раздались дружные аплодисменты. Гоголь, смущаясь, встал, поклонился, сделал небольшую паузу и, встряхнув падавшие на лоб волосы, без всяких предисловий начал:

– Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор…

С первой же сцены слушатели были захвачены необычайным развитием происшествия, яркостью комедийных характеров и

бесподобным по мастерству чтением.

От души смеясь над всполошенным чиновничьим уездным мирком, Денис Васильевич ловил себя на мысли, что пороки, в которых обличались герои комедии, были распространены всюду и прежде всего в самых высших слоях бюрократии. Каких-нибудь два часа назад видел он во дворце и угодливо согнутые спины, и дрожащие колени, и подобострастные улыбки столичных Сквозник-Дмухановских и Ляпкиных-Тяпкиных. Комедия обнажала старые язвы отечества, сатирические стрелы со страшной силой впивались в толщу самодержавных устоев.

Возвращаясь поздно вечером от Жуковского вместе с Пушкиным, Денис Васильевич сказал:

– Не знаю, допустят ли комедию на сцену, но ежели допустят – многим не по себе будет… Гоголь не пощечинами пошлость бьет, а наотмашь хлещет. Талант великий, острый!

Пушкин кивнул головой и добавил:

– Ни у одного писателя, кроме Гоголя, не было и нет этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся эта мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Я не жалею, что именно Гоголю подсказал сюжет, этой комедии.

– А почему же ты сам за нее не взялся?

– Мне не до того, милый Денис, – неожиданно мрачнея, признался Пушкин. – Ты не можешь представить моего положения. Я в вечных хлопотах и беспокойстве. Чем нам жить? У нас ни гроша верного дохода и пятьдесят тысяч долгов. Я теряю напрасно время и силы душевные и не вижу ничего хорошего в будущем.

– Мне кажется, тебя губит этот лощеный Петербург, – сказал Денис Васильевич. – Я уверен, если б ты уединился года на два в деревню…

– Царь не позволяет мнг покинуть столицы, – перебил Пушкин, – и вместе с тем не дает способов жить здесь моими трудами… В этом все дело!

– Почему же так? Какой для него смысл?

Они шли по пустынной набережной. Пушкин оглянулся, потом заговорил по-французски тихо, быстро и взволнованно:

– Он пожелал, чтоб Наталия Николаевна танцевала в Аничковом дворце… Поэтому я и был обряжен в дурацкий кафтан камер-юнкера, неприличный моим летам… И он, как офицеришка, ухаживает за женой, хотя она всячески старается избегать его любезностей…

Пушкин остановился, передохнул и закончил еще мрачней:

– Да, милый мой, хотя жизнь и сладкая привычка, как говорят

немцы, но в ней есть горечь, делающая ее в конце концов отвратительной, а великосветская чернь – мерзкая куча грязи!

VIII

А роман с Евгенией не был еще окончен. Известная отчужденность от жены, происшедшая в последнее время, невольно возвращала Дениса Васильевича к мыслям о Евгении, и все связанное с ней казалось таким прекрасным, поэтическим, что он, и зная о ее начавшемся охлаждении, продолжал тешить себя несбыточными надеждами на возобновление былых отношений. Тайная переписка между ними продолжалась. И выраженные в чудесных стихах воспоминания о былой любви пробуждали не только грусть, но и нежность и неясное душевное томление.

В былые времена она меня любила
И тайно обо мне подругам говорила,
Смущенная и очи опустя,
Как перед матерью виновное дитя.
Ей нравился мой стих, порывистый, несвязный,
Стих безискусственный, но жгучий и живой,
И чувств расстроенных язык разнообразный,
И упоенный взгляд любовью и тоской.
Она внимала мне, она ко мне ласкалась,
Унылая и думою полна,
Иль ободренная, как ангел, улыбалась
Надеждам и мечтам обманчивого сна…
И долгий взор ее из-под ресниц стыдливых
Бежал струей любви и мягко упадал
Мне на душу – и на устах пылал
Готовый поцелуй для уст нетерпеливых…

Денис Васильевич пробыл в Петербурге всего две недели. Он спешил в Москву. Там ждала Евгения, приехавшая, как было заранее условлено, из Пензы с Полиной.

Встреча порадовала душевностью. Евгения первая обняла его, поцеловала и призналась, что соскучилась. Может быть, так оно и было. Давно не виделись, и он ей все-таки нравился.

Они стали вместе появляться в общественных местах: Евгению здесь никто не знал, и она чувствовала себя свободно. А ему на каждом шагу попадались знакомые, и приходилось думать о том, чтобы предотвратить возможность нового семейного скандала. Посплетничать в Москве любили не меньше, чем в

Пензе!

Он решил, что лучше всего самому сообщить жене о встрече с Евгенией, придав этой встрече характер простой случайности,

Сначала, описывая бал в Благородном собрании, он вставил:

«Кого, ты думаешь, я там, между прочим, встретил? Pauline Zolotarew; сестры ее, старинной моей пассии (как ты думала) не было, она больна была и оставалась дома. Но встреча эта ничего не значит, а вот что значит. Pauline мне сказала о трех свадьбах в Пензе: какая-то родственница Всеволжского идет замуж, Рославлева, племянница губернатора, и еще Елизавета Александровна… Золотарева звала меня к ним, и я непременно буду у них на первой или на второй неделе, – надеюсь, что из тебя пензенская дурь вышла»[108].

А спустя несколько дней в другом письме появилась и такая подчеркнуто равнодушная фраза:

«Был у Золотаревых. Eugenie, кажется, замуж идет за какого-то Мацнева, помещика Орловского и Пензенского, но это не наверное».

Денис Васильевич, разумеется, не мог оставаться равнодушным к замужеству Евгении, но пока ничего определенного не было.

Пожилой и некрасивый Василий Осипович Мацнев, драгунский офицер в отставке, владелец села Рузвечи, Наровчатского уезда, Пензенской губернии, сватался за Евгению уже пятый год. Родители советовали ей принять предложение, она не хотела о нем и слышать. И теперь, рассказывая Денису Васильевичу пензенские новости, Евгения полушутя сказала:

– А за меня опять приезжал свататься Василий Осипович… Клялся в неизменной любви и чуть не плакал!

– Ну, и чем же вы вознаградили столь древнего своего рыцаря? – спросил Денис Васильевич, чувствуя невольный холодок в сердце.

– А как вы думаете? – прищурилась она.

– Не знаю… Все зависит от вас… от вашего чувства и желания…

Он не в состоянии был сдержать волнения, она заметила это и сказала с улыбкой:

– Успокойтесь, я не дала своего согласия.

Он молча и благодарно поцеловал ее руку. И более ничто не омрачало дней, проведенных с Евгенией в Москве.

Денис Васильевич не был, впрочем, целиком поглощен своим романом. По укоренившейся привычке он и в Москве каждое утро садился к столу, работал над военной прозой[109].

Внимательно следя за иностранной литературой, он давно

заметил, что большинство чужеземных историков, журналистов и писателей старались с особым рвением очернить все, что касалось России, ее народа и войска, быта и нравов.

Особенно много клеветников было во Франции и Англии, где не могли примириться с возраставшим военно-морским могуществом России, оспаривали ее право на прибалтийские и крымские земли, открывавшие естественный выход к морю, и в то же самое время прославляли Англию «за основание колоний во всех пяти частях света и самодержавие владычества ее на всех морях», а Францию «за завоевание почти всей Европы».

Готовя ответ чужеземным историкам, Денис Васильевич весьма справедливо замечает, что упреки англичан особенно странны, ибо «Англия, продолжая прибегать к инквизиционным мерам в своих сношениях с Ирландией, напрягает все свои усилия, чтоб смирить мятежную Канаду, и отторгла Бельгию от Нидерландов, взамен колоний, которых она не помышляет возвращать Нидерландам».

И далее, отвечая беснующимся клеветникам, он пишет:

«Не благоразумнее ли поступили бы враги наши, если б к общему ополчению гортаней и перьев присоединили бы и логику?.. Неужели за все это время не было проведено нами в исполнение ни одного обширного труда, не было обнародовано ни одного благотворного постановления? Не была одержана ни одна блестящая победа на суше и море, не был заключен ни один славный мирный договор? Всего было довольно. Но в каком свете все это изображено иностранными писателями? Какой геройский подвиг, совершенный русскими, передан в истинном виде? Зато с какою алчностью хватаются за все воспоминания о малейших неудачах наших! С какою тайной радостью повествуют они о поражении нашей неопытной армии под Нарвой! Забавно то, что мы, школьники-воины, были предводительствуемы их единокровными: герцогом де Кроа и Аллартом, перебежавшим к неприятелю при начале сражения. Как торжественно передают они описание малейших частных неудач наших! Нет исторического и дамского альманаха, нет той детской книжки, где бы не были изображены эти события на чужеземный лад, то есть в искаженном виде!»

Как раз в то время, когда Денис Васильевич занимался этой статьей, ему приходилось по старой памяти бывать у Михаила Федоровича Орлова. Там собирались иногда московские либералисты, бывал Чаадаев, остро критиковавший пороки современной жизни и вместе с тем зачеркивавший все историческое прошлое России и видевший ее спасение в перевоспитании на началах католицизма.

– Исторический опыт для нас не существует, поколения и века прошли без пользы для нас, – говорил Чаадаев. – Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы…

Патриотические чувства Дениса Васильевича были задеты сильнейшим образом. Он возражал чужеземцам, пытавшимся умалить славу отечества, а туг находятся свои ниспровергатели! Надо резко осмеять этих поклонников модных бредней! Так зарождался в голове сатирический памфлет, названный им «Современная песня».

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.
Деспотизма супостат,
Равенства оратор, —
Вздулся, слеп и бородат.
Гордый регистратор.
Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.
А глядишь: наш Мирабо
Старого Таврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.
А глядишь: наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей…

В этом стихотворном памфлете выявилось не только сатирическое дарование Дениса Давыдова, но и наиболее отчетливо обнаружилась неустойчивость его общественных взглядов.

Высмеивая либеральствующих салонных шаркунов, не видевших ничего хорошего в своем отечестве, Денис Васильевич в то время невольно смыкается с такими охранителями существовавшего строя, как Уваров и Булгарин, хотя в ожесточенной борьбе с ними, которую вел тогда Пушкин, Денис Васильевич был полностью на стороне последнего.

Заметим, что Пушкин, как и Денис Давыдов, с негодованием отверг высказывания Чаадаева о нашей исторической ничтожности. «Клянусь честью, – писал он старому приятелю – что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Но Пушкин вместе с тем заметил и то положительное, что содержалось во взглядах Чаадаева. «Поспорив с вами, я должен вам сказать, *что* многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша, общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине *могут* привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили…»

В споре с Чаадаевым явно прав был Пушкин, а не перехвативший через край Денис Давыдов.

* * *

Пушкинский «Современник» не выходил из головы. О том, что издание нового журнала сопряжено с огромными трудностями, Денис Васильевич отлично был осведомлен. Пушкинская ода «На выздоровление Лукулла» взбесила ошельмованного в ней министра просвещения Уварова, казнокрада и карьериста, – от него теперь можно ожидать любых гадостей. Уваровский клеврет Дундуков-Корсаков, возглавлявший цензурный комитет, относился к Пушкину с нескрываемой недоброжелательностью. Фаддей Булгарин и его клика, почувствовав за спиной сильных покровителей, продолжали наглеть. А к тому же у Пушкина не было ни средств, ни связей с книгопродавцами, ни сотрудников…

Денис Васильевич, по собственному выражению, «пустился помогать Пушкину». Он рекомендует широкому кругу знакомых выписывать новый журнал, привлекает к сотрудничеству в нем видных литераторов.

Пушкина из Москвы он уведомляет:

«Баратынский хочет пристать к нам, это не худо; Языков, верно, будет нашим, надо бы и Хомякова завербовать, тогда стихотворная фаланга была бы в комплекте».

В первых числах марта Денис Васильевич отправляется из Москвы в Верхнюю Мазу не прямой дорогой, а через Языково, делая пятьсот верст лишних по весеннему бездорожью, чтоб только повидаться с Николаем Михайловичем. И, возвратившись затем домой, извещает Пушкина: «Языков готов поступить под твои знамена», – и тут же с тревогой скрашивает: «Нет ли прижимки твоему журналу со стороны наследников Лукулла?»

А через неделю сообщает Вяземскому:

«Я на днях писал к Пушкину и забыл спросить его, скоро ли будет объявление о журнале его в газетах? Объявление, которое я читал в «Инвалиде», недостаточно. Надо знать, где на этот журнал подписываться и пр. Меня уже на этот счет терзают вопросами, и охотников много, а сверх того я могу еще подобрать довольное число. Этим пренебрегать не надо».

Вскоре прижимки журналу, которых опасался Денис Васильевич, коснулись его собственной статьи «Занятие Дрездена». Она должна была идти во втором номере «Современника». Но цензура так изуродовала статью, выбросив из нее критические замечания о бароне Винценгероде, что Пушкин вынужден был отложить публикацию, известив автора о неприятном происшествии.

Денис Васильевич отозвался так:

«Правда твоя, видно, какая-нибудь немецкая ведьма особого рода стоит горой за Дрезден и Винценгероде… Как бы то ни было, но эскадрон мой, опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблею, прошу тебя привести в порядок; надо убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с оставшимися всадниками «ура!» и снова в атаку. Так делывал я в настоящих битвах; солдату грешно унывать, надо либо пропасть, либо врубиться в паршивую колонну! Одного боюсь я: как ты уладишь, чтобы при исключении погибших сохранить в эскадроне связь и единство? Возьми этот труд уже на себя, бога ради; собери растрепанные части и сделай из них нечто целое. Между тем не замедли прислать мне чадо мое (рукопись), пострадавшее в битве; дай мне полюбоваться на благородные его раны и рубцы, полученные в неравной борьбе, смело предпринятой и храбро выдержанной…»

Пушкин не замедлил ответить:

«Статью о Дрездене не могу тебе прислать прежде, нежели ее не напечатают, ибо она есть цензурный документ. Успеешь наглядеться на ее благородные раны.

Покамест благодарю за позволение напечатать ее и в

настоящем виде. – А жаль, что не тиснули мы ее во втором № Современника, который будет весь полон Наполеоном; куда бы кстати тут же было заколоть у подножья Вандомской колонны генерала Винценгероде как жертву примирительную! – я было и рукава засучил! Вырвался, проклятый; бог с ним, черт его побери!

Вяземский советует мне напечатать *Твои очи* без твоего позволения. Я бы рад, да как-то боюсь. Как думаешь, – ведь можно бы без имени?»

Последняя приписка не оставляет сомнения, что Пушкину в подробностях был известен роман Дениса Давыдова. «Твои очи» одно из интимных стихотворений, посвященных Евгении Золотаревой, и опубликование его могло доставить новые неприятности автору. И, конечно, он в ответном письме Пушкину решительно воспротивился: «Очи» не позволяю тебе печатать ни за что, даже и без подписи».

А в Пензе тем временем произошло событие, которое приблизило развязку романа. Иван Васильевич Сабуров выпустил под псевдонимом Мурзы Чета своеобразную сатиру на пензенцев под названием «Четыре роберта жизни». Сабуров славился тяжкословием, литературными достоинствами его произведение не отличалось, но оно было полно оскорбительных намеков на «пензенских жителей обоего пола», в частности, в нем высмеивалось и любовное увлечение старого «партизана-подагрика», в котором все без труда признали Дениса Давыдова.

В Пензе поднялась суматоха. Некоторые из осмеянных заболели нервической горячкой, другие готовились по-свойски расправиться с новоявленным сатириком, до сих пор занимавшимся разведением мериносов в своем поместье, третьи взялись за перо, сочиняли злые ответы.

Денис Васильевич тоже написал эпиграмму:

Меринос собакой стал —
Он нахальствует не к роже,
Он сейчас народ прохожий
Затолкал и забодал.
Сторож, что ж ты оплошал?
Подойди к барану прямо,
Подцепи его на крюк
И прижги ему курдюк
Раскаленной эпиграммой!

Евгения Золотарева сатирой задета не была. Однако достаточно оказалось намеков на увлечение «партизана-подагрика», чтоб возбудить особый интерес пензенцев к предмету

его увлечения. Евгению и ее родных это обстоятельство встревожило чрезвычайно. Давно распространяемые по городу слухи находили подтверждение в изданной книге! Нужно без промедления спасать репутацию!

Не подозревая, что сабуровской «пачкотне» придали такое значение, Денис Васильевич приехал в Пензу, явился с обычным визитом к Спицыным, но встречен был на этот раз не Евгенией, а Анной Дмитриевной. Она вежливо пригласила его в гостиную и, поведав с волнением о неприятных последствиях, вызванных появлением сатиры, объявила:

– Евгения дала согласие на брак с Василием Осиповичем Мацневым, и вы, надеюсь, понимаете, что дальнейшие ваши встречи с сестрой…

Он сидел в кресле молча, бледный как полотно, и, не дослушав, поднялся и проговорил чужим, хриплым голосом:

– Я прошу лишь об одном… прошу позволения… видеть Евгению Дмитриевну последний раз, чтоб проститься.

Анна Дмитриевна, догадавшись о силе молчаливого его страдания, отказать в просьбе не могла:

– Хорошо… Я скажу ей…

Евгения вошла, остановилась у дверей. Он взглянул в ее потупленное лицо, оно не скрывало следов душевной борьбы, тревоги и пролитых слез. Он отлично знал, что она не любит Мацнева и выходит замуж, принуждаемая проклятыми условностями жизни. Да, ей тоже нелегко!

Сдерживая себя, он произнес:

– Я не вправе ни в чем упрекать вас. Вы вольны в своем поступке. И я знал, что рано или поздно так должно было произойти, но это не облегчает удара… Все кончено для меня: нет настоящего, нет будущего, осталось только прошлое, и все оно заключается в письмах, которые я писал вам в течение двух с половиной лет счастья… Вот единственная причина, заставляющая меня желать возвращения писем…

Она подняла на него блеснувшие слезами глаза и сказала с тихой печалью:

– А я хотела просить вас, Денис Васильевич, чтобы вы позволили мне оставить эти письма у себя…

Он горько усмехнулся:

– Зачем? Чтоб они сделались когда-нибудь причиной ревности вашего супруга и полетели в огонь, смятые жестокой его рукой?

– Нет, нет, этого никогда не будет! – воскликнула она, и щеки ее вдруг запламенели. – Я бы возненавидела его и ушла от него в ту же минуту, если б он посмел, клянусь вам! Нет, я буду бережно

хранить их до самой смерти… Зачем? А вы не догадываетесь разве, что шаг, на который я решаюсь, не обещает мне впереди больших радостей?.. Не лишайте же меня поддержки… вашими ласковыми и нежными словами, высказанными в письмах… может быть, только они и будут освещать и согревать мою жизнь…

Она не выдержала и расплакалась. Слезы стояли и в его глазах. Он сделал над собой усилие, шагнул к ней, взял и поднес к губам ее руку:

– Пусть будет, как вы хотите… Прощайте!

И быстро, не оглядываясь, вышел.

* * *

Тоска, тоска, страшная, гнетущая тоска овладела им, и не было, кажется, нигде от нее спасения. Ничто не радовало, ничто не утешало. И жизнь шла словно в тумане.

В августе в Симбирск приезжал император Николай. Дворянство губернии должно было по обычаям того времени явиться для встречи. Денис Васильевич видеть царя не захотел и соседу Бестужеву написал, что он «бог знает что налгал губернатору для передачи тому или тем, которые полюбопытствуют спросить обо мне».

А осенью, переехав в Москву, он признавался в письме Вяземскому:

«Итак, я оставил степи мои надолго. Дети так подросли, что уже нет возможности оставаться около риг и гумен. Однако не могу не обратить и мысли и взгляды мои туда, где провел я столько дней счастливых и где осталась вся моя поэзия! Здесь у меня перед окошками пожарное депо, а в обществе Хомутотва и вечные Пашковы; поневоле вздохнешь и о хижине моей, в степях затерянной, и о двухсотверстных визитах моих, моих собаках, моих ловитвах, mon Eugenie et mes amours[XXVI]! Но последнее из пера вырвалось, прошу, если победишь лень свою и вздумаешь писать ко мне, не упоминай о том ни слова».

Он искал забвения и не находил. Он всем существом своим чувствовал, что поэзия навсегда ушла из его жизни, а жизни без поэзии для него не было. Он до самой смерти не написал более ни одной стихотворной строки. Кроме вот этих прощальных, обнажавших душевные раны, сочиненных в одну из бессонных ночей в конце года:

Прошла борьба моих страстей,

Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных ночей
Неотразимый, неизбежный,
И милые тревоги милых дней,
И языка несвязный лепет,
И сердца судорожный трепет,
И смерть, и жизнь при встрече с ней…
Исчезло все! – Покой желанный
У изголовий сидит…
Но каплет кровь еще из раны,
И грудь усталая и ноет и болит!

И, может быть, только переписка с Пушкиным, работа для его журнала облегчали до некоторой степени. Денис Васильевич не сомневался в бессмертном значении творчества Пушкина, открыто называл его, единственного родного своей душе поэта, Великим Пушкиным, дорожил долголетней, ничем не омраченной, дружеской близостью с ним и тем, что Пушкин откровенными мыслями делился с ним, как с немногими.

Послав Пушкину статью «О партизанской войне», Денис Васильевич полагал, что она не встретит препятствий со стороны цензуры, однако ошибся, Пушкин ему написал следующее:

«Ты думал, что твоя статья о партизанской войне пройдет сквозь цензуру цела и невредима. Ты ошибся: она не избежала красных чернил. Право, кажется, военные цензоры марают для того, чтобы доказать, что они читают. Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою напляшешься; каково же зависеть от целых четырех?[XXVII] Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царствования покойного императора, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову.

Цензура дело земское; от нее отделили опричину – а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением».

Читая эти строки, Денис Васильевич, конечно, не предполагал, что более от милого и великого друга никогда уже ему писем не получать…

Страшно близок был тот день, когда Баратынский в запорошенной снегом шубе, с глазами, припухшими от слез, ворвавшись в кабинет Давыдова, голосом, сдавленным глухими рыданиями, крикнет:

– Пушкин убит на дуэли! Пушкина нет более!

Да, неотвратима была кровавая развязка драмы, которая уже разыгрывалась в столице империи. И это тоже предстояло пережить и перестрадать!

IX

ДЕНИС ДАВЫДОВ – ВЯЗЕМСКОМУ

3 *февраля 1837 года. Москва, на Пречистенке в собственном доме*

Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решительно поразила; я по сю пору не могу образумиться. Здесь бог знает какие толки. Ты, который должен все знать и который был при последних минутах его, скажи мне, ради бога, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь *бабами обоего пола.* Пожалуйста, не поленись и уведомь обо всем с начала до конца, и как можно скорее.

Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России! Vraiment unecalamite publique![XXVIII] Более писать, право, нет духа. Я много терял друзей подобною смертию на полях сражений, но тогда я сам разделял с ними ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, а это бог знает какое несчастие! А Булгарины и Сенковскис живы и будут жить, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти.

Денис

* * *

ВЯЗЕМСКИЙ – ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ[110]

9 февраля 1837 года. Из Санкт-Петербурга

Сейчас прочел я твое письмо от 3 февраля и спешу сказать тебе несколько слов в ответ. Понимаю твою скорбь и знал наперед, что ты живо почувствуешь нашу потерю. Чье сердце любило русскую славу, поэзию, знало Пушкина не поверхностно, как знал его равнодушный или недоброжелательный свет, и умело оценить все, что было в нем высокого и доброго, несмотря на слабости и недостатки, свойственные каждому человеку; кто умеет сострадать несчастию ближнего, – может ли тот не содрогнуться от участи, постигнувшей Пушкина, и не оплакивать его горячими, сердечными слезами!

Спроси у Булгакова копию с письма, в котором описываю ему подробности последних дней.

Ясно изложить причины, которые произвели это плачевное

последствие, невозможно, потому что многое остается тайным для нас самих, очевидцев. Впрочем, и тем, что знаем, можно объяснить случившееся приблизительно и следующим образом: гнусные анонимные письма, о коих ты, верно, уже знаешь, лежали горячею отравою на сердце Пушкина. Ему нужно было выбросить этот яд с своею кровью или с кровью того, который был причиною или предлогом нанесенного Пушкину оскорбления. В первую минуту по получении этих писем он с яростью бросился на молодого Геккерна и вызвал его драться. Со стороны старика Геккерна пошли переговоры, и, по его просьбе, дуэль отсрочена на 15 дней. В эти 15 дней неожиданно, непонятно для всех, уладилась свадьба молодого Геккерна с сестрой Пушкина жены. Пушкин о том ничего не знал; узнав, не верил тому и полагал, что это все военная или дипломатическая хитрость. Но когда помолвка совершилась, он обратно взял картель, признавая, вероятно, в душе своей эту странную свадьбу, которая, во всяком случае, накидывала неприятную тень на молодого Геккерна, – за достаточную для себя сатисфакцию и, с другой стороны, признавая, по-видимому, несбыточность дуэли за жену свою с тем, который женится на сестре ее. Между тем тут же объявил он, что хотя от поединка, предложенного им, и отказывается, но семейных и даже общих сношений знакомства с семейством Геккерна иметь не будет; не принимал поздравлений, язвительно отзывался о свадьбе встречным и поперечным и решительно объявил, что ни он, ни жена его не будут в доме Геккерна, ни они у него в доме, что и было в точности соблюдено.

Все это замазало рану, но не исцелило. Женитьба Геккерна мало что изменила в общем их положении. Страсть, которую он афишировал к Пушкиной, продолжал он афишировать и после женитьбы; городские толки не умолкали, напротив, общее внимание недоброжелательного, убийственного света впилось еще более в действующих лиц этой необыкновенной драмы, которой готовилась столь ужасная и кровавая развязка. Пушкин все это видел, чувствовал: ему стало невтерпеж. Он излил все свое бешенство, всю скорбь раздраженного, оскорбленного сердца своего в письме к старому Геккерну, желая, жаждая развязки. В этом письме пером, омоченным в желчь, запятнал он неизгладимыми поношениями старика и молодого и отправил ему письмо в понедельник, 25 января.

– С начала этого дела, – говорил он за час до поединка д'Аршиаку, секунданту молодого Геккерна, – я вздохнул свободно только на минуту, когда написал это письмо[XXIX].

Старик показал письмо сыну (или не знаю, что он ему, ибо никто на счет этот положительного не знает). Разумеется, делать

было нечего тому, как драться. Он вызвал Пушкина. Вторник прошел в переговорах. Пушкин не хотел иметь секунданта, чтобы не компрометировать никого. Они настаивали, чтобы он имел секунданта. «Так как вызов последовал со стороны г. Геккерна, который оскорблен, – писал Пушкин к д'Аршиаку, – то он может выбрать мне секунданта, если этого ему хочется, я принимаю его заранее, если даже он выберет своего егеря».

Между тем все в мысли, чтоб не компрометировать русского, он адресовался к Медженису, советнику английского посольства, который требовал предварительно, до изъявления согласия, подробного изложения причин и обстоятельств, вынудивших дуэль.

«Я не желаю, – говорит Пушкин в том же письме д'Аршиаку, – чтобы петербургские праздные языки мешались в мои семейные дела. Я не согласен ни на какие переговоры между секундантами».

В день дуэли нечаянно попал он на улице на старого товарища лицейского, Данзаса, с которым он был всегда отменно дружен, не говоря ему ни слова, посадил его в свои сани и повез к д'Аршиаку. Спустя два часа они были уже за Черною речкою, близ комендантской дачи. Пушкин, ехав туда с Данзасом, был покоен и даже весел. Барьер назначен был в 10 шагах, и отсчитано еще 5 каждому. Оба подвигались, целя друг в друга. Геккери выстрелил первый. Пушкин упал, сказав: «Я ранен». Он лежал головой в снегу. Все бросились к нему, и Геккерн также. После нескольких секунд молчания и неподвижности он приподнялся, оперся левою рукою и сказал:

– Подождите! Я чувствую в себе довольно силы, чтобы сделать свой выстрел,

Геккерн возвратился на свое место. Опираясь левою рукою в землю, Пушкин стал прицеливаться в него твердою рукою, выстрелил – Геккерн пошатнулся и упал. Пушкин кинул вверх пистолет и вскрикнул: «Браво!» После, когда оба противника лежали каждый на своем месте, Пушкин спросил Данзаса:

– Убит ли он?

– Нет, но он ранен в руку и грудь.

– Странно, я думал, что мне будет приятно его убить, но я чувствую, что нет.

Данзас хотел сказать несколько мировых слов, но Пушкин, не дав ему времени, продолжал:

– Впрочем, все равно; если мы оба поправимся, то надо начать снова.

Пуля Пушкина попала в правую руку Геккерна, которою он прикрывал грудь свою, пробила мясо, ударилась об пуговицу

панталон, на которую надеты были помочи, и уже ослабевшая отскочила в грудь, отчего сперлось дыхание в нем на несколько секунд, что, вероятно, было причиною падения. Пуля же роковая, которая отлита была на погибель Пушкина, раздробила боковую кость его, разорвала внутренний сосуд и оконтузила кишки, так что с первого взгляда все доктора, и особенно Арендт, признали рану его смертельною по двум и более свойствам ее. Остальное ты найдешь в письме моем к Булгакову.

Главный вывод всего этого происшествия есть следующий: какое-то роковое предопределение стремило Пушкина к погибели. Разумеется, с большим благоразумием и с меньшим жаром в крови и без страстей Пушкин повел бы это дело иначе. Но тогда могли бы мы видеть в нем, может быть, великого проповедника, великого администратора, великого математика; ко, на беду, провидение дало нам в нем великого поэта. Легко со стороны и беспристрастно или бесстрастно, то есть тупо и деревянно, судить о том, что он должен был чувствовать, страдать и в силах ли человек вынести то, что жгло, душило его, чем задыхался он, оскорбленный в нежнейших чувствах своих: в чувстве любви к жене и в чувстве ненарушимости имени и чести его, которые, как он сам говорил, принадлежали не ему одному, не одним друзьям и ближним, но России.

– Мне не довольно того, – говорил он однажды Софье Карамзиной, – что вы, что мои друзья, что здешнее общество, так же, как и я, убеждены в невинности и в чистоте моей жены; мне нужно еще, чтобы доброе имя мое и честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно.

Можно ли винить его в этой щекотливости? Разумеется, никто здесь из порядочных людей не сомневался в непорочности жены его; но все-таки в глазах света третье лицо стало между мужем и ею и набрасывало на них тень свою. Это был призрак; ничего существенного, действительного в нем не было, это правда; но не менее того и, напротив, именно от того, призрак неотступный и должен был свести с ума и бросить в крайность человека раздражительного. Конечно, он во всем этом деле действовал страстно, но всегда благородно и с удивительною, трогательною деликатностью к жене своей, которую он, можно сказать, полюбил нежнее, почтительнее с самого начала этой истории, в то самое время, когда он решился играть жизнь свою за нее, и не забудьте, какую жизнь, не дюжинную, не темную, но жизнь, ущедренную славою и любовию России, жизнь, которая должна была, иметь цену и прелесть в глазах его. Твердость, спокойствие, ясность духа, которые воцарились в нем с той минуты, когда дуэль, то есть развязка нравственной пытки, была

решена, и не изменили ему ни на месте битвы, ни на одре смертного страдания до последнего вздоха, убедительно показывают, из каких слоев сложена была эта душа, сильная и высокая. Смерть его явила, чем была истинная сторона жизни его. Все, что и было в ней нестройного, необузданного, болезненного, принадлежит обстоятельствам.

Смерть его произвела необыкновенное впечатление в городе, то есть не только смерть, но и болезнь и самое происшествие. Весь город, во всех званиях общества, только тем и был занят. Мужики на улицах говорили о нем. Я недавно спросил у своего извощика, жаль ли ему Пушкина? «Как не жалеть, – отвечал он мне, – все жалеют: он, слышь, был умная голова…» Участие, которое было принято публикою и массою в этом несчастье, могло бы служить лучшим возражением на письмо Чаадаева, и Чаадаев, глядя на общую скорбь, нанесенную несчастием одного лица, должен был бы признаться, что у нас есть отечество, есть чувство любви к отечеству, есть живое чувство народности…

Покажи мое письмо Баратынскому, Раевскому, Павлу Войновичу Нащокину и всем тем, которым память Пушкина драгоценна. Более всего не забывайте, что Пушкин нам всем, друзьям своим, как истинным душеприкащикам, завещал священную обязанность оградить имя жены его от клеветы. Он жил и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна, и мы очевидцы всего, что было проникнуто этим убеждением; это главное в настоящем положении.

Адские козни опутали их и остаются еще под мраком. Время, может быть, раскроет их. Но пока я сказал тебе все, что вам известно.

«Современник» будет издаваться нами, и на этот год, в пользу семейства Пушкина, пришли нам что-нибудь своего. Я все болен телом и духом. Прости, обнимаю тебя.

Вяземский

* * *

ДЕНИС ДАВЫДОВ – ВЯЗЕМСКОМУ

6 марта 1837 года.

Из Москвы

Я все был нездоров, мой милый Вяземский, и только что теперь собрался писать к тебе и благодарить тебя за письмо твое. Видя в обращении несколько описаний горестного происшествия с Пушкиным, между которыми и письмо твое к Булгакову, я не счел за преступление позволить списать Булгакову и одному из

моих приятелей письмо твое ко мне, с тем однако ж, чтоб они не давали с него копий до твоего разрешения. Хорошо ли я сделал? Ты, может быть, забыл уже то, что ты писал ко мне в этом письме, но сколько я могу понять, в нем нет ничего непозволительного; напротив, в нем все дышит русским, истинно русским – и любовью к славе отечества, и любовью к царю нашему. Веришь ли, что я по сю пору не могу опомниться, так эта смерть поразила меня! Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был и виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина. Грустно, что рано, но если уже умирать, то умирать так должно, а не так как умрут те из знакомых нам с тобою литераторов, которые теперь втихомолку служат молебен и благодарят судьбу за счастливейшее для них происшествие. Как Пушкин-то и гением, и чувствами, и жизнью, и смертью парит над ними! И эти г… жуки думали соперничать с этим громодержавным орлом! Есть и в нашей столице некоторые, которые в присутствии моем будто сожалеют, а судя по лицам готовы плясать.

Я несколько месяцев тому назад просил Жуковского прислать мне экземпляр последнего издания сочинений его; он обещал мне; напомни ему. У меня есть первое издание, подаренное мне им, с подписью руки его, и подписью весьма для меня лестною; я мог бы последнее издание купить, но этой подписи не будет. Скажи ему это.

Прости, обнимаю тебя.

Денис

X

В середине августа 1838 года Денис Васильевич возвращался из Петербурга в Верхнюю Мазу, где семья опять проводила лето. До Москвы, по обыкновению, добрался он на почтовых, а из Москвы поехал на своих лошадях, присланных из деревни. Такой способ передвижения был более длительным, зато представлял большие дорожные удобства и возможность вволю наслаждаться природой, что Денис Васильевич в последние годы особенно ценил. К тому же кучером по его просьбе ездил с ним Терентий, которого он любил за честность и совершенную преданность и с которым всегда усладительно было поговорить о партизанских отважных днях, казавшихся в четвертьвековом отдалении от них такими сказочно-яркими и поэтическими, что любое воспоминание согревало душу.

Вот и сейчас, остановившись на ночевку не в деревне, а прямо

в поле, они разожгли костер и, закурив трубки, заговорили о минувшем.

Вспоминая двенадцатый год, Терентий, между прочим, признался:

– Я в ту пору, как мы партизанили, ни вам, ни кому другому не сказывал, а в голове у меня крепко думка сидела, как бы изловчиться да самого Наполеона Бонапарта в полон захватить…

– Не ты один, многие охотились! – заметил с усмешкой Денис Васильевич. – Фигнер даже в занятую неприятелем Москву с этой целью пробрался… Пустая, несбыточная затея!

– Теперича и я понимаю, – проговорил Терентий, – а тогда в горячке-то о чем только не бредилось… И чудней всего, что о личности Бонапарта я совсем никакого понятия не имел, а виделся он мне почему-то мужчиной громадного росту, носатым, черным вроде цыгана и в золотом кафтане!

– Ну, если так, – невольно улыбнулся Денис Васильевич, – Наполеону тебя опасаться нужды не было… Я в Тильзите его видел и запомнил отлично. Ростом он разве на вершок какой выше меня. Волосы темно-русые, а не черные. Лицо чистое, смугловатое, с чертами весьма регулярными. Нос небольшой, прямой, с легкой горбинкой. А мундир обычно носил темно-зеленый, конноегерский, с красной выпушкой и с отворотами и с эполетами полковничьими. В общем, на портрет, созданный твоим воображением, нимало не походил!

– Вестимо, не походил, – согласился Терентий, – я потому и толкую, что, дескать, время-то хотя и грозное было, а для всяких, как вы сказали, несбыточных затей и для всяких геройств очень способное…

– Да, что верно, то верно, богатырская была эпоха! – сказал, начиная воодушевляться, Денис Васильевич. – Невиданным мужеством россиян прославлен в веках двенадцатый год… Помню, как на Салтановской плотине горсть русских храбрецов преградила путь прославленным войскам маршала Даву. Помню, как под Смоленском составленная из рекрутов дивизия Неверовского отражала натиск главных сил Наполеона и хотя понесла значительный урон, но не была приведена в смешение. Помню, какими глазами мы увидели эту дивизию, подходящую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести! Каждый штык ее горел лучом бессмертия! А беспримерный героизм, проявленный верными сынами отечества на Бородинском поле? А пламенная отвага партизан и ополченцев? Незабвенные дни! Кочевье на соломе под крышей неба, вседневная встреча со смертью, неугомонная жизнь партизанская…

И долго еще с волнением сердечным и тихой грустью воскрешаются запечатленные до мельчайших подробностей картины былого. Потом Терентий идет к стреноженным невдалеке лошадям, проверяет путы и, возвратившись, укладывается прямо на траву, положив пиджак под голову, и быстро засыпает. А Денис Васильевич лежит на походной кровати и чувствует, как взбудораженные мысли гонят от него сон.

Ночь стоит теплая, безоблачная. Легкими волнами набегает ласковый полынный ветерок, нежит лицо и грудь. Где-то вдалеке, то угасая, то вспыхивая, горят костры чабанов. Из ближайшей деревни доносится чуть слышная тоскующая девичья песня. Чудесна эта ночь, эта безбрежная, вся в трепетном мерцании звезд громада мироздания, чудесна жизнь!

Денис Васильевич, сделав над собой усилие, отрывается от прошлого… Он видит себя вновь в только что оставленной столице. Он жил у Бегичевых, переехавших сюда недавно из Воронежа. Митенька получил покойное сенаторские место, растолстел неузнаваемо, сделался самодоволен и важен. Сашенька утеряла былую привлекательность и простоту, превратилась в капризную и жеманную барыньку. Хоть и свои, родные, а смотреть противно! И особенно удивляло, что простодушный и недалекий Митенька, достигнув без особого старания жизненного благополучия, стал считать себя страшно умным и дальновидным, а Сашенька, державшая мужа под башмаком, начинала верить в его несуществующие таланты и достоинства.

Несколько лет назад Митенька на досуге сочинил роман «Семейство Холмских», в котором описывались светские интриги и сплетни. Редактор «Московского телеграфа» Николай Полевой выправил и привел в относительный порядок рукопись. И все же произведение было до того литературно беспомощным, что Денис Васильевич посоветовал автору «фамилии не выставлять, чтоб не срамить родственников». Но в дворянской среде бульварную литературу многие предпочитали подлинно художественным произведениям. Книга, изданная без имени автора, имела неожиданный успех, принесла Бегичеву свыше двадцати тысяч рублей. Как было после этого не возомнить о себе!

И когда Денис Васильевич попробовал скептически отозваться о литературных способностях зятя, Сашенька вспыхнула:

– Странно тебя, Денис, слушать после общего признания Митиной книги… И, право, можно подумать, что ты нарочно говоришь так, чтоб позлить нас или из зависти…

Он пристально посмотрел в глаза сестры и произнес:

– Я не буду тебе отвечать, полагая, что ты, подумав, сама поймешь, какую глупость сказала…

Зависти он, разумеется, не испытывал, но, размышляя над судьбою Митеньки, находил в ней некое характерное явление своего времени. Бегичев ничем не выделялся из среды благонамеренных обывателей, ни административного, ни литературного таланта не имел. И вот этот Митенька Бегичев, добродушный любитель салонной болтовни и жирных кулебяк, становится сенатором и известным писателем и будет долго жить в свое удовольствие, поощряемый властями, хотя, в сущности, ничего истинно полезного для отечества он не делает и сделать не способен.

Подобные явления не были чем-то новым, но прежде они казались более естественными, а теперь, после ужасной гибели Пушкина, вызывали мрачные мысли. Судьба гениального поэта, обряженного царем в камер-юнкерский мундир и задыхавшегося в тяжелых жизненных условиях, невольно противопоставлялась судьбам таких людей, как Митенька, и это противопоставление усиливало внутренний протест против существовавшего порядка вещей, мучившего Дениса Васильевича последние годы.

Смерть Пушкина повлекла и резкое охлаждение к литературным делам. Печататься в журналах, где опять главенствовали булгарины и сенковские?.. Нет, он никогда не будет иметь ничего общего с теми, кто травил Пушкина при жизни и чернил после смерти! И вообще трудно писать, когда не видишь никакой спасительной поэтической веточки. Он не привез на этот раз в столицу ни одного стихотворения, ни одной статьи, не заходил в журналы и не искал встреч с литераторами, кроме старых приятелей Жуковского и Вяземского. А эти чем порадовали его, чем облегчили тоскующую душу? Спору нет: они старались быть приветливыми и любезными, но развращающая близость к царскому двору приучила их сдерживать сердечные порывы и откровенные признания, составляющие главную прелесть истинной дружбы. Какой смысл распахиваться перед ними, если слова сочувствия они произносят шепотом и с оглядкою! Будучи с ними, он как-то повторил старую просьбу:

– Если я окончу жизнь прежде вас, напишите общими силами некрологию мою, и не пролетный листок для «Инвалида», а что-нибудь такое, что осталось бы надолго. Шутки в сторону, я этого стою: не как воин и поэт исключительно, а как один из поэтических лиц русской армии.

Жуковский ничего не ответил. Вяземский, по обыкновению, отшутился. А он горько подумал, что они, конечно, о неугодном царю человеке писать не будут и, вероятно, никто другой за перо

не возьмется, чтоб рассказать о его жизни, прожитой не бесполезно для отечества…

Он возвращался из Петербурга никем и ничем не ободренный. И торопиться было некуда. Семья, дети? Они отлично обходятся без него. Соня права. Дом держится на ней. Она хозяйствует, продает пшеницу, воспитывает детей. Он не уверен даже, замечают ли домашние его отсутствие.

Круг жизни завершался безрадостно. И нет ничего удивительного, что он находит утешение в воспоминаниях о прошлом и в дальних дорогах. Прошлое встает перед ним в поэтической дымке и освежает душу. Поездки позволяют лучше познавать страну, неистребимая любовь к которой залегала в нем с детства. Дремучие непроглядные леса и привольные полевые просторы, сверкающие глади бесчисленных рек и озер, и шумные города, и тихие деревни с убогими хижинами селян – все это его отечество, плохо устроенное, но прекрасное по богатству природы и чудесным свойствам мужественного, трудолюбивого народа.

Он так и не избавился от противоречий, порожденных сословными традициями, он во многом ошибался, многое представлял неверно, однако, убедившись еще в двенадцатом году, насколько возвышается простой народ над «потомками древних бояр», он относился к этому народу с неизменным сочувствием. Он страстно желал, чтоб исчезли всюду нищенские избенки и обитатели их получили возможность жить в человеческих условиях, под сенью справедливых законов, и верил, что так оно и будет, хотя не знал, когда и каким образом это произойдет.

Денис Васильевич незаметно задремал. А когда открыл глаза, было уже утро, всходило солнце, таял клубившийся над рекой туман и алмазно искрилась роса на лугу. Терентий, сопровождаемый гурьбой босоногих ребят, подводил лошадей, готовясь закладывать коляску.

– Добрый день, Денис Васильевич! Как почивать изволили?

– Отлично, – ответил он, быстро поднимаясь и привычно берясь за трубку. – А ты где же помощниками обзавелся?

– Из ближней деревни сорванцы набежали… Что с ними поделаешь!

Ребята к коляске подойти не осмелились. Стали в сторонке и с любопытством наблюдали за происходящим. Денис Васильевич, раскурив трубку, обратился к ним:

– Ну, а кто из вас старший? Пойди-ка сюда, я на пряники дам…

Ребята испуганно попятились. Терентий с улыбкой пояснил:

– Оробели… Впервой, чай, доброе слово услыхали, вот и не

доверяют, подвоха опасаются… Позвольте-ка я им снесу!

От Терентия ребята деньги взяли и, разделив довольно мирно серебряные монетки, не ушли, а уселись в кружок на траве и что-то оживленно стали обсуждать.

А Денис Васильевич с трубкой в зубах стоял и думал о том, что пройдут годы и, может быть, этим милым ребятам тоже придется защищать свою страну от чужеземных завоевателей, а военный и партизанский опыт их отцов и дедов, опыт, о котором он неустанно писал в своих статьях и книгах, будет воспламенять их дух и помогать в суровой борьбе! Да, его жизнь прошла небесполезно. Он честно служил отечеству и как воин и как писатель. Он чувствует себя спокойно перед судом своей совести. Он не исчезнет бесследно из памяти народной! Невольная счастливая улыбка озарила лицо его, и, бросив ласковый взгляд в сторону ребят, он мысленно повторил те самые слова, которые всегда говорил сыновьям своим:

– Будьте честны, будьте смелы и любите отечество наше с той же силой, как я любил его!

г. Воронеж 1944 – 1956 гг.

notes

АВТОРСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕКСТУ

В процессе долголетней работы над «Денисом Давыдовым» мною собрано много книжных и архивных материалов, на основе которых и написана историческая хроника.

Разумеется, для автора исторического художественного произведения, где действительные события тесно сплетаются с вымыслом, не обязательно указание всех источников, питавших его творчество. Однако ввиду того, что полная биография Д. В. Давыдова до сих пор не написана, считаю небесполезным дополнить хронику некоторыми дополнениями, в какой-то степени расширяющими характеристику выведенных в ней исторических лиц, а также указать, откуда взяты встречающиеся в тексте малоизвестные цитаты, отдельные подробности.

1

Имя великого русского полководца А. В. Суворова пользовалось уже тогда большой европейской славой. Назначение Суворова командующим военными силами на юге России произвело огромное впечатление в ряде стран. В январе 1793 года русский резидент писал Суворову из Константинополя: «Слух о бытии вашем на границах сделал и облегчение мне в делах, и великое у Порты впечатление, одно имя ваше есть сильное отражение всем внушениям, кои со стороны зломыслящих на преклонение Порты к враждованию нам делаются» («Русский архив», 1878 г., кн. 2).

2

У мальчиков имелись и другие учителя, преподававшие арифметику, катехизис, географию, но все же домашнее образование было очень скудным. Впоследствии сам Денис Давыдов писал: «Как тогда учили! Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества; учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке» («Автобиография», напечатанная в собрании сочинений Д. В. Давыдова, изданном Е. Евдокимовым. СПБ, 1893 г.).

3

Встреча с А. В. Суворовым написана по воспоминаниям самого Д. В. Давыдова. Слова полководца и все характерные детали взяты из Давыдовского текста (статья «Встреча с великим Суворовым»).

4

За три года Павел уволил со службы 7 фельдмаршалов (среди них Румянцева, Суворова, Каменского), 333 генерала, 2260 офицеров. Многие другие поспешили сами выйти в отставку. Общее число уволенных и ушедших из гвардии и армии генералов и офицеров достигало 12 тысяч («Русская старина», 1877 г., статья «Военные деятели 1796 – 1801 годов»).

5

Александр Михайлович Каховский, служивший при штабе А. В. Суворова, принадлежал к числу верных учеников и близких людей великого полководца. Одаренный «умом выше обыкновенного», превосходно образованный, имевший множество друзей среди офицеров, полковник Каховский при вступлении на престол Павла пытался уговорить Суворова «взбунтовать войска и восстать против государя».

Однажды Каховский, явившись к Суворову, сказал ему:

– Удивляюсь вам, граф, как вы, боготворимый войсками, имея такое влияние на умы русских, в то время как близ вас находится столько войск, соглашаетесь повиноваться Павлу?

Суворов, услышав такие слова, подпрыгнул и перекрестил Каховского.

– Молчи, молчи, – сказал он, – не могу! Кровь сограждан!

Но Каховский не оставил своих намерений и, «имея план к перемене правления», стал действовать самостоятельно. Ему удалось, главным образом из офицеров воинских частей, расквартированных в Смоленской губернии, создать довольно значительную, едва ли не первую в России, тайную антиправительственную организацию.

В Центральном государственном архиве древних актов хранятся чрезвычайно интересные материалы следствия, произведенного в 1798 году генерал-лейтенантом Ф.И.Линденером по делу «смоленских заговорщиков». Из этого дела (фонд Госархива, разряд VII, № 3251) видно, что «смоленские заговорщики» не ограничивались одной подготовкой убийства всем ненавистного Павла, их цели были значительно шире. Сам генерал Линденер называет заговорщиков «якобинцами» и «приверженцами вольности», свидетельствуя, что на своих собраниях они произносили «вольные или, паче сказать, дерзкие рассуждения о правлении, о налогах, о военной строгости и об образе правления», а также производили «чтение публичное в своей квартире запрещенных книг, как-то Гельвеция, Монтескье, «натуральную систему» и прочие таковые книги, развращающие слабые умы и поселяющие дух вольности, хваля французскую республику, их правление и вольность…» (лист 298).

Тайные группы, создаваемые А. М. Каховским, соблюдали строгую конспирацию. Большинство членов имели условные имена, так, например, Каховский был известен пои кличкой «Молчанов», капитан Стрелевский – под кличкой «Катон», Алексей Петрович Ермолов, тоже находившийся среди

заговорщиков, звался «Еропкиным» и т. д. Переписка участников тайных групп зашифровывалась, новые члены принимались после тщательной предварительной проверки.

Как видно из материалов следствия, в тайных группах состояло свыше тридцати человек, однако Линденер не без основания предполагал, что их значительно больше, и только по не зависящим от него обстоятельствам ему не удалось выявить всю тайную организацию «от Калуги до литовской границы и от Орла до Петербурга», как предполагал генерал.

«Смоленские заговорщики» проводили антиправительственную пропаганду не только среди офицеров, но делали попытки обращаться и непосредственно к народу. В одном из своих донесений Линденер сообщает: «Каховский и Замятин, который, конечно, во всем есть подражатель той шайки, едучи по дороге, разговаривали с извозчиком, не иначе как в намерении их возмутить против государя императора, о умножающихся налогах и угнетениях и что при нынешнем правлении будто против прежнего народ отягощен, на что извозчик сей отвечал: «каково вам, дворянам, таково и нам». За сие Каховский, мужика обняв, поцеловал в бороду» (лист 182, оборот).

Император Павел расправился со смоленскими «якобинцами» сурово. А.М.Каховский был лишен чинов, дворянства и навечно заточен в Динамюндскую крепость. Такому же наказанию были подвергнуты другие главари; остальные заговорщики, в том числе Ермолов, были сосланы в разные города на поселение.

Для Василия Денисовича Давыдова это дело, в котором были замешаны два родных племянника, не прошло бесследно. Член тайной организации капитан В.С.Кряжев в своих показаниях сообщил следователю, что Каховский, задумав военное восстание, прежде всего «хотел ехать в Полтаву, где дядя его, Давыдов, стоял с легкоконным полком, и если б он с полком своим не пошел к Суворову, и сам бы принял полк и с ним пошел» (лист 199).

Император Павел, уведомленный об этом показании, конечно, не мог уже оставить В.Д.Давыдова на прежней должности. Именно в этом кроется истинная причина внезапной ревизии и последующего разорения Давыдовых. Более подробно об этом же деле см. статью Т.Г.Снытко «Новые материалы по истории общественного движения конца XVIII века», опубликованную в журнале «Вопросы истории» № 9 за 1952 год. Небольшая разница в цитатах этой статьи с нашими объясняется тем, что, просматривая дело в подлиннике, мы выписывали цитаты или более полно, или более сокращенно.

6

В конце 1800 года Павел резко изменил свою внешнюю политику и разорвал отношения с Англией, куда русские помещики и купцы продавали в то время хлеб, лес, пеньку и другие сырьевые продукты. «Разрыв с Англией, – писал декабрист М. А. Фонвизин, – нарушая материальное состояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную его жестоким деспотизмом. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти общею» («Декабристы», т. I, СПБ, 1905 г.).

7

В.Н.Орлов, много лет работавший над литературным наследством Д. Давыдова, говоря о том, что молодой Давыдов вращался в кругу военно-дворянской фронды и целиком разделял ее интересы, делает нижеследующее разъяснение: «Деспотизм Павла восстановил против него значительную часть кадрового офицерства и гвардейской молодежи. В резко изменившейся обстановке общественно-политического и военного быта люди этого круга, хотя и были зажаты в тиски гатчинского режима, не мирились с абсолютистским произволом Павла и продолжали жить иллюзиями «великого осьмнадцатого столетия» – века дворянского процветания, гвардейских «вольностей» и фаворитизма, упрочившегося в условиях женских царствований. Воодушевленные суворовскими традициями, они открыто враждебно относились к прусской военной системе и ненавидели Павла I как тирана и узурпатора. На почве подобных настроений сложилась военно-дворянская фронда 1790 – 1800 годов, резервы которой пополнялись по преимуществу из рядов гвардейской молодежи. Никакого революционного значения эта фронда, конечно, не имела. Отражая противоречие интересов, обнаружившееся внутри господствующего помещичьего класса, она знаменовала всего лишь конфликт, возникший между аристократическим дворянством и примыкавшими к нему более широкими дворянскими кругами, с одной стороны, и осуществлявшим невыгодную этим дворянам политику «самовластительным злодеем» Павлом I, с другой стороны. Переворот, совершенный силами военно-дворянской фронды, не принес ей ожидавшихся ею результатов. В особенно невыгодном положении очутилась гвардейская молодежь, надежды которой на возвращение «златого века» дворянских «вольностей» не осуществились. Едва улеглись первые восторги по поводу устранения Павла, как эта молодежь убедилась, что гатчинский режим (правда, в несколько иных формах) восторжествовал с новой силой… В условиях нового царствования оппозиционные настроения отдельных групп дворянства сохраняли свою актуальность» (вступительная статья В. Н. Орлова к «Стихотворениям Д. Давыдова». Изд-во «Советский писатель», 1950 г.).

8

Узнав о расстреле герцога Энгиенского, арестованного по приказу Наполеона на территории независимого Баденского герцогства, Александр послал в Париж протест против нарушения международного права. Наполеон ответил, что герцог был замешан в заговоре против его жизни, при этом ядовито намекнул, что он, Наполеон, не стал бы протестовать, если б Александр, хотя бы на чужой территории, арестовал убийц своего отца. Наполеон, конечно, хорошо знал, что Александр сам принимал участие в убийстве отца и ни тронул пальцем ни одного из заговорщиков. Понятно, что намек на отцеубийство смертельно оскорбил императора Александра. Но тогда, разумеется, об ответе Наполеона знали лишь немногие.

9

Среди других портретных характеристик Д. Давыдова, сделанных его современниками, обращает на себя внимание следующая: «Д. В. Давыдов был не хорош собою; но умная, живая физиономия и блестящие выразительные глаза – с первого раза привлекали внимание в его пользу. Голос он имел пискливый, нос необыкновенно мал; росту был среднего, но сложен крепко и на коне, говорят, был как прикован к седлу. Наконец, он был черноволос и с белым клоком на одной стороне лба» (М. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869 г.).

10

Сильное и благотворное влияние генерала Раевского на Дениса Давыдова совершенно бесспорно, хотя нигде в биографиях его этот факт не отмечен. Д. Давыдов в течение семи лет (1805 – 1812), то есть когда складывались его общественные взгляды и совершенствовались военные знания, находился в самом тесном общении с Николаем Николаевичем, принадлежавшим, несомненно, к числу наиболее образованных, гуманных и патриотически настроенных генералов. Стоит вспомнить, как высоко ценил его А. С. Пушкин, который писал в 1820 году брату Льву из В\рыма: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлечет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества»

11

Разговор Наполеона с Евдокимом Давыдовым впервые был опубликован в «Русском архиве» (1866 г., стр. 916).

12

Беннигсен ставил задачу: «…овладев течением нижней Вислы, открыть сообщение с Данцигом и освободить от обложения Грауденц», в которых находились немецкие гарнизоны. В распоряжении Беннигсена с резервами было 107 тысяч человек. У Наполеона – до 150 тысяч, не включая сюда войск, блокировавших крепости на Висле (М. Богданович, История царствования императора Александра I, т. II, СПБ, 1869 г.)

13

Этот эпизод, приведенный в сокращенном виде, описан Д. Давыдовым в статье «Урок сорванцу».

14

Д.В.Давыдов в своих воспоминаниях о войне 1807 года и сражении при Прейсиш-Эйлау допускает многие неточности. Так, он считает, что русская армия при Прейсиш-Эйлау имела 80 тысяч человек, тогда как М.Богданович, производивший подсчет по официальным документам, более верно определяет численность русских войск при Прейсиш-Эйлау в 58 тысяч. Со стороны французов в сражении участвовало, по свидетельству французского генерала Дюма, 68 500 человек, а по мнению М.Богдановича – до 80 тысяч. Во всяком случае, численное преимущество было у французов. Значительно преувеличены Д.В.Давыдовым и потери наших войск. На самом деле русские потеряли не 37 тысяч, как сообщает Давыдов, а 8 тысяч убитыми и 18 тысяч ранеными. Французы исчисляли свои потери в 18 тысяч человек, но на самом деле у них выбыло из рядов до 25 тысяч. Не потеряв в этом сражении ни пушек, ни знамен, русские взяли у французов пять орлов, несколько орудий и около двух тысяч пленных.

Необходимо отметить и другое. Из воспоминаний Д.В.Давыдова видно, с каким явным негодованием он относился к деятельности Беннигсена и его штаба. Однако, обрабатывая эти воспоминания в то время, когда Беннигсен был жив, и даже пользуясь его личной консультацией, Давыдов кое-где попытался «выгородить» Беннигсена, противореча сам себе. Так, например, утверждая в одной статье, что после сражения французы не могли сделать «малейшего шага вперед», что отступление Беннигсена было вызвано лишь его трусостью (факты, подтверждаемые другими историками), Давыдов в другой статье пишет, что «Беннигсену трудно было после понесенных потерь вновь сразиться с неприятелем». Таким образом, он оправдывал отступление.

Подобных «натяжек», иной раз вызванных и цензурными условиями, в воспоминаниях Д.В.Давыдова немало. Поэтому при работе над исторической хроникой это всегда учитывалось, использовались другие источники, материалы архивов.

Наименования населенных пунктов в воспоминаниях Д.В.Давыдова тоже не всегда точны. В хронике они выверены по официальным реляциям и военным картам того времени.

15

В императорском рескрипте, сохранившемся в бумагах Д.В.Давыдова, говорится, что он «во все время отступления арьергарда к Гейльсбергу отдаваемые генерал-лейтенантом князем Багратионом приказания доставлял в самые опаснейшие места с точностью и особенною деятельностью и оказал как в сем, так и в сражении при Гейльсберге 29 мая храбрость и примерную неустрашимость, причем получил сильную контузию». За это Д.В.Давыдов был награжден орденом Анны второго класса и получил золотую саблю с надписью: «За храбрость» (В. Жерве, Партизан-поэт Д.В.Давыдов. СПБ, 1913 г.).

В своих воспоминаниях о Тильзите подобных «крамольных» мыслей Д.В.Давыдов, разумеется, не высказывает. Но настроен он тогда был, несомненно, так. Академик Е.Тарле по этому поводу делает следующее справедливое замечание: «Денис Давыдов уже по цензурным условиям не мог в своих воспоминаниях передать, как не только он, но и большинство русского офицерства смотрело в тот день на Александра. Но мы и без Давыдова хорошо знаем это из многочисленных позднейших свидетельств. В русских военных кругах на Тильзитский мир сохранился взгляд, как на гораздо более постыдное событие, чем аустерлицкое или фридландское поражение. И в данном случае позднейшая либеральная дворянская молодежь сошлась в воззрениях с непосредственными участниками этих войн» (Е.Тарле, Наполеон. М.. Госполитиздат, 1941 г.).

17

Пользуясь полным доверием Беннигсена, сэр Роберт Вильсон занимался шпионажем почти открыто. «Во время свидания двух императоров в Тильзите он собрал некоторые нужные для английского правительства сведения, для чего даже переодевался казаком; и потом он первый привез из Петербурга в Стокгольм и в Лондон известие о намерении России вторгнуться в Финляндию и разорвать мир с Англией» («Русский вестник», 1862 г., кн. I, «Записки сэра Роберта Вильсона»).

18

Интересно отметить, что Багратион, проявивший заботу о своих войсках, сумел все же получить на содержание госпиталей два с половиной миллиона и на добавочное жалованье солдатам и офицерам два миллиона рублей. Эта огромная по тому времени сумма значится в росписи государственных расходов за 1811 год (М. Богданович, История царствования Александра I, т. III, 1869 г.).

19

Д.Давыдов, как и в прошлую кампанию, принимал непосредственное участие во всех боевых операциях авангарда. Особенно отличился он в боях под Шумлою, командуя 2-м Уральским казачьим полком. «Атаковав гору с правого фланга, он занял ее спешенными стрелками от всего полка и выгнал неприятеля из деревни. Когда же находившиеся впереди казаки полка Барабанщикова были сбиты, он ударил турок во фланг и сильным ружейным огнем опрокинул их, удержав за собою деревню, весьма важную по своему значению в общем ходе боя. Во время кавалерийской атаки он снова нанес туркам удар с левого фланга и преследовал их до вала крепости, проявив при этом большую храбрость и в особенности – присутствие духа» (В. Жерве. Партизан-поэт Д.В.Давыдов. СПБ, 1913 г.).

20

Д.Давыдов все время поддерживал с «опальным» Раевским самые тесные, дружеские отношения. В середине августа выхлопотав отпуск, Давыдов две недели гостил у Николая Николаевича в Яссах, а потом оттуда опять поехал в Каменку. 23 августа 1810 года Раевский пишет А.Н.Самойлову: «Денис Давыдов очевидец всему, и очевидец не молчаливый, перескажет вам, милостивый государь дядюшка, о наших военных действиях, прошлых и настоящих». А в другом письме, от 31 августа, Раевский сообщает дяде: «Денис Давыдов занемог жабой, но ему теперь легче. Но посему письмо он продержал до сего числа» («Русский вестник», 1898 г., кн. 6, «Письма Раевского»).

21

Настоящее письмо публикуется по копии с отношения господину военному министру генерал-от-инфантерии князя Багратиона от 26 марта 1812 года, сохранившейся в бумагах Д.В.Давыдова (Филиал ЦГВИА в Ленинграде, фонд 717, опись 1, дело 1, лист 19).

Любопытно отметить, что впоследствии, поместив письмо в первоначальном варианте «Дневника партизанских действий», сам Д. В. Давыдов зачеркнул в этом письме фразу «и за неимением способов содержать себя в корпусе гвардии по весьма небогатому состоянию». Д. В. Давыдов, очевидно, считал, что эта фраза его компрометирует, хотя она довольно тччно характеризовала его материальное положение.

22

Эта фраза Николая Раевского-младшего, будущего друга А.С.Пушкина, взята нами, как и подлинная выписка из донесения Багратиону, из «Архива Раевских», сборника писем и документов, изданных в 1908 году.

23

Арная де Коленкур, Мемуары. Поход Наполеона в Россию. Госполитиздат, 1943 г.

24

Н.Н.Раевский, с которым Денис Давыдов находился в тесном общении, на биваках близ Несвижа писал 29 июня своему дяде: «Я боюсь прокламаций, чтобы не дал Наполеон вольностей народу, боюсь в нашем краю внутренних беспокойств. Матушка и жена, будучи одни, не будут знать, что делать» («Русский вестник», 1898 г., кн. 8, «Письма Раевского»).

25

Ф. Н. Глинка, Письма русского офицера о военных происшествиях 1812 года. Издание 1821 г.

26

Речь Давыдова, как и следующий разговор с Багратионом, приводятся по записям самого Д.В.Давыдова из «Дневника партизанских действий».

27

В первоначальном варианте «Дневника партизанских действий», описывая эти первые дни партизанской деятельности, Д.В.Давыдов записал: «Так, полагаю я, начинал Пугачев, но с намерением противоположным». Затем эта фраза была им исправлена на следующую: «Так, полагаю я, начинал Ермак, одаренный высшим против меня дарованием но сражавшийся для тирана, а не за отечество» (Филиал ЦГВИА, фонд 717, дело 9, лист 9, оборот).

Печатая «Дневник партизанских действий», Д.В.Давыдов по требованию цензуры снял и эту фразу, тем не менее она представляет немалый интерес, как свидетельство об определенной патриотической настроенности поэта-партизана.

28

В письме к генералу Витгенштейну от 20 сентября 1812 года Кутузов следующим образом определяет свое понимание «малой войны»: «Поелику ныне осеннее время наступает, через то движения большею армией делаются совершенно затруднительными, наиболее с многочисленною артиллериею, при ней находящеюся, то и решился я, избегая генерального боя, вести малую войну, ибо разделенные силы неприятеля и оплошность его подают мне более способов истреблять его, и для того, находясь ныне в 50-ти верстах от Москвы с главными силами, отделяю от себя немаловажные части в направлении к Можайску, Вязьме и Смоленску. Кроме сего, вооружены ополчения Калужское, Рязанское, Владимирское и Ярославское, имеющие все свои направления к поражению неприятеля» («Фельдмаршал Кутузов», сборник документов и материалов. Госполитиздат, 1947 г.).

29

Руководя непосредственно армейскими партизанскими отрядами, координируя их действия с действиями народных партизанских отрядов, М.И.Кутузов с особым вниманием следил за отрядом Д.В.Давыдова, сообщал ему о движении армии и войсковых частей, выделяемых для поисков в тылу противника, а также своевременно уведомлял о неприятельских транспортах, шедших к Москве по Смоленской дороге.

В бумагах Д.В.Давыдова сохранилось много писем и записок, которые по указанию М.И.Кутузова присылал поэту-партизану генерал П.П.Коновницын.

Публикуем полностью одно из таких писем:

«Ахтырского гусарского полка господину подполковнику и кавалеру Давыдову.

Его светлость, отдавая должную справедливость и похвалу успехам вашего высокоблагородия, приказал мне сообщить вам следующее:

1-е. Посланный с отрядом довольно значащим к стороне Можайской же дороги Мариупольского гусарского полка полковник князь Вадбольский, после истребления довольного числа мародеров и взятия курьера по Можайской дороге, находился 23-го числа в городе Верее.

2-е. С таковой же партиею направлен по Боровской дороге к стороне Москвы гвардии поручик Фон-Визин.

3-е. Курьер, перехваченный нами, имел повеление остановить все транспорты, идущие со стороны Смоленска, Вязьмы и Гжатска к Москве, и, сложив провиант, отправить на тех фурах раненых и больных, в местах, на большой дороге находящихся, к Вязьме и далее к Смоленску.

Армия расположена по старой Калужской дороге у села Тарутино; ежели же воспоследует какое-нибудь движение, то вы об этом будете извещены.

Генерал-лейтенант Коновницын

№ 83. Сентября 24-го 1812.

Гл. квартира деревня Леташевка».

Под текстом собственноручная приписка Коновницына: «О подвигах ваших г. фельдмаршал велел отдать в приказе. Всех рекомендованных вами без должной награды не оставит, о чем поручил мне вас уведомить. П.П.Коновницын» (Филиал ЦГВИА, фонд 717, опись 1, дело 10, лист 17).

А на следующий день, 25 сентября, генерал Коновницын сообщил Д.В.Давыдову: «Поиски ваши и поверхность в разных

случаях над неприятелем по Смоленской дороге обратили к вам совершенную признательность его светлости. При сем случае уведомляю вас, что вы представлены в полковники».

30

Письмо М И Кутузова публикуется впервые по подлиннику, находящемуся в бумагах Д.В.Давыдова (Филиал ЦГВИА, фонд 717, опись 1, дело 1, листы 20 и 21).

31

Случай этот описан мною в соответствии с рассказом самого Д.В.Давыдова, однако документально не подтвержден. В записке Орлова-Денисова, посланной Давыдову, заключается лишь просьба «уведомить о своем нахождении». Но, думается, что все же подобный остроумный способ отделаться от «владычества генералов» вполне мог быть осуществлен Давыдовым, столь ценившим самостоятельность своих действий А о том, что Орлов-Денисов каким-то образом все-таки «покушался» на «независимость» Д.В.Давыдова, свидетельствует ниже публикуемое письмо генерала Коновницына, посланное Д.В.Давыдову в ответ на его донесение: «Секретно. Господину подполковнику Давыдову. В предписании моем от вчерашнего числа усмотрите, ваше высокоблагородие, что вам действовать должно как можно ближе к Смоленску. Посему, соглашаясь с желанием вашим, сего числа дано от меня знать генерал-адъютанту графу Орлову-Денисову, что вы с отрядом вашим будете действовать отдельно. Генерал-лейтенант Коновницын. № 323, октября 23. 1812» (Филиал ЦГВИА, фонд 717, опись 1, дело 10, лист 40).

Эти, как и предыдущие, слова Кутузова взяты из «Дневника партизанских действий» Однако, сличая напечатанный текст с рукописью «Дневника поисков и набегов партизана Дениса Давыдова, приведенного в порядок 1814 года», я обнаружил, что встреча и разговор с Кутузовым описывались там несколько иначе. После кутузовских слов «удачные опыты твои» и т. д. в рукописи идет следующий текст: «Я отвечал ему, что «награда моя в признательности спасителя отечества». – «Как я тебя по сю пору не знал?» – «Вы изволили запамятовать, я тот самый, которого ваша светлость, быв С.-Петербургским военным губернатором, призывали журить за сатиры и за разные юношеские залеты воображения». – «Как! Неужто это ты? Да кто тебя узнает в этой одежде» (Филиал ЦГВИА, фонд 717, опись 1, дело 9, лист 53, оборот и лист 54).

Вероятно, не желая напоминать о своих юношеских «залетах воображения», Д.В.Давыдов вычеркнул при издании «Дневника» этот текст, который тем не менее свидетельствует о том, что Д.В.Давыдов встречался с М.И.Кутузовым еще в ранней молодости, когда служил в кавалергардском полку и писал известные свои басни.

33

В записках и письмах Д. В. Давыдова имя партизана Терентия нигде не упоминается. И тем не менее имя это не вымышлено.

В 1944 году, будучи в селе Верхняя Маза, под Сызранью, где провел последние годы своей жизни и умер Д.В.Давыдов, я отыскал среди других стариков почти столетнего Николая Борисовича Волкова, отец которого служил личным камердинером у Дениса Васильевича.

Со слов своего отца, старик Волков передал мне много любопытных подробностей о последних годах жизни Д.В.Давыдова и, между прочим, сообщил историю партизана Терентия. По словам старика, Терентий «прежде с Денисом Васильевичем на войне был», а затем, возвратившись домой, подвергся каким-то гонениям со стороны своего барина, «не стерпел мучительства» и стал «беглым». Услышав, что Денис Васильевич находится в Верхней Мазе, а может быть и по случайности, Терентий очутился в этом селе. Они свиделись. Терентий рассказал про свою беду. Денис Васильевич, отличавшийся большой гуманностью, отнесся участливо к бывшему партизану. Терентий, выкупленный у своего барина, поселился в Верхней Мазе, где и прожил до глубокой старости. Николай Борисович Волков знал его стариком, всегда со слезами на глазах вспоминавшим покойного генерала Дениса Васильевича, который будто бы дал ему вольную, определил в конюхи и всегда при нужде оказывал помощь. Волков показал даже место, где стояла изба партизана Терентия. Другие верхнемазинские старики это подтвердили.

Терентий, по воспоминаниям Волкова, представляется мне таким, каким я его описываю.

34

В «Дневнике партизанских действий» Д.В.Давыдов не решился сказать об этой экзекуции помещика, но в рукописи собственной его рукой написано следующее: «Крестьяне стали жаловаться на Масленникова, который уверял, что они изменники и бунтовщики, но бледнел и трепетал. «Глас божий, глас народа!» – отвечал я ему и немедленно велел казакам разложить его и дать двести ударов нагайками» (Филиал ЦГВИА, фонд 717, опись 1, дело 9, лист 42).

35

Цитируемые письма, свидетельствующие о необычайной прозорливости великого русского полководца, опубликованы в сборнике «Фельдмаршал Кутузов» (Госполитиздат, 1947 г.).

36

Кутузов с насмешкою говорил, что береэинскую неудачу «простить даже можно Чичагову по той причине, что моряку нельзя уметь ходить по суше и что он не виноват, если государю угодно было подчинить такие важные действия в тылу неприятеля человеку хотя и умному, но не ведающему военного искусства» (К. Военский, Отечественная война 1812 года в записках современников. «Записки о войне 1812 года князя А Б. Голицына». СПБ, 1911 г.).

37

Блестящая оценка деятельности М.И.Кутузова, данная Давыдовым, заимствована из его письма к Вальтеру Скотту.

Впоследствии архиепископ Варлаам Шишацкий за присягу Наполеону был расстрижен в монахи. Понесли наказание и остальные могилевские чиновники-изменники.

39

Речь эту, приводимую самим Робертом Вильсоном в его «Записках», цитирую по переводу, опубликованному в книге Е.Тарле «Нашествие Наполеона на Россию».

40

В «Журнале военных действий» значится следующая, сделанная в Вильно 16 декабря запись: «Партизан полковник Давыдов рапортом от 14-го числа доносит, что при занятии города Гродно освобождено российских раненых, находившихся в плену, 14 офицеров и 467 рядовых, а солдат неприятельских взято пленных 660 человек. Сверх того, взяты весьма обширные магазины, все полные с хлебом разного рода и вином, которые и сданы им пришедшему туда с отрядом генерал-адъютанту Корфу».

41

В формулярном списке Д.Давыдова имеется следующая отметка: «В действительных сражениях находился… Под Ляховом 28 октября, под Смоленском 29, под Красным 2 и 4 ноября, под Копысом 9 ноября, где разбил наголову депо французской армии, под Белыничами 14-го и за отличие награжден орденом св. Георгия 4-го класса; занял отрядом своим г.Гродно 8 декабря и за отличие награжден орденом св. Владимира 3-й степени».

Так был скудно награжден царским правительством отважный партизан.

Однако народ оценил действия Д.В.Давыдова иначе, окружил его имя почти легендарной славой. «Самые разные люди сходились на любви и уважении к Давыдову, как национальному герою и человеку, владевшему секретом какого-то особого обаяния. Поэты всех рангов и направлений, начиная с Пушкина, Жуковского, Вяземского, Баратынского и кончая провинциальными дилетантами, наперерыв воспевали Давыдова в хвалебных стихах. Лучшие живописцы эпохи запечатлели его образ. Слава о воинских подвигах Давыдова вышла далеко за пределы России: о нем писали в европейских газетах и журналах, портрет его висел в кабинете Вальтера Скотта. Впоследствии Лев Толстой увековечил Давыдова в романе «Война и мир» в образе партизана Василия Денисова» (Вступительная статья В.Н.Орлова к «Стихотворениям Д. Давыдова». Изд-во «Советский писатель», 1950 г.).

42

Стихи Вяземского, посвященные Денису Давыдову, понравились Пушкину. 27 марта 1816 года в письме к Вяземскому из Царского Села Пушкин цитирует две строки:

Не все быть могут в равной доле,

И жребий с жребием не схож.

Несомненно, что Пушкин был осведомлен и об издевательстве над Д.Давыдовым.

43

Переписка Д. Давыдова с А.А.Закревским, продолжавшаяся много лет, представляет весьма ценный материал для биографии поэта-партизана. Письма Д.Давыдова к А.А.Закревскому, как мне удалось выяснить, печатались лишь частично в «Сборнике императорского Русского исторического общества» (РИО), т. 73, СПБ, 1890 г. Большинство же писем никогда не публиковалось. Они хранятся в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде (ЦГИАЛ), фонд № 660, опись 1, дело 107.

Публикую их в отрывках и выдержках, сохраняя полностью все своеобразие давыдовского слога.

44

Письма Д. Давыдова к П.А.Вяземскому, которые цитирую в хронике, опубликованы в сборнике «Старина и новизна», кн.22. Петроград, 1917 г.

45

В 1816 году М.Ф.Орлов и М.А.Дмитриев-Мамонов задумали создать тайное политическое общество под названием «Орден русских рыцарей». В том же году была издана на французском языке в количестве 25 экземпляров брошюра «Краткие наставления русскому рыцарю», написанная Дмитриевым-Мамоновым, однако, будучи лишена четкой политической направленности, эта брошюра в развитии революционных идей большой роли не играла.

Д.Давыдову эта брошюра была известна.

46

Письмо П. М. Волконского датировано 20 сентября 1816 года. Публикуется впервые с подлинника (Филиал ЦГВИА, фонд 717, опись 1, дело 1, лист 71).

47

В Петербурге Д. Давыдов пробыл почти весь декабрь. Как видно из материалов, находящихся в его бумагах, рескрипт об аренде был подписан императором 12 сентября (м.б. все-таки – декабря, судя по тексту? – прим OCR) 1816 года. После этого потребовалось еще несколько дней для оформления бумаг и для того, чтоб попасть на прием к царю, благодарить его за аренду. Возможно, что прием состоялся 26-27 декабря, ибо в последние дни рождественского поста приемов во дворце обычно не было.

7 января 1817 года из Киева Д. Давыдов писал Вяземскому. «Я весь прошедший год провел в поездке и теперь только что приехал из Петербурга».

Последние две строки стали крылатыми. Известно, что В.И.Ленин цитировал их в статье «Кабинет Бриана» (В. И. Ленин Соч., т. 18, стр. 460).

49

Об активном участии Д.Давыдова в организации ланкастерских школ ни один из его биографов никогда не упоминал. Приводимые письма обнаружены мною среди других неопубликованных писем поэта-партизана в ЦГИАЛ. См мою статью «Новое о Денисе Давыдове» в журнале «Огонек» № 16, 1954 г.

50

Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. «Остафьевский архив», СПБ, 1890 г., т. 1.

51

Послание к Жуковскому, о котором идет речь, начиналось так:

Когда младым воображеньем
Твой гордый гений окрылен,
Тревожит лени праздный сон,
Томясь мятежным упоеньем;
Когда возвышенной душой
Летя к мечтательному миру,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе…

В.А.Жуковский, как известно, пришел от этих стихов в совершенный восторг. 17 апреля 1818 года, посылая эти стихи Вяземскому в Варшаву, он писал: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение».

П.А.Вяземский с оценкой Жуковского согласился и, в свою очередь, в письме к Д.Давыдову отозвался о них как о поэтическом шедевре. Однако Д.Давыдов отнесся к стихам более критически, чем Жуковский и Вяземский. 2 июня 1818 года из города Каменца, где находился тогда штаб 7-го пехотного корпуса, Д. Давыдов пишет Вяземскому в Варшаву:

«Стихи Пушкина хороши, но не так, как тебе кажутся, и не лучшие из его стихов. Первые четыре для меня непонятны. Но и быстрый холод вдохновенья власы подъемлет на челе прекрасно! И меня подрал мороз по коже. От стиха сего до рифмы ясным не узнаю молодого Пушкина. В дыму столетий чудесно! Но великаны сумрака Карамзина… что скажешь? А мысль одинакая.

Замечание твое на счет злодейства и с сынами справедливо. Теперь от рифмы окружен до рифмы земной я слышу Василия Львовича, напев его. Но стих – И в нем трепещет вдохновенье – прелестен! Вот мое мнение на счет этих стихов».

А.Пушкин мог узнать об этих критических замечаниях и от Вяземского и от Д.Давыдова. Но, так или иначе, подготовляя к печати собрание своих стихотворений, Пушкин выбросил из первоначального текста «Послания к Жуковскому» первые четыре строки и сократил весь конец, в частности стихи от рифмы окружен до рифмы земной, в которых Д.Давыдову послышался напев Василия Львовича Пушкина.

Заметим кстати, что фраза «не узнаю молодого Пушкина», написанная Д.Давыдовым, свидетельствует, что он уже тогда хорошо знал и очень высоко ценил поэтический талант юноши Пушкина.

Д.Давыдов в самом деле говорил приятелям, будто он, будучи в Париже, вступил в якобинский клуб. В 1816 году, посылая старому своему другу О.Д.Ольшевскому фригийский красный колпак, Давыдов писал, что этот подарок «прислан из Франции из якобинского клуба, в котором я член». Проверить достоверность подобных утверждений трудно. Вероятно, Давыдов нарочно придумал «якобинство», чтобы побахвалиться перед товарищами, чего он не чуждался.

53

О помощи в сватовстве А.Г.Щербатова и о характеристике, которую он дал Д.Давыдову, сообщает в своих воспоминаниях об отце Василий Денисович Давыдов («Русская старина», т. IV, 1872 г.).

В.Жерве в своей книге утверждает, будто Д.Давыдов женился в 1818 году. Этот же год указывается в биографическом очерке, опубликованном в первом томе собраний сочинений Д.Давыдова, изданном в 1863 году.

Ошибка биографов очевидна. 3 февраля 1819 года Д.Давыдов из Москвы сообщает Закревскому, что он «вчера сговорен», а 17 апреля 1819 года пишет: «Уведомляю, что 13-го вечером я принял звание мужа». Правильность этой датировки подтверждается последующими письмами Д.Давыдова к Вяземскому и Закревскому.

Академик Н. Дружинин так оценивает деятельность П. Д. Киселева того периода:

«Нет никакого сомнения, что, несмотря на серьезные политические разногласия, Киселев и передовые представители дворянского поколения объединились в искреннем осуждении действующего порядка… Свою деятельность в качестве руководителя южной армии он рассматривал не только в свете личной карьеры, но и с точки зрения государственной и народной пользы. Опубликованная переписка с Закревским хорошо показывает нам прогрессивную сторону мировоззрения Киселева: он выступает здесь решительно и безоговорочно врагом Аракчеева, его не увлекает фрунтомания Александра I, и он скрепя сердце, осмеливаясь возражать и спорить, заставляет себя заниматься пресловутым «учебным шагом», ему чужды реакционно-мистические настроения, которые охватывали значительные слои дворянского общества. Киселева сближало с декабристами этого раннего периода не только отвращение к крепостническому произволу и в деревне и в армии. Исходя из принципиальных предпосылок просветительной философии, они сходились в общем желании видеть Россию преобразованною на новых, западноевропейских началах…. И тем не менее между Киселевым и членами тайного революционного общества пролегала определенная резкая грань, которая политически противопоставляла их друг другу. Декабристы поставили своей целью насильственно низвергнуть существующую самодержавно-крепостническую систему; Киселев оставался решительным противником всяких насильственных переворотов. Декабристы мечтали установить народовластие в форме открытой или замаскированной республики; Киселев оставался сторонником абсолютизма, но абсолютизма просвещенного и введенного в законные рамки. Декабристы стремились ввести в России гражданское равенство, уничтожить сословные перегородки и дворянские привилегии; Киселев выступал защитником сословного строя и старался увековечить и укрепить преобладание дворянства».

Столь подробную цитату приводим потому, что все вышесказанное может быть отнесено отчасти и к Денису Давыдову, близкому другу Киселева.

Однако академик Н. Дружинин, приведя в своей статье выдержки из писем Д.Давыдова к Киселеву и отметив сходство их общественно-политических взглядов, весьма точно определил и

существенное расхождение.

«Киселев шел значительно дальше Давыдова в своем примирении и приспособлении к существующему порядку, – пишет Н.Дружинин. – Давыдов не был поклонником абсолютизма… Давыдов мечтает о перевороте, он сам бы желал поднять, революционизировать Россию, но он видит кругом бесправие и покорность, не верит в силы революционного авангарда и отодвигает выполнение задачи в далекое и неопределенное будущее» (Н.Дружинин, Социальные и политические взгляды П.Д.Киселева. Журнал «Вопросы истории» № 2-3, 1946 г.).

56

24 августа 1819 года Аракчеев, сообщая царю об экзекуции над бунтовщиками, писал:

«Но сие наказание не подействовало на остальных арестантов, при оном бывших, хотя оно было строго и примерно. По окончания сего наказания спрошены были все ненаказанные арестанты, каются ли они в своем преступлении и прекратят ли свое буйство?.. Они единогласно сие отвергли».

8 сентября император Александр ответил Аракчееву:

«С одной стороны, мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была терпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился. С другой стороны, я умею также и ценить благоразумие, с коим ты действовал в сих важных происшествиях. Благодарю тебя искренно от чистого сердца за все твои труды».

А в памяти народа Чугуевская расправа сохранилась как одна из самых мрачных страниц самодержавия. А.Пушкин навек заклеймил «чувствительную душу» Аракчеева известной эпиграммой:

В столице он – капрал,
В Чугуеве – Нерон,
Кинжала Зандова
Везде достоин он.

20 сентября Д. Давыдов из Кременчуга писал Закревскому: «Я так застращал тобою Херсонское отделение, что комендант по сие время относится ко мне, опасаясь, чтобы я через тебя не истребил его, – я тем пользуюсь, даю ему советы и по мере возможности помогаю отделению. Недавно на мой счет ездил в Киев инженерный офицер Воронецкий, чтобы совершенно дать тот же ход учению и в Херсонском отделении».

58

В своих широко известных «Записках» декабрист Н.В.Басаргин о знакомстве с Д.Давыдовым даже не упоминает. Однако, как удалось выяснить, они не только были знакомы, но и находились в дружеских отношениях. Весной 1820 года Н.Басаргин, будучи в Москве, посетил Д.Давыдова и просил его оказать содействие в переводе из второй армии в первую. 10 июня 1820 года Д.Давыдов из Москвы пишет по этому поводу Закревскому:

«Нельзя ли перевести квартирмейстерской части прапорщика Басаргина, находящегося при Главной квартире 2-й армии, во 2-й корпус 1-й армии? Большую бы ты милость сделал» (Публикуется впервые ЦГИАЛ, фонд 660, дело 107, лист 96).

59

Мысли Д. Давыдова, изложенные в разговоре с Киселевым, с наибольшей полнотой раскрывают весьма противоречивое и сложное, однако в основном прогрессивное отношение поэта-партизана к острым политическим вопросам того времени. Я использовал почти дословно письмо Д.Давыдова к Киселеву от 15 ноября 1819 года, восстановив, разумеется, те цензурные купюры, которые были сделаны при опубликовании его в полном собрании сочинений Д.Давыдова в 1893 году.

60

Как видно из настоящего впервые публикуемого письма, датированного 10 июня 1820 года, конфликт Дениса Давыдова с царем был более глубоким, чем полагали до последнего времени некоторые биографы поэта-партизана.

Сохранилось несколько вариантов рукописей и два, отличных один от другого, прижизненных издания «Опыта теории партизанского действия». Цитирую первое издание книги, напечатанной в Московской типографии С.Селивановского в 1821 году.

В одной из таких прокламаций, найденных в казармах Преображенского полка, неизвестный автор от имени взбунтовавшихся семеновцев жаловался преображенцам:

«Ни великого князя, ни всех вельмож не могли упросить, чтоб выдали в руки тирана, своего начальника, для отомщения за его жестокие обиды; из такового поступка наших дворян мы все, российские войска, можем познать явно, сколь много дворяне сожалеют о воинах и сберегают тех, которые им служат; за одного цодлого тирана заступились начальники и весь полк променяли на него. Вот полная награда за наше к ним послушание! Истина: тиран тирана защищает! У многих солдат от побоев переломаны кости, а многие и померли от сего! Но за таковое мучение ни один дворянин не вступился. Скажите, что должно ожидать от царя, разве того, чтобы он нас заставил друг с друга кожу сдирать! Помните всеобщую нашу глупость и сами себя спросите, кому вверяете себя и целое отечество и достоин ли сей человек, чтоб вручить ему силы свои, да и какая его послуга могла доказать, что он достоин звания царя?

… Бедные воины, посмотрите глазами на отечество, увидите, что люди всякого сословия подавлены дворянами. В судебных местах ни малого нет правосудия для бедняка. Законы выданы для грабежа судейского, а не для соблюдения правосудия. Чудная слепота народов!

Хлебопашцы угнетены податьми: многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но оная всякому безотменно нужна; семейство терпит великие недостатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно на подлого правителя; и не спросите его, для какой выгоды дает волю дворянам торговать подобными нам людьми, разорять их и вас содержать в таком худом положении?»

63

Эти и другие подробности, касающиеся Каменки и ее обитателей, взяты мною из рукописи Юрия Львовича Давыдова, родного внука декабриста Василия Львовича, или Базиля, как звали его в семье. Известно, что Василий Львович скончался на поселении в Красноярске, но жена его Александра Ивановна, знавшая лично и Пушкина и Дениса Давыдова, возвратилась в 1855 году в родные места, прожила в Каменке еще долгие годы, скончавшись 93 лет от роду, почти на рубеже XX века. Юрий Львович хорошо помнит свою бабушку, неоднократно беседовал с нею, записав много любопытного о стародавних временах, и, любезно предоставив мне эти записи, разрешил пользоваться ими как фактологическим материалом.

Ввиду того что упомянутый в моей хронике «карточный домик» имел значение не только для Пушкина, но и для декабристов, привожу нижеследующую выписку из рукописи:

«Среди небольших домиков в усадьбе находился так называемый в те времена «карточный домик» переименованный много позднее в «зеленый домик». Он служил местом уединения для мужской половины семьи и ее гостей, где мужчины проводили время, не стесняясь, расстегнув мундиры, за карточным столом, добрым стаканом вина и вольными разговорами. В этом домике велись беседы и на политические темы, чего при дамах себе не позволяли делать, боясь их длинных язычков. В домике собирались люди передовой мысли той эпохи. Стены его видели Пушкина, Дениса Давыдова, Ермолова, Раевского и плеяду будущих декабристов – Пестеля, Поджио и других, имена коих отмечены историей.

В это же время у больничного пруда стояла водяная мельница часто бывавшая на простое в силу неудачной ее конструкции. Василий Львович тогда же обратился к командиру полка, расквартированного в Новомир-городе, находившегося в 45 верстах от Каменки, А.А.Гревсу с просьбой, нет ли в полку специалиста по мельничному делу. А.А.Гревс командировал рядового Шервуда, взявшегося за реконструкцию мельницы.

В жаркие дни обитатели Каменки ездили к опусту и пользовались им как душем или купались в пруду. Чтобы не быть понятыми посторонними, конспиративные разговоры велись преимущественно на французском языке. Шервуд, знавший французский язык, подслушивал их из окон мельницы и из отдельных долетавших до него фраз понял, что имеет дело с кружком заговорщиков.

Авантюрист учел всю выгоду от раскрытия заговора и стал шпионить. Он скоро понял, что заговор кружка – серьезный, политический и что местом собраний является «карточный домик». Устроив себе наблюдательный пункт в ветвях росшего под окнами дуба, он все вечера просиживал в листве, жадно записывая все долетавшие до него разговоры. Тут не трудно было ему установить имена участников, и, собрав достаточное количество материалов, он написал донос Аракчееву, да, кроме того, он втерся в дружбу с Вадковским и списал у него список участников обеих групп, приложив списки к доносу».

Этот рассказ жены декабриста, хозяина Каменки, записанный ее внуком, кажется нам заслуживающим внимания историков и литераторов, работающих над декабристскими темами.

Судя по переписке с Закревским, в Орле Денис Давыдов был 27 января и, по всей видимости, отсюда в начале февраля возвратился в Москву, 14 февраля 1821 года из Москвы он пишет Закревскому, что «провел в Орле и Москве несколько прелестных часов с Ермоловым» (письмо не публиковалось. Хранится в ЦГИАЛ).

А. Ермолов был в Москве не позднее 7 или 8 февраля, ибо 11 февраля 1821 года Закревский из Петербурга уведомляет П.М.Волконского, находившегося в Лайбахе: «Алексей Петрович Ермолов сегодня поутру приехал сюда и ужасно как поседел» (РИО, том 73). А из Орла в Москву Ермолов выехал не позднее 5 февраля, следовательно, в Орле виделся с ним Д.Давыдов в последних числах января и, возможно, в самых первых числах февраля.

Таким образом, довольно распространенное мнение, якобы А.С.Пушкин, будучи в Киеве с 30 января по 12 февраля 1821 года, именно в это время общался там с Д.Давыдовым, представляется весьма сомнительным.

М.В.Нечкина в своем исследовании «А. С. Грибоедов и декабристы» (изд-во Академии наук СССР, 1951 г.) так оценивает противоречивый и сложный образ Ермолова: «Проницательность, умение лавировать, разгадывать планы врага, побеждать хитростью и при нужде надевать маску – несомненно присущие Ермолову черты. Это лавирование породило немало противоречий в его поведении. Однако черты политической оппозиционности и вольнодумства все же складываются в облике Ермолова в такое прочное и ясное целое, что становится вполне понятно, почему этот человек мог быть зачислен декабристами в ряды «своих»… Политическая оппозиционность Ермолова далеко не была в узком смысле слова «фрондой»: нет, она проистекала из определенных, противоположных режиму принципов мировоззрения – сложного и противоречивого, но в основах – противостоящего режиму. От изложенных выше устоев был уже один шаг до политической критики правительства и до деятельности против него».

Слова Вяземского полностью взяты из его письма А.И.Тургеневу от 6 февраля 1820 года из Варшавы («Остафьевский архив», том II). Возвратившись в Москву, Вяземский 15 марта 1821 года пишет В.А.Жуковскому: «В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними. Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора» («Русский архив», 1900, кн. 2).

Взгляды Вяземского действительно во многом совпадали со взглядами Дениса Давыдова, который писал: «Я убедился по опыту, что между ними (царями) и частными людьми близких отношений существовать не может и не должно; мудрость частного человека, как бы высоко ни стоял он на служебной лестнице, должна заключаться в том, чтобы постоянно держать себя в почтительном от них отдалении, имея у себя всегда готовый им ответ».

Впрочем, Денис Давыдов, сравнивавший самодержавие с домовым, который душит Россию, критиковал этот строй в некоторых случаях более остро и резко, чем Вяземский. Приведем характерное свидетельство самого Вяземского. 29 января 1832 года он писал В.А.Жуковскому: «Посылаю «тебе стихи Дениса. Вот он иногда выступал из границ, дул по всем по трем и коренную трогал» («Русский архив», 1900, кн. 3).

Смысл последней фразы расшифровать нетрудно. Именно в то время известный реакционер С.Уваров выдвинул так называемую «Теорию официальной народности» и сформулировал ее основу («Православие, самодержавие, народность»), получившую ироническое наименование «уваровской тройки». Коренная в ней самодержавие. Ценное свидетельство Вяземского лишний раз опровергает доводы тех биографов поэта-партизана, которые полагали, будто он был вообще далек от критики самодержавия.

Тогда же эти слова были сказаны Ермоловым и бывшему его адъютанту М.Фонвизину, состоявшему в тайном обществе. М.В.Нечкина в своей вышеназванной книге делает по этому поводу следующее замечание: «Подобное предупреждение звучало почти поощряюще. Это слова друга декабристов, а не принципиального противника их движения».

Об этом вечере в честь Ермолова рассказал в письме к брату московский почтмейстер А.Я.Булгаков. Письмо написано было в Ивановском 23 сентября 1821 года («Русский архив», 1901, кн. 2).

69

Письмо написано декабристом И.Г.Бурцовым 5 октября 1821 года в Тульчине. И.Г.Бурцов был одним из самых осторожных и умеренных членов первых тайных обществ. Связь с ним у Дениса Давыдова началась в конце 1818 года и продолжалась много лет. Они находились в постоянной переписке, которая велась через знакомых, в частности через генерала Рудзевича, служившего во второй армии. Самих писем, к большому сожалению, разыскать мне не удалось, но существование их подтвердить можно. Так, например, 28 октября 1819 года из Кременчуга Д.Давыдов пишет Рудзевичу: «Письмо Ваше от 22-го сего месяца вчера я имел честь получить. Приношу Вам великую благодарность за пересылку письма моего к Бурцову. Оно мне очень нужно» (Рукописные фонды Воронежского краеведческого музея. Письмо Д.Давыдова к Рудзевичу).

70

Публикуется с подлинника, хранящегося в Центральном государственном военно-историческом архиве (ЦГВИА) в Мрскве, фонд 194, опись 1, ед. хранения 67, стр. 45, 46, 47 и оборот. Интересно отметить, что Д.Давыдов упоминает в письме о четырех своих друзьях-декабристах: Василии Львовиче Давыдове, С.Г.Волконском, М.Ф.Орлове и Г.Полиньяке, а также сообщает о посещении двоюродной своей сестры Софьи Львовны Бороздиной, дочери которой были замужем за декабристами Поджио и Лихаревым, – их Д.Давыдов тоже, вероятно, знал.

71

Внебрачная связь В.Л.Давыдова продолжалась до весны 1825 года, когда умерла его мать и он мог наконец жениться. В рукописи Ю.Л.Давыдова, о которой выше сообщалось, лишь упоминается, что Александра Ивановна Потапова «до брака родила сына и дочь»; вполне понятно, Александре Ивановне неприятно было затрагивать эту тему, но имеется и другое подтверждение этой связи.

1 июня 1825 года А.Я.Булгаков из Москвы писал брату: «Был у меня П.Л.Давыдов… Он сказывал, что брат его Василий после смерти матери объявил свадьбу свою с какой-то женщиной, от которой имеет детей. Дело похвальное: исполнил долг свой, а между тем не огорчил мать свою при жизни ея» («Русский архив», 1901, кн. 6).

Настоящие, впервые публикуемые выдержки из писем Д. Давыдова (ЦГИАЛ, фонд 660, дело 107, стр. 141) позволяют уточнить некоторые существенные подробности никем до сей поры не написанной биографии декабриста В.Л.Давыдова.

В обстоятельной статье С.Я.Гессена «Пушкин в Каменке» («Литературный современник», 1935 г.) о Василии Львовиче сообщалось, например, следующее: «Он в 1816 году, имея 24 года от роду, был уже подполковником, а в 1820 году вышел в отставку с полковничьими эполетами».

Из формулярного списка, имеющегося в деле В.Л.Давыдова («Восстание декабристов», т. X, 1953 г.), можно видеть, что В.Л. в 1816 году был гвардейским ротмистром, а в подполковники произведен в январе 1817 года в связи с переходом в Александрийский армейский гусарский полк, находившийся в бригаде, которой командовал Д.Давыдов. Полковником в отставке стал Василий Львович, как видно из опубликованных нами писем, лишь в 1822 году. Между тем через четыре года Василий Львович, давая показания следственному комитету сообщил, что он уволен по прошению вовсе от службы за ранами в 1820 или в 1821 году, конечно, Василий Львович прекрасно помнил, что он уволен значительно позднее, но ему явно хотелось отдалить время увольнения с военной службы и одновременно напомнить о своих ранах, явившихся якобы единственной причиной отставки. Заметим, что выражение «за ранами» в письме Д.Давыдова подчеркнуто.

А о степени близости Д.Давыдова к двоюродному брату-декабристу свидетельствует признание, что он любит его «как родного брата».

Очевидно, в это же время Д. Давыдов написал небольшой очерк о Кульневе в Финляндии; в 1824 году этот очерк был опубликован в журнале «Мнемозина», издаваемом В.Ф.Одоевским и В.К.Кюхельбекером.

Тогда же по просьбе А.Бестужева и К.Рылеева, начавших издавать альманах «Полярная звезда», Д.Давыдов послал им несколько своих элегий. В «Русском инвалиде» 10 января 1823 года в рецензии на первый номер «Полярной звезды» сообщалось: «Здесь блистают знаменитые имена и изящные произведения Жуковского, Крылова, Вяземского, А.Пушкина, Давыдова, Баратынского, Гнедича».

Через год, когда умер начальник кавказской линии генерал-майор Сталь, Ермолов вновь возобновил ходатайства о назначении Д. Давыдова.

Эти ходатайства вывели из себя императора. Они были отклонены в самой резкой форме. 12 июля 1825 года Ермолов писал Закревскому: «После смерти Сталя я просил о Денисе, но мне отказано таким образом, что я и рта не могу более разинуть» (РИО, том 73).

Мне потому кажется извинительным столь большое публицистическое отступление в хронике, что до последнего времени, как ни странно, исследователи жизни и творчества А.С.Грибоедова не считали нужным в числе близких его друзей даже упоминать Дениса Давыдова.

А ведь А.С.Грибоедов почти 14 месяцев, творчески наиболее напряженных, когда заканчивалась работа над «Горем от ума», провел в тесном общении с Д.Давыдовым. Это факт, подтверждаемый и письмами самого А.С.Грибоедова, и признанием Д.Давыдова («находясь с ним долго в весьма близких отношениях»), и Вяземским, и, наконец, племянницей братьев Бегичевых («Воспоминания о Д.Н.Бегичеве» Е.Соковниной. «Исторический вестник», 1889, т. III).

Несомненно, исследователи и биографы А.С.Грибоедова сделали бы немало новых, интересных открытий, если б отнеслись с должным вниманием к его связи с таким хорошо осведомленным во многих общественно-политических делах человеком, каким был Д.Давыдов.

Разве не стоит, например, размышлений грибоедовская фраза о «буйной и умной» голове Дениса Давыдова? Припомним, при каких обстоятельствах она написана. Это было ранним утром 4 января 1825 года. Грибоедов именно тогда жил в горячей атмосфере зреющего декабристского восстания, жил, «окруженный дружбой и любовью заговорщиков», как пишет М.В.Нечкина.

И вот что-то случилось. Грибоедову не спится. Он решает поделиться меланхолическими мыслями со старым другом С.Н.Бегичевым. Все обычно, ничего странного! Вдруг Грибоедову вспоминается Денис Давыдов, вернее какой-то крепко запавший в душу разговор с ним, и следует такое признание: «Нет, здесь нет эдакой буйной и умной головы, я это всем твержу; все они, сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки».

Уточним, что Д.Давыдов в период московского общения с Грибоедовым не пил, не буянил, отличался примерным, «благоразумным» поведением; стало быть, буйными, смелыми были мысли Д.Давыдова, которые припомнились Грибоедову спустя семь месяцев после отъезда из Москвы.

Думается, что затронутые вопросы, касающиеся связи А.С.Грибоедова с Д.Давыдовым, заслуживают самого серьезного исследования.

76

Этот разговор Дениса Давыдова с Грибоедовым описан Вяземским в его воспоминаниях (П.А.Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VII. СПБ, 1882).

Книга эта, написанная отцом братьев-декабристов, была в то время особенно популярна в либеральных кругах. Она издана в Петербурге в 1823 году.

Вопрос о Кавказском тайном обществе до сих пор остается недостаточно исследованным. В своих записках декабрист С.Г.Волконский пишет, что после нескольких встреч на Кавказе с Якубовичем он «получил если не убеждение, что существует на Кавказе тайное общество, имеющее целью произвести переворот политический в России, и даже некоторые предположительные данные, что во главе оного сам Алексей Петрович Ермолов и что участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу. Это меня ободрило к большей откровенности, и я уже без околичностей открыл Якубовичу о существовании нашего тайного общества и предложил ему, чтоб кавказское общество соединилось с Южным всем его составом. На это Якубович мне отвечал: «Действуйте, и мы тоже будем действовать, но каждое общество порознь, а когда придет пора приступать к явному взрыву, мы тогда соединимся В случае неудачи вашей, мы будем в стороне, и тем будет еще зерно, могущее возродить новую попытку. У нас на Кавказе и более сил, и во главе человек даровитый, известный всей России, а при неудаче общей, здесь край и по местности отдельный, способный к самостоятельности. Около вас сила, вам, вероятно, не сручная, а здесь все наше по преданности общей к Ермолову…»

С. Г. Волконский подробно рассказал об этом прежде всего В.Л.Давыдову, который переписал отчет Волконского Тульчинской директории.

В своих показаниях следственному комитету В. Л. Давыдов, признав, что Волконский говорил о Кавказском обществе, добавляет, что оно «управляется двумя советами, один из шестнадцати, другой из четырех членов», и тут же следом заявляет, будто Поджио, ездивший на Кавказ, «утвердительно говорил, что не существует там общества никакого и что мысль, что Ермолов берет в оном участие, ни с чем не сообразна и никакого совершенно основания не имеет» («Восстание декабристов», т. X, 1953 г.).

К последнему заявлению, разумеется, надо относиться осторожно, приняв во внимание, что Ермолов декабристу Давыдову приходился двоюродным братом, находился с ним в переписке, и Давыдову, естественно, хотелось выгородить из дела Ермолова.

Что же касается Якубовича, то его показания следственному комитету резко расходятся с показаниями Волконского и Давыдова. Якубович уверял: «Князь Волконский первый дал мне

понятие об обществах, существующих в России, и обществе второй армии, несколькими словами говоря, что они очень сильны и что добродетельнейшие люди составляют оное, но подробностей я не знаю». Якубович разговоры о Кавказском обществе резко отрицал: «Рассуждений об основании или распространении общества я ни с кем во всю мою службу в Грузии не имел…»

Якубович в своих показаниях совершенно умолчал о пребывании в Москве весной 1825 года, а на вопросы, с кем имел переписку, категорически дважды показал, будто «с 1821 года командирован был на кавказскую линию, и, кроме по службе со штабом и адъютантами генерала Ермолова, я ни с кем не имел переписки» и далее «в 1824 году сентября 15 я выехал из Георгиевска и с тех пор ни с кем не имел никакой переписки…» («Восстание декабристов», т. II, 1953 г.).

Несколько известных писем Якубовича к Д.Давыдову, написанных именно в те годы, заставляют думать, что у Якубовича были какие-то основания не упоминать ни о переписке с Д.Давыдовым, ни о московских свиданиях с ним.

Декабрист А.А.Бестужев находился с Д. Давыдовым в самых лучших отношениях. Познакомились они у Вяземского в Москве 21 февраля 1823 года, как свидетельствует сам Бестужев в своих записях о поездке в Москву (сборник «Памяти декабристов», т. I. Ленинград, 1926 г.). 23 февраля Бестужев опять записал, что, обедая у Вяземского, слушал анекдоты Давыдова, а 8 марта следует такая запись: «У Давыдова. Тот дал мне свои записки».

80

9 ноября 1825 года московский поэт С.Нечаев, узнав, что А.Бестужев выпускает повесть под названием «Кровь за кровь», писал ему: «С нетерпением ждем твоих повестей. Давыдов догадывается, что «Кровь за кровь» родом с Кавказа. Якубович был твоею музою». Это письмо свидетельствует, что Д.Давыдову, во всяком случае, хорошо были известны мстительные порывы Якубовича и были какие-то разговоры с Бестужевым о Якубовиче.

81

В биографиях Е.А.Баратынского нет сведений о том, какое участие принимал в его освобождении от солдатчины Д.Давыдов, поэтому считаю необходимым привести некоторые письма его к Закревскому. 6 марта 1824 года Д.Давыдов писал: «Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты; он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около восьми лет или более, неужели не умилосердятся? Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и верно будет полезен. Я приму старание твое, а еще более успех в сем деле за собственное мне благодеяние». 23 июня 1824 года Д.Давыдов опять пишет: «Повторяю о Баратынском, повторяю опять просьбу взять его к себе».

Д.Давыдов в самом деле бомбардировал Закревского подобными напоминаниями и добился своего. Баратынский был произведен в прапорщики, а затем, опять при содействии Д.Давыдова, получил и желаемую отставку 16 февраля 1826 года Д.Давыдов писал Закревскому: «Благодарю тебя от души за отставку Баратынского, он весел как медный грош и считает это благодеяние твое не менее первого».

82

Об этих дворцовых учениях рассказывает декабрист Н.И.Лорер в своих известных записках.

83

Стихотворение Баратынского написано за несколько дней до 14 декабря 1825 года, после того как между ним и Д.Давыдовым установилась дружеская близость. И если бы Давыдов в откровенных разговорах с Баратынским не выражал желания видеть отчизну свободной, разве мог бы клясться именно «отчизной свободной» Баратынский?

Фраза эта, несомненно, свидетельствует о характере бесед, происходивших в то время между Д.Давыдовым и Баратынским, и об их настроениях.

Этот случай записан самим Д.Давыдовым. Интересно отметить, что он не постеснялся назвать царя «змеем», а это слово довольно точно характеризует Николая, как злого и коварного человека.

85

Комиссионер Иванов показал, что стихи «неистового вольномыслия» он получил от Громницкого, а тот заявил, что эти стихи даны ему М.П.Бестужевым-Рюминым при свидетелях Тютчеве, Спиридове и Лесовском, которые и подтвердили его показания. Тогда следственный комитет обратился за разъяснением к Бестужеву-Рюмину, добавив, что одновременно и капитан Пыхачев показал, будто он, Бестужев-Рюмин, раздавал всем вольнодумческие стихи Пушкина и Дельвига. Следственный комитет предложил ответить на три вопроса: когда, где и от кого были получены стихи, данные Громницкому; кому давали их читать, и были ли они получены от авторов или от кого другого; состояли ли «сии сочинители» членами общества?

М.П.Бестужев-Рюмин ответил:

«Сие показание Спиридова, Тютчева и Лесовского совершенно справедливо. Пыхачев также правду говорит, что я часто читал наизусть стихи Пушкина (Дельвиговых я никаких не знаю). Но Пыхачев умалчивает, что большую часть вольнодумных сочинений Пушкина, Вяземского и Дениса Давыдова нашел у него еще прежде принятия его в общество… Списков с них никому не давал. Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло… Принадлежат ли сии сочинители обществу или нет – мне совершенно неизвестно» (дело Бестужева-Рюмина в «Восстании декабристов», т. IX. Гос. изд-во полит, литературы, 1950 г.).

Это описано в «Записках Д.В.Давыдова, в России цензурой не пропущенных», Лондон – Брюссель, 1863 г. Известно, что А.И.Герцен, напечатав этот краткий рассказ Д.Давыдова о жестокости Николая, от себя добавил: «Каков нрав был у этого человека, еще совсем молодого».

Вероятно, вспоминая именно это предупреждение Закревского, впоследствии, 6 августа 1828 года, Д.Давыдов писал ему: «Как я помню слова твои при отъезде моем в Персию, но я им тогда не хотел верить, быв исполнен пламени и восторга!»

О том, что Д. Давыдов все же этому предупреждению поверил и уезжал на Кавказ удрученный и неуверенный в том, что возвратится живым назад, он весьма осторожно намекает в письме к жене 22 января 1831 года, писанном по дороге в Польшу: «Я гораздо покойнее, нежели тогда, как ехал в Грузию, хотя разлука была для меня и (неразборчивое слово); какая-то уверенность неизъяснимая, что я скоро возвращусь и скоро увижу тебя, меня поддерживает» (ЦГВИА, фонд 194, опись 1, ед. хранения 65).

Н.Н.Муравьев, с вполне понятной недоброжелательностью отозвавшись о Д.Давыдове в своих воспоминаниях, заключает следующими словами:

«Помнили родственную связь его с Алексеем Петровичем; никто не имел причины жаловаться на него лично, и сие только служило к охранению перед ним по наружности того уважения, которое должно было иметь к начальнику. Безнравственные рассказы его имели мало действия в кругу частных начальников, руководствовавшихся правилами совершенно противными. Не скажу, однако ж, чтобы его не любили; в обхождении он был очень прост, ласков и душу имел добрую, сие также поддерживало его в мыслях и расположении каждого. Он имел добрые качества сии при всех его недостатках и не оставил по себе неприятелей и недовольных» (записки Н.Н.Муравьева-Карского, журнал «Русский архив», т. I, 1889 г.).

Свидетельство это ценно тем, что оно сделано человеком, не питавшим в то время дружеских чувств к Д. Давыдову.

89

Д.Давыдов не забыл упомянуть в своих записках о том, что император Павел считал своих сыновей Николая и Михаила незаконнорожденными, и о том, как Ростопчин уговорил Павла не публиковать указа об этом только потому, что иначе «в России не достанет грязи, чтобы скрыть под нею красноту щек ваших».

90

Фамилия цензора, запретившего стихи Давыдова, была Щеглов. Когда его назначили затем цензором «Литературной газеты», А.Пушкин писал в цензурный комитет, что Щеглов «своими замечаниями поминутно напоминает лучшие времена Бирукова и Красовского», а в доказательство привел случай с запрещением патриотических стихов Давыдова: «Цензор усомнился, можно ли допустить называть таковым образом («отечества щит») двух капитан-лейтенантов, и вымарал приветствие не по чину».

Бестужевский молочный скот до сих пор славится в среднем Поволжье высокой продуктивностью.

92

29 января 1830 года Д.Давыдов писал Вяземскому: «Пушкина возьми за бакенбард и поцелуй за меня в ланиту. Знаешь ли, что этот черт, может быть не думая, сказал прошедшее лето за столом у Киселева одно слово, которое необыкновенно польстило мое самолюбие?.. Он, хваля стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам моим, что потом вошло ему в привычку».

Следует вспомнить и рассказ М.В.Юзефовича, встречавшегося с Пушкиным на Кавказе. Юзефович пишет: «В бывших у нас литературных беседах я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший: как он не поддался тогда обаянию Жуковского и Батюшкова и даже в самых первых опытах не сделался подражателем ни того, ни другого? Пушкин мне отвечал, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным» («Русский архив», 1880 г.).

93

Как ни курьезно, но Закревский в самом деле попал под надзор жандармерии за дружбу с Ермоловым. Именно тогда Бенкендорф писал начальнику Московского жандармского отделения Волкову: «Я думаю, что Закревский, который просится в отпуск на несколько месяцев, также будет и Москве… Напишите мне весьма секретно, как он будет держать себя, кою он будет посещать и увидит ли он своего друга Ермолова?» («Русская старина», т. II, 1889 г.).

Бенкендорф при этом, вероятно, не знал, что Волков был старым приятелем Закревского, который, таким образом, имел возможность осведомляться о кознях шефа жандармов.

94

Письмо Д.Давыдова публикуется впервые по подлиннику, обнаруженному в Центральном государственном историческом архиве в Москве (фонд 1, экспедиции III жандармского отделения, ед. хранения 363, стр. 5).

95

Д.Давыдов выехал из Москвы 15 января 1831 года и прибыл в главную квартиру 12 марта, а обратную дорогу из Польши в Москву сделал в семь дней.

Двухмесячный срок пребывания в пути легко прослеживается по письмам Д.Давыдова к жене, и даты этих писем позволяют, в частности, точно определить, что Д.Давыдов не был и не мог быть на известном мальчишнике Пушкина, состоявшемся в Москве 17 февраля 1831 года. Это очень важно установить потому, что до последнего времени многие пушкиноведы считали Д.Давыдова в числе присутствовавших на мальчишнике, основываясь на письме самого Д.Давыдова, который позднее, 23 апреля 1833 года, писал поэту Языкову: «Я пьяный на девичнике Пушкина говорил вам…»

Остается предположить, что друзья Пушкина перед свадьбой собирались у него несколько раз, именуя эти дружеские пирушки «мальчишниками», или, как неправильно выражается Давыдов, «девичниками». Денис Давыдов, видимо, присутствовал на одном из них, но не на главном, предсвадебном.

96

Письмо публикуется впервые по подлиннику, датированному 8 марта 1831 года (ЦГВИА, фонд 194, опись 1, ед. хранения 65).

Об этих посещениях Д.Давыдовым Пушкина вспоминает П. В. Нащокин в своих беседах, записанных П. И. Бартеневым («Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым». Ленинград, 1925 г.).

Письма Д.Давыдова к П.Н.Ермолову хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (фонд Ермоловых, опись 1, ед. хранения 751).

Роман Д. Давыдова с Е.Золотаревой никогда в печати не освещался. Сыновья поэта-партизана после его смерти приняли все меры к тому, чтобы скрыть от широкой огласки последнее увлечение отца. Они умышленно утверждали, будто Евгении было всего восемнадцать лет и увлечение ею носило случайный и сентиментальный характер, а печатая посвященные ей стихи, нарочно ставили под некоторыми из них более ранние даты. О том, кто же была девушка, вдохновившая стареющего поэта на чудесные стихи, заслужившие восторженную оценку В.Г.Белинского, не было ничего известно, кроме того, что она была дочерью пензенского помещика.

Мне удалось по архивным материалам, полученным в Пензе и Ульяновске, по нескольким письмам Д.Давыдова и Е.Золотаревой, а также по отрывкам из их переписки, публиковавшимся в «Историческом вестнике» в 1890 году, восстановить истину о последнем романе поэта-партизана, и я основываю, таким образом, историю этого романа не на вымысле, а на документальных материалах.

Кто была Евгения Золотарева? На этот вопрос довольно точный ответ дает обнаруженная мною раздельная запись, учиненная семьей Золотаревых в Пензе 11 июля 1832 года (Пензенский облгосархив, фонд 196, опись 2, дело 979, листы 21-23).

Из этой записи, в частности, видно не только семейное и имущественное положение Е.Золотаревой, приходившейся с материнской стороны племянницей братьев Бекетовых, но и определяется ее возраст – к началу романа с Давыдовым ей было уже 23 года. Хочется заметить, что она приходилась двоюродной сестрой великого русского химика Н.Н.Бекетова и дальней родственницей поэта А. Блока.

Вяземский, знавший Д.Давыдова более других его друзей, писал о нем:

«Денис и в зрелости лет сохранил изумительную молодость сердца и нрава. Он был душою и пламенем дружеских бесед, мастер был говорить и рассказывать. Он все духом и складом ума был моложав… Не лишним заметить, что певец вина и веселых попоек в этом отношении несколько поэтизировал. Радушный и приятный собутыльник, он на самом деле был довольно скромен и трезв. Он не оправдывал собою нашей пословицы: пьян да умен, два угодья в нем. Умен он был, а пьяным не бывал» («Русский архив», 1866 г., стр. 899 – 900).

101

Рассказ о том, как Грибоедов заканчивал «Горе от ума» в тульской деревне Бегичева и эпизод с Дмитрием Никитичем взяты мною из воспоминаний его племянницы Е.Соковниной («Воспоминания о Д.Н.Бегичеве» в журнале «Исторический вестник», т. III, 1889 г.).

102

Ответ Ермолова записан дословно Д.Давыдовым в его записках.

Чрезвычайно высоко оценивал достоинства давыдовской военной прозы В.Г.Белинский, который писал следующее:

«Прозаические сочинения Давыдова большею частью – журнальные статьи, вроде мемуаров. В них найдете вы живые воспоминания об участии автора в разных кампаниях, особенно в священной брани 1812 – 1814 годов; воспоминания, о героях той великой эпохи – Каменском, Кульневе, Раевском и проч. Предоставляем военным людям судить о военном достоинстве этих статей; что же касается до литературного, с этой стороны они – перлы нашей бедной литературы: живое изложение, доступность для всех и каждого, интерес, слог быстрый, живописный, простой и благородный, прекрасный, поэтический! Как прозаик, Давыдов имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, СПБ, 1904 г.).

Послание Языкова восхитило не одного Д.Давыдова. Н.Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», вспоминая Пушкина, замечает: «Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина. (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их».) Я помню те строфы, которые произвели у него слезы…» Далее Н.Гоголь цитирует стихи и заключает так: «У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его, точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подниматься кверху».

105

Возмущенный наглой выходкой помещиков, Д.Давыдов подробно описал этот случай в письме к Вяземскому 28 мая 1834 года и одновременно в письме к П.Д.Киселеву, требуя, чтоб помещикам разъяснили сверху позор их поступка.

106

Монолог Д. Давыдова построен на основе его письма к Вяземскому и может служить образцом своеобразного и живого стиля поэта-партизана.

107

Поездка в Петербург в 1836 году довольно подробно описана Д.Давыдовым в письмах к жене, которые хранятся в ЦГВИА (фонд 194, опись 1, ед. хранения 66). Пребывание Д.Давыдова в столице, визиты к Вяземскому, Пушкину, Жуковскому, прием во дворце, слушание «Ревизора» – все это рисуется в моей хронике на основе вышеуказанных писем.

108

Интересно отметить, что в этом впервые публикуемом письме имеется указание на предстоящую свадьбу Рославлевой Вероятно, из осторожности Д.Давыдов не сообщил, что она выходит за сосланного в Пензу вольнодумца Н.П.Огарева, но, разумеется, знал об этом отлично. Н.П.Огарев постоянно вращался в том самом, кругу, где проводил время и Д.Давыдов. Рославлева была подругой Золотаревых. При таких обстоятельствах знакомство и общение Огарева с Давыдовым кажется совершенно естественным, хотя, к сожалению, не подтверждено документально, почему я и вынужден был ограничиться в хронике простым их знакомством.

Заметим, что военная проза Д.Давыдова достаточно широко использовалась Л.Н.Толстым при создании романа «Война и мир». И доказать это не трудно, стоит лишь внимательно сличить текст давыдовских военных записок с текстом романа. Приведем некоторые примеры.

В «Дневнике партизанских действий», касаясь знаменитого Тарутинского сражения, Д.Давыдов пишет:

«Генерал Шепелев дал 4-го числа большой обед, все присутствовавшие были очень веселы, и Николай Иванович Депрерадович пустился даже плясать.. Возвращаясь в девятом часу вечера в свою деревушку, Ермолов получил через ординарца князя Кутузова, офицера кавалергардского полка, письменное приказание собрать к следующему утру всю армию для наступления против неприятеля».

В романе «Война и мир» использованы все детали этого эпизода и лишь не названа фамилия пляшущего генерала Николая Ивановича. Мы можем точно сказать, что этот генерал не вымышлен, это командир конногвардейцев Депрерадович.

Дальше в своем «Дневнике» Давыдов пишет:

«Кутузов со свитой, в числе которой находились Раевский и Ермолов, оставался близ гвардии; князь говорил при этом: «Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель, приняв свои меры, заблаговременно отступает». Ермолов, понимая, что эти слова относятся к нему, толкнул коленом Раевского, которому сказал: «Он на мой счет забавляется». Когда стали раздаваться пушечные выстрелы, Ермолов сказал князю: «Время не упущено, неприятель не ушел, теперь, ваша светлость, нам надлежит с своей стороны дружно наступать, потому что гвардия отсюда и дыма не увидит». Кутузов скомандовал наступление, но через каждые сто шагов войска останавливались почти на три четверти часа; князь, видимо, избегал участия в сражении».

А в романе «Война и мир» этот эпизод выглядит так:

«Когда Кутузову доложили, что в тылу французов, где по донесениям казаков прежде никого не было, теперь было два батальона поляков, он покосился назад на Ермолова (он, с ним не говорил еще со вчерашнего дня):

– Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свон меры.

Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услыхав эти слова. Он понял, что для него гроза прошла и что Кутузов ограничится этим намеком.»

– Это он на мой счет забавляется, – тихо сказал Ермолов, толкнув коленкой Раевского, стоявшего подле него.

Вскоре после этого Ермолов выдвинулся вперед к Кутузову и почтительно доложил:

– Время не упущено, ваша светлость, неприятель не ушел. Если прикажете наступать? А то гвардия и дыма не увидит.

Кутузов ничего не сказал, но когда ему донесли, что войска Мюрата отступают, он приказал наступление; но через каждые сто шагов останавливался на три четверти часа».

В том же «Дневнике партизанских действий» сообщается про взятого в плен французского барабанщика Vincent Bode (в романе Л. Н. Толстого он назван Vincent Bosse), рассказывается, как Фигнер, пропуская обезоруженных французов, обрывал их болтовню словами: «Filez, filez» (в романе их произносит Долохов) и т. д. Возможно, даже картина подвига капитана Тушина навеяна была чтением Давыдовских «Материалов для истории современных войн», где, описывая бой под Шенграбеном, Д.Давыдов замечает:

«Во время главной неприятельской атаки майор Киевского гренадерского полка Экономов, заняв своим баталионом деревню, находившуюся в тылу нашей позиции при спуске в крутой овраг, оказал тем всему отряду величайшую заслугу. Неприятель, подойдя к ней, был встречен батальным огнем; если б ему удалось овладеть этой деревней, весь отряд князя Багратиона был бы неминуемо истреблен».

В романе «Война и мир» батарея Тушина тоже занимает позицию при спуске в «крутой и глубокий овраг», а к тому же Л.Н.Толстой трижды упоминает, между прочим, имя майора Экономова, ничего не говоря о его героическом действии, ибо в романе оно совершается капитаном Тушиным, прообразом которого является Экономов.

А сколько в романе характерных Давыдовских фраз и словечек! Ростов, приехав в Воронеж, говорит губернаторше: «Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь». Многие ли знают, что эта любимая Д.Давыдовым фраза взята из его военных записок, откуда перекочевали в роман и такие выражения, как «рубай в пéси», «пасть как снег на голову» и т. д.

Для исследователей творчества Л. Н. Толстого все это должно представлять несомненный интерес.

110

Публикуемое письмо Вяземского имеет любопытную историю. Подлинная копия этого письма, снятая и проверенная Д.Давыдовым, хранилась после его смерти у сыновей в Верхней Мазе. А копия, сделанная с этого письма А.Я.Булгаковым, без указания, кому письмо адресовано, и в несколько искаженном виде, была найдена в архиве Булгакова после его смерти и опубликована в «Русском архиве» (1879 г., № 6) как «письмо Вяземского к Булгакову», хотя при этом П.И.Бартенев и сделал примечание, что, возможно, письмо писано не Булгакову. Тем не менее в литературе оно стало известно как «письмо Вяземского к Булгакову», в частности так оно печатается в книге «Пушкин в воспоминаниях современников» (Гос. изд-во худож. литературы 1950 г.).

Просматривая бумаги Д. Давыдова, хранящиеся в ЦГВИА, я обнаружил ту подлинную копию, о которой говорил выше, во многом отличающуюся в тексте от «булгаковской копии», а письма Давыдова к Вяземскому без труда позволили установить, что письмо писано именно Д.Давыдову.

Письмо Вяземского публикуется по обнаруженной в делах Д.В.Давыдова копии. Сокращены лишь три страницы монархических излияний и бездоказательных доводов, будто Пушкин никогда не принадлежал к политической оппозиции (ЦГВИА, фонд 194, опись 1, ед. хранения 68, стр. 132 – 135).

Примечания

I

Все даты в хронике даны по старому стилю.

II

Мой дорогой князь (франц.)

III

Вам я могу признаться (франц.)

IV

«Сколько ран, мосье?» – «Семь, ваше величество», – «Столько же знаков чести!» (франц.)

V

Не бойтесь, вам не сделают ничего плохого! (франц.)

VI

Наполеон все же о смерти Кульнева узнал и не замедлил сообщить в Париж, что «убит Кульнев, одна из лучших русских кавалерийских генералов».

VII

Кто идет?

VIII

Книга Мабли впервые была издана в России в 1773 году в переводе А.Н.Радищева под названием «Размышления о греческой истории, или о причинах благоденствия и несчастия греков».

IX

Подлинные слова Ермолова, записанные им в 1816 году.

X

Рейн – арзамасское прозвище Михаила Орлова.

XI

В этом замке был убит заговорщиками император Павел.

XII

Давыдов, когда его хорошо знаешь, не кто иной, как хвастун своих пороков.

XIII

Говоря между нами.

XIV

Ермолов называл мистерами Пудингами английских колонизаторов.

XV

Подлинные слова Грибоедова из письма к Кюхельбекеру.

XVI

Из первого варианта комедии «Горе от ума».

XVII

Последняя – экзотическое растение, настоящая его родина – Кавказ.

XVIII

«Взгляды на старую и новую словесность в России». Альманах «Полярная звезда», 1823 г

XIX

Отложим на завтра серьезные дела (франц.).

XX

Похвальное слово (франц.).

XXI

Между прочим (франц.)

XXII

Я люблю женатого человека. (франц.)

XXIII

О, это большое несчастье! (франц.)

XXIV

Из этого ничего еще не следует! (франц.)

XXV

Возлюбленная (итал.)

XXVI

Моей Евгении и моей любви (франц.).

XXVII

«Современник» помимо общей цензуры проходил военную, духовную, министерства иностранных дел и министерства двора.

XXVIII

Воистину общественное бедствие! (франц.)

XXIX

Чтобы не затруднять читателей, этот и другой текст, написанный Вяземским по-французски, дается в русском переводе.